

КОНСТАНТИНЭ

ГАМСАХУРДИА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ССР ГРУЗИИ
«ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО»
(«ЗАРЯ ВОСТОКА»)

КОНСТАНТИНЭ
ГАМСАХУРДИА

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В
ШЕСТИ ТОМАХ



Перевод с грузинского

Тбилиси

1963

КОНСТАНТИНЭ ГАМСАХУРДИА

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

Давид, Строитель

Исторический роман

КНИГИ
ТРЕТЬЯ и ЧЕТВЕРТАЯ

*Издательство ССР Грузии
„Литература и искусство“*

Редакционная коллегия:

*И. В. Абашидзе, В. Д. Жгенти, М. И. Златкин,
В. Г. Мачавариани.*





КНИГА ТРЕТЬЯ



ВЕРНИ ОЛЕНЕЙ ЛЕСАМ

В день святого Георгия предполагались маневры в окрестностях Шаорской крепости. От имени царя были посланы приказы Георгию Чкондидели в Гегути, Шергилу Липартиани, Бешкену Джакели, начальникам крепостей Мухадгверди и Панаскerti — азнаурам Парджаниани и Моркневели.

Были позваны без дружин эретские азнауры Барам Аришиани и Кавтар Барамисдзе.

На этот раз царь Давид намеревался испытать в горных условиях выносливость своих воинов, показать им, как осаждают и берут приступом крепости, воздвигнутые на крутых скалах, как орудовать в таких случаях камнеметами, передвижными башнями и таранами. Надо было устроить пробные штурмы на осажденную крепость и защиту ее изнутри с применением греческого огня. Было решено вести войска из Шаорского ущелья до Биртвиси и тут показать им пример взятия совершенно неприступной цитадели.

У Багуаш-Орбелиани Биртвиси находилась в забросе. Не опасаясь сельджуков, они считали излишним держать там дорого стоивший постоянный гарнизон, к тому же плохо переносивший суровую зиму.

Крепость была запущена и безлюдна.

Заняв Триалети, Давид сейчас же принялся за восстановление Биртвиси, ее передовых башен, водопровода и цистерн, в которых накапливали дождевую воду на случай долгой осады.

В башнях, которые на протяжении полупарсанга дугой возвышались над отвесными обрывами, он разместил чухчей. На крепостных стенах и у рвов были заготовлены греческий огонь, котлы с варом и большие камни для защиты от нападающих.

Осаждающие были снабжены камнеметами, таранами и стенобитными орудиями, прозванными «баранами».

В свое время султан Малик-шах тщетно стремился овладеть Биртвиси и вынужден был со срамом повернуть вспять от воинов царя Георгия. Помня это, царь Давид непременно хотел доказать спасаларам и войску, что хотя до сих пор ни один враг не овладевал этой твердыней, но взять ее все-таки можно.

— Пожалуй, эти маневры будут последними, — сказал царю Махара.

— Все зависит от того, как обернутся дела, Махо. Если мы победим, то возможно, что у нас не будет досуга для таких маневров. А до тех пор придется их устраивать не раз.

* * *

Скороходы еще не перешли Лихи, а снег уже покрыл Триалетские горы. Царь вставал на заре. Он был неприятно поражен ранним наступлением зимы.

Из Гегути приехал монах Антимоз и привез царю письма от вернувшегося из Византии Ниании Бакуриани и от царя Георгия.

Собственной рукой царь развернул свиток и дважды прочел довольно длинное донесение Ниании о последних событиях в Византии.

Ниания сообщал в приписке:

«Весной приезжает царица Мариам.

В Хупту приехал из Иерусалима монах Почоликай и везет вам письмо от эристава Джонди».

Давид удивился — последний раз Джонди писал прошлым летом из Антиохии.

— Как? Из Иерусалима? Неужели крестоносцы взяли Иерусалим? — обратился царь к Махаре.

— Быть может, Джонди опостылела бесконечная кочевая жизнь с крестonosцами и он без их помощи добрался до Иерусалима, — предположил Махара и стал перечитывать письмо Ниании Бакуриани.

Царь сказал:

— Дал бы бог вернуться Джонди благополучно, его скитания и труды, наверное, пойдут ему впрок в будущих походах, Махо.

— Что ж, это неплохо, государь. Чем дольше сталь закаляется в горне, тем она становится тверже. У очага полководцы никогда не вырастали. Беспokoюсь я, государь, — продолжал Махара, — что эристав Джонди не взял с собой кольчугу цвета сокола, которую его отец, эристав Шаман, со славой носил в стольких походах.

— Эх, мой Махо, при чем тут кольчуга? Говорят — самая надежная кольчуга — судьба. Не об этом ли говорит Магомет: «Я буду биться с ними без кольчуги в тот жестокий день».

— Жаль, что Ниания Бакуриани не поехал вместе с Джонди.

Царь взглянул в окно на падающие и искрящиеся снежинки, потом промолвил:

— Хватит Ниании и того, что ему пришлось перенести. Достаточно он натерпелся у сельджуков.

* * *

— Быть здесь Георгию Чкондидели! — сказал монах Антимоз в церкви Липаритис-убани, и слух этот мигом разнесся по Триалетскому эриставству.

Все знали, что Чкондидели готов служить царю и мечом и крестом.

Злоязычные говорили так:

— Когда царь Давид хочет прикинуться христоролюбивым, то он прикрывается белой бородой Чкондидели, чтобы враги поверили в его милосердие. Если же царь желает кого-нибудь покарать, то Чкондидели идет во главе его войска со святым крестом в одной руке и мечом Багратидов в другой.

Чкондидели — это и война, и мир.

— Быть здесь Чкондидели! — с тревогой говорили азнауры — сторонники Липарита.

— Война это или маневры? — перешептывались старики азнауры, недоверчиво выглядывая из бойниц своих башен.

Махара подробно расспросил Антимоза о гегутских новостях. Антимозу удалось перейти Лихи до снегопада, и он мог кое-что рассказать о выезде Чкондидели. Снег накануне выпал и в Гегути, поэтому царь Георгий и царица Елена не хотели отпускать старика, но разве можно было его удержать!

Царь Георгий упрасивал Чкондидели — уж если ехать, то только через Лихи. Архиепископ на это не согласился: по царскому приказу, он должен через Зекарский перевал проехать в Джавахети и оттуда захватить с собой Бешкена Джакели.

Упоминание о Бешкене навело царя Георгия на подозрения:

«Какие такие маневры в ноябре!»

Царь Георгий со скорбью сообщал Давиду о гибели магистра Иоанна и о том, что рухнули планы Константина Порфирородного и его сторонников. При этом он не скрывал, что потерял последнюю надежду видеть Константина Порфирородного на императорском престоле.

— На этом конце мечте грузинских вельмож, строящих свои надежды на зятьях, Махо! — произнес Давид.

С краю была приписка рукой царицы Елены:

«Умоляю тебя, сын мой, — отложи маневры до весны».

Снег валил и в Липаритис-убани...

Приверженцы Липарита молили бога, чтобы снега выпало как можно больше и чтобы ни война, ни маневры царю не удались.

Иоанн Дукидзе говорил монаху Евтихию:

— Что за маневры?.. Маневры царь Давид еще в прошлом году проводил в Ташикари.

— Войной пахнет, — таинственным голосом отвечал монах. — Вчера ночью с колокольни церкви святого Георгия я видел комету, подобную Докиде, что появилась над Византией перед нашествием Роберта Гискара.

Есть люди с природной склонностью говорить неправду; действительность их не удовлетворяет, настоящим они недовольны, и они утешают себя, сочиняя небылицы.

Одних развлекает сама выдумка, других к этому побуж-

дает расчет — все они мечтают, что жизнь непременно изменится в их пользу по сочиненному ими образцу.

Монах Евтихий распространил слух, будто Нианиа Бакуриани подтверждает известие, что Константин Дука занял византийский престол. В семь галер погрузил император войска, и во главе их стоит Нианиа. Это войско Чкондидели разместил в аргветских крепостях.

Георгий Чкондидели, Шергил Липартиани и Бешкен Джакели уже ведут имеретинские и самцхийские дружины.

По мысли Евтихия, ободренный такими вестями царь объявит войну сельджукам, но несомненно будет разбит. Тогда султан Бархиарок займет Триалети, и с Липарита будут сняты оковы.

К Евтихию уже приближалась старость, но монах-неудачник продолжал упорно мечтать: ему хотелось унаследовать отцовское занятие — чесать пятки победоносному эриставу.

* * *

Царь Давид с нетерпением ждал Чкондидели и спасаларов. В душе он раскаивался — не нужно было в такую погоду вызывать престарелого полководца. В Джавахети посылались скороходы, но по-прежнему не было никаких известий.

* * *

Снег валил всюду, как это бывает в Триалети...

Махара расспрашивал стариков:

— Помнит ли кто после великого нашествия сельджуков такой ранний и сильный снегопад?

— Точно такой же ранний снег выпал в том году, когда саранг Малик-шаха появился в Алгети. Бежавших сельджуков наши воины ловили, как индюшат, — рассказывал главный постельничий Карсанидзе.

* * *

Больше всех волновалась Ката. Ей удалось выпытать у Дедисимеди, что, как только приедет Чкондидели, с Липарига будут сняты оковы. Одновременно должна была решиться и судьба его дочери.

Свои надежды Ката не поверяла даже Кириону Манглисскому, не очень-то веря, что они сбудутся: она никогда не ждала добра от Багратидов.

Тем не менее Ката втайне готовила скот для убоя, чтобы достойно принять гостей. Она волновалась и ждала, но снег валил и не было никаких вестей...

* * *

Еще одна неделя прошла. Сердцем Давида овладело беспокойство.

Снег шел настойчиво и непрерывно.

Растаяли снежные вершины Триалети, рушились с высот обвалы, и ночи оглашал грохот, доносившийся из ущелий.

Снег падал не переставая, крупными хлопьями. Он сравнял горы и холмы, наполнил ущелья и ложбины. Особенно неудержимо валил он по ночам. Казалось, что разверзлись хляби небесные...

По углам перешептывались старики:

— Наверное, бог судил покарать нас вторым потопом. Объятую сном землю постигнет снежный потоп.

Монах Евтихий доказывал, что раз первый потоп был водяной, то второй будет снежный. Разверзнутся небеса, и бог потопит в снегу потомков Адама...

* * *

Звери и птицы пришли в смятение.

Олени покинули леса и с жалобным ревом спустились на равнину — к башням, церквам, мельницам и скотным дворам.

Пастухи, мельники, церковные сторожа и чухчи ловили оленей руками и приводили пленников к царю.

Оленям не хватало места в скотных дворах замка Липарита, стадами их наполнились церковные и дворцовые ограды.

Каждое утро охотники и чухчи пригоняли новую добычу. Олени дрожали, и пар от них стоял кругом, как туман.

Царь рано утром выходил из своих покоев и долго глядел на оленей, затем грустный уходил к себе.

Все дивились, почему такой страстный охотник, как царь Давид, ни разу не пошел поохотиться на дичь, которая сама шла в руки.

Махара догадывался, что переживает царь, ожидая своего воспитателя и никому не поверяя своих тревог; не в характере царя было жаловаться.

Лишь однажды вечером он сказал Махаре:

— Бешкен, Нианиа и Шергил все перенесут, но владыка Георгий может простудиться, Махо. А пуще всего беспокоит меня — не попали бы они под обвал.

Царь Давид был не из тех, что ждут несчастья сложа руки.

В субботу вечером допоздна он ждал. Потом лег, но скоро снова встал с постели и начал ходить взад и вперед по дарбази. Так он не спал всю ночь напролет, садился у камина, читал, опять вставал и, подходя к окну, всматривался — нет ли на небе просвета.

Снег падал хлопьями не переставая.

Стены дворца Липарита утопали в снегу. Стража, стоявшая под окнами царских покоев, была покрыта снегом.

Временами из темноты доносились жалобный рев и фыркань оленей.

Когда рассвело, царь позвал Каримана Сетиели, приказал ему отобрать триста чухчей, снабдить их лыжами и лопатами и послать навстречу Чкондидели по джавахетской дороге.

Беспокойство царя передалось Махаре. Он решил, чем томиться в ожидании, поехать впереди чухчей.

— Если ты поедешь, Махо, у меня будет одной заботой больше, — сказал царь в раздумье.

— Я очень хорошо знаю, где и когда на джавахетской дороге следует ждать обвалов. Кариман Сетиели не пройдет лучше меня, — успокоил царя Махара и велел конюшему привести мула с бубенцами.

— Почему же, батано, с бубенцами? — спросил конюший.

— Если бог разгневется и обвал меня накроет, то меня найдут по звону бубенцов.

Конюший усмехнулся.

Уже сидя на муле, Махара крикнул ему на прощанье:

— Я пошутил, Келгрдзелисдзе, дай бог тебе здоровья.

Если пропасть меня поглотит, то не помогут мне никакие бубенцы.

Махара, Кариман Сетиели и чухчи еще не вышли из Липаритис-убани, как вбежал гонец, крича, что едет владыка Георгий и уже находится у Шошилетской церкви. Давид стоял посредине дарбази, когда низко поклонившийся ме-

стумретухуцеси сообщил ему о прибытии гонца. Царь постарался скрыть охватившее его волнение. Он знаком отпустил местумретухуцеси и сел в кресло.

Ему представилось обрамленное сединой прекрасное лицо владыки Георгия.

Царь думал:

Ни отец, ни мать и никто из кровных родных не понимают его стремлений; чужды им его великие замыслы.

Чего стоит, например, последнее письмо царя Георгия!

Имея взрослого сына, царь Георгий возлагает все надежды на Константина Дука и на легкомысленные планы злосчастного неудачника магистра Иоанна.

Планы царя Давида царь Георгий и члены совета старейшин считают прихотями чудака и химерами.

Никто из старых вельмож и великих азнауров не верил, что царь Давид способен залечить раны Грузии. Верит в это один лишь Георгий Чкондидели.

С какой беззаветной преданностью этот хилый старик неизменно выполнял волю своего государя, предвосхищая все его желания. Всего себя он безраздельно отдал сначала службе царю Георгию, потом воспитанию царевича, и теперь, забыв свои годы и недуги, он готов наряду с молодыми спасаларами сложить голову для освобождения отчизны.

Всегда покорный и молчаливый, всегда пламенный, но сдержанный, полный самоотвержения, но не кичащийся своей преданностью.

Подлинный герой, он от природы скромн, не знает слова «я»; для него существует только «мы», обнимающее царя, родину и государство.

Втайне он печалился о разорении Грузии, но не падал духом, непреклонно веря, что воспитанник его мужает и ждут его великие дела.

В ту минуту перед Давидом во всем величии развернулась безупречная жизнь владыки Георгия. Отказавшись от всех земных радостей, он не только надел черное платье, но и в сердце своем носил траур по истерзанной родине.

Всегда в полинявшей монашеской рясе, он стесняется почетных мест впереди, снисходит к человеческим слабостям и милостив к обездоленным и беднякам.

Первый визирь и архиепископ, он живет, во всем себе отказывая, по-нищенски. В великолепных палатах Чкондидского дворца ему прислуживает единственный келейник Беса.

Постоянная его пища — похлебка из чечевицы и грубый хлеб, который пекут жены его молочных братьев.

Ни разу он не раздавил паука и не взял в рот ложки мясного отвара, но ни днем, ни ночью не расстается с обгоревшим в крови мечом Багратидов, который ему подарил на память царь Георгий после Алгетской победы.

Жалея все живое, он в любой час готов пролить кровь для родины.

Царь сидел задумавшись. Вдруг он услышал позвякивание бубенцов. Он поднялся и подошел к бойнице. Во дворе замка, среди наполнявшего его оленьего стада, спасалары и молочные братья несли на носилках Георгия Чкондидели.

Двенадцать молодых держали два шеста, на которых были натянута бурка, и на них, покрытый черной буркой, с головой, обвязанной башлыком, лежал старец. Подходивших к нему под благословение он встречал детской улыбкой.

Чухчи во главе с Махарой сопровождали носилки, за ними с пением псалмов шли неимущие и бедняки Триалетского эриставства.

Давид с беспокойством смотрел в окно.

Он увидел, как раньше всех к носилкам приблизилась Дедисимеди с непокрытой головой. Старец приподнялся и поцеловал девушку в лоб.

Быстрыми шагами царь вышел из дарбази, без шапки спустился во двор и обнял любимого воспитателя. Больной приветствовал царя своей чудесной улыбкой.

Чкондидели приехал!

В церкви Липаритис-убани ударили в било.

Процессия повернула к покоям царя, но тут подоспели Кирион Манглисский, отец Василий и Ката. Жена эристава выступила вперед и жестом пригласила следовать в большой дарбази.

Впервые после пленения клдекарского эристава царь вступил в большой дарбази Липаритов.

В глаза ему бросились огромный серебряный лук, подаренный Липариту Великому Тугриль-беком, и семейная реликвия — распятие из слоновой кости.

Носилки опустили перед пылающим камином. Женщины вышли из дарбази. Келейник Беса и молочные братья помогли больному привстать и переложили его на постель, застланную шкурами ланей.

Необычайно пожелтевшее лицо владыки Георгия напоминало цветом спелую айву — не только лоб и щеки, но даже белки его глаз были желты.

Владыка лежал неподвижно, томясь в жару. Он заметил беспокоество царя и, чтобы рассеять водворившуюся тишину, сказал:

— Очень нас потешил Махара своим мулом с бубенцами.

— Где вы провели прошлую ночь? — спросил царь.

— На одной мельнице в Шаорском ущелье. Нас там одолели крысы, мы с мельником не спали. Молодые утомились, всю дорогу они несли носилки, вели лошадей и расчищали дорогу. Лошади падали от усталости. Нас выручали мулы.

— Наверное, тяжелее всего был переход через Зекари? — спросил царь.

— Зекари мы переехали на лошадях еще до глубокого снега. Вот у перевала Джвари мы чуть не попали под обвал, — ответил Чкондидели и шепнул стоявшему у его изголовья келейнику Беса: — Воды!

Вошла Ката, вслед за ней Дедисимеди и лекарь Шеракисдзе.

Всем было известно, что владыка Георгий страдает болезнью печени и расширением зрачков. Зная это, Ката и Дедисимеди уже припасли для него ячменную воду, настой цикория, сандал и камфару для лечения печени, разные мази, смешанную с яичным желтком апельсиновую корку, семена портулака и фиалковый шербет.

Старец жаловался на головную боль. Ката пропитала платок маслом из лилий и нарциссов и положила ему на лоб.

Шеракисдзе наставлял:

— Кислого, владыка, не ешьте, вина не пейте. Пищу надо готовить на миндальном масле. Для питья давайте сандаловую и розовую воду. На глаза кладите смешанную желчь зайца, дикой козы, барса и ястреба.

Махара улыбнулся, услышав, что лекарь запрещает вино Чкондидели, никогда не бравшему его в рот.

Всю неделю при больном дежурили Дедисимеди и келейник Беса.

Желтизна еще не совсем прошла, а больной уже захотел подняться и приступить к делам. Махара тотчас доложил об это царю.

Давид воспротивился.

— Ведь болезнь моя неизлечима, государь. Если мы станем ждать ее конца, то придется мою должность поручить лекарю Шеракисдзе, — пошутил владыка Георгий.

* * *

Следующий день был понедельник. Чкондидели сидел на большом крыльце, где принимали посетителей. Несмотря на то, что снег валил не переставая, ко дворцу Липарита устремились с разных сторон неимущие и бедняки. Чкондидели выслушивал их жалобы.

В сумерки больного визиря посетил царь со своими спасаларами. Они долго совещались, обсуждая ках-эретские и триалетские дела.

Махара обиделся, что его не пригласили на совет.

Как он ни допытывался, никто из спасаларов не проронил ни слова, о чем там шла речь.

Наконец, когда царь ушел в свою опочивальню, любопытство Махары достигло крайнего предела. Он на носках прокрался в большой дарбази в надежде, что владыка Георгий проговорится.

Чкондидели сидел у камина и писал доклад царю о восстановлении западных крепостей и обучении войск.

Ни писцов, ни хранителя чернильницы при нем не было. Келейник Беса уже спал.

Со двора доносились олений рев и фырканье.

— Как ты спишь по ночам, владыка Георгий? — спросил Махара.

Жаловаться было не в характере Чкондидели. Он посмотрел в окно и ничего не ответил.

* * *

Небо прояснилось лишь через неделю. Чкондидели и Кирион Манглисский собирались съездить в Клдекари. Поздно ночью к Кариману Сетиели пришел лазутчик из крепости Парцхиси и сообщил:

— Узнав о прибытии в Триалети Чкондидели со спасаларами и войском, Рати Орбелиани испугался. Он ждет

только, чтобы кончилась метель, и тогда улизнет из Парцхиси с гарнизоном крепости.

Царь приказал азнауру Моркневели обложить Парцхиси.

* * *

В пятницу утром в Липаритис-убани приехал из Иерусалима монах Почоликай и привез письмо Георгию Чкондидели от эристава Джонди.

Весть о взятии Иерусалима и спасении Джонди очень обрадовала царя.

Георгий Чкондидели разослал по всей Грузии скороходов, и в тысячах церквей ударили в била и зазвонили в колокола — были отслужены благодарственные молебны.

* * *

В субботу вечером у царя был прием.

Епископы и спасалары говорили не умолкая о взятии Иерусалима. Махара незаметно подбавлял монаху Почоликаю вина, чтобы у него развязался язык и прибавилось смелости.

Царь был в отличном настроении — пил вино и шутил. Выпили за здоровье владыки Георгия.

Царь сказал:

— Когда Нианиа Бакуриани вернулся из сельджукского плена, я подарил ему моего любимого жеребца лососевого цвета. Быть (может, владыка Георгий что-нибудь для себя пожелает?

Слова эти всех поразили. Ни разу никто не слышал, чтобы Чкондидели попросил у царя что-либо лично для себя.

Захмелевший Махара шатаясь приблизился к царю и пошутил:

-- У владыки Георгия сегодня найдется к тебе просьба, государь.

По губам Давида скользнула улыбка, и он взглянул на Чкондидели.

— Верни оленей лесам, — застенчиво произнес Чкондидели. Щеки его покраснели, как у юноши, и улыбка обнажила белые крепкие зубы, на мгновение заставив позабыть ● его старости.

По приказанию Давида в ту же ночь были распахнуты все ворота и охотники выгнали из-под навесов оленей. Рев обрadowанных животных огласил леса.

.

КАК ПОХОДНЫЙ КРЕСТ БАГРАТИДОВ СОВЕРШИЛ ПУТЬ В ИЕРУСАЛИМ

Письмо владыке Георгию Чкондидели в Гегути.

«Если описывать подробно все, что довелось нам испытать в походе, то не хватит ни пергамента, ни чернил, — писал эристав Джонди из Иерусалима.

После бегства турок в освобожденной Антиохии началась чума...

Умирала во множестве бедняки, простой народ — все те, кто питался грязными плодами и падалью.

Утром и вечером повозки, запряженные мулами, подбирали мертвцов и отвозили за город, где их зарывали без священников и отпевания.

Между князьями и военачальниками шли распри — кому владеть Антиохией.

Распри эти настолько увлекли епископов и князей, что о походе на Иерусалим все позабыли. Солдаты, церковные служители, оруженосцы и лагерная прислуга пользовались отсутствием порядка и по ночам тайно разбегались, спасаясь от голода и чумы.

От голода бежало из Антиохийской крепости около двадцати греческих воинов в надежде найти продовольствие в ближайших деревнях; с ними увязался и Хахутай.

По дороге из Антиохии в порт Святого Симеона они попались сельджукскому передовому отряду и были взяты в плен, кроме одного грека, который скрылся в кустарнике; он и принес нам эту весть.

Мы были очень огорчены потерей Хахутая. Если не ставить ему в вину обжорство, то этот проstack — добрый, преданный малый и отважный воин. Бедняга сам сознавался: «Никак не могу я набить мой проклятый желудок».

А главное, мы лишились человека, шутки которого развлекали нас на всем пути из Константинополя в Антиохию.

.

Граф Раймунд и Готфрид Бульонский приказали запеть в Антиохии все ворота.

Они требовали немедленного похода на Иерусалим.

Чума унесла епископа Адемара де Пуи, неустрашимого полководца и покровителя нищих. Лишившись его, обездоленные осиротели.

Время шло.

Бозмунд и Танкред рассорились с предводителями других отрядов, отделились от них и напали на Киликию. Им удалось отобрать у сельджуков армянские города.

Наконец Готфрид Бульонский и граф Раймунд пришли к соглашению с военачальниками. Тогда мы сняли лагерь, и войска с пением и под звон бубнов двинулись по дороге на Иерусалим...

Палил зной. Люди изнывали от жары и голода, падали отощавшие лошади и мулы.

В Антиохии граф Раймунд заказал генуэзским мастерам передвижные башни на колесах, точно такие, какими царь Давид брал Кддекари. В башни впрягали лошадей, но, томимые жаждой и палящим зноем, они выбились из сил, и на подъемах приходилось помогать им тащить тяжелые сооружения.

Осадные башни были подведены к укрепленному городу Марат аль-Нуман. Город был сожжен и уничтожен.

Впереди шли сирийцы и армяне.

На рассвете мы обложили крепость Маару.

На стены вышли сельджуки с женами и детьми и начали сбрасывать горящие бревна. Когда им пришлось совсем туго, они стали бросать улья с пчелами.

Тогда подоспел Бозмунд. Проломили стену. Город был разграблен. Захваченный скот скоро был съеден, и снова наступил голод.

На второй день после взятия Маары мы нашли там в тюрьмах, переполненных армянами и сирийцами, около пятисот пленных грузин. Среди них оказался Хахутай. Он успел побывать сокольничим у маарийского амира Халифа, но за то, что он погубил любимого сокола амира, его бросили в тюрьму.

Голод свирепствовал. Бедняки занялись грабежом. Они нападали под покровом ночи на епископов и князей и отнимали у них золото и серебро.

Богатые в страхе глотали золотые монеты и от этого

погибали. Грабители накидывались на мертвых и вскрывали трупы в поисках золота.

В этом походе на мою долю выпали большие заботы. Нечем было кормить бывшую царицу Русудан и больных, приходилось днем и ночью сторожить Хахутая, чтобы он не сбежал снова.

Только была взята Маара, как опять пошли раздоры — кому владеть крепостью?

Боэмунд и Раймунд подрались, выхватили мечи и чуть не зарубили друг друга.

Разгневанный Боэмунд ушел со своим отрядом обратно в Антиохию.

Оставив пылающую Маару, мы уже за полночь напали на Кафар-таб.

В крепости Кафар-таб мы нашли двести пленных грузин, угнанных из Алгети еще при великом нашествии сельджуков. Освобожденные соотечественники плакали и обвиняли нас.

Петрус Бартоломеус возобновил свои прорицания: буд-то во сне ему явился святой Николай и велел передать нам, что Иерусалим во что бы то ни стало должен быть отнят у агарян.

Войско потребовало: пусть Петрус Бартоломеус пройдет босой через зажженные костры. Если он останется невредим, значит, он не обманщик и прорицание его заслуживает веры.

Среди пустыни были разложены костры. Петрус, взяв большой деревянный крест, босой и в одной рубашке, вошел в пылающий костер. Мгновенно пламя охватило его рубашку. Толпа вытащила его из огня и побила камнями.

Воины даже не разрешили похоронить убитого.

Гибель Петруса поколебала веру в правоту христианского копья.

Тогда епископы и князя вынесли из палатки золотую статую богоматери и объявили, что ангелы принесли ее с неба и передали им.

Войско успокоилось, и на рассвете мы продолжали наш поход через Сидонскую пустыню.

Вдруг шедшие впереди лошади и мулы начали фыркать и биться. Многие всадники были сброшены на землю. Животные остановились, и ничто не могло сдвинуть их с места.

Тогда пошли вперед пешие воины. Трудно передать вам весь ужас того, что поразило наши взоры!

С востока двигались тысячи пестрых змей. Движение их было подобно потоку, над которым, извиваясь, шевелились поднятые змеиные головы. Мерцание их глаз освещало пустыню.

Сквозь зардевшиеся облака еле просвечивала луна.

Никогда я не забуду ленивых извивов ужасного и отвратительного потока змеиных тел.

Местами они свивались в огромные живые канаты, скрученные и переплетенные.

Гладкие и скользкие, то блестящие, как салмасурская кольчуга, то сверкающие, подобно стали, они озаряли темноту.

И слышались свист и шипение из многих тысяч змеиных зевов. Кровь леденела в наших жилах, и нас обуял ужас.

Выступили вперед епископы и священники и с пением молитв подняли кресты. Ни одна лошадь, ни один воин не тронулись с места, оцепенев от страха.

Войско свернуло на один парсанг от дороги, здесь мы дождалась погонщиков мулов и лагерного обоза, разложили костры и разбили в пустыне лагерь. Усталые воины уснули.

В ту ночь много тысяч крестоносцев было укушено змеями. Погибло от змеиных укусов также множество лошадей и мулов.

На следующий день выступили в сторону Цезареи.

Были захвачены Цезарея, Хайфа и Рамла. Снова лилась кровь, и воины гибли от сельджукских стрел и ядовитых змей.

В нескольких парсангах от Иерусалима, после полуночи, мы совершенно неожиданно потеряли в пустыне Хахутая. Мы решили, что и на этот раз он тайком ушел искать пищу и попал в плен к сельджукам.

Взяв с собой трех копыеносцев, я повернул назад и занялся за поиски.

Я скакал на коне по безлюдной пустыне. Слышался только вой гнен.

Проехав два парсанга, я увидел у сельджукского кладбища лошадь Хахутая, стоящую без всадника, с опущенными поводьями.

Взглянув на холмы, я разглядел среди сваленных могильных камней вооруженного воина богатырского сложения. Как мне показалось, он в одной руке держал змеиную

голову, а другой выдергивал и бросал на землю птичьих перья. Тихо подкравшись, я все же не мог ничего понять, но наконец разобрал, в чем дело.

Хахутай нашел в степи подбитого аиста, ошипывал его и тут же пожирал. Когда он увидел меня, лицо его сморщилось от сильного смущения.

Мы взяли еще одну крепость, название которой я позабыл. Здесь сто грузин и около трехсот армян были освобождены из родового замка амира.

В моем отряде, насчитывавшем пятьсот греков, после схваток с сельджуками, после чумы и голода оставалось только сто человек.

Теперь под моим началом собралось более тысячи грузин, армян и сирийцев.

Граф Раймунд дал мне для их вооружения копья и мечи. Мы бродили по бесплодной пустыне еще одну неделю.

Лишь только на небосклоне обрисовались зубцы Иерусалимской крепости, все от мала до велика сняли обувь, опустились на колени и начали возносить хвалу господу.

От радости плакали старики, женщины и монахи.

Плакала бывшая царица Русудан, плакал слепой монах Атанас, оттого что бог не дал ему увидеть своими глазами эти зубцы на стенах. Плакал и бывший дьякон Хахутай — от огорчения, что Иерусалим совершенно разграблен сельджуками и нам нечем будет поживиться.

Литрец спросил меня:

— Неужели от сокровищ Иерусалима ничего не осталось? Как ты думаешь, батона Джонди?

— Наверное, ничего, — ответил я ему.

Хахутай глубоко вздохнул и, опечаленный, замолчал.

В стенах Иерусалимской крепости восемь ворот — Сионские, Соломона, Пустынные, Дворцовые, Иеремии, Суламифи, Колонные и Давида.

Крестоносцы обложили крепость с трех сторон. Тут с юга подошел граф Раймунд и раскинул шатры.

Ночью пришли три перебежчика, вышедшие через Пустынные ворота, — сириец, армянин и грузин. Они сообщили, что иерусалимский патриарх и все христиане еще при амире Наджм-Эддин иль-Гази бежали на остров Кипр.

Грузин, некий Почоликай, оказался монахом грузинского Крестового монастыря. Человек пожилой, но очень смелый. От него мы узнали, что иль-Гази успел ограбить грузинские

монастыри — Лазский, Николаевский, Креста и Божьей матери.

Уцелело около ста дряхлых монахов, бестрепетно ожидавших смерти.

Не прошло трех дней, как мы остались без воды, и тут началось наше хождение по мукам. У сарацин в городе были прекрасные источники. Недаром в Иерусалиме сложилась поговорка: «Молитвы и источники — истинные хозяева нашего города».

Почти в каждом городском квартале есть свой колодец и, кроме того, имеется три водоема — Израиля, Соломона и Яда. Только при мечети Харам Ак-Шерифа до двадцати колодцев. А мы должны были доставлять воду в бурдюках за несколько парсангов. Знойные пустынные ветры с шумом налетали на иерусалимские стены, под которыми мы томились от жажды.

По ночам наши воины пробирались в темноте к роднику, на них нападали сарацины и убивали их. Принести один бурдюк воды удавалось редким счастливым. Бедняки торговали водой по такой цене, что купить ее могли только богатые.

Богатырь Хахутай отличился и здесь. Притаскивая огромные бурдюки, он оставшуюся у нас воду продавал франкам по невероятной цене.

При этом он шутил:

— Если, с божьей помощью, франкам еще долго не удастся взять Иерусалим, то хоть один раз судьба богатых будет зависеть от меня и благодаря этой воде я построю себе дворец.

Пили из немытых, загрязненных бурдюков, и среди крестоносцев начались эпидемии. Кого шадил меч, тот принимал смерть от болезни. В свите бывшей царицы Русудан умерли две монахини.

Снова между князьями пошли раздоры — кого избрать царем Иерусалима?

Духовные лица говорили: царь иерусалимский венчан терновым венцом, и другого сажать на его место нельзя.

Тогда духовенство объявило трехдневный пост. Войско со всеми сопровождавшими его людьми должно было трижды обойти вокруг святого города.

Священники надели белые фелони, и все двинулись за ними вокруг городских стен.

На стенах собрались сарацины — мужчины и женщины.

Они плевали на кресты, ломали и кидали обломки на головы крестоносцам, сбрасывали камни и лили кипяток.

Готфрид и Раймунд созвали всех военачальников на совет. В ту же ночь подвели камнеметы, и в спящий город полстели камни. «Бараны» начали долбить стены.

Сарацины обозлились и прибегли к хитрости: на стены были повешены мешки с сеном, чтобы ослабить силу ударов.

Крестоносцы стали пускать в мешки большие стрелы с зажженными пучками соломы, и сено сгорело. Снова заработали тараны.

По приказанию Раймунда камнеметы и «бараны» были покрыты плетнями (этот прием я увидел впервые). Защищенные плетнями орудия были подведены к стенам и основательно их разрушили.

Сарацины сверху обливали нападавших кипящей смолой и воском с серой. Таким образом им удалось поджечь наши «бараны» и камнеметы.

Нет худа без добра. Я здесь научился многим военным приемам.

Раймунд позвал мастеров, и они закутали машины ослиными, буйволиными и верблюжьими шкурами.

Готфрид Бульонский и Раймунд велели построить двухэтажные машины и стали сами во главе тяжеловооруженных воинов.

Сарацины прибегли к новой хитрости.

Они начали бросать в нас кувшины разных размеров и урны, наполненные горящими углями.

Франки вовремя приняли меры. Шкуры, окутывавшие орудия, они перевернули шерстью вниз. Кувшины соскальзывали с них, не причинив машинам вреда.

Тогда сарацины стали сбрасывать обмазанные смолой зажженные бревна, которые были связаны большими цепями. Машины крестоносцев опять оказались в опасности.

Франки и здесь нашли выход. Было подвезено много уксуса, и им обливали перекинутые бревна. Бревна охватил огонь, и, так как они были связаны цепями, крестоносцы стали крюками тянуть цепи и отнимать их у сарацин.

Крестоносцы и сарацины тянули свисавшие цепи каждый в свою сторону. Готфрид Бульонский приказал придвинуть машины к стенам, и в мусульман полетели большие камни, стрелы и дротики.

Герцог Готфрид со своими рыцарями в полном вооружении бросился на верхний этаж машин. Вместо моста меж-

ду машинами и стеной были положены бревна, и по ним нападавшие, подняв мечи, вскакивали на стены и с них прыгали в город.

Дух христова войска поднялся. Одни несли лестницы, другие тащили бревна, приставляли их к стенам и врываются в город. Готфрид и Танкред тем временем уже окружили дворец Соломона, перебили защищавших его сарацин и, взобравшись на его крышу, сбрасывали вниз без разбора стариков, женщин и детей.

Я и Хахутай, оставив в лагере бывшую царицу и стариков, пошли впереди нашего отряда, состоявшего из греков, грузин и армян.

Мы добрались до дворца Соломона вместе с Танкредом и насытили наши сердца избиением неверных.

Отступив с площадей, сарацины упорно бились у стен и ворот города и у источников.

Как передать вам, блаженнейший владыка Георгий, все, что мы пережили в эти ужасные дни!

Я был ранен копьем в бедро и еле волочил правую ногу. По площадям с диким храпом носились вражеские лошади без всадников. Хахутай поймал двух оседланных коней, на одного посадил меня, на другого вскочил сам, и так мы продолжали бой, конные.

Кровь текла по улицам, и мучимые жаждой лошади тянулись к ней мордами...

Когда Пустынные ворота распахнулись, в них произошла ужасная давка. Ворвавшиеся крестоносцы насакивали друг на друга, и не одна тысяча мужчин и женщин была задавлена насмерть.

Всякие картины приходилось мне видеть на войне, но я не мог себе представить подобного неистовства коней! Осатанев, они кусались, как волки, и, ворвавшись в ворота, терзали воинов.

Франки устроили настоящую охоту на мусульман, прятавшихся в коридорах, кладовых и подвалах.

Танкред со своими норманнами ограбил мечети Акса, Харама и Омайадов, дворцы амира и Соломона и церкви.

Серебро и золото воины тащили мешками. Я не в состоянии был удержать Хахутая. Он набил золотом все карманы и засовывал его за пазуху. Танкред и его рыцари нагрузили награбленным золотом шесть верблюдов.

Готфрид Бульонский босой вошел в церковь, где погре-

бен Христос, и долго стоял на коленях, плача и воздавая хвалу богу.

Хотя Хахутай доставил мне много неприятностей своим обжорством и жадностью, но в последнем бою я, поистине, обязан ему спасением своей жизни.

Накануне приступа я тщетно пытался уговорить Хахутая остаться в лагере, желая, чтобы он отдохнул, набрался сил после долгого плена и охранял бывшую царицу.

Три дня и три ночи он мужественно бился бок о бок со мной. В шутку я прозвал его моим оруженосцем.

К вечеру третьего дня город был почти очищен от сарацин. Полководец халифа Аль-Афдали бежал. Отдельные мелкие группы мусульман были загнаны в тупики, и там их перебили.

На нашу долю выпало очистить один квартал, где находится грузинский Крестовый монастырь.

Мы были очень утомлены и изнывали от жажды.

Я, Хахутай и несколько грузин остановились у источника Соломона, чтобы помыть запачканные кровью руки и лица.

Моя кольчуга была пропитана кровью. Я почувствовал к ней отвращение, снял ее и велел Хахутая ее вымыть. Он долго возился, тщетно пытаясь счистить запекшуюся кровь. В это время сирийский лазутчик сообщил: отряд сарацинских конников дерзко проскакал по площади и скрылся через Пустынные ворота. От этих ворот был также ход в довольно длинный и широкий подземный коридор.

Подожли гонец и несколько крестоносцев, которые подтвердили, что один египетский шейх со своим хаджибом и остатками отряда в количестве около двадцати всадников, после жаркой схватки с франками у Харамской мечети, умчались в сторону Пустынных ворот.

Хахутай меня умолял:

— Ты без кольчуги, батона Джонди, дай мне десять копыеносцев, и я вытасу неверных из их убежища.

Мне стало жалко Хахутая: бой кончился, и вдруг он погибнет в последние минуты. Подумав, я послал к Пустынным воротам двенадцать сирийцев.

Вход в подземелье был полутемный, обложенный камнями.

Снова ко мне стал приставать Хахутай и совал мне кольчугу.

— Надень, — просил он меня неотвязно, но вид коль-

чуги, пропитанной кровью, вызывал у меня тошноту, и я отказался ее надеть.

Вдруг из подземелья выбежал один из сирийцев. Щека его была рассечена, и он жалобно кричал:

— Всех наших перебили!

Я послал десять грузин и армян, вооруженных копьями. Они не возвратились. Тогда я дал шпоры коню и приказал своим воинам следовать за мной.

Только мы углубились в подземелье, как я различил в полутьме предводителя сарацинских всадников. Он сидел на огромном коне и рубил мечом моих копьеносцев.

Увидав меня, шейх перескочил через головы нескольких человек и напрямик бросился ко мне с поднятым мечом. Он был с ног до головы в кольчуге. Я вонзил копье в окольную грудь его коня. Конь отпрянул к стене и встал на дыбы. Шейх упал замертво.

Мое копье сломалось. Не успел я схватить рукоять меча, как хаджиб, перепрыгнув через простертый труп своего господина, бросился ко мне и занес меч над моей незащитной грудью. В ту же минуту Хухутай ударил хаджиба копьем с такой силой, что оно проткнуло его живот подобно веретену.

Когда бой кончился и мы, сидя у источника Соломона, обмывали руки и лица, Хухутай сказал мне, улыбаясь:

— Если бы я тебя послушался, батоно Джонди, и остался в шатре, кто бы всадил копье в этого хаджиба?

Как только Иерусалим был очищен от сарацин, с его улиц и площадей убрали трупы. Извлекать их пришлось отовсюду. Ими были завалены водоемы, вода источников покраснела от крови.

Из потайных мест вывели грузинских монахов и монахинь и представили их бывшей царице Русудан в ее шатре. С пением их ввели в освобожденный Иерусалим и устроили в грузинском монастыре.

По желанию бывшей царицы в этот же вечер в церкви, где погребен Христос, слепой монах Атанас водрузил походный крест Багратидов.

Монах Атанас молился, проливая горькие слезы.

Перед сном он пожелал причаститься.

Его била лихорадка. Ночью в жару он бредил:

— Завтра утром я встану и обмою глаза в Источнике

слез, быть может, зрение ко мне вернется и я смогу собственными глазами лицезреть освобожденный Иерусалим.

К утру его не стало.

Я, Хахутай и тысяча грузинских воинов на днях направляемся в Лаодикию и оттуда морем поедem в Хупту».

В приписке к своему письму эристав Джонди прибавил:

«Великие испытания мы претерпели, но в этих походах я изучил много военных приемов, о чем подробно доложу нашему государю».

КРОВЬ И ВИНО

Рати Орбелиани с напряженным вниманием следил за всем, что происходило в Триалетском эриставстве. Ката и Иоанн Дукидзе тайно присылали к нему гонцов. Образ действий Давида казался Рати в некоторых отношениях загадочным.

Прежде всего, он не мог понять, почему царь, взяв Клдекари, не обложил тотчас же Парцхиси. Что чухчи Каримана Сетиели не спускают с него глаз, он отлично видел через бойницы крепостных башен.

Непонятно было и то, по каким соображениям царь Давид не только не мешал сторонникам Орбелиани снабжать Рати припасами, но даже не препятствовал им присоединяться к парцхисскому гарнизону.

Наконец Рати успокоил себя предположением, что у царя нет достаточного количества войск, а что взять Парцхиси без кровопролития невозможно, — это он хорошо знает.

Рати крепко надеялся на неприступность своего убежища. Во время великого сельджукского нашествия огромные полчища самого Малик-шаха не могли овладеть этой твердойней. На что же может в таком случае рассчитывать царь Давид?

Хотя Парцхиси не стоит на отвесных скалах, как Тмгви, Биртвиси или даже Клдекари, и каменеты и «бараны» не останятся перед естественной преградой, но зато крепость окружена тремя поясами стен толщиной в три размаха вытянутых рук.

Чтобы проломить все три пояса, понадобится долгое время. На самый худой конец в Парцхиси есть потайной ход, ведущий к биртвисским утесам.

Величественная двухъярусная крепость вмещала многочисленный гарнизон, а в ее подвалах и кладовых были собраны запасы продовольствия на целый год.

На противоположной скале, на неприступных утесах, возвышалась крепость Биртвиси.

Рати долго пытался выведать через Иоанна Дукидзе и других своих приверженцев, находятся ли там только чухчи Каримана Сетиели или царь держит в Биртвиси какие-нибудь особенные войска, которые бросятся за Рати в погоню, если ему придется спешно уходить. Однако никому не удалось обмануть бдительность чухчей и узнать что-нибудь определенное.

Еще когда царь Давид проводил маневры в Начармагеви, Рати временами терял мужество и подумывал о бегстве. Но тогда против восстал парцхисский цихистав Заза Джубиели.

Это был опытейший спасалар Липарита, и упрямый Рати считался только с его советами.

Как раз в это время в Парцхиси приехал афонский монах Микела. В Багдаде он видел монаха Козмана, который ему жаловался — нет у него ни пергамента, ни денег, и поэтому он просит передать на словах: Бархиарок-взял Багдад и теперь очень скоро придет молодому Орбелиани такое многочисленное войско, что шесть дней подряд оно будет идти через Триалети.

Рати ждал сельджуков уже шесть месяцев, но они не показывались и не давали о себе знать.

Известие о прибытии Чкондидели в Триалети встревожило Рати, и он настойчиво убеждал Джубиели:

— Пока царь еще не обложил Парцхиси, уйдем с войском в Ках-Эрети. Кахетинский царь Квирике присоединится к нам, и мы через Зедзени вторгнемся в Среднюю Картли.

У Рати был такой расчет: как только союзные войска кахетинского царя Квирике, эристава Дзагана и сторонников Липарита прорвутся в Начармагеви, царь Давид выступит из Липаритис-убани. Союзники обрушатся на него соединенными силами, и тогда у Начармагеви войско царя Давида будет уничтожено.

Цихистав Джубиели воспротивился:

— Погоня царя нас настигнет, и мы попадем в его руки, не дойдя до крепости Вежини.

В Парцхиси не хватало корма для лошадей, и именно поэтому Заза предостерегал Рати:

— Нельзя особенно полагаться на отощавших коней.

Не находя покоя, Рати днем и ночью строил планы, как бы вырваться из крепости. В ту пору приехал из Липаритисубани орбетский поп Прохор с письмом от Каты.

«Царь, возможно, хочет примириться с твоим отцом и, как видно, для этого и вызвал Чкондидели», — сообщала жена Липарита.

Рати Орбелиани был из тех людей, которым даже в лучших намерениях других мерещится злокозненный умысел.

«Маневры? Это, верней всего, очередная уловка Давида или только сплетни Махары, — думал Рати. — А что касается примирения...»

— Допустим, что царь вправду ищет примирения, — говорил он Заза Джубиели. — Зачем же он в таком случае призвал спасаларов с войсками?

Заза воздержался от советов. Во-первых, он боялся взбалмошного Рати, а во-вторых, он знал, что если дело кончится удачей, то Рати, не смущаясь, припишет это своей мудрости, а при неуспехе свалит всю вину на голову советчика.

Поэтому, ожидая, как обернутся дела, старый Заза пожимал плечами и хранил молчание.

Однажды приехал сын Иоанна Дукидзе Цитлосан с подарками для Рати. Он по поручению своего отца сообщил:

— По самым достоверным сведениям, в планы царя входит захват Ках-Эрети, а для этого ему необходимо перейти Алгети. Чтобы не оставлять врага в тылу, он постарается взять Парцхиси.

Слова Дукидзе звучали уверенно.

— Если ты не побоишься непогоды, — передавал Иоанн Дукидзе молодому Орбелиани через своего сына, — выходи с гарнизоном. Я тебя встречу в Цинцхаро с тремя тысячами лучников и тысячью тяжеловооруженных копьеносцев. Самое главное — во что бы то ни стало доберитесь до Цинцхаро, а там, даже если войско царя нас нагонит, вместе уйдем с боем.

В Вежини нас будут ждать Квирике и Ахсартан. Ганджинский амир Гозголи тоже обещал нам подмогу.

В ближайшие дни придет к тебе от сардара сельджукских пограничных войск хамданский кади Мустафа бен-Исмаил. Имей в виду, что он любит брать взятки, и будь с ним щедр. Кади Мустафа тебе подтвердит, что сельджуки выполнят свое обещание и нам помогут.

— Не было ли вестей от монаха Козмана? — спросил Рати Цитлосана.

— Ничего о Козмане не слышно.

Рати наблюдал за выражением лица Заза Джубиели и заметил, что оно не обнаруживает радости от полученных известий.

— Что ты скажешь, Заза? — тихо спросил Рати.

Джубиели не один раз имел случай убедиться в легкомыслии и лживости Иоанна Дукидзе, бредившего то вступлением в Триалети сельджукского войска, то помощью царя Квирике.

Но родство Иоанна с Катой и дружба Рати с его сыном Цитлосаном не позволили Заза быть откровенным, и он лишь качал головой и вовсю поносил сельджуков.

— Не знаю, что сказать тебе, наш господин, — отвечал начальник крепости и, как всегда в таких случаях, чтобы утомить слушателей и уклониться от прямого ответа, пустился в пространные рассуждения. — У сельджуков такой обычай, эристав над эристами: им легче сто раз обещать, чем один раз выполнить обещанное. Подобные обещания давным-давно слышим мы от них. Еще Триалети не было занято царем, когда Бархиарок слал нам послание за посланием, суля помощь и оружием и войсками. Разве это не так? Сам рассуди, эристав над эристами, какая цена всем этим посулам.

Всем известно, что если попросить у сельджука: сними луну и давай ею играть в поло, — он вежливо ответит: «С удовольствием, обязательно. Сейчас сниму луну, и будем играть ею в поло».

Язык сельджуков сладок. Послушай их речь — не покажется ли тебе, что они не говорят, а поют?

По губам Рати прошла улыбка.

Тогда решился вставить свое слово и Долгий Георгий:

— Знал я когда-то, эристав над эристами, одного шейха в Исфагани. Когда я был еще безбородым юношей, он часто меня поучал:

«Так как выдумка гораздо слаще правды, держись, юноша, в жизни правила ходить по шатким сплетениям лжи и не приближаться к скалам правды.

Поэтому, если не желаешь нажить врагов, никому ни в чем не отказывай. Если ты что-нибудь обещал даже твоим друзьям, но не исполнил, — они, будь уверен, станут думать: он хотел нам добра, но ему не удалось это сделать.

Если же ты напрямик откажешь просителям, — не сомневайся, что из этого они сделают вывод: он не хочет нам добра и даже не потрудился обещать».

Заза заметил, что эти слова понравились Рати, и прибавил к сказанному раньше:

— Разве не такими же сладкими обещаниями склонили сельджуки эристава над эриставами Липарита и покойного кахетинского царя Ахсартана переменить веру? Они обещали всю Среднюю Картли и помощь людьми.

Где Средняя Картли и где обещанное войско?

Или скажи, эристав над эриставами, куда делись войска, что шесть дней кряду должны были идти через Триалети? Ведь монах Козман сообщал, что они уже идут.

Неужели они за шесть месяцев не дошли к нам из Исфагани? Если даже мы это все забудем, то для выполнения обещанного должен быть срок. Не правда ли?

Речи Джубиели убедили Рати, и он ничего не сказал стоявшему перед ним Цитлосану.

Цитлосан, поняв, что на этот раз противная сторона одержала верх, поспешил сказать:

— Отец так и говорил мне перед отъездом: «Не получив от меня известия, из крепости пусть не выходят. О времени и месте встречи я заранее дам знать».

Цитлосан уехал.

Снова повалил снег...

Снег падал хлопьями, не переставая. Обычно оживленные алгетские дороги обезлюдели. По ним изредка пробирались лишь охотники и фонцы. По ночам волки стаями подходили к самой крепости, окружали ее и выли. Их зловещей вой наводил страх.

Рати опять начал волноваться.

— Выйдем из крепости, — старался он убедить Джубиели, но в глубине его сердца копошилось сомнение: можно ли в такую непогоду вывести из крепости гарнизон, а самое главное — мулов и лошадей?

Не знал он, что нужно с собой брать — больше оружия или больше продовольствия?

Не мог он не понимать, что означает молчание Заза. Опытный вояка считал все планы выхода из крепости безнадежными и только не хотел говорить об этом своему господину.

Иногда по ночам в крепость пробирались гонцы.

Монах Евтихий сообщал новые подробности о взятии Иерусалима.

Он писал, что иерусалимский патриарх через одного грузинского монаха прислал ему чудотворные ладанки.

Странствуя по Средней Картли, монах Евтихий распространял радостную весть о взятии Иерусалима, украшая ее баснословными добавлениями — будто крестоносцам не пришлось прибегать ни к каким военным хитростям, не понадобилось даже выпустить ни одной стрелы из лука; они только поднимали кресты и показывали ладанки, как неверные, потеряв способность сопротивляться, тотчас падали ниц.

Монах, прикидываясь святым и чудотворцем, дурачил народ баснями, бойко торговал ладанками собственного изготовления и посылал вырученные деньги Рати в Парцхиси. «Продовольствие и ладанки ждите в ближайшие дни», — сообщал он при этом.

Заза, в душе горько издеваясь, хранил молчание.

Взятие Иерусалима не могло не обрадовать Рати: после наложенной на него епитимьи он стал очень набожным. С другой стороны, сын Липарита не был настолько наивен, чтобы не разбираться в сложившейся обстановке, — победа крестоносцев грозила ослабить натиск сельджуков, от чего, несомненно, выигрывал царь Давид.

Это событие Рати считал обоюдоострым мечом. Мнение его разделялось триалетскими азнаурами и державшими руку Липарита епископами цалкинским, цинцхаройским и гомаретским.

Доситеоз Цалкинский привез из Византии много новостей и непрестанно превозносил благочестивого пополюбца императора Алексея (этими восхвалениями он пытался бросить тень на царя Давида).

Кроме того, три названных епископа на все лады повторяли слова царя Давида:

— Самые главные дела у меня еще впереди. Как покончу с ними, примусь за духовенство.

В одном лагере с цалкинским, гомаретским и цинцхаройским епископами оказались также епископы голготский, харчашенский и бодбийский и все черное духовенство Внутренней Картли и Ках-Эрети.

Свои надежды они возлагали на Рати Орбелиани и на пополюбивого царя Квирикe.

По этой причине они все время посылали в Парцхиси набранные среди народа продовольствие, серебро и золото. Чтобы их действия не привлекли внимания Каримана Сетиели, они для отвода глаз также посылали приношения попу Прохору в Орбети.

Враждебное царю духовенство объединял монах Евтихий. Он перестал надеяться на Липарита и Кириона Манглисского, а уповал только на Рати Орбелиани, обещавшего ему в своем будущем дворце должность придворного духовника.

Евтихий сумел за самое короткое время расположить к себе не только легковерного Рати, но и его азнауров и воинов. Все они считали Евтихия чудотворцем. При Рати были в Парцхиси два монаха — Микела и Беция, исполнявшие обязанности его попов.

Евтихий настолько внушил им веру в свою святость, что они целовали полы его рясы.

* * *

Рати Орбелиани не отходил от бойницы крепости.

У него хватало золота и серебра, ботинатов и дукатов, но снежные заносы на дорогах и необычные обвалы приостановили доставку продовольствия.

Не спрашивая его, Заза Джубиели по ночам рассылал воинов, без пощады убивавших оленей. Туши приносили в крепость и мясо засаливали.

Однажды Рати увидел своими глазами, как тащили в крепость убитых оленей. Он одобрил распоряжение Заза и велел послать в лес сразу двадцать охотников, чтобы они набили побольше дичи.

Оленей собралось в ущелье так много, что алгетские мальчишки ловили их, как телят.

От бескормицы олени в отчаянии бросались к жилищам, мельницам, амбарам и хлевам.

Они приближались к деревьям, останавливались на холмах, изогнув шеи, жалобно ревели и, как будто забыв, что они только дичь, просили помощи у бессердечного человека.

Заза рассчитывал, засолив мясо около двухсот оленей, протянуть зиму.

Как-то вечером, когда Рати дремал у камина в дарбази начальника крепости, перед ним предстали его меченосец Долгий Георгий и Заза Джубиели.

Они сообщили, что накануне в сумерках чухчи пересекли дорогу каравану мулов с продовольствием, присланным из Кахетии Ахсартаном, избили погонщиков и угнали навьюченных мулов.

Рати был озабочен.

Кормить гарнизон и лошадей становилось все труднее. Воины без спроса забирались в кладовые и воровали из крепостных запасов ветчину. Голодные лошади жалобно ржали.

По приказанию Рати, Джубиели начал каждую ночь проверять замки кладовых, где хранились на черный день оленья ветчина, гусятина, свиные окорока и сыр. Там же имелись запасы муки и вина.

Среди гарнизона поднялся ропот. Люди жаловались, что слабеют от питания чечевицей и лобио, но и чечевица и лобио скоро кончились. Тогда стали мечтать, что вот придет монах Евтихий и привезет провиант:

Сотники и азнауры не скрывали своего недовольства: если воевать, так воевать по-настоящему. Выйдем в поле и сразимся с врагом.

Наконец явился Евтихий. Он не успел войти в ворота крепости, как монахи и воины окружили своего мессию, целуя полы его рясы.

Монах Беция с ликованием сообщил Рати о «счастливом событии».

Евтихий сразу сделался парцхисским пророком и чудотворцем. С благоговением внимали обитатели крепости его проповедям, в которых он призывал к посту и смирению.

Он оделил азнауров и воинов ладанками — такими же, какие, по его словам, были на крестоносцах, когда они освобождали Антиохию и Иерусалим. Чудодейственная сила этих мешочков со святыми мощами охраняет человека и от дурного глаза, и от чумы, и от яда, а главное — от врага.

Заза Джубиели, вздыхая, слушал разглагольствования Евтихия и думал, что лучше бы монах вместо ладанок и проповедей привез продовольствие.

Вскоре опять между сотниками и азнаурами пошло перешептывание.

Рати было ясно, что выйти из крепости совсем не так легко, как это казалось нетерпеливым людям. Необходимы были лыжи и салазки.

Он представлял себе это дело так: двести воинов на лы-

жах проложат дорогу, и по их следам пройдут тысячи. Оружие и припасы повезут на салазках.

Поздно ночью в Парцхиси приехали гости — хамаданский кади Мустафа бен-Исмаил и с ним три сельджука.

Было уже за полночь, когда Заза Джубиели и Долгий Георгий разбудили азнауров Цихелаисдзе, Махароблисдзе, Гарибаисдзе и трех сыновей Дуқисдзе.

Низкорослые сельджуки были поражены, увидав Заза Джубиели и меченосца Долгого Георгия. Когда за этими богатырями вышли такие же громадные и плечистые азнауры, они замерли от удивления — где раздобыл Рати Орбелиани столько великанов?

Мустафа бен-Исмаил не удержался и спросил Долгого Георгия, состоявшего при Рати переводчиком:

— Неужели у вас в Триалети все такие рослые?

Долгий Георгий ответил, улыбувшись:

— Вѣдь вы видели наши ели, вот и люди вырастают такие же.

Подбор людей в Парцхиси был не случайным.

Рати Орбелиани всегда доказывал:

— У малорослого человека и ума мало.

Махара подшучивал над Рати, Заза и Долгим Георгием:

— Если их сложить в длину, выйдет один парсанг, а ума у всех троих не хватит на одного гусенка.

Воинов Рати тоже выбирал покрупнее.

Когда он высмеивал коротышек, все знали, что он метит в Махару. Махара со своей стороны не упускал случая пройтись на его счет:

— Высокий мужчина потому неумы, что от его головы до пят чересчур далеко, и от темени до ступни ум не доходит.

Рати, окруженный своими азнаурами, долго совещался с сельджуками.

Мустафа бен-Исмаил был красноречив и от имени сардара авасинских войск твердо обещал помочь Орбелиани, лишь только он выступит с войском из крепости.

Когда в бойницы заглянула утренняя заря, гостей отвели на отдых. Рати задержал у себя Заза и Долгого Георгия и приказал:

— Гарнизону в течение трех дней быть готовым к походу. Послать воинов в Гомарети за лыжами, палками и салазками.

Заза поник головой, а Долгий Георгий, облокотившись на камни, грустно ковырял в широких ноздрях своего носа.

Оба они слишком мрачно смотрели на возможность выйти из крепости. Царь Давид, по их мнению, только притворился, что забыл о Парцхиси и его владетеле.

Подобно соколу, который спокойно кружит в выси и высматривает, под каким кустом терновника спрятался фазан, чтобы в момент, когда он захочет переменить убежище, стрелой упасть с неба и вонзить когти в жертву, — так же притаился царь Давид. И никто не знает, в какой день он нападет на Парцхиси.

Так думали Заза Джубиели и Долгий Георгий, не веря утверждению Рати, что царь Давид не посмеет сразиться с многочисленным парцхисским гарнизоном.

За лыжами послали воинов. Тем временем Ката прислала через мельника Алхаза письмо.

У Георгия Чкондидели опухоль в печени и расширение зрачков. Жар у него увеличивается. Возможно, что ему суждено умереть в Липаритис-убани.

Это известие обрадовало Рати.

— Если Чкондидели умрет, это как гром поразит царя, и ему тогда будет не до нас. Быть может, мы успеем добраться до Цинцхаро. Кариман Сетиели со своими чухчами погонится за нами, но мы этих верзил-сванов перешвыряем в Алгети, как бурдюки, — говорил Рати молчаливо слушавшим его Заза и Долгому Георгию.

Ни цихистав, ни меченосец не разделяли его бодрой уверенности.

Рати вдруг взяла злоба, и он гневно нахмурился:

— Прошло уже три дня. Почему, Заза, ты не исполняешь моего приказания?

Я послал семь человек в Гомарети, но, как видишь, ни один из них не вернулся и лыж не видно.

Если богу угодно будет взять к себе Чкондидели, царь не оставит его тогда в Триалети. Поэтому позволь доложить тебе, эристав над эристами...

Заза сделал короткую паузу и затем продолжал:

— Послушай, эристав над эристами, не лучше ли нам дожидаться весны? Тогда нам не будут нужны ни лыжи с палками, ни салазки...

Произнеся эти слова, Заза, боясь своего вспыльчивого господина, поспешил прибавить:

— Не весны, а смерти Чкондидели.

Р а т и: Я знаю тебя, Заза. Попросишь у тебя совета осенью, ты откладываешь до зимы. Зимой откладываешь до весны. Если мы будем без конца сидеть в Парцхиси, царь Давид закончит все свои военные приготовления, и нам гораздо труднее будет с ним воевать. Кроме того, наши воины перемрут с голоду.

Давиду только и нужно взять Парцхиси без кровопролития. Пока еще у нас впереди долгая зима. За зимой, как полагается, последует весна. Затяжка войны непременно приведет к поражению. Неужели ты этого не понимаешь?

З а з а: Я... я... я... (Он заикался.) Если спрашиваешь мое мнение, эристав над эристами, я готов всегда... Хоть в эту ночь выведем войско из крепости и сразимся с царем. Я говорю тебе то, что, по моему разумению, лучше для дела. Затяжка войны непременно приведет к поражению—это твои собственные слова, эристав над эристами. Но верно и то, что лучше отложить бой, чем ввязываться в него безрассудно. Разве не так?

Р а т и: Знай, Заза, колебание приличествует только бабам. Если нерешительно тянуть тетиву, зверь не станет ждать стрелы.

Прошла еще одна неделя. Посланные в Гомарети люди не вернулись, и не было ни лыж, ни салазок.

Рати тревожился. Он потерял сон, часто ночью вскакивал с постели и смотрел на дороги.

Наконец предложил свои услуги Евтихий:

— Я отправляюсь в Гомарети, и через три дня будут лыжи с палками и салазки.

Евтихий ушел в сопровождении трех воинов.

Азнауры уверяли Рати:

— Для Евтихия нет ничего невозможного. Увидите, он доставит и лыжи, и все, что нам нужно.

Снег снова валил хлопьями... Рати просыпался ночью от грохота обвалов. Слышался вой волков, в конюшнях беспокойно ржали голодные лошади... Рати, охваченный нетерпением, шагал взад и вперед по дарбази цихистава, бросался в бессильном гневе к бойницам, но на темных дорогах не было видно ни Евтихия, ни людей с лыжами.

Евтихий не приехал в срок. У воинов исчезла последняя надежда. Не было обычных посылок и от попа Прохора.

Азнауры роптали:

— Выйдем из крепости и дадим сражение. Лучше умереть в бою, чем подыхать с голоду.

Прошло еще три дня. Поздно ночью приехал Цитлосан и сообщил эриставу:

— Отец ждет тебя с войском в Цинцхаро.

Рати решил:

Со всем гарнизоном выйти из крепости и пробиваться с боем.

Он позвал Заза Джубиели и Долгого Георгия и приказал:

— С завтрашнего дня начинайте готовиться к выступлению.

Заза почесал голову и решился прямо сказать своему господину:

— Подождем лучше Евтихия. Без лыж мы из крепости не выйдем, без салазок не сможем вывезти ни вооружение, ни припасы. Рассчитывать в такую погоду на мулов и на лошадей — бессмыслица. В Алгетском ущелье нас встретит войско царя Давида, и мы наверняка пропадем.

Рати продолжал настаивать на своем.

Заза не оставалось ничего другого, как с рассвета начать готовиться к походу. Он собрал во дворе крепости начальников башен. Оруженосцы точили клинки, лучники меняли наконечники стрел, кузнецы подковывали мулов и лошадей и ковали стрелы, кольчужники чинили кольчуги и латы, седельники — седла и уздечки.

Заза Джубиели суетливо ходил по крепостным дворам и торопил мастеровых. Он не скрывал от Долгого Георгия своего раздражения. Особенно трудно осуществимым казался ему выход из крепости с мулами и лошадьми, но он хорошо знал, как дорожит Рати Орбелиани своими боевыми конями и что он ни за что не оставит их в Парцхиси.

Рати днем и ночью присматривался к алгетским дорогам и старался убедить цихистава: ведь гоняют же сейчас скот из деревень, кое-где снег наезжен санями, значит, и мы как-нибудь проберемся на лошадях.

То же подтвердили и сельджукские гости:

— У Лорийской крепости снега было еще больше, но мы все же проехали верхом.

Рати волновался. Горячая орбелиановская кровь в нем кипела. Он торопил и подбадривал мастеровых.

Особенно любил Рати смотреть, как точили мечи. Глаза его не могли оторваться от положенных на точильный камень

клинков, сверкающих отточенным острием, от летящих в стороны искр...

К вечеру приготовления были закончены.

Тогда Рати приказал цихиставу вынести запасы ветчины и окорока, открыть кувшины с вином и устроить войску пир накануне выступления.

Резали баранов, нанизывали мясо на шампуры, разжигали костры во дворе крепости, в торнях лепили шоты. Запах свежего хлеба щекотал обоняние голодных воинов.

Мустафа бен-Исмаил решил сообщить Рати свое заветное желание:

— Я столько слышал об орбелиановской оружейной...
Прошу тебя показать мне твои мечи и доспехи.

Перед тем как сесть за стол, Рати в сопровождении Долгого Георгия повел сельджукских гостей в оружейную.

Заза Джубиели и оружничий смотрели, как писец и казначей выбирали лучшие латы и кольчуги.

Сельджуки с интересом рассматривали копыя, большие стрелы, называющиеся кейбури, мечи хамаданской, исфаганской и дамасской работы, нагрудники, сделанные знаменитыми шайзарскими и джиабскими мастерами, наручни и поножи.

Особенно им понравились кольчуги и доспехи работы грузинских оружейников. Они покачивали головами и обменивались замечаниями.

На одной из стен рядами были развешаны мечи и панцири, служившие трем поколениям Багуаш-Орбелиани — Липариту Великому, его сыну Ивану и Липариту-внуку.

Мустафа бен-Исмаил долго расхваливал один дамасский меч в надежде, что Орбелиани ему его подарит. Хотя Рати не знал по-сельджукски, но по выражению лица и жестам понял тайное желание своего гостя и, не дав ему снять меч со стены, снял его сам, передал Долгому Георгию и сказал:

— Переведи ему, Георгий, мои слова: этот меч мне особенно дорог, он опоясывал моего знаменитого прадеда Липарита Великого, когда тот взял Аниси и у Анисских ворот захватил в плен вельмож царя Баграта.

Кади понравился другой меч — рукоятка его в виде грузинского креста была выкована в Уплисцихе при Давиде Куропалате.

Мустафа бен-Исмаил снял его, подержал в руках, потрогал ногтем острие и, услышав приятный звон, произнес вполголоса:

— Не уступает шобарканским.

Рати почти вырвал меч из рук гостя и показал ему вычеканенную на лезвии открытую волчью пасть. Опять он обратился к Долгому Георгию:

— Скажи, что этим оружием Липарит Великий уничтожил войско царя Баграта у Аркисской крепости.

Мустафа бен-Исмаил загляделся на богатырскую кольчугу работы грузинского мастера из Дманиси.

Но Рати не мог расстаться и с кольчугой. Снова он взглянул на Георгия:

— Эти доспехи были на моем деде, когда после победы над царем Багратом он участвовал в походе византийского кесаря на Двини.

Обиженный гость умолк. Заметив его недовольство, Рати взял из рук оружничего и передал гостю довольно истертый дамаский меч.

— Султан Тугриль-бек подарил его в знак дружбы Липариту Великому... — сказал он и начал расхваливать султанский подарок.

Кади Мустафа выслушал восхваление мечу, не проронив ни слова, причем лицо его не выразило удовольствия. Передавая меч сопровождавшему его сельджуку, он пробормотал под нос:

— Таких мечей у меня дома не менее семи.

Долгий Георгий услышал эти слова, но не перевел их Рати.

Заза хорошо знал, что Рати, по природе щедрый и гостеприимный, был скуп, когда дело касалось оружия. В глубине души он радовался, что Рати навязал гостю этот заржавленный меч.

Заза и Долгий Георгий, как чуму, ненавидели сельджуков, и оба ликовали, что кади вышел из оружейной не солоно хлебавши. Долгий Георгий был так доволен, что шепнул Заза, когда они поднимались по лестнице:

— Что, кроме мечей, эти нечестивцы делали на свете?

— Мечи и кнуты — вся их работа... — поддержал Заза и со злобой посмотрел на согбенную спину хамаданского кади.

Когда Рати с гостями вернулся во двор крепости, проголодавшееся войско уже сидело за накрытыми столами. Войны рвали ветчину и мясо и жадно пили вино из засаленных глиняных чаш. Рати переходил от одного стола к другому, поднимал заздравную чашу с лучшими пожеланиями и бла-

гословениями и приветливо шутил, что было необычно для его сурового и упрямого нрава.

— Пейте, пейте, молодцы! Ни капли не оставляйте в парцхисских кувшинах для нехлебосольного царя Давида. Скоро мы сюда возвратимся и тогда наполним кувшины новым вином.

Тем временем в дарбази цихистава дворецкий накрыл для гостей, азнауров и сотников низкие серебряные столы. Слуги принесли светильники из растопленного жира с фитилями.

Когда вошел Рати в сопровождении гостей, факельщики стали вдоль стен.

Перед тем как приступить к трапезе, монахи благословили накрытый стол и пропели молитвы.

Рати приказал Заза Джубиели руководить столом.

Заза немного заикался, но этот недостаток не мешал ему часто выступать в роли тамады.

Долгий Георгий исполнял обязанности кравчего и беспрестанно наполнял турьи роги.

Первый рог был поднят за эристава над эриставами Липарита, томившегося в плену в Кддекари. Как выразился Джубиели, «царь Давид его незаслуженно мучает».

Пока пили за здоровье Липарита, в дарбази была полная тишина.

Пир проходил вяло. Сельджуки еле тянули бадаги, дивясь на азнауров, которые залпом осушали огромные турьи роги.

Рати видел, что кади Мустафа бен-Исмаил был не в духе, и усиленно потчевал его сам то ветчиной из джейрана, то бараньими потрохами, следил, чтобы ему побольше наливали бадаги.

Все это не помогало. Кади был сумрачен.

Тогда Рати подозвал Долгого Георгия и приказал ему перевести:

— Завтра утром я подарю тебе коня текинской породы.

Кади подумал: «Посмотрим, как вы своих-то лошадей выведете из крепости», но все же поблагодарил Рати.

У кади Мустафа бен-Исмаила была страсть: на протяжении всей своей долгой жизни он собирал оружие и воинские доспехи.

Султаны и амиры часто доверяли ему посольские и шпионские дела. Кади объездил все мусульманские страны от:

Хорасана до Шайзара и всюду брал взятки оружием. Так он собрал у себя в Хамадане редкую коллекцию.

Некоторые предметы из нее он продавал, другие обменивал, третьи дарил султанам и амирам над амирами. Эта страсть увлекала и тешила одинокого бездетного старика.

Приехав в Парцхиси, он мечтал пополнить свою знаменитую оружейную грузинскими мечами и кольчугами. Видя, что его надежды не сбылись, старик рассердился, и во время пира даже нож не разжал бы его зубы.

Наконец, когда и пятый рог не поднял настроения пирующих, Рати обратил внимание, что Заза ведет стол без всякого воодушевления, не шутит, как принято, бормочет что-то невнятное, поднимая тост, и сам пьет, как бык.

Рати взял рог из рук Заза и сказал, взглянув ему в глаза:

— Как по-твоему, Заза, какое сходство между кровью кровника и молодым вином?

Заза почесал затылок и не смог ничего ответить своему господину.

Тогда Рати повернулся к азнауру Махароблидзе:

— А ну-ка, ответь ты, Мамиствала, заклинаю тебя твоим отцом.

Махароблидзе тоже не смог одолеть эту премудрость.

Тогда Рати сказал сам:

— И то и другое должно быть выпито вовремя.

Турьи роги заходили из рук в руки. Снова водворилась тишина. Головы поникли, рты были заняты едой.

Рати сделал новую попытку изменить настроение собравшихся:

— А ну, молодцы! Теперь скажите, какая разница между хорошим вином и кровью кровника?

Но азнауры Рати не были искушены в риторике, и ответом ему было молчание.

Тогда Рати кивнул Долгому Георгию:

— Переведи мои слова гостям.

Хамаданский кади улыбнулся Рати блеснувшими прищуренными глазами и сказал на своем звучном языке с певучей сладостью:

— Разницы я не вижу, ее знает аллах, но о сходстве сказать могу.

— Что же? — нетерпеливо спросил Рати.

— И то и другое сладко, как говорит шейх Солейман, — аллах был к нему всегда милостив. Я думаю так же, а ос-

тальное ведомо лишь аллаху. У аллаха хватает милости для всех.

— Нет, это не так, кади Мустафа, — сказал Рати, у которого в голове шумело от вина. — Хорошее вино всегда горько, а кровь кровника всегда сладка. Переведи ему, Георгий.

Сидевшие на конце стола молодые азнауры уже опьянели. Оттуда раздался голос Цитлосана, сына Иоанна Дуксидзе.

— Кравчий, наливай нам вина, не скупись, выпить хочется! — крикнул Цитлосан Долгому Георгию.

Рати улыбнулся своему родственнику и закричал:

— А я крови жажду, Цитлосан, крови Багратидов! Лишь первый петух пропоет на заре, мы, молодцы, помолимся богу и пустимся в путь. Небо ясное... Будем надеяться на счастливую звезду и на того бога, который всегда помогал сыновьям Липаритов в боях с Багратидами. Он опять с нами! Помните это, молодцы!

— Да будет с нами бог! — воскликнули в один голос монахи Микела и Беция.

Рати благосклонно взглянул на стариков и продолжал:

— Вы роптали, что тетивы у луков заплесневели... Теперь я поступаю по-вашему, мои азнауры. Не будут больше голодать наши мечи. Как узнает царь Давид, что мы на пути к Вежини, он со своим войском бросится за нами в погоню. От Вежини... — сказал Рати и перебил себя: — Бог мой! Никогда я себе не прощу, что мы тогда в Вежини не изрубили царя и Чкондидели. Пусть попадутся еще раз нам в руки, задам им пир! Их такверским палачам и абхазским лучникам дадим в руки большие сита, как сделал мой прадед Липарит, когда обратил в бегство царя Баграта на Сасиретском поле.

— Пускай они нам тогда хлеб пекут! — заорал огромный кравчий.

Рати, не обратив внимания на его слова, продолжал:

— Не спору, быть может, царь и посылает Георгия Чкондидели в Кддекари для примирения, но вы, молодцы, помните, — даже если, не дай бог, они помирятся с моим отцом и только вы будете со мной, даже если вы меня оставите и не покинут меня только Заза и мой меченосец Георгий, — я лучше помирюсь со смертью, чем с абхазским царем и старой лисой Чкондидели, козлобородым попом, прячущим под рясой кольчугу и меч Багратидов.

Мне из дому пишут: в Гегутском дворце ждут этой вес-

ной императрицу Мариам. Довольно нас водила за нос эта августейшая сваха. Какое там примирение!

Кто может помирить ветер с огнем, море со скалами, барса с тигром? Кто помирят Орбелиани и Багратидов?

Рати только хотел выпить за грядущую победу, как вдруг снизу послышался оглушительный шум.

Скрипучий голос кричал, точно кого-то ошпарили. Доносились голоса начальников башен, стук, грохот, скрип лестниц и звон кольчуг тяжело ступающих людей.

Рог застыл в руке Рати. Заза и Долгий Георгий бросились к дверям. Двери распахнулись, и факельщики втащили человека, завернутого в звериные шкуры. Он бился и стонал.

Когда его раскутали, Рати узнал всклочоченную голову монаха Евтихия.

Евтихий плакал и дышал на свои замерзшие пальцы, поднося их к губам.

Заза поднял его, дотащил до камина и крикнул:

— Согрейте ему руки и ноги!

— Не хочу, — бормотал монах.

— Выпей вина! — закричал Рати.

— Не хочу, не хочу!

— Чего же ты хочешь, монах? — спросил Заза.

— Смерти хочу, только смерти, — простонал тот, скорчившись.

Монаха посадили в кресло у камина, и постепенно он пришел в себя.

Оказывается, вместе с попом Прохором они гнали из Гомарети мулов, навьюченных лыжами и салазками. Только они приблизились к первому поясу укреплений Парцхиси, как им преградили путь царские воины. Поп Прохор упал без чувств на снег, а Евтихию удалось заскочить в ворота крепости.

Услышав эту весть, азнауры поднялись с мест. Рати вскочил как ужаленный. Мустафа бен-Исмаил бросился к Долгору Георгию и стал молить его дрожащим голосом:

— Скажи, что случилось? Неужто царь Давид с войском подошел к крепости?

Долгий Георгий с высоты своего роста взглянул на облезлую, покрытую редкими желтыми волосами голову кади, усмехнулся и успокоительно сказал:

— Какой там царь Давид! Просто монах замерз в снегу.

Однако кади ясно понимал, что дело далеко не так про-

сто. Поднявшийся переполох говорил совсем о другом. Ему не раз приходилось слышать об обыкновении царя Давида заставлять сельджукских лазутчиков прыгать через обнаженные мечи. Он принял заупрашивать Долгого Георгия:

— Не скрывай от меня правду!

Напрасно меченосец пытался успокоить старика. Вокруг него взволнованные люди говорили на чуждом ему языке, но даже звуки непонятной речи сулили кади неминуемую беду:

Ему ничего не осталось, как упасть на кирпичный пол и обратиться с мольбами к аллаху — столпу правоверных.

Когда гостей отвели на отдых, Рати пожелал остаться в дарбази один. Озадаченный происшедшим, он ходил взад и вперед и останавливался у бойниц. На дорогах мелькали темные тени, слышались ржание и храп коней. Рати в томлении снова начинал ходить и тяжело вздыхал.

Прошло немного времени. В дарбази поднялся Заза Джубиели и доложил:

— Послал воинов с первого пояса на вылазку, и они отогнали врага.

Рати не мог сдержать обуявшего его бешенства:

— Убирайся вон, долгоязыый журавль! Вот до чего довели меня твои советы! Ах ты, трус! Все ты мне доказывал, что мы не сможем вывести лошадей, а войско царя подъехало на лошадях.

Снова и снова Рати подходил к бойницам. Еще долго слышалось конское ржание, виднелись в темноте мелькавшие на снегу тени, иногда вспыхивали факелы, раздавались свист и перекличка сторожевых.

Наконец звуки замолкли. Как сквозь землю провалились всадники и факелы, не слышно было ржания, и на смену ему раздался заунывный вой волков. Звери подходили вплотную к первому поясу крепостных стен, усаживались, и поднимался вой, немолчным стоном оглашавший замершую крепость.

Когда дрогнули рассветные тени и заря заиграла своими лучами на голых стенах Биртвиси, Рати увидел, как с плоской вершины Биртвисской скалы начали спускаться по утесам воины царя Давида. Впереди, с ног до головы в

кольчуге, шел азнаур Моркневели, на шлеме его сверкали блики утреннего солнца.

Они шли группами по тропинкам и, не торопясь, окружали Парцхисскую крепость.

Монах Евтихий, лежа ничком на волчьей шкуре, молился всю ночь напролет. Он отчетливо слышал, как, подобно гепарду, внезапно попавшему в яму, вырытую охотниками, метался по дарбази цихистава одетый в кольчугу Рати Орбелиани.

«СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ: ВЫЛЕТИТ — НЕ ПОЙМАЕШЬ»

Отъезд в Триалети Георгия Чкондидели с войском причинил много забот и беспокойства царю Георгию и царице Елене. Болезнь Чкондидели еще больше усилила их волнение. Когда присланный из Липаритис-убани скороход принес известие, что владыка Георгий выехал в Клдекари, а царские войска обложили Парцхиси, беспечный царь Георгий перестал охотиться на куропаток.

Он не мог понять смысла и хода событий.

Если царь Давид искренне идет на примирение с клдекарским эриставом, то непонятно, зачем ему понадобилось обложить Парцхиси. Кроме этого, от скороходов узнали, что воины Рати днем и ночью делают вылазки из крепости, и у первого пояса стен непрерывно происходят стычки их с людьми азнаура Моркневели.

В это время в Гегути находился Нианиа Бақуриани.

Ниании за время его странствий пришлось быть свидетелем объединения всего христианского мира против Сельджукского султаната. Поэтому борьба христианского царя со своим эриставом была ему не по душе, но он предпочитал молчать.

Царь Георгий временами приходил в отчаяние. Было время, когда через Георгия Чкондидели ему иногда удавалось оказывать влияние на сына. Теперь же первый визирь сам подпал под влияние царя Давида и его спасаларов.

На кого еще надеяться? Остались епископы Бедиели и Кутатели, старые гегутские вельможи и совет старейшин, но они, как говорили при дворе молодого царя, «одряхлели умом».

Утром, вечером, за едой и после еды царь неустанно уговаривал, даже умолял Нианию Бакуриани внушить Давиду, что государство «тает в наших руках, как воск».

— Довольно с нас внешних врагов и не стоит добавлять к ним внутренние распри. Разве не так?

Неоднократно царь Георгий повторял: «Разве не так?». Его раздражало зло, что ни разу он не мог добиться, чтобы Ниания ответил ему: «Да».

Наконец он потерял надежду на Нианию и стал вспоминать, с кем из эриставов и епископов пока еще считается царь Давид.

Гуарам, владетеля Бечисцихе, Давид услал в далекую страну половцев.

Оставался только эристав Шаман, но тут царь заколебался. Зима держалась еще и в долине. Такверские ледяные горы стояли препятствием на пути его намерений.

Однажды в бессонную ночь царь Георгий проговорился о своей затее царице Елене.

Царица возмутилась:

— Что ты! Зимой вызвать слепого старика из Таквери, а потом заставить его верхом отправиться в долгий путь в Триалети?

Подумай, Георгий, что тебе пришло в голову! Хватит стыда тебе и твоему сыну за то, что вы чуть не уморили несчастного владыку Георгия.

Царица продолжала осыпать царя Георгия упреками, но он стоял на своем. В Таквери было отправлено приглашительное письмо.

Не прошло недели, как дворецкий ввел в дарбази большого камина эристава Шамана. Царица не поверила своим глазам. Еще больше она удивилась, увидав вошедшую вместе с отцом Гванцу.

После верховой езды щеки старого витязя и прекрасной девушки рдели, как цветы граната.

Услышав от царя Георгия: «Тебе предстоит ехать в Триалети, чтобы удержать царя Давида от братоубийственной войны», — эристав Шаман спокойно ответил:

— Если этого требует от меня родина, то не только на коне, даже пешком я готов идти до края ночи.

Царь Георгий встал и, растроганный, поцеловал друга своей юности в щеку.

Слепой не мог видеть, как при этом передернулось лицо.

царицы Елены. Однако волнение ее ему передалось. Он перевел на нее свои незрячие глаза и произнес:

— Не беспокойся, государыня. Уж не так мы с Георгием состарились, чтобы кому-нибудь уступить первенство в преданности и (на мгновение старик замялся)... в мужестве. Знаешь, царица, народную поговорку — старый конь борозды не испортит. Это мудро сказано. Стары мы... Да, стары и пережили много бед. Но у меня еще есть конь, подаренный царем Георгием, он мне не изменит. Со мной неразлучна моя дочь Гванца. Не хотел я ее брать из дому, но девочка от меня не отстала: «Поеду с тобой всюду и никому тебя не доверю».

Лицо царицы вспыхнуло.

У нее теплилась тайная надежда: если царь Давид освободит Липарита из заточения, то мы с ним, вероятно, породнимся. Приезд Гванцы раздражит Катю. А вдруг и у самого Давида дрогнет сердце? Чутье матери ей подсказывало, что сын ее не совсем равнодушен к Гванце.

Кроме того, царица Елена была убеждена, что женщина может быть одновременно и лекарством и ядом.

Она выпрямилась в кресле и собралась было воспрепятствовать этой поездке, ссылаясь на зиму и тяжелую дорогу, но ее опередил слишком непосредственный царь Георгий.

— Послушай, что ты вздумал! Как могло тебе прийти в голову в зимнюю непогоду и в бездорожье брать с собой девочку в Триалети! С ума ты сошел?

Дрожь пробежала по телу Гванцы, когда она услышала, что ее не пускают в Триалети. Сразу она почувствовала себя беспомощной, застенчивой девушкой. Она прильнула к богатырскому плечу отца, как испуганный туренок жмется к матери.

Ей хотелось твердо заявить: «Я не пушу моего отца одного», но слова застряли в горле и только глаза ее на мгновение потемнели.

Тогда эристав Шаман сказал:

— С тех пор как я лишился зрения, дочь моя всюду меня сопровождает — и в путешествиях; и в прогулках. Боюсь, что без меня она затоскует. Я очень хотел оставить ее в Таквери... Но сами судите, что теперь делать?

Царица Елена хотела возразить эриставу, но ее удержали природная застенчивость и привычка не вмешиваться в мужской разговор. Поэтому она промолчала.

Царь Георгий обратился к эриставу Шаману:

— Что поделаешь, вежо. Ты — отец, и судьба собственного ребенка тебе виднее.

Слова «судьба собственного ребенка» уязвили сердце царицы. Она поднялась и ушла к себе.

Когда после ужина дворецкий проводил гостей на отдых, царица вернулась в большой дарбази.

Разумянившийся царь Георгий сидел за столиком у камина. Перед ним стоял серебряный кувшин, с горлышком как журавлиная шея, и наполненная вином пиала. Царь смотрел пьяными глазами на причудливые очертания догорающих дров.

— Что ты наделал! — набросилась на него жена.

Георгий оторопел.

— А с тобой что случилось, царица? Белены объелась?..

Тогда ему было разъяснено, какими осложнениями грозила поездка Гванцы в Триалети.

Царь Георгий уразумел, что с уст его сорвались необдуманные слова. Он нагнулся и стал мешать длинными щипцами угли в камине.

Большое бревно, рдевшее жаром, напоминало в ту минуту золотую кабанью голову. Пыхнувшее из камина горячее дыхание заставило царя поспешно отодвинуться вместе с креслом.

Наконец он нашел себе оправдание:

— Эх, делать нечего, моя царица. Я уж думал, что бог весть что натворил. Не твоя голова у царя Давида, чтобы когда-нибудь закружиться из-за женщины... Над сердцем его властвуют совсем другие демоны.

— Меня не это печалит, пусть хоть сразу на двух женится. У халифа Валида было тысяча двести жен, но он ни из-за одной из них не терял головы.

* * *

На следующий день кормилица привезла из Осетии царевича Деметре. Царица Елена со слезами на глазах встретила внука на лестнице дворца. У слабой и больной женщины нашлись силы поднять на руки рослого мальчика и принести его в дарбази большого камина.

Как сердце утомленного зимой крестьянина радуется долгожданному прилету в его жилище весенней ласточки, так были растроганы старики, когда по большому дарбази стал гарцевать на деревянной лошадке царевич Деметре.

Веселый его крик рассеял гнетущую тишину Гегутского дворца, которую обычно нарушало только шлепанье туфель старых слуг и их приглушенное шамканье.

В ту ночь царица Елена не переставая молилась. Она поручала любимого внука то Христу, то Хахульской богородице — хранительнице детей, лишенных матери.

И на второй и на третий день по приезде царевич Деметре то сидел на толстой раскрасневшейся шее деда, то скакал на деревянной лошадке.

Когда позднее зимнее солнце осветило дворцовый двор, охотники принесли в подарок царевичу силки для ловли голубей, лук со стрелами и тенета.

Неугомонная кровь Багратидов тешилась неистовой скачкой и стрельбой из лука вокруг молчаливых стен Гегутского дворца.

* * *

Отъезд эристава Шамана в Триалети не встретил одобрения старейшин. Старый эристав выехал в сопровождении епископов Бедиели и Кутатели и Ниании Бакуриани.

Слухи о дворцовых интригах в Византии окрылили надеждой великих азнауров, привыкших уповать на «византийских зятьев». В глазах тех, кто приходил в восторг и умиление от мечтаний о «единстве всего христианского мира», помыслы молодого царя об освобождении Тбилиси и воссоединении Грузии казались не стоящими внимания.

Многие из старых азнауров втайне сочувствовали эриставу Липариту. Сами изменники в душе, они не осмеливались открыто пойти на измену, но, видя, что царь Георгий и двор хотят примирения с Орбелиани, они воспользовались случаем, чтобы поднять вопль: все христианство объединяется, присоединим и Липарита!

Недовольные «причудами царя Давида» выражали возмущение поездкой Гванцы в Триалети. По этому поводу чесали языки старые азнауры, сами державшие по десяти наложниц, тогда как их жены не брезгали ласками конюхов и домашних слуг.

Старая дева Шервашидзе, заведовавшая двором царицы, шипела:

— Что ж это, царь Давид собирается жениться сразу на двух эриставских дочерях?

Болнения уложили царицу Елену в постель.

Она оправдывалась перед женами азнауров:
— Не спросил меня царь Георгий и разрешил Шаману ехать с дочерью.
«Слово не воробей: вылетит — не поймаешь».

КОЗЕЛ

В четверг на страстной неделе эристав Шаман и епископы выехали из Гегути в Липаритис-убани.

На следующий день, в страстную пятницу, пришел туда скороход из Клдекари. Георгий Чкондидели сообщал: «Едем и везем с собой эристава Липарита».

* * *

Ката и Дедисимеди и все домочадцы Липарита находились в эти дни в непрестанном волнении. Между Липаритис-убани и Клдекари сновали скороходы.

Ночи напролет молилась Ката, стоя на коленях перед животворящим крестом, прося о спасении своей семьи от бед. По лицу ее текли слезы.

Когда Георгий Чкондидели выезжал в Клдекари, она отравила с ним письмо Липариту.

«Если ты себя не жалеешь, то пожалей хоть мою старость и своих детей», — писала она мужу.

Из Клдекари приходили успокоительные вести.

Несчастливая мать волновалась за судьбу Рати, осажденного в Парцхиси. Ей был хорошо известен его неукротимый нрав: Рати предпочтет пасть в бою с царскими войсками, чем сдать Парцхиси без кровопролития.

Иногда она поверяла свои мысли Хорешан:

— Упаду на колени перед царем, буду просить, чтобы он позволил мне босиком пойти в Парцхиси и умолить Рати сдаться без кровопролития.

— Не говорите этого, нельзя так говорить, батона Ката! Где это слыхано, чтобы женщины ходили в осажденную крепость? Наше дело молиться и со слезами просить богородицу.

Ката очень обрадовалась приезду эристава Шамана и Нианин Бакуриани. Хотя Нианна не сказал ей ничего утешительного, она крепко надеялась, что он не будет настраивать

царя на решительные военные меры. Эриваст же Шаман не скрывал, что верит в примирение царя не только с Липаритом, но и с его сыном.

К волнениям последних дней прибавилась одна неприятность — проезд Гванцы. Ката хорошо знала, что единственной соперницей Дедисимеди в сердце царя Давида могла быть только Гванца.

К удивлению ее, девушки при встрече горячо обнялись.

Гванца привезла Дедисимеди драгоценную икону, украшенную крупными рубинами и алмазами, еще серьги и кольца с редчайшими сапфирами, не имевшее цены евангелие в литом золотом окладе, разрисованное лучшими грузинскими мастерами. Кроме того, чепрак для коня, на котором были вышиты золотом фазаны, и купальный халат из керманшахской шерсти, вышитый шелками цвета морской лазури.

Сидя у очага, подружки весело вспоминали счастливые дни в Гегути и в Сатаплии, поездки верхом и проделки Махары.

Гванца поминутно целовала Дедисимеди, рассказывала, как без нее скучала, и приглашала приехать летом в Таквери.

— У меня есть для тебя маленькие турята, я их вспоила сама молоком и приручила. Я уверена, что ты их полюбишь.

Хорешан гневно ворчала:

— Чтобы эта девчонка не вздумала посетить меня, — я наговорю ей такого, что ей не поздоровится.

Ката в глубине сердца была с ней согласна и не всегда могла скрыть неприязненный взгляд, но старалась не показывать своих чувств и сохраняла в обращении с гостьей холодную вежливость.

Искушенный в житейских делах Махара хорошо понимал создавшуюся напряженную обстановку и старался рассеять ее болтовней:

— Вот скоро наступит весна, вынесем птичьи силки и вспомним наши забавы в Сатаплии.

Пользуясь своим особым положением, Махара не спрашивая ходил к девушкам в отведенные для них покои, и там с утра не умолкал веселый смех Дедисимеди и Гванцы.

Такая вольность приводила в ярость Хорешан, и сама Ката задыхалась от злости, но приходилось терпеть, потому что не время было ссориться со злоязычным скопцом.

Махара убеждал царя не откладывая выехать из Липа-

ритис-убани в Уплисхихе, приказать привезти туда помилованного эристава и заставить его в присутствии высшего духовенства и всего двора присягнуть на евангелии в верности.

Дальнейший план Махары был таков: азнауру Моркневели, по приказу царя, стремительным ударом овладеть Парцхиси, захватить Рати и предложить ему на выбор — клятву в верности царю или дыбу. Эти мысли полностью разделяли Кариман Сетиели и азнаур Моркневели.

Царь выслушивал советы и хранил молчание.

Главный конюший получил повеление держать наготове лошадей для свиты. Чухчам Каримана Сетиели было приказано также приготовиться в путь.

Распространился слух, что управление Триалети поручается азнауру Моркневели.

На субботу был назначен совет у царя.

Накануне царь имел беседу с эриставом Шаманом:

— Не лучше ли, действительно, привезти эристава Липарита в Уплисхихе? Как ты думаешь, батоно Шаман?

— И Липаритис-убани и Уплисхихе в твоих руках, государь. Но Уплисхихе (Шаман запнулся)... Уплисхихе — недоброе место.

Присутствовавшие при этой беседе единодушно поддерживали слепого эристава: у всех было свежо воспоминание о том, что именно Уплисхихе цари Баграт IV и Давид Куропалат избирали местом укрощения мятежных эриставов.

В Уплисхихе Баграт III заманил своих племянников будто для примирения, но здесь им были отрублены головы и тела их повешены на зубцах башни.

Эриставу Шаману передан был внушенный царем Георгием и царицей Еленой страх перед братоубийственной войной. Он прибыл в Триалети с замираньем сердца, но пребывание здесь убедило его, что до кровопролития еще далеко.

Поэтому он верил, что ему удастся примирить царя не только с Липаритом, но и с его сыном Рати, хотя Давид по этому поводу хранил молчание.

Остальные окружающие царя ясно видели, что он еще колеблется — вызвать ли эристава Липарита в Липаритис-убани или везти его в Уплисхихе или Начармагеви и там судить церковным судом.

В страстную субботу царь встал рано и вышел в панцире в большой дарбази, где его ждали созванные на совет епископы и великие азнауры.

Дарбази живоворящего креста, где все дышало памятью о Липарите Великом, был заранее убран по-праздничному. В четырех углах его с утра горели свечи в сверкавших золотом больших подсвечниках.

Когда царь вошел, все встали. Остался сидеть на золотом кресле у камина один эристав Шаман.

Местумретухуцеси вышел из дарбази и притворил за собой дверь.

Тогда эристав Шаман встал со своего кресла и обратился к царю:

— Государь, наш повелитель! Мудры твои помыслы. Еще вчера докладывал тебе Нианиа Бакуриани, что все христианство поднялось, чтобы искоренить злой род сельджуков. Русы, франки, греки, армяне, валахи, болгары, сирийцы и варяги соединились, чтобы стереть с лица земли проклятое отродье сельджукских разбойников.

Нам памяты твои слова: гораздо труднее сделать врага другом, чем друга врагом.

Не буду я утверждать, государь, что Липарит Орбелиани нам особенно предан, но я верю — несмотря на свое упорство, он все же наша плоть от плоти и кровь от крови.

Мы давно знаем, что сыновья Липаритов упрямы, но все слышали от дедов и прадедов, что твой благословенный дед Баграт не раз водил их под своим знаменем в поход на врагов Грузии.

Также не можем мы забыть, что когда наше государство ослабело и царь Баграт еще был малолетним, Липарит Великий и Иоанн Абазаисдзе, царь кахетинский Квирике и царь Армении соединились с царским войском и в Валашкерти сразились с гянджинским амиром и обратили его в бегство.

Знаем мы также и то, что Липарит Великий выманил амира Джаффара из Тбилиси, пленил его и отнял у него крепость Биртвиси.

Эристав Шаман сделал паузу и при воцарившейся тишине продолжал с нарастающим подъемом:

— Поверь, государь, нет среди людей такого закоренелого злодея, которого нельзя было бы образумить добротой и благочестием. Наверное, ты слышал в юности, как я дрессировал для царя Георгия привезенных из Фарсистана ге-

пардов и объезжал иеменских жеребцов. Жеребцы были так дики и неукротимы, что три конюха еле их удерживали, ведя на водопой. Они никого к себе не подпускали и кусались, как бешеные волки.

Натасканных мною соколов и ястребов ты видел в детстве твоими счастливыми глазами.

Нет из пернатых упрямей орла, но однажды мне удалось так приручить орленка, что мы с царем Георгием травили им зайцев в гегутских долинах.

Если можно привлечь лаской зверей и хищных птиц, то ответь мне, государь, кто из людей закоренел в злом упорстве настолько, что милостивое обхождение его не тронет и не обратит на путь добра?

Сила любви беспредельна, и даже там, где ненависть бросила семена, любовь собирает жатву.

Мы знаем, что сегодня владыка Георгий привезет Липарита и он сегодня же перед старейшинами и епископами присягнет на святом евангелии.

Остается Рати. Государь, хотя я утомился от долгого пути, но прикажи мне, и я один, без войска, поеду в Парцхиси и выведу Рати из крепости.

Царь взглянул на седого мудроречивого богатыря, и ему показалось, что в ослепших зрачках старца сверкнул чудесный луч. Речь благородного старика дышала такой силой добра, что царь не мог ему возразить.

Эристав Шаман опустился в кресло. Некоторое время все присутствующие хранили молчание. Наконец Нианиа Бакуриани окинул взором дарбази и, убедившись, что никто из старших не собирается взять слово, заговорил, преодолев смущение:

— Эристав Шаман сказал правду, государь. В эти дни все христианство надело панцирь, готовясь к смертному бою с сельджуками. Разве не было раздоров между франками и греками? Если бы не великодушие кесаря Алексея, то христианская кровь обогрела бы площадь Юстиниана и врата Святой Софии.

Произнеся эти слова, Нианиа на минуту остановился, посмотрел на царя и продолжал:

— Не раз мы слышали от тебя, государь: вынуть меч из ножен хватит силы даже у ребенка. Все мы очень хорошо знаем, что тебе не трудно захватить в Парцхиси Рати и вздернуть его на дыбу.

Не удивляет нас и то, что эристав Рати полагает, будто

это еще не случилось благодаря его смелости, а не по мудрости царя Давида.

Сумасбродам всегда свойственно верить больше в свои силы, чем в силы противника, даже когда тот побеждает.

Этой ночью ты говорил: примирение с Липаритом меня не заботит, он в наших руках.

Доберемся мы и до Рати, но сейчас он напоминает порвавшего путы и поднявшегося на дыбы коня. Конь этот носится взад и вперед и вздымается над краем пропасти, а вокруг стоят воины с обнаженными мечами.

Если сойтись с ним грудь с грудью, наверное, прольется кровь. Не беда, коли в этом бою падет он один, но кто знает, жизнью скольких грузинских воинов придется заплатить...

Царь поднял опущенную голову. Обведя всех внимательным взором, он остановил взгляд на стоявшем у дверей азнауре Моркневели и спросил:

— Что ты скажешь, Штора?

— Не верится мне, государь, что Рати угомонится без пролития крови. Накануне окружения Парцхисской крепости, на прошлой неделе, мои разведчики поймали обозного, заведующего мулами в Парцхиси, привели в Биртвиси и посадили в подземелье. На допросе старик упорствовал, и каждое слово у него приходилось вытягивать клещами. Он наконец сказал, что Рати без крови не сдастся, и добавил: «Рати решил прорываться с гарнизоном и ждет только лыж и салазок».

Царь засмеялся:

— А разве монах Евтихий не доставил в Парцхиси лыжи и салазки?

Моркневели улыбнулся и продолжал:

— Дело в том, что мы его опередили и успели обложить крепость. Но это не все, государь. Неделю тому назад, только начало смеркаться, Рати выпустил из крепости около ста тяжеловооруженных конников, очевидно, с целью испытать нашу бдительность и силы.

Впереди отряда ехал тщедушный монашек с крестом в руке. Стычка с ними произошла у подступов к крепости. Мы их загнали обратно, причем они оставили на поле боя пятых раненых.

Я велел их подобрать. На следующее утро среди них был опознан монах Микела.

Когда монаха привели в чувство, он на допросе дал показания:

— Рати Орбелиани решил биться до последней капли крови. Его азнауры и сотники не желают медлить и требуют, чтобы он их вывел днем при полном свете, и они с боем станут пробивать себе дорогу. К этому Рати не может склонить только начальника крепости Заза Джубиели и своего меченосца Долгого Георгия.

К сказанному Микела прибавил:

— В последний вечер Рати говорил нам — Заза Джубиели, монаху Евтихию и мне: «Пусть явится отец мой Липарит и Георгий Чкондидели, я тогда выйду к ним с одним меченосцем Долгим Георгием и передам через них царю мои условия».

Царь опять посмотрел на замолчавшего азнаура Моркневели,

— Что ты разузнал, Штора, о хамаданском кади и сопровождающих его трех сельджуках? Действительно ли они находятся в обложенной крепости? Кариман Сетиели уверяет меня, что сельджукским лазутчикам не удалось оттуда выбраться.

— Это верно, государь, — подтвердил Штора, — они и сейчас там.

— Досадно, что нельзя на эту пасху вздернуть амира Липарита, тогда бы, я убежден, не пролилась ни одна капля крови, — вставил свое слово Махара, почесывая безволосый подбородок выкрашенными хной ногтями.

— О посылке в Парцхиси Георгия Чкондидели не может быть и речи, — добавил он вполголоса. — Пусть никто не брякнет об этом даже случайно, а то старик потребует, чтобы его туда послали.

Кто может поручиться? Вдруг этот сорвиголова прикажет своему Долгому Георгию изрубить владыку Георгия!

Царь, подумав, сказал:

— Посылать в Парцхиси амира Липарита тоже не годится.

Время уже перешло за полдень. Вдруг дверь приоткрылась; показавшийся местумретухуцеси доложил царю: «Прибыл Георгий Чкондидели!» и поспешно вышел.

Эристав Шаман встал, и за ним поднялись седые вельможи и архипастыри.

Снова вошел местумретухуцеси и занял место у распахнутой двери.

Георгий Чкондидели, бледный от волнения и усталости,

скорыми шагами направился к царю. За ним ступал, опустив непокрытую голову, обросший бородой эристав Липарит.

Все присутствующие обратили внимание, что стан его был согбен. По сторонам его шли Кирион Манглисский и отец Василий.

Дойдя до середины дарбази, Липарит поспешно приблизился к царю, не успевшему приподняться в кресле, упал на одно колено и, схватив своей длинной волосатой дланью правую руку царя, несмотря на его сопротивление, поднес к своим губам и поцеловал.

Когда, желая его поднять, царь положил ему руку на плечо, взволнованный Липарит вскочил и воскликнул:

— Христос воскрес, государь, наш повелитель!

— Воистину воскрес! — ответил царь и поцеловал эристава в грудь у правого соска.

— Христос воскрес! Христос воскрес! — загремел весь дарбази.

Эристав Липарит сделал шаг назад и заговорил надтреснутым, но еще могучим голосом:

— Великодушный государь, наш повелитель! Прости мне все мои преступления, вольные и невольные, ибо люди, злые люди совратили меня с правильного пути.

Теперь воистину воскресшим господом Иисусом, нашим спасителем, я клянусь, что с этого дня до последнего моего издыхания буду преданным слугой твоего престола и царства.

Если же когда-нибудь враги вновь попытаются смутить меня и я изменю твоему престолу, то да буду я проклят со всем моим потомством и да падет на меня это проклятие. Клянусь великой силой святого евангелия и животворящего креста быть преданным и покорным тебе и твоему царству, каким был мой покойный отец, клдекарский эристав Иван, воспитатель и сподвижник отца твоего Георгия Кесароса. Христос воскрес!

Последние слова эристав Липарит повторил трижды.

— Воистину воскрес! — хором ответили эриставы и епископы.

Кирион Манглисский выступил вперед, взял правую руку эристава Липарита и подвел его к висевшему на стене животворящему кресту. На аналой перед образом он положил евангелие и велел Липариту опуститься на колени.

Эристав стал на колени, и Кирион Манглисский прочел молитву:

— Господи боже спасения рабов твоих, милостивый и

щедрый, и долготерпеливый, печалющийся о наших злобах, не хстящий смерти грешника, но обращающий его на путь покаяния и жизни, сам ныне смиловившись к рабу твоему и даруй ему образ покаяния, прощение грехов и отпущение, прости ему всякое согрешение, вольное и невольное, примири и соедини его со святой твоей церковью во Христе Иисусе госноде нашем, с ним же тебе подобают держава и великолепие, ныне и присно и во веки веков, аминь.

— Аминь! — загремели епископы и эриставы.

* * *

В страстную субботу, когда косматые тени елей еще не затрепетали, выехали на большую манглискую дорогу царь, духовенство, эристав Липарит с семьей, родственниками и свойственниками и триалетские азнауры. В древнем соборе Липаритов Кирион Манглиский должен был отслужить пасхальную заутреню.

Впереди тысячи абхазских лучников несли царское знамя, джварисмтвиртвели нес крест Багратидов. За ними ехали царь и его свита, эриставы, спасалары и начальник чухчей.

Затем следовали знатные женщины Триалети, монахи, монахини. Шествие замыкалось телохранителями царя.

Толпы людей, как море, устремились к Манглиской церкви. Просторная ограда не могла их вместить, весь Манглиси превратился в необычный лагерь. Колымаги, арбы и стреноженные лошади запрудили площади и широкие дороги, где им не хватало места. Со стороны казалось, что все эриставство двинулось в поход, чтобы отстоять заутреню в Манглиском храме.

В церкви Кирион Манглиский, произнося молитву, первыми упомянул царей Абхазии, Картли и Кахети — Георгия и его сына Давида, а после них триалетского эристава над эриставами Липарита Орбелиани.

После церковной службы на повороте дороги в Липаритис-убани царь увидал ехавших впереди группы всадниц Дедисимеди и Гванцу. Между ними втиснулся на своем коне Махара.

Глядя на раздумяившихся от быстрой езды девушек, Давид не мог решить, которая из них прекрасней и желанней для его сердца.

Все, от мала до велика, знатные и простые люди, мужчины и женщины, старые и молодые, глазели на дочерей

восточного и западного эриставов, скакавших бок о бок с Махарой на своих выхоленных конях.

Прохожие останавливались на дорогах, не замечая назжавших на них всадников, которым приходилось поднимать коней на дыбы, чтобы не раздавить увлеченных зрителей.

Вечером в большом дарбази Липаритова дворца начался пир, затянувшийся далеко за полночь. Дедисимеди взяла с полки золотого соловья Липарита Великого, и раздавшиеся звуки напомнили Давиду счастливые минуты, которые он пережил в Липаритис-убани перед походом в Вежини.

Отсутствовал на пиру один Махара. Вернувшись в свои покои, царь нашел его беседующим у камина с эриставом Шаманом и Нианией Бакуриани.

С царя сняли панцирь, он отпустил слуг. Взяв псалтырь, раскрыл его, но опять закрыл и сказал Шаману:

— Теперь я понял, на что надеется Рати. Он прекрасно знает, что после примирения с Липаритом мне будет неудобно взять крепость силой или измором...

Махара хитро заметил:

— Он питает надежду еще на одну вещь...

Царь вопросительно взглянул в лицо скопцу.

— Рати надеется, что скоро будет свадьба и он нам навязет свои условия.

Царь ничего не ответил на эти слова Махары. Повернувшись к эриставу Шаману, он сказал:

— Нианиа Бакуриани вчера метко выразился. Рати, действительно, очень похож на поднявшегося на дыбы взбешенного коня. Свалить его в пропасть одним ударом не трудно, но мне жаль совращенных им безумцев. Известно, что за одним козлом прыгает в пропасть все стадо.

Каково твое мнение, батона Шаман? Быть может, лучше всего дать ему возможность бежать из крепости без войска?

Эристав Шаман после короткого раздумья ответил:

— И сегодня еще повторю тебе, государь: я берусь вывести Рати из крепости без пролития крови.

Царь недоверчиво покачал головой и произнес:

— Я в это не верю, но если даже удастся тебе его вывести, он вечно будет возглавлять все восстания и участвовать во всех междоусобиях.

Махара, задыхаясь от злости, произнес:

— А если он сбежит к Бархиароку?

Царь спокойно ответил:

— Что ж из этого? Какой вред он нам может там причинить? Прибавится одним лишним врагом в Сельджукском султанате.

* * *

В эту ночь приснилось царю, что он стоит на утесе вблизи Уплисцихе.

Перед взором его расстилается поле, краснеющее цветущими маками. Все красно от цветов. К нему мчатся две всадницы — на одной кабача алая, как коралл, на другой — лиловая. Всадниц несут откормленные кони, но маки так высоки и густы, что коням приходится через них прорываться.

Сначала они едут бок о бок, поводя с поводьями. Вот они приблизились, и царь узнает их — в лиловой кабаче Гванца, в коралловой — Дедисимеди.

Давид не может оторвать взгляда от скачущих рядом девушек. То коралловая кабача впереди, то лиловая. Вдруг загремел гром, спустился туман, и все им застлало. Когда туман рассеялся, царь увидел на всем пространстве между Квахврели и Уплисцихе плескавшееся море.

Пораженный видением, он припал к земле и услышал доносившееся со дна морского пение сирен, далекое и грустное, как пение золотого соловья.

* * *

На третий день пасхи гости разъехались. Царь Давид держал совет с эриставом Липаритом, как вывести Рати из Парцхиси. Оба они согласились обсудить это дело с эриставами и духовенством. Собрание порешило: Липарит должен написать сыну и убедить его сдать крепость без кровопролития.

Передать письмо были посланы эристав Шаман, Кирион Манглинский и отец Василий.

Когда письмо Липарита и крашенные пасхальные яйца были вручены Рати, он велел их выбросить из крепости.

Послы ждали несколько часов. Наконец Рати в сопровождении Долгого Георгия вышел к первой башне и заявил послам:

— Если царь Давид уведет из Триалетского эриставства

свое войско до последнего человека, утвердит за мной Биртвиси и Парцхиси и откажется от всяких притязаний на Самшвилде и Экранта, тогда я с охотой открою ворота Парцхиси без боя. Иначе нас рассудит меч.

Сказав эти слова, Рати холодно простился с царскими посланцами и вошел в крепость, приказав немедленно затворить за собой ворота.

Послы не успели сесть на коней, как со стен Парцхиси в них полетели стрелы. Вернувшись в Липаритис-убани, обычно невозмутимый эристав Шаман сказал царю:

— Этот Рати Орбелиани сущий упрямый козел. Только кольчуги спасли нас от неминуемой смерти.

ПИСЬМО ИЗ ШАРАГАНА ЧКОНДИДСКОМУ АРХИЕПИСКОПУ ВЛАДЫКЕ ГЕОРГИЮ В ГЕГУТИ

Вчера с большим трудом добрался в Шараган посланец Гуарам, владельца Бечисцихе, — осетин Чвартай.

Гуарам, владелец Бечисцихе, заболел в Хорка, на расстоянии пятидневной езды от Шарагана.

Он сообщает:

Еще одна неделя, и посольство поедет дальше.

Чвартай привез мне ботинаты и бумагу. И вот я сижу бесконечными ночами и пишу вам о самых удивительных вещах.

Без денег и без продовольствия я терпел здесь жестокую нужду.

Вначале я доил кобыл, и кобылье молоко было моей единственной пищей. Дойку кобыл здесь поручают только купленным рабам (для свободных мужчин это занятие считается зазорным).

«Нужда — великий учитель», — сказал мудрец. Терпя нужду, я многому здесь научился.

Кроме псалтыря, я привез с собой маленький карабадин, изучил его и начал лечить людей.

Занимался и костоправством. Половцы очень хорошие наездники, но при дикой скачке бывает, что ломают себе ногу или руку.

Из этой же книги я научился лечить овечью чуму, балхскую язву, узнал средства от укусов змей и скорпионов, а также от чесотки, черной и белой оспы и многое другое.

От оспы половцы мрут, как мухи, и я на лечении этой болезни набил руку. Пришел приказ из Шарагана — мне предоставили кибитку, и я разъезжал по половецким степям.

Когда половец заболевает оспой, его выносят на мусорную свалку и бросают там без ухода, привязав у его изголовья красного петуха, а у ног — черную козу.

Коза блеет, а петух кукарекает...

Эти темные простецы верят, что таким образом они смогут изгнать злого духа, который мучит больного.

Если больной выздоравливает, петуха и козу режут и устраивают пир.

Если больной умирает, их тоже режут для поминок.

Когда я вылечивал больного, мне приходилось участвовать в пиршествах. Меня угощали кумысом и бурахом.

Осетин Чвартай передал мне ваше письмо с приказанием сообщить об обычаях половцев и их вере.

Вера их — безверие, а закон — беззаконие. Все же я постараюсь выполнить ваше приказание и опишу, что видел и слышал.

Только бы труд мой был достоин внимания вашего преосвященства.

У входа в кибитку половца вы можете увидеть войлочных кукол ростом с ребенка и с обвязанными красным тряпьем головами.

Это их идолы. Дотрагиваться до них запрещено, а пуще всего развязать тряпку, обматывающую голову.

Мне давно хотелось узнать, из чего у идолов сделаны головы, но долгое время это мне не удавалось.

Однажды мы с осетином Чвартаем пошли навестить больного и увидели по дороге около десяти кибиток, в которых не было ни одной живой души, а только лежали мертвецы.

Вообразите — эти несчастные заболели оспой и перемерли все, от мала до велика. Вокруг покойников сидели куклы. Со стороны могло показаться, что это дети, оплакивающие умерших родителей.

Мы воспользовались случаем, сняли с кукол шапки и увидели, что головы их сделаны из воска и напоминают бритые головы половцев, а к затылкам прилеплены чубы. Лица идолов нарисованы углем.

Теперь, если я вам не наскучил, хочу-кое-что рассказать об их вере.

Половцы верят, что все живое создано из ничего поднявшимся с моря смерчем.

Смерч окружил землю густым туманом и поверг ее во мрак. Затем нависли тучи и из них полил такой крупный дождь, что каждая капля его равнялась по величине колесу кибитки.

Потом пронесся ураган, собравший в облаках над землей молоко, и из пенки этого молока в один день вышла огромная черепаха.

Эту черепаху в ветреную ночь похитил сатана. Черепаха опустилась на дно моря и там преобразилась. Вместо нее выросла необъятная гора, имевшая пять граней — серебряную, огненную, коралловую, ляпис-лазурную и золотую.

Еще прошло время, и поднялись рядом семь гор и, кроме них, еще железная гора. Горы эти будто бы выросли из золотых костей черепахи.

Южная грань, которую половцы считают местом своего обитания, состоит из драгоценных камней, и там растет чудо-дерево асамбу.

Восточная грань из золота. Здесь живут богатыри ростом в десять локтей.

Западная грань рубиновая. Здесь живут богатыри ростом в двенадцать локтей.

Северная грань серебряная. Там будто бы живут люди, непрестанно испускающие стоны, — у них отняли душу, и они томятся в веревочных путах, связывающих их, как связаны куклы. В старости рост их достигает двухсот локтей. Цвет их тела белый и одежда тоже белая.

В их стране растет чудо-дерево, на ветвях которого вместо плодов висят пища и одежда.

Они никогда не болеют и доживают до тысячи лет без семи дней. В час смерти они слышат звон с неба, прощаются с родными и начинают себя оплакивать.

У людей, живущих на этой грани, лицо круглое, как мяч, а у обитателей южной грани оно наподобие треугольника.

Половцы верят, что первые жители земли летали, как птицы, рождались без телесного зачатия и век их длился семьдесят тысяч лет.

Лица их были лучезарны, как солнце. Они не знали, что такое слезы, боль и стоны; вечно радостные, они не имели понятия о печали и горе. Умирая, они снова рождались такими же совершенными.

На земле вдруг выросло чудесное дерево и покрылось удивительными плодами — сладкими, как мед.

Один безумец попробовал плод и захохотал. Прибежали другие, и с ними произошло то же.

Светил на небе тогда еще не было, и царил мрак.

Наевшись плодов, люди превратились в карликов, лица их перестали излучать свет.

И мрак, окутывавший землю, уже ничто не озаряло.

В одну ночь поднялся смерч и с неба хлынул ливень. Дождевые капли были величиной с колесо половецкой кибитки, и земля покрылась пленкой воды.

Тогда появился некто с большим жезлом в руке и, подобно тому, как половчанки мешают налитое в котел кобылье молоко, он жезлом мешал,

мешал...

мешал...

Из земли воспряли два светила — одно из стекла и огня и другое — из воды и стекла.

В ту же ночь засияли все другие светила...

Когда мрак рассеялся, опять разыскали чудесное дерево и стали срывать плоды, но к этому времени люди размножились и плодов не хватило.

Люди обломали ветви чудо-дерева, и оно перестало плодоносить. Тогда стали питаться выросшим вокруг дерева щавелем, но обжоры и его уничтожили.

Все племена и роды людские собирали щавель в запас. Собранные запасы воровали друг у друга. Многосемейные и сильные захватывали больше пищи. Так началось разделение на богатых и бедных, и пошли раздоры и ссоры.

Люди сделались малорослыми, и век их на земле не превышал ста лет.

Половцы думают, что если существование рода людского на земле еще продлится, то он совсем измельчает; лошади будут величиной с зайца, а люди ростом в палец, и земной век их будет длиться всего десять лет.

Затем на карликов нападут болезни — оспа, проказа и овечья чума.

Деревья перестанут давать плоды, травы высохнут в степях, и рогатый скот и овцы вырождаются. Тогда с неба хлынет дождь из стрел, на земле вырастут горы мертвецов и потекут кровавые реки. Стаи воронов покروют землю.

Опять с неба хлынет ливень и смое с лица земли трупы карликов.

Дождь будет идти не переставая, пока не выйдет из земли новый род людской. Вместе с дождем посыплются на землю драгоценные камни и пища для людей, потекут молочные и медовые реки, а с гор польются потоки золота, серебра и ляпис-лазури, и на обновленной земле исчезнет насилие, не будет ни богатых, ни нищих, ни ханов, ни рабов, ни сильных, ни слабых.

Земля в таком виде просуществует тысячу эпох, причем через каждые семь эпох будет происходить очищение и после семижды семи эпох снова поднимется огненный смерч.

С востока встанут семь солнц, и будет палить такой зной, что выгорит вся растительность. Тогда древняя золотая черепаха, из костей которой выросли горы, охватит землю подобно тому, как павлин держит свое яйцо...

Верно, мой рассказ о баснях этих дикарей вам наскучил, владыка Георгий. Теперь хочу вам немного поведать о делах. На прошлой неделе я послал осетина Чвартая с людьми во дворец Шарагана Шарагановича. Не подумайте, что это настоящий дворец вроде Гегутского или Начармагевского. Там связано между собой веревками и канатами около сотни кибиток — и это все.

У входа в кибитки поставлены войлочные идолы. Живут здесь старейшины половцев со своими женами. Женщинам предоставлены отдельные кибитки.

Кругом на шестах насажены конские черепа. За этими оградами устроены волчьи ямы, капканы и ловушки и всюду вокруг привязаны свирепые волкодавы — помесь собаки и волка, ростом с нашего осла. От их неумоленного лая нет ни минуты покоя...

Вернулся осетин Чвартай и привез весть, что Шараган Шараганович ушел в поход на русов за реку. Начальник дворца, имя которого Баруха, носит, как женщина, косу, а усы у него, как у крысы.

Когда он узнал, что едут послы царя, глаза его заблестели, он не удержался и спросил: «Везут ли послы подарки?».

Показав пальцы обеих рук, он сказал: «Приведите послов через десять дней».

Итак, через десять дней я пошлю осетина Чвартая. Слава богу, теперь вашими заботами я обеспечен бумагой на случай, если будут приятные вести.

Прах вашего преосвященства
Стефаноз Цилканский.

ПАРЦХИССКИЕ ПРОЗЕЛИТЫ

Азнаур Моркневели хорошо знал, что в Парцхисской крепости должен быть потайной ход.

Во время великого сельджукского нашествия царь Георгий передал Парцхиси отцу Липарита Ивану. С тех пор там стоял гарнизон триалетских эриставов.

По царскому приказу Махара, Моркневели и Кариман Сетиели обследовали все окрестные ущелья и разделяющие их горные отроги, но ничего не обнаружили.

Наконец поиски увенчались успехом. У подошвы возвышенности, на которой стоит Парцхисская крепость, как раз в том месте Алгетской долины, где теперь находится колхозная мельница, — выступал утес, поросший мхом и огуречной травой. Здесь был выход из потайного тоннеля — настолько широкого, что в нем свободно могла пройти горная арба.

* * *

В это время в Парцхисской крепости подошли к концу запасы продовольствия. Оставалось несколько копченых оленьих туш, около ста мешков лобно и чечевицы и последний закром ячменя.

Гарнизон голодал. Сначала зарезали ослов и мулов, за ними наступила очередь лошадей. Крысы, покинув пустые амбары, бегали на открытых местах, и воины на них охотились.

Заза Джубиели и Долгий Георгий ходили озабоченные — не только рядовым воинам, но даже азнаурам и сотникам пришлось затянуть пояса.

Рати то сидел печальный и задумчивый у камина, то язвительно упрекал Заза и Долгого Георгия, или же поносил Мустафу бен-Исмаила, называя всех турок обманщиками и хвастунами и обвиняя их во всех своих бедах. Он жаловался, что, положившись на их обещание, своевременно не ушел в Ках-Эрети и испортил отношения с кахетинским царем Квирике и царевичем Ахсартаном, которые приглашали его в Вежнии, чтобы совместно действовать против царя Давида. Теперь же, обманутый Бархиароком, он пересидел в Парцхиси и оказался в окружении.

Хотя Долгий Георгий, переводя кади слова Рати, по воз-

возможности их смягчал, однако Мустафа бен-Исмаил не мог не почувствовать, что он стал нежеланным гостем.

Такая перемена отношений проявилась в исчезновении за столом сельджуков оленины и турятины, которых заменили жареные крысы и ржаной хлеб.

Раньше гости каждое утро и вечер приглашались к столу Рати, а теперь им просто швыряли пищу в комнату, отведенную для их ночлега.

Мустафа бен-Исмаил не спускал глаз с дорог, ведущих в Парцхиси. Страх его возрастал с каждым днем. Он с ужасом ждал, что войско азнаура Моркневели, наскучив осадой, вот-вот нападет на крепость.

Однажды утром он увидал, как воины Моркневели выкатили из Биртвисской крепости башни на колесах и «бараны», сначала расставили их на открытой дороге, а потом придвинули к первому ряду парцхисских укреплений на расстоянии полета стрелы.

Сельджуки стали молиться еще усердней, прося аллаха о спасении от алчущего мусульманской крови царя Давида.

С неменьшим страхом думал о предстоящем падении крепости монах Евтихий, так как не сомневался, что, оказавшись он в руках Каримана Сетиели, не миновать ему прыганья через обнаженные мечи.

Падая ниц, он подолгу молился и непрестанно убеждал воинов сохранять спокойствие и не роптать, закаляя дух борьбой с плотскими желаниями.

Как первый искус, он предложил «пояса покаяния», связанные из грубой шерсти или сплетенные из каната. Он внушал окружающим, что сыны Адама в ожидании смертного часа должны заблаговременно умерщвлять грешную плоть.

Следуя наставлениям монаха Евтихия, Рати и его азнауры обнажили чресла и на глазах у всего войска надели «пояса покаяния».

Видя это, воины охотно последовали их примеру. Евтихий усаживал в ряд по двенадцати человек, пел псалмы и заставлял подтягивать хором, а затем красноречиво рассказывал слушателям, какое возмездие ждет тех, кто не надел «пояса покаяния».

— Грешные сыны человеческие, чтобы укрепить дух, вы должны подавить голос плоти.

Хотя спаситель принял мучения за наши грехи, но этого мало. Приготовьтесь к покаянию. Мучающий тело очищает душу. Человеческий род заклеямен грехом — первородный

грех идет от чрева Евы. Умерщвляйте плоть, чтобы воссияла душа.

Произнося эту проповедь, монах Евтихий все больше и больше возвышал голос, мутные глаза его блуждали, на губах показывалась пена. Он разрывал на себе рубаху, кидался на кирпичный пол и дергал руками и ногами. Вытягивая голову, он простирал руки в стороны, как распятый, потом складывал их и в заключение бил себя кулаками в грудь, испускал вопли:

— Скорей!.. Доконайте меня камнями!.. Берите мое тело и несите на распятие! Дайте мне насладиться мучениями во славу господина Иисуса!

Спять он вскакивал, ворочал глазами, снова на губах его показывалась пена и он истощным голосом вопил:

— Аминь! Рассыпья, сатана!

Простирая руки, он хрустел костями с мастерством факира, который, собрав вокруг себя толпу, трещит руками и ногами, как кастаньетами.

— Братья мои во Христе, пойдем и сядем на черном камне и будем стенать и плакать, ибо настал час последней скорби!

С этими словами Евтихий садился, поджав ноги, на кирпичный пол и что-то бормотал под нос. К нему подходили и присаживались на корточки обросшие и изголодавшиеся защитники Парцхиси, били себя по голове, ударяли кулаками в грудь и плакали.

Ежедневно наблюдавший эти сцены Мустафа бен-Исмаил понимал их по-своему. Он думал, что воины плачут от страха перед неминуемым сражением с царскими войсками, и все более проникался ужасом.

По ночам он вскакивал со своего ложа и выглядывал в бойницы. Он опасался ночного нападения на крепость. Стоило ему задремать, как начинались галлюцинации. Он слышал грозный шум и со стоном вскрикивал:

— Аллах акбар (велик аллах), идут, идут!

Ескакивали разбуженные воины и поднимали тревогу.

Наконец, после утренней молитвы азани, он пошел к Раги, упал перед ним на колени и стал просить:

— Я поседел на службе султана. В мои годы трудно прыгать через обнаженные мечи. Прикажи вывести меня тайным ходом из крепости, и я возьму войско у авасинского сардара и окружу осаждающих.

Рати потерял всякую надежду на помощь сельджуков, но причитания старика его так раздражали, что он обещал ему выполнить его просьбу.

ДАМАССКИЙ МЕЧ

С южной стороны Парцхиси в одном из ущелий Богви была большая деревня Наирмали. При нашествии Малик-шаха погибло из жителей ущелья более тысячи семей и вдвое больше было угнано в плен. Превратились в развалины пять церквей. В Наирмали осталось мало мужчин.

Деревня эта была населена почти исключительно членами фамилии Хоргай.

От великого сельджукского нашествия уцелели только три брата Хоргай, сражавшиеся в войске царя Георгия. Их жены и дети с волами и баранами прятались в Тедзмийском ущелье.

После того как царь Георгий обязался платить сельджукам хараджу, жизнь стала понемногу налаживаться. Вернулись с войны Габриэль, Шио и Ваче Хоргай и нашли сожженными и уничтоженными не только свои дома и имущество, но и дома, и запасы своих родных и двоюродных братьев.

Братья Хоргай были крепостными крестьянами, спины их и так гнулись под тяжестью налогов, так что они еле-еле могли прокормить свои семьи, а тут еще на них свалились жены и дети погибших на войне и угнанных в плен родственников.

Давно перешагнувшие молодость братья не захотели делиться и вместе со всеми родичами в количестве пятидесяти семи душ поселились в огромном крестьянском дарбази.

У семей, которые они приютили, были уничтожены дома и пристройки и даже сенные сараи. Земледельческие орудия, арбы, маленькие ачачи — все было сожжено.

На сеновалах выли бездомные собаки...

Старший из братьев, Габриэль, получивший пять ран на войне под знаменами царя Георгия, стал руководителем рода.

Деревня Наирмали была расположена на утесах. Пашни и виноградники находились в ущелье, как раз там, где проходила дорога из Парцхиси в Самшвилде.

Около пятидесяти рабочих дней в году братьям Хоргай приходилось работать на полях вдов и осиротевших племянников.

За ранней и обильной снегом зимой наступила раньше времени весна. Еще на колючниках не успели отрасти шипы, как Габриэль Хоргай сказал мужчинам своего рода, что пора готовить землю для сева яровых.

На третий день пасхи двадцать семь крестьян вывели в поле плуг.

На небе еще стояла утренняя звезда, в кустах пел снегирь. От шелканья кнута испуганные жаворонки поднимались ввысь, и оттуда звенела их весенняя песня.

Габриэль был недоволен, что на этот раз из трех сыновей ему помогал только старший — Годерзи. На прошлой неделе он ездил в Начармагеви, где младшие его сыновья Ростой и Гогилой отбывали военную службу, и сотник обещал их отпустить на полевые работы для помощи отцу.

Понурился, Габриэль шел за гутани, по временам поглядывая на парцхисскую дорогу.

Уже начало смеркаться. На горизонте показались два всадника. Годерзи первый заметил их тени на склоне горы и обрадованно сказал отцу:

— Кажется, наши едут.

Габриэль поднял голову и увидел, что двоих всадников вагнали другие два. Присмотревшись, он обратил внимание на то, что они ехали не на конях, а на мулах.

— Хамо-о, — крикнул он на быков и приказал сыну вывести пятерку быков на дорогу. Ему хотелось на гладком месте очистить плуг от сорной травы.

Пока он занимался этим делом, всадники подъехали вплотную. Увидав перегороженную дорогу, ехавший впереди длиннобородый старик остановил мула в десяти шагах, обернулся к своим спутникам и заговорил с ними по-туркски.

Тогда Габриэль бросил сошки и крикнул Годерзи:

— Не поворачивай быков! Посмотрим, что это за люди.

Годерзи стал всматриваться в старика, у которого выкрашенная хной борода спускалась на грудь. Его спутники были одеты в грузинское платье, и на ногах у них также была грузинская обувь — цага.

Тем временем краснобородый спросил у Габриэля:

— Скажи, как проехать в Самшвилде?

Габриэль по-туркски не понимал и обратился к сыну:

— Ответь ему что-нибудь.

Годерзи медлил с ответом: вопрос показался ему странным, так как Самшвилде находилось в руках сельджуков. И почему эти люди в грузинской одежде говорят по-туркски?

Не отвечая на вопрос, он в свою очередь спросил:

— Гюрджи бильмерсан (по-грузински не понимаешь)?

Лицо старика недовольно передернулось, и он покачал головой в знак отрицания.

Габриэль не спеша подошел к незнакомцу и сказал Годерзи:

— Спроси у него, кто он такой.

Краснобородый, видимо, разозлился, но сдержал себя и на вопрос Годерзи ответил с напускной вежливостью:

— Если покажешь нам дорогу в Самшвилде, поблагодарим тебя, а если нет, то уж не обессудь, мой дорогой, мы не будем рассказывать всем встречным, кто мы и куда едем.

Габриэль схватил мула за поводья и сказал сыну:

— Переведи старику: дорога не их, и мы им не свои.

Краснобородый пришел в ярость и крикнул Габриэлю:

— Отпусти поводья!

Он дал шпоры мулу, тот рванулся вперед, но так как дорога была перегорожена быками, снова остановился.

Тогда Габриэль подскочил к старику и крикнул ему, чтобы он сошел с мула.

Старик перегнулся и ударил Габриэля. Разозленный Габриэль схватил его и, как переметную суму, бросил на землю.

Прежде чем Годерзи успел подбежать к отцу, второй всадник спешил и ударил Габриэля ятаганом.

Годерзи кинулся на него, отнял ятаган и стал душить.

Тогда двое других чужеземцев соскочили с мулов и принялись хлестать отца и сына плетьюми.

Габриэля спас от смерти кожух, ослабивший удар ятагана. Хотя он чувствовал, как из раны течет кровь, все-таки набросился на старика и связал ему руки, так что тот не смог пустить в ход меч, спрятанный под джубой.

Отнятым ятаганом Годерзи начал расправляться со спутниками краснобородого.

В это время подоспели на помощь двоюродные братья Хоргай и, сильно избив, связали чужеземцев веревками.

Годерзи вскочил на мула краснобородого и помчался в Хулутскую крепость к Кариману Сетиели.

Пленники лежали в пыли у дороги, стиснув зубы, отказываясь отвечать на вопросы, кто они такие и откуда.

Штора Моркневели и Махара прискакали в Хулутскую крепость.

Допрос одетых в грузинское платье чужеземцев продолжался целую неделю. Ни голод, ни плети, ни страх перед обнаженными мечами не вырвали у них признания.

Кариман Сетиели уже велел приготовить обнаженные мечи, но Штора Моркневели воспротивился, опасаясь, что смерть пленников унесет их тайну в могилу.

Единственное, чего мог добиться Кариман Сетиели, было заявление каждого из них на одиночном допросе:

— Хотя мы не знаем другого языка, кроме турецкого, мы не турки.

«Уж не осетины ли они?» — предположил Моркневели.

Он приказал обильно кормить их свиной. Когда свиное мясо поставили перед пленниками, они к нему не притронулись.

Ели они один только хлеб. Снова было подано жаркое, приготовленное из свиного мяса. Понюхав, они его отставили в сторону.

При обыске ятаганы были обнаружены только у двоих.

Махара осмотрел ятаганы, они оказались персидскими.

Тогда он потребовал показать ему меч, отобранный у краснобородого.

Как потом выяснилось, начальник Хулутской крепости припрятал его для себя, но когда Махара о нем вспомнил, начальнику пришлось с мечом расстаться.

На мече были еле различимые изображения двух лучников, стоящих спинами друг к другу, а между ними — волк с открытой пастью.

Махара был отличным знатоком оружия. Моркневели спросил у безбородого:

— Ну что, царевич! Быть может, это тавро тебе что-нибудь скажет?

— Если я не ошибаюсь, это тот самый меч, который Тугриль-бек когда-то подарил Липариту Великому.

Помолчав немного, Махара сказал Кариману и Шторе:

— Выходит, друзья мои, эти незнакомцы как будто бежали из Парцхисской крепости.

Последнюю неделю и Кариман и Штора, по приказу царя, находились в Начармагеви и потому не могли знать, сбежал ли кто-нибудь в эти дни из Парцхиси.

У Моркневели блеснула догадка.

— Сейчас же приведите монаха Микелу.

Монах Микела был выведен из подземелья. Он испуганно тарашил глаза, как полевая мышь.

Махара поднес меч к носу Микелы и спросил:

— Ну-ка, монашек, узнаешь эту игрушку?

Монах, видимо, был поражен и не произнес ни слова.

— Что, видно, соскучился по плетям, монашек? Сейчас говори, что это такое! — нахмурившись, сказал ему Моркневели.

— Это меч Липарита Великого, дамасский меч, кажется.

— Хорошо, — сказал Моркневели. — Где и когда ты его видел?

Монах на мгновение замолк, но, увидав, что Моркневели опять нахмурился, сказал, запинаясь:

— Этот меч был в Парцхиси у Рати Орбелиани.

— Не вспомнишь ли ты — быть может, Рати его кому-нибудь подарил? — спросил Моркневели.

Монах опять заколебался, но в конце концов сказал:

— Если не ошибаюсь, Рати подарил этот меч хамаданскому кади Мустафе бен-Исмаилу.

— Где он сейчас? — спросил Махара.

— В Парцхиси, — ответил Микела.

— Ты это наверное знаешь? — спросил Моркневели.

— Во всяком случае я его там оставил. Богу это лучше ведомо.

Моркневели вызвал начальника Хулутской крепости и приказал ему:

— Привести сюда краснобородого старика.

Когда старика ввели, монах не мог скрыть свое смущение. На того же его присутствие, по-видимому, не произвело никакого впечатления. Он моргал глазами с рыжими ресницами и молча смотрел в пол.

Указав на краснобородого, Моркневели спросил Микелу:

— Кто этот старик, монашек?

Микела взглянул исподлобья и, запинаясь, сказал:

— Если глаза меня не обманывают, это хамаданский кади Мустафа бен-Исмаил.

— Что он делал в Парцхиси? — спросил Махара.

— Гостил у Рати, — ответил Микела.

— Теперь можно его увести, — приказал Моркневели. —

Насчет остального поговорим с тобой завтра, монашек.

Монаха вывели, и Кариман Сетнели обратился к кади:

— Теперь нам все ясно. Ты должен нам рассказать, старик, все, что знаешь.

Мустафа бен-Исмаил хотя и дрожал перед войсками царя Давида, но, оказавшись в плену, проявил необыкновенное мужество.

Под ударами плетей он не проронил ни звука, тогда как его спутники ревели, как ревут быки под ножом. Никакие угрозы на него не действовали.

Кади презрительно заявил азнауру Моркневели:

— Вы можете меня заставить прыгать через обнаженные мечи, бить плетью или, по вашему обычаю, разорвать мое тело, привязав меня к хвостам двух коней, но ничем вы не вырвете у меня ни одного слова в поношение аллаха. Аллах всепрощающий, всемилостивый и всеведущий взирает сейчас своими очами на мои мучения. Также вам не добиться от меня ни слова против моего султана. Знайте, что я старый человек, верный моей клятве.

Все же остальное, что я знаю, могу рассказать вам без утайки.

Такая стойкость старика пришлась Моркневели по душе, и отношение его к пленнику изменилось. Он сказал ему по-турски:

— Царю нашему не нужна хула ни на вашу веру, ни на вашего султана. Скажи нам только правду, что сейчас происходит в Сельджукском султанате. Но помни, что за ложное показание ты ответишь головой.

Мустафа бен-Исмаил выслушал эти слова насупившись.

Когда его вывели, азнаур Моркневели приказал:

— Верните кади Мустафе дамасский меч и с сегодняшнего дня кормите его не свиной, а бараниной.

НАЗИДАНИЯ КАДИ МУСТАФЫ

Штора Моркневели и Махара доложили царю, что хамаданский кади в их руках. Царь велел допросить его о событиях в Сельджукском султанате.

На третий день чухчи вывели кади Мустафу бен-Исмаила из темницы, и он предстал перед Моркневели и Махарой в Хулутской крепости.

Моркневели: Кади Мустафа, наш царь получает мно-

го известий от своих послов в вашем султанате. Мы хотим проверить их точность. Поэтому ты нам должен откровенно рассказать, что у вас происходило после убийства Низама аль-Мулька. Не забывай, что за ложное показание тебе недобровать.

Кади Мустафа бен-Исмаил: Я расскажу все, что знаю и слышал. Прочее лучше ведомо аллаху, мудрому и всеведущему.

Как только Низам аль-Мульк был убит, амиры обратились к султану Бархиароку:

— Иди с войском в Рей, и мы пойдем впереди войска и подавим восстание, что затеял твой брат Мохамед.

Султан немного поколебался, но все же, захватив свою мать Зобеиду-ханум, направился с войском к Рею.

Не знаю точно, асасины или другие неверные сделали так, что в пути в войске султана произошло возмущение. Ночью шатры султана и лагерь его сарангов были разграблены. Зобеида-ханум испугалась и, чтобы избежать смуты, отправилась в Рей одна с небольшой свитой.

Когда Бархиарок был у подступов к Рею, его встретили амир над амирами Илаль бен-Ануштекин и Изз-аль-Мульк, сын Низама аль-Мулька и дочери абхазского царя Баграта. Их сопровождало многочисленное войско.

Махара: Ты ошибаешься, кади Мустафа. Она была племянницей, а не дочерью моего отца.

Кади Мустафа: Для меня безразлично, кто была эта баба.

Сказав эти слова, кади замолк.

Моркневели: Продолжай, продолжай, кади Мустафа.

Кади Мустафа: Как только султан Бархиарок узнал, что Мохамед идет с войском, он, будучи больным, уклонился от боя и направился в Исфаган.

В Исфагане хозяйничали сторонники Мохамеда. Они закрыли ворота крепости и не пустили Бархиарока в город.

Тогда Бархиарок пошел с войском в Хузистан.

В месяц джулькада, числа я точно не помню, Мохамед и его визирь Муеид аль-Мульк овладели Реем. Здесь тогда находилась Зобеида-ханум.

Вам, наверное, известно, что Муеид аль-Мульк был первым визирем Бархиарока и потерял свою должность по настоянию Зобеиды-ханум. Поэтому он свел с ней счеты, задушив ее тетивой своего лука. Амир над амирами Саад-эд-Даула-Аин всегда был заклятым врагом Бархиарока. Он на-

строил против него амиров Кербогу, Джекирниша, Зоркаба и Кенгавера. Они явились к Мохамеду и принесли ему при- сягу.

От лица этих амиров Саад-эд-Даула-Аин поехал в Багдад, чтобы склонить на сторону мятежников халифа Аль-Мостадира.

Это ему удалось, и в семнадцатый день месяца зульхи- джи халиф провозгласил хубту за Мохамеда.

Тем временем Бархиарок поправился. Он вторгся с вой- сками в Хузистан. В походе к нему присоединились великие амиры, а мятежники укрепились в городе Виките.

Как только Бархиарок и его полководцы подошли к кре- пости, городские старейшины и амиры, сторонники Мохаме- да, бежали.

Бархиарок взял крепость внезапным приступом, сжег дворцы своих врагов, взял в плен их жен и детей и наложил на город большую дань.

Асасины и другие злодеи подстерегали Бархиарока и его амиров на площадях, но по воле аллаха султан остался невредим.

Тогда поймали асасинов и других зачинщиков мятежа. Некоторые были повешены, а другие привязаны к хвостам собственных лошадей, и так тела их волочили по улицам.

Спустя неделю Бархиарок собрал войско и двинулся к Багдаду.

Халиф испугался и послал навстречу султану багдад- ского амида.

Напал страх и на врага Бархиарока великого амира Са- ад-эд-Даула-Айна. Однажды ночью он тайно бежал из Баг- дада и увлек с собой Наджм Эддина иль-Гази, сына Ортука, и других амиров, ненавистников Бархиарока.

Они устроили совещание и послали просить Мохамеда и Меджида аль-Мулька спешно выйти с войском на помощь, чтобы справиться с Бархиароком общими силами.

Меджид аль-Мульк и Мохамед побоялись выступить в Багдад и послали амира Кербогу и амира Джекерниша.

Тогда сторонники Мохамеда пришли в ярость и тайно послали гонцов к султану Бархиароку, прося о помиловании.

Бархиарок прислал аман мятежным амирам, а затем прибыл сам в их лагерь.

Как только амиры увидели султана, они сошли с коней, распрстерлись у его ног и стали целовать землю.

Моркневели: Теперь расскажи, кади Мустафа, какая участь постигла багдадского амида?

Кади Мустафа: Сначала Бархиарок посадил амида в тюрьму, но халиф Аль-МостаDIR рассердился и послал султану письмо с угрозами. Тогда Бархиарок смягчился и попросил выкуп в сто шестьдесят тысяч дирхемов. Халиф дал эту сумму и еще подарил султану почетный халат.

В месяц джумада Бархиарок вышел с войском из Багдада и направился в Шеизар. Здесь к нему присоединились великие амиры с многочисленными туркоманскими войсками.

Старейшины города Хамадана послали Бархиароку письма с изъявлением покорности: «Мы будем твоими рабами, бери амираты сторонников Мохамеда».

Бархиарок не удостоил их ответом и продолжал поход.

Махара: Об этом, кади Мустафа, нам в свое время сообщали. Расскажи теперь, как сразились Бархиарок и брат его Мохамед.

Кади Мустафа: Я тогда, признаться, в Хамадане не был. Как рассказывали мне в Исфагане, это произошло в четвертый день месяца реджеб на берегу реки Испит-руд, в трех парсангах от Хамадана.

Махара: Мохамед сам командовал своим войском?

Кади Мустафа: Центром войска командовали сам Мохамед и амир Сермез, правым крылом — амир Ахор и сын его Аяс и левым крылом — Меджид аль-Мульк.

Султан Бархиарок был болен, но все же принял командование центром своего войска, с ним был его амир Элаз. Правым крылом Бархиарока командовали Саад-эд-Даула-Аин, сын амира Садака изз-эд-Даула, и амир Зоркаб, а левым крылом — амир Кербога.

Саад-эд-Даула-Аин в начале сражения напал на левое крыло Мохамеда и опрокинул его.

Тем временем правое крыло Мохамеда стало теснить левое крыло Бархиарока. Отбросив его, войско Мохамеда начало наступление на центр Бархиарока.

Султан приказал отступать, вследствие чего в центре образовалась брешь.

Саад-эд-Даула-Аин был многоопытный полководец и в свое время сопровождал султана Малик-шаха в походах на Армению и Грузию.

Он не растерялся и продолжал теснить левое крыло Мохамеда, но под ним была убита лошадь. Не успел он под-

няться с земли, как к нему подскочил один хорасанский раб, отсек ему голову и поднес ее Мохамеду.

Визирь Бархиарока Элаз попал в плен. Войско пришло в полное расстройство. Меджид аль-Мульк принял Элаза с большим почетом, а Мохамед пожаловал ему звание багдадского амида и почетный халат.

В благодарность за эти милости Элаз, по совету Меджида аль-Мулька, поехал к халифу и просил его вознести молитву за Мохамеда. Аль-МостаDIR отпустил изменнику-визирию нарушение клятвы и в месяц реджеб произнес в Багдаде хутбу за Мохамеда.

Сказав это, кади приложил обе руки к вискам и замолчал.

Махара: Все это хорошо, но ты нам не сказал, куда делся после поражения султан Бархиарок.

Кади Мустафа: Как известно, султан Бархиарок имеет славу неустрашимого воина. Ночь после сражения он с сотней всадников провел в зарослях среди пустыни. Чего только не пришлось ему испытать!

Вы, наверное, слышали, как жадны львы к человеческому мясу. Там, где идет война, они высматривают добычу.

Едва стемнеет, они спешат на поле битвы и набрасываются на раненых.

В ту ночь смертельно уставшие воины Бархиарока пустили своих коней пастись, а сами повалились на землю и уснули. Уже за полночь в крепко спавший лагерь примчались обратно лошади. Мне это все рассказывал один амир, сопровождавший Бархиарока.

Лошади примчались с диким ржанием, на спинах некоторых из них сидели львы. Рычание львов и конское ржание разбудили воинов, и они увидели страшных гостей. У многих из них в это мгновение поседел волосы.

На второй день султан Бархиарок направился в Рей и там собрал войска из амиратов Нишабурского, Табаристанского, Хорасанского и Джорджанского.

Там же к нему присоединился амир Дази с двадцатью тысячами воинов.

Так началась новая война в Энушджане.

Моркневели: Разве в Энушджане Бархиарок воевал с Мохамедом?

Кади Мустафа: Нет, со своим младшим братом Синджаром.

Махара: Скажи мне, кади Мустафа, ведь Мохамед и Синджар родные братья Бархиарока?

Кади Мустафа: Нет, они оба от одной матери, а Бархиарок от другой.

Моркневели: Насколько нам известно, Синджар одержал победу. Не так ли?

Лицо кади Мустафы вспыхнуло злобой, и он заговорил повышенным до крика голосом:

— Это ложь! Аллах знает, что это не так.

Правда, Синджару удалось привести в Энушджан огромное войско, но ход событий там был такой.

Бархиарок сам принял начальство над центром своего войска, а у Синджара в центре стоял амир Рустем.

Обнажив меч, Бархиарок с боевым кличем опередил своих копыеносцев, быстрее мелькнувшей тени налетел на Рустема и пронзил его копьем.

Амир Рустем имел славу непобедимого. Когда его воины увидели, что конь влачит тело их полководца, они, объятые страхом, обратились в бегство.

Путь преграждала река. Беглецы кинулись в нее, не ища брода.

В числе пленных Бархиароку досталась мать Мохамеда и Синджара.

Перепуганная баба дрожала от страха, но Бархиарок ее успокоил:

— Не бойся, женщина. Напиши твоему сыну Синджару, пусть он вернет мне пленников, и я тебя освобожу.

Когда кади Мустафа окончил свой рассказ, Моркневели и Махара некоторое время молчали. Махара готовился задать еще вопросы, но, не дождавшись их, кади продолжал:

— Так непобедимы наш султан и сельджукский народ. Аллах никогда не оставляет милостью и покровительством нашего великого, непобедимого султана, и поэтому перед ним бессильны его мятежные братья и другие враги.

Махара насмешливо закашлял.

Кади взглянул на него, но не прервал своей речи.

— Величие и непобедимость аллаха беспредельны. Если бы все деревья на свете превратились в перья, а моря — в чернила, их бы не хватило для описания величия аллаха.

Только вы, неверные, настолько слепы, что не видите, как по его воле день сменяет ночь и восходят солнце и луна. Аллах знает все тайны морских пучин и какая судьба ожидает младенца, еще находящегося в утробе матери.

Знает он исход всех грядущих сражений и будущие победы, знает, какая смерть постигнет каждого из нас, ибо он всеведущ и многомилостив к каждому народу и к каждому человеку.

В нашей книге написано, что люди и народы, не верующие в могущество аллаха, хуже животных.

Заметив, что разошедшийся кади все больше и больше повышает голос, Махара согнал с лица ироническую улыбку, чтобы дать неистовому старику договорить до конца.

Кади Мустафа: Поэтому нас, сельджуков, как правоверных, никто не в силах покорить. Среди вас я единственный правоверный и ваш пленник, но смерть меня не смущает, ибо в нашем коране сказано: «Неверным говорите всегда, что велик к ним гнев аллаха». Воистину велик гнев аллаха к неверным.

Аллах дал нам весь мир, чтобы мы всюду раскинули наши шатры. Эту землю он дал как пастбище нашим овцам, степи — для ристалищ нашим витязям, церкви и синагоги неверных — для стойл нашим верблюдам, мулам и ослам. Все в воле аллаха, самодержца всего мира.

Махара слушал, блестя глазами и почесывая выкрашенными хной ногтями свой голый подбородок. Наконец он спросил язвительным тоном:

— Все это хорошо, но поясни, пожалуйста, кого ты называешь — мы.

Кади Мустафа: Мы — правоверные, меченосцы и щитоносцы аллаха.

Махара: По-твоему, значит, выходит, что и нашу страну дал вам аллах. С какой же это стати?

Кади Мустафа: Потому, что на Кавказе климат всех трех материков, здесь смешались тепло долин, прохлада гор, покрытых густой зеленью, и чистые горные ручьи. Все это нужно для пастбы нашим стадам и коням.

Махара: Здорово! А разве все это нам самим не нужно?

Кади Мустафа: Такова воля аллаха. Вы — неверные, и вас одна горсть, а мы — правоверные, и нам нет числа.

Столько воинов, сколько можно насчитать во всех ваших крепостях, у султана Бархиарока погибает в одном сражении. Аллах покровительствует нашему султану.

Милостив он и к нам, потому что нас много. Аллах — бог многих. Понимаете вы это или нет?

Последние слова кади Мустафа выкрикнул.

Махара, долго сдерживавший свое волнение, перестал почесывать подбородок и, окинув соколиным взором растрепанного краснобородого старика, крикнул:

— Кади Мустафа, ты хорошо знаешь ваш коран?

Кади Мустафа: Гм... Если я не знаю корана, то что же я тогда знаю?

Махара: Коли так, то вспомни тридцать первую суру вашего корана, где говорится: «Соразмерь твои шаги и твой голос, ибо самый неприятный голос у осла».

Кади Мустафа побледнел.

Моркневели приказал стоявшим у порога двум чухчам отвести кади обратно в темницу, отобрать у него меч и вместо баранины опять давать ему свинину.

ПЛЕНЕНИЕ ТРЕХ

Царя Давида очень обрадовало прибытие эристава Джонди с «тысячью иерусалимцев». Так называли его отряд, хотя, кроме тысячи закаленных в боях воинов, Джонди привез столько же грузин-инвалидов, потерявших здоровье в плену у сельджуков.

Встречали Джонди в Тедзмийском ущелье Кирион Манглисский, Ниани Бакуриани, азнаур Моркневели, Кариман Сетиели и Махара.

Всех растрогало свидание эристава Шамана со своим сыном.

Когда, обнимая Джонди, слепец, чтобы убедиться, что сын его вернулся невредимым, ощупывал его лицо, плечи и руки, — плакали не только женщины, но и сам Георгий Чкондидели, и даже прослезился обычно хладнокровный Махара.

По щекам и белой бороде эристава Шамана катились слезы.

Джонди не успел прийти в себя и успокоиться, как его повели в дарбази животворящего креста, усадили в кресло перед камином и заставили рассказывать.

День прошел в расспросах. За обедом никто не думал о еде. После обеда снова усадили Джонди, чтобы слушать его рассказы. Он не успевал удовлетворить любопытство епископов, желавших узнать об «освобождении гроба господня»,

шествии креста Багратидов в Иерусалим, о грузинских монастырях в Палестине, грузинских иконах и об участии грузин в событиях, происшедших в освобожденном Иерусалиме.

Два дня и две ночи Джонди почти непрерывно повествовал царю, Чкондидели и эриставам о битвах франков с сельджуками и о трагической гибели многих тысяч невинных людей.

Все замечали, как возмужал Джонди.

Он слегка прихрамывал, чуть-чуть поседел, но кровавые ужасы и опасности, пережитые на войне, не лишили его жизнерадостности.

Женщины обратили внимание и на то, что он отрастил бороду, придававшую ему солидность, особенно когда он молчал. Но стоило ему пошутить, как под его соколиным носом появлялась улыбка и оживало его былое юношеское озорство.

В обществе Дедисимеди, Гванцы, Ниании и Махары Джонди непрестанно гримасничал. В эти минуты перед его друзьями появлялся опять прежний сорванец Джонди.

Охотнее всего он вспоминал о проделках своего «меченосца» Хахутая.

Таким образом, имя бывшего дьякона Хахутая, когда-то известного только тем, что он прикарманивал деньги на поминках, теперь произносилось наряду с именами паладинов крестоносцев Готфрида Бульонского, Болдуина и Танкреда.

Когда Джонди рассказывал о кровавых дождях Палестины, о битвах народов и штурме крепостных стен, Дедисимеди и Гванца перебивали его вопросами:

— А где был тогда Хахутай?

— Что сделал Хахутай?

— Что сказал Хахутай?

Хахутай был очень доволен гостеприимством Липарита.

— Ничего, я попал в хорошее место, — говорил он главному повару. — Если соизволит мой господин, я бы не прочь остаться здесь навсегда. Ты ведь знаешь, Швениерисдзе, когда дурачка пригласили на свадьбу, он сказал: «А здесь лучше, чем у меня дома!».

Хахутай засмеялся, и при этом глаза его бегали, как у крысы, застигнутой в амбаре, наполненном овсом.

При переправе через Чорох, который он переплыл, не ища брода, Хахутай немного простудился, что его, впрочем, мало беспокоило.

По приказу Липарита этого доблестного иерусалимца поселили у местумретухуцеси. Постель ему была постлана у камина, и он на ней нежилась день и ночь.

Сам главный повар подносил ему лопатку быка, олений окорок, копченых гусей, бараний курдюк, голову и ноги кабана.

Все это он в шутку называл «милостыней Дедисимеди».

Подобно тому как эристав Джонди удовлетворял любознательность царя и вельмож, Хахутай в те же часы восседал на своей постели и, не умолкая, рассказывал обступившей его прислуге обо всем, что он лично пережил и что слышал.

Местумретухуцеси, ловчий, конюший, ключники, монахи, дьяконы и вся дворня большого дворца Липарита, как только им удавалось улучшить время, спешили собраться вокруг Хахутая.

Одни усаживались на полу, другие стояли, третьи приседали на корточки. Они заставляли бывшего дьякона рассказывать о приключениях в Антиохии и в Иерусалиме, как он варил крыс, торговал водой, как, попав в плен к сельджукам, надувал амира Халиафа, как воровал во время скитания по морям у греческих кормчих ворон.

Местумретухуцеси особенно нравились рассказы об озорстве Хахутая, о том, как он поил касторкой соколов амира Халиафа и зашивал им задний проход.

Воспоминание о перенесенных лишениях увеличивало аппетит Хахутая.

— Ты сыт? — спрашивал его главный повар.

— Ничего, малость перекусил, — отвечал обжора, так обглодав бычачью лопатку, что она сделалась прозрачной, как китайский фарфор.

— Спрячь это, дяденька, — говорил он, — как-нибудь найдется время, я научу тебя чертить на лопатке арабские письма.

Дедисимеди и Гванца не были удовлетворены рассказами Джонди, все время слыша от Лелы и Ноны: «Уморил нас Хахутай, столько мы смеялись».

Им очень хотелось тайком пробраться в комнату местумретухуцеси, но, боясь Каты, они на это не решались. Девушкам ничего другого не оставалось, как осаждать совершенно изнемогшего Джонди просьбами рассказать посмешнее о проделках его меченосца.

Как-то вечером Гванца принялась умолять брата:

— Ты должен еще рассказать, как Хахутай украл ворона.

И Дедисимеди от него не отставала.

Наконец Джонди откашлялся и начал:

— Когда мы на греческих галерах отплыли от Лаодикии, Хахутай доглядел, что у кормчего были в трюме вороны.

— А для чего их берут на корабли? — спросила Гванца.

— Ворон — непременная принадлежность корабля, — объяснил Джонди. — Если в открытом море настигает туман и судно теряет направление, тогда выпускают ворона, и он обязательно полетит на север. В соответствии с этим корабль берет верный курс.

— А дальше, дальше что было? — приставала Гванца.

— Дальше... Хахутай тайком пробрался в трюм, каким-то образом открыл клетку и вытащил одного ворона.

В первые дни плавания я страдал морской болезнью. Однажды ночью, лежа в постели, я подремывал. Под утро вдруг слышу какую-то возню, хлопанье крыльев и прерывистое карканье.

Я крикнул Хахутаю:

— Что ты там делаешь, христопродавец?

— Ничего, батона Джонди, готовлю себе завтрак.

Я разглядел в темноте бившуюся птицу. Проучив как следует Хахутая, я строго-настрого приказал ему оставить свою добычу в покое.

Когда рассвело, я увидел, что ворон наполовину ощипан и таким образом потерял свое значение в качестве проводника. Я встал и понес его кормчему.

Я боялся, что кормчий рассердится, но, к счастью, он тоже оказался шутником и, весело посмеявшись над полуощипанной птицей, стал меня успокаивать:

— Ничего, у меня в трюме достаточно этого добра. Да и по звездам я замечаю, что в эту фазу луны тумана не будет.

Улыбнувшись, он прибавил:

— Я объехал весь мир, видал вшедов и людей, евших змей, ящериц и саранчу, но никогда не слышал, чтобы человек ел воронов. Вероятно, в вашей стране они считаются съедобными?

— Нет, народ наш — хорошие христиане, и только один мой меченосец такой обжора.

— Должен вам признаться, что я хотел бы узнать, какова эта птица на вкус, но среди гребцов никто не хочет составить мне компанию. Разрешите, я договорюсь с вашим меченосцем и с его помощью удовлетворю свое любопытство.

Финал этого дела был такой: кормчий с Хахутаем аппе-

титно закусили вороном и запили его греческим красным вином.

Когда я спросил Хахутая, каков же оказался ворон на вкус? — он оскалил свои лошадиные зубы и сказал:

— Что же я в Антиохии ел, кроме воронятины, батона Джонди? Там иной раз приходилось есть и дохлых воронов, а этот превкусный, немного горчит и кислит, но оно приятно.

* * *

В воскресенье на Фоминой неделе царь и семья Липарита со свитой и небольшим эскортом отправились в Гомарети.

Прослушав обедню, они в тот же день вернулись в Липаритис-убани. За стол сели, когда уже начало смеркаться.

И царь и Липарит были в самом благодушном настроении.

Когда Джонди закончил рассказ о главных событиях в Иерусалиме, они начали его расспрашивать об охотничьих уставах сельджуков.

— Как я уже вам говорил, мой меченосец, бывший дьякон Хахутай, из-за своего обжорства попал в плен к сельджукам, — начал Джонди. — Его вместе с другими греческими ополченцами долго гнали из Антиохии в Маару, и там он был продан местному амиру Халиафу.

Этот старый амир ходил с Альф-Арсланом на Ахалкалаки. Халиаф лично знал нашего царя Георгия, когда государь гостил у султана Малик-шаха в Исфагане.

Амир Халиаф обратил внимание на богатырское сложение Хахутая и подробно расспросил, кто он и откуда.

Узнав, что Хахутай грузин, амир тотчас стал его расспрашивать о правилах нашей охоты. Ясно, что бывший дьякон никогда не охотился, но, живя в Гегути, он кое-чего слышался от сокольничих царя Георгия и наговорил много правды и небылиц о грузинской охоте.

Амир его прежде всего спросил:

— А сам ты когда-нибудь охотился?

Хахутай стал бахвалиться:

— Мне приходилось быть и сокольничим у царя Георгия.

Ксроче говоря, он приписал себе всех оленей, кабанов, медведей, ланей и фазанов, которых в свое время заповлевал наш государь.

Тогда амир ему сказал:

— Если ты вправду такой знаменитый охотник, то назначаю тебя главным сокольничим на место моего Мансура, которого убили неверные франки.

Известно, что нужда — великий учитель. Бедняга Хахутай напряг все свои способности, припомнил все, что когда-то слышал в Гегути, и стал кое-что смекать.

Амир был бездетен, и его главной утехой были ловчие птицы.

Всего у Халиафа было около сотни соколов, до пятидесяти ястребов и множество византийских гончих, гепардов и орлов.

В это время франки приближались к Мааре и всех молодых сокольничих взяли на войну; дома остались одни старики, еле таскавшие ноги.

На Хахутая поэтому свалилось много работы по уходу за птицами; он их кормил яичным желтком и вареным белым мясом, шил им клобучки, вырезывал долгики, прилаживал бубенцы и делал рукавицы.

Накануне охоты амир навещал своих ловчих птиц и, если видел малейший беспорядок, приходил в ярость. А на христиан он и без того пылал злобой.

Хахутая надоели придирки, и он со зла стал подсыпать в пищу ловчим птицам соль. Стоило амиру отправиться в поход, как на другой день какой-нибудь ястребишка протягивал ноги.

Сначала амир рассуждал так: «Видно, аллах гневается, что правоверные терпят поражения, и поэтому не благоволит к нам в делах охоты».

Когда же околел его сокол стального цвета, Халиаф расвирепел. Понося всех христиан, набросился он на Хахутая и отхлестал беднягу плетью.

Хахутай выждал, пока ярость Халиафа немного улеглась, а потом стал ему внушать, что гибель сокола — дело рук сокольничего-сельджука, кормившего соколов ослиной падалью. Это, надо думать, и послужило причиной «такого большого несчастья».

Амир произвел следствие. Вызванный по этому случаю местный кади докопался, что действительно какой-то старик сокольничий накормил одного ястребишку падалью.

Амир вернул «невинному» Хахутая свое расположение, но бывший дьякон крепко запомнил хозяйскую плеть и решил отомстить.

Был у маарийского амира любимый годовалый сокол,

подаренный ему амиром иль-Гази за табун лошадей. Не доверя больше сокольничему-сельджуку, Халиаф поручил этого сокола попечениям Хахутая.

Амир часто уезжал на войну, и тогда Хахутай не спал ночи напролет, сидя до рассвета с избалованным хищником и твердя ему в ухо «А... а... а... а», чтобы он не отвык от человеческого голоса и не одичал.

Когда наступал час кормежки «большого господина», Хахутай мыл руки и потчевал его яичным желтком и отборным белым мясом.

Как только солнце поднималось и делалось жарко, Хахутай выносил сокола в сад, сажал на жердь, согнутую дугой, и приготавливал воду для его купанья.

Сокола звали Алиа.

Во время охоты он сидел у Хахутая на рукавице. Вы, наверное, знаете, что у сельджуков большой палец на рукавице не кожаный, как у нас, а деревянный.

Если какая-нибудь из ловчих птиц упускала фазана, утку или глухаря, амир вскрикивал:

— Алиа!

Услышав крик хозяина, Алиа тотчас срывался с пальца Хахутая и перелетал на палец амира, который его тут же напускал на дичь, и от жертвы летели перья.

— Как напускают сельджуки соколов? — спросил Липарит.

— Они их не стряхивают с левой руки, как мы, а, взяв правой рукой за спину, сильным движением бросают вперед в погоню за дичью.

Алиа ловил не только фазана и журавля, но также и зайца. Если гепарда напускали на лань или на сайгу, первым нагонял жертву Алиа и выклевывал у нее глаза, после чего на обессиленное животное набрасывались гепард или борзые.

Хахутай рассказал мне такой удивительный случай.

На селезнях было выпущено около десяти соколов, но он от них вырвался. Тогда амир выпустил Алиа, и тот начал клевать селезнях в воздухе.

Селезень спасся в озере, за ним нырнул сокол. Замолкли трещотки. Долгие поиски обеих птиц были бесплодны.

Амир в отчаянии рвал бороду. Вдруг Алиа поднялся из воды, держа в когтях добычу.

Хозяин так любил Алиа, что разрешал ему спать на ковре, на котором молился.

Когда франки подошли к Мааре на два парсанга, Хаху-

тай решил угостить Алиа солью, и он от этого отправился к аллаху.

Тут красноречие Хахутая уже не помогло, и взбешенный амир приказал бить его батогами и бросить в тюрьму.

Амир Халиаф устроил своему любимцу пышные похороны.

По площади Маары, склонив головы, толпами двигался народ, чтецы корана громко распевали суры.

Амир Халиаф шел, окруженный родственниками и приближенными, и ударял себя по голове. Перед ним два старика несли останки Алиа...

Надо отметить, что Джонди все это рассказывал гораздо живее, чем получилось на страницах этой книги.

Поэтому и царь, и Липарит, и даже Георгий Чкондидели много посмеялись.

— Умеют ли сельджуки охотиться с гепардами? — скромно спросил азнаур Моркневели.

Не успел Джонди приступить к рассказу об охоте с гепардами, как внезапно вошел Махара и, подав царю свиток, шеннул:

— Сейчас его доставил скороход мухатгвердского цихистава.

Царь, развернув свиток, пробежал написанное, опять свернул и сжал в руке.

От внимания его не ускользнуло, что глаза Липарита впелись в письмо. Сделав вид, что не замечает этого, царь продолжал с ним разговор об охоте.

— Приходилось ли тебе охотиться с гепардами, эристав над эристами? — спросил он Липарита.

— Гепардов всегда держали покойный мой дед и также мой отец. Как-то один из этих хищников убежал в Шаори во время охоты на ланей. Он искусал главного ловчего и, трудно поверить, перепрыгнул через стену высотой в три человеческих роста и скрылся в сосновой роще.

Потом этот проклятый зверь повадился ходить по окрестным деревням и причинил много вреда, уничтожая лошадей и скот. Он похитил семнадцать детей, когда они ходили в лес за грибами или собирали валежник.

Отцу это надоело, он вывел из семи деревень всех мужчин, взял на помощь хулутский гарнизон, и мы окружили на протяжении двадцати парсангов все ущелья и теснины, но разбойника найти не удалось.

Затем зима кончилась, и уже весной у Шошилетской

церкви гепард наскочил на свинопасов: их громкие крики на свиней его испугали, и он выпрыгнул из окна церковного придела. За ним пустились в погоню и прикончили его кинжалами и посохами. Мы его узнали по нашей цепи.

Как рассказывал нам после звонарь Шошилетской церкви, гепард этот, оказывается, жил в приделе и звонарь по ночам слышал мяуканье, но думал, что это дикий кот.

Одна вытянутая из шелковой ткани нить потянет за собой другую, а дернешь эту другую, — за ней пойдет третья. Так бывает и в беседе.

Разговор о дичи и об охоте не обрывался.

— Хорошо охотиться с гепардами, — сказал царь Липариту, — Скоро ты, вероятно, будешь у нас в гостях в Начармагеви. Недавно писал мне из Багдада Джоджики, что пришло много отличных гепардов. Если я их получу, то устрою охоту на ланей.

Махара обратился к Липариту:

— Не только с гепардами, я покажу тебе охоту на ланей с соколами и ястребами.

— Твои ловчие птицы, Махо, уже состарились, — сказал царь.

— Вчера я получил письмо от начальника Начармагевской крепости, он сообщает, что Кавтар Барамисдзе прислал из Эрети семь годовалых соколов и двенадцать белых ястребов. Не дождусь, когда попаду в Начармагеви; там сделаем с соколами напуск, — говорил Махара.

— Не рано ли еще для напуска? — спросил Липарит.

— Как раз сейчас самое время для весеннего напуска, эристав над эриставами. Напуск давно начался в аргветских и маргветских эриставствах. Неделю тому назад мне сообщили из Квахвтели, что они уже пытались сделать первую пробу. Я там тоже держу несколько ловчих птиц.

— А сколько у тебя ловчих птиц во всей Грузии, Махо? — спросил Нианиа.

— Если брат мой Георгий не накормил их солеными яйцами, то в Гегути у меня наберется до полсотни и столько же в Уплисцихе.

Георгий Чкондидели заметил с улыбкой:

— Я совсем позабыл, Махо: царь Георгий поручил тебе сообщить, что больше половины твоих соколов погибло от куриной чумы. Так сказал государь, и больше я ничего не знаю.

Лицо Махары залилось краской.

— Что ты говоришь, владыка Георгий! Каждый сокол стоит мне арабского коня. Приеду в Гегути — оборву бороду главному ловчему Яманисдзе.

— Сельджуки себя не помнят, ухаживая за ловчими птицами, — вставил слово Нианна Бакуриани. — Малик-шаху дядя его Кавурд подарил семь беркутов и тринадцать белых соколов, за что получил столько же арабских жеребцов.

Альф-Арслан оторвал ус своему главному сокольничему, отцу амира Токтекина, за то, что тот не уберег одного ястреба.

Наджм Эддину иль-Гази его тесть амир Тутуш пожаловал Иерусалимское амирство за подношение пятидесяти соколов и столько же ястребов.

— Если сельджуки делают такие глупости, то не удивительно, что дела их идут так хорошо, — иронически заметил Георгий Чкондидели.

— Искусством выхаживать ловчих птиц славился армянский князь Тороз, — продолжал Нианна. — Он посылал их в подарок дамасским и аданским амирам и получал взамен чистокровных иеменских жеребцов.

Армянские владетели дарили Алексею Комнени годовалых соколов, а византийский кесарь отдаривался собаками.

— А ну, скажи, какого цвета византийские борзые? — спросил Махара.

— Цвета яичного желтка. Грудь их и лапы такого же цвета, по всему туловищу желтые пятна, только вдоль хребта волосы оттенка воронова крыла.

Царю надоели эти разговоры, он встал и пожелал хозяевам покойной ночи.

Одна Дедисимеди заметила, что после получения свитка настроение царя изменилось.

* * *

Со следующего дня начались сборы к отъезду.

Было решено, что эристав Липарит с семьей примет участие в поездке и будет гостем царя в Начармагеви. Скороходы из Гегути и кутаисские монахи разнесли слух по всему Трналету, что весной туда же прибудут императрица Мариам и царь Георгий с царицей Еленой.

И у малых и у великих были на устах хорошие вести.

Не только Ката, но и Кирион Манглисский, и отец Васи-

лий были убеждены, что в Начармагеви должна состояться если не свадьба, то во всяком случае обручение.

Все как будто складывалось в пользу этого предположения.

Из Гегути было получено письмо от царя Георгия и царицы Елены. Они с радостью поздравляли Давида по случаю примирения с раскаявшимся эриставом.

Царь Георгий писал:

«Открой, сын мой, врата сердца земным радостям, ибо земной жребий наш напоминает мне чудесное индийское дерево, что цветет лишь единожды в течение века и затем засыхает.

Мир наш также походит, сын мой, на сбор винограда. Мудрые сразу примечают, когда он созреет. И лишь только солнечные лучи сделают гроздья сладкими как сахар, они соберут душистый виноград. Неразумный же станет говорить: «Завтра... Завтра...», а тем временем вместо хозяина виноград соберут птицы.

Таков и наш мир, сын мой. Открой врата сердца земным радостям, пока голова твоя не побелела, как снег, что постигло и меня и всех наших дедов и прадедов...»

Когда Махара любезно показал это письмо Ката, она задержалась на строках, написанных царицей:

«...Желаю тебе счастья. Бессонными ночами я непрестанно молюсь о твоём счастье...»

Дважды повторенное слово «счастье» окрылило жену эристава надеждой. Кроме этого, царица сообщала еще одно приятное известие: «Императрица Мариам прибыла в Поты, царь Георгий с Шергилом Липартиани и кутаисскими епископами завтра едет встречать Маико. Отдохнув в Гегути, она вместе с нами приедет к тебе в Начармагеви».

Ката ясно видела во всем хорошие перемены. Если до этого всегда сумрачный царь избегал встречаться с семьей Орбелиани и вел замкнутую жизнь в старом дворце Липаритов, то теперь он старался обласкать всех, от мала до велика.

Неспроста изменил свое обращение и Махара. Ката отлично знала его враждебное отношение к Липариту. Между тем безбородый то и дело заводил с эриставом долгие беседы и настойчиво приглашал его принять участие в весеннем напуске соколов в Начармагеви.

Липарит со своей стороны был со скопцом исключительно любезен. Он дружески обращался «мой Махо» к тому са-

тому Махаре, которого раньше называл не иначе как «злополучным».

В субботу вечером явился к царю Давиду с богатыми дарзми Иоанн Дукидзе. Гости еще сидели за столом, когда он вошел в большой дарбази животворящего креста.

Сначала он облобызал руку Георгия Чкондидели, поцеловал в щеку Кату и затем упал к ногам царя Давида, обнимая его колени.

Царь привстал и хотел поднять старика. Тогда Дукидзе завладел его правой рукой и начал ее целовать.

— Да будет благословение на тебе и на всем роде христианском, наш милосердный государь! — возглашал он.

Когда Дукидзе узнал от Махары о предстоящем в Начармагеви весеннем напуске соколов, он выразил юношеский восторг.

Махара, не спросив царя, пригласил его приехать туда вместе с эриставом над эристами. Давиду это не особенно пришло по душе, но он ничего не сказал Махаре, учитывая, что Дукидзе состоит в свите Липарита. Азнауры — сторонники Орбелиани — находились почти все у Рати в окруженной царским войском Парцхисской крепости. Не могло вызывать сомнений, что чванный эристав не поедет в Начармагеви в сопровождении одних епископов.

* * *

Дважды написанное царицей Еленой слово «счастье» совпало с таким происшествием.

Иоанн Дукидзе, еще под хмельком после какой-то свадьбы, рано утром подскакал к дворцу Липарита.

Со времени примирения Липарита с царем Иоанна снедало любопытство: когда же состоится свадьба?

У ворот он бросил поводья конюху и спросил встретившегося ему главного конюшего:

— Где Махара?

— В розовом цветнике.

Махара расставлял в цветнике силки.

— Для кого эти силки, Махо?

— Для соловьев.

— Как для соловьев?

— Ну да, для соловьев. Ты, видно, не бывал на свадьбах. Неужто тебя там никогда не угощали соловьиными языками?

— Ты шутишь или говоришь правду, Махо?

— Клянусь твоим солнцем, говорю сущую правду. Свадьбы знатных людей не обходятся без того, чтобы самому почетному лицу не подали за столом это блюдо.

Этого разговора было достаточно, чтобы легковерный Иоани доложил еще более легковерной Ката, что Махара уже готовится к свадьбе.

Вскоре главный конюший дворца Липарита и постельничие монахи разнесли эту новость по всему Триалети, по Джавахети и Внутренней Картли.

* * *

Неожиданное известие напоминает незрелый плод, а долгожданное — уже перезревший. Если первый приходится с усилием сбивать палкой, то второй падает на голову, лишь тронешь ветку.

Поэтому праздные языки поработали на славу, чтобы разнести во все углы болтовню Иоанна Дукидзе.

Сторонники Липарита перешептывались с осуждением:

-- Если правда, что царь женится на Дедисимеди, то зачем же привезли сюда дочь эристава Шамана?

Ката была на седьмом небе от счастья и не знала, как сделать, чтобы услышать от самого царя подтверждение этих слухов.

Не имея сил таить радостную новость, она поведала ее Липариту.

Характер эристава за время заточения очень изменился. Он не решался заговорить с царем по этому большому для него вопросу и день и ночь поносил Катю.

-- Ты и императрица Мариам навязали мне эту напасть. Ты просто легковерная баба! Балагурство шута Махары приняли за чистую монету. Лучше бы, чем верить ему, сама спросила у царя...

Несмотря на такие назидания, Ката уповала всей душой, что если не в Триалети, то в Начармагеви день свадьбы будет все же назначен, и она занялась приготовлением приданого Дедисимеди.

* * *

Было это в тот самый день, когда царь Давид, Чкондели, Липарит и эристав Шаман ездил в Манглиси.

У Махары разыгралась мигрень, и он зашел в дарбаз животворящего креста попросить у Каты лекарства.

В дарбазе жена эристава посадила постельничих и писцов составлять опись приданого. Перед открытыми сундуками сидели Цициа, жена Иоанна Дукидзе, Лела и Нона и доставали из них меховые мантильи, шейдиши, одеяла, золотую и серебряную посуду, конскую сбрую и ковры.

Увидав Махару, Цициа велела постельничему монаху раскрыть огромный сундук. Глазам скопца представились драгоценные фарсисанские шали, аденские, таватские и сисские шелка, клубки шабаристанской шерсти, златотканая дамасская парча, изумительные иранские брокаты.

Махара пощупал брокат и сказал:

— Персы называют его касаб.

Цициа достала длинный сверток и, блеснув глазами, показала его Махаре.

— А это как тебе нравится, царевич?

— Это называется мосаб.

Цициа вынула шелк с золотыми блестками.

— Когда я был в Медине, такая ткань там стоила триста динаров, — сказал Махара.

Лела принесла и разложила перед ним диметские тюлевые лечаки — одни пунцово-вишнего цвета, а другие василькового, затем хамаданские шерстяные материи, иеменские шелка, намотанные на вальки и разрисованные попугаями, слонами, павлинами и львами.

Далее Цициа показала Махаре толстые накидочные ткани — одни цвета апельсина, а другие — мака.

— Это, наверное, армянские сказы, а это арабы называют дибак, — объяснял Махара, ощупывая матерью.

Тогда Лела принесла куфинские шали — одни точно обрызганные золотом, другие клетчатые, еще пестрые, цвета цесарки и некоторые полосатые, как зебра.

Нона достала ковры — большие и малые, хузистанской, иеменской и мединской работы. Махара загляделся на один из них, на котором был выткан верблюд, терзаемый львом. Внимание Махары привлек еще один совсем маленький коврик — мосалла.

— Кто здесь изображен? — показала Ката на коврик, имевший ширину не более человеческих плеч.

— Это Шуруджери убивает своего отца Фарвиза.

Ката ничего не знала ни о Шуруджери, ни о Фарвизе и.

чтобы не обнаружить своего невежества, предпочла промолчать.

— Откуда эти ковры? — спросила Цициа.

— Из Аравии. Они называются там форош-аль-кирмиз. Затем Махаре были показаны куфинские и иеменские циновки. На одних изображалось море, на некоторых — галеры и рыбы. Чешуя рыб была выписана золотом.

Потом очередь дошла до икон и церковной утвари.

Махара обратил внимание на принадлежавшую еще прабабушке Дедисимеди Мзиствале икону Иверской божьей матери письма неизвестного грузинского художника из Кларджети, исполненную с большим мастерством. Была еще литая из золота миниатюрная наперсная икона архангела Михаила; перья на крыльях архангела походили на чешую рыбы.

Еще были прекрасные образцы грузинской эмали — стальные и тоже наперсные иконы.

Карманные псалтыри и молитвенники в переплетах из слонской кости с цветными миниатюрами, кресты разной величины со скульптурным распятием.

Были там изделия грузинских резчиков из кости и дерева.

Инструменты для вырывания волос, вырезанные из яхонта, с золотыми и серебряными ручками.

Нона достала ножи и ложки, хрустальные бокалы, вазы для фруктов и солонки.

Потом безделушки — маленького льва из слоновой кости с рубиновыми глазами, золотого павлина с глазами из сапфира, золотую пальму с плодами — жемчужинами.

Ката поднялась и открыла ларец. В нем хранились серебряные шлем, панцирь и щит, выкованные по заказу Липарита дманисскими мастерами к десятилетию Дедисимеди. Она также показала гостью седло из слоновой кости с серебряным прибором.

Туалетные принадлежности включали маленькие лекифы, серебряные и из цветного стекла флаконы для духов, особую посуду для розовой воды, кайсума, сакурской жидкости и для масла разных сортов и, наконец, сосуды для различных притираний.

Много видавший на своем веку и знакомый с сокровищами византийских императоров, Махара вышел из дарбазы животворящего креста пораженный.

Провожала его Лела.

Она была в приятельских отношениях со скопцом; схватив его за руку, она сказала:

— Пожалуй сюда, царевич.

Они довольно долго шли по полутемному коридору и наконец очутились в комнате с низким потолком.

Вокруг огромного стола десятка два мастериц работали, опустив головы и напевая. Перед ними были клубки золотой канители и шерсти; они кроили, шили и вышивали.

Простолюдины любили Махара за доброту и обходительность с низшими. Однако при его появлении мастерицы замолчали.

— Пойте, пойте! — сказал Махара. — Пойте, детки, пока поется. Успеете намолчаться на том свете.

— Продолжайте! — приказала Дела.

Болнисская девушка набралась храбрости и запела.

Вся эта подготовка к свадьбе была неожиданна и скорее приятна Махаре. Вместе с тем он был озадачен. Намерения царя ему были как будто хорошо известны: до окончательного примирения с молодым Орбелиани царь считал невозможным принять решение относительно свадьбы.

Когда Махара увидел своими глазами все эти приготовления, он немного обиделся: почему царь ничего ему не сказал?

Махара был от природы мнителен.

Сам он на эту тему ни за что бы не начал разговора с Давидом.

Приготовление к свадьбе показались странными и Георгию Чкондидели, и эриставу Шаману, и молодым спасаларам. Они решили, что царь в своем личном деле обошелся без посторонних советов, задать же ему прямой вопрос никто не осмелился.

* * *

В воскресенье утром к царю в старый дворец явился азнаур Моркневели. Царь, запершись, долго совещался с Чкондидели и спасаларами.

Махара тщетно пытался в этот день выведать, о чем там шла речь...

В прошлый четверг, под покровом глубокой ночи, Рати Орбелиани с меченосцем Долгим Георгием, тремя сыновьями Дукидзе и монахом Евтихием бежал из Парцхисской крепости.

сти через потайной ход и направился по алгетской дороге к Рустави.

Кариман Сетиели с чухчами шел по пятам за беглецами, не упуская их из виду. Они переправились через Куру, найдя брод против Руставской крепости.

* * *

В воскресенье царь со свитой и эристав Липарит с семьей отстояли обедню.

За завтраком Липарит вдруг вскрикнул от боли, схватился за поясницу и, извинившись перед гостями, вышел из столового дарбази. За ним последовала побледневшая Ката.

На следующее утро местумрехуцеси пришел к Махаре и доложил:

— У эристава над эриставами Липарита вчера был очень серьезный приступ болезни почек. Поэтому он не сможет в ближайшие дни поехать в Начармагеви.

Махара еще не знал о бегстве Рати, но почувствовал неладное.

— Эх, опять судьба стала плести темные сети, — сказал он Ниани Бакуриани. — Какая там свадьба! Боюсь, не полилась бы кровь вместо вина.

Прошло еще три дня. Однажды вечером в дарбази у царя засиделись Георгий Чкондидели и спасалары. Всегда сдержанный Чкондидели сказал:

— В медицине я невежда и поэтому не решусь судить, действительно ли болят почки у Липарита. Если он по-настоящему болен, то причиной наверное послужило бегство Рати из Парцхиси. Одному я удивляюсь: каким образом он получил это известие так скоро?

Если же болезнь притворная, значит, он хочет уклониться от поездки в Начармагеви.

Возможно и то, что он не без робости едет во Внутреннюю Картли. Известно, что люди, перенесшие заточение, бьются одержимы страхом, особенно на первых порах.

Мудрец сказал: чужая душа — потемки. Я к этому ничего не могу прибавить.

— Я тоже не буду уверять, — произнес эристав Шаман, — что Липарит действительно болен: мы знаем только, что Ката днем и ночью варит ему лулуфровое питье. Даже для меня, слепого, очевидно, что оставлять Липарита одного в Триалети было бы с нашей стороны неосторожно.

Ясно, что Рати будет переписываться с Липаритом и из Рустави. Если сын перетянет на свою сторону отца и тот сбегит, — в Руставской крепости окажутся они оба.

К ним присоединятся войска Квирике и Ахсартана. Мало того, там могут прийти им на помощь сардар сельджукских пограничных войск и Бану-Джаффар.

Прорываться к Триалети они вряд ли осмелятся, потому что азнаур Моркневели занимает не только триалетские крепости, но и алгетское ущелье и клисуры.

Вторгнуться в горное Триалети врагу гораздо труднее, чем во Внутреннюю Картли, куда он легко может проникнуть из Зедазени, оставив слева крепости Уплисцихе и Кснисцихе. На пути врага будет Начармагеви.

Царь выслушал также Нианию Бакуриани и Бешкена Джакели и сказал:

— Все, что вы говорите, господа,—истинная правда. Мы не раз имели возможность убедиться, что Рати Орбелиани гораздо упорнее и мстительнее отца.

По упрямству он истый козел, но не всегда победу одерживает мудрость. Порой безумство смельчака ведет к ней вернее, чем раздумье мудреца.

Бывало и так, что крепости, оставленные вследствие колебаний разумных военачальников, попадали в руки безумцев как раз потому, что одержимые безумием ни с чем не считаются, тогда как мудрость бережет и людей и государство.

Тот или иной исход борьбы есть дело времени и зависит от развития событий.

Все вы, вероятно, помните, как Липарит, когда мы отправляли послов к Рати, вдруг побледнел и в его глазах я прочел страстное желание: «Пошлите меня тоже в Парцхиси!».

Трудно сказать, что в данном случае руководило Липаритом — хотел ли он встретиться с сыном, которого давно не видел, или имел коварные замыслы.

Возможно, что долгое заточение внушило ему благоразумие, явившееся плодом размышлений в одиночестве.

Быть может, над всем взяло верх отцовское чувство или он хотел предотвратить угрожавшее кровопролитие.

Тем не менее я не могу быть уверен, что даже если Липаритом руководили лучшие намерения, у него хватило бы воли не перейти на сторону зарвавшегося Рати. А в этом слу-

чае нам пришлось бы уложить под стенами Парцхиси несколько тысяч воинов.

Для меня ясно, что если мы оставим Липарита в Триалети одного, то положение еще более осложнится.

Мы дали возможность сорвиголове Рати бежать из крепости без войска. Пока отец его в наших руках, я думаю, что он не посмеет напасть на нас с открытым забралом.

Если бы мы не пленили Липарита, нам бы для взятия Клдекари понадобилось несколько лет.

Только царь кончил говорить, как Махара ввел скорохода из Багдада. Царский посол Джоджики сообщал, что султан Бархиарок требует уплаты хараджи.

Чкондидели и спасалары в один голос советовали царю немедленно сообщить Бархиароку, что Грузия не будет больше платить ему хараджу.

Однако царь с таким советом не согласился.

— Правда, уже три года мы ничего не платим султану, — сказал он, — но нельзя забывать, что мы связаны договором, подтвержденным клятвой. Вы ведь хорошо помните, что царь Георгий обязался платить хараджу, когда гостил у Маликшаха в Исфагане.

Одно дело не выполнять обязательства, а другое дело — заявить, что мы его не признаем. Не правда ли?

Я не могу отказаться от договора, не заручившись согласием моего отца, давшего клятву. Он не только мой отец, он кесарос и монарх, помазанный на царство.

Наконец, принимая такое решение, нужно быть готовым ко всему.

Поэтому я считаю более правильным отложить ответ султану до переезда в Начармагеви.

На том же совете царь с болью в сердце сообщил спасаларам о болезни Гуарама, владельца Бечисцихе. Его тревожило также отсутствие вестей от Стефаноза Цилканского.

Георгий Чкондидели, находясь под впечатлением последнего письма Стефаноза, не сочувствовал вербовке войск в половецкой земле, опасаясь за христианскую веру, если половцы будут впущены в Грузию.

— Меня тоже беспокоит болезнь Гуарама Бечисцихского, — закончил он свою речь.

Затем Чкондидели передал царю полученный на днях свиток, добавив на словах:

— Воины начальника Мухадгвердской крепости на прошлой неделе, по случаю весны, испытывали ловчих птиц,

Один сокол, погнавшись за голубем, перелетел через Куру. Ситкван Кора и сыновья Габриэля Хоргай—Ростой и Гогилой последовали за соколом и в окрестностях Зедазени были взяты в плен воинами эристава Дзагана.

Царь сказал:

— Час уже поздний. Мы вернемся к этому происшествию в другое время. Сдается мне, что здесь дело не только в трех воинах и одном соколе.

В ту же ночь было принято решение о судьбе Парцхиси.

На третий день азнаур Штора Моркневели по приказу царя пододвинул к стенам Парцхисской крепости камнеметы и «бараны».

После этого в крепость пустили стрелу, к наконечнику которой было привязано письмо цихиставу.

Крепость сдалась без боя.

НАПУСК

События неожиданно осложнились.

Как говорил Махара, «опять судьба стала плести темные сети». Действительно, это было так.

Эристав Липарит продолжал болеть. Царь и спасалары торопились ехать в Начармагевн.

Как Георгий Чкондидели, так и спасалары считали, что пленение трех царских воинов эриставом Дзаганом не могло быть случайностью.

Из Мухадгверди и из других картлийских крепостей каждую весну охотники выходили со своими соколами и бросали их в напуск. Не раз случалось им переправляться вслед за улетевшим соколом через Куру, но люди Дзагана никогда их не задерживали.

Царя влекли во Внутреннюю Картли и другие заботы.

В последние годы вся его энергия была поглощена соединением Триалети, обороной его границ и приведением в порядок его крепостей.

Со взятием Парцхиси царь считал эту задачу выполненной. Теперь стояло на очереди укрепление и обновление крепостей Уплисцихе, Мухадгверди, Аршисцихе, Цинакибис, Карчохи, Колотквири и Цхвилосцихе.

Кроме того, в Дарьяльском ущелье начали строить крепость Давида.

Все эти дела необходимо было закончить до отказа от уплаты хараджи.

Наконец, в Начармагеви ожидалась царь Георгий с царицей Еленой и императрица Мариам.

Махара и молодые спасалары настойчиво советовали царю: если Липарит не пожелает выздороветь, то пусть царь едет со свитой в Начармагеви, а Нианиа Бакуриани и Джонди останутся в Триалети и в первую же ночь, хотя бы на носилках, увезут туда арестованного эристава.

Георгий Чкондидели возражал против такой решительной меры.

Царь некоторое время хранил молчание и потом сказал: — Хорошо бы владыке Георгию и эриставу Шаману завтра выехать в Начармагеви.

Махара был убежден, что все осложнения начались после бегства Рати. Он днем и ночью ходил по дворцу, наострив уши, в надежде, что кто-нибудь проговорится, как Липарит и его семья получили из Парцхиси это известие.

Делая вид, что он очень обеспокоен болезнью Липарита, Махара непрестанно захаживал в его покои, интересовался, как варят лулуфру и что говорят лекари.

Он вступал в беседы с начальником табунов и постельничими монахами, но они не обмолвились ни словом о том, что интересовало безбородого.

Только в глазах Каты, обведенных темными кругами от бессонных ночей, он читал глубокую скорбь.

Несмотря на то, что и приближенные царя и семья Липарита тщательно скрывали волнующие события последних дней, весть о бегстве Рати и сдаче без боя Парцхиси постепенно распространилась во всем эриставстве.

Триалетские азнауры и неазнауры, епископы и рядовое духовенство с нетерпением ожидали, как будет разрублен гордиев узел.

Цалкинский, цинцхаройский и гомаретский епископы и часть сторонников Орбелиани питали надежду, что, если эристав Липарит погостит у царя в Начармагеви, вопрос о родственных узах между ними уладится сам собой.

В отношении же Рати они рассчитывали, что он отсидится в Рустави, а затем родным удастся его примирить с царем.

Однако большинство триалетских азнауров не разделяло этих надежд. Им казалось несбыточным примирение Липарита и его сына с «жестокосердым» царем Давидом. Те из них,

кто вместо того, чтобы выйти к царскому войску с хлебом и солью, встретили его с оружием в руках, опасались неминуемой кары.

Кирион Манглисский, отец Василий и низшее духовенство сокрушались, предвидя, что если зростав Липарит не примет приглашения царя, Давиду ничего не останется, как снова заковать его в цепи... и затем...

— Что случится затем, не предугадает и мудрец, — говорил отец Василий Кириону.

Липарит и Ката не могли не видеть, что дела складываются далеко не так благоприятно, как они ожидали...

Иоанн Дукидзе в радостном возбуждении носился во все стороны. Он легкомысленно распространял слухи, что царь Давид, испугавшись требования султана Бархиарока об уплате хараджи, уходит со своим войском из Триалети и готов отступить не только к Начармагеви, но и за Лихи. Царь, с одной стороны, не решается отказаться платить хараджу, а с другой стороны, при всем желании не сможет ее уплачивать из пустой казны.

Дукидзе озабочивало только одно: не вздумал бы царь приказать азнауру Моркневели разрушить триалетские крепости.

Он носил в кармане письма монаха Евтихия из Рустави, показывал их сторонникам Липарита, не давая читать, и плел небылицы, какие не пришли бы в голову и самому плуту-монаху.

Как-то вечером в Эквдери сидели у запыленного окна Кирион Манглисский и отец Василий. Они сетовали на тяжкие времена, омрачавшие их старость.

— Никогда нам не дождаться, ваше преосвященство, мира на земле, — сказал Кириону, понизив голос, отец Василий. — Наденем черные рясы, возьмем посохи и пойдем на богомолье в Иерусалим. Теперь оттуда выгнали сельджуков, и нам лучше ждать там, пока наша печальная старость не обернется сладкой смертью.

— Зачем идти в Иерусалим, отец Василий? В Тедзмийском ущелье есть малая запущенная обитель, ее нужно только немного обновить и подправить... Поселимся в ней до конца своих дней. Жизнь наша уже близка к закату. Будем смотреть оттуда каждый вечер, как наступают сумерки. Достаточно нам и этого, отец Василий.

Старики готовы были еще долго мечтать об уходе из мира, как вдруг раздался сильный стук и вслед за ним в низких дверях показалась огромная тень.

По голосу они узнали местумретухуцеси Липарита.

— Эристав над эристами и его супруга просят вас обоих к себе.

Когда Кирион и отец Василий вошли в опочивальню Липарита, там царил полная тишина. В четырех углах стояли золотые подсвечники с зажженными свечами, пятый был поставлен у изголовья кровати рядом с трехногим стулом и аналоем, на котором лежало открытое евангелие.

Большая кровать была украшена грузинской резьбой в виде крестов. На ней распростерлось могучее тело эристава. У ног его, согнувшись, сидела Ката.

Огромные волосатые руки Липарита были сложены поверх одеяла на груди, как у покойника. Он лежал неподвижно и дремал.

— Три ночи, бедный, не спит, — тихо сказала Ката и предложила гостям сесть в кресла.

Взгляд Кириона Манглисского сразу привлекли длинные со вспухшими жилами руки больного; на кистях их жилы переплетались подобно корням виноградной лозы.

Желтизна рук имела оттенок пергамента, а неподвижность, с которой они лежали, прижатые одна к другой, напоминала братьев-близнецов, навсегда заснувших на поле битвы. Кожа на лбу и на щеках отливала такой же пергаментной желтизной.

Посеребренная сединой рыжеватая борода была не расчесана. О тяжелом положении больного говорили и растрепанные волосы на голове.

Под грузным туловищем отца Василия скрипнуло кресло. Верхняя губа Липарита вздрогнула. Затем он приподнял правую руку, протер глаза и еще в полусне взглянул на гостей, поспешивших благословить его и пожелать ему доброго вечера.

— Еще вчера я хотел вас видеть, святые отцы, — сказал Липарит, глядя большими каштановыми глазами на Кириона Манглисского. — Вы, конечно, знаете, что царь меня приглашает в Начармагеви. Как гостя, мне неловко вызывать его здесь на деловую беседу, и я хочу воспользоваться этим приглашением, чтобы выяснить некоторые важные вопросы.

Как ни трудно сейчас положение мое и моего сына, все

же мы мира еще не заключали. Ведь ясно, что при любом исходе нашего поединка соглашение неизбежно ограничит права и притязания обеих сторон.

Пусть царь Давид считает меня своим пленником, но при всех условиях я имею право знать, что я потерял и что у меня осталось в этой неравной борьбе.

Оба вы помните, что не раз воевали дед мой Липарит и царь Баграт, отец мой Иван и царь Георгий.

Лишь только военное счастье определенно склонялось к одной из сторон, между лагерями начинался обмен посланцами, завязывались переговоры, устанавливались новые границы.

Так возникала взаимная осведомленность, выяснялось, что потеряно и что захвачено, и наконец договаривались о границах, уточняли свои права на будущее время.

Ко мне повадился этот злосчастный Махара и сулит мне, точно великое благо, охоту с гепардами и весенний напуск соколов.

Ведь это то же, что отнять у царя скипетр и венец и взамен дать ему картонную корону, какую в Исфагане в день Навроза возлагают на базарных царей, восседающих на верблюдах.

Как-то злосчастный Махара мне проговорился, что царь сердит на моего сына Рати за то, что он сказал: «Если мы заставим сельджуков отдать Самшвилде, царь должен эту крепость вернуть нам».

По божьей милости, Самшвилде — вотчина Орбелиани. Это не выдумка Рати или моя. Испокон века она зовется Орбетской крепостью.

Ведь это верно и неопровержимо. Не так ли?

Вы, отцы, не хуже меня знаете, что царь Георгий, августейший кесарос и себастос, пожаловал Самшвилде моему отцу Ивану, а мне, взамен Руставской крепости, которую я по его воле уступил кахетинскому царю, — Лоцобана.

Наконец, — я это помню, точно это было вчера, и вы не можете не помнить договора в Экранта, который мы подтвердили клятвой, — по этому договору царь укрепил за моим отцом Самшвилде и Экранта. Пока жив царь Георгий, эту клятву царь Давид нарушить не может.

Глаза Каты боязливо сверкнули. Она быстро взглянула на дверь.

— Тише, тише, — шепнула она мужу.

В дверях показался местумретухуцеси. Доложив, что ужин для гостей подан, он удалился.

Когда Липарит произнес слова — Самшвилде и Экранта, пораженный Кирион Манглисский хрустнул пальцами, что выражало у него сильное волнение. Бросив взгляд на дверь, прикрытую местумретухуцеси, он обратился к разгорячившемуся Липариту.

— Позволь, эристава над эриставами, сказать тебе откровенно и без утайки.

Трех недель еще не прошло, как по заступничеству царя Георгия и ходатайству всех нас царь Давид снял с тебя оковы.

Мы не знаем даже, вернет ли тебе царь Клдекарскую, Биртвисскую, Берикальскую и Хулутскую крепости, а ты уже заводишь речь о Самшвилде и Экранта, где до сих пор сидят сельджуки и за которых царю еще придется заплатить кровью своих воинов.

Верно, что и я и отец Василий присутствовали, когда скреплялся клятвой договор в Экранта. Но не забывай, эристава над эриставами, что царь Георгий также поклялся султану Малик-шаху платить хараджу, а царь Давид уже несколько лет никакой хараджи сельджукам не платит.

Липарит понял, что хватил через край, и начал искать путь для отступления.

— Я, владыка, упомянул о том, что было при вас в Экранта, потому что не уверен, что это известно молодому царю.

Под отцом Василием скрипнуло кресло, и он сказал:

— Я бы тоже посоветовал тебе, сын мой, раньше времени не заговаривать об этих крепостях. Как твой духовный отец, прошу тебя — отдохни и потерпи, пока царь сам не начнет разговор об этом.

Ведь в Начармагеви ты встретишь царя Георгия и царицу Елену, и наверное там будет также императрица Мариам. И лучше всего об этом предварительно поговорить с ними.

Неужели ты до сих пор не распознал характера царя Давида? Он умеет уступать, но только до известного предела...

Ката хотела заговорить об обручении, но раздраженный Липарит приказал ей молчать, и ей пришлось покориться.

* * *

Время шло, а эристава Липарит не собирался выздоравливать.

Каждый день его навещал лекарь Шеракисдзе, и каждый день варили настой из цветов лулуфры. Липарит рассердился на Шеракисдзе за то, что тот плохо его лечит, и приказал вызвать Гвинепайсдзе.

Новый лекарь переменил лекарства. Он назначил огуречные семена и семена горькой тыквы, цикория и портулака, белый и черный мак, белый сахар, ячменную воду и миндальное масло, розовую воду и фиалковый шербет. Кроме того, приготавливались мази и припарки.

Поиски лекарств стоили немалого труда.

Иоанн Дукисдзе и постельничие монахи изъездили Триалети, некоторые даже побывали в Джавахети и Нижней Картли и наконец собрали все, что требовалось.

Махара ежедневно навещал Липарита и был свидетелем того, как приготавливались снадобья и как принимал их больной.

Царь тем временем дважды объехал Алгетское ущелье, смотрел, как под руководством Штора Моркневели восставливались Биртвисская и Парцхисская крепости.

Кирион Манглисский и отец Василий, наблюдая все своими глазами, чистосердечно убеждали царя, что Липарит действительно серьезно болен.

* * *

В четверг вечером Кирион Манглисский и отец Василий явились к царю и сообщили:

— Здоровье эристава над эриставами. Липарита улучшилось, и он готов сопровождать царя в Начармагеви.

При этом присутствовали Нианиа Бакуриани, эристав Джонди и Махара.

Царь уже не раз назначал и откладывал день отъезда. Откладывания были особенно досадны, когда палатки находились в тюках, мулы и лошади под седлами и перевозимая всегда на семи мулах библиотека царя уложена в сундуки.

Решено было ехать в ближайший вторник. Все военные дела в Триалетском эриставстве царь поручил азнауру Моркневели.

Дедисимеди и Гванца с радостным нетерпением ждали вторника.

Сни заранее готовились к встрече с императрицей Мариам, воображение рисовало им охоту и празднества в Начармагеви.

В субботу вечером местумретухуцеси доложил царю, что его хочет видеть Иоанн Дукидзе.

Давид поморщился и недовольно кивнул головой.

Дукидзе вошел и облобызал правую руку царя, затем отступил назад, поник головой и доложил:

— Эриставу над эристами Липариту опять стало хуже, и оба лекаря, Шеракидзе и Гвинепаидзе, настаивают, чтобы он еще одну неделю воздержался от путешествия верхом.

Если бы государь смог подождать в Триалети, это было бы большим счастьем. Если же неотложные дела требуют отъезда государя, то через неделю эристав над эристами приедет в Начармагеви.

Когда Дукидзе кончил и откланялся, царь знаком приказал Махаре проводить гостя.

Махара встал и, выполняя приказание, пошел с Иоанном до лестницы. Тот на прощание обернулся к нему и сказал:

— Что ж, едем, Махо, едем... и я, и зять мой — эристав над эристами. Теперь-то наверно устроим вместе весенний напуск.

Мне приходилось охотиться в Начармагеви на журавлей. Что за чудесное место для журавлиной охоты, Махо! Охоться где только хочешь — и по Куре, и по Лиахве. Хе-хе...

Махара был взбешен: он не терпел, чтобы кто-нибудь, кроме царя и близких, называл его Махо. Сдержав себя, он с сухой вежливостью попрощался с гостем.

Когда Махара вернулся, царь обратился к нему, Ниани Бакуриани и эриставу Джонди:

— Ничего не поделаешь, во вторник мы все же поедем. Нианиа и Штора останутся и управятся без меня с триалетскими делами.

— Ни за что на свете! — воскликнул Махара. — Обманщика нужно проследить до конца. Кроме того, выслушай меня, государь. Много путешествовал я по морям и всегда наблюдал, что умный мореплаватель строит корабль не для штилевой погоды. Пускаясь в дальний путь, он всегда готовит мачты, канаты и снасти к смерчу и буре.

Из всех стихий море наиболее сравнимо с человеком. Иногда душа человеческая похожа на бурное море темной ночью. Если хочешь предвидеть, как поступит человек в том или ином случае, учитывай его пороки.

Не торопись судить о людях, которые тебя окружают,

ибо мудрец сказал: «До смерти никого не хвали и при жизни ни на кого не надейся».

Пока я был молод, я не понимал этого и прожил свою жизнь глупцом. Теперь я состарился, и взамен счастья у меня осталась печальная мудрость.

Нианиа рассмеялся и спросил:

— Почему же печальная, Махо?

— Печальная, потому что мудрость неотъемлема от старости и тем близка к смерти. Вам, молодым, до этого далеко.

Я хочу быть петухом, который будит заснувший караван в пустыне. Крик петуха настораживает путешественников и наводит страх на львов, которым кажется, что петух силен, потому что только сильный не боится обнаружить свое присутствие перед лицом врага.

Знаете, кто из животных самый осторожный? Мышонок. А львенок настолько наивен, что безбоязненно выходит из тропинок на дорогу и заигрывает с охотниками.

Давид взглянул на Махару.

— К чему ты все это говоришь?

— Я полагаю, государь, что следует подождать с отъездом еще одну неделю до выздоровления Липарита.

— Почему?

— Потому что мне достоверно известно, что у эристава Липарита почки не болят.

— А что именно ты знаешь?

— Я кое-что выпытал у постельничего монаха Олифанта.

— Что же ты выпытал?

— Я притворился, что меня очень заботит болезнь Липарита, и спросил, какого цвета у него моча. Я сказал ему, что у меня тоже болели почки и моча тогда была красная.

Глупый монах в ответ мне прокаркал: «Я откуда знаю? Он непрестанно кричит: вай, вай! А моча у него самого обыкновенного цвета».

Я не поверил невежественному монаху и спросил об этом же лекаря Шеракисдзе. Он мне подтвердил, что моча у Липарита не такая, как бывает при болезни почек.

Царь помолчал и сказал:

— Если так, то подождем еще неделю. Ты прав, Махо, обманщика нужно проследить до конца.

Нианиа заметил:

— Выйдет немного неловко: царь объявил Дукидзе, что мы поедем во вторник и будем ждать Липарита в Начармагеви.

— Это не беда, — ответил Махо. — Дукидзе делает вид, будто он в восторге, что попадет в Начармагеви на напуск. Завтра утром я его вызову и скажу, что устраиваю напуск в Триалети и он может не спешить в Начармагеви.

Царь рассмеялся.

— Очень хорошо, но разве для приготовления к напуску нужна неделя? Ведь ты знаешь, Махо, что я не особенный знаток охоты с птицами.

Самое главное — не дать повода Липариту заподозрить, что мы ему не доверяем и потому откладываем поездку. Надо по возможности растянуть подготовку ловчих птиц и самый напуск, но так, чтобы это вышло естественно.

— Это зависит от того, каких птиц мы возьмем, — сказал со смехом Махара. — С ястребами наверняка провозимся две недели, а с годовалыми соколами хватит и одной.

Пусть пройдет еще неделя, и если Липарит снова отложит отъезд, — ничего не поделаешь, поедем без него, а эристав Джонди и Кариман Сетиели останутся и привезут его в Начармагеви таким же способом, как в первый раз.

* * *

На следующее утро, когда чуть рассветало, вышли в розовый цветник царь Давид, Нианиа Бакуриани, эристав Джонди и Штора Моркневели.

Цветник был обсажен с трех сторон ясенями и отделялся от дворца Липарита невысокой оградой.

Иранские белые розы уже распустились. Побегги китайских глициний расползлись до верха ограды.

Царь и молодые спасалары сидели на дубовых скамьях и беседовали.

Махара тем временем расставлял в саду силки на соловьев.

Царь говорил:

— Когда вы куда-нибудь уезжаете, ключи от сердца оставьте дома. Сердце наше не цветник, куда может заглянуть каждый, и не старый сундук, ключи от которого можно доверить. Что, если тот, кому вы доверите, окажется глупцом и потеряет ключи?

Тогда напрасно звать мастера. К старому сундуку можно сделать новые ключи, но потерянные ключи от сердца еще никто не находил вторично.

...Неразумные мысли могут рождаться и в голове мудреца. Их следует лишь не обнаруживать, а хоронить в себе.

...Страху подвержены самые великие герои. Истинное геройство—уметь скрыть свой страх... Смешон мудрец, хвастающийся умом, но не менее смешон герой, кичащийся отвагой.

Важнее всего, будучи мудрым, внушить врагам мнение, что ты недалек. Незамаскированный герой подвергается такой же опасности, как лев в тростниках, замеченный охотниками.

Всегда бдительному не мешает иной раз надеть личину беспечности.

Сильному мужчине враг так же необходим, как бывает нужен петух, пробуждающий караван. Но не следует попусту раздражать врага и, особенно, множить число врагов.

Ни одной женщине не ссучить нити нежней и слабей паутины, но если распустить паутину во все стороны на два парсанга, она свалит и буйвола...

Разговор перешел на поездку в Начармагеви. Уловив произнесенное имя Липарита, Махара насторожился, бросил силки и подошел, чтобы присоединиться к беседе.

У входа в цветник показались Иоанн Дукиддзе, Дедисимеди, Гванца и Лела. Мужчины встали. Когда женщины сели на скамьи, царь обратился к Махаре:

— Чего нам ждать переезда в Начармагеви? Давай ус, троим напуск здесь. Ведь у тебя найдется несколько соколов?

— Устроим здесь, устроим! — хором подхватили молодые голоса.

Иоанн Дукиддзе не мог скрыть свое смущение.

— Я состарился в Триалети, но никогда не слыхал, что здесь в это время можно охотиться с ловчими птицами.

— Все зависит от того, на какую дичь мы поедем. Если на журавля, то время уже наступило. В Табаристане напуск начинают в марте, — сказал Махара.

Дукиддзе молчал.

Махара почесал затылок.

— Знайте только, дорогие мои, что это не так просто, как вам кажется.

— Что же мы должны делать? — воскликнула Гванца с детской наивностью.

— Какие же тут сложные приготовления, Махо? — спросила Дедисимеди.

— Эге! Если вам все описать подробно, то рассказывать мне придется три дня.

У султана Малик-шаха был один сокольник, так он на двадцати листах написал о ловчих птицах, как их ловить, приручать, вынашивать, как купать и кормить. Там даны названия двенадцати разных кушаний для них, клубочков и рукавиц, и говорится, как нужно бодрствовать с птицами ночи напролет и как бросать их в напуск. А вы хотите, чтобы я вам все рассказал в один день. Приготовить для напуска семь соколов — нелегкая задача.

— Поручите и нам какое-нибудь дело, дядя Махо, — попросила Дедисимеди.

— Ого! Вот так сокольник! В прошлом году тебе попался ручной фазан, и того ты упустила.

Подошел местумретухуеси и пригласил всех к завтраку.

— Дядя Махо, не надо завтракать! Давайте сейчас же начнем готовиться, — воскликнула Гванца.

— Что же, коли так! — Махара повернулся к местумретухуеси. — Приведи ко мне сокольника амира Халиафа.

Обществу в цветнике пришлось ждать долго — Хахутай не торопился.

Молодежь начала выражать нетерпение. Махара встал и направился в комнату местумретухуеси. Хахутай не спеша спускался по лестнице.

— Ты чего копаешься? — крикнул ему Махара.

— Пока позавтракал, потом ремешки на обуви завязывал. Если сознаться, я не слишком торопился, царевич.

— Почему?

— Да я опасался, что ты хочешь меня отсюда забрать.

— Ну и что же?

— А я знаю, что в лучшее место мне не попасть.

Весь этот разговор слышала молодежь в цветнике.

Если человек прославился шутовскими проделками, то уже каждое его слово вызывает смех. Поэтому все сидевшие за оградой начали смеяться.

— Почему ты так думаешь? — спросил Махара, продолжая разговор с Хахутаем.

— Столько жратвы, сколько мне дают во дворце Липарита, навряд ли я где еще получу.

— А ты разве голодал в Гегути у царя Георгия?

— А как ты думаешь! Разве было у меня время наесться? Все время таскали меня на охоту, а охота и в плену мне стала поперек горла. Не советую тебе поручать мне твоих соколов, а то я их изведу всех до единого, как Альф-Арслан курдов.

— Что же ты сделаешь с моими соколами, Хахутай?

— Всем до одного зашью задницы, с них этого хватит.

Молодежь прыснула со смеху.

Махара привел Хахутая в розовый цветник. Оказавшись перед очами царя, бывший дьякон остолбенел. Подобно обезоруженному воину, молящему о пощаде, простер он вверх руки и упал на колени.

Дружный смех возобновился с новой силой. Царь сказал, улыбаясь:

— Вставай, Хахутай, теперь мы все охотники и между собой равны. Махара сейчас передаст тебе своих соколов.

— Ох, государь, разве хорошо это? Меня, бедного крысолова, произвели в охотники и бывшего дьякона поставили наравне с царями. Случись это, когда мы были в Палестине, меня бы, пожалуй, помазали в иерусалимские цари.

Царь от души расхохотался.

— Если ты, Хахутай, крысолов, а не охотник, то как же ты попал в сокольничие к амиру Халиафу?

— Тебе хорошо известно, государь, что нахальство и дерзость иногда делают больше, чем знания и способности. Поэтому нахал, даже неспособный, всегда опережает способного, но скромного.

— Это правда, мой Хахутай, как и то, что талант иной раз походит на меч, дремлющий в ножнах, особенно когда у талантливого не хватает смелости. Смелость — это умение не опоздать замахнуться. Тогда дубина в руках смелого побеждает саблю в робкой руке.

— Вот поэтому-то я прав, когда говорю, что не будь я такой хват-парень, не попал бы в сокольничие.

— Как я вижу, и тебе, мой Хахутай, путешествие пошло впрок. Оно не только служит испытанием для кораблей, но и воспитывает человеческий ум.

— Да у меня только лицо немного придурковатое, государь, а то ведь и я не промах — отличу крысу от бычачьей лопатки и корабельную мачту от лисьего хвоста.

Произнеся эти слова, Хахутай взъерошил волосы и скорчил гримасу к большому удовольствию сидевшей вокруг царя молодежи.

— Довольно болтать, Хахутай! — вставил слово Махара. — Смешно, когда глупый мудрствует.

— Оно не так смешно, как когда в ослиные уши вденут золотые серьги, — протянул Хахутай нараспев.

Иоанн Дукидзе, обратившись к Махаре, выразил возму-

шение, что бывший дьякон осмеливается в присутствии царя упоминать об осле.

— Ничего. Не так худо упомянуть об осле, как видеть иные человеческие рожи.

Сейчас же после завтрака Махара принялся готовиться к напуску. Он приказал сокольничим Липарита принести семь кожаных шапок с остроконечным верхом, какие надевались при травле с ловчими птицами, и семь кожаных рукавиц с отдельным большим пальцем.

Дедисимеди не решалась надеть шапку, зато Гванца надела ее очень охотно. Предложить этот головной убор царю Махара не посмел и дал ему железный шлем. Все же остальные охотники были в шапках.

Не нашлось только такой, которая была бы впору Хахутаю. Поэтому Хахутай, подобно царю, красовался в железном шлеме.

Бывший дьякон гордо выпрямился, откашлялся и сказал Махаре:

— Раз ты сделал меня равным царю Давиду, то дай мне в таком случае и царский венец и назначь меня хотя бы царем страны, откуда не возвращаются.

Царь улыбнулся болтливому сокольничему:

— Эх, мой Хахутай, порой охотничья шапка лучше царского венца.

— Не беда, государь, был бы только венец, а моя горемычная башка примирится и с этой напастью.

Взяв под руки Дедисимеди и Гванцу, Махара пошел с ними впереди всех к соколятнику. На нашестах дремали перелинявшие ястреба и соколы. В течение месяца их кормили одной лососиной.

Махара открыл первую клетку. В ней сидел белоснежный сокол с желтыми крапинками на крыльях и на хвосте. Махара чмокнул. Птица повела глазами и важно приподняла голову. Махара снова чмокнул и показал приманку.

— Отойди немного, — сказал он Дедисимеди и положил ей в руку кусок мяса.

Тогда сокол загремел бубенцами, взлетел и опустился на протянутый Махарой большой палец. Рассердившись, что не получил пищи, он впился злыми глазами в глаза скопца.

Подражая Махаре, Дедисимеди чмокнула губами и протянула руку.

Царь увидел, как дерзкая птица села на палец прекрас-

ной и скромной Дедисимеди. Кротость его избранницы казалась еще более трогательной рядом с надменным хищником.

Махара подвел ко второй клетке Гванцу. Там сидел сокол с зеленоватыми кругами около глаз и ярко-желтым клювом.

— Ему уже три года, — сказал Махара.

— Откуда ты знаешь, дядя Махо?

— У годовалого сокола лапы голубоватые; когда он становится старше, они делаются цвета соломы, а клюв, как яичный желток.

Махара приказал Гванце отступить назад и положил ей в руку вареное яйцо.

Затем он приоткрыл дверцу клетки, показал соколу мясо, но не дал ему отведать прикормки.

Гванца, как опытный охотник, начала чмокать птице и манить ее к себе.

Когда сокол налетел на выставленный палец Гванцы, царь взглянул на нее. В поднятой руке девушки чувствовалась сила. Весь облик дочери эристава Шамана с сидящим на ее руке и пристально глядящим на нее соколом был олицетворением отваги.

Она, подобно Артемиде, изображаемой на вазах и лекифах, стояла, выпрямив стан и приподняв руку. Плечи у Гванцы были шире, чем у Дедисимеди, и под дамасским шелком обозначались налитые мускулы рук и ног.

Лицо ее и крепкое тело дышали тем непоколебимым мужеством, которым прославились в ахалкалакских, парцхиских и антиохийских битвах эристава Шаман и его сын.

Гванца, с восторгом смотревшая на хищника, совсем переродилась. В ней чувствовалась твердость воина, который не дрогнет при виде крови ни на охоте, ни на войне.

Затем Махара передал соколов царю Давиду, Нианин, Джонди, Хахутаю, Шторе и Иоанну Дукидзе. Птицы сидели у одного на пальце, у других на голове, покрытой шлемом или кожаной шапкой.

Махара велел Хахутаю принести кlobучки. Он подошел по очереди к каждому соколу и, взяв его за оба крыла, надевал ему на голову кlobучок.

Дело это Махара выполнял с обрядовой строгостью.

Он всех предупреждал:

— Помните, сокола нужно очень осторожно брать за крылья, пока он их не успел раскрыть. Берегите как зеницу ока его перья, сохрани вас бог их память.

Затем Махара отвел охотников в темное помещение. Молодые люди долго сидели там и усердно кричали в ухо соколам: «А... а... а...».

Когда пропел первый петух, сокольничий снова собрал их в темном сарае, и снова они должны были кричать: «А... а... а...».

Едва рассвело, Махара и Хахутай занялись должниками, что привязывают к лапам ловчих птиц.

Сокола с прикрепленным к лапе должником сажали на перекладину. Снизу пропускали через кольцо веревку длиной в десять локтей и к ней привязывали свободный конец должка.

Махара тянул веревку и чмокал. Хищник вспархивал и, следуя задвигающимся кольцом, садился на руку сокольничему.

Хахутай брал птицу у Махары и опять сажал на шест, Махара чмокал, и сокол двигался за кольцом. Так повторялось несколько раз. Наконец понятливый ученик получал награду и водворялся на место.

Упрямых соколов, не желавших садиться на палец Махаре, Хахутай брал в руку и подталкивал. Если птица продолжала упрямитесь и хлопала крыльями, ее тащили по веревке назад и повторяли это до тех пор, пока она не приучалась садиться на большой палец.

Когда первая часть обучения закончилась, сокольничий объявил:

— Теперь сажайте соколов на большой палец левой руки.

Махара брал куски мяса, промытого в горячей воде, и раздавал их охотникам, говоря:

— Накормите их так, чтобы зоб раздулся не больше чем в грецкий орех, не больше и не меньше.

Подкормка затянута.

Когда хищники были накормлены, сокольничий их всех обшел и у каждого двумя пальцами ощупал зоб.

В полдень принесли гибкие прутья, согнули их в дуги и обоими концами воткнули в землю. На дуги посадили соколов. Сокольничие поставили перед каждой птицей чашу с водой. Соколы слетали с дуг и купались.

Махара посматривал на солнечные часы.

Прошло еще два часа.

— Теперь сажайте на большой палец.

Охотники отнесли соколов в тень и опять кричали им в ухо: «А... а... а...».

После обеда Махара заставил охотников повторить все вышеописанное. Каждый должен был расправить и натянуть должик, а затем кормить своего сокола, причем соколы Дедисимеди и Гванцы своевольничали.

То же самое повторялось в течение трех дней.

На четвертый день подзывали соколов с дерева.

Это делалось так.

Все собрались под елями.

— Сажайте соколов на большой палец! — приказал Махара. — Теперь смотрите на меня.

С этими словами Махара осторожно взял правой рукой своего сокола, не успевшего расправить крылья. Затем он приподнял птицу так, чтобы ее хвост пришелся против его груди, и, взмахнув рукой, подбросил на дерево.

После этого Махара вынул из кармана приманку и чмокнул хищнику. Когда тот налетел на его левую руку, он дал ему отведать вареного мяса.

По указанию Махары все это проделали и другие охотники.

— Почему мясо не должно быть сырым, Махо? — спросил Дукисдзе.

— Потому, батано Иоанн, что вид крови возбуждает хищников.

Утро было из тех, что наводят человека на мысль: разве это лазурное небо, бегущие ввысь изумрудные склоны, пестрые ковры полей, своим простором напоминающие переливы моря, не созданы нам на радость и усладу?

Конюхи подвели охотникам лошадей.

Крутобокие жеребцы нетерпеливо грызли удила, вздрагивали и подводили сливopodobными глазами.

Бсадникам раздали соколов, покрытых красными шелковыми рубашками, чтобы при езде у них не пострадали крылья. Толькс два сокола — Махары и Хухутая — были без рубашек.

Дедисимеди и Гванца наслаждались и чудесным утром, и верховой ездой, и ожиданием предстоящих удовольствий.

Когда выехали из Липаритис-убани и выбрались на алгетскую дорогу, Махара и Хухутай сняли должики с лап своих соколов, дали им улететь и пустились за ними вскачь.

Вид восседавшего на огромном жеребце маленького Махары и богатырская фигура Хухутая на муле с бубенцами вызвали громкий смех молодежи.

Перед тем как сесть в седло, Хахутай передал шлем конюху, замотал, как рогами, своими растрепавшимися волосами, и затем, подбодряя мула криками, пытался обогнать корейшитского жеребца.

Махара с места пустил своего коня карьером. Поспешив за ним, Хахутай не успел поймать ногами стремя. Когда мул поскакал, ноги всадника почти тащились по земле. Звон бубенцов, чмокание, которым подзывали соколов, и громкогласные крики Хахутая удваивали веселье общества.

По щекам Дедисимеди от смеха катились слезы. Ее конь шел бок о бок с кобылой царя. Они ехали дальше и дальше. Душа ее переполнилась радостью до краев.

Одно только ее беспокоило: ей не хотелось, чтобы Иоанн Дукидзе и Гванца поравнялись с ними.

Поэтому она подгоняла коня и просила царя:

— Догоним Махару и Хахутая.

У поворота дороги царь натянул поводья и обернулся, чтобы взглянуть на ехавших позади. В это время Куджай помчал свою всадницу по спуску. Давид испугался, как бы он не сбил Дедисимеди на извилистой тропинке, пришпорил Сквитию и нагнал Куджая.

Они пустили лошадей крупным шагом и смотрели на поля, пестревшие полевыми цветами.

По другой стороне ущелья, на горе стояла церковь. На дальних склонах паслись овцы, оживлявшие местность подобно серебряному позументу на зеленой ткани.

В ближнем монастыре зазвонили колокола.

Черные фигуры монахов поднимались по шедшей вверх тропе.

К крепости, возвышавшейся неподалеку, скакал всадник. Слышались барабанный бой и рев ослов, стоявших над обрывом.

Извивы реки в ущелье, похожие на изломы молнии, сверкали, как чешуя дракона.

Царь и Дедисимеди ехали молча. Перед ними, как немые чудовища, вздымались поросшие елями горы, упираясь вершинами в небосвод.

В бездне шумел поток, на расколотых утесах с шумом бились водопады. Внизу босой мальчик гнал телят и пел:

Дочь пастуха в Алгети
За мельником была.
Носился буйный ветер,
Страшна ночная мгла,

А палочки о жернов
Стучат и гонят сон,
Темнее ночи черной
Наш лес со всех сторон.
У нас в горах Алгети
На высоте скалы
С врагом сразятся дети
И девы, как орлы.
В утесах серо-мшаных,
Как в кованой броне,
В лужайках и в дубравах, —
К лазурной высоте
Уходят наши горы,
Подъятые из мглы,
И плавают дозором
Могучие орлы.

Песня и шум потока в ущелье умолкли. Тропа пошла вниз, и стук копыт о камень отдавался в пустынных горах.

Царь повернулся к своей избраннице.

— Что ты молчишь, назо?

— Наверное ни на одном языке на свете не найдется слов выразить мое счастье. Что такое слова?..

— Слова — лишь условные знаки нашей немощной речи и больше ничего, — прервал царь девушку.

Опять был слышен стук копыт, и в бездне шумела река. Над обрывом появился ястреб цвета свежего масла; он поднимался выше и выше.

Ястреб реял в высоте над утесами, упирившимися в небо, и наконец скрылся в эфире.

Царь сказал:

— Всегда я тебе говорил, назо, что нужно бодро переносить невзгоды, чтобы приготовить сердце для радости.

Ястреб цвета масла, как камень, упал в ущелье, и со стремительной быстротой поднялся, сжимая в когтях цаплю.

Царь и Дедисимеди остановили лошадей и прислушивались к замиравшим крикам несчастной жертвы.

— Так жестока природа. Ей чужда пощада, — сказал молодой царь.

— На этом свете и люди не знают пощады, — с жалобой в голосе произнесла девушка.

— Среди людей пощады заслуживают только справедливые и чистые души, а не насильники и хищники.

Тропа вилась вверх. Чаше стали повисшие на утесах водопады, низвергавшиеся с таким грохотом, что всадники не слышали друг друга.

В ущелье шумела мельница. С противоположной стороны доносились голоса воинов из башни. Пастухи кричали на спускавшихся по крутому склону баранов, овчарки лаяли на старика, тащившего хурджину.

Подъем кончился, царь и Дедисимеди выехали на горную равнину. На далеком мысу мелькнули тени двух всадников. Не успели они приблизиться к ним на расстояние полета стрелы, как Махара пустил своего сокола на витютня. Обе птицы тотчас поднялись в вышину и скрылись в ярких лучах.

Витютень пытался спастись, улетая к востоку, но хищник перерезал ему путь с другой стороны. Как саблей, взмахнул он крылом, поймал витютня в воздухе и стал медленно опускаться с добычей в ущелье.

Освободив витютня из когтей сокола, Махара дал хищнику прикормки и некоторое время держал его под клобучком, потом снова бросил его в воздух. Конь прибавил шагу, поднимаясь по кремнистой тропе, и над обрывом взлетали искры.

Давид и Дедисимеди медленно спускались к ущелью.

Дедисимеди услышала издали фырканье нагонявших их лошадей.

— Поедем быстрее, — попросила она царя.

Давид спросил, почему ей этого хочется.

— Я не люблю моего дядю Иоанна Дукидзе, — ответила девушка и прищипорила Куджая. Самолюбивый конь разгорячился, и Давид не успел спросить о причине такой неприязни. Они опередили на полпарсанга всадников, еще ехавших по равнине.

Теперь дорога шла по самому краю утеса.

— Не распускай поводья, — предупредил царь Дедисимеди.

Потом он спросил свою спутницу:

— Почему ты не любишь брата твоей матери?

— Мне кажется, государь, что он злой дух нашей семьи.

Давид достаточно знал о вероломстве Иоанна Дукидзе и счел ниже своего достоинства спрашивать о нем девушку.

Дедисимеди сама была удивлена, что проговорила. Она некоторое время молчала, а потом вдруг решила сказать:

— Это он настроил против тебя Рати и наверное он же настраивал против тебя, государь, моего отца, раздувая его недовольство.

— Я многое слышал о его кознях, назо, мне хорошо известно, что в его доме находят убежище сельджукские лазутчики. Я также доподлинно знаю, что он принимал участие в бегстве Рати, но все это терплю, пока возможно.

А что он восстанавливает против царя, то верного человека никто с пути не собьет. Дукидзе не один. Я хорошо осведомлен о вероломстве триалетских великих азнауров и некоторых епископов. Стоит мне сказать слово Караману Сетиели, и им придется прыгать через мечи.

Георгий Чкондидели нередко мне говорил, что я жесток в бою. Это верно, в бою я не знаю пощады, но дома своим многое спускаю. Не могу похвалиться, что месть мне чужда, но я не тороплюсь на пути мщения. Если же чаша моего терпения переполнится, пусть никто не просит меня о помиловании.

У выступа горы дорога поворачивала направо. Перед лошадьми неожиданно появились передовые черные козлы с бубенцами. Шедшая справа Сквитиа взметнула стрелками уши и прижалась к утесу.

Через минуту царь и Дедисимеди оказались в самой гуще необозримой отары овец. Звон бубенцов и шелканье кнута испугали Сквитию, но ее осадила могучая десница всадника.

Пастухи взглянули на Давида и прикрикнули на баранту. Лошади с трудом пробивались среди переливавшейся мутными волнами отары. В казавшейся недосыгаемой дали терялась дорога, и поток баранты лился не переставая.

— Будь осторожней! — крикнул царь Дедисимеди, в то время как Сквитиа продолжала бороться с волнами.

Теперь навстречу им хлынуло стадо ягнят, белых, как комки снега, жалобно блеявших, прекрасных в своей наивности. Чудесным запахом и блеянием они вызвали радость в нежном сердце Дедисимеди.

Она тихо вела Куджая, уйдя в свои мысли.

В сердце ее запечатлелись внятно сказанные царем жесткие слова:

«...Пусть никто не просит меня о помиловании».

Дедисимеди думала: «Кто знает, быть может, царю уже все известно?» Проносились воспоминания: как, уже за полночь, приходил к ним Иоанн Дукидзе, пробирался в опочивальню и разжигал своими речами угрюмо молчавшего Липарита.

— Руставский гарнизон станет на сторону Орбелиани, жди Мустафа приведет сельджукское войско, присоединятся Квирике и Ахсартан, и все сообща нападут на царя через Зедазени.

— Что же... значит, не ехать в Начармагеви? — спрашивал Липарит, сжимая руками виски.

— Поедем, но только не для напуска и не со стороны Тедзмийского ущелья, а от Рустави, и оттуда ворвемся во Внутреннюю Картли.

Вспомнила Дедисимеди и ту ужасную ночь, когда Дуксидзе принес весть о бегстве Рати из Парцхиси и задержался почти до зари.

Они долго шептались. Наконец Липарит встал с постели, надел отцовский панцирь, опоясался дедовским мечом и начал прощаться с семьей.

Он кричал в припадке бешенства:

— Раз свадьба моей дочери не состоялась в Липаритисубани и триалетские крепости не возвращены, — едем в Рустави, и я с сыном вторгнусь во Внутреннюю Картли!

Ката сняла со стены животворящий крест и с крестом в руках упала к ногам Липарита.

— Сначала убей меня, а потом уезжай!

— Значит, по-твоему, я должен оставить Рати одного в этом неравном бою, уступить эриставство, Клдекари, Биртвисси, Самшвилде и Экранта... Ты рехнулась, баба!.. Ехать в Начармагеви с дурачком Махарой и тешиться напуском соколов!.. — кричал Липарит.

— Тсс... тише! Не я, а ты ума лишился, несчастный. Не губи свою семью. Опомнись, Липарит! — умоляла Ката, царапая себе щеки и обливаясь слезами.

Когда Дедисимеди сделала попытку успокоить отца, Липарит повернулся к Ката и злобно прорычал ей и Иоанну:

— Уберите эту девчонку, предательницу нашего рода, а не то, клянусь моим дедом, сейчас же изрублю ее этим мечом!

Иоанн и Хорешан насильно вывели рыдавшую Дедисимеди из опочивальни.

Дедисимеди всю ночь напролет плакала, уткнувшись лицом в подушку. Через стену до нее доносился крик разъяренного Липарита, плач Каты и Хорешан.

Вспоминая все это, Дедисимеди ехала, бросив поводья и ничего не сознавая. Ее нес Куджай, осторожно пробиравшийся среди белоснежных волн испуганно блеявших ягнят.

Как неотвратим приговор судьбы!

Отец, мать, брат, дядя и вся родня составили заговор против ее счастья.

И что ужасней всего, — точат меч на любимого ею человека.

Какие еще лавины готова обрушить на нее судьба?

Дедисимеди было ясно: спасти от крушения все ее надежды может только вмешательство высшего промысла.

Ее терзало сознание, что она может предотвратить опасность, грозящую ее избраннику, лишь пожертвовав благополучием отца, матери и всей семьи, лежащим на другой чаше.

Стадо наконец прошло, и Дедисимеди задержала лошадь у подножия утеса, где ее ожидал Давид.

— О чем задумалась, назо? Я тебя звал два раза, но ты не отозвалась.

Дедисимеди испугалась, что царь прочел на ее лице тайные мысли. Она смущенно ответила:

— Я увлеклась, глядя на ягнят и слушая их жалобное блеяние.

...Их нагнали Иоанн Дукидзе и Гванца.

Лошади быстрой рысью достигли полей, покрытых ромашками и кукушкиными слезками. С дороги всадники увидели Махару и Хахутая, сидевших с соколами на опушке грабового леса.

Махара по пути затравил несколько горлинок.

Их бросали в воздух и выпускали за ними соколов.

Белый сокол Дедисимеди потерпел неудачу. Горлинка стала спускаться, и когда Дедисимеди подскакала, сокол повал должик и унесся в вышину.

Махара погнался за хищником, чмокал, манил прикормкой, и наконец ему с трудом удалось вернуть его с неба.

Все были довольны напуском, и охотники спустились с Триалетских гор уже в сумерки. Снизу доносился шум Алгети.

Давид дал в руки Дедисимеди испускавшую дух горлинку и сказал:

— Тебе, назо, эта птица подходит больше сокола.

Молодые охотники сидели на поле, покрытом ромашками, за веселой беседой, пока невидимый ювелир не начал украшать потемневший небосвод золотыми гвоздиками.

* * *

Посольство царя Давида во главе с Гуарамом, владельцем Бечисцихе, добралось до развалин небольшого селения на берегу Танаиса, у впадения этой реки в море. Селение называлось Медвежьей горой.

Когда-то здесь возвышалась небольшая, сложенная из камня башня, где укрывались морские разбойники. Хазары ее разрушили.

Не так давно бежавший из константинопольского монастыря монах Феофан основал здесь рыбную факторию. Он починил башню и покрыл ее тростником. Таким образом руина превратилась в человеческое жилище.

У Феофана работало семь человек — русский кузнец по имени Никола, три болгарина и три купленных касога.

Путешествие царского посольства из Абхазии до Медвежьей горы было нелегким и далеко не безопасным.

Отряд воинов по приказанию начальника крепости Анакопии проводил посольство до границ страны касогов. Перейдя Джикское ущелье и спустившись на равнину, Гуарам решил, что необходимость в военной охране миновала, и отпустил отряд.

А дальше снова пошли дремучие леса, мрачные ущелья и непроходимые болота.

На возвышенностях стояли касогские крепости, откуда владельцы ущелий совершали нападения на путешественников.

Гуарам, владельца Бечисцихе, сопровождали эриставы, духовные лица, десять чухчей, десять конюхов и столько же обозных, на обязанности которых лежало разбивать палатки.

Все они под меховыми голубубками носили кольчуги и были вооружены кинжалами, а в покрытых коврами повозках под запасами продовольствия лежали спрятанные копья, панцири и щиты. Таким образом, мелкие разбойничьи шайки не были страшны путешественникам.

В тех случаях, когда какой-нибудь владелец ущелья отказывался пропустить посольство, дьякон Севастий пускал в

ход дукаты и солиды. Переход из ущелья в ущелье обычно приходилось оплачивать золотом.

Получив деньги, касоги неизменно ворчали: «Ничего не сделаешь, приходится вас пропускать за грузинскую хлеб-соль».

Наконец добрались до брода на реке Гипанис.

Уже началось половодье. Вода стояла так высоко, что остров, разделявший реку на два рукава, был полностью затлит.

Люди разместились в повозках или ехали верхом на лошадях и мулах. Второй рукав оказался очень глубоким, и одну повозку унесло водой. Конюхи и чухчи бросились спасать ее вплавать.

Тогда же утонул конь, на котором ехал Гуарам, владелец Бечисцихе. Всадника еле спасли эриставы Хурцисдзе и Букаисдзе.

Переправившись через реку, разбили лагерь в лесу и развели костры. Гуарама растерли водкой, переодели, положили у огня и накрыли буркой.

Старик эристав, разбитый тряской и сильно простуженный, был на пороге смерти.

Он, безропотно покоровшись судьбе, лежал в жару с мучительной головной болью. При нем неотлучно находился дякон Севастий и поочередно дежурили по ночам молодые эриставы и епископы Серапион и Иоанн.

Больной не сознавал, где он находится. Лишь только смеркалось, начинали, надрывая сердце, выть волки, плакали шакалы, пронзительно кричали чайки, пеликаны и дикие утки.

Когда Гуараму стало немного лучше, запрягли повозки, и путешествие возобновилось.

Кончалась степь.

Начинались леса.

Леса кончились, и пошли болота.

На переправах через болота у какой-нибудь повозки соскакивало колесо...

Как нарочно, поднимался ветер и дил дождь.

Путешественники, дрожа от холода среди необозримой степи, дожидались, пока починят повозку.

Так ехали и ехали лесами и степями...

В предгорьях путь преграждали ущелья и овраги, через

которые не было мостов. Чухчи спешивались и вели потных лошадей на поводу.

Ночь наступала в дремучем лесу. Из чащи выходили босые и оборванные люди и окружали лагерь. Иногда они довольствовались тем, что им давали, но случалось, что пытались угнать лошадей. Лишь только чухчи обнажали кинжалы, они разбегались.

В конце концов все повозки были поломаны и еле тащились.

Разожгли костры и стали разбивать лагерь. Вдруг на путешественников напала хлынувшая из глубины леса многочисленная толпа оборванцев.

Когда Севастий предложил главарю шайки несколько дукатов, тот пришел в ярость и крикнул дьякону по-осетински:

— Нищих поищи в другом месте, а нам давай лошадей!

Конюхи выхватили кинжалы, но у нападавших были мечи, и они стали теснить конюхов. Чухчи достали из повозок копыя, и в темном лесу разгорелся бой.

Дело стало принимать плохой оборот. Тогда взялись за мечи эриставы и епископы. Это придало бодрости отряду. Грабителей отогнали, и они исчезли в лесу, оставив трех убитых. Двое чухчей были ранены.

С такими приключениями и трудностями посольство на пятой неделе пути добралось до Медвежьей горы.

Лишь только грек Феофан сказал кузнецу Николе и болгарам-рыбакам: «К нам прибыли в гости христиане с востока», — они бросили плести сети и окружили приехавших. Епископы Серапион и Иоанн вынули из-под панцирей кресты, и хозяева подошли под благословение.

Сейчас же развели огонь, эристам и епископам торжественно обмыли ноги.

Гуарам, владельца Бечисцихе, Феофан уложил рядом со своей постелью. Кузнец Никола принялся кипятить водку для растирания.

Гостям была подана горячая уха.

Такое радушие единоверных чужеземцев растрогало измученных путешественников. В течение месяца после выезда из Джикети они встречали на своем пути лишь нищих, разбойников и стаи волков, невозбранно бродивших по опустошенным степям Гога и Магога.

Лихорадка у Гуарама усилилась. Он горел в жару, его скрючило от боли в спине, голова болела не переставая.

День и ночь он бредил, вспоминая то царя Давида, то своего сына Каха, убитого в сражении с сельджуками, то жену свою Анну, на следующий день после гибели сына постригшуюся в монахини.

И эриставы и епископы были глубоко опечалены болезнью благочестивого и скромного владетеля Бечиссихе.

Дьякон Севастий имел некоторые познания в медицине. Он разбирался в травах и собрал себе неплохую аптечку. Но нередко случается, что, отправляясь в путь, мы забываем взять как раз то, что нам больше всего понадобится.

Сидя у изголовья больного, потерявшего сознание от сильного жара, Севастий наобум шептал заговоры:

Лежал камень каменный,
Змея черная под камнем дремала.
Два глаза у нее были —
Один водяной, другой огненный.
Лопнул глаз водяной,
И вода полилась в глаз огненный.
Брызнул глаз водяной,
И потушил глаз огненный.
Да испарятся так глаза злые
Лихо глядевшего.

Когда заговор оказывался недействительным, Севастий просил хозяев достать целебные травы: авсанские листья, ясеневые орехи, дикую мяту, семена моркови и цветной капусты.

Сверх этого он спросил турьего жиру и пиявок. Турий жир нашелся у одного касога. Феофан предоставил все свои лекарственные запасы, но среди них не оказалось того, что было нужно требовательному лекарю.

Севастий и Никола долго бродили по окрестностям Медвежьей горы, но нашли только дикую мяту. Зато в ближайших болотах им удалось поймать несколько пиявок.

Когда больному поставили пиявки, головная боль утихла, но кашель не проходил и боль в спине не унималась.

Феофан и Никола сильно привязались к кроткому и благородному старику и усердно помогали Севастию ухаживать за больным.

Едва Гуараму стало лучше, он начал выражать беспокойство, что поездка в половецкую землю задерживается.

Эриставы и епископы уговаривали его ехать в повозке.

Больной не соглашался и возражал:

— Чем мне трястись в повозке по колдобинам и ухабам, я лучше приму смерть на моем коне.

Когда эриставы стали обсуждать подробности дальнейшего следования владетеля Бечисцихе в половецкую землю. Феофан и Никола решительно им возразили:

— Отсюда до Шарагана шесть недель пути, трудного и опасного, — вряд ли вам удастся доставить его туда живым.

Феофан каждый месяц посылал соленую рыбу в Константинополь, Цхуми и Анакопию. Поэтому он предложил гостям:

— Если вы меня спросите, то и вам самим я не посоветую ехать в половецкую землю. Половцы такие закоренелые варвары, что нет никакой надежды набрать из них послушное войско.

Наш кесарь Алексей Комнен бился целых десять лет, пытаясь сделать из этих разбойников наемных воинов. Он кормил голодных, одевал голых, снабжал безоружных доспехами и конями, устраивал для них в окрестностях Константинополя лагеря, раздавал им вперед дукаты. Но все было напрасно. Получив оружие, они сжигали палатки и уходили в балканские леса.

Затем половцы занимались грабежами окрестных сел и деревень. В константинопольском гарнизоне они устраивали восстания против кесаря.

Поэтому мне не верится, что вашему царю удастся использовать этих дикарей.

Если вы сами хотите ехать, — дело ваше, но зачем губить больного старика?

Оставьте для ухода за ним двух слуг и, если хотите, я его отправлю в Константинополь, в Анакопию или в Цхуми.

Путь по морю до Константинополя гораздо короче, чем по сухопутью от Медвежьей горы до Шарагана.

Погода, сами видите, благоприятная для плавания, — море не шелохнется. Если верить моему лунному календарю, на этой неделе можно ожидать попутного ветра. Старик спокойно доедет на нашей галере.

Никола к этим словам Феофана прибавил свои соображения:

— Сейчас между русами и половцами идут непрерывные бои. Если половцы узнают, что вы христиане, то можно все-

го ожидать от этих свирепых дикарей. Обозленные против русов, они могут вас перебить или продать в рабство.

После таких речей у грузин возникли тяжелые сомнения. Обсудив положение, они попытались убедить большого эристава вернуться морем через Анакопию.

Гуарам решительно отказался.

— Хотя, действительно, я стар и болен, но и владыка Серапион не юноша и владыка Иоанн не может похвалиться здоровьем, — он еще в Гегути болел почками.

Вам хорошо известно, что ни годы, ни недуги не освобождают человека от долга перед родиной.

Вы пугаете меня опасностью. Вам, дорогие дети, жизнь должна быть ценнее, чем мне. В молодости я подвергал свою жизнь всевозможным опасностям, чего же мне их страшиться теперь?

И разве можно считать несчастьем, если мне придется умереть за царя и за родину? Только с более чистой душой встречу я на том свете моего Каха.

Что бы ни случилось, не будем разлучаться. Где суждено положить голову вам, пусть я найду там смерть.

На этом и порешили.

Хотели выехать в воскресенье рано утром, но оказалось, что воскресенье приходится на тринадцатое число, — перед этим препятствием отступили самые смелые. Выезжать в понедельник тоже сочли рискованным.

А во вторник поднялась буря и по морю стали ходить грозные волны. Внезапно налетел смерч и снес в море пристройку, в которой находился рыбный склад Феофана.

Рыбаки вытащили на берег галеры и лодки.

Когда буря утихла, начался дождь с ветром, потом его сменил снег.

Подвел Феофана его лунный календарь.

Навалило сугробы снега. По ночам ревело бушевавшее море. Вихрь со степей налетал на башню. Совсем близко подходили стаи волков и оглашали берег наводившим ужас воем.

Нашим путешественникам казалось, что сама природа противится их упорному желанию выполнить, не щадя себя, долг перед родиной.

Феофан хранил молчание и только поглядывал на бушевавшее море и покрытые снегом необъятные степи.

Никола по-гречески давал Гуараму советы:

— Через два дня пути от Танаиса начнутся непроходимые болота и леса. За ними пойдут безлюдные степи, за которыми опять болота и леса. В апреле стоит такой туман, что вы легко собьетесь с дороги.

Помните, вам встретится большая река, разделенная на два рукава. Когда вы через нее переправитесь, то поезжайте прямо на север и в течение трех дней не меняйте направления.

Хорошо бы вам взять с собой несколько воронов.

Феофан рассмеялся и сказал:

— Где наловить столько воронов и где их держать? В лесу так много перепутанных дорог и троп, что придется набить птицами целую повозку.

Оставь твоих воронов в покое. Гораздо полезнее будет им хороший проводник.

Николе сразу пришла удачная мысль.

— В трех парсангах от Медвежьей горы находится рыбная фактория грека Мавропулоса. У него есть купленный раб Шортай — половец, никуда не годный лентяй.

Воды он боится и ловить рыбу не умеет, также он не может тянуть канатом лодку, тащить и растягивать невод. Поэтому его хозяин жалеет для него даже ржаного хлеба и оплакивает три дуката, которые за него заплатил.

Быть может, он согласится продать вам этого Шортая.

Эриставы и епископы посоветовались и решили послать Севастия и Николу за половцем.

На рассвете они вдвоем отправились в степь. Только путники скрылись вдаль, как показалась стая волков.

— Не съели бы наших волки, — забеспокоился эристав Гуарам. От волнения у него голова разболелась еще больше.

На третий день утром Феофан с веселым лицом приветствовал проснувшихся гостей.

— Привели половца Шортая.

Перед Гуарамом предстал полуголый смуглый тщедушный человек в истертой и порванной одежде из собачьей шкуры. Полы лохмотьев еле покрывали бедра несчастного раба.

В одном ухе у него была медная серьга, а мочка другого уха была откушена или отрезана.

Борода на его лице начинала расти от выпирающих желтых скул. Острые, как у грызуна, зубы выдавались вперед. Чересчур короткая верхняя губа обнажала десны.

У половца почти не было подбородка и ширина лба не

превышала пальца. Волосы от лба до затылка были выбриты, на тыквообразную голову натянута шапка, напоминавшая болотное растение, называемое козьей бородой.

Шортай изъяснялся на ломаном греческом языке. Голос у него был бабий и скрипучий, причем он картавил и помогал словам жестами и гримасами.

Никола обратился к нему по-половецки, но и на родном языке слова вырывались у него с таким трудом, точно их вытаскивали клещами.

Никола и Севастий запоздали потому, что им пришлось долго торговаться с Мавропулосом. Обрадовавшись, что нашелся покупатель, грек все же не хотел уступать раба дешевле, чем за пять дукатов.

У самого Шортая, лишь только он понял, что расстается со своим жестоким хозяином, глаза заблестели от радости.

Шортай за десять лет перепродавали семь раз.

В свое время его купил в Шарагане богатый купец-грек. В Константинополе он продал его сотнику болгарских наемных войск, а этот в Венгрии перепродал его поляку.

От поляка он попал к дружиннику-русу, который увез его в Киев и там дал в приданое своей сестре, вышедшей замуж в Чернигове. Наконец, в Чернигове его купил за три дуката Мавропулос.

Гуарам, владетель Бечисцихе, и сопровождавшие его грузины первый раз в жизни видели половца. Они ничего не сказали друг другу, но про себя со вздохом подумали, что вид войска, состоящего из таких корявых людей, пожалуй, привел бы в отчаяние.

Разочарованными глазами смотрели они на тонкие у локтей руки, похожие на веретено, на голени, напоминавшие грузинскую букву «о», на ступени, схожие со звериными лапами, на пальцы, скрюченные подагрой.

Взглянув еще раз на раба как покупатель, выбросивший за него пять дукатов, Гуарам проникся внезапной жалостью к этому раздавленному невзгодами, несчастному человеку. Он сказал по-грузински своим спутникам:

— Быть может, правда, нет толку ехать в эту пропащую страну?

Затем он приказал Николе спросить у Шортая на половецком языке:

— Что случилось с мочкой твоего уха?

Шортай ответил, что Мавропулос рассердился на него за украденную чашку похлебки и оторвал мочку вместе с серьгой.

* * *

Кузнец Никола снарядил путешественников в дорогу. Он починил повозки, укрепил колеса железными ободьями, чтобы они выдержали долгий путь, устроил на кузовах железные обручи для завешивания их коврами. К обручам прикрепили держатель для факелов. Ковры прикрыли сверху войлоками, чтобы скрыть богатое убранство от жадных глаз грабителей.

Повозка владельца Бечисцихе была особенно заботливо убрана и производила впечатление шатра на колесах. Здесь, под иконами, устроили мягкое ложе для ночного отдыха эристава Гуарама, так как в палатках старик постоянно простуживался.

Никола подковал мулов и лошадей и заодно сделал для них запасные подковы.

Наконец он наточил кинжалы и копья чухчей.

Все уже было готово к отъезду, как вдруг море опять забушевало и под утро выпал снег.

Эристав Гуарам был смущен, что доставляет так много забот гостеприимным хозяевам, и торопился выехать. Феофан, узнав, что он собирается в дорогу, не выждав хорошей погоды, решительно этому воспротивился.

— Не думайте, господа, что вы направляетесь в христианскую страну. После Медвежьей горы три дня вы будете ехать по безлюдной степи и диким лесом до самой земли половецкой.

Никола тоже вставил свое слово:

— В дороге вас может застигнуть буран и придется заночевать в степи. Тогда забудьте об удобном ночлеге. Лагерь ваш будет под открытым небом, а ветер потушит любой костер. Поэтому торопиться с отъездом нет смысла. Запасите побольше жира и фитилей.

Выяснилось, что все фитили были истрачены еще в стране джиков и касогов при переходе через темные ущелья и на ночлегах. У Феофана был рыбий жир, но фитилей не оказалось. Он приказал уложить в повозки еловые поленья для факелов.

Севастий закупил в фактории большой запас копченой рыбы.

— Будут ли у нас по дороге фактории? — спросил эристав Хурцидзе.

Феофан ему ответил:

— Через два дня пути от Медвежьей горы есть меховая фактория грека Попандопуло из Смирны. Половцы хоть и мало одарены, но они отличные охотники и добывают много шкур — медвежьих, куньих, волчьих, белчих, лисьих и бобровых.

Летом эти беспечные дикари не думают о зиме и в июле продают Попандопуло меха за гроши, а только наступит октябрь, покупают их у него же втридорога.

Если вам удастся с божьей помощью добраться до этой фактории, передайте ее хозяину письмо, которое я напишу, и советую вам закупить у него как можно больше ценных мехов.

Попандопуло получает из Китая обезьяньи и тигровые шкуры. Все это вам пригодится в дороге как взятки и для обмена на продовольствие.

Не забудьте также, что жены половцев очень падки на меха, особенно на обезьян, чернобурых лисиц и бобров.

Кроме того, чиновники у них большие взяточники и даром никто не пропустит в шатер половецкого хана ни вас, ни его отрока-сына. Как свойственно дикарям, они алчны и будут смотреть вам в руки. Что им не удастся выпросить, они отнимают силой. Взятки им приходится давать на каждом шагу.

Сказав это, Феофан переглянулся с Николой:

— Расспроси Шортая, он должен знать, где находится фактория Попандопуло.

Кузнец разыскал Шортая не скоро и даже подумал: «Быть может, этот бедняга убежал?»

Дело оказалось проще. Повар дал ему котел, покрытый изнутри салом, и он его облизывал, держа на коленях. Когда вымазанного сажей половца привели к гостям, то от улыбки не мог удержаться даже эристав Гуарам.

Никола долго бился, но никак не мог втолковать рабу, чего от него хотят.

Наконец Никола обратился к Феофану:

— Половцы не запоминают христианских имен. Расскажи мне, какая наружность у этого грека, и я постараюсь ему описать.

— Скажи, что Попандопуло лысый, с торчащими ушами, высокий, широкоплечий, брюхатый, а нос у него крючком.

— Послушай, — сказал Никола Шортаю, схватил его за чуб и стал ему показывать руками: — Вот такой... такой толстый, такое у него брюхо, уши величиною в ослиные подковы.

Шортай оскалил свои беличьи зубы, закивал головой и завопил:

— Знаю, знаю!

На другой день Гуарам, владетель Бечисцихе, и его спутники сердечно попрощались с гостеприимными хозяевами и пустились в дорогу по стране ветров и тьмы кромешной.

УЛУСА

Эристав Гуарам разделил всадников — десять ехали впереди повозок и десять позади. Двое чухчей и Шортай разведывали дорогу.

Так посольство пустилось в путь по бесконечным просторам.

Болота,

леса,

степи

и безлюдные равнины.

Медвежата выходили на дорогу и с любопытством смотрели на всадников.

Когда надвигалась ночь, на полянах, среди леса, разжигали костры. Вокруг бегали обеспокоенные шакалы, слышался треск сучьев и совсем близко тяжелая возня, а иногда свирепый рев медведя. После полуночи все эти звуки терялись в немолчном вое волков...

Проехали несколько парсангов. С дорог поднималось воронье и покрывало небо черными облаками. Карканье оглашало безлюдные степи.

Время от времени попадались обглоданные кости. Раз Шортай, осматривая их, поморщился и сказал:

— Это медведь съел какую-то женщину...

Шли,

шли...

Встретились два медведя, глодавшие кости лошади и всадника. Они, недовольно урча, оставили свою добычу и, не торопясь, скрылись в лесу.

Еще прошли несколько парсангов. Появлялись полуголые чубатые печенег на неоседланных клячах, кидались к эриставу Гуараму и выпрашивали у него милостыню. Если им казалось мало монет, раздаваемых Севастием, они спешили и, прячась в кустах, пускали в путешественников стрелы.

Десятник чухчей Латерия бросался за ними в погоню и бил кнутом по головам. Иногда он отнимал у них лошадей и спешенных кочевников прогонял в степь. Когда беглецы скрывались из виду, Латерия оставлял лошадей на дороге.

Два дня эристав Гуарам и его люди шли за Шортаем. Он останавливался на перекрестках, задумывался, почесывал затылок и с колебанием ехал вперед.

Переправились через реку — такую же мутную, каким в этот день было небо, и началась бесконечная степная равнина под необъятным свинцовым шлемом небосвода.

Не только не было леса, но уже не встречалось ни одного дерева, ни одного куста, никаких зарослей.

Не было слышно ни птичьего голоса, ни звериного шороха.

По равнине, завывая, носился ветер.

Здесь путешественников постигла очередная беда: у одной из повозок отвалилось два колеса. Пока ее чинили, небо заволокло тучами, раздалась раскаты весеннего грома, широко разнесшиеся по степи. Сверкнули зигзаги молнии, и хлынул ливень...

Подгоняя лошадей, добрались к вечеру до заросшего кустарником поля. Здесь дорога терялась.

Стемнело, и пути не стало видно.

Эриставы посоветовались между собой и решили добраться до первого леса, где можно было бы укрыться от ветра.

Повозка эристава Гуарама с трудом продиралась через кусты. Дорога была неровная, и на каждом шагу колеса попадали в ямы. Потные, усталые лошади шумно и тяжело дышали.

Гуарам велел всем молодым спешиться и помогать лошадям, подталкивая плечом повозки. Так тащились в беспросветном мраке, пока из облаков не выглянула луна.

Крепчавший ветер перешел в бурю.

Долго тащились по голой степи. Наконец увидели лес.

Когда обрадованные путешественники приблизились к лесу, их глазам представилось печальное зрелище.

На опушке стояло девять кибиток. Вокруг белели человеческие и конские кости.

Обглоданные черепа, ключицы, берцовые и тазовые кости были разбросаны на широком пространстве среди кустарников.

Путешественники зажгли факелы и осмотрели брошенные кибитки. Там нашли черепа детей. Только войлочные половецкие идолы остались невредимы и бесстрастными восковыми глазами взирали на ужасную картину.

Эриставы и епископы обошли при свете факелов поле страшной битвы между зверями и людьми.

Шортай объяснил, что здесь произошло: половецкая семья куда-то переезжала и в пути стала жертвой стаи волков.

Шортай собрал разбросанные вокруг кривые шашки; копья и секиры и показал на них следы запекшейся крови.

Владетель Бечисцихе, рассматривая кости рук и ног, был поражен их длиной.

«Уж не такие они низкорослые, эти половцы», — подумал он.

Эристава Гуарам мучило беспокойство.

— Вдруг Шортай ошибся и завел нас бог знает куда. Удастся ли нам до утра выбраться из этой трущобы? — сказал он владыке Серапиону.

— Мне кажется, батона Гуарам, что мы уже давно сбились с аробной дороги. Вероятнее всего это было там, где начались заросли терновника, — ответил епископ.

— Если дорога проходит не здесь, то как же попали сюда несчастные половцы? — спросил эристав Букаицдзе.

— Кто знает, быть может, бедняги ехали правильно, но когда на них напали волки, то перепуганные лошади занесли их в эти кусты, — предположил Гуарам.

Дьякон Севастий заметил:

— Не лучше ли нам убраться отсюда подобру-поздорову?

Гуарам ему на это сказал:

— Вперед мы идти не можем, потому что путь нам преграждает лес. Если повернуть обратно, то все равно нам не добраться к рассвету до места, где начались терновые заросли.

Здесь же лес как-никак защищает от ветра, и нам, быть может, удастся развести костры.

— Разведем костры! — раздались голоса.

Слуги принялись за дело, но порывы ветра тушили огонь.

— Подождем терновник! — посоветовал десятник чухчей Латерия.

Однако и это не удалось, потому что кусты были мокры. Обозники разбили палатки.

Гуараму, владетелю Бечисцихе, епископам и эристам постелили в повозках.

Путешественники поужинали, помолились и легли спать.

Севастий зажег перед иконой несколько восковых свечей и уселся, поджав ноги, с псалтырем на коленях.

Было слышно, как похлопывали руками и притоптывали ногами озябшие сторожа. Иногда доносился свист.

Спустилась ночная тишина, только в лесу изредка трещала сорока. Севастий задремал, но через некоторое время проснулся от воя одинокого волка.

Дьякон поднял голову и прислушался. Снова все замерло в тишине. Лишь только он начал читать псалтырь, как опять завыл волк...

Севастий вновь прислушался. Вой прекратился. Послышалось ржанье и фырганье привязанных к повозкам лошадей.

Снова тьму огласил одинокий волчий вой...

Дьякон затаил дыхание.

Волк замолчал, и дьякон прочел несколько псалмов.

Едва он закончил, волк опять завыл и вслед за ним затрещала сорока.

Севастий поднял войлок, высунулся из повозки и тихо позвал:

— Латерия, Латерия!

На его зов подбежали трое чухчей с копьями.

— Что случилось, батоно Севастий?

— Где Латерия? — спросил дьякон.

— Он спит в палатке.

Не успел Севастий взяться за псалтырь, как снова завыл волк.

Из-под войлока показалась голова Латерии.

— Что нужно, батоно Севастий?

У Латерии был очень зычный голос, и Севастий, боясь, как бы он не разбудил эристава Гуарамы, сказал ему шепотом:

— Мне не нравится вой этого волка.

— Какого волка, батона Севастий? — тоже шепотом спросил Латерия.

— Не знаю, сын мой, как его зовут. Того, что сейчас воет.

Начальник чухчей улыбнулся.

«Дьякон наш струсил», — подумал он и ответил:

— Спи спокойно, батона Севастий. Уж мы как-нибудь с этим волком справимся...

Латерия сменил сторожей, завернулся в кожух и уснул, положив голову на седло.

Севастий продолжал читать псалтырь и дошел до стиха:

«Господи боже живота моего, днем я пою тебе и ночью стою перед тобой...»

Только успел он подумать: «Прочту этот псалом до конца и лягу», как над его головой снова затрещала сорока и волк завыл совсем близко. Ему отозвался другой, издалека третий и четвертый. Вдруг замыло разом несколько волков, и вслед за тем раздался общий вой стаи, леденящий кровь в жилах...

Севастий высунул голову и увидал в ночной темноте сверкание множества глаз.

Огоньки появились в густом кустарнике и медленно приближались. Слышалась поступь бесчисленных лап.

Заржали и забились лошади.

— Латерия! Эй, Латерия! — изо всех сил закричал дьякон.

Вскочили владетель Бечисцихе и молодые эриставы.

— Окружите повозки и лошадей! — приказал эристав Гуарам.

Испуганные лошади ржали и жались к повозкам. Конюхи и чухчи размахивали горящими факелами...

Эристав Гуарам был впереди всех и ободрял своих людей. По сторонам Гуарама стояли Букаисдзе и Хурцисдзе. Перед ними появились волки из первой стаи. В раскрытые пасти зверей вонзились копыта.

Закаленный в боях эристав Гуарам поразил мечом волка, прыгнувшего к его коленям.

Зверь не успел издать ни звука, как в него вцепились и стали терзать его товарищи...

Латерия одних волков пронзал копьем, другим засовывал в пасть горящий факел. Шортай не отставал от него, зажигая факелы и подавая их ему один за другим.

Севастий подбодрял конюхов. Заложив два указатель-

ных пальца в рот, дьякон оглушительно свистел, как свистят загонщики, созывая по окончании травли разбежавшихся гончих.

Когда передовые волки падали, напорвшись на копыта, пронзавшие им грудь, на них набрасывались звери, находившиеся сзади.

Ожесточенная схватка людей со зверями продолжалась не больше того времени, которое нужно человеку, чтобы сто раз произнести свое имя и фамилию, но перо автора не в силах передать всю ярость этого состязания...

На следующее утро, когда весеннее солнце осветило поле битвы, Латерия и Севастий сосчитали на нем двадцать пять убитых волков.

Эристав Гуарам по случаю благополучно избегнутой опасности приказал Севастию достать бурдюк вина.

Гуарам был в самом лучшем настроении. Волкам удалось растерзать лишь одного мула, который оторвался и убежал.

Латерия шутил:

— Бедные звери ошиблись, приняли воинов царя Давида за половцев.

Гуарам, передавая рог Севастию, спросил его:

— Скажи мне, мой Севастий, как это ты вчера догадался, что первый волк был вожаком стаи?

— Доложу тебе, батона Гуарам, что в дьяконы-то меня рукоположили уже в немолодых годах.

Отец мой был опытный охотник и с малых лет брал меня с собой в лес.

Мы, случалось, подманивали волков: ложились на землю, приподнимались на руках на высоту волчьего роста и начинали выть.

— Почему же непременно в таком положении? — спросил Аршаруни.

— Ясное дело, что у волка очень тонкий слух, если до него донесется звук не с той высоты, он сразу поймет, что это не свой брат. Поэтому мы выбирали низины и ложились, приподняв голову на высоту двух локтей.

Эристав Гуарам, улыбаясь, продолжал расспросы.

— Все это хорошо, мой Севастий, но Латерия мне рассказал, что ты начал тревожиться уже тогда, когда услышал одинокий вой.

— Ведь и люди произносят слова с различным выражением, батона Гуарам. Приведу пример: вот ты дал мне, твое-

му покорному слуге, рог, а я, приняв его, вдруг бы закричал, что обжегся.

Ясное дело, надо мной только посмеются. Но если ты мне дашь не рог с вином, а зажженный факел, и я завоплю, то все бросятся мне на помощь.

Так и волки воют по-разному, ясное дело.

Как я уже говорил, я лет десять охотился в лесу, и не совру, если скажу, что понимаю голоса птиц и зверей не хуже, чем человеческую речь.

Латерия, наверное, тебе доложил, что меня не столько смутил вой волка, как трещанье сороки.

Всем известно, что ночью сорока, ясное дело, спит, сидя на суку.

Я так смекнул: когда завыл вожак, то волки стали собираться со всей окрестности и один из них притаился под деревом, на котором сидела сорока, ясное дело.

Звери подают голос по-разному, смотря по времени года и по другим причинам.

Вы все слышали, верно, вой голодного волка. У тех, кто любит животных, он вызывает жалость.

Совсем другое дело, когда зверь ночью рыщет за добычей, а волчата его остались дома. Он охотится неподалеку от логова и время от времени дает знать своим малышам: «Я здесь, около вас, не бойтесь, детки!»

Еще по-иному звучит его вой, когда он внезапно почует опасность.

Кто из вас не принимал участия в облавах на волков! Мне приходилось сопровождать на такой охоте царя Георгия в его угодьях в Тао.

Однажды согнали всех мужчин с трех деревень. С царем было до трехсот воинов-охотников. Окружили такую котловину, объехать которую нужно полдня добромуду всаднику.

У волка слух замечательно чуткий. А носом он особенно прихватывает человеческий запах. Если охотник не обяжет рот мокрым башлыком, — волк чует человека за два парсанга и поднимает вой.

Это, ясное дело, совсем особый вой. Чувствуя опасность и страхась гибели, зверь жалуется.

А бывает и так, что волк, если выразиться по-человечьи, напоминает забывшего обо всем на свете беззаветно влюбленного юношу. Он тоскует по волчице, притаившейся в дремучем лесу. Сидит он тогда на пригорке, облитом лунным светом. Я не раз это видел собственными глазами.

Сидит он и воет. Это уж, ясное дело, не вой, а плач по любимой.

Сам я, ясное дело, не бывал ни волком, ни человеком с волчьей душой и отличаюсь от волка тем, что верю в бога, и, ясное дело, разума у меня будет побольше, чем у волка.

Эристав Гуарам засмеялся. Рассмешило его не только неожиданное заключение рассказчика, но и частое его при словье — «ясное дело».

Епископы тоже не удержались от смеха, и окрыленный успехом своего рассказа дьякон, скулы которого уже размялись от вина, продолжал разглагольствовать:

— Волк на деле не так отважен, как думают некоторые охотники. Но ведь и среди людей, ясное дело, нет постоянных героев, как и постоянных трусов, которые ни разу не проявили бы храбрости.

Волки боятся огня и свиста. Свист их пугает, потому что им кажется, что это охотники подзывают собак. А что они опасаются собак, это вполне понятно: ведь собаки-то им сродни. И у человека нет большего врага, чем враг из собственной родни. Ясное дело.

Волк походит на человека и в другом отношении: в пору любви он не знает страха...

Здесь рассказчик прервал свою речь. Гуарам передал ему очередной наполненный рог. Пока он вытирал усы, Букандзе его спросил:

— Какое же еще сходство у волка с человеком?

— Есть, ясное дело, сходство еще в одном. С человеком иной раз случается, что он должен напрячь все свои способности. И человек и зверь, побуждаемые любовью или голодом, вдруг покажут такую силу, какой в них никто не подозревал. Ясное дело.

Волк страшен, когда у волчицы бывает течка и когда он голоден. Течка у волчицы наступает в декабре — январе. Волки тогда собираются стаями.

Уверяю тебя, батано Гуарам, напади на нас волки два месяца тому назад, нас бы не спасли не только факелы и копыя, но даже камнеметы царя Давида. Ясное дело.

Эристав Гуарам прервал дьякона:

— Ты что-то сбился с пути, мой Севастий. Ведь ты начал рассказывать, какой бывает вой у волков.

— Что ж... (Пошли тебе господь всякого добра, батано Гуарам!) Есть еще совсем особенный вой вожака стаи, когда

голодные волки бродят по лесу в поисках добычи и вожак почуял опасность или прихватил запах лошадиного табуна.

Вой этот не жалобный, а, наоборот, вызывающий и смелый. Он раздается грозно, как приказ, с которым полководец обращается к своему войску.

Ясное дело, я узнал этот вой и потому и позвал Латерию, десятника чухчей.

Латерия, я знаю, про себя улыбнулся. Он сказал мне: «Ты себе отдыхай спокойно, а с волками мы и без тебя управимся», и пошел досыпать в палатку.

Каждый страстный охотник, если он по какой-нибудь причине уже перестал охотиться, тешит себя рассказами об охотничьих приключениях и не может остановиться. Случилось это в тот день и с Севастием. Он говорил бы еще долго, если бы владетель Бечисцихе не встал. Эристав Гуарам поднял последний рог за дальнейшее счастливое путешествие и приказал каравану трогаться в путь.

.

Проехав один парсанг, путешественники повернули назад и с трудом нашли дорогу. Оказалось, что она пролегла немного левее той, что привела их к лесу. Ветер успел высушить землю. Возницы погнали лошадей рысью.

Владелец меховой фактории Попандопуло оказался негостеприимным хозяином. Он даже не спросил у приехавших, кто они и куда едут.

Попандопуло говорил отрывисто, недовольно нахмурив брови, и так смотрел на эристава Гуарама, точно к нему приехал не богатый покупатель, а явился назойливый проситель. Письмо Феофана не произвело никакого впечатления. Грек только раз бегло на него взглянул и поспешно сунул в выдвинутый ящик.

Арташекс Аршаруни и дьякон Севастий долго с ним торговались, но он не уступал ни одного дуката с назначенной цены. Гуарам закупил лисьи, обезьяньи и медвежьи меха.

Положив золото в карман, Попандопуло даже не пригласил путешественников отдохнуть.

Возницы опять погнали лошадей. Дорога улучшилась, и Шортаю уже не приходилось в раздумье стоять на каждом перекрестке.

Из разговора с ним Севастий узнал, что бедняга был одно время рабом Попандопуло и научился снимать шкуры с волков и с лисиц. Но как-то он неудачно ободрал лисицу и

испортил шкуру. Хозяин избил его плетью, и Шортай убежал от него.

Дьякон понял, почему за все время пребывания в фактории половец не вылезал из повозки.

Опять переправились через большую реку, названия которой никто не знал. Проехали еще немного.

Сидевший на козлах Шортай весело прыгнул, пересел на мула и, подъехав к Севастию, с радостью сообщил ему, что началась половецкая земля.

— Странная вещь сердце человека, — сказал Севастий ехавшему с ним бок о бок Латерии. — Этот сто раз перепроданный раб, кроме побоев плетью и мучений, ничем не может помянуть свою родину, но все же он любит свою страну. Посмотри, как бедняга повеселел и прибодрился.

— Это так, мой Севастий. Родная земля дороже всего.

Пусть мне здесь дадут золотые горы, я не променяю на них мою гегутскую красную землю.

Дорога стала еще лучше, пошли зеленые луга. Одновременно появились новые опасности. У каждого поворота на посьство налетали на своих неоседланных конях вооруженные луками печенеги в островерхих шапках. Они не просили подаяния, но присылали одного безоружного всадника с требованием мехов, одежды и золота.

Когда их не удовлетворяли имевшиеся наготове у Севастия заячьи шкурки и несколько ботинатов, они валили своих лошадей на землю и, прячась за ними, пускали в путешественников стрелы.

Латерия быстро справлялся с ними. Стрелки спасались бегством, а лошади их доставались чухчам.

Бесконечные нападения налетающих, как ветер, всадников так надоели, что эристав Гуарам приказал надеть шлемы, положить на виду панцири, обнаженные мечи и копья. Этот прием подействовал.

Встречавшиеся печенеги уже не дерзали приближаться и только просительным тоном выклянчивали серебро, съестные припасы и бурах.

Больших трудов стоила разбивка лагеря на ночь.

Палатки приходилось расставлять в степи. Когда смеркалось, поднимавшийся ветер тушил костры.

При ночлегах в лесу хвороста для костров было достаточно, но из-за кустов подкрадывались разбойники и пускали стрелы.

Иногда они дожидались, пока усталые путешественники заснут в шатрах, и тогда со свистом набрасывались на часовых.

Поэтому Латерия должен был бодрствовать до рассвета и следить, чтобы конюхи и чухчи были в боевой готовности.

Наконец решили не разбивать лагеря ни в лесу, ни в степи. Лишь только солнце склонялось к западу, Латерия выбирал место на высоком берегу реки или на краю болота, где была естественная защита хотя бы с одной стороны.

Как-то вечером шатры были разбиты над обрывистым берегом реки у опушки леса.

До полуночи никто не спал. Эриставы прилегли, не снимая кольчуг, и Севастий принялся вспоминать свои приключения на охоте.

Латерия приказал пяти чухчам лечь спать, а остальным нести караул вокруг шатров и повозок. Сам он то слушал Севастия, то прогуливался в сторону леса или обходил часовых. Заслышав хохот эриставов, он возвращался к повозке, чтобы послушать рассказы об охоте.

Наконец сон одолел путешественников.

На рассвете Латерия поднял тревогу. Тотчас все вскочили.

Оказалось, что толпа совершенно голых кочевников подкралась к лагерю. Их заметил Шортай, вышедший по своим делам, и с криком вбежал в шатер.

Лучники пускали стрелы в голых разбойников. Те нырли в воду, как тюлени. Река унесла пять трупов.

На следующий день эриставы держали совет, как наладить охрану.

Конюхи не могли и ухаживать за лошадьми, и чинить повозки, и разбивать шатры, а по ночам стоять на страже.

Поэтому решили, чтобы конюхи и чухчи высыпались днем в одной из повозок. Из этого ничего не вышло, потому что участились нападения среди бела дня. Раздумье взяло даже бесстрашного Гуарама.

Не вернуться ли назад?

Но он представил себе позор такого возвращения. Он спасалар царя Георгия, не смог добраться до половецкой земли, испугавшись степных разбойников! Ведь люди поднимут его на смех.

Только наступали сумерки, перед нашими путешественниками сначала проносилась тень одинокого всадника на неоседланной лошади; он преследовал их на некотором рас

стоянии. Затем раздавался топот многих копыт, свист и крики, и дерзкое полчище конных разбойников налетало на повозки и завязывался бой.

В одной из таких схваток были ранены епископ Иоани и Арташекс Аршаруни.

Степь не имела конца.

— Когда же будет Шараган? — спрашивали Шортая.

— Близо, теперь совсем близо, — бормотал он себе под нос.

Чухчи и конюхи исхудали, лошади выбились из сил, изношенные повозки ежеминутно ломались, продовольствие было на исходе. В бочонках оставалась только соленая рыба, но ее ели неохотно, потому что она вызывала жажду, а где было взять чистую воду, — радовались каждой луже на дороге.

Ехали,

ехали,

а конца не было видно.

Опять приставали к Шортаю:

— Скажи же, наконец, сколько осталось до Шарагана?

— Близо, близо...

Не было конца ни дороге, ни хождению по мукам.

Гуарам чувствовал, что силы его падают, и с грустью думал: «Неужели мне суждено умереть среди этих степей, не выполнив поручения царя?»

Тщетно старался он поддержать в своих спутниках бодрый дух. По ночам его томила бессонница, не давали покоя головные боли, но он не показывал виду, что ему невмоготу, шутил и заставлял дьякона Севастья рассказывать охотничьи истории, своим однообразием наводившие такую же тоску, как дорога в половецкую землю.

Ехали дальше. Реже встречались удобные для привала берег реки или болото.

Степи подошли к концу. Начались густые заросли. Из кустов, обступавших дорогу с обеих сторон, толпы разбойников осыпали путешественников стрелами. И защищаться и преследовать врагов становилось все труднее.

Половцы, обнаглевшие от безнаказанности, шли по стопам посольства и на стоянках мешали разбивать лагерь, пытаясь отнять у изнемогших от усталости людей шатры, повозки и все, что в них было.

Наконец эристав Гуарам приказал:

— Будем спать по очереди и по очереди стоять на стра-

же. Пусть одновременно отдыхают пять человек. По тревоге всем вставать и сражаться.

Ночью развели костры, у которых тоже поочередно спали и бодрствовали.

Несмотря на уговоры эриставов и епископов, владетель Бечисцихе, как и все остальные, стоял с копьём на часах.

В ту ночь никто не покушался на лагерь. Севастий завел бесконечный охотничий рассказ; слушая его, два эристава и епископы ждали появления Латерии, сменявшего караул.

* * *

На следующий день дорога пошла в гору.

Солнце поднялось, лес огласился щебетанием птиц.

Медведи возились и урчали в чаще, а медвежата весело барахтались на самой дороге. Севастий высунул голову из повозки и с восторгом бывшего охотника любовался забавными увальнями, еще не вкусившими сладости крови, брызнувшей из-под когтей.

Медвежонок с шерстью цвета меди опрокинул другого, каштанового цвета, такого же неуклюжего, как он сам, и пробовал на нем свои еще не страшные зубы.

Севастий, покривив душой, сказал:

— Мне надоедо трястись в повозке, — и пересел на мула, чтобы поближе разглядеть драчунов.

Наконец сердце его не выдержало. Увидав снова подобную «чудесную картину», как он выражался, Севастий прыгнул на двух медвежат и, схватив одного из них в охапку, принес эриставу Гуараму.

— Здорово! Молодец, мой Севастий, — сказал Гуарам. — Можно подумать, что нам некуда девать продовольствие и не хватает только нахлебника.

Эриставы и епископы посмеялись, и дело кончилось тем, что дьякон поручил свою добычу конюхам, прозавшим медвежонка Аргелоди, что значит Нежданный.

Присутствие Аргелоди развлекало чухчей и конюхов, измученных бессонными ночами и голодом.

Никто из них не брал в рот куска без того, чтобы не уделить долю медвежонку.

...Так проехали спокойно и этот день и еще два. Нигде не промелькнула человеческая тень.

На четвертое утро, после ночевки в лесу, снова двинулись в путь.

Дьякон Севастий, двое разведчиков-чухчей и половец Шортай ехали впереди.

Вдруг им послышался вдалеке странный звук, скрипучий и протяжный. Они остановили коней и прислушались, потом поехали дальше. Скрип становился громче.

Подъем кончился. Внизу расстилалась степь.

Острые глаза дикаря Шортай различили в туманной дали силуэты всадников. Он сказал об этом Севастию.

Севастий остановил мула, заслонил глаза ладонью и через несколько мгновений увидел на горизонте громадное темное пятно...

С каждой минутой оно приближалось и вскоре превратилось в несметное множество мчащихся карьером всадников. За ними вереница пронзительно скрипящих кибиток, табуны коней, потом снова всадники и снова кибитки, бесчисленные отары овец, окруженные волкодавами.

Все это, окутанное облаками пыли, несло навстречу дьякону и его спутникам.

Дьякон Севастий был не робкого десятка, и все-таки сердце его замерло при виде такого огромного войска.

Он оглянулся назад, на дороге никого не было видно: эристав Гуарам со своими людьми еще не успел выехать из лесу.

Разведчики-чухчи хотели повернуть назад, но Севастий приказал им оставаться на месте, а сам помчался во весь опор к лесу.

Задыхаясь от быстрой езды и волнения, он рассказал Гуараму, какую картину видел только что своими глазами.

Владелец Бечисцихе на мгновение дрогнул, но тотчас овладел собой, не желая, чтобы дьякон заметил его беспокойство. Он помедлил с ответом.

Тогда болтливый дьякон осмелился дать совет многоопытному воину:

— Не лучше ли нам, эристав над эристами, не выезжать на дорогу, а углубиться в лес и переждать, пока они пройдут степью? Когда дорога очистится, мы снова на нее выберемся.

Гуарам насупился и твердо сказал:

— Не дрожи и не торопись. Возвращайся к разведчикам и передай им мое приказание ехать вперед и ждать моих дальнейших распоряжений.

Севастий растерялся, не понимая смысла такого образа действий. Как можно, имея отряд в два десятка человек, тягаться с несметным войском?

Севастий поскакал к разведчикам, а эриставы и епископы выехали из лесу и стали вглядываться в даль.

Прямо на них в облаках пыли мчалась половецкая конница. Раздавался оглушительный скрип несмазанных осей кибиток.

Ехавшие впереди половцы заметили на подъеме Гуарам с окружавшими его людьми и перешли с карьера на рысь. Двое из них повернули коней и помчались назад. Клубы пыли были точно привязаны к хвостам их лошадей.

Эристав Гуарам видел, как они подъехали к первой кибитке и после короткого разговора снова поскакали навстречу Гуараму и его свите.

В нескольких шагах от посольства царя Давида всадники осадили лошадей, ставших как вкопанные, и что-то угрожающе крикнули владельцу Бечисцихе.

Шортай перевел их слова:

— Половцы спрашивают, кто вы такие и зачем приехали в нашу страну.

Тем временем половцы пристально наблюдали, как из лесу попарно выезжали на дорогу чухчи и конюхи. Как видно, их интересовало, какое количество воинов идет с чужестранцами.

Эристав Гуарам спокойно приказал переводчику:

— Скажи им, что мы послы грузинского царя Давида и едем в Шараган к половецкому хану по приглашению сына Шарагана — Атрахи.

Шортай перевел эти слова. Один из половцев что-то быстро сказал другому, и оба помчались обратно к первой кибитке.

Вернувшись к посольству, он заговорил с Шортаем уже более любезно.

— Передай, малый, твоему белобородому господину, что наш повелитель Улуса велел сказать: «Если вы действительно посольство и если верно, что приехали к нам с дружбой, а не с войной, то сообщи, идет ли за вами войско и везете ли подарки в ставку половецкого хана?»

Гуарам приказал Шортаю:

— Спроси у него прежде, кто такой их повелитель?

Был получен ответ:

— Улуса, темник и начальник над шатрами половецкого хана.

— Передайте Улусе, — сказал Гуарам, — темнику и начальнику над шатрами половецкого хана, что мы пришли не как враги, а как друзья, с нами нет войска и мы везем подарки для вашего хана.

Снова всадники проделали рейс между посольством и первой кибиткой. Вернувшись, они объявили:

— Темник Улуса приглашает вас к себе.

Три эристава отправились в сопровождении епископа Серапиона, трех чухчей и Шортая. Эристав Гуарам пустил вперед своего коня, за ним ехала его свита.

Кибитка Улусы была так велика что более напоминала дом на шести колесах. Она была покрыта войлоком, пропитанным жиром, и в нее было впряжено десять пар лошадей.

Когда войлок был приподнят изнутри, как открывается занавес, глазам наших путешественников представилась такая картина.

В кибитке, убранной коврами и подушками, по обеим сторонам стояли вооруженные воины богатырского сложения, в панцирях и шлемах. Между ними на красной бархатной подушке восседал скуластый великан в черной куньей шапке, надвинутой на широкие черные брови. Верх шапки был украшен страусовыми перьями и рубинами.

Воловьи глаза Улусы смотрели на Гуарама с недоверием. Когда он произнес на половецком языке несколько приветственных слов, на его раздвоенном жирном подбородке зашевелился пучок редких черных волос.

При этом необыкновенно длинные ресницы Улусы дрогнули.

При входе гостей вооруженные латники вытянулись. Они поражали огромным ростом. В ушах у каждого висели большие медные серьги.

Шортай передал Улусе, что посольство царя Давида приветствует начальника над шатрами.

Улуса правой рукой быстро сдвинул свою огромную шапку к затылку, обнажив приплюснутый посередине потный морщинистый лоб, на котором были видны шрамы от сабельных ударов.

Из-под оторочки шапки показались толстые уши, красные, как петушинный гребень.

Их украшали серьги величиной с ослиную подкову.

Слуги Улусы подали гостям большие засаленные чаши

и стали подносить по чинам гостей кумыс в кувшинах из китайского фарфора, разрисованных обезьянами и попугаями.

Гуарам и его свита никогда не брали в рот кумыса и из вежливости сделали по одному глотку. Эрристава Гуарама чуть не стошнило, но он сдержался и поставил чашу.

Те же слуги, что угощали приезжих кумысом, в чашки Улусы и его приближенных налили буррах.

Гуарам почувствовал запах водки, которая, как видно, примешивалась к буррау, о чем свидетельствовали покрасневшие скулы пожилых половцев.

Улуса повернулся к переводчику и, показав пальцем на эрристава Гуарама, сказал:

— Спроси твоего господина, каждый ли день в его стране восходит солнце?

Последовал ответ:

— Каждый день.

— Бывает ли у вас затмение луны?

— Иногда бывает.

— Сколько у вас царей?

— Два.

— А сколько богов?

— Един в трех лицах.

Гуарам и его спутники заметили, что при этом Шортай запутался и показывал то один палец, то три.

Улуса рассмеялся, обнажив почерневшие клыки, и снова обратился к переводчику:

— Скажи твоему господину: я не совсем понял, что ты говоришь. Если у вас три бога, то как же получается один?

Епископ Серапион получил в свое время богословское образование. Кроме того, ему по подобным вопросам часто приходилось вести диспуты с тао-кларджетским армянским духовенством. Услышав кощунственную насмешку, он с сердцем сказал Шортаю:

— У нас не три бога, а един в трех лицах. Понимаешь ли ты это, малец? Смотри, переведи слово в слово.

Шортай по-прежнему продолжал показывать то один палец, то три.

Улуса ехидно улыбался и в знак недоумения покачивал головой.

Епископ не мог успокоиться и горячо внушал Шортаю, как разъяснить половцу понятие о триничности божества и о единосущности отца, сына и святого духа.

Шортай не разбирался в тонкостях греческого языка, да

и его умственные способности не были на достаточной высоте, поэтому епископ не мог добиться толку. Новые разъяснения еще больше запутывали переводчика и укрепляли недоверие Улусы.

— Итак, выходит, что у вашего бога есть сын, следовательно, есть тоже и жена? — спросил начальник над шатрами.

— Нет, жены у него не было, — с негодованием ответил Серапион.

Улуса опять засмеялся и сказал переводчику:

— Слышу в первый раз, чтобы у кого-нибудь без жены рождались дети.

Эриставу Гуараму стало ясно, что Серапион по этому вопросу может спорить до вечера, и он мягко сказал епископу:

— Не стоит, владыка, тратить на это слова с неразумными половцами. Ум их все равно не постигает высоких вещей.

Серапион готовился пустить в ход новые аргументы, но, встретив решительное противодействие Гуарама, замолк.

Однако Улуса не хотел уgomониться.

Он показывал епископу то один палец, то три и говорил:

— Выходит, что в вашей стране один равен трем.

Серапиона взяло за живое. Он посмотрел на Гуарама, а затем принялся опять запальчиво внушать свои доводы Шортаю. Переводчик что-то долго говорил Улусе, но разрешение вопроса не сдвинулось с места.

Наконец Улуса нахлобучил на свои черные брови кунью шапку и сказал:

— Все же вы не сумели растолковать мне, какой у вас бог. Если он один, то как же может быть в трех лицах, а если их три, то не получается, что он один. Я этого не понял, и, наверное, никто этого не понимает.

Мне пришлось много об этом спорить в Шарагане с вашим монахом Тубутаем. Он тоже не разъяснил мне, как это вы трех считаете за одного.

Мне кажется, что русы и греки одержимы таким же заблуждением. Если так считать, то можно одного коня принять за троих и три золотых — за один.

Улуса немного помолчал и снова обратился к Шортаю:

— Передай им, малый, что у нас очень много богов, несметное множество овец и столько же лошадей и жен. Если хорошо иметь всего много, то зачем же иметь одного бога или только трех?

Лишь у бедняков одна лошадь, одна овца и одна жена. У мужчины должно быть всего много.

Последние слова раскрасневшийся Улуса почти прокричал.

Епископ Серапион опять долго спорил, безуспешно утверждая, что бог — это одно, а овца и лошадь — другое, но все его рассуждения не производили никакого впечатления на Улусу.

Наконец епископ безнадежно махнул рукой,

— Ну его!.. Что есть, то есть.

Опять начались расспросы через переводчика.

— В какую сторону вы кладете голову покойника при погребении?

— Подковываете ли вы лошадей?

— Подгоняете лошадей плетью или шпорами?

— Панцири у вас железные или стальные?

— Из чего вы делаете щиты — из железа, дерева или из натянутой тигровой шкуры?

— По какую сторону у вас в кибитке садится женщина?

— Вы жен похищаете или покупаете?

Получив ответы на все эти вопросы, Улуса посмотрел на эристава Гуарама и спросил:

— Какие подарки вы везете нашему хану?

Шортай стал перечислять ковры, свертки шерстяных и шелковых тканей, меха обезьяньи, куньи, лисьи и другие...

Улуса опять сдвинул шапку со лба на затылок, вытер пот и сказал:

— Хорошо... Обезьяньи меха очень хорошо. Ваша страна, вероятно, совсем недалеко от Китая. Я тоже очень люблю обезьяньи меха.

Гуарам приказал Севастию с помощью Шортая принести подарки начальнику над шатрами.

Когда Севастий и Шортай вернулись и внесли обезьяньи, лисьи, куньи и бобровые меха, в темных глазах Улусы блеснул луч удовольствия.

Он тотчас приказал угостить членов посольства бурахом и вяленой бараниной.

Затем Улуса обратился к Шортаю:

— Слушай меня хорошенько, малый. Скажи от меня нашим гостям: «Я дам вам двух всадников, которые проводят вас до Шарагана, чтобы никто не осмелился по дороге ограбить послов царя». Не забудь также сказать, что как только

я покончу с русами, сейчас же приеду сам в ханскую ставку и там их увижу.

Когда Гуарам и его люди ехали по дороге в Шараган, вокруг них еще долго стояло облако пыли от половецкой конницы, табунов и стад. Эристав Гуарам не мог оторвать глаз от бесконечного потока уходивших на запад кочевников.

Высокие мужественные люди молодецки гарцевали на откормленных конях. Гуарам успокоился, убедившись, что ни один из них не был похож на беднягу Шортая.

Шортай отстал от Севастия. Он ехал на своем муле между двумя половцами, которых отрядил Улуса, и весело лопотал с ними на родном языке.

Владелец Бечисцихе обернулся к своей свите:

— Иной раз и никуда не годный человек оказывается полезным. На наше счастье, грек Попандопуло нас не принял как радушный хозяин, а то бы я соблазнился отдыхом после трудного пути и мог бы задержаться на несколько дней в его фактории. За это время мы разминулись бы с Улусой, и нам было бы гораздо труднее добираться до Шарагана.

Половецкая конница, отряд за отрядом, шла на запад. За ней ехали женщины, скрипели нагруженные припасами кибитки и телеги, двигались табуны коней, валом валили отары овец и крупный скот.

Глаз едва мог охватить разлившийся по степной дороге поток всадников, кибиток, животных.

Долго еще слышался пронзительный скрип несмазанных колес.

В ВИНОГРАДНИКАХ НАЧАРМАГЕВИ

Как только царь Давид со своей свитой переправился через Куру, в Начармагевском замке ударили в било.

За царской свитой шла карталинская тысяча, за ней ехал триалетский эристав с семьей и домочадцами. Шествие замыкали чухчи, лагерная прислуга и обоз.

При виде развевавшегося на первой башне царского знамени сердце клдекарского эристава дрогнуло. Он вспомнил ту темную ночь, когда его схватил Джонди и привез, завернутого с головой в грубую дерюгу, в Начармагеви.

Иоанн Дукидзе ехал за Липаритом на расстоянии лошадиной шеи. Его сердце тоже сжалось.

Дорога вела в гору. Как на ладони были видны ворота Начармагевского замка. Из них выехало сто рыцарей на конях, покрытых латами.

Блеск рыцарских доспехов, сверкавших на солнце, ослепил Дукидзе. Он взглянул на приунывшего Липарита и хотел с ним заговорить, но, заметив позади себя Махару, прикусил язык.

От отряда рыцарей отделился начармагевский цихистав Георгий Чирдилели, подъехал к царю и, обнажив меч, отдал честь.

Тогда Махара огрел плетью своего коня, нахмуренный, промчался мимо Липарита и Иоанна, обогнал ехавших впереди них Кату, Дедисимеди и Гванцу и одним скачком очутился среди царской свиты.

За Махарой галопом проскакали пятьсот чухчей. Пыль от копыт лошадей поднялась облаком и осела на блестящих панцирях Липарита и Иоанна Дукидзе.

Собравшийся простой народ жадно стремился хоть разок взглянуть на царя. У дороги теснились женщины и мужчины. Каждый старался пролезть вперед, даже женщины с грудными детьми на руках с ожесточением прорывались через толпу, чтобы посмотреть на молодого царя, редко появлявшегося с открытым забралом.

Сбегались новые и новые любопытные. Раздавались возгласы, визг детей, конское ржанье и грозные окрики чухчей, которые не могли справиться с людской лавиной.

Чухчи старались оттеснить толпу, преградившую царю и его свите путь к первой башне.

Царь спокойно восседал на высоком седле, бросая милостивые взоры на рвавшихся к нему людей и беседуя с ехавшими подле Нианией Бакуриани и Джонди.

Дубы и липы, возвышавшиеся среди поля Ркони, были сплошь унизаны босыми мальчишками.

Сорванцы прыгивали с деревьев и сновали между всадниками, их красные рубашки пугали лошадей чухчей и лучников.

Щелканье плетей и предостерегающие крики царской охраны не оказывали действия.

Перед каким-нибудь отрядом вдруг пробегала ватага мальчишек в красных рубашках. Они дразнили воинов, забегали вперед, чтобы посмотреть на царя, и, взглянув, тотчас же убегали...

Сердились нахмуренные длинноусые чухчи и угрожали

шалунам плетью, но новые ватаги детей с гамом пробирались между рядами всадников, опережали свиту и, опять взглянув на царя, с веселыми криками рассыпались...

Как только Иоанн Дукидзе заметил отсутствие «безбородого сатаны», он быстро поравнялся с эриставом Липаритом и еле слышно сказал ему:

— Дай бог, эристав над эристами, вернуться нам с тобой домой из этого проклятого замка. Разве такие головы, как наши, не пропадали в начармагевской темнице?

В этот замок Баграт IV пригласил великого азнаура Вамеху Абазаидзе и целую неделю охотился с ним на оленей. Вамеху сопровождали его азнауры, и поэтому царь на охоте ничего не мог с ним сделать.

Однажды вечером, когда возвращались во дворец, построили так, что Баграт в сопровождении свиты Абазаидзе поехал вперед, а Вамеха остался позади с Варазбакуром Гамрекели.

Гамрекели пристал к гостю: давай выкупаемся в Лиахви. Было жарко, утомившийся за день Вамеха соблазнился и попался, бедняга, на удочку.

Гамрекели заставил гостя нырять ниже Цхрамуха. Тот нырял и нырял, пока не утонул.

После этого царь кольчугу и доспехи Вамехи послал через руисского епископа в Мгелцихе его матери; выразил соболезнование и прибавил к нему подарки.

Зная это происшествие в еще больших подробностях, Липарит выслушал Дукидзе, не проронив ни слова. Некоторое время он внимательно смотрел, как на Рконском поле собравшийся народ восторженно встречал своего молодого царя, затем слегка наклонился в седле и спросил Дукидзе почти шепотом:

— Почему ты так поздно приехал вчера в Липаритис-убани?

— Никак не мог отвязаться от проклятого Махары. Рати прислал из Рустави монаха Бециу. Он пробрался ко мне на рассвете в лохмотьях нищего. Я еще не успел толком расспросить его обо всем, как въехал во двор Махара и с ним двое чухчей. На левой руке у каждого сидел сокол в красной рубашке.

«Поедем, — говорит, — охотиться на журавлей, а вечером вместе отправимся в Липаритис-убани».

Махара, видно, боялся, как бы я не остался в Триалети.

Надо думать, что Махара и Кариман Сетиели что-то пронюхали.

Последнее время и царь стал на меня коситься. Ты, верно, заметил, что до отъезда в Начармагеви Махара не оставлял нас ни на минуту. Случалось, иной раз отстанет, а через минуту, глядишь, позади моего коня тут как тут это змеинное отродье.

Боюсь я, что и в Начармагеви он от нас не отвяжется.

Липарит спросил:

— Что пишет Рати?

Иоанн Дукидзе оглянулся и ответил скороговоркой:

— Он пишет: «Когда мы начнем из Зедазени наступление на Внутреннюю Картли, я пришлю к вам монаха Бецию. Вы же постарайтесь ближайшей ночью, хотя бы под предлогом охоты, бежать из Начармагеви, а то как бы рассвирепевший царь не велел вам отрубить головы».

— А из Исфагана есть вести?

— Сельджуки обещают быть заодно с нами.

— Черт бы побрал их! Столько лет эти нечестивцы кормят нас обещаниями, а толку никакого не видно. Все же, что говорил тебе посланец? Почему медлят неверные?

— Рати пишет, и на словах передал монах: «Никак не кончается междоусобие из-за престола у Бархиарока с братьями».

Варсим Вардзели и монах Козман прислали письмо царю Квирике: «Не знаем, с кем и договариваться, — то побеждает Бархиарок, то его братья Мохамед и амир Синджар».

Последний раз в мае Варсим Вардзели спросил у султана Бархиарока: «Когда же, наконец, ках-эретскому царю вторгнуться во Внутреннюю Картли?»

Султан в этот день случайно был трезв и ответил разумно: «Если и в этом году царь Давид не заплатит нам хараджи, то пусть царь Кахети Квирике договорится с эриставом Дзаганом и с тбилисским амиром и сообща овладеют Начармагеви».

Эристав Липарит некоторое время молчал, а потом произнес недовольным тоном и с запинкой:

— Хотя всему этому я не особенно верю, но возможно, что дела наши поправятся.

Не сегодня-завтра приезжает царь Георгий и императрица Мариам. Насколько мне известно, они хотят этим летом покончить дело и породнить нас с царем.

В таком случае, нам, быть может, удастся вызвать Рати из Ках-Эрети и помирить его с царем.

Как ни жесток царь Давид, но все же я не думаю, чтобы он воспротивился примирению со своим шурином, и возможно, что дела Триалетского эриставства уладятся без кровопролития.

Если все сложится хорошо и царь не наступит ногой на честь моей семьи, я постараюсь сообщить об этом Рати заранее. Ты тогда под предлогом семейных дел отправишься в Триалети, а оттуда в Рустави, и вы все — ты, Рати и наши азнауры — приедете к нам.

Придется тебе обязательно ехать самому, в письме всего не напишешь...

Триалетские азнауры, и в их числе Иоанн Дукидзе, были убеждены, что никакой родственный союз не примирит Багратидов с Орбелиани.

Такое примирение им не было даже и желательно, так как они не сомневались, что жестокий царь рано или поздно положит конец самовольству азнауров, владеющих крепостями.

Азнауры твердо верили, что настойчивый в преследовании своих целей царь Давид ни за что не выведет войска из триалетских крепостей. А если так, то какую цену будет иметь для Липарита Орбелиани титул эристава над эриставами, который он носит?

Обо всем этом Иоанн Дукидзе только подумал, а на словах поддакнул зятю:

— Бог даст, все обернется к лучшему, эристав над эриставами.

Липарит сказал:

— При всех обстоятельствах, мой Иоанн, мы должны быть очень осторожны — хитрость лисицы и отвага гепарда. Это лето покажет многое.

Ты храбрый воин, но для победы осторожность иной раз полезнее отваги.

Ты имеешь привычку говорить лишнее и, если от нее не отучишься, можешь повредить общему делу.

* * *

У первой башни Начармагевского замка царя встретил Георгий Чкондидели с семьей епископами. Владыка Георгий

доложил о приезде царя Георгия, царицы Елены и императрицы Мариам.

Местумретухуцеси провел эристава Липарита с семьей и со всеми приближенными в зеленый дарбази.

Хотя Липарит долго пробыл в заключении в начармагевской темнице, самого замка он еще не видел.

В глаза ему прежде всего бросилась роскошь дарбази, а Дедисимеди заинтересовалась мандатурами, одетыми в старинные скараманги времен царя Баграта.

Изощренный в наблюдении мелочей, ее женский глаз сразу заметил, что главный факельщик, длиннородый Сабия с особым вниманием разглядывает ее и Гванцу.

Немного выживший из ума старик даже спросил их:

— Вы не сестры?

— Нет.

— А быть может, все-таки родственницы?

— И не родственницы.

Сабия, наверное, задал бы еще какой-нибудь вопрос, но ему помешал местумретухуцеси, подошедший к Ката и доложивший, что царица Елена и императрица Мариам ожидают гостей в хрустальном дарбази.

Ката в молодости бывала в этом дарбази.

Куда делись обугленные после пожара стены, на которых, как призраки, выступали потускневшие фрески древних патриархов, князей и святых? Где канделябры с догоревшими свечами?

Стенную роспись успели обновить. Восседал на своем Куджае Баграт IV. Художник изобразил его совсем другими красками, чем на стене Гегутского дворца. Развевающаяся грива и раздутые ноздри коня были написаны с таким мастерством, что смотрящим казалось — боевой конь вот-вот заржет.

Были здесь и Нина — просветительница Грузии, царь Мириан с нимбом вокруг головы, едущий на охоту. Убегающие джейраны и преследующие их борзые казались живыми.

Баграт III и Георгий I стояли, одной рукой опершись на мечи, а другой держа маленькие, как игрушечные, церкви.

Ката была восхищена не столько фресками, сколько хрустальными подсвечниками и золотыми распятиями, украшавшими ниши в стенах.

На шкафах из дзелквы были расставлены миниатюрные слоны с рубиновыми глазами.

По стенам стояли грузинские тахты, застланные ирански-

ми архови. На них среди подушек и мутак возлежали царица Елена и императрица Мариам, окруженные епископами и седыми эриставами.

В другой части дарбази вокруг сидевшего на позолоченном кресле царя Георгия стояли, весело разговаривая, царь Давид с эриставом Джонди и Нианией Бакуриани.

Мариам посадила Дедисимеди рядом с собой, ласкала ее и гладила по голове, называя «своей девочкой».

Липариту она протянула для поцелуя белоснежную руку, спросила о здоровье, снова повернулась к Дедисимеди и заговорила с ней так, как говорят с любимыми красивыми детьми.

Все присутствовавшие обратили внимание, как матерински ласково встретила прекраснейшая из женщин дочь эристава Липарита.

Наблюдательный глаз царицы Елены первый заметил, что на лице Гванцы мелькнула легкая обида.

— Подойди-ка, подойди! — воскликнула она, обернувшись к смутившейся девушке, и мягко напомнила императрице Мариам: — Ты не узнала, Маико, нашу Гванцу, дочку эристава Шамана?

— Ох, царица, состарилась, видно, глаза стали плохо видеть.

Она поцеловала Гванцу в щеку цвета спелого персика и усадила рядом с собой по другую сторону.

Слова императрицы донеслись до слуха Давида. Он быстрым взглядом окинул трех красавиц.

Взглянув, он не мог отвести глаз и не мог решить, которая из трех прекрасней.

Картлийская осень светила сказочной красотой среди такверской и триалетской весны.

Вошел мандатур, присланный Георгием Чкондидели, и доложил царю Давиду, что получено письмо от эристава Гуарама.

Давид поспешно покинул дарбази.

Царь Георгий приказал поставить рядом со своим другое позолоченное кресло для эристава Липарита.

Он обратился к нему:

— Возблагодарим бога, мой Липарит, что все так благополучно закончилось. Ссора иногда даже укрепляет дружбу.

И я, и царица Елена сделали все, что было в наших силах, чтобы этого добиться.

Разве можно в такое время заниматься междоусобиями? Ты видишь, как все христианство объединилось против неверных сельджуков. Да сгинут месть и старая вражда! Эриставы и старейшины нашего народа должны сплотиться вокруг царского престола, чтобы дать отпор агарянам и спасти Грузию от порабощения.

Я и царица Елена рады, что наш упрямый Давид заметно переменился.

Примечаю я, что он мало-помалу остепеняется.

Эристав Липарит слушал царя Георгия, сочувственно кивая головой.

— Да, правда, царь Давид остепенился, — сказал он и добавил: — И в этом он похож на покойного царя Баграта. Я слышал от светлой памяти моего отца: в свои юные годы царь Багат был тоже неугомонным. Но время уносит с собой юношескую горячность, и взамен приходит мудрость.

Царь Георгий перебил эристава:

— Это то самое время, которое золотит листву и наливает плоды. Оно же дарует нам мудрость и выдержку.

К беседующим приблизился Иоанн Дукидзе.

Он поцеловал колено царя, и когда царь пригласил его сесть, придвинул стул на трех ножках и присел, съездившись, как белка, и моргая красными веками.

Липарит сказал:

— Я не виню царя Давида, кесарос. В нем еще кипит молодая кровь. У него избыток сил для борьбы с врагами, а сельджукский султан Бархиарок занят другими войнами и не дает царю Давиду повода с собой потягаться.

Избыток сил походит на наводнение, когда буйный поток во что бы то ни стало ищет выхода.

Это использовали клеветники и посеяли вражду между мной и царем, нашим государем.

Яснее ясного, великодушный кесарос, что я совершил тяжкий грех перед святой церковью и царским престолом, приняв мусульманскую веру. Но разве я первый это сделал?

Кахетинские цари раньше меня согрешили вероотступничеством. Ты помнишь сам, государь, как царь Ахсартан I ездил в Исфаган к султану Малик-шаху, отрекся от христианства и приобщился к сарацинской вере, за что и получил от султана Кахети.

Я совершил вероотступничество только для того, чтобы спасти от разорения свое эриставство, — только поэтому.

Мне не оставалось тогда другого выхода, государь.

Ты в это время изнемогал в борьбе с внешними врагами и от междоусобий. Царь Давид был еще совсем мал.

У кахетинского царя в крепостях сидели сельджукские лучники.

Тбилиси был в руках Бану-Джаффара.

День и ночь приставали ко мне посланные султаном Малик-шахом моллы и непрестанно твердили: «Прими веру Магомета, а не то султан пришлет саранга с войском и Алгети обагрится грузинской кровью». Этим воспользовались лазутчики и всякие злоязычные люди. Так началась моя ссора с царем Давидом.

Иоанн Дукидзе заскрипел трехногим стулом, повернул к царю Георгию свое лисье лицо и сказал:

— Если разрешишь мне, нижайшему и косноязычному, царь царей и кесарос, я напомню тебе по этому поводу одну басню...

Царь Георгий был любителем басен и благосклонно кивнул головой:

— Расскажи.

— Когда небесный царь прогнал от себя чертей и нагло закрыл все двери на небо, несколько нечистых захотели как-нибудь пробраться обратно и подслушать, о чем днем и ночью господь шепчется со своими ангелами.

Один безбородый черт сказал:

«Положитесь на меня, и вы доберетесь до неба».

Черти не поверили:

«Мы были на небе, и оттуда нас прогнали вниз, как же это мы снова туда попадем?»

«А ну-ка, соберитесь вокруг меня. Пусть один из вас заберется мне на плечи, на его плечи станет другой, на плечи другого третий, за ним четвертый и так до тысячи, и самый верхний достанет до неба своим ухом».

Так сказал безбородый черт. Черти вскарабкались друг другу на плечи, и последний из них кое-как добрался-таки до неба и стал подслушивать, о чем бог говорит с херувимами.

Тогда бог, узнав об этом, рассердился, послал на землю ангела и приказал ему дать подножку самому нижнему, безбородому черту.

Ангел выполнил приказание, и когда нижний черт свалился, то остальные тоже попадали на землю, и так рассыпалась живая лестница на небо.

Такова, наш государь, и человеческая природа.

У добра и зла один зачинщик, и на плечи его взбирается и то, и другое.

Эристава Липарит смутился, догадавшись, в кого целил Иоанн Дукидзе своей злой басней.

Однако, заметив по благодушному выражению лица царя Георгия, что до него не дошло ехидство Иоанна, Липарит не нарушил короткого раздумья царя и, подождав, спросил, получены ли гепарды и борзые из Исфагана.

При упоминании о зверях лицо царя Георгия оживилось.

Он знаком приказал дворецкому позвать Махару и ловчего.

Императрица Мариам поднялась и, обняв Дедисимеди и Гванцу, направилась к беседовавшим царю Георгию и Липариту.

Липарит и прижавшийся к стене Иоанн Дукидзе поспешно встали.

Императрица не скрывала, что очень рада состоявшемуся примирению с Липаритом, и превозносила великодушие царей, глядя при этом в полные доброты глаза своего брата.

Она говорила:

— Алексей Комнен тоже проявил истинно христианское милосердие к восставшим. Он не хотел никого казнить, но жестокий константинопольский епарх некоторым из них без ведома императора выколол глаза.

Уже давно настало время всему христианству, царю и эристам объединиться против неверных сельджуков и искоренить их злой род.

С этими словами Мариам ласково положила руку на плечо Липарита и сказала:

— Я об этом все время писала моему брату и царице Елене. Теперь осталось еще одно дело — примирение с твоим сыном.

От этих слов у Дедисимеди затрепетало сердце.

Ей очень хотелось, чтобы царь Давид сидел здесь и слышал слова императрицы.

Мариам продолжала:

— Я не раз беседовала в Гегути с моим братом и при первой возможности поговорю с моим племянником.

Георгий Чкондидели вчера мне рассказывал, как царь Давид и он из Липаритис-убани отправили в Парцхиси посланцев, которые передали и твое письмо, но Рати заупрямился.

— Да, я написал ему, — подтвердил Липарит, кивнув головой.

— Это не так важно, — продолжала Мариам, — самое главное было примириться с тобой.

Упрямство Рати — это самонадеянность молодости. Как часто молодость бывает слепа!

Рати доблестный витязь, но упрям, очень упрям. Вместо того, чтобы стоять плечом к плечу с христианскими царями и общими силами бороться с агарянами, он верит легкомысленному и жалкому царевичу Ахсартану. Хорошо запомни мои слова, Липарит: ничего они не добьются своими шашнями с сельджуками.

Для сельджуков настал судный день и в Сирии и в Месопотамии... Недавно я слышала в Константинополе, что римский папа Урбан поднимает на войну с неверными новые полчища крестоносцев.

Христианские цари и владетельные князья объявили поголовный набор. Император Комнен собирает на Балканах наемные войска. Боэмунд скоро захватит Багдад.

Напрасно Квирик и Бану-Джаффар думают, что султан Бархиарок займется их делами и пошлет им на помощь войско в Ках-Эрети. Пусть Рати меньше верит таким обещаниям.

При упоминании имени Рати дрожь охватила Дедисимеди. Липарит вспыхнул и запротестовал:

— Рати и кахетинский царь! Рати и сельджуки! Во-первых, августа, никому не известно, куда делся Рати, а с другой стороны, все знают, что я написал письмо моему сыну в Парцхиси, умоляя его помириться с царем Давидом. Он оставил крепость без пролития крови и исчез. Кто может поручиться, быть может, этого несчастного уже нет в живых!

О том, что он перешел в Ках-Эрети, нет никаких сведений.

Когда Липарит говорил это, он заметил за спиной царя Георгия Махарау.

Махара не дождался ответа императрицы Мариам и сам обратился к Липариту:

— Быть может, тебе, эристав над эристами, и неизвестно, где сейчас находится Рати, но мы... вернее, не мы, а Кариман Сетиели прекрасно знает, в котором часу он перешел границу Триалетского эриставства и когда переправился через Куру против Руставской крепости.

Злоба душила Липарита, скулы его побагровели, и он, взглянув в глаза императрице Мариам, сказал:

— Клянусь детьми, августа! Пусть подо мной падет конь, когда я буду возвращаться домой, и я утону в Куре, если я

или кто-либо из моей семьи знаем, где сейчас находится Рати.

Бросив яростный взгляд на Махару, он прибавил:

— Бог тебе судья! Вы тогда все гостили у меня, когда Рати уступил Парцхиси...

Дедисимеди освободилась из рук императрицы Мариам и подошла к креслу Каты, сидевшей рядом с царицей Еленой.

Липарит тем временем продолжал:

— Я тогда только что вернулся из Клдекарской крепости, измученный и больной. У меня не было сил переступить порог моего дарбази, и я ни разу не выезжал на охоту...

Махара посмотрел на Иоанна Дукидзе. Тот стоял как вкопанный позади Липарита, уставившись в кирпичный пол.

— Не волнуйся так, дорогой Липарит, — успокоительно сказала Мариам. — Я хорошо знаю, с какой почтительностью относится ко мне Рати, и непременно напишу ему сама...

Ласковые слова императрицы ободрили Липарита, и он с жаром воскликнул:

— Если тебя мой сын не почитает, то кого же он тогда должен почитать? Ведь ты — ангел-хранитель моей семьи, августа. Не только моей семьи, но и всей Грузии, августа. Ты — гордость и украшение всех христиан.

Липарит готов был и дальше превозносить императрицу, но чрезмерная хвала ей была неприятна.

— Если Махо знает, где сейчас Рати, тем лучше... Я напишу ему не откладывая... Почтение ко мне — еще не все, самое главное, что он правоверный христианин...

Липарит нашел минуту удобной, чтобы прибавить:

— Я бы сказал, наша императрица, не только правоверный, но даже слепо верующий Помилованный царем Давидом парцхисский гарнизон может подтвердить, как во время осады он мучил себя поясами покаяния, днем и ночью молился, постился...

— Что же, это совсем хорошо... Слепая вера христианину не укор, а наоборот, совсем наоборот...

Царь Георгий встал, подошел к императрице Мариам, погладил руку Липарита и сказал им обоим:

— Забудем старые счеты. Единственное лекарство от старой вражды и распрей — все предать забвению.

Выйдем в сад. Махо нам покажет своих ловчих птиц и гепардов. Но начнем с виноградника владыки Георгия, а затем перейдем в зверинец.

Все общество последовало в сад за царем Георгием и

императрицей Мариам. Царь Давид и Нианиа Бакуриани присоединились к гуляющим. Навстречу им вышел Георгий Чкондидели. Его ряса была усеяна колючками репейника.

— Я скучала без владыки Георгия, — сказала императрица Мариам царю Георгию, — а он, оказывается, работает в саду.

Георгий Чкондидели, снимая с платья колючки, обратился к императрице:

— Среди деревьев и трав я обретаю душевный мир, августа. Это самые скромные и безответные из божьих созданий. Когда я их поливаю, оправляю вокруг них землю, подстригаю виноградные лозы, — душа моя отдыхает.

Как-то весной мы с царем Георгием остались в осажденной сельджуками, крепости в Тао. По ночам мне снился спаленный зноем виноградник Начармагеви с засохшими листьями и источавшими слезы лозами.

Мариам с нежностью смотрела на исполинские дубы, клены, тополя, яблони и груши, поднимавшиеся за виноградником. Под их сенью прошли безмятежное детство и юность Георгия I и Баграта IV.

Виноградные лозы обвивали вековые деревья, подобно сказочным драконам. На ветвях айвы висели тяжелые гроздья. Из дупла сочился мед, который облепило множество пчел. Жужжание их наполняло виноградник.

— Истинный рай земной, — сказала Мариам.

Рядом с императрицей Мариам шли царь Георгий и Георгий Чкондидели. За ним — царь Давид, Нианиа Бакуриани, Дедисимеди и Гванца.

— В Византии виноград растет низко над землей, — продолжала императрица, — его расхищают черепахи, ежи, кроты, и на него набрасываются насекомые. Лучше всего пускать лозы по грузинскому способу на деревья.

Царь Давид шел между Дедисимеди и Гванцей. Куропалатиса Мелита вдруг увлеклась красотой Гванцы и приставала ко всем, расточая ей похвалы.

Гванца не понимала по-гречески, а Мелита по-грузински знала только два слова — «генацвале» и «макоце».

* * *

Она схватила одной рукой Нианию Бакуриани, а другой Гванцу и беззастенчиво сказала рыцарю:

— Если бы я была таким красивым молодцом, как ты, Нианиа, я похитила бы Гванцу, как водится у вас в Грузии.

— Что она говорит? — спросила Гванца, смутно догадываясь, что куропалатиса сболтнула что-то лишнее.

Нианиа сделал вольный перевод:

— Куропалатиса Мелита находит, что Гванца красивая девушка.

Гванце было ясно, что перевод неверный и сказано было совсем другое.

— Ах, когда женщина хвалит женщину, то редко от чистого сердца, — сказала она. — Обычно это вызывается лестью или чрезмерной любезностью, между которыми только один шаг. Не правда ли, Нианиа?

Куропалатиса щебетала без умолку.

— Вот если бы императрица взяла Гванцу в Константинополь! Прекрасная Гванца, ты поехала бы к нам? — спрашивала она, глядя девушку по щеке. — Если ты появишься в Буколеоне, все светлейшие куропалаты разведутся со своими женами.

Как ты хороша, Гванца! Я теперь понимаю, почему Язон похитил девушку из Колхиды — Медею. Грузинки — самые красивые женщины в мире. Взгляните только на нашу императрицу Мариам! А какие у вас живописные горы, сколько солнца, сколько света!

Нианиа Бакуриани невозмутимо выслушал гречанку и сказал:

— Я не люблю, когда чужестранцы хвалят красоту грузинской природы или грузинских женщин.

— Почему же? — спросила Мелита.

— Посетивших впервые Грузию прежде всего должна удивлять отвага нашего народа. Красота наших гор не зависит от нас, и думаю, что красота наших женщин тоже не наша заслуга. Мне кажется, что заслуга грузин в том, что мы сохранили эту прекрасную страну.

Известно ли тебе, что дикие орды, хлынувшие из-за Каспийского моря, сначала бились с нашим народом и с нашими горами и, изнемогши, поворачивали к вам?

Дедисимеди тоже была не сильна в греческом и ежеминутно спрашивала, о чем говорит куропалатиса Мелита.

Когда Давид перевел ей разговор, девушка сказала:

— Не нравится мне эта женщина, государь. Мне кажется, что женщинам и детям не пристало много говорить. Я не

могу понять, почему наша прекрасная императрица возит с собой эту болтушку.

— На это я тебе скажу, душа моя: таков закон природы... Урод льнет к красавцу, порок — к добродетели, глупец ищет общества мудрых, болтун выбирает молчаливых и трус — героев.

У моей тетки, как у некоторых красавиц, не хватает твердости характера, которой обладают в избытке непривлекательные женщины и бездарные писаки.

Всемогущий наделяет талантами очень скупо. Одного он никогда не одаривает всем.

Если бы он дал орлу сладкозвучный голос соловья, орел не был бы грозным и могучим царем птиц.

Нежность и мощь плохо уживаются.

Они шли некоторое время молча под сенью отягощенных плодов деревьев.

Давид сорвал с ветки душистый персик и протянул его девушке.

Снова раздался голос Мелиты.

Дедисимеди сказала:

— Уж слишком хвалит куропалатиса Гванцу. Наверное, Гванце это неприятно.

Царь ответил:

— Я считаю, что безупречная красота, душевная или телесная, не нуждается в восхвалении. Если человек жаждет похвалы, это значит, что он боится услышать хулу, так как хорошо сознает, что он ее заслуживает. Льстивые речи ласкают слух того, кто стремится скрыть от окружающих свое ничтожество.

Именно поэтому слабые византийские императоры и порочные сельджукские султаны окружали себя сворой льстецов.

Императрица Мариам и эристав Липарит ушли вперед, оставив царя Георгия в виноградной беседке, где он увлекся беседой с Георгием Чкондидели.

Взоры императрицы с молчаливой лаской обращались к окружавшим ее начармагевским миндалям, персикам, инжирам, раскидистым орехам и гибким гранатам.

Ветерок шелестел в зелени.

Императрица дивилась и радовалась: как успели разрастись ее любимые деревья!

Перед ней проносились картины ее беззаботного детства,

и ей казалось, что оно было вчера, что вчера она бегала под этими орехами, персиками и инжирами.

Как будто одно мгновение отделяло ее от той поры, когда из этого сада и из этого дворца царевну Мариам вместе с ее куклами привезли в золоченые палаты Буколеона.

Эристава Липарита снедало иное пламя.

Он волновался и беспокойно поводил глазами, страстно желая улучшить время для разговора с императрицей с глазу на глаз, чтобы распутать клубок слишком уж запутавшихся дел и Триалетского эриставства и своей семьи.

Гости разбрелись группами по аллеям.

До слуха Липарита и Мариам доносились то громкий хохот царя Георгия, то смех куропалатисы Мелиты. Среди зелени вдруг мелькнула голова Махары, подмигивавшего Ниянии Бакуриани и Джонди. Он брал в руку ужей и подбрасывал их в воздух.

Мелита испуганно вскрикивала, потому что не отличала ужа от гадюки.

То показывалась мохнатая голова главного садовника, то лысина Цинцилука.

Наконец запущенная аллея привела Мариам и Липарита к громадному ореху, вокруг которого были устроены скамьи.

— Я устала, эристав над эриставами. Отдохнем под этим прекрасным деревом, — сказала Мариам и опустила на скамью.

— Сколько раз я здесь рвала ореховые цветы! Я их раскладывала вокруг себя, называла маленькими цыплятами, собирала их, гладила и ухаживала за ними.

Ах, как мало нужно для радости ребенку и как ненасытно сердце взрослого человека!

Гранатовые цветы были моими куклами, разодетыми в красные шелковые платья.

Как я их любила, как любовалась ими!..

Из Грузии я увезла на чужбину тоску по ореховым и гранатовым цветам.

Боже мой, боже!.. Человек бывает по-настоящему счастлив лишь в детстве.

Человеческое сердце в одном напоминает мне спаржу. Весной оно нежно и чувствительно, но лишь только рассудок возьмет над ним верх, оно становится грубым, как старая спаржа.

Липарит заговорил:

— А у меня и детство было несладкое, императрица.

Мне не минуло еще семи лет, когда мой отец не поладил с покойным царем Багратам.

За распрей царя с эриставом последовали бедствия для всей страны — с востока на нас напали сельджуки и с запада — греки.

Дед мой Липарит и отец Иван были взяты в плен Сулой Калмахели. Оставаться в Триалети стало опасным. Покойная моя мать отвезла меня к кахетинскому царю в Хорнабуджи. Там я заболел желтухой и меня перевезли в Бочорму, а из Бочормы в Руставскую крепость. Здесь я схватил лихорадку. Так таскали меня, как котенка, туда и сюда.

Нас учат, что бог благословил всякий возраст, но люди обычно полагают, что старость менее приятна, чем юность и зрелые годы. А между тем, старость — это просветление ума и успокоение страстей.

Старость — это сбор созревшего винограда, а юность — зеленый виноград. Все, кроме смерти, в человеческом жребии имеет свою прелесть, августа.

У меня же и старость теперь отравлена... Омрачена она, как ты это видишь твоими ясными глазами, августа.

Свет глаз моих, мой сын, исчез без вести, а моя единственная дочь...

Липарит заранее рассчитал свою речь, чтобы разжалобить императрицу. Вдруг в самый этот момент в листве деревьев показалась голова ловчего. Он доложил императрице и эриставу:

— Царь Георгий приглашает вас к загонам в зверинец.

Императрица встала и направилась к загонам. Липарит досадовал на неожиданную помеху, но ловчий удалился, и Мариам, идя по аллее, продолжала беседу.

— Ты еще не успел мне всего сказать, эристав над эристами, а я уже знала, чем ты закончишь. Бог свидетель, что на этот раз цель моего приезда в Грузию — это довести до определенного конца отношения твоей дочери и моего племянника.

Ты, конечно, помнишь, сколько неприятностей мне доставили дела твоей семьи, когда мы все были в Кутаиси.

Не скрою, что и теперь на сердце моем еще лежит некоторая тяжесть из-за того, что бывшая царица Русудан постриглась в монахини.

Тебе должно быть также известно, что без моего содействия не удалось бы уломать кутаисского архиепископа.

— Это правда, — смиренно согласился Липарит.

— Наверное, ты помнишь и то, что заупрямившийся старик уцепился за Номоканон. Наконец архиепископа мы кое-как одолели. Бывшая царица Русудан приняла постриг в Сохастери. Тогда вдруг жена твоя Ката начинает колебаться.

То она говорит: подождем, пока Рати выздоровеет, то зовет нас в Триалети, чтобы устроить обручение в Липаритисубани.

Напрасно напоминать тебе все эти подробности, эристав над эристами. Несомненно одно, что ты, твоя жена и твой сын Рати поступали так, точно заранее сговорились испортить жизнь невинного ангела вашей семьи.

Тебе, разумеется, понятно, кого я здесь имею в виду.

Должно быть тебе понятным и то, что я, родная тетка, не могу запретить моему обожаемому племяннику быть осторожным.

Уж этого я никак не могу сделать. Как ты думаешь?

— Ты, конечно, права, — вынужден был ответить Липарит.

Разговор принял неожиданный для него неприятный оборот, и он шел по аллее понуриив голову.

А императрица продолжала:

— В этом случае царю Давиду приходилось быть не только влюбленным, но и царем, и достойным сыном своей родины.

У меня женское сердце и к тому же, мне кажется, я не настолько неделикатна, чтобы напоминать о неприятных вещах. Ты с этим согласен, эристав над эристами?

— Верно, — подтвердил Липарит.

— Но, как это мне ни тяжело, я не могу не напомнить тебе о странном поведении Рати, когда он гостил в Гегути. То он пытался обвинить царя Давида и Махару в том, что они нарочно подсунули ему половецкую лошадь Сквитию, чтобы она его изувечила.

А разве сам ты не видел своими глазами, как Рати, не спросив никого, вскочил на эту сумасшедшую кобылу?

Затем царь устраивает для потехи гостей поло, и вот Рати во время игры так размахнулся, что ушиб руку хозяину. Ты, конечно, помнишь этот случай?

Я не могла поверить, что Рати ведет переписку с сельджукским султаном, пока собственными глазами не прочла эпистолу султана и письмо Варсима Вардзели.

Одно место из эпистолы я помню наизусть:

«До нашего слуха дошло, что амир Липарит, вместо то-

го, чтобы исполнить обещанное, снова примирился с царем Давидом и принял должность военачальника царских войск. Сказано мудрым: «Да не пожелает никто принять сторону зла, ибо гуся убили за то, что он водил дружбу с вороном, и перепела постигла смерть потому, что он расхаживал рядом с этой черной птицей».

Липарита бросило в жар, но он попытался изобразить недоумение:

— Эпистола султана? Что за эпистола, августа?!

— Написанная по-арабски и тайно присланная Варсимом Вардзели в Кутаисский замок.

— Все это дело рук Махары, августа.

— Что ты говоришь, эристав над эристами! Допустим, Махара может кое-как разобрать написанное по-арабски, но пишут по-арабски, и то с трудом, только арабские книжники. Тебе это должно быть известно лучше, чем мне.

— Откуда эта эпистола? Кто ее получил и кто тебе показал?

— Я не имею права тебе это сообщить.

Липарит передернул плечами.

В его воображении мелькнула тень монаха Козмана, но он продолжал упорствовать.

— Первый раз слышу.

Мариам продолжала:

— Султану Малик-шаху было неприятно узнать, что амир Липарит обещал свою дочь в супруги царю Давиду.

Тогда же мне показали письмо Варсима Вардзели, в котором я прочла:

«Что же касается же■■■■ия, высказанного сыном Липарита Рати в его последнем письме, о том, чтобы породниться с Бархиароком, — сын султана приказал мне передать в ответ, что и в этом деле многое будет зависеть от обращения амира и дочери его в истинную веру...»

Нет никаких сомнений, что ты хотел, чтобы твоя дочь изменила христианству. Или это выдумка Махары?

Наконец, что ты скажешь о скороходах, постоянно сновавших между Липаритис-убани и Исфаганским дворцом? А твое обращение в мусульманство? Что ж, и это придумал Махо? Возможно ли, мой дорогой, чтобы все твои вольные и невольные прегрешения валились на несчастного Махара.

Вот в кратких словах все, что послужило причиной твоего заточения. Я вовсе не хотела, чтобы эти неприятные факты всплыли в нашей памяти.

Правда, все это кануло в прошлое, но, к сожалению, я не могу быть уверена, что и сейчас не возникнет какое-нибудь препятствие по вине твоей семьи или, точнее, твоего сына.

Я имею в виду бегство Рати в Ках-Эрети или, другими словами, к врагам царя Давида.

Тут Липарит не выдержал. Он остановился и воскликнул:

— Значит, ты не веришь моей клятве, августа?

— Как не верю! Но...

— Что же тогда?

— Я повторяю: то один, то другой из твоей семьи ставит препятствие на пути счастья нашего ангела. Не так ли?

Не скрою от тебя, дорогой Липарит, я твердо решила обязательно переговорить обо всем этом с моим племянником. Но рассуди сам, могу ли я, столько испытавшая, — сначала как дочь многострадального царя, а потом как жена двух несчастливых императоров, — могу ли я забыть о том, какой опасностью грозит правителю страны хотя бы один неосторожный шаг в личной жизни? Как я могу посоветовать моему племяннику принять опрометчивое решение?

Допустим, что ты не знаешь, где сейчас находится твой сын, но ведь царь совершенно прав, считая, что кто не с ним, тот в стане его врагов.

Липарит хотел что-то сказать, но слова не шли с языка. Он остановился, затем овладел собой и пошел рядом с императрицей.

— Однажды я долго убеждала моего племянника проявить к тебе и твоему сыну великодушие и примирить вас с собой. Знаешь, что он мне ответил? Великодушие — это личина, которой часто прикрывается трусость, а порой это проявление дряблого легкомыслия. Я с ним в этом согласна, дорогой Липарит.

Несколько минут они шли по аллее молча. Императрица пристально посмотрела на побледневшего эристава. Чуткая женщина поняла, что сказанное ею оглушило Липарита, как удар грома. Поэтому она поспешила смягчить произведенное впечатление.

— Конечно, я не сомневаюсь, что ни ты, ни твоя жена Ката не знаете, где находится Рати, но никто не разубедит меня в том, что царь Давид об этом знает больше, чем проболтавшийся несчастный Махара.

Возможно даже, что царь Давид об этом знает больше всех. Ты этого не думаешь?

— Возможно, — ответил Липарит.

— Если это так, то могу ли я требовать, чтобы мой племянник пренебрег осторожностью и заботой о своем царстве?

На аллее показались шедшие навстречу императрице и эриставу царь Георгий и Георгий Чкондидели.

Заметив по лицу Липарита, что он чем-то расстроен, царь захотел его развеселить и ласково сказал клдекарскому эриставу:

— Пойдем, Липарит, мне не терпится показать тебе иеменских жеребцов и исфаганских гепардов.

ЧЕРНАЯ БАЗИЛИКА

Давид и Дедисимеди шли позади императрицы Мариам и Липарита, рядом, но не слишком близко друг к другу. Аллея пролежала вдоль ручья, пересекавшего виноградник.

Услыхав голос Липарита, царь пошел быстрее.

Беседа шедших впереди становилась оживленней, и громкий голос Липарита доносился совсем отчетливо.

Обрывков нескольких фраз было достаточно, чтобы Дедисимеди поняла, о чем идет речь. Она сразу лишилась спокойствия и шла подле Давида, как лунатик. На висках ее выступили капли пота и в просторном царстве зелени ей не хватало воздуха.

Вдруг она почувствовала, что вот-вот упадет, и беспомощная ее рука была готова схватить руку Давида. Волнение девушки не укрылось от царя. Он постарался отстать от шедших впереди, но Дедисимеди ускорила шаги, рассеянно слушая, что говорил ей Давид.

Из густой листвы вырывались то целые фразы, то отдельные слова императрицы и Липарита.

Наконец Давид взял свою спутницу за руку и помог ей перейти через ручей. Оставив аллею, они вышли из виноградника.

Глазам их открылась широкая равнина. На ней там и сям возвышались исполинские дубы, налево было здание соколятника, подле него загоны царского зверинца, а направо стояла небольшая базилика, сложенная из черного базальта. Неподалеку была другая — серая базилика, за ней, третья, и так на широком поле до самого горизонта были разбросаны одинокие церковки.

Далеко, далеко, там, где бирюзовое небо склонялось к земле, виднелись очертания высокой крепости, зубцы которой вонзались в небосвод, как огромные клыки.

Вокруг базилик толпился народ. Повсюду к деревьям и к распряженным арбам были привязаны оседланные лошади.

Издали доносилось конское ржание, мычание скота, предназначенного на убой, и рев навьюченных мулов.

— Что это за церковь, государь? — обратилась Дедисимеди к царю, показав рукой на черную базилику.

— Она зовется храмом Черной богородицы.

— Почему построили такие маленькие церкви?

— Правду сказать, я и сам этого хорошо не знаю, но слышал в детстве от Георгия Чкондидели, что их строили у нас еще в IV веке. Владыка Георгий мне рассказывал, что у народа тогда не хватало средств на сооружение больших храмов. Кроме того, опасались, как бы враги не соблазнились великолепием зданий и не осквернили алтарей. Таких базилик ты увидишь сколько хочешь в Тао-Кларджети и в Нижней, Средней и Верхней Картли.

Дедисимеди попросила царя зайти помолиться Черной богородице.

Царь хорошо знал, что стоит ему появиться в церкви, тотчас его окружают и не дадут уединиться для молитвы.

На нем был шлем без забрала. С открытым лицом и без свиты ему было неудобно показываться среди народа вдвоем с молодой девушкой.

Однако он не сказал этого Дедисимеди и ответил:

— Подождем, пока смеркнется, богомольцы тогда разойдутся и мы с тобой одни посетим Черную богородицу. А сейчас пора вернуться к гостям.

Когда они приблизились к соколятнику, оттуда вышел сокольничий в красно-желтом скараманге. На голове у него был островерхий колпак из желтого картона, на плечах пришиты бубенцы, к пяткам пристегнуты звенящие шпоры, на портупее тоже погремывали бубенцы.

Малейшее движение сокольничего сопровождалось звоном.

— Звонила, — крикнул ему Махара, — покажи-ка нам твои сокровища.

Звонила скорчил гримасу, высунул язык Махаре и затряс верхней частью туловища подобно намокшей птице, от-

ряживающей дождевые капли. Гремя шпорами и звеня бубенцами, он повел гостей в соколятник.

За Звонилой шли главный ловчий и Махара, а за ними царь Георгий, эристав Липарит, царь Давид с Нианией Бакуриани, Джонди и Шергилом Липартиани. Шествие замыкали Георгий Чкондидели и азнауры.

Дамы—императрица Мариам, Ката и куропалатиса Мелита прикрывали лица платками: им ударил в нос едкий запах птичьего помета.

Дедисимеди и Гванца, будучи любительницами ловчих птиц, не так остро воспринимали этот запах.

Нахохлившиеся птицы дремали на нашествиях — песочные, черные, белые и стальные ястреба, соколы и кречеты.

Слышался звон бубенцов. Внезапно раздавался резкий звук, подобного которому нет ни на одном языке. Его условно можно назвать птичьим чиханьем.

Хищники, почуяв приближение людей, лениво выпрастывали из-под крыльев головы, встряхивались, вытягивали шеи и таращили глаза цвета пшеницы. Сидевшие на дальних нашествиях зевали и время от времени чихали.

Здесь были ловчие птицы разных пород, недавно пойманнные и еще не выношенные, недавно выношенные годовалые соколы и уже не раз сменившие перья «капуэты».

Махара выступил вперед и с нарочитой торжественностью сказал сокольничему:

— Ну, Звонила, представь нашим гостям голубого сокола «Держи»!

Гремя бубенцами, Звонила прошел мимо нескольких нашествов и остановился перед соколом, сидевшим на высоких лапах соломенного цвета, повернув голову с желтым клювом. Глаза его были обведены коричневыми кругами, а по каштановым шее и спине выше крыльев шли черно-бурые пятна. Зоб и грудь были точно обрызганы серебром, крылья подбиты перьями цвета соломы.

Звонила чмокнул. Хищник узнал его и доверчиво сел на выставленный палец левой рукавицы.

— Вот он, гордость нашего соколятника, голубой сокол! — провозгласил Звонила и вышел из темноватого угла на освещенное место.

Гости, ожидавшие, что им действительно покажут голубую птицу, были несколько разочарованы.

Тогда Махара подошел к Звониле и, протянув соколу

большой палец, чмокнул. Ручной хищник перелетел на левую руку Махары. Тот поднес его присутствующим.

Эриставу Липариту бросились в глаза большие смарагды, сверкавшие на лапах птицы между бубенцами. Но полный злости к скопцу, он не захотел его расспрашивать.

Махара, не дожидаясь вопросов, разъяснял гостям:

— Вы, верно, думали, что этот сокол действительно голубой? Это я его так прозвал из-за навешанных на него смарагдов.

Куропалатиса Мелита захотела убедиться, что смарагды настоящие, и потянулась к лапам хищника. Сокол пригнул голову и нацелился, чтобы клюнуть дерзкую руку. Махара вовремя одернул его, но испуганная куропалатиса отпрянула, толкнув Нианию Бакуриани своими широкими бедрами.

Императрица Мариам вообще холодно относилась к охотничьим делам, к которым не приучили ее оба мужа, увлекавшиеся писанием стихов и молитвами. Но она обожала драгоценные камни и, впервые узнав, что ими украшают ловчих птиц, очень удивилась. Она не отрывала глаз от смарагдов и не могла удержаться от вопроса:

— Неужели они настоящие, Махо?

— Самые настоящие, клянусь твоим солнцем, Маико! Если не ошибаюсь, арабские.

Тем временем эристав Липарит пристально разглядывал птицу, не обращая внимания на драгоценности. Он был ошеломлен.

— Откуда у тебя этот сокол? — бесцеремонно спросил он Махару.

— Его прислал в подарок тухарисский цихистав из Шавшети. Охотники поймали его три года тому назад. Как раз в ту пору, как я слышал от людей, у Килирдж Арслана в Никее улетел такой сокол. Вот все, что я о нем знаю.

Липарит недоверчиво покачал головой.

Куропалатиса Мелита спросила у Махары по-гречески:

— Скажи, зачем же им привязывают к лапам драгоценные камни?

— Арабские халифы, сельджукские султаны и амиры украшают своих птиц рубинами, гишером, смарагдами и янтарем.

У султана Малик-шаха как-то на охоте под Багдадом улетел сокол, на котором было драгоценных камней на три тысячи дирхемов.

У сына Низама аль-Мулька, Муеида аль-Мулька, асаси-

ны украли трех ястребов, унесших на своих лапах пять тысяч дирхемов.

Липарит плохо знал по-гречески, но по упоминанию дирхемов приблизительно догадался, о чем шла речь.

Он снова взгляделся в хищника, и сердце его загорелось злобой. Пять лет назад тбилисский амир подарил ему сокола точно такого же цвета и таких же статей.

Тот сокол улетел у Липарита на травле журавлей в Шарорской долине и с тех пор исчез.

«Какая тут Никея и какой Тухариси? При чем здесь Килирдж Арслан и тухарисский цихистав?

Как могла птица, улетевшая из Никеи, очутиться в Тухариси? Кто знает, быть может, мой сокол попался Джонди и его такверцам, когда они скрывались в Триалети, и они привезли его в Начармагеви и подарили Махаре.

Ясно, что Килирдж Арслана Махара приплел ни к селу, ни к городу».

Пораженный Липарит погрузился в тяжелые мысли:

«Смарагды? Быть может, их привязал сам Махара, чтобы замести следы?»

Царь Давид отнял у Липарита крепости, а безбородый сатана присвоил его сокола.

Вслед за этим в памяти Липарита всплыло одно горькое воспоминание.

Когда Сула Калмахели и месхетцы захватили Липарита Великого и его сына Ивана, они доставили пленников к царю Баграту в Ахалкалаки. Царь сослал Липарита в Византию, и из Манглисского дворца ему привезли в дорогу меч, панцирь и сокола.

Злоба душила Липарита, и сердце его снова наполнилось ненавистью к Багратидам.

Дама одна за другой подходили к диковинной птице. Махара подносил ее совсем близко к их глазам, чтобы они могли рассмотреть сверкавшие на ее лапах драгоценные камни...

Злоба в сердце Липарита росла и росла. Рука тянулась к мечу, чтобы изрубить безбородого сатану.

В эту минуту его дружески обнял царь Георгий и сказал с ласковым радушием:

— Теперь пойдем смотреть зверей в загонах. Мне хочется показать тебе, Липарит, моих гепардов.

Липарит Орбелиани отряхнул обуревавшие его думы и покорно последовал за царем.

Со дня приезда в Начармагеви Нианиа Бакуриани искал удобного случая поговорить с императрицей Мариам, но это ему не удавалось ни до, ни после обеда.

То она беседовала с царицей Еленой и царем Георгием, то с Георгием Чкондидели или с эриставом Липаритом, то после обеда с ней не расставался оправившийся от болезни эристав Шаман.

На этот раз Ниании удалось отделаться от куропалатисы Мелиты, оставив ее с Гванцей.

Сначала Нианиа держался около Джонди и старался почаще попадаться на глаза императрице в надежде, что она подзовет его к себе.

Когда Мариам вместе с царем Георгием и эриставом Липаритом направились к загонам, Нианиа и Джонди подошли к ней совсем близко.

Императрица разглядывала исфаганских гепардов, запертых в железных клетках. Самка мирно дремала, положив голову на землю, а самец стоял, вытянувшись на упругих лапах, устремив на гостей огненный взор.

Махара открыл клетку, безбоязненно в нее вошел и заперся изнутри.

Дамы испугались. Императрица Мариам воскликнула:
— Что ты делаешь, Махо!

Эристав Липарит и Иоанн Дукидзе подошли вплотную к железной клетке со жгучим нетерпением в глазах.

Царь Георгий взял императрицу за руку и сказал:

— Не бойся, Маико, опасаться нечего: Махара приручил их к себе.

Действительно, звери встретили скопца дружелюбно.

Махара подошел к самцу и начал гладить его обеими руками за ушами. Потом он заставил подняться самку, заговорил с ней, потрепал ее по спине и тоже пощекотал за ухом.

Самка-гепард закатила глаза от удовольствия и блаженно замурлыкала, как домашняя кошка.

Когда Махара вышел из клетки, у Мариам вырвался вздох облегчения.

Она оставила Липарита с Иоанном Дукидзе и стояла между Джонди и Нианией.

Обратившись к Джонди, она милостиво ему сказала:

— О твоих странствиях, эристав, мне подробно рассказывал Георгий Чкондидели еще в Гегути. Алексею Комнену

также докладывали о твоём мужестве и подвигах Татикуса и его соратники.

• Ты показал себя истинным героем. Впрочем, от сына эристава Шамана я другого не ожидала.

Оттопыренные уши Джонди покраснели от смущения, как петушиный гребень. Он растерянно пробормотал:

— При чем тут я, императрица? Я только защищал своих, а героями в этом походе были другие.

У Ниании Бакуриани кольнуло в сердце — не потому, что императрица хвалила Джонди, а потому, что она не обратилась к нему первому.

Вообще Ниания не был удовлетворен ее обхождением с ним в Начармагеви.

Императрица с холодным безразличием, не сказав ни слова, протягивала ему руку для поцелуя, так же как она протягивала ее козлотородому Дукидзе.

Сама императрица оказалась в этот раз Ниании изменившейся — лицо ее похудело и поблекло, вместо обычной жизнерадостной приветливости оно выражало натянутое благоволение, одинаковое для старых и для молодых, для эриставов и для придворных.

Неуловимая грусть, сквозившая в ее чертах, оттенялась черным кашемиром платья.

Когда Махара водил гостей мимо клеток, в которых сидели лисы, волки и рыси, императрица страдальчески морщилась от шедшего оттуда запаха и прикладывала к носу платок. Так она некоторое время шла с молодыми эристами и потом спросила Джонди:

— Бывшая царица не болела в дороге?

— Нет, она оказалась очень выносливой, августа.

— Не напугали ли несчастную все ужасы, с которыми ей пришлось столкнуться лицом к лицу?

— Наоборот, августа. Бывшая царица проявила беспримерную твердость духа. Я боялся только, как бы она не заморилась голодом.

От мясного инокия Рипсима отказывалась, а постное мне удавалось достать очень редко. Пищей ее были несколько маслин и немного зелени, а иногда лебеда. Если она замечала во время обеда, что не хватает еды старикам и монахам, то тотчас переставала есть.

Необыкновенным смирением и поразительной стойкостью она подавала пример и малым и великим.

В страшные дни сражений с сельджуками, в дни черной

чумы и поголовного мора, когда на наших глазах смерть уносила тысячи людей, бывшая царица встречала все беды с невозмутимым спокойствием.

Уже во время нашего пребывания в Иерусалиме мне говорили монахини из ее свиты: одно только смущает душевный мир бывшей царицы — тоска по ее сыну-царевичу.

Как-то она сама мне сказала:

«Одна-единственная незажившая рана осталась от земных сует в моем сердце».

Слушая эристава Джонди, императрица часто отворачивала лицо, по которому текли слезы. Волнение ее было так велико, что она забывала их вытирать.

— В Иерусалиме бывшая царица сделала в грузинские монастыри богатые вклады золотом и драгоценными камнями. Она отслужила в нескольких церквах молебны о здравии царевича Деметре, — прибавил Джонди.

Царь Давид подошел к императрице и спросил:

— Дедисимеди не с тобой?

Джонди тотчас прекратил свой рассказ о Русудан.

Давид взял тетку за руку, и они пошли вдвоем по аллее, которая вела к оленьим загонам.

В огромной клетке метался и беспокоило бил себя хвостом по бокам лев, а львица спокойно дремала.

— Этих львов в прошлом году прислал осетинский князь, а рядом в клетке лежит олененок, подаренный анакопийским цихиставом, — объяснял царь Давид императрице.

Махара взял Мариам под руку с другой стороны.

— Оказывается, этот олененок болеет.

Мариам равнодушно смотрела на отдыхающих оленей.

Махара пригласил гостей войти в загоны, но императрица, заглянув туда, не захотела входить и продолжала свой путь по аллее.

Некоторое время Нианиа и Джонди шли за ней в молчании.

Когда они приблизились к загонам, где были дикие козы, императрица обратилась к Ниании, указав на бродившее, как тень, грациозное создание:

— Это тур или серна? Что ты скажешь, Нианиа?

— Ни то, ни другое, августа.

Нианиа пригнулся и внимательно осмотрел животное.

— Это аху, как называют их персы. У нас я не встречал таких ни на западе, ни в Кахетии, ни в Абхазии.

— Аху? — повторила императрица, разглядывая необыкновенную косулю, и воскликнула:

— Какой красотой всемогущий творец одарил свои создания, а они и не подозревают об этом.

Я вспоминаю, что видела в Хризотриклинском дворце картины, подаренные византийским императорам Сасанидами. На них изображены такие же животные, которых ты называешь «аху», Нианиа.

Но разве дано человеку передать пером или красками созданную природой красоту?

Я вам должна признаться, что не люблю тешиться животными в неволе. Мой бывший муж император Ботаниат собрал для меня в Буколеонском дворце львов, тигров, гепардов и оленей.

Ими отдаривались арабские халифы и сельджукские султаны и амиры.

Рев тосковавших зверей лишил меня сна. Я попросила императора избавить меня от этого беспокойства.

Кесарь приказал логофету-ловчему зарезать оленей, а львов, тигров и гепардов посадили на галеры и перевезли на острова.

Ботаниат не любил охоты и не ел дичины, но, живя в миру, был большим любителем мяса домашнего скота.

Вы наверное слышали его шутку, которой он обмолвился, когда его свергли с престола и постригли в монахи:

«Я не так оплакиваю корону императора, как огорчен тем, что теперь не могу есть мясо».

Он всегда твердил: «Что может быть вкуснее жареного барашка или козленка!», и часто вспоминал знаменитую строфу из Гомера, где жрец Хриз обращается с мольбой к сребролукому Аполлону:

Сминфей! Если когда я храм твой священный украсил,
Если когда пред тобой возжигал я тучные бедра
Коз и тельцов, — услышь и исполни одно мне желанье:
Слезы мои отомсти аргивянам стрелами твоими!

Мариам эту строфу из «Илиады» произнесла по-гречески и продолжала вспоминать:

— У царя Георгия Ботаниат научился по-грузински жарить шашлыки, отваривать лопатку и готовить потроха с чесноком.

Я знаю, вы оба — завятые охотники, и потому вам чуждо то, что я скажу.

Все человеческие страсти мне понятны, кроме страсти к охоте.

Можно подумать, что охотники знатного рода боятся, как бы кто не забыл, что их отдаленные предки были дикарями.

Когда вы убиваете хищных зверей, это понятно, но что вам сделали красавцы фазаны, турачи, дикие голуби, джейраны, лани или хотя бы эта прелестная косуля?..

Императрица Мариам остановилась у ворот загона и снова посмотрела на аху долгим и нежным взглядом.

— Какие точеные гишеровые копыта у этой красотки! Как лоснится ее мех! А в чудесных ее глазах я читаю изумление.

Как будто это невинное, чистое создание удивлено человеческой жестокостью.

«Что вам нужно от меня, беспомощного, кроткого и безобидного животного?»

Что я вам сделала дурного? Что я, несчастная, взяла у вас? Разве вы посеяли траву, что растет в лесу?»

О, как бессердечен и несправедлив людской род, мои молодые друзья!

Они пошли дальше. Подбежала Гванца, спросила, где Дедисимеди, и затем, взяв Джонди за руку, сказала:

— Пойдем, поищем ее.

Брат и сестра ушли на поиски.

Нианиа тщетно предлагал императрице взглянуть на пхровских медведей в клетках. Мариам отказалась наотрез и повернула к соколятнику.

Уже спустились сумерки.

Из сада доносились крики павлинов.

— Мне кажется, — задумчиво сказала Мариам, — что из всего птичьего царства одни павлины сознают красоту своего оперения.

Нианиа засмеялся:

— Я полагаю, августа, что они походят на людей, которые кичатся своей красотой, талантом или геройством и похвальба которых так же неприятна, как крик павлина.

Императрица улыбнулась.

— На этот раз, Нианиа, ты не ошибаешься. Но если сказать тебе начистоту, мужчины почти всегда кое-чем напоминают павлинов.

— Чем же именно, августа?

— Когда вы замечаете, что из-за вас страдают, вы это

относите за счет ваших совершенств и распускаете хвост, как павлины.

— Почему тебе угодно говорить со мной языком басен, августа? Я и без басен чувствую, что ты мною недовольна.

— Как это ты почувствовал? Меня это удивляет.

— Почему же?.. Неужели ты думаешь, что я без сердца, августа?..

— Все вы, мужчины, на один образец. Вы носите кольчугу не только на теле, но, по-видимому, и на сердце.

Я не виню вас за это. Мужчине необходимы хладнокровие и иногда даже бесчувственность.

Вам стоит переехать море или перейти через гору, и о том, что вы оставили за морем или за горой, у вас ничего не остается, кроме смутного воспоминания.

— Не то что о людях, даже о деревьях нельзя судить одинаково, августа. К примеру, хотя бы клен и дзельква дают в печах больше жара, чем ясень или ольха.

— Мне кажется, нам довольно говорить намеками.

— Я тоже не любитель их. Человек должен быть прямым, как копьё, не правда ли? Ты на меня обиделась, августа, но, по совести, я этого не заслужил.

— Я обиделась?

Настала очередь императрицы смутиться.

— Я не обиделась, но мне было больно. Этого, Нианиа, я не скрою. Неужели ты действительно не мог задержаться на несколько месяцев в Константинополе? Ведь за это время не только не произошло войны, но даже царь Давид не устраивал маневров.

— Я не называл причиной непременно войну, августа. Я говорил только о маневрах, назначенных в месяце святого Георгия в Шаорском ущелье.

— Но ведь их не было!

— Нам помешал необычный снегопад.

Императрица не успела ответить, потому что в этот момент подбежала запыхавшаяся Мелита.

— Что случилось? — спросила Мариам.

— Эристав Липарит не может найти Дедисимеди. Я и Гванца обошли весь сад и виноградники. Послали местумретухуцеси искать ее во дворце, но и там ее нигде не оказалось.

Императрица Мариам, сильно обеспокоенная, ускорила шаги, и все трое поспешили во дворец.

Когда царь Давид вернулся с прогулки, в Начармагевском замке все от мала до велика были на ногах. Рядом с

Катой стояли императрица Мариам и царица Елена. Липарит и царь Георгий казались озабоченными, но старались рассеять тревогу дам:

— Местумретухуцеси и Махара возьмут с собой мандатуров и снова обыщут сад и виноградники.

Липарит сказал:

— Она с малых лет любила уединяться. Когда у нас собиралось много гостей, она вдруг исчезала и мы ее находили после долгих поисков забившейся в каком-нибудь липовом дупле.

Факельщики принесли растопленное сало и начали зажигать светильники, от чего по стенам зеленого дарбази задвигались тени.

Царь Давид воспользовался этой минутой, чтобы незаметно уйти из дарбази. Узкими коридорами он вышел во двор замка.

Факельщики и мандатуры суетливо сновали во все стороны, разыскивая дочь эристава в каждом закоулке.

Гул голосов наполнил двор, здесь и там мелькали факелы и перебегали тени.

Царь вышел на аллею, которая вела к винограднику. Под большим орехом он наткнулся на трех мандатуров, державших потухшие факелы.

— Вы откуда? — спросил царь.

— Мы искали пропавшую гостью, царевич.

На лицо говорившего падала тень от ореха, но по обращению царь догадался, что это мог быть только Сабия, главный факельщик, по привычке называвший его царевичем.

— Вы не видели Махару? — спросил царь.

— Махара и эристав Джонди нас обогнали. Разве они тебе не встретились, царевич?

Сабия отпустил факельщиков, а сам последовал за царем, направившимся к виноградникам.

— Напрасно идешь туда, царевич. Мы обыскали все — и сад, и виноградники, и соколятник, и загоны. Остался только замковый двор.

Быть может, девушка забралась из любопытства в одну из башен, а если и там ее не найдем, останется искать только в Лиахви, царевич.

Давид вздрогнул от этих слов и пошел быстрее.

Сабия не решился оставить царя одного и поплелся за ним.

— Сейчас велю принести факелы. Мой факел потух, сейчас прикажу принести другой, — бормотал он.

Царь был недоволен, что его сопровождают, но ему не хотелось быть грубым и не хватило духу отослать старика назад.

Он только сказал:

— Факельщиков звать не надо.

Старик спотыкаясь шел в темноте и что-то ворчал себе под нос.

— Я наблюдал за ней сегодня вечером, царевич. Что-то девушка показалась мне невеселой.

Царю эти слова были тоже неприятны, но он, стиснув зубы, продолжал молча идти под тенью лип.

Когда аллея кончилась, показался, как на ладони, низкий виноградник. Глаза Давида напрасно искали, не мелькнет ли где человеческая тень.

С неба упала звезда.

Сабия проследил глазами ее путь и сказал:

— Что-то часто в этом году падают звезды. Видно, быть войне. Так же было в тот год, когда ты родился, царевич. Мудрые люди говорили — значит, родился у нас царь-полководец.

Царь ничего не ответил, но приостановился и тоже посмотрел в небо.

— Взгляни хорошенько на луну, царевич. Видишь, вокруг нее круги точно из потускневшего золота. Совсем такая же луна была во время великого сельджукского нашествия. И в моем календаре не видно хороших знаков, царевич.

Давид хранил молчание. Он не мог придумать, как отделаться от назойливого спутника. В другое время наивная болтовня старого мандатура его развлекла бы, а сейчас каждое слово вонзалось в сердце.

Царь понимал, что старик рад случаю с ним поговорить и потому увязался за ним.

Наконец он остановился и обернулся к главному факельщику:

— Не утомляй себя, мой Сабия, у меня болит голова, и я хочу немного пройтись.

— Это ничего. Пройтись с тобой мне только радость. Редко мы видим тебя, царевич.

Так они некоторое время шли вдвоем.

Собравшись с духом, царь сказал:

— Теперь, мой Сабия, возвращайся. Найди Махару и

скажи ему, чтобы он пришел сюда. Я буду где-нибудь здесь поблизости.

Потом он спохватился, что незачем беспокоить старого Махару, и крикнул вслед Сабии:

— Иди сам, а Махару звать не надо.

Старик остановился, хотел что-то сказать, но, потоптавшись на месте, повернул к замку.

Царь шел с непокрытой головой, ощущая на горевшем от волнения лбу прохладу вечерней сырости.

Пройдя низкий виноградник, он оказался в малом винограднике Бабиловани, где лозы были пущены по стволам плодовых деревьев. С гибких ветвей айвы, персиков и слив свисали гроздья, на кружевных тенях казавшиеся высеченными из камня.

И здесь царил невозмутимая тишина и нигде не мелькнула человеческая тень.

В большом винограднике лозы вились по огромной хурме и ореху, ниспадая на землю бросающей тень занавесью. У Давида была надежда, что именно здесь он найдет Дедисимеди. Более подходящее место для уединенных мечтаний трудно было себе представить.

Не было слышно ни шороха, и только раздавался крик одинокой совы.

Волнение царя росло. Он с силой отворил калитку и пошел по дороге, уводившей в степь.

Давид колебался: идти или нет к Черной богородице?

Хорошо зная робость Дедисимеди, он не допускал мысли, чтобы она решилась забраться в такую даль. Гванца и Лела остались во дворце, и ей некого было взять с собой.

Если она хотела помолиться, гораздо проще было осуществить это желание в дворцовой церкви.

Табун лошадей пастся, разбредшись вокруг питомника. За питомником широкие тени дубов и лип подобно буркам стлались по голому полю.

Темные силуэты базилик вырисовывались один за другим до самого горизонта.

На всем просторе безлюдной равнины нигде не шелохнулась тень человека. Крытые арбы богомольцев уже уехали, пофухли костры.

Тишину нарушал лишь вой шакалов. Плачущие голоса их показались царю зловещими. Он всматривался в пелену степи, но не мог разглядеть плакальщиков...

Царь дошел до дуба, росшего подле черной базилики.

На земле лежала черная собака, грызя кость, брошенную богомольцами.

Остановившись под дубом, Давид окинул взглядом церковный двор. На приделе висел замок, но двери базилики были открыты.

Он различил внутри храма распростертые человеческие тела. Когда он подошел ближе к дверям, то увидел, что это спящие нищие.

Давид колебался, опасаясь, что его шаги их разбудят, они поднимутся и узнают его. Уставшие люди лежали кто ничком, кто навзничь. Лунный свет падал на их лица.

Слышался храп спящих. Измученный волнением царь позавидовал их спокойствию.

Его отделяло от открытых дверей несколько шагов. В нос ему ударил удушливый запах ладана, смешанный с неприятным запахом людских испарений, какой бывает в наполненных людьми церквах.

Давид чувствовал, как гулко бьется его сердце. От волнения на лбу выступил пот. Нога не решалась переступить порог. А вдруг и здесь он ее не найдет?.. Что тогда?..

Тогда... быть может, старый Сабия каркал недаром и действительно придется продолжать поиски в Лиахви!..

Наконец он решился и вошел. Церковь тонула в полутьме. В подсвечниках еле мерцали догоравшие свечи.

Давид осмотрелся. Глаза его прежде всего заметили золотые нимбы вокруг голов святых, затем выступили на стенах фрески эриставов, опоясанных мечами.

Внимание Давида привлек суровый лик богородицы, когда-то намалеванный бездарным византийским богомазом.

Узкая голова над угловатыми плечами, черные насупленные брови, высокие грубые скулы, овальные, как маслины, глаза, заостренный нос, тонкие синие губы, почти треугольный длинный подбородок, молитвенно сложенные костлявые пальцы на отвислых грудях.

Все это вызвало у Давида отвращение.

Черная богородица показалась ему прорицательницей черной Мойры.

Давид почувствовал, что колени его вдруг ослабели. Он споткнулся о могильную плиту какого-то епископа, но сейчас же выпрямился и овладел собой.

В тот же миг он обернулся и увидел женщину под черным покрывалом, лбызавшую кирпичный пол.

Она поднимала голову, крестилась, снова касалась лбом пола. По лицу ее текли слезы.

Давид остолбенел. Женщина, охваченная молитвенным экстазом, его не замечала.

Он подошел к иконостасу, взял свечу и, подняв ее одной рукой, осветил молившуюся, а другой рукой коснулся ее плеча.

Женщина в черном вздрогнула и поспешно поднялась.

Давид спросил ее:

— Что привело тебя в эту даль, назо?

— Одиночество, государь.

КУПИДОН И МАРС

По ночам бывала приятная свежесть от перепадавших дождей. Где-то далеко, очень далеко кричал филин.

Погрохатывал гром. Зигзаги молнии вдруг озаряли купоросным светом горы, появившиеся на одно мгновение на горизонте.

Дедисимеди боялась грозы. Она часто просыпалась и подолгу лежала, прислушиваясь к нагонявшему тоску крику филина.

В окно залетали ночные бабочки и летучие мыши. Испуганная и встревоженная, она, как ребенок, заворачивалась с головой в одеяло.

Спокойный сон приходил к девушке под утро, когда солнечные лучи разливались по виноградникам и цветникам и вместе с ними пряный запах меда поднимался в темные палаты Начармагеви.

В бойницах четырех замковых башен жили дикие голуби, и после полудня во всем дворце слышно было их монотонное воркование.

Давид, молодые спасалары и гостившие во дворце азнауры тешились джигитовкой и объезжали иеменских жеребцов.

— Царствие небесное моей матери, что за неугомонный наш царевич! Никак не надоест ему джигитовать, не жалеет он ни коней, ни людей, — говорил Сабия императрице Мариам и Дедисимеди. — Это бы куда ни шло, но дивно, что самого себя он не жалеет, царствие небесное моей матери!

Прошлой зимой всего на две недели наведалься он к нам

с Георгием Чкондидели. Ни снег, ни дождь с ветром ему ни почем. Чуть свет поднимет, бывало, войско и давай джигитовать за Лиахвой.

Два раза под ним упал конь на краю утеса. Я видел это отсюда своими глазами и ужаснулся, царствие небесное моей матери!

Бог нас помиловал. Он лишь чуть поцарапал себе колени, а Ниани Бакуриани пховский жеребец сломал два ребра. Через месяц опять вернулись и того пуще замучили бедных коней.

Царствие небесное моей матери!

С малолетства я живу при царях-вояках и охотниках, но ни один не научил меня полюбить войну или охоту на зверя.

— А что ж ты любишь, мой Сабия? — спросила императрица Мариам.

— Я любил всегда только охоту на удонов или горных курочек, а еще люблю петь молитвы на сон грядущий.

Мариам рассмеялась.

— А как ты охотился на удонов, бедный Сабия?

— Царствие небесное моей матери! По мне, такая охота — лучшее дело. Удод подходит близехонько, человека не боится, далече идти за ним не надо. Ни труда, ни опасности.

Не нужно мне ни коня, ни колчана за плечами. Покрою я себя зелеными ветками, на голову надену веноч из инжировых листьев, а в руки возьму сачок на длинной палке.

Удод — птица глупая. Он себе покойненько перелетывает, приближается ко мне, а я его хоп-хоп, и он под сеткой.

Нет охоты занятней, августа. Я не шучу, царствие небесное моей матери! Даже теперь ничто меня так не волнует, как голос удода.

Как весна настанет и впервой услышу я этот голос, сердце встрепенется, точно у молодого, царствие небесное моей матери!

Императрица Мариам с удовольствием слушала болтовню бесхитростного старика.

* * *

Эристав Липарит почти ежедневно сопровождал царя и его спасаларов, ездивших смотреть отстраиваемые заново крепости Внутренней Картли.

Однажды под вечер, по пути из Двалети, все пожелали

выкупаться в Лиахви. Липарит не захотел отставать от молодых и упрямо твердил:

— Я тоже искупаюсь.

Царь попробовал отговорить старого эристава:

— Боюсь, не простудился бы ты в холодной воде.

Липарит настоял на своем. В ту же ночь он заболел горячкой.

Иоанн Дукидзе втихомолку шептал Ката:

— Это безбородый сатана сглазил эристава над эриставами.

Царь Георгий, эристав Шаман, царица Елена и императрица Мариам навещали больного.

Тем временем царь Давид осмотрел крепости Кабери, Карчхиси, Сакартлиса, Аршиса, Нули и Канда.

Гванца и куропалатиса Мелита не отставали от царской свиты и вслед за спасаларами отважно поднимались на неприступные скалы.

Императрица Мариам и Дедисимеди просиживали ночи у изголовья больного, вышивая золотой канителью халаты царю Давиду.

— Мой ангел, — сказала как-то императрица Мариам Дедисимеди, — ничего нет на свете приятней, как трудиться с любовью.

Всякий, кому удалось создать подлинно великое, трудился только так.

Лишь созданное порывом любви ласкает чувства и поражает ум. Плоды подневольного труда оскорбляют глаз, как бурьян.

Дедисимеди не увидела в иносказании скрытого смысла и продолжала вышивать, опустив голову.

Когда после обеда обитателей замка одолевал сон, Дедисимеди, как лунатик, бродила по безмолвным древним палатам.

Ей странно было видеть мандатуров в скарамангах времён царя Баграта, казавшихся выходцами из царства теней.

Больше всего удивляло Дедисимеди, что во всем штате прислуги не было ни одной женщины.

Хотя дряхлые старики без усталости терли полы, стены и потолки, в углах неизменно оставалась паутина.

Покои, расположенные во флигелях, еще не были восстановлены после пожара, и под обугленными потолками царила тьма.

Как только факельщики зажигали свечи в золотых канделябрах, сразу налетали стаями летучие мыши и носились по палатам Баграта IV.

* * *

Счастливые, светлые дни начались для Дедисимеди после того, как поздней ночью царь Давид нашел ее молящейся в черной базилике.

Некоторое время весь дворец жил этим событием, но вскоре оно забылось, потому что дамы сочли случай вполне естественным: дочь эристава захотела помолиться в уединении и потому пошла к Черной богородице, считавшейся покровительницей матерей и девушек.

Все так решили, но сердце девушки чувствовало в том, что произошло, предзнаменование, а не каприз случая.

Дедисимеди увидела перст судьбы в могучей деснице любимого, властно поднявшей ее, когда она распростерлась у ног божества.

После этого он не выпустил ее руки на всем пути от черной базилики до дворца.

Безлюдная равнина была освещена луной. Они шли не торопясь и часто останавливались под дубами.

Царь ласково с ней беседовал:

— Ведь ты не одинока, назо. Я всегда буду рядом с тобой.

Ах, как она была счастлива, когда он целовал ее ланиты, ее руки, — он, перед кем преклонялась не только она, но и вся Грузия, увидеть кого хотя бы мимолетно жаждали десятки и сотни тысяч людей.

Он, кто не мог появляться на дорогах с открытым забралом, кто с отроческих лет слыл грозой врагов отечества.

Юный царь, забывший свою юность перед лицом поверженной во прах родины, познавший «печальную мудрость» старости до того, как на голове появилась седина.

Ей были целительным утешением его слова: «Ведь ты не одинока, назо».

Она перебирала их в памяти, как четки, и они постоянно цвели в ее душе.

Но в ту же ночь, когда они еще не дошли до калитки большого виноградника, он обронил и другие слова:

«...Я ведь не принадлежу самому себе, назо...»

Он сказал ей еще больше, когда они приблизились к малому винограднику Бабиловани:

«...Знай, что я тоже порой томлюсь одиночеством. Надо уметь с ним свыкаться. Ведь в конце концов каждый одинок перед лицом своего бога, назо».

Их тени в молчании скользнули под сводом виноградных лоз. Затем он заговорил опять:

«...Я точно предводитель каравана, вступившего в пустыню. Ее горячее дыхание обжигает путников, необъятное пространство таит неведомые опасности. Караван все дальше углубляется в знойное царство песков. Сквозь раскаленный воздух предводитель видит надвигающийся смерч...

Я знаю, что наступит день, когда имя мое поднимет весь мой народ, чтобы он, обескровленный, снова обагрил родную землю своей кровью.

Возможно, что я сам сложу голову в этих боях».

Немного погодя он сказал:

«Отец постоянно упрекает меня: ты сторонись земных радостей.

Неужели поцелуй Купидона мне не желаннее окровавленного меча Марса?

Но в душе моей всевышний возжег неугасимый огонь, и не для меня наслаждения этой жизни.

Поэтому мне жаль тебя, назо. И не только тебя, но и моих мать и отца, царевича Деметре. Мне жаль всех, кто хотя мимоходом соприкоснулся со звездой моей судьбы...»

* * *

Дедисимеди хорошо видела, что в Начармагевском дворце идет двойная жизнь.

По утрам, сейчас же после завтрака, гости расходились. Одни шли в цветники, другие — в виноградники, кто — в соколятник, а молодежь увлекалась игрой в поло.

Тем временем в Гегути, Тао-Кларджети, Уплисцихе и Цагвлистави отправлялись скороходы.

Иногда приходили донесения от царских доверенных из Исфагана и Багдада.

По понедельникам в сааджокари Чкондидели принимал разных просителей. В этот день дворец осаждался толпами народа.

Напротив окон Дедисимеди и Гванцы высились башни Ркони, где жил царь Давид.

Когда Начармагевский дворец погружался в сон, было видно, как по лестнице факельщики провожали в башню Георгия Чкондидели, эристава Шамана и молодых спасаларов. Всю ночь там не гас свет.

По утрам к девушкам являлся старый Сабия с персиками и грушами на деревянном подносе.

Как-то словоохотливый Сабия проболтался:

— В башне Ркони беспрерывно заседает царский совет, судят о чем-то важном...

* * *

Эристав Липарит выздоровел.

К обедне в Руисский храм, по настоянию Махары, поехали оба царя, царица Елена, Ката, эриставы и спасалары.

Императрица Мариам и Дедисимеди остались во дворце, сославшись на усталость.

Мариам с утра не выходила из опочивальни и целый день писала письмо в Константинополь своему сыну.

Дедисимеди сидела у окна своей комнаты и вышивала золотом.

Старый Сабия поставил деревянный поднос, на котором возвышалась гора фруктов, присел у дверей и развлекал гостью своей путаной болтовней.

— Сколько годков тебе, эриставна? — спросил Сабия.

Дедисимеди улыбнулась и сказала, сколько ей лет.

— Ты родная дочь Липарита, эриставна?

— Почему тебе вздумалось это спросить, дорогой Сабия?

— Нет, правду скажи.

— Конечно, родная.

— А супруга эристава над эристрадами Ката тоже твоя родная мать?

Дедисимеди опять улыбнулась и утвердительно кивнула головой.

— Да...

Сабия замолчал. То, что ему хотелось сказать, застряло у него в горле, и только беззвучно шевелились его губы.

Сабия был немного заикой, и когда заикался, веки его вздрагивали.

Дедисимеди оставила вышивание, подняла голову и спросила:

— Как это, Сабия, тебе пришли в голову такие мысли?

— Это я потому спрашиваю, эриставна, что ты не похожа ни на твоего отца, ни на твою мать. Совсем ты не похожа на эриставских дочерей. Мало ли я их перевидал в этом дворце!

Ты больше всегоходишь на богоматерь, эриставна.

Столько кротости в тебе и смирения, будто ты дочь какого-нибудь несчастного мельника.

Всех тебе жаль, перед каждым ты смиренно клонишь голову.

Разве я могу забыть, как на второй день, как приехали вы в Начармагеви, заметила ты, что на моем скараманге отура оторвалась. И что же... заметила и сказала мне, что сама пришьешь. И вправду пришила.

Какая из дочерей великих эриставов снизошла бы пришить отуру такому несчастному старику, как я?

Вот поэтому-то и сдается мне, эриставна, что ты божье дитя. Да сохранил тебя под своим покровом господь и Черная богородица!

Этих отур и скарамангов нынче не достать. Привезли их давно из Константинополя по приказу покойного царя Баграта.

Царевичу не нравятся наши византийские скараманги, но он тоже жалеет нас, старых слуг царя Баграта, и не препятствует нам их носить. А я бы хотел, чтобы и в гроб меня положили в этом скараманге.

Жалеет царевич старых мандатуров царя Баграта, а то кто бы нас держал в Начармагевском дворце?

У наших стольников трясутся руки, и часто они бьют посуду. Я сам намедни уронил горящий факел и чуть было не спалил вдругорядь Начармагевский дворец...

Какова-то у нас будет новая царица?

А вдруг будет такая, что разгонит нас всех! Святой души была бывшая царица Русудан, каждому старалась она сделать добро, но сама ты небось знаешь, что царевич, на горе нашей, с ней разошелся.

Сабия замолчал, вынул из кармана платок и обтер пот, выступивший росинками на плечи и в морщинках его лица.

Немного помолчав, старик тяжело вздохнул, потом заговорил снова:

— Скажи-ка мне, красавица, ведь ты тоже сродни Багратидам, не так ли?

Дедисимеди удержала улыбку и спросила Сабью:

— Что значит: я тоже? Кого ты разумеешь, Сабия?

— Да говорят у нас во дворце, что эта удалая Гванца кем-то приходится нашему царевичу в пятом колене.

Быть может, и ты ему сродни? Где мне знать! Если женщину спросить, то все люди на этом свете окажутся родственниками.

Дедисимеди опустила голову и, покраснев, решила на невинную ложь. Она тихо произнесла:

— Я тоже сродни...

От старости и зрение и слух у Сабии притупились. Он приложил ладонь к оттопыренному уху и спросил:

— Как ты сказала, эриставна?

— Я тоже сродни, Сабия, но не знаю, в каком колене.

Сабия покачал головой и пробормотал:

— Ох... ох... Жаль, что ты в родстве с царским домом, а то бы такая возлюбленная богом невеста пришлась бы под стать и нашему царевичу. Ох... ох... Жаль...

Как начало смеркаться, Сабия побрел созывать факельщиков.

Дедисимеди, закончив вечерние молитвы, готовилась лечь в постель. В эту минуту ей доложили:

— Императрица прислала дворецкого Цинцилука просить дочь эристава над эриставами пожаловать к ней.

Императрица Мариам сидела у стола, держа в руках свиток. Перед ней, как изваяние, стоял хранитель чернильницы.

Увидав Дедисимеди, Мариам сделала знак хранителю, чтобы он вышел. Поцеловав девушку в лоб, она, улыбаясь, сказала:

— Поздравляю тебя, моя милая.

Краска залила щеки Дедисимеди.

— Что ты разумеешь, августа?

С сияющими глазами Мариам указала на свиток.

— А ну-ка, отгадай, от кого это письмо!

От любопытства у девушки перехватило дыхание: от кого могло быть это счастливое для нее послание, зажегшее радостью глаза императрицы?

Мелькнувшие несколько мгновений показались Дедисимеди вечностью, но, сдержанная от природы, она не позволила себе проявить нетерпение.

Императрица продолжала:

— Сегодня вечером мне стало грустно, я собиралась вый-

ти погулять в винограднике, но в это время местумретахуещи привел только что прибывшего скорохода.

Имя Рати, произнесенное императрицей, привело Дедисимеди в такое волнение, что она пошатнулась и схватилась рукой за спинку кресла.

Мариам это заметила.

— Не пугайся, все будет хорошо, дорогая.

Рати мне пишет: «Раз императрица Мариам берет на себя поручительство, я явлюсь к царю Давиду с повинной головой». При этом он сообщает: «В настоящее время я немного нездоров — ушиб на охоте вывихнутую ногу, но как только поправлюсь, выеду с моими азнаурами из Рустави».

После короткой паузы императрица прибавила:

— Я недавно писала Рати, об этом знают только царь Давид и Георгий Чкондидели и больше никто.

С того времени прошло две недели. Я очень волновалась, и вот сегодня наконец пришел ответ.

Дедисимеди упала к ногам императрицы, обняла ее колени и, уткнувшись в них лицом, зарыдала, как ребенок.

— Воистину, ты ангел-хранитель нашей семьи, августа. Истомила я от горя из-за этого дела. Чего только не пришлось мне слышать от злых языков: одни шептали, что Рати бежал к султану Бархиароку, другие за верное передавали, будто он ведет на царя войска кахетинцев и сельджуков, иные — что он находится в замке тбилисского амира Бану-Джаффара и собирается с его помощью отвоевать Парцхиси.

Уже сколько лет как я между двух огней. Выходило так, точно вся семья против меня, сговорилась разрушить мое счастье.

Рассуди сама, прозорливая августа, в каком бы я очутилась положении, если бы оказалось верным, что Рати ведет на царя Давида кахетинцев и сельджуков?

С трепетом в душе ехала я в Начармагеви и ждала всего самого страшного. От кормилицы моей Хорешан я только и слышала разные ужасы.

Она перед нашим отъездом плакала напролет несколько ночей.

«Гиблое место Начармагевский замок! — причитала она. — Кто сочтет, скольких эриставов, пришедших туда с вервью покаяния на шее, задушили в этом проклятом замке Давид Куропалат и Баграт III, сын Баграта Георгий и Баграт, сын Георгия».

Даже существует, оказывается, такая поговорка: «Что ты дрожишь? Ведь тебя не вызывают в Начармагеви».

Императрица подняла девушку, вытерла слезы на ее глазах и сказала:

— Не бойся, мой ангел. Я узнала тебя в счастливый день. Пока я жива, никто не посмеет тебя обидеть.

Поверь мне, главной причиной моего теперешнего приезда в Грузию было желание развязать туго затянутый узел твоей судьбы.

Меня тронула твоя кротость и еще больше твоя безответность. Есе, что в моих силах, я готова сделать, чтобы увидеть тебя счастливой.

Недавно, говоря о тебе, старый Сабия обмолвился: «Она не похожа на дитя человеческое».

Старик сказал правду. Ты, милая, наверное, божье дитя.

Бывает в жизни, что тем, кого бог одарил редкими способностями и красотой, выпадает самая горькая доля.

Я толкую это так: в наше время всякие совершенства — красота, душевный дар или геройство — обречены на гибель.

В этом я убеждена.

Кроме того, не могу я быть безучастной к моему обожаемому племяннику. Ведь его судьба тоже сложилась несчастливо.

Наши безмозглые царедворцы и обжоры-епископы принудили его жениться на несчастной Русудан.

Бог видит, с каким глубоким уважением отношусь я к бывшей царице, но ведь с самого начала было ясно, что она не пара царю Давиду.

Достаточно того, что царь в боях не щадит своей жизни для народа. Так пусть хоть в мирные годы у него будет счастливая личная жизнь.

Наши вельможи привыкли выезжать на чужой шее. Я перед тобой — живой пример. Им почему-то взбрело на ум, что если я сделаюсь византийской императрицей, то Грузия будет спасена.

Ты знаешь, что потом случилось. Я послушалась моего отца и его визирей и пожертвовала своим счастьем без всякой пользы для моей родины.

Я не люблю верить другим тайны моей жизни, но такому ангелу, как ты, кто удержится не поведать все, что скрыто в глубине сердца.

С меня часто писали портреты византийские художники.

Должна тебе признаться, что они мне изрядно надоели. Что может дать изображение черт человеческого лица?

Разве видны на портрете душевные раны?

За всю мою жизнь я любила лишь одного человека, всего один раз, — это поймет только женщина.

Мужчины, предназначенные для деятельного и мятежного существования, неспособны любить одну. Я бы сказала, что это им не удается, несмотря на их желание.

Любить одну женщину они не могут, как бы она ни была достойна поклонения, будь она жена или любовница.

Мы же, женщины, поистине несчастны. Нравственность наложила на нас тяжкие оковы стыда. Поэтому мы принуждены наши нежнейшие чувства скрывать в тайниках сердца.

Наши мужчины, будучи христианами, имеют обыкновение порицать мусульман за многоженство. Между тем ни один мужчина, кроме разве самого жалкого раба, не удовлетворяется женой или одной любовницей.

Наш женский жребий — всю жизнь страдать от любви к одному.

Потому я и любила всю мою жизнь одного-единственного.

Сказав это, императрица замолчала.

Дедисимеди слушала молча, не смея обнаружить любопытство.

Вошел Цинцилук и спросил: не угодно ли поужинать? Получив отрицательный ответ, он удалился.

Когда Цинцилук вышел, Мариам спросила:

— Тебе, конечно, хочется узнать, кто это был?

— Конечно, — тихо ответила Дедисимеди.

— Это был Артаваз, месхетский азнаур, сын Исака Толобели.

В то лето я гостила у моего отца в Дидгорском дворце.

Царь был там с малым войском. Без войны он скучал и развлекался тем, что выезжал лошадей.

Как раз в это время гянджинский амир Фадлон имел дерзость неожиданно напасть на Тбилиси, овладел крепостью и стал лагерем в Исани.

Царь немедленно собрал картлийские войска и ночью направился к Тбилиси.

Услышав весть, что царь Баграт идет на него, Фадлон оставил Исани, ворвался во Внутреннюю Картли и предал огню и мечу весь край до Мухрани.

Наконец, на Цалкинской горе царь сразился с амиром.

Сельджуки были обращены в бегство. Царь преследовал врагов до Херки, рубя их без пощады. Натахтарские болота наполнились трупами людей и коней. Сам амир с несколькими приближенными бежал с поля битвы.

Мы с отцом отправились в Кахети и задержались в Бочормском дворце.

Тут произошло одно удивительное событие.

Какой-то кахетинский крестьянин встретил на тианетской дороге Фадлона и спросил его, кто он такой.

— Я посланец Фадлона, — ответил тот, — еду к кахетинскому царю Ахсартану обрадовать его доброй вестью: мы разбили царя Баграта и обратили его в бегство.

Этому крестьянину приходилось бывать в Гяндже. Он узнал встречного и сказал:

— Нет, ты не посланец Фадлона. Ты — сам амир над амирами Фадлон.

Тут амир стал его упрашивать:

— Возьми с меня сколько хочешь золота и серебра, но только не выдавай. Выведи меня на равнину, и поедем вместе.

Крестьянин ответил:

— Об этом меня не проси, я не предатель моей родины. Он доставил амира к Исаку Толобели.

Исак и его сын Артаваз привезли пленника к кахетинскому царю Ахсартану I.

Хотя Ахсартан сам незадолго до того перешел в мусульманство и был всегда на стороне врагов Грузии и против царя Баграта, но на этот раз он испугался моего отца и велел Артавазу отвезти связанного Фадлона к царю Баграту в Бочормский дворец.

Пока я жива, наверное, никогда не забуду того дня. Отец мой и я, еще не одевшись к выходу, сидели утром на балконе Бочормского дворца. Видим, местумретухуцеси вводит во двор рыцаря в панцире и с ним великана в чалме, привязанного веревками к ослу.

Ноги этого всадника подметали пыль на дороге. Я не смогла удержать улыбку.

Рыцарь приблизился к нам, поцеловал колено царя и, подойдя ко мне, на почтительном расстоянии опустил на одно колено.

Это был мужественный красавец, подобного которому я не видала ни в Византии, ни на родине.

Широкий в плечах, с могучей шеей, высоко поднимавшей

голову. У него был орлиный взгляд и удивительные брови — они настолько выступали вперед, что тень их густого размета падала ему на прекрасные синие очи.

Ты знаешь, на кого он был похож?

Дедисимеди вопросительно взглянула на императрицу.

— На Нианию Бакуриани, — тихо произнесла Мариам.

На мгновение она замолчала, затем стала рассказывать дальше:

— Анна Комнен читала мне когда-то «Симфозион» Платона. По его учению, души умерших вселяются во вновь родившихся и таким образом возвращаются на землю.

Когда мы умираем, душа, покинувшая наше тело, снова воплощается и появляется на нашей планете в образе другого человека.

Если это правда, то я готова поверить, что в образе Ниании Бакуриани возродился Артаваз Толобели.

Целую неделю Артаваз гостил у нас в Бочормском дворце.

Я выбирала минуту, чтобы упасть на колени перед отцом и умолить его дать мне разрешение развестись с императором Михаилом Дука и быть хотя бы рабыней Артаваза Толобели.

Матери моей уже не было в живых, а отец, как бы он ни был ласков, никогда не поймет сердца дочери.

Несколько раз я пыталась начать разговор, но от волнения не могла вымолвить слова.

Сходство между Артавазом и Нианией было не только во внешности.

Остроумный, неутомимый и бесстрашный витязь, он сопровождал царя Баграта во многих походах. Отец мой его высоко ценил и собирался пожаловать ему спасаларство, но в сражении под Агарой, когда Артаваз с поднятым мечом мчался впереди тысячи конников на врага, под ним был убит конь и он сам остался на месте.

Мариам глубоко вздохнула.

— Так, моя милая, на этом свете Купидон и Марс враждуют друг с другом...

Сейчас важнее всего добиться примирения с твоим братом. Правду сказать, я очень волновалась до получения его письма, хорошо зная, какой он упрямец. Ты сама отлично помнишь, сколько тревог он нам доставил, когда мы гостили в Кутаисском замке.

Для Рати совсем не так просто согласиться прийти к царю с повинной.

Как видно, царь Квирике и его племянник Ахсартан, тбилисский амир Бану-Джаффар и эристав Дзаган потеряли всякую надежду на сельджуков, а то бы они ни за что не выпустили Рати и его азнауров из Руставской крепости.

Теперь я твердо верю, что доставивший мне в жизни столько горя бог войны Марс на этот раз не станет на пути твоего счастья...

* * *

Уже совсем поздно вернулись в Начармагеви оба царя, эриставы и спасалары.

Мариам их обрадовала вестью, полученной из Руставской крепости.

Ужин затянулся.

Царь Георгий, эристав Липарит, царица и императрица обсуждали счастливое событие.

Царь Георгий не скрывал своего восторга:

— Рати истинный рыцарь, я от него другого и не ожидал. Как можно было поверить, чтобы Рати Орбелиани в эти судные для сельджуков дни мог поднять меч против христианских царей и оказаться в стане богопротивных извергов.

Георгий Чкондидели разделял мнение царя Давида:

— Несомненно, Рати потерял надежду на помощь сельджуков и поэтому идет на мировую.

Руставские вести животворно подействовали на Липарита.

Одетый в парадную кабаджубу, он красноречиво беседовал за столом, с удовольствием попивая мухранское вино.

Императрице Мариам даже показалось, что клдекарский эристав сразу помолодел.

Когда Махара завел речь об охоте, Липарит стал настойчиво его просить:

— Продай или подари мне голубого сокола, я дам тебе за него пять лучших жеребцов шихнийской породы.

И добавил:

— Только, Махо, он совсем не такой статистый, как ты думаешь.

Это заявление возмутило Махару. Он принялся доказывать, что голубой сокол — царь над всеми ловчими птицами и он его не уступит не только за пятерых, но даже за целый табун жеребцов.

Скопец не унимался и без усталости расхваливал своего любимца.

— Человек человеку рознь, мужчина—мужчине, сокол—соколу и конь—коню. Вот у меня был небольшой конь, его подо мной убили проклятые сельджуки в Манцикертском сражении. Он понимал человеческое слово куда лучше, чем хотя бы сокольник Звонила.

Каждый день я твержу Звониле—когда птица сидит у тебя на левой руке, нельзя ее гладить снизу вверх, от живота к клюву. Так нет же, он обязательно посадит голубого сокола на руку и давай его гладить как раз так!

Когда я собираюсь на охоту, у моего голубого сокола сердце бьется точь-в-точь как у меня.

Был у меня как-то сокол стального цвета, гордый, крупный, но по статям он походил скорее на коршуна, чем на сокола. Я любил его больше всего за красоту оперения, но он был лентяй и бездельник, только и знал есть да зевать.

Как вылетит перепел или куропатка, он повернется ко мне и удивленно на меня смотрит.

Поэтому я часто себе говорю: величественная наружность человека нередко оказывается обманчивой. То же самое бывает и с красным словом: правды в красно сложенном слове иногда куда меньше, чем в речи с запинками.

В широковещательном законе тоже иной раз кривда преобладает над правдой.

Чтобы угодить детям и женщинам, наши художники изображают героев великанами, а в жизни случается, что герои бывают небольшого роста и невзрачные.

Невелик был мой покойный отец Баграт. Мне часто приходилось видеть его в бане без пышных царских одежд, придававших ему величественную осанку.

— Геройство—высший дар, так же как писательство или дар живописи,—вставил свое слово эристав Шаман.—Герою необходимы ценители и хвала. Если окружающие и близкие не понимают героя, уделом его становится одиночество.

* * *

Жизнь Начармагевского дворца потекла торжественно. Императрица Мариам на следующий же день собрала в зеленом дарбази царя Георгия, царицу Елену, Липарита с женой и эристава Шамана, никозского и руисского епископов и объявила им:

— Все препятствия уже позади, и нам пора начать приготовления к свадьбе.

При этих словах на глазах Каты выступили слезы.

— Довольно откладывать, — продолжала Мариам, — бедные дети и так истомились. Слава богу, что все хорошо уладилось. С этого дня Кура уже не будет отделять Внутреннюю Картли от Триалетского эриставства. Хвала господу, что положен конец вековой вражде Багратидов и Орбелиани.

Я счастлива, что присутствую при этом радостном событии не только как свидетельница, но и как участница. Да, именно так, ибо в это дело я вложила мою любовь к обоим семействам.

Пора исцелиться Грузии от междоусобных раздоров.

— Воистину, воистину, — в один голос ответили старики, а Мариам продолжала:

— Я ежедневно жду Рати. Он — рыцарь и не позволит себе нарушить слово, данное женщине.

— Что ты говоришь, августа! — воскликнула Ката.

Липарит сказал:

— Я сейчас же пошлю Иоанна Дукидзе в Липаритисубани за списком приданого. Надеюсь, что мы там и отпразднуем свадьбу в твоём присутствии, благодатная августа.

— Конечно, эристав над эриставами, но сначала в Начармагеви отпразднуем обручение, хотя бы в храме Черной богородицы, которую, как видно, чтит Дедисимеди, — сказала Мариам.

— А почему бы не в Руисском храме? — спросил руисский епископ Прохор.

— Это не так важно, владыка Прохор, я думаю, что Начармагевская божья мать не менее почитаема, чем Руисская, — ответила Мариам.

Почин в свадебных приготовлениях сделал Махара.

Единственная беда была в том, что приближалась осень и соловьи мало-помалу улетали из Начармагеви. Для новобрачных не удастся приготовить блюдо из соловьиных языков.

Эристав Липарит принял хлопоты Махары за очередную шутку.

Между тем Махара и местумретухуцеси приступили к делу.

Местумретухуцеси дал приказания садовникам, поварам, кравчим, стольникам и хранителям винных запасов.

Махара похвалялся, что устроит такую свадьбу, какой не было ни у одного из венценосных Багратидов.

Императрица Мариам распорядилась, чтобы были приведены в порядок все дворцовые палаты. Из Цагвлиставского дворца привезли сенных девушек, постельниц, прачек и швей.

Из Уплисхиде были вызваны мастера — столяры и маляры, принявшиеся за спешное обновление покоев во флигелях.

Начальник над стадами пригнал в Начармагеви с эйлагов отары лучших овец. Главный конюший приказал спустить с гор отборных жеребцов и кобыл.

Известие о предстоящей свадьбе царя Давида облетело Внутреннюю Картли и Джавахети. В Начармагеви стали съезжаться епископы. Толпы монахов-странников осаждали сааджокари, где каждый понедельник Георгий Чкондидели раздавал милостыню.

На дорогах слышались ствири и соинари, шли певчие и игрецы на чанги. Весь этот люд селился в окрестных деревнях, чтобы не опоздать к свадебному пиршеству.

В Начармагевский дворец приезжали гости с дарами и поздравлениями. Местумретухуцеси сбился с ног, отводя место для ночлега и угощая необычно большое количество приезжих.

* * *

Ката больше не преследовала ревнивым взглядом каждый шаг Дедисимеди. По вечерам Дедисимеди и Давид без стеснения гуляли вдвоем.

Лишь только вечерние тени ложились вокруг Начармагевского замка, они уходили в аллеи, увитые виноградными лозами, и наслаждались уединением.

Иногда они шли к соколятнику и смотрели, как дремлют на нашествиях соколы и ястребы.

Затем направлялись к звериным загонам и терпеливо ждали, пока ветвисторогие олени, проворные гепарды, свирепые волки и урчащие медведи не прильнут к земле. Когда сон смирял беспокойно метавшихся в клетках зверей, Давид и Дедисимеди открывали плетеные ворота, выходили на аробную дорогу и в молчании шли к черной базилике.

Они неизменно посещали Черную богородицу — покровительницу матерей и девушек.

Этим же путем они возвращались, бросив прощальный

взгляд на прильнувших к земле оленей, гепардов и волков, своей неподвижностью напоминавших бронзовые изваяния.

Заканчивали они прогулку в винограднике, где под сенью густолиственных лоз Кунидон подносил влюбленным амброзию и нектар.

* * *

Махара и местумретухуцеси занялись приготовлениями к большой охоте. В течение трех дней держали впроголодь гепардов, борзых, гончих, соколов и ястребов.

Хахутай доставил из Липаритис-убани множество соколов и борзых.

В воскресенье на рассвете Звонила в полном наряде вышел во двор Начармагевского дворца и затрубил.

Это было сигналом.

Стали собираться рыцари, дамы, охотники и загонщики, сокольничие, рыбаки с сетями и капканщики.

Бой барабанов, лай собак и ржание иemenских жеребцов подняли на ноги весь замок.

К царю Давиду подошел сокольничий в желтом колпаке, пожелал ему доброго утра и удачной охоты и посадил на протянутую левую руку царя голубого сокола.

Когда оба царя и эристав Липарит вскочили на коней, соколов они посадили на шлемы. Молодым эриставам, спасаларам и дамам Хахутай роздал кожаные шапки. Сам Хахутай, подражая великим мира, водрузил на свою голову шлем, привезенный из Месопотамии.

Он шутил:

— Раз царь Давид считает меня равным царям, мне не пристало выезжать на охоту в шапке.

Кожаные шапки надели и дамы — Дедисимеди, Гванца и куролатиса Мелита.

Императрица Мариам не захотела посадить на руку ястреба.

— Я еду только посмотреть на потеху, — заявила она.

Солнце еще не взошло, когда более ста рыцарей и четыре дамы выехали на охоту.

Были взяты пятнадцать ястребов, тридцать три сокола, полсотни гончих и борзых и два гепарда, которых везли в клетках.

Бурдюки и хурджины со съестными припасами навьючи-

ли на тридцать мулов. По мухранской дороге двигалось целое полчище охотников.

Царь Давид и Дедисимеди ехали впереди. Они были так переполнены счастливой радостью, что долго не решались нарушить молчание.

Хахутай еще в Начармагеви был представлен императрице Мариам как участник крестового похода. Это его так подняло в собственных глазах, что он оставил эристава Джонди и Нианию Бакуриани, заявив, что желает сопровождать императрицу. Пустив вскачь своего коня, он догнал императрицу Мариам и эристава Липарита.

Появление «обнаглевшего пройдохи» вызвало гнев на лице Липарита, но императрица Мариам улыбнулась бывшему дьякону и пошутила:

— Нам с тобой полагается охотиться вместе, Хахутай.

— Я, как вернулся из Византии, так привык охотиться с царями, что даже не знаю, августа, смогу ли травить дичь с простыми смертными.

Мариам эта фамильярность забавляла, а Липарит совсем потемнел от гнева и огрел своего коня плетью. Иеменский жеребец вздрогнул, рванулся вперед, но его осадил опытная рука всадника. Жеребец прынул на дыбы и на мгновение замер как вкопанный.

Вструхнувший Хахутай отстал.

Мариам, оставшись вдвоем с Липаритом, сказала ему:

— Наконец нам удалось разрубить гордиев узел, эристав над эриставами. Вчера до поздней ночи у меня был разговор с моим племянником в присутствии его родителей. Поскольку примирение с твоим сыном — дело решенное, оба царя и царица Елена считают, что пора назначить день свадьбы, и назначили его на пятнадцатое сентября.

Эристав Липарит просиял, на этот раз он нежно подстегнул своего коня.

— Поистине, ты добрый гений нашей семьи, августа. Я уже находился на краю пропасти, но, как видно, я и моя семья не были обречены на гибель.

Меня и Катю поддерживала только надежда на твой приезд. После освобождения из клдекарской темницы неоднократно я был полон решимости обогреть кровью свою седину.

Должен тебе признаться, августа, что, оказывается, самоубийство — это большой подвиг. Хоть я не трусливого десятка, но на это у меня не хватило духу.

— Что ты говоришь, эристав над эристами! Храни тебя бог от таких помыслов. Как верующий христианин, ты должен знать, что ими ты тешишь сатану.

— Что только не приходило мне в голову, — продолжал Липарит. — Желая выманить у моего лекаря Шеракисдзе яд, я уверил его, что в палате Дзвелицховели не дают покоя крысы.

Не знаю, быть может, он догадался, в чем дело, но только он целый месяц меня обнадеживал, что должен получить яд из Дманиси, а потом заявил, что его обманули.

В другой раз я сделал вид, что отправляюсь на охоту. Поздно ночью простился со спавшей семьей и спозаранку один, без свиты, выехал из замка по направлению к Хулутской крепости. Там над бездонным обрывом возвышается утес...

Валит снег, валит и валит. Вот уже я у цели. Оглядываюсь назад, перед тем как дать шпоры коню и прыгнуть в пропасть... Что за притча! За своей спиной вижу Махарау и Каримана Сетиели...

Дело прошлое, не скрою от тебя, что у них на уме было совсем другое и они потому за мной погнались, — добавил, иронически улыбнувшись, Липарит.

Императрица Мариам, хотя и догадалась, все же спросила:

— А что именно они думали?

— Они, наверное, подозревали, что у меня было намерение перейти к Рати, — сказал Липарит.

В эту минуту к ним подскочил Звонила и предложил повернуть налево.

* * *

В ту же сторону уже свернули по аробной дороге уехавшие вперед Дедисимеди и Давид.

Звонила погнался коня к Махаре. Оба они поднялись на гору и там сошли с коней.

Тоже вскачь их догнали барабанщики и трубачи и расположились кольцом вокруг высокой необитаемой башни.

Липарит и Мариам с любопытством ждали, что будет дальше.

Махара стоял на горе и созывал охотников, державших наготове соколов.

Барабанщики вошли в башню и забили в барабаны.

Над башней взвилась такая масса диких голубей, что на мгновение они закрыли свет.

По знаку Махары первым пустил голубого сокола Давид. Сокол погнался за одной отбившейся стайкой и на еле зримой высоте крылом рубил птиц, как мечом. Одна за другой они падали на землю.

Затем пустила сокола цвета скалы Дедисимеди. Было пущено еще около двадцати соколов, погнавшихся за улетающими на запад голубями.

Охотники не успевали подбирать птиц с земли. Некоторые из них были сбиты замертво; подрубленных под крыло ловили, как индюшат.

Перешли еще один перевал и двинулись по равнине.

Опять остановились охотники. Лошадей передали конюхам. Здесь Махара стал готовиться к охоте на перепелов ползаски.

Дедисимеди впервые видела такую охоту. Когда легавая собака поднимала перепела, девушка неизменно опаздывала выпустить сокола.

Потом она призналась Махаре:

— Мне было жаль прелестных беспомощных птиц.

Был устроен легкий завтрак, и снова пустились в путь. Когда доехали до Ксанского ущелья, гончие вдруг заголосили в осоке. Махара не растерялся и выпустил сразу двух ястребов и трех соколов.

Настала очередь гепардов. С них сняли дори и освободили их от ошейников. Не успели гепарды настичь мчавшуюся лань, как на ее шее уже сидели ястреб и голубой сокол.

Гончие в тот день подняли тринадцать ланей. Лишь одно испортило охоту: прежде чем успевали подскочить охотники, сильно изголодавшиеся гепарды, вонзив когти в свои жертвы, уже терзали добычу.

Махаре удалось вырвать у них только пять ланей.

— Слишком ты переморил голодом гепардов, — упрекал он ловчего.

Час обеда застал охотников в окрестностях Ксанской крепости. Местумрехуцеси разбил здесь царские шатры, и главный повар начал жарить шашлыки.

В разгар обеда рог внезапно замер в руке Махары. Опытный глаз охотника заметил белого журавля, кружившего над ущельем.

Махара хвастливо воскликнул:

— Я добуду его с неба!

Сказав это, он тотчас снял должик с голубого сокола.

Императрица, несмотря на свое равнодушие к охоте, из любопытства тоже бросила обед. Она с волнением смотрела на происходящее.

С поразительной быстротой взвился в вышину голубой сокол.

Журавль, заметив преследователя, сначала повернул на юг, а потом взмыл вверх и исчез в эфире.

Все вскочили, взглядываясь в небо.

Несколько мгновений ничего не было видно.

Затем на востоке показались две еле различимые точки, двигавшиеся рядом. Белая точка устремилась вверх, но сейчас же темная оказалась еще выше.

Белая точка вдруг стала спускаться и уже настолько приблизилась, что наблюдавшие различали очертания журавля.

Преследуемая птица собрала последние силы и стрелой полетела к северу. Тогда собрал силы и сокол. Он опередил журавля и уже готовился его ударить. Журавль с головокружительной быстротой камнем пошел вниз, но сокол уже был тут как тут.

Махара вскочил на коня и помчался по ущелью Ксани. За ним поскакали главный ловчий и три охотника...

Главный повар подал шашлыки.

Эристав Липарит завел рассказ об охоте на джейранов.

— Я и покойный мой отец гнались за джейранами на конях, спускали борзых, но обгоняли их и рубили дичь шашками. У отца был конь, который мог догнать любую борзую.

Наконец вернулся Махара и положил у ног Дедисимеди белоснежного журавля, чистого, как мечта ребенка.

Дамы были растроганы зрелищем прекрасной жертвы.

— За что загубил ты несчастного журавля, Махо? Этот грех тебе вспомнится, — сказала императрица Мариам.

— Ничего, Маико, у меня столько грехов набралось за мою жизнь на этом свете, что один лишний многого не прибавит.

В ущелье стали спускаться сумерки. Облака, окутывавшие вершины Кавкасион, зарделись рубинами.

Императрица Мариам подняла золотую чашу Багратидов и выпила за здоровье царя Давида и Дедисимеди. Потом, пригубив еще, она передала чашу эриставу Липариту со словами:

— Наконец-то восторжествовал Купидон, эристав над эриставами.

Дедисимеди сидела молча, опустив голову. Она чувствовала, что эта минута — счастливейшая в ее жизни.

.

ВЕРЕНИЦА ТРЕВОЖНЫХ ВЕСТЕЙ

Рати ждали со дня на день, и поэтому императрица Мариам не отпускала царя Давида из Начармагеви, хотя Давиду очень хотелось самому посмотреть, как поправили поврежденные землетрясением стены Уплисцихе.

Семье Липарита и императрице Мариам в каждом прибывавшем скороходе мерещился посланец из Рустави.

Проговорив всю ночь с Катой и Иоанном Дукисдзе, Липарит решил: нужно, чтобы Иоанн поехал из Начармагеви в Рустави херкской дорогой, сообщил Рати о назначенной свадьбе и передал ему просьбу отца ехать без проволок в Начармагеви.

Когда Ката довела это до сведения императрицы Мариам, та посоветовала не спешить:

— Послать человека в Рустави вам никто не помешает, но я боюсь, что это не понравится царю Давиду. Рати может подумать, что это делается по внушению царя.

Подождем еще несколько дней, и если Рати не приедет, тогда пошлем Иоанна справиться о его здоровье. Иначе, сами посудите, выйдет неудобно. Если он болен, нужно выждать несколько дней. А в случае чего, Рустави от Начармагеви — не дальний свет.

Липарит согласился, что поспешность может быть дурно истолкована.

Прошло еще два дня.

Скоророды приходили и уходили.

Особенно волновалась Дедисимеди.

Одно из окон ее комнаты смотрело на херкскую дорогу, и она от него не отходила, трепеща при виде каждого всадника.

Царь Давид уверил императрицу Мариам:

— Рано утром я и Нианиа Бакуриани поедem в Уплисцихе и к вечеру возвратимся.

В тот вечер прождали царя и Нианию напрасно. Импе-

ратрица Мариам, Ката и Дедисимеди не ложились спать допоздна. Царя все не было.

Из Гегути пришел с войском Шергил Липартиани.

Когда голоса прибывших, хлопанье дверями и свист стожерей смолкли, императрица попыталась уснуть...

Ее разбудил необычно громкий разговор. Она встала и выглянула в окно.

У пристройки, где жил цихистав, были привязаны два мула. Ничего больше не было видно.

Мариам послала Цинцилука к цихиставу узнать, что случилось.

Цинцилук вернулся и доложил:

— Двое, что приехали на мулах в сельджукской одежде, желают немедленно видеть Георгия Чкондидели и требуют его разбудить.

Цихистав не решается будить владыку, из-за этого идет спор.

Мариам подумала, что приехавшие могут быть посланниками Рати, вызвала к себе цихистава и приказала ему:

— Сейчас же разбуди первого визиря.

Она вышла в коридор, где уже находились Липарит и Ката. Они тоже взволновались, услышав звук голосов, но не осмелились потревожить императрицу в ее покоях.

Наконец разбудили Георгия Чкондидели...

Появление таинственных ночных гостей нарушило спокойствие императрицы Мариам и Дедисимеди.

Стоя в темном коридоре, они смотрели через бойницы, как факельщики провели Георгия Чирдилели и двух незнакомцев в сельджукской одежде в дарбази первого визиря.

В освещенных окнах дарбази замелькали тени. Чкондидели сидел в кресле, перед ним возвышались темные фигуры двух стоявших людей, а за левым плечом визиря виднелась огромная тень цихистава Георгия Чирдилели.

Уже рассветало, надо было уходить. Скоро появятся мандатуры и увидят императрицу стоящей в коридоре и что-то высматривающей. Но ноги Мариам не двигались с места и вся она была полна желания узнать, кто мог осмелиться, явившись поздней ночью, потребовать немедленного свидания с Чкондидели. Для кого разбудили первого визиря и с кем он сейчас беседует?

Это не может быть Рати. Один из приехавших так мал ростом, что не достал бы Рати до пояса, а второй, хотя гораздо выше, но все же и ему далеко до молодого Орбелиани.

Прием незнакомцев затянулся.

Изнеможенные Мариам и Дедисимеди вернулись в дарбази, отведенный семье Орбелиани.

Липарит и Ката были также поглощены мыслями о происходящем в покоях первого визиря.

Не находя себе места, Липарит ходил взад и вперед по дарбази.

— Кто это приехал? — дрожащим голосом спросила Ката императрицу.

— Ничего не могла узнать, дорогая, — грустно ответила Мариам.

Цихистав и двое незнакомцев спустились во двор, когда свечи в дарбази Чкондидели уже были потушены.

— Отдохни, — посоветовал Липарит Мариам. — Наверное сегодня царь Давид вернется из Уплисцихе, и мы от него все узнаем.

— Как я могу уснуть, не узнав, откуда эти скороходы. Мне важно знать одно — от Рати они или нет?

Разве попросить сюда Чкондидели? Боюсь, что это неудобно. Я бы пошла к нему сама, но раннее утро — неподходящее время для посещения.

Солнце поднялось на высоту копыя.

В замке началась обычная жизнь.

Кроме императрицы Мариам и семьи Липарита, никто из гостей не знал о ночном появлении в Начармагевском дворце таинственных незнакомцев.

Императрица совсем лишилась покоя.

Она досадовала:

— Хотя бы Нианиа Бакуриани был здесь, я бы его подослала к Чкондидели.

У Дедисимеди так сильно разболелась голова, что она не могла встать с постели.

Мариам отослала завтрак нетронутым и сидела у изголовья дочери эристава, опрыскивая ее розовой эссенцией.

Потом по ее указанию были смешаны розовая вода, розовое и миндальное масло, и она впустила несколько капель в нос Дедисимеди.

— Наверное ничего особенного не произошло, — успокаивала она больную. — Просто к Георгию Чкондидели пришли лазутчики. Мы же ждем Рати и потому волнуемся. Не счесть скороходов, прибывающих по ночам в Начармагеви.

Дарбази первого визиря — не приходская церковь, куда

ходят лишь к обедне да на поминки. Ведь он глаз и ухо государства.

В последнее время у меня бессонница, а из моего окна видна лестница цихистава. Как-то за ночь я насчитала двенадцать скороходов.

Царь Давид должен вот-вот возвратиться, и я даю тебе слово, какая бы это ни была великая тайна, я ее у него выведу.

Императрица увидела проходившего в коридоре Сабия и приказала ему:

— Как только царь Давид вернется из Уплисхихе, сейчас же мне доложи.

Сабия посмотрел на нее с удивлением:

— Что ты говоришь, императрица? Царевич и Нианиа Бакуриани уже давно здесь.

— Где же они?

— Как приехали, сразу оба пошли к владыке Георгию. Доложу тебе, императрица, что своими глазами видел, как они втроем прошли туда через двор. Царствие небесное моей матери!

— Как так втроем? — спросила Мариам взволнованно.

— Царевич Давид, Нианиа и Шергил Липартиани.

— Так ли это, Сабия? Твои глаза тебя не обманули?

— Истинная правда, царствие небесное моей матери! У лестницы царевич встретился со мной нос к носу. Я с ним поздоровался, а он мне и не ответил. Не в духе, видно, наш царевич.

Сабия хотел еще что-то рассказать, но Мариам прервала его:

— Хорошо, мой Сабия, теперь иди и пошли ко мне Нианию Бакуриани, как только его увидишь.

Когда царь Давид, Нианиа Бакуриани и Шергил Липартиани вошли в дарбази великого визиря, Чкондидели стоял, читая утреннюю молитву.

Он тотчас перестал молиться, поцеловал царя в лоб и пригласил его сесть в кресло.

— Вчера поздней ночью меня разбудил цихистав, — сказал Чкондидели, кинув взгляд на Липартиани, — Чирдилели привел ко мне Ситкваи Кора и Ростоя Хоргая.

Они пробрались сюда в одежде сельджукских воинов. Им удалось вчера бежать из Зедазенской крепости. Владе-

тель Зедазени эристав Дзаган в прошлую субботу впустил к себе три тысячи сельджуков, присланных ему в помощь.

Я выяснил из допроса лазутчиков, что эти три тысячи поднялись в Зедазенскую крепость из Тбилиси и из Авчала по тропам.

— А что это за войска? — спросил царь.

— Две тысячи пеших лучников и тысяча тяжеловооруженных воинов, тоже пеших.

Лазутчикам удалось подслушать перешептывания кахетинских цихиставов — в Зедазени ждут еще четыре тысячи конников.

Царь спросил:

— А новостей из Руставской крепости они не принесли?

— Весьма важные вести я от них узнал. Руставский гарнизон тоже пополнится сельджукскими лучниками. Оттуда прибыл в Зедазени монах Беция.

Ситкваи Кора с ним подружился и кое-что у него выведал. Рати со своими азнаурами две недели тому назад покинул Рустави.

— Куда они направились, владыка Георгий? — спросил Нианиа Бакуриани.

— Этого никто не знает.

Царь сказал:

— Как видно, письмо Рати было им написано, когда его уже не было в Рустави.

— Я тоже так думаю, государь.

Царь велел немедленно привести Ситкваи Кора и Ростоя Хоргая.

Войдя и увидев царя, они преклонили колени.

Царь ободрил их ласковым взглядом и сделал знак, чтобы они приблизились.

— О том, что вы попали в плен, было нам доложено. Расскажите, что вы видели в Зедазенской крепости.

Пока косноязычный Ситкваи Кора пыжился, чтобы вымолвить слово, Ростой Хоргай опередил его и сообщил царю следующее:

— Как ведомо тебе, государь, у нас в Мухадгверди улетел сокол. Мы за ним переправились через Куру. Сделали мы это не самовольно, а так нам приказал мухадгвердский цихистав. Уже в плену мы узнали, что в этот день там же зедазенский цихистав охотился на журавля и мы ему попались, а то бы нам удалось убежать.

Нас захватили и здорово избили. А мы притворились,

будто мы рады, что попали в плен, и ругали мухадгвердского цихистава.

Эриставу Дзагану мы сказали, что переправились за соколом не спросясь.

Две недели держали нас в темнице.

Потом пришел как-то десятник Дзагана и спросил, нет ли среди нас каменщика.

Мы говорим: «Все трое каменщики».

Тогда с нас сняли оковы и поставили на работу.

Пришлось нам отстраивать Зедазенскую крепость. И тут мы отличились, потому что кахетинцы и греки работать не хотят и все делают кое-как.

Хорошей работой мы заслужили доверие. Нас под охраной двух воинов из гарнизона несколько раз посылали в Бочорму. Неделю мы поправляли тамошний дворец.

Сторожа наши часто напивались. Думали мы оттуда удрать, но не посмели и вернулись в крепость. Целый месяц среди гарнизона ходили слухи, что ждут сельджукское войско на помощь, и наконец оно появилось.

— Как же вам удалось бежать? — спросил Нианиа.

— Мы долго не решались. Вышло это так... Ночью мы украли у сельджукских лучников одежду и переоделись. Потом пробрались мимо караулов. К Куре проведены водопроводные трубы, и мы через них ползком добрались до Авчалы.

— Ведь вас забрали троих?

— Троих, государь.

— Кто же третий?

— Брат мой Гогилой.

— А что с ним?

— Гогилой ушел раньше нас. Мы так и не знаем, где он.

Когда лазутчиков вывели, царь сказал Чкондидели:

— Пусть все это будет известно только нам четверым.

Пока Липарит здесь, неудобно это дело обсуждать на совете.

Затем царь обратился к спасаларам:

— Через шесть дней жду от вас доклада, что все готово к войне.

Взглянув в глаза Георгию Чкондидели, царь продолжал:

— Шергил Липартиани скажет, что отправляется в Чкондиди, а вместо этого выйдет в Цилкани и там станет лагерем.

Нианиа Бакуриани будто направится к Таоскари и, не доходя до Херки, разобьет лагерь в Схалтба, а Джонди вместо Уплисцихе выступит со своим отрядом в Церовани и там дождется Махары.

До того, как выяснится неизбежность войны, мне выезжать из Начармагеви неудобно.

Во всяком случае мы должны быть осторожными и держаться начеку.

Давид почувствовал усталость и поднялся в свои покои в Рконской башне.

Нианиа Бакуриани тоже собирался отдохнуть, но встретившийся ему во дворе Сабия повел его к императрице Мариам.

Цинцилук был поражен, увидев столь раннего гостя.

Не меньше его недоумевал и сам гость по поводу неожиданного приглашения в такой неурочный час.

Не без волнения вошел молодой спасалар в покои императрицы.

Мариам приняла его в утреннем халате. Легкая розовая ткань не вполне скрывала просвечивающую нежную кожу цвета персика.

Нианиа заметил, что после бессонной ночи вокруг глаз императрицы выступили тончайшие морщинки, подобные ажурным следам зимородка на песке.

Хозяйка сначала учтиво осведомилась о здоровье гостя, а потом прямо ему заявила:

— Смотри, не пытайся скрыть от меня, Нианиа, что произошло этой ночью во дворце.

Ошеломленный таким вступлением рыцарь все же сразу догадался, что именно хочет узнать его собеседница.

Желая выиграть время, он помолчал, а потом сказал:

— Этой ночью? Но ведь я был в Уплисцихе, августа.

— Вот что, Нианиа, не забывай, во-первых, что я тетка твоего государя, а во-вторых, что я единственная дочь царя Баграта.

Нианиа приподнял брови и сделал вид, что не понял смысла этой фразы.

— Неужели я не знаю, августа, что ты сестра отца нашего государя и дочь покойного великого царя Баграта?

— Хорошо. Садись и рассказывай, что случилось, — сказала Мариам, указывая на кресло. — Только будь со мной искренним, Нианиа. Если это тайна, то знай, что она будет похоронена в моем сердце. Этой ночью прибыли в замок скороходы от Рати?

Нианиа обрадовался, что императрица так сузила вопрос, и ответил, выпрямив стан:

— Клянусь твоим солнцем, августа, что скороходы от Рати не было.

— Моим солнцем ты не клянись, оно для тебя дешево стоит, а лучше поклянись чем-нибудь более тебе дорогим.

— Клянусь душой моей матери, августа, что для меня не существует клятвы дороже твоего солнца.

Искушенная в мужском лицемерии, Мариам почувствовала, что рыцарь сказал это искренне.

— Кто же такие эти люди, что приехали на мулах и одеты, как сельджуки? — спросила она.

Нианиа испугался, как бы Мариам опять не заставила его клясться своим солнцем или душой его матери. Он заранее приготовился к клятвопреступлению.

— Это были скороходы из Тао.

— В Таоскари что-нибудь неблагополучно?

— Ничего особенного. Просто сельджуки усилили наблюдение за тао-кларджетской границей.

Мариам была готова задать другой вопрос: почему же скороходы были в сельджукской одежде? Но воздержалась и только спросила:

— Значит, это не скороходы Рати? Нет?

— Нет! Клянусь твоим солнцем, августа. На днях царь посылает меня в Таоскари.

От этого известия в сердце Мариам кольнуло. Она мигом представила себе, как опустеет для нее Начармагеви, когда Нианиа уедет.

Скрыв свое чувство от рыцаря, она коротко спросила:

— Когда же ты вернешься в Начармагеви?

— Когда прикажет мне мой государь. Ведь я себе не принадлежу, августа.

Мариам не хотелось отпускать гостя, но она поняла, что продолжительное пребывание молодого мужчины рано утром в покоях императрицы не совсем удобно.

Протянув руку для поцелуя, она сказала:

— Слава богу, что все благополучно.

После его ухода в сердце императрицы все же остались сомнения: уверения Ниании звучали не совсем убедительно и не рассеяли полностью ее беспокойства.

Мариам несколько раз порывалась спросить царя Давида о ночных скороходах, но боялась показаться бестактной.

Наконец, уединившись с царем Георгием, она попыталась узнать правду от него, но он пребывал в полном неведении.

— Эх, милая Маико, — сказал Георгий, — скороходы

уходят и приходят — это в порядке вещей, а горе в том, что дни наши уходят быстрее скороходов...

...Подобные философские размышления не слишком омрачали жизнь царя Георгия. С утра он уводил в марани эристава Шамана, Липарита и епископов никозского и русского.

Приказывали зарезать козленка и пробовали по очереди новые амфоры.

Царь сам раздавал гостям чаши, наполненные вином, и козлиные шашлыки, которые подносил ему главный повар.

* * *

В сердцах начармагевских дам росла тревога.

Сама царица Елена не скрывала огорчения, что нет ни Рати Орбелиани, ни вестей от него.

Однажды в разговоре с императрицей Мариам царь Давид коротко обмолвился:

— Сегодня ночью еду в Ксанскую крепость и завтра же буду дома.

Это сообщение резнуло Мариам, но тон произнесенных слов был такой твердый и при этом брови царя так строго сдвинулись, что она не посмела ему сказать: «Не уезжай!».

* * *

На следующий день Мариам и Дедисимеди сидели в опочивальне императрицы. Дедисимеди вышивала, а Мариам смотрела на херкскую дорогу.

Солнце уже клонилось к закату, когда на дороге показался человек огромного роста в красно-желтой одежде, ехавший на вороном коне.

За ним следовали два всадника в белом одеянии.

Мариам сказала Дедисимеди:

— Я уверена, милая, что этот на вороном коне, если не Рати, то его посланец.

Дедисимеди бросила вышивание, выглянула в окно и заслонила глаза рукой. Она ясно видела высокий черный тюрбан всадника, украшенный страусовыми перьями.

Она ответила Мариам:

— Своими широкими плечами он, правда, похож на Рати, но не могу понять, почему у него страусовые перья.

Императрица предложила:

— Дойдем до розового сада и там подождем, пока они приблизятся.

Дамы сошли вниз. Всадники подъехали к дому, где жил цихистав. С вороного коня спрыгнул огромный загорелый мужчина. Обращали на себя внимание его надутые толстые губы и висевшие в ушах большие серебряные серьги.

Бид приезжего вызвал у Дедисимеди дрожь ужаса. Острая боль сжала ее виски, и она схватила императрицу за руку.

Мариам усадила ее на скамью под кленом и сама села рядом, стараясь ее успокоить.

Загорелый великан вошел к цихиставу.

Через несколько минут оттуда вышел Махара, захлопнул за собой дверь и, подойдя к Мариам, сообщил:

— Скороход из Исфагана с письмом от султана Бархиа-рока.

Мариам и Дедисимеди побледнели и не проронили ни слова.

Не прошло и часа, как вернулся из Ксани царь Давид в сопровождении небольшого отряда.

Императрицу поразило невозмутимое спокойствие Давида. Настроение его за обедом было самое благодушное.

Не обнаруживал озабоченности и царь Георгий. Он настойчиво угощал гостей козлиными шашлыками, убеждая непременно их отведать.

Обратившись к Мариам, царь Георгий спросил:

— А тебе, Маико, эти шашлыки разве не по вкусу?

— Я ведь не ем летом ни козлятины, ни баранины. Ты, верно, позабыл, Георгий..

— Жаль... жаль... Ты много потеряла, милая Маико.

Заметив, что сестра его чем-то расстроена, Георгий хотел ее вовлечь в общую беседу.

— Так и быть, козлятину ты не ешь, но все же обязана знать, почему у нас существует обычай резать козленка ко дню сбора винограда.

— Когда-то я об этом слыхала, Георгий, но толком не помню. Ведь у бога вина Бахуса козлиные ноги, так, может быть, поэтому...

— Да, представь себе... Мы с Липаритом велели зарезать в винограднике трех козлят.

Да здравствует козлоногий Бахус! — провозгласил царь Георгий и передал наполненную чашу Липариту.

После обеда Георгий Чкондидели в присутствии обеих царей, эриставов и спасаларов развернул присланный из Исфагана свиток и стал его читать, переводя с арабского.

Он читал с расстановкой и так же медленно и спокойно переводил текст.

«Именем аллаха милостивого и щедрого.

Слава аллаху, владыке вселенной, творцу людей и джинов, создателю небес, миров, всяких пар мужского и женского пола, слепившему человека из сгустка крови, вдунувшему в него душу и даровавшему ему свой образ.

Нет бога, кроме бога, и Магомет пророк его.

Слава и победа господину апостолов и владыке нашему Магомету. Да благословит его аллах и дарует ему вечную победу и блаженство до второго пришествия.

Аллах высокий и непостижимый да продлит дни его величества царя и паладина с львиным сердцем, неустрашимого в бою, владетеля трона, венценосца, ученого в своей вере, справедливого к своей пастве, Абдул Мессии, султана Гюрджистана, сокровища между царями, властелина морей и проливов, покровителя румских стран, эссенцию сирийских царей, защитника христиан, охранителя приверженцев Иисуса, вернейшего друга царей и султанов великого Дауда.

Его царство охраняемо нашей любовью к нему, а не его войсками, его обетами, данными нам, а не его рабами и не его развевающимися стягами.

Некогда отец ваш царь Георгий Кесарос посетил в Исфагане отца нашего — высокого султана Ирана и не-Ирана Малик-шаха и обязался хараджой.

Много лет платил хараджу царь царей Кесарос Георгий, но после того как царь Дауд занял отцовский престол и принял скипетр, он перестал платить хараджу.

Если только султан Гюрджистана Дауд не возобновит уплату хараджи и не пришлет неуплаченную за прошлые годы, я прикажу моему первому визирю начать войну против вашей страны.

Аллах свидетель, и свидетель достоверный, и нет силы и мощи как только у аллаха».

Георгий Чкондидели поднес свиток к самым глазам и прочел арабские слова, мелко написанные в круге печати:

«Хуа ли лаху».

С гораздо меньшим трудом Чкондидели прочел подпись, сделанную беглым почерком:

«Абу Музафер Рукн эд-Дин Бархиарок,
султан Ирана и не-Ирана».

Давид встал, взял свиток у Чкондидели, взглянул на конец послания и заметил:

— Не видно имени хранителя тугры.

— Я не мог разобрать имени хранителя тугры, — сказал Чкондидели.

* * *

Вечером в хрустальном дарбази собрался совет. Опоздали эристав Шаман, никозский епископ Максим и руисский епископ Прохор.

Царь Георгий сказал:

— Совет, на котором отсутствуют старейшины, — не совет.

Эристав Шаман, никозский епископ Максим и руисский епископ Прохор вошли в дарбази, и совет был объявлен открытым.

Некоторое время длилось молчание. Молодые спасалары ждали, пока выскажутся старшие.

Наконец заговорил самый старший из молодых — Шергил Липартиани:

— Высокочтимые государи, епископы и спасалары. Я буду краток в том, что хочу вам поведать, ибо предстоящие нам дела гораздо важнее всяких слов.

Я думаю, что эпистола султана не должна быть для нас неожиданностью. Если не сегодня, то завтра это должно было случиться.

Теперь совершенно ясно, что был прав царь Давид, когда не захотел этой весной написать султану об отказе от харджи.

Султану ничего не написали и выгадали время для подготовки. Это время не было потрачено даром. Отстроены стены и башни крепостей Внутренней Картли и Триалети.

Всякая война таит опасность. Мудрый царь должен избегать опасности, но когда она станет на пороге, нет другого исхода, как вступить в борьбу.

Не раз слышал я от царя Давида: «Когда мужчина попадает в трудное положение, единственный выход для него — бороться...»

Закончив этими словами, Шергил Липартиани опустился в кресло. Опять наступило молчание.

Тогда встал Нианиа Бакуриани.

— Я думаю так: от хараджи мы отказались уже давно, ибо четвертый год не платим ее султану.

Если мы теперь заново обяжемся ее платить, это значит собственными руками надеть на шею ярмо.

Султан нам грозит нападением. Что ж... Тот, на кого напали, не имеет другого исхода, как обороняться, хотя бы даже зная, что ему грозит гибель. Султан нам пишет: подтвердите, что вы обязываетесь платить хараджу, или пусть нас рассудит меч.

Если на этот раз мы не возьмемся за меч, то зачем нам вообще носить его в ножнах?

— Я не красноречив, — скромно начал эристав Джонди, — но даже если бы обладал красноречием, то не решился бы долго говорить перед такими высокочтимыми особами.

Опасность есть и без войны, и война чревата опасностями. Не так ли? В данном случае мудрый визирь должен дать совет царям воевать, ибо хараджа — это рабский мир. Положение ясное.

Никто не может привести пример, чтобы какой-либо народ достиг расцвета, находясь в рабстве. Каждая война может окончиться победой. Все зависит от того, кто и как ее ведет.

После того как молодые спасалары высказались, царь Георгий посмотрел на Георгия Чкондидели и царя Давида, потом остановил взгляд на Шамане и Липарите и сказал:

— Осторожность, самая большая осторожность — вот наш долг, долг старейшин. Старейшины, которым чужда осторожность, — не старейшины.

В свое время я обязался платить хараджу султану Малик-шаху. Конечно, и я не стою за то, чтобы продолжать ее платить, и никогда не клялся, что буду платить ее вечно. Однако я не уверен, что мы сейчас достаточно сильны, чтобы отказать султану, ибо отказ от хараджи — это война.

Молодые спасалары доказывают — мы, мол, обновили крепости Внутренней Картли и Триалети. Но этого еще мало, чтобы воевать.

Самое главное в подготовке к войне — иметь войско такое, которое устоит перед султанской силой. Войска без крепостей воевать могут, а крепости без войск никогда не воевали. Вой-

ну не пристало бахвалиться, уподобляясь осеннему грому. С сильнейшим вступать в борьбу безрассудно, ибо еще никогда облако не несло против ветра. Пока война не началась — все герои, а война справедливо установит, кто герой и кто трус.

Разве мы имеем против себя одного только султана? А тбилисский амир Бану-Джаффар? А кахетинский царь Квирике и племянник его Ахсартан? А эристав Дзаган, владетель Зедазенской крепости?

Мудрый царь должен постараться избежать одновременной войны со всеми своими врагами. Никогда сильный, напав на слабого, не возвращается домой с пустыми руками. Итак, всякий мир — один из видов хараджи.

Эристав Липарит поднялся с кресла, учтиво наклонил голову и стал говорить, глядя только на обоих царей и на Георгия Чкондидели:

— Высокочтимые государи, архипастыри и спасалары! Прошу вас и меня не считать сторонником уплаты хараджи, но война против сильнейшего напоминает борьбу босых рабов с боевыми слонами.

Тот, кто без достаточной подготовки бросается на сильного врага, похож на бабочку, летящую на пламя.

Кто из желания угодить царю называет невозможное возможным, тот плохой советчик. Лучше разгневать царя, чем кривыми советами толкать его в бездну поражения.

Иоанн Дукидзе, скромно сидевший в углу, кусал губы, слушая Липарита. В ту минуту он готов был поверить, что триалетский эристав сошел с ума, ибо сам Дукидзе жаждал всем своим существом, чтобы царь Давид погиб в пламени войны.

Царь Давид сказал:

— Здесь много говорилось о сильном враге. Я считаю, что если человек будет сидеть, сложа руки, ничего не делая для того, чтобы укрепиться самому и ослабить врага, то он никогда не выйдет из ничтожества и враг его всегда будет для него сильным. Добиться победы можно только мечом.

Война — испытание не только для меча, но и для народа.

Знайте, что тот, кто уклоняется от справедливой войны, обрекает свой народ на десятки несправедливых войн.

Здесь говорилось, что не пристало мужчине хвалиться всуе, уподобляясь тем осеннему грому. Это верно, но ведь не всякий гром гремит попусту. Гром, за которым хлынет животворный дождь. — это уже не бахвальство, а боевой клич.

Когда враг нам грозит, мы не должны его умиловать дарами.

Конечно, война опасна и она сеет смерть, но если мирный мудрец спокойно ожидает смерти каждую минуту, то рыцарю стыдно отступить перед навязанной войной.

Поднялся Георгий Чкондидели.

— Я скажу коротко: надо объявить войну войне.

Эристав Шаман добавил:

— Без войны нам не дожидаться мира.

* * *

Всю ночь напролет писал Георгий Чкондидели ответное письмо султану Бархиароку.

В точно таких же высокопарных и сладкозвучных словах, с пышными оборотами речи, какими было написано послание султана, ему было сообщено об отказе платить хараджу.

«Божьей милостью царь абхазов и картвелов, кахов и армян» объявлял султану Ирана и не-Ирана Абу Музаферу Рукн эд-Дин Бархиароку:

«Отныне мы не желаем быть рабами кого бы то ни было, кроме нашего творца».

Письмо подписали царь Давид и его первый визирь Георгий Чкондидели.

* * *

Георгий Чкондидели именем обоих царей приказал послу в Исфагане Джоджики упомянутое письмо вручить лично султану Бархиароку и подтвердить, что письмо получено.

* * *

В то утро Дедисимеди почувствовала себя плохо и слегла. Императрица Мариам почти весь день провела у ее изголовья, ухаживая за больной. Возвращаясь вечером к себе, Мариам остановилась у дверей своей опочивальни и с грустью сказала провожавшему ее Махаре:

— Боюсь я, Махо, что Марс пересилит Купидона.

ЧЕРНЫЙ ПАУК

«Несмотря на многократные попытки, мне и Джоджики долго не удавалось передать ответ царя Давида султану Бархнароку, — писал Георгию Чкондидели из Вагаршапата Арамаис Аршаруни. — Наконец мы выполнили ваше приказание, но передача этого письма едва не стоила жизни Джоджики. Он и сейчас еще не совсем оправился, поэтому я докладываю вместо него.

Посланное вами письмо было запечатано царской печатью, и мы не осмелились ее сломать, а начальник диванханы амир Бен-Анима отказывался передать письмо султану, не зная его содержания.

Пришли мы в Исфаганский дворец, и он принялся нас допрашивать:

— Откуда вы приехали? Какой амир вас послал? Привезли ли дары?

— Мы должны передать султану письмо царя Давида, — отвечали мы.

— Что написано в этом письме?

— Письмо запечатано, и мы этого не знаем.

— Если вы не знаете, о чем письмо, то я и подавно не могу знать, когда султану будет угодно вас принять, — сказал амир Бен-Анима и очень нелюбезно нас выпроводил.

Так мы ушли ни с чем и в этот раз и в следующие.

Однако мы продолжали упорно добиваться приема.

Сведущие люди нас предупредили, что непрерывные войны совсем опустошили султанскую казну и по этой причине султан никого не принимает без даров. Пришлось нам приготовить ему не слишком разорительный подарок, чтобы иметь право сказать, что и мы даропринесители.

Придя уже в пятый раз в диванхану, мы не застали амира Бен-Анима. Вместо него нас принял местумретухуцеси дворца и суфраджи-баши амир Тегга.

Он сразу, не узнав даже, от кого письмо, спросил:

— Вы с дарами?

Когда мы ответили, что с дарами, на неприступном лице местумретухуцеси появилась улыбка, и он нас учтиво пригласил:

— Присядьте, отдохните.

Затем, обласкав нас и определив по нашей одежде, что мы христиане, он спросил:

— Не послы ли вы римского кесаря Алексеноса Комне-ниоса?

Услышав имя нашего государя Давида, он опять нахмурился, затем поднял свои лохматые брови и сказал:

— Ага, это тот самый царь Дауд, который в Гюрджистане воюет с сельджуками и считает весь Кавказ своей вотчиной? Не так ли?

Я недавно видел в диванхане письмо, которое написал ему султан Ирана и не-Ирана об уплате хараджи.

Что ж... Очень хорошо. Раз он прислал дары, видно, согласился и на хараджу.

Теперь вы мне скажите, правда ли, что ваш царь Дауд убил своего отца?

Мы ответили:

— Что ты говоришь! Конечно, неправда. Кто мог тебе это сказать?

— У нас в Исфагане проживает доверенное лицо другого вашего царя. Я позабыл его имя... — при этом он щелкнул пальцами. — Амир Липарит!.. Да, доверенный амира Липарита, он еще торгует горькими гюрджистанскими винами...

Аллах, помоги мне вспомнить!.. Варсим Вардзели... Это он сказал.

— Все это, господин, от начала до конца — ложь. Царь Георгий, по божьей милости, жив и здоров.

— Так, значит, он спасся от убийц?

— Нет, нет, господин! — ответили мы. — Мы христиане, и о таких поступках в нашей стране не слыхано.

— Выходит, он жив и свергнут с престола?

— Нет, господин, он соправитель.

Суфраджи-баши сдвинул брови.

— Как это так? На одном троне два повелителя? У нас не может быть ничего подобного. Как аллах один на небе, так и государь один на земле.

Немного помолчав, суфраджи-баши обратился к Джоджики:

— Ведь в письме этом не написано ничего дурного? Предупреждаю вас заранее, наш султан справедлив и гостеприимен, но когда это нужно, он грозен и гневен, как аллах все-милостивый:

Джоджики ответил:

— Мы не посмели развернуть свиток, посланный царем Давидом султану, и поэтому не знаем, что пишет наш государь.

— Не знаете? Ладно, ладно...

Знать, чего не знаете, вы не можете, и чего не читали, тоже не можете рассказать.

Хорошо, я доложу великому султану, что вы приехали с дарами и посланием от гюрджистанского царя Дауда.

Ладно, ладно... Пока немного отдохните, а я пойду узнаю, когда изволит пожаловать великий султан.

В это время появился негр с серьгой в ноздре и поставил перед нами золотое блюдо с персиками и золотой кувшин с вином из териака.

— Отведайте пока этого вина, а я сейчас же вернусь, — сказал в заключение амир Тегга и оставил нас в застланном коврами дарбази. Там был единственный столик, оклеенный раковинами, и на архови было разбросано множество подушек и мутак.

Джоджики призадумался. Мы прекрасно знали, что было написано в послании царя Давида. У нас явилась мысль предупредить суфраджи-баши, что наш государь отказывается платить султану хараджу, но мы на это не дерзнули, не имея на то полномочий.

Над нашими головами стоял негр с серьгой и приневоливал нас пить вино из териака, а в дарбази было так жарко, что мы обливались потом.

Грешным делом я изрядно перепугался, потому что, прожив в Исфагане дольше, чем Джоджики, я очень хорошо знаю свирепость султана.

Поэтому предупреждение суфраджи-баши амира Тегга произвело на меня сильное впечатление.

Амир Тегга вернулся и объявил нам:

— Султан изволил пожаловать только сегодня и назначил вам прибыть завтра, в день приема посольств из разных стран.

Слово «завтра» нам пришлось услышать не однажды.

Вы хорошо знаете обыкновение исфаганских царедворцев всеми средствами осложнять и затруднять доступ к султану, чтобы дать почувствовать «зимиям», какая великая честь для них предстать перед лицом повелителя правверных.

В нестерпимый зной собирали на базарной площади посольства, приехавших на поклон амиров, паломников, даропринесителей, заморских купцов и лазутчиков.

Нам приказывали ждать, и мы ждали...

Наконец появлялись присланные начальником диванханы негры с секирами.

Они провожали нас до ворот с колоннами, где между каменными львами лежали, рыча, живые львы, прикованные цепями, а около них переминались слоны. Этим слонам бросают под ноги на растоптание осужденных асасинов и еретиков.

Часами стояли мы под палящим солнцем, глядя в разинутые пасти львов, пока начальник диванханы не сообщил, что великий султан изволил отменить прием...

Однако все на свете имеет свой конец.

Кончилось и наше ожидание. Многократно обещанное амиром Тегга «завтра» наступило.

С большой торжественностью вели нас от базарной площади до Исфаганского дворца.

В процессии были послы из Китая и туркоманских стран, посланники индостанских магараджей, восседавшие на боевых слонах, посланники и купцы из Византии и представители султанов Никеи и Иконии.

За нами выступали слоны, нагруженные шелком и драгоценными тканями, арабские кони, белые мулы и ослы.

Четыре всадника везли салмасурские доспехи, за ними другие четыре — шелковые шатры и индусские копыя с отравленными наконечниками. Дальше ехали всадники, которые держали янтарные скипетры и жезлы и тяжелые мечи с золотой насечкой.

На трех мулах лежали серебряные панцири, на четвертом сидели в клетках соколы и ястребы, лапы которых были украшены самоцветными камнями. Какие-то греки вели византийских борзых. Четыре пары ослов волокли янтарную ладью с янтарными веслами.

И вот среди множества этих драгоценнейших даров мы с Джоджики несли одно копые и скромный медный щит. Правда, в щит было вставлено несколько рубинов, но для пронизательного глаза наш подарок имел непреложный смысл: если вы на нас нападете, мы вас встретим с копьем и со щитом.

Вы не приказывали нам так поступить, но без дара нас не впускали во дворец, и своим малым умом мы могли придумать только это.

У ворот Исфаганского дворца стояли негры с секирами и туркоманы с копиями.

Дароприноситеелей, купцов и лазутчиков выстроили в ряд, а посланников и представителей ввели в ворота.

Над колоннами изваянные львы угрожающе разевали пасти, справа раздавалось рычание живых львов, а налево стоял боевой слон султана.

Суфраджи-баши амир Тегга и начальник диванханы амир Бен-Анима встретили нас на ступенях, окруженные султанскими меченосцами и суфраджи.

Амиры повели нас по длинной аллее из виноградных лоз и китайских глициний к летним шатрам султана.

По сторонам шпалерами выстроились негры и конные туркоманы в островерхих шапках, украшенных страусовыми перьями.

Так дошли до диванханы, рядом с которой был разбит шатер для отдыха посольств и представителей владетельных лиц.

У входа в диванхану пять конюхов в белых мандалях держали пять арабских жеребцов. Седла на них горели чистым золотом, а на шлеях сверкали крупные алмазы.

Справа и слева арабские конюхи держали под уздцы около пятидесяти белых коней, хвосты и гривы которых были выкрашены хной.

Вместо чепраков на них были накинута рысьи шкуры.

Вокруг большого фонтана были расставлены золотые чаши с водой для султанских коней.

Амир Тегга выступил вперед и объявил:

— Абу Музафер Рухн эд-Дин Бархиарок, султан Ирана и не-Ирана, примет гостей в летнем дворце.

Летний дворец находится посредине плодового сада. На мраморных колоннах большого зала мы увидели опущенный парчовый занавес с вытканными львами и павлинами, подвешенный на золотых кольцах. Когда мы вошли, занавес раздвинулся.

Посредине зала бил огромный фонтан.

По краям бассейна над водой были сделаны полки, уставленные золотыми кувшинами, тарелками, азарпешами и пиалами.

На противоположном конце зала громадный, спускавшийся от самого потолка ковер закрывал почти всю стену и стлался по полу. На нем стоял золотой трон.

Султан Бархиарок сидел на троне нахмуренный, низко опустив голову, и перебирал длинными высохшими пальцами янтарные четки.

Отпущенные ногти его были выкрашены в красный цвет. На султানে была накидка без рукавов, цвета померанца, сплошь затканная золотом. Голова его была обмотана чалмой из ткани, прозрачной, как вода, на чалме сиял алмаз величиной с грецкий орех. Островерхий мениль увенчивался перьями цапли.

Рядом с султаном лежали золотой меч, серебряный лук со вставленной стрелой и щит.

По левую руку его стояло двадцать узкоплечих, широкобедрых юношей, — как мы после узнали, сыновей малых султанов и амиров, присланных в Исфаганский дворец в качестве заложников и для пополнения султанского гарема.

Самый красивый из них, юноша из Шеристана, держал в руках опашало огромных размеров и оббевал им потного султана. Оказываются, такие опашала делаются из плавников животных «махера-кута», живущих в Индостанском море.

По правую руку султана сидел в позолоченном кресле плечистый богатырь в панцире, голова его была обвита высоким черным менилем.

У этого туркомана были голубые глаза, длинная шея и выпиравшие скулы. Как я позже узнал, это был правитель Багдада Наджм Эддин иль-Гази, тот самый, который когда-то нападал на Аниси.

Одно время он помогал султану Тутушу в его борьбе с Бархиароком, а теперь стал первым среди амиров над амирами султана.

Рядом с иль-Гази сидел Изз-Абу Абдала Гусейн, правитель Листифии, и стояли хранитель тугры и другие амиры и вельможи.

Послов и представителей подводили к султану по очереди.

Я обмер, увидев, как амир Тегга и амир Бен-Анима схватили Джоджики за обе руки и, не выпуская его, подвели к султану.

Сельджуки стали крепко держать гостей султана за руки и рукава, с тех пор как пришедший будто на поклон к султану Альф-Арслану асасин вонзил ему в живот ятаган.

Джоджики подвели к коленям султана, и я ясно видел, что он наклонился, приблизил губы к коленям, но не поцеловал их.

Султан мне показался опьяненным териакон и так щурил глаза, что вряд ли обратил на это внимание, но когда я подумал, что это могли заметить амир Тегга или амир Бен-Анима, от страха волосы на моей голове стали дыбом.

Амир Тегга предупредил послов, чтобы они все, что им нужно сказать, передали в самых кратких словах, так как султан Бархиарок не терпит многословия. При этом Тегга прибавил, что повелитель также ненавидит толстые книги и считает, что, за исключением корана, все большие книги нужно сжечь.

Бархиарок принимал гостей с натянутой учтивостью и любезно улыбнулся только одному посланнику магараджи, а дароприноситеley от малых султанов и амиров провожал еле заметным кивком головы. Послов византийского кесаря, Джоджики и представителей армянских князей он выслушал нахмурившись.

После целования коленей оба достопочтенных амира отводили представлявшихся в отдаленную часть большого зала, где в низких креслах сидели великие амиры, вельможи и родственники султана.

Всех, кто сопровождал послов, и толмачей тоже отвели в сторону и посадили в низкие кресла. Тут же находились певцы и музыканты, играющие на санджи и цамаре, шуты и танцовщицы, которых сельджуки называют «ках-беа».

Наконец вышел амир Тегга и своим визгливым бабьим голосом провозгласил:

— Послания к великому султану царей, амиров и князей на днях будут рассмотрены в диванхане и ответ на них в свое время будет сообщен послам. Теперь султан Ирана и не-Ирана желает повеселиться.

Гостей провели в большой зал и рассадили на подушках за столами, поставленными вдоль стен.

Посуда была из чистого золота и серебра, цвета бирюзы кашанские тарелки, хрустальные пиалы и серебряные сураи.

Перед султаном, амирами и вельможами стояли золотые блюда и осыпанные изумрудами и рубинами сураи и пиалы.

Мой сосед за столом, анийский армянин, мне шепнул:

— Вся эта посуда из сокровищниц грузинских и армянских царей. Некоторые вещи сельджуки похитили во дворцах византийских вельмож.

Несколько суфраджи внесли на золотых подносах рис, приготовленный с изюмом и сахаром.

Потом подали жаркое из баранины. Султан и амиры хватили его руками, обгладывали кости, рыгали. При этом они почти не разговаривали, увлеченные едой.

Блюда следовали одно за другим.

Султан ел, опустив голову и ни на кого не глядя. Иногда он подзывал главного казначея, что-то ему шептал и вновь тянулся за жареной лопаткой.

Амир иль-Гази как зверь разрывал мясо зубами и вытирал свои толстые губы ладонью. Той же рукой вытирал он пот, обильно струившийся по его лицу.

Вдруг раздалась звуки санджи. Показались шуты в желтых колпаках и стали паясничать, но они не смогли вызвать улыбку на лице Бархиарока. Зато вовсю хохотали амиры.

Амир иль-Гази уписывал баранину и без стеснения швырял кости на пол.

Беспрестанно входили суфраджи, неся на головах подносы, нагруженные новыми яствами.

Я и Джоджики ели только из вежливости. Нам было не до еды, да и приторные блюда вызывали тошноту. Мы мечтали, чтобы скорее подали вино и тогда опьянение сотрапезников даст нам возможность незаметно ускользнуть.

Наконец вошел суфраджи-баши в сопровождении слуг, которые поднесли султану и сидевшим подле него амирам ослиные шашлыки.

Мясо дикого осла — любимое блюдо султана. По этому поводу в Исфагане даже сложили известное стихотворение:

У Барама жареная ослятина, да насладится он ею,
А в твоих глазах да будет она ничтожнее лапки саранчи.

Обед закончился. Нам обмыли руки теплой водой, поданной в золотых тазах.

Амир Тегга объявил:

— Да благословит бог этот стол и умножит изобилие султану.

Затем он снова вышел вперед и обратился к гостям:

— Теперь высокий султан Ирана и не-Ирана начинает кейф. Подождите в саду дворца, пока султан выедет в Хасарджириб. После амирахор подаст коней и вам, и вы поедете тоже.

Хасарджириб — заповедный лес султана в окрестностях Исфагана. Он тянется на несколько парсангов, его окружает высокая кирпичная стена.

В этом лесу водятся аху, а также множество диких ослов, ланей, оленей, зайцев и фазанов.

За несколько часов до того, как султан со своим гаремом выедет на охоту в Хасарджириб, на площадь выходят глаша-

тан с трубами и барабанами и пронзительными голосами возвещают народу:

— Султан шествует!

Услышав трубы и барабанный бой, народ стремглав очищает площадь и ближайшие улицы и переулки. Объятые страхом люди бросаются во все встречные подвалы. Если меченосцы султана заметят чью-нибудь выглянувшую любопытную голову, они тут же ее отсекут.

На опустевшей площади появляется на богато убранном коне повелитель правоверных, за ним едут амиры и вельможи, а позади гарцуют мальчики из султанского гарема и евнухи.

Султан Бархиарок любит охоту на диких ослов. Лишь только мы прибыли в Хасарджириб, загонщики выставили целый табун этих животных.

Спустили с цепей гепардов. Они бросились преследовать перепуганных ослов с невероятной быстротой. Одних они хватили зубами за задние ноги, другим прыгали на спины, загоняли их поодиночке в заросли и, растерзав, снова бросались в погоню. Наконец, утомившись, валились подле своих жертв, напоминая вздувшихся от крови больного пиявок, которых подошедший лекарь безболезненно отрывает. Так же подходили охотники к насытившимся кровью гепардам и отдирали их от ослиных трупов.

Не могу не рассказать об одном случае, который произошел на охоте.

Обожравшиеся гепарды уже не годились для травли, и за следующим табуном длинноухих помчался сам султан с амирами. Сначала они пускали в ослов стрелы, а настигнув изнеможенных животных, стали рубить их мечами.

В погоне за табунами Бархиарока сопровождали двое безбородых юношей — один из Хамадана, а другой из Хузистана.

Султан велел юноше из Хамадана нагнать заднего осла в табуне и убить его из лука. Юноша поскакал, натянул лук и выпустил стрелу, но промахнулся.

Юноша из Хузистана начал высмеивать оплошавшего охотника.

Тогда хамаданец набросился на хузистанца и отсек ему мечом правое ухо.

Бархиарок пришел в ярость, подозвал ловчего и велел ему отсечь хамаданцу оба уха.

Вместо того, чтобы немедленно выполнить приказ, лов-

чий соскочил с лошади, упал к ногам султанского коня, обнял их своими руками и стал умолять повелителя на этот раз простить виновному его дерзость.

— Встань! — приказал султан.

Когда ловчий поднялся, султан взмахнул мечом и отсек ему уши. Вложив их ему в руки, он сказал:

— Раз они не понимают приказания султана, с этого дня они тебе больше не понадобятся...

После возвращения с охоты, уже в сумерки, нас привели в дворцовый сад. Между деревьями были развешаны на золотых шнурах разноцветные фонари. У высоких беседок были фонтаны.

В саду находится большой бассейн, за которым возвышается дворец, обложенный изразцами цвета бирюзы. Во дворце стены и потолок сделаны из зеркал, так что входящий видит множество своих изображений.

Снова пригласили нас к столу.

Руководил пиршеством сын Низама аль-Мулька Изз-Абу Абдала-Гусейн, по матери внучатый племянник царя Баграта.

Гусейн сначала подавал малые пиалы со сладким вином. Бархиарок ворчал:

— Пусть принесут большие пиалы!

Вышли шуты в картонных колпаках, но попусту корчили гримасы, потому что никто не имел охоты смеяться.

Султан нахмурился, и амир Тегга выгнал шутов. Тогда появились индостанские танцовщицы. Потанцевали они недолго: султан опять нахмурился. Затем амир Тегга дал знак привести игроков на сандже и полуголых ках-беа.

Когда их тоже удалили, начали танцевать мальчики Бархиарока. Вперед выступил узкоплечий и длинношей юноша из Шеристана. У него были синие глаза, бледное лицо и над изгибом губ тонкий пушок, какой иногда бывает у молодых девушек.

Стройный юноша танцевал с самозабвением. Каштановые кудри ласкали его точеные уши. Гибкое тело колыхалось под чарующие звуки санджи. Когда он в танце приближался к султану, то рабски перед ним склонялся, при этом густые кудри падали на его беломраморный лоб.

Бархиарок пил все больше и больше!

Выпьет пиалу, взглянет на танцовщика, опять выпьет и потребует еще вина.

Когда юноша из Шеристана закончил свой танец, он облобызал ноги султана, потом, обливаясь потом, снова взял

огромное опахало из плавников махера-кута и начал обмахивать им своего господина.

Султан заорал на Гусейна:

— Поддай мне гюрджистанского вина! Ты ведь сам наполнивину гюрджи, а я очень люблю гюрджистанское вино.

Бархиарок заметил, что один старый суфраджи подавал грузинское вино с видимой неохотой.

Он подозвал этого суфраджи, поставил перед ним громадную пиалу, обнажил меч, бросил его рядом с пиалой и приказал:

— Выпей!

Старик стал на колени и начал умолять:

— Я не пью гюрджистанское горькое вино.

— Пей! — снова крикнул султан.

Суфраджи взял в руки пиалу и немного отпил. Его лицо ужасно исказилось, и он поставил недопитую чашу на стол.

Тогда султан схватил меч и вонзил его старику в бедро.

Амир Тегга распорядился, чтобы вынесли окровавленного слугу.

Бархиарок обратился к юноше из Шеристана:

— Ведь ты предан твоему султану?

— До смерти, мой повелитель, — ответил юноша из Шеристана.

— Тогда выпей!

Юноша из Шеристана осушил чашу до дна, подошел, шатаясь, к султану, обнял руками его колени и воскликнул:

— Аллах, молю тебя, даруй моему султану долгие дни!

Это так понравилось Бархиароку, что он приказал казначею принести меч, осыпанный алмазами, и подарил его юноше.

Я и Джоджики просидели за нескончаемым пиром до рассвета. Нам не подавали ни горьких, ни сладких вин.

Когда пир уже подходил к концу, возле нас оказался совсем пьяный Изз-Абу Абдала Гусейн. Он вежливо нам представился и предложил вина.

Мимоходом он бросил:

— Посоветуйте вашему царю Дауду взять обратно его письмо, а то султан пошлет на вас море войск.

Джоджики молча выслушал пьяного и не дал ему никакого ответа.

Утром у султана явилось неожиданное желание:

— Едем охотиться на журавлей.

Были пьяны без памяти и он сам, и амир иль-Гази, и другие амиры и вельможи.

Бархиарок схватил своего коня за гриву, но вставить ногу в стремя ему не удавалось. Амир Тегга позвал трех конюхов, и они с трудом посадили султана в седло.

Амиры тоже расселись на коней, начали их хлестать плетями и без толку носились во все стороны, громко ругаясь непотребными словами.

Наконец у султана началась рвота. Его сняли с коня, рвота долго не унималась. Когда она утихла, он выпрямился и заорал:

— Вызываю весь мир на поединок!

Борода его и усы были в блевотине, на что никто не посмел обратить его внимание.

Потом он обнажил меч, закружил им в воздухе, отрывал и тоже ругался непотребными словами.

Амиры танцевали вокруг него, выкрикивая одну и ту же песню.

Песня эта начиналась так:

Наши всадники весь мир затопчут.
Румское царство мы конскими копытами затоптали.
Гяуры приходят в Исфаган, преклоняя колени.
Наш натиск уже никто выдержать не сможет;
Наши кони весь мир затопчут.

Прошло три дня. Начальник диванханы амир Бен-Анима прислал за нами суфраджи, и мы с Джоджикой отправились в Исфаганский дворец.

Негры с секирами провели нас в диванхану, где на архови возлежали амир Бен-Анима и амир Тегга:

Они курили наргиле и тихо беседовали. Увидав нас, начальник диванханы вынул трубку изо рта, сплюнул в сторону и спросил:

— Кто из вас посол гюрджистанского султана?

— Я, — ответил Джоджика.

Амир Бен-Анима сурово на него взглянул, но ничего не сказал и обратился ко мне:

— А ты кто такой?

— Я его помощник и, кроме того, толмач.

Амир Тегга ткнул трубкой в сторону Джоджики и сказал начальнику диванханы:

— Это тот самый зимия, что не пожелал облобызать колени султана.

Начальник диванханы нахмурился еще грознее и сказал Джоджики:

— Знаешь ты или нет, любезный, что многие тысячи правоверных мечтают обнять колени султана?

Джоджики спокойно ответил:

— Не мое дело, сударь, считать, сколько тысяч мусульман жаждет обнять колени султана.

Что касается лично меня, то на этом свете я с удовольствием обниму колени только нашему государю.

Тогда амир Тегга сказал Джоджики:

— В ту ночь ты был нашим гостем, и поэтому я не доложил султану о твоём проступке. Это твоё счастье, а то бы быть тебе растоптанным слоном.

Снисходя к твоим молодым годам и неопытности, мы решили поступить с тобой великодушно.

За все твои вины в тот день и за то, что ты осмелился передать дерзкое письмо твоего царя Дауда, мы пошлем тебя в Кашан...

Царь же ваш за отказ от хараджи скоро получит от великого султана заслуженный ответ!

А тебе, юноша, советую крепко запомнить стих из корана:

«В один день для неверных зажгут костер и скажут: вот вам воздаяние за то, что вы неверные».

Джоджики понял, что посылка его в Кашан не сулит ему ничего хорошего. Но тех мучений, которые его там ожидали, конечно, он не мог себе представить даже приблизительно.

По приказанию царя Давида мне не раз приходилось бывать в Кашане для закупки коней и доспехов, и поэтому я был о многом осведомлен.

Не оставляя ни на минуту Джоджики, я воздержался сообщить ему то, что было мне известно, потому что ожидание опасности иной раз бывает мучительней самого испытания.

В Кашан посылают обыкновенно асасинов, еретиков и тех, кто обвинен в покушении на жизнь султана или его семьи.

Кашан окружен глинобитной стеной протяжением в несколько парсангов.

Город этот славился своими ювелирами и фарфором. Сюда из индийских стран китайские купцы привозят много шелков, тканей и мехов.

Летом Кашан почти совершенно лишен воды, потому что невероятный зной высушивает самые глубокие колодцы, и

ежегодно там умирает от жажды несколько тысяч простых людей.

За кувшин воды здесь платят один дирхем. Бедняки продают на базаре собственных детей. Вообще в этом городе идет постоянный торг рабами.

Но это еще не все.

Кашан известен своими скорпионами. Когда сельджуки кого-нибудь проклинают, то кричат вслед:

— Пусть ужалит тебя кашанский скорпион.

Черный кашанский скорпион бывает размером с большой палец и очень походит на рака, только нос у него тупой, и когда он бежит, то задирает хвост кверху.

Кроме черных, в Кашане также распространены скорпионы огненного цвета. Попадаются и ярко-красные, как вареные раки.

Летом население города борется всеми средствами с нашествием скорпионов. В богатых домах устраиваются для спящих высокие полки — джарпай, защищенные сетками, и все от мала до велика спят на них.

Нищие, ночующие в землянках и на базаре, погибают тысячами, и трупы их валяются по утрам на кашанских улицах.

Существует одно народное средство лечения — медная монета, которую прикладывают к укушенному месту. Бедняки таких монет не имеют и поэтому гибнут.

Но как ни страшен кашанский скорпион, еще страшнее черный паук, которого кашанцы называют ротейлем.

Ротейль гнездится в каменных постройках и, кроме того, в зарослях растений, которые персы называют «тремен».

Тремен этот стелется вокруг хижин бедняков. Пауки проводят день в траве, а по ночам легионами бегут в дома.

Из всех животных ротейль не страшен только барану, который даже поедает пауков.

Когда черный паук ночью нападает на спящего, он не вонзает в свою жертву жало, а только, найдя обнаженное место, выпускает ядовитую жидкость.

Яд ротейля действует на людей по-разному.

Одни бегают, мечутся в разные стороны, другие безостановочно дико хохочут.

Хохочут, хохочут до иступления и наконец засыпают.

Некоторые начинают танцевать, потом делаются грустными, плачут и тоже засыпают.

Лишь только яд проникнет в кровь, больным овладевает

непробудный сон. Его нельзя разбудить ни встряхиванием, ни обливанием холодной водой...

С первого дня порабощения Ирана сельджукские султаны устроили в Кашане дома, наполненные скорпионами и ротейлем, для казни преступников.

Как вам известно, несколько тысяч асасинов было заподозрено в убийстве султана Альф-Арслана, сына его Малик-шаха и великого визиря Низама аль-Мулька. Некоторых из заподозренных привязали к хвостам коней и растерзали, других послали в Кашан, где они погибли в домах с ротейлем и скорпионами.

Поскольку эти дома всегда переполнены, то в них выдерживают осужденных три дня, а на четвертый день негры с секирами делают обход, вытаскивают из подвалов тела умерших, грузят их на верблюдов и увозят на ближайшее кладбище.

После угрозы амира Тегга прошло три дня.

Все мы, исфаганские грузины и армяне, впали в уныние, не зная, как помочь беде. Наконец, на общем совете было решено, что я и Джоджики должны бежать из Исфагана. Уже приготовили коней, но накануне назначенного дня отъезда на Джоджики напали копыеносцы и похитили его.

В дом грузина-виноторговца Монаселидзе, где мы жили, пришли грузинские и армянские купцы, духовные лица и конеторговцы и собрали много дирхемов,

Я и Георгий Монаселидзе немедленно выехали в Кашан.

После целой недели бесплодных поисков мы узнали от местного лекаря Тиграняна: посла царя Давида недавно привезли в Кашан, и он должен быть заключен сельджуками в дом с ротейлем, что против главной мечети.

По виду это самая обычная персидская постройка, обращенная к улице глухими стенами. Окружающий ее двор порос треном и чертополохом, по углам ограды возвышаются башни без окон. Дом днем и ночью сторожат негры-копыеносцы.

Тигранян разыскал какого-то темного дельца-асасина, через которого нам удалось подкупить надзирателя этого дома одноглазого сельджука Мехти бен-Солимана.

Мехти под большой тайной нам сообщил:

— Мы этого гюрджи уже продержали в доме с ротейлем три дня. Если я не ошибаюсь, он уже умер и этой ночью его вывезли на армянское кладбище.

Поехали на армянское кладбище, но среди неубранных трупов тела Джоджики не оказалось.

Опять пришлось обратиться к кривому Мехти. Мы упрашивали его сказать нам всю правду.

Мехти ослабил желтые клыки и почесал затылок.

— Вам хочется знать правду? Гм!..

Разве вы не знаете, что правда стоит гораздо дороже не-правды?

Чтобы узнать правду, нужно дать мне еще тысячу дирхемов. Только, смотрите, не погубите меня, не выдайте.

При этом он пристально посмотрел на нас своим единственным глазом...

Никогда в моей жизни я не забуду взгляда этого ужасного человека. Громадного роста, толстый, он напоминал ска-зочного циклопа.

Мы выложили ему еще одну тысячу дирхемов.

Глаз Мехти радостно сверкнул, и он сказал:

— Этот гюрджи долго боролся со скорпионами и ротей-лем и умер только вчера, и мы его еще не отправили на клад-бище...

Мы тщетно его просили выдать нам тело Джоджики; он отказался наотрез, но дал нам такой совет:

— Этой ночью я прикажу свезти его труп вместе с дру-гими на курдское кладбище, а дальнейшее уже зависит от вас. Если договоритесь с кладбищенским сторожем, то заби-райте вашего покойника и делайте с ним, что хотите.

Подавленные горем, мы с Монаселидзе пошли на курд-ское кладбище и разыскали сторожа — какого-то курда Титару.

Титара поставил нам такие условия:

— Вы должны спрятаться среди камней. Перед рассве-том привозят покойников. Если сумеете разыскать, кого ищете, — ваше счастье. Но помните, что времени у вас немного. Когда рассветет, я уже не позволю взять тело.

Короткая ночь была на исходе, когда привезли на верб-людях несчастных жертв ротейля. Их в беспорядке разбро-сали на земле. На кладбище стоял ужасающий запах — сре-ди непогребенных были и доставленные в прошлые дни трупы.

Как только негры с верблюдами удалились, мы вышли из нашего убежища, зажгли факелы и начали поиски.

К несчастью, осужденных бросают в дома с ротейлем го-лыми, и это очень затруднило нашу задачу. Кроме того, тела, отравленные ядом, распухают и раздуваются.

Мы пересмотрели около пятидесяти тел, но Джоджики среди них не нашли.

— Опять обманул нас негодяй Мехти, — говорил Монаселидзе.

Я второй раз обошел трупы и продолжал в них всматриваться. За мной по пятам ходил Титара и каркал:

— Ох, рассветет, рассветет... Скорей уходите отсюда, а то все трое попадем в дом с ротейлем.

Прошло еще несколько минут. Титара от ворчанья перешел к ругани:

— Убирайтесь отсюда, а то я сейчас закричу!

Уже почти рассвело. Вдруг Монаселидзе упал на колени перед одним покойником и громко зарыдал.

Опять бросился к нам Титара:

— Не смейте здесь его оплакивать!

Монаселидзе узнал Джоджики, несмотря на то, что лицо его было совершенно искажено. Он вспомнил, что у Джоджики в схватке с сельджуками ударом палицы была когда-то сломана ключица.

Можете представить себе нашу радость, когда мы обнаружили в бездыханном теле биеение пульса. Жилка под кистью левой руки еле заметно вздрагивала.

Нарочно продолжая плакать, чтобы не вызывать подозрения Титары, мы поспешно завернули несчастного Джоджики в саван и отвезли его в дом лекаря Тиграняна.

Болезнь Джоджики выражалась главным образом в сонливости. Напрасно мы давали ему нюхать уксус с чесноком, терли виски и опрыскивали холодной водой.

Мы приподнимали его на постели, но он опять падал на подушки и продолжал спать.

Лекарь ободрял нас:

— Я не одного человека вылечил от яда ротейля.

Вся беда была в том, что мы не могли долго оставаться в Кашане.

Тигранян запретил рабам и прислуге входить в комнату и приступил к лечению...

Джоджики оказался ужаленным скорпионом.

Поэтому его кормили териакком. Затем лекарь велел изжарить скорпиона на медной сковороде и примешивал его в толченом виде к еде больного.

На третий день больному разжали зубы и влили ему в рот через воронку кислое молоко. Затем уложили его в большой ящик, подвешенный к потолку, и кружили до тех пор,

пока веревки не закрутились до отказа. Потом отпустили веревки — они стали стремительно раскручиваться, и ящик закружился в противоположную сторону.

Снова закрутили и раскрутили веревки, и так повторили несколько раз.

Наконец больной приоткрыл глаза, у него началась рвота, а на следующий день он уже стал немного говорить.

На первых порах речь его была бессвязной, как лепет ребенка, не умеющего выразить словами, что он хочет.

Дождаться в Кашане полного выздоровления Джоджик нам было нельзя. Лишь только к нему вернулось сознание и он начал сам подносить ложку ко рту, мы пустились в путь, нарядившись в кафтаны сельджукских купцов.

Купили первых попавшихся лошадей, покрыли их кашански рысьими шкурами, достали паланкин, посадили туда Джоджик и выехали на ардебильскую караванную дорогу.

У меня нет ни сил, ни искусства, владыка Георгий, передать словами, каких трудов нам стоило добраться до Вагаршапата...

Здесь мы немного передохнем, потому что Джоджик очень ослабел от перенесенных мучений и тяжелой дороги.

В Вагаршапате он окончательно пришел в себя.

Он рассказал нам, что вместе с ним в Кашан привезли двух амиров, сторонников Мохамеда — брата Бархиарока, и одного богатого дманисского купца по имени Вартан, которого обвинили в оказании денежной помощи асасинам.

Вартан знал во всех подробностях о мучениях, на которые они будут обречены в Кашане, и поэтому заранее дал Джоджик наставление: когда попадешь в дом с ротейлем, ни в каком случае не прислоняйся к стене и не ложись на пол.

Долго рассказывать Джоджик еще не может, и я передам с его слов лишь следующее:

«В Кашан нас привезли ночью и вдвоем с Вартаном посадили в подвал в доме с ротейлем, что против главной мечети.

Амиров мы больше не видали. В подвале была полная темнота, и я не могу сказать, сколько дней я держался на ногах...

Ходим мы с Вартаном взад и вперед, взад и вперед — то тихо, то мечемся.

Ниоткуда не слышно человеческого голоса, и лишь иногда доносится свист сторожей.

Так ходим мы и мечемся...

Изнемогши от усталости, прислонимся друг к другу и опять расходимся в темноте...

— Не прикасайся к стене, не ложись! — кричит мне Вартан.

— Не засыпай, не засыпай! — слышу я его голос из темноты.

Прислушиваюсь к шорохам.

Стоит мне на короткое время остановиться, чувствую, как по голым ногам ползет какое-то ужасное, отвратительное волосатое существо...

Опять мечемся в темноте.

Приостановимся на минуту. Что-то вдруг падает на голову. Вздрагиваем и стряхиваем колючего гада — мы не знаем, скорпион это или ротейль.

Весь ужас был в том, что не знаем, с какой стороны ждать смерти. Мы не представляли себе, каков ротейль...

Утро и вечер, день и ночь для нас слились...

Пришли копыеносцы и увели Вартана.

Мы с ним обнялись, как братья, и простились навеки.

Я остался один лицом к лицу со смертью.

Кругом мертвая тишина и непроницаемая тьма. Я мечусь в темном подвале, как во сне...

Не могу сказать, сколько времени прошло...

Чувствую, что суставы мои расслабли, тело лишено костей и неудержимо тянется к земле.

Глаза горят от бессонницы. В висках бьют молотки.

Решаю: лягу на пол и усну — чему быть, того не миновать. Но вдруг точно кто-то шепчет мне в ухо:

— Нельзя засыпать, упаси бог...

Тру глаза, собираю все силы, шатаюсь, еле брожу в темноте.

Ужасно сознавать, что нельзя ни сесть, ни лечь, что под ногами нет ни пяди, на которую можно было бы ступить без страха.

Наконец сон пересилил меня, пересилил страх смерти...

После помню лишь, что я упал. Больше ничего не помню. Не знаю, когда сел на меня ротейль и какой он был...

«Сознаю сам, милостивый владыка Георгий, что доклад мой вышел слишком пространном, — закончил свое письмо Арамаис Аршаруни. — Остальное доложит вам Джоджики.

С божьей помощью он в ближайшие три дня выедет из Вагаршапата с караваном, отходящим в Дманиси.

На наше счастье, сельджуки, начиная от султана до рядового воина,—все взяточники и Мамоне поклоняются усерднее, чем Магомету...»

ГОЛУБОЙ СОКОЛ

«...яко пес, возвратился он на свою блевотину, яко свинья, окунулся он в грязь...»
Из хроники царя Давида.

В тот самый вечер, когда было получено письмо Арамаиса Аршаруни из Вагаршапата, в Начармагеви случилось одно происшествие. Во дворец пришел из черной базилики монах Маркоз и под секретом сообщил Махаре:

— Приютился в приделе черной базилики некий монах—сборщик подаваний и путается в своих рассказах. То будто едет он в Гегути, то приехал, чтобы помолиться в монастыре Тири. Утром он мне сказал:

«Собираюсь на богомолье в Иерусалим, хочу слезами Христа исцелить больные мои глаза».

Махара никому не сообщил об услышанном. Лишь только стемнело, он взял с собой Маркоза и трех чухчей и отправился в черную базилику.

С приземистой колокольни раздавался жалобный звон колоколов. По тропинке шли к черной базилике несколько темных фигур. Одинокий худой мул пасся возле церкви.

Махара приказал чухчам стать у дверей и никого незнакомого не выпускать, а сам с Маркозом вошел в храм.

Служба еще не началась. От иконостаса лился тусклый свет, при котором можно было различить лишь очертания людей. Около двадцати прихожан, стоя на коленях, молились в полутемной церкви.

Маркоз долго всматривался в них и наконец указал пальцем на сгорбленную спину тщедушного старика.

— Сдается мне, царевич, что это тот самый монах.

Махара осторожно прошел между молящимися, опустился на колени рядом со стариком и погрузился в молитву. Он истово крестился и украдкой наблюдал за своим соседом.

Старик не увидел в его появлении ничего подозрительного и продолжал спокойно молиться. Стоя на коленях на кирпичном полу, он шептал псалом, временами ударялся лбом об пол, опять приподнимал голову, снова бух! — земной поклон, и заунывно тянул один стих:

«Господи боже, днем я возопиял, и ночь предо мною... И ввергли меня в бездну кромешную».

Монах молился так долго, что у Махары заныли колени. Он все пристальнее поглядывал на усердного богомольца, но не мог его опознать.

Народ постепенно прибывал. Вновь пришедшие зажгли свечи перед иконами, и в церкви стало много светлее. Теперь четко обрисовывались сутулая спина незнакомца, его тыквообразная голова и тонкая шея. Только глаза оставались скрытыми под нависшими мохнатыми бровями. Как будто ночь глядела из его глаз.

Наконец хилый старик встал и подошел приложиться к иконе богородицы.

Махара впился в него взглядом. Монах был безобразно рыжий, из ноздрей его тонкого носа торчали огненного цвета волосы.

Когда он посмотрел в сторону Махары, тот инстинктивно сделал земной поклон.

Из алтаря вышел долговязый священник с большими подсвечниками в обеих руках.

Дьякон стал на амвоне и загремел:

— Внемли, боже, молитве моей и не отринь мольбу мою...

Священник выступил вперед, и свет от свечей в его подсвечниках озарил коленопреклоненных молящихся перед амвоном.

Махара больше не поднимал головы с пола. Он почувствовал, что рыжий монах, встретившись с ним взглядом, заподозрил неладное. Когда священник ушел в алтарь, монах отпрянул от иконостаса и, пройдя через толпу молящихся, быстрым шагом направился к западным дверям.

Махара в одно мгновение прервал молитву и очутился за его спиной.

Рыжий хотел выйти из церкви, но ему преградил путь стоявший за порогом чухча. Он метнулся обратно и столкнулся грудь с грудью с Махарой.

— Не наступи на мои мозоли, ходи осторожней, монах! — грозно крикнул Махара. Он схватил незнакомца за тонкие, как веретено, руки и с силой толкнул его через порог.

— Откуда грядешь, отче? — спросил он шипящим полусшепотом.

Монах взглянул исподлобья на стоявшего рядом с Махарой Маркоза.

— Еду из Хандзтийского монастыря, раб божий инок Дорофей.

— Куда тебя несет?

— В Тирский монастырь помолиться.

— А что ж ты говорил, что едешь в Иерусалим? За Кавкасиони, что ли, перенесся Иерусалим?

Монах замялся.

— Я... я хотел сперва побывать в Тирском монастыре, а после в Иерусалим.

— Это зачем? Захотела твоя окаянная душа вкусить райского блаженства?

— Райское блаженство всем на потребу.

— Ладно. Но если ты собрался в Иерусалим, то как же попал в Начармагеви?

— Отсюда недалеко встретился мне один рыжий человек и сглазил моего мула...

— Ой-ой! Твоего мула сглазил!.. Выходит, нашелся кто-то дурней тебя.

Тем временем вечерня отошла, и выходившие богомольцы с любопытством прислушивались к разговору.

Махара приказал чухчам отвести незнакомца в начармагевскую темницу.

Допрос монаха продолжался до полуночи, но от него не могли добиться, кто он такой.

Не действовали ни угрозы, ни уговоры. Чухчам надоели его запирательства, и они, не спросив разрешения у Махары, решили его сечь.

Когда повалили его на пол, чтобы оголить, из-за пояса шаровар выпал ятаган.

После этого тщательно обыскали choху монаха и нашли маленький свиток без адреса и без печати.

Махара развернул свиток и попытался прочесть поставленные в беспорядке буквы, но ничего не понял.

Стоявшие в непонятной последовательности буквы были выписаны чьей-то незнакомой рукой.

Махара понял, что это тайнопись. Он провозился с ней всю ночь. Пробовал прочесть по-арабски справа налево, читал акростихом, пропускал гласные, потом согласные, соеди-

нял слоги вверх и вниз, наискось и накрест. Долго у него ничего не выходило.

Перед рассветом мелькнула новая догадка.

Он переменял свечу в подсвечнике и наконец с трудом разобрал написанное.

Հ Ե Յ Յ Յ Ի Գ Դ Ս Դ Ն
Գ Գ Դ Ե Ի Օ Գ Կ Կ Կ Կ Կ
Յ Յ Գ Գ Գ Գ Կ Կ Կ Կ
Գ Կ Գ Գ Գ Կ Կ Կ Կ Կ
Ե Ե Ե Կ Կ Ս Գ Գ Գ Գ Գ Կ
Գ Գ Գ Գ Գ Գ Կ Կ Կ Կ Կ
Կ Գ Գ Գ Գ Գ Կ Կ Կ Կ
Գ Կ Կ Կ Կ Գ Գ Կ Կ Կ Կ

Махара был поражен и потрясен.

Схватив свиток, он бегом направился в Рконскую башню.

* * *

Когда Георгий Чкондидели дочитал до конца донесение Арамаиса Аршаруни, царь Давид встал и некоторое время молча ходил по дарбази. Потом он остановился перед сидевшим в кресле Георгием Чкондидели и сказал:

— За мучения Джоджики сельджукам будет воздано сторицей.

Чкондидели сидел нахмурившись. После недолгого молчания царь спросил:

— Когда ты ждешь Бешкена Джакели, владыка Георгий?

— По моим расчетам, если не сегодня, то завтра Бешкен должен быть здесь.

Рассветало.

Царь стоял у бойницы и смотрел на завешанное тучами небо.

— Вчера ночью был необыкновенный ливень, — сказал Чкондидели. — Нианиа и Джонди поднялись ко мне, вымокшие до нитки...

Начармагевский замок еще спал. Кое-где показывались совершавшие обход караульные. Слышалось шлепанье туфель мандатуров. Из загонов зверинца доносился крик павлина.

Вдруг мирная тишина была нарушена боем барабанов и звуками труб.

Георгий Чкондидели поднялся, подошел к бойнице и сказал:

— Как видно, приехал Бешкен...

Во двор замка вошел огромный воин в латах, за которым следовали семь других, также в полном вооружении. Вместо Бешкена глазам Георгия Чкондидели представился Кариман Сетиели со своими чухчами.

Через несколько минут великан в латах показался в дверях дарбази и почтительно приветствовал царя и первого визиря.

Давид быстро подошел к начальнику чухчей и спросил:

— Что нового скажешь нам, Кариман?

— Я прямо с дороги, государь. На прошлой неделе я послал на разведку в Ташири двенадцать чухчей. Шестеро вчера возвратились в Мухадгвердскую крепость.

В Ташири по всем дорогам движутся на север сельджукские войска.

В Самшвилде идет конница. Недавно через руставский брод перешло двенадцать тысяч пеших и разбили лагерь перед стенами Руставской крепости.

Уже месяц среди руставских пастухов живут трое передетых чухчей. Они сообщили: «В Зедазени по ночам приходят сельджукские войска...»

Царь велел Кариману позвать дворецкого. Сонный, еще не пришедший в себя дворецкий испуганно выслушал приказ царя:

— Немедленно разбуди Нианию и Джонди.

Дворецкий вышел. Вошел Бешкен Джакели и с ним трое джавахетских азнауров.

Царь поцеловал Бешкена и поздоровался с азнаурами. Еще не закончились взаимные приветствия, как появились Нианиа и Джонди, на ходу застегивавшие панцири.

Царь пристально посмотрел в глаза спасаларам и сказал:

— Из доклада Каримана ясно, что наши враги собираются напасть на нас, соединившись с Дзаганом.

Мне не пристало марать свой меч в крови предателей.

Нианиа с двумя тысячами абхазских лучников начнет наступление из Церовани и обложит Зедазени с востока. Джонди станет в Схалтба. Я и Бешкен пойдем на Нареквави и там станем лагерем...

Царь не закончил фразы, так как в дарбазе ворвался запыхавшийся Махара и передал Георгию Чкондидели свиток, отобранный у рыжего монаха.

— А ну-ка прочти, владыка Георгий! — воскликнул Махара.

— Тайнопись, — произнес Чкондидели.

Царь внимательно рассмотрел свиток.

— Ты ведь, наверное, уже прочел, Махо? — спросил он.

— Конечно, прочел, но промучился всю ночь.

— Как же ты нашел ключ?

— Долго бился понапрасну; наконец попробовал грузинский алфавит в обратном порядке, и вот что у меня получилось:

«Я потерял надежду на помощь сельджуков и поэтому просил царя о примирении. Теперь султан прислал войско.

Я и Ахсартан выступаем в Зедазени. Пятеро придут к вам, трое возвращайтесь. Короной Багратидов будем тебя венчать в Мцхета».

Пока Махара рассказывал царю, как он поймал монаха, Чкондидели проверял тайнопись.

— Не обозначено, от кого и кому письмо. Однако не может быть сомнений, что это Рати пишет Липариту, — сказал царь.

Чкондидели спросил:

— Монаха еще не допрашивали?

— Били нещадно, но он не проронил ни звука.

В темницу Башни теней послали Каримана Сетиели.

— Все понятно, но что может означать — «пятеро придут, трое возвращайтесь»? — заметил царь.

— Под тремя подразумеваются Ката, Липарит и Иоанн Дукидзе. Объявить о своих планах Дедисимеди Рати, как видно, не решается. А кого он понимает под «пятью», я тоже не понимаю, — сказал Махара.

Когда Георгий Чкондидели громко перечитал письмо, царь взял у него свиток и передал его Махаре:

— Хорошо, что Рати не запечатал письмо. Заклей его опять, Махо, и как-нибудь перешли Липариту. Посмотрим, что будет делать эта старая лиса. Мы сейчас уезжаем, а ты придумай какую-нибудь болезнь. Только смотри...

На лице Махары изобразились огорчение и озабоченность.

— Не придумаю, как я смогу передать. Как бы не возбудить у него подозрения! Как ты думаешь, быть может, лучше, если дворецкий подбросит письмо у порога его дарбази?

— Нет, так не годится, Махо. Такие ли дела ты обделывал! Сними с этого грязного монаха рясу, обряди в нее какого-нибудь низкорослого чухчу и пошли его передать свиток,— сказал царь, удерживая улыбку.

Махара колебался и пробовал настаивать: не лучше ли ему отправиться с Нианией Бакуриани, а в Начармагеви может остаться Кариман Сетиели.

Но на этот раз и Георгий Чкондидели высказался за то, что в Начармагевском замке необходимо оставить Махару.

На рассвете пришел Кариман Сетиели. Пленник, привезший письмо, оказался монахом Беция, посланным Рати из Руставской крепости к Липариту.

* * *

Солнце еще не взошло, когда подступы к Начармагевскому замку были наводнены войсками. Из башни Ркони было видно непрерывное движение войск по мохисской и начармагевской дорогам. Шла джавахетская и самцхийская конница.

Звуки труб и ржание лошадей разбудили эристава Липарита.

Сначала он наблюдал это зрелище из своего дарбази, потом быстро накинул джубу и вышел в коридор. Ему хотелось разыскать Махару, но он опасался попасться на глаза царю.

Поразмыслив, Липарит наконец решил пойти к императрице Мариам, полагая, что шум и суматоха в замке не могли не разбудить ее.

В волнении он подошел к покоям Мариам и осторожно постучал в дверь.

Высунулась лысая голова Цинцилука. Лицо его выразило изумление столь ранним визитом клдекарского эристава.

— Что случилось? — спросил он шепотом.

— Разбуди императрицу! — сказал Липарит на ломаном греческом языке.

Долго стоял эристав перед запертыми дверями. Когда снова раздался частый бой барабанов, он поспешил к бойнице в конце коридора и стал смотреть на конницу, приближавшуюся с запада.

Порывы ветра врывались в Начармагевский замок, и на горах собирались дождевые тучи.

Липарит подумал, что Цинцилук, может быть, ищет его, чтобы пригласить к императрице. Он отошел от окна и направился по полутемному коридору к покоям Мариам.

Перед ним мелькнула тень тщедушного человека, семенившего мелкими шажками. Липарит погнался за ним, приняв его за дворецкого.

— Ну, что, Цинцилук? Императрица меня не звала?

— Я не Цинцилук, — ответил тот.

Липарит подошел ближе и увидел Махару.

— Что случилось, Махо? Не Бархиарок ли на нас напал?

— На земле мир, и в человецех благоволение.

— Если такая благодать, то что же означает это скопление войск, Махо? — умоляюще спросил Липарит.

— Нашим войскам вход в Начармагевский замок не заказан.

— Конечно, не заказан, но... Мне, верно, показалось...

— А что особенное случилось? Бешкен Джакели пришел с джавахетскими войсками, вот и все.

— Быть может, царь Давид назначил маневры?

Махара торопился в башню Ркони и, желая как-нибудь отделаться от эристава, ответил:

— Да, маневры, эристав Липарит, маневры...

Липариту страстно хотелось догнать Махару и вызвать его на долгую беседу, но безбородый скрылся в дверях зеленого дарбази.

Не успел Липарит дойти до покоев императрицы, как перед ним опять мелькнула тень тщедушного человека. У эристава явилась мысль: «Наверное, Махара обошел с другой стороны и хочет зайти к Мариам».

Липарит обрадовался и ускорил шаги. Вместо Махары он наткнулся на какого-то монаха в черной рясе и скуфье.

Увидев эристава, чернорясый упал на колени и стал ловить его правую руку.

Липарит заставил его встать и спросил:

— Кто ты такой и что тебе нужно?

Монах зашептал:

— Я инок Шуамтийского монастыря Дорофей.

Затем он продолжал шепотом и скороговоркой, опасливо оглядываясь по сторонам:

— Я принес тебе письмо от твоего сына Рати. Всю ночь я бродил вокруг замка. Мне еле удалось подкупить сторожа Башни теней.

Нужно многое тебе рассказать, но я должен торопиться, эристав над эристами, пока не сменили этого сторожа.

Сказав это, он сунул в руки Липариту свиток.

Липарит ворвался в свой дарбази и дрожащими руками развернул послание сына. Прочитав, он, как ошпаренный, вылетел в коридор и погнался за монахом.

Эристав подумал: «Какое счастье, что в коридоре никого не было!»

Он почти бегом мчался по бесконечному коридору. Через окно он увидел, как монах бежал по лестнице, и было слышно шлепанье его опорков.

Липарит вернулся к себе и снова и снова перечитывал свиток.

Теперь ему уже не нужна была императрица Мариам. Он вбежал к Иоанну Дукидзе.

Дукидзе раскинулся на тахте, рот его был раскрыт, и он спокойно храпел. Липарит растолкал спящего деверя. Тот вскочил и со сна испуганно вскрикнул:

— Что случилось?

— Тише, молчи... тсс... — прошептал Липарит. — Прочти это и не говори ни слова.

Иоанн протер ладонями заспанные глаза, долго разбирал тайнопись и наконец воскликнул:

— Настало наше время! Радуйся, эристав над эристами!

— Тише! — снова цыкнул Липарит.

— Все хорошо, но как мы с тобой уйдем из этого проклятого замка?

— Ты решай то, что тебе поручено, а как отсюда выбраться, предоставь решить мне. Я так тебя перенесу, куда нужно, что солнце не успеет двинуться на небе.

Иоанн сказал:

— Я всю ночь не спал, слушал, как шли войска. Только под утро прилег, чтобы дать отдых глазам, но сон меня одолел.

Одно только смущало Иоанна — как уговорить Катю бежать из замка? Липарит молчал, потому что и сам не знал, как ответить на этот вопрос.

* * *

В один миг нарушилась невозмутимая идиллия Начармагевского замка. Цинцилуку не пришлось будить императрицу Мариам. Звуки труб и барабанов рассеяли ее сон, она вскочила и неодетая подбежала к бойницам.

С возраставшим изумлением смотрела она на палатки, разбитые на берегу Лиавхи, и на шедшую по равнине конницу. За одну ночь Начармагевский замок превратился в военный лагерь.

За горами загрохотал гром. Вихрь погнал дождевые тучи — и хлынул ливень.

Слышался стук множества копыт и конское ржание. Вдруг чаще забили барабаны. У главных ворот конюхи подвели коней эриставу Джонди и Ниании Бакуриани. Они сели на иеменских жеребцов и ходой, называвшейся у грузин волчьим шагом, направились по мухранской дороге. За ними следовал небольшой отряд.

Сердце императрицы тревожно сжалось.

Куда поехали под проливным дождем спасалары?

Взволнованная Мариам не спускала глаз с сидевшего на вороном жеребце Ниании Бакуриани.

Ей мерещилось:

Время повернуло вспять. Воскрес Артаваз Толобели и мчится в Агарийскую битву...

Она решила немедленно одеться и идти в башню Ркони к царю Давиду.

Вошел Цинцилук:

— Эристав Липарит просит разрешения посетить тебя, августа.

«Наверное в Начармагевском замке происходит что-то ужасное, иначе Липарит не попросил бы в такой ранний час, чтобы я его приняла», — подумала императрица.

— Что случилось? Не сельджуки ли на нас напали? Ты что знаешь? — спрашивала она Цинцилука.

Цинцилук повел плечами:

— В замке большой переполох, августа. Мандатуры спрашивают друг друга, но никто ничего не знает...

Бледная Дедисимеди вошла безмолвно, как тень, прильнула к груди императрицы и зарыдала.

— Что случилось? — спросила Мариам.

— Никто не знает, что случилось, но у всех такие лица, точно в доме покойник. Только что в Рконскую башню поднялся главный коңюх, — верно, и царь Давид выступает в поход.

— Успокойся, мой ангел, — сказала императрица и поцеловала заплаканные глаза дочери эристава.

— Ночью меня разбудил гром, — сквозь слезы рассказывала Дедисимеди. — Я встала. Ливень не унимался, но всю ночь какие-то люди поднимались по лестнице в башню Ркони. Сабия говорит, что царь Давид и владыка Георгий не ложились спать и до утра о чем-то совещались. Я сама видела, что до рассвета у Чкондидели не тушили свет.

* * *

Мариам напрасно пыталась скрыть охватившее ее волнение. Она боялась, как бы царь Давид не уехал до того, как она успеет его повидать. Императрица попробовала одеться сама, бросалась во все стороны, открывала без толку шкафы, хватала то одно, то другое платье и отбрасывала: «Это с пуговицами, с ним много возни». Доставала другое, и все было не то, что нужно.

Одно ей казалось слишком парадным, другое — траурным.

Просунул голову Цинцилук. Всегда спокойная и сдержанная, императрица на этот раз вышла из себя и крикнула старику:

— Куда вы все пропали? Сейчас же пришли ко мне курупалатису Мелиту и Ефросинью!

Дворецкий вышел, ошеломленный такой встречей.

Мелита и главная горничная Ефросинья заставили себя ждать всего несколько минут, но императрица Мариам вышла из себя:

— Куда запропастились эти лентяйки?

— Они, наверное, еще спят, — спокойно заметила Дедисимеди.

— Нашли время спать! — горячилась Мариам.

Наконец появились непричесанные Мелита и Ефросинья. Мариам крикнула им по-грузински:

— Оденьте меня сейчас же, скорей!

Гречанка взглянула на императрицу с изумлением.

— Что случилось? — спросила Мелита, когда приказание было повторено по-гречески, и кинулась открывать дубовый шкаф.

Одевшись, Мариам послала Ефросинью за Цинцилуком.

— Сейчас же иди в башню Ркони и доложи царю Давиду: императрица желает тебя видеть.

Цинцилук открыл дверь в коридор и вернулся в дарбазы:

— Тебя дожидается эристав Липарит, августа.

— Ох, я совсем о нем забыла!

Она быстро подошла к столу и крикнула Цинцилуку:

— Проси эристава над эриставами, но только предупреди, что я могу его принять всего на несколько минут.

Императрицу поразила бледность Липарита.

— Что случилось? Ты ничего не знаешь? Не султан ли на нас напал? — спросила она гостя.

— Ничего особенного, августа. Пришел Бешкен Джакели с войсками, и на Церованской равнине назначены маневры, — невозмутимым тоном ответил Липарит и тяжело опустился в кресло.

— Извини меня, дорогой Липарит! Не скучай без меня, я скоро вернусь. Побеседуй с дамами, — сказала императрица.

— Куда ты идешь в такой ливень, августа? — спросил удивленный эристав.

— Мне нужно поговорить с Давидом, я сейчас же вернусь.

Как раз в эту минуту послышалось конское ржание, щелканье плетей и бой барабанов. Императрица выглянула в окно.

В Начармагевском замке ударили в било. Под сплошным неудержимым ливнем неслись вскачь тысячи конников. Мариам и Дедисимеди узнали скакавших впереди царя Давида и Бешкена Джакели. Позади царя и эристава ехал Кариман Сетиели.

Липарит тоже встал и, не спуская глаз с царского шлема цвета коршуна, следил за ним до тех пор, пока царь со своим войском не скрылся в туманной дали.

* * *

Нианиа Бакуриани и Джонди еще стояли лагерем в Церовани, когда туда прискакали царь Давид и Бешкен Джакели.

Царь изменил первоначальный план наступления.

Эриставу Джонди с тремя тысячами лучников было приказано пройти пять парсангов на север от Церовани, оставить справа Херкскую крепость, дойти до Лочинского ущелья и здесь преградить дорогу сельджукам и кахетинским войскам, шедшим из Рустави в Зедазени.

Нианиа Бакуриани должен был не пускать Дзагана с его войском через Арагви, а если удастся его отбросить дальше, то обложить с запада Зедазенскую крепость.

Царь был отлично осведомлен о малочисленности херкского гарнизона. Бешкену Джакели он велел взять камнеметы и тараны для осады Херки.

В задачу Бешкена также входило отрезать Херки от Зедазени и обложить Зедазени с востока.

Сам царь с тысячью отборных конников и картлийскими войсками должен был разбить лагерь в лесах Нареквави.

*

* * *

В Схалтба, в тылу Ниании Бакуриани, появились дозоры эристава Дзагана. Они нагло напали на дозоры Ниании, а потом рассеялись в лесах и ушли к Арагви.

* * *

Дзаган и царевич Ахсартан условились сразиться с царскими войсками в Церовани, потому что трудно было найти лучшее место для действий конницы и пехоты, чем Церованское поле.

Однако планам союзников воспротивился пришедший с сельджукским войском из Ганджи амир Гусейн бен-Исхак.

Учитывая, что руставский гарнизон состоит наполовину из сельджуков, Гусейн обращался с царевичем Ахсартаном и Рати Орбелиани пренебрежительно. Этому способствовало и то, что между последними не было полного согласия.

Гусейн на каждом шагу давал понять, что он — представитель султана Ирана и не-Ирана и поэтому царевич и эристав должны ему подчиняться.

Поседевший в боях амир не доверял ни легкомысленному Ахсартану, ни опрометчивому Рати.

Он держался правила, что у нападающего должен быть обязательно перевес сил над обороняющимся. Поэтому он хотел дожидаться в Рустави прихода из Самшвилде уже находившихся в пути двенадцати тысяч лучников.

Наконец Ахсартану и Рати удалось с большим трудом уговорить амира Гусейна послать в Зедазени вместе с двумя тысячами ках-эретцев три тысячи сельджукских копьеносцев.

Эристав Дзаган с нетерпением поджидал союзников, чтобы приступить к решительным действиям, но амир считал неосторожным посылать сразу многочисленное войско.

Поэтому посылали в Зедазени каждую ночь по одной тысяче воинов.

Для накопившихся сельджукских войск Зедазенская крепость была слишком тесна, и они разбили лагерь в лесу, подходившем к самым ее стенам.

Дзагану было ясно, что Давид не двинулся бы в поход с малыми силами, и его беспокоила малочисленность приходивших подкреплений.

* * *

Царь еще был в пути к Церовани, когда к нему явились Гогилы Хоргай и три перебежчика из Тбилиси и подробно доложили о всех пополнениях зедазенского гарнизона.

* * *

К зедазенскому эриставу тоже пришел лазутчик и сообщил, что царь с войском выступил из Церовани.

Дзаган ждал со дня на день Ахсартана, Рати и амира Гусейна. Наконец он решил: «Если я пропущу царское войско через Арагви, Зедазенская крепость не устоит, и тогда мне несдобровать. В этом случае даже помощь союзников окажется запоздалой».

В Зедазенской крепости у Дзагана не было запасов на случай длительной осады. Это тоже побуждало его не мешкать.

Расчет эристава был таков: на два-три дня сопротивления царю у него сил хватит, а тем временем подспеет помощь.

После недавних дождей вода в Арагви поднялась и река местами вышла из берегов. Перевести через нее войско при этих условиях было нелегкой задачей.

Владелец Зедазенской крепости долго колебался и наконец выбрал для переправы Олений брод.

Вода еще не дошла до брюха коню Дзагана, как примчались дозоры, преследуемые воинами Ниани Бакуриани. Дзаган тотчас повернул коня обратно к берегу, поднялся на скалу и увидал блестевшие вдали копыта передовых отрядов противника.

Нианиа не терял времени, и по его приказу сотня воинов бросилась в разлившуюся Арагви.

Дзаган послал им навстречу вдвое больший отряд. Долго они бились в реке. Несколько раненых и убитых унесли волны Арагви.

Нианиа отозвал своих воинов обратно на берег. До вечера обе стороны без толку пускали друг в друга стрелы.

На следующее утро Нианиа опять бросил в Арагви уже три сотни лучников, но как только они приблизились к левому берегу, повернул их назад.

Около двухсот сельджуков разделись, повесили на спину луки и колчаны, взяли ятаганы в зубы и попытались переплыть реку. Воины Ниании засыпали их стрелами, и трупы их понесла Арагви.

Тогда Дзаган въехал на пригорок и приказал своим конникам броситься в реку.

Когда они выбрались на правый берег, Нианиа прищиприл своего коня. После короткой схватки он вдруг повернул со своими войсками к Нареквави.

Конница Дзагана кинулась его преследовать и гнала до Нареквави. Достигнув болот, в которых мы теперь иногда охотимся, Нианиа круто повернул коня и крикнул своим:

— Поворачивайтесь и мечи вон!

С неимоверной быстротой абхазские лучники бросились на сельджуков и кахетинцев, убили передовых и погнали неприятеля в сторону Арагви.

Удалец Дзаган, увидав, что его всадники на правом берегу обращены в бегство, воинственным криком остановил бежавших у Оленьего брода. Пока не опустились ночные тени, кахетинцы и сельджуки яростно сражались.

Прибавило им стойкости и то, что они испытали трудность переправы через Арагви и поэтому отступление тем же путем их не соблазняло.

Царь знал о ходе сражения от непрерывно приезжавших гонцов. Видя, что Ниания Бакуриани не удастся опрокинуть конницу Дзагана в реку, он приказал Бешкену Джакели продвинуться на два парсанга к северу, там переправиться через Арагви и спуститься левым берегом до Оленьего брода.

Бешкен Джакели пошел на север по реке Нареквави и, пройдя три парсанга, переправился через Арагви и спустился до Херки.

Увидев приближающихся врагов, херкский цихистав вывел свой гарнизон и сразился с Бешкеном на широкой равнине. Оставив на поле битвы более двухсот воинов, он вынужден был спешно вернуться в крепость и еле успел затворить за собой ворота.

Бешкен Джакели отделил для осады Херкской крепости небольшой отряд под начальством азнаура Мурджикнели, вооруженный камнеметами и таранами, а сам с остальным войском поскакал к Оленьему броду.

Дзаган это заметил и немедленно послал гонцов в Зедазени, требуя подкрепления в три тысячи сельджукских лучников. Вдоль левого берега до самого монастыря Джвари он расставил конников.

Три тысячи лучников переправились только к рассвету, а сельджукские копьеносцы встретили Бешкена Джакели.

Кровопролитный бой шел у Оленьего брода на обоих берегах.

* * *

Царь не имел намерения участвовать в сражении. Но когда стало ясно, что Ниания Бакуриани не в силах отогнать Дзагана на другой берег Арагви, он снялся со всем войском, оставив в лесах Нареквави одну лагерную прислугу.

Как только до сельджуков, сражавшихся у Оленьего брода, дошла весть, что царь Давид идет с войском, они перестали биться с лучниками Бешкена Джакели и помчались обратно к Зедазенской крепости.

Кахетинцы, потеряв надежду на помощь сельджуков и видя, что царское войско уже совсем близко, устремились туда же. Не слушая команды, они пустили своих лошадей в Арагви и на левом берегу вступили в бой с джавахетцами Бешкена Джакели.

Отряды Джакели были растянуты на большом расстоя-

нии, и кахетинцам с трудом, но все же удалось прорваться к Зедазени.

В воротах крепости произошла невообразимая свалка. Сельджуки и кахетинцы теснили друг друга, отбиваясь в то же время от преследовавших их по пятам джавахетцев.

Сельджуки хотели запереть за собой ворота, но враг сидел у них на плечах, и бой возобновился на крепостном дворе.

Дзаган, покинутый и своими и сельджуками, во главе небольшого отряда конницы с боем подошел к зедазенскому подъему. Тут он очутился между двух огней: слева на него наседали Бешкен Джакели, сзади и справа — переправившийся на левый берег Нианиа Бакуриани.

Трижды кидался эристав к воротам Зедазени и трижды был отброшен, но в конце концов с остатками отряда ворвался в крепость, уже наполовину занятую джавахетцами.

Однако борьба продолжалась еще пять дней. Стесненные со всех сторон сельджуки сражались отчаянно.

Царь Давид еле сдерживал боевой задор Бешкена Джакели и Ниании Бакуриани.

Он умерил пыл Бешкена, предложившего взять из Херки камни и снести Зедазени.

— О чем ты думаешь, Бешкен? Ведь под развалинами башен погибли не только сельджуки, но и кахетинцы и эретцы. А кроме того, Зедазени пригодится и нам.

Сам царь избегал участия в боях, не желая обогреть меч Багратидов братской кровью.

Рассвирепевшие сельджуки сражались с неистовством.

Уже подходил к концу четвертый день, когда Гогилой Хоргай взобрался на стену башни с царским знаменем в руках и начал кричать:

— Кахетинцы и эретцы, бросайте оружие, государь вам обещает помилование!

Тогда из кахетинских рядов вышел панкисский хевистав Торгвай, бросил в сторону меч и обратился к первому встретившемуся десятнику:

— Хочу бить царю челом.

Его примеру последовали панкисцы и херковцы, жинвальцы и челетцы, уджармцы и бочормцы.

Три хевистава и три эретских азнаура также перешли к новому хозяину Зедазени, ибо разнеслась весть, что еще накануне ночью эристав Дзаган со своими приближенными бежал из крепости через потайной ход.

В тот же вечер к Ниании Бакуриани явился молла — сельджуки просили у царя аман.

* * *

Когда вывели пленных и царь Давид вошел в крепость, ударили в било и по приказу вновь назначенного цихистава Ниании Бакуриани на самой высокой задазенской башне было водружено знамя Багратидов.

* * *

Лазутчики подвели Рати Орбелиани, сообщив, что царь Давид с огромным войском направился к Руставской крепости.

Рати горел нетерпением как можно скорее двинуть сельджукско-кахетинские полчища и упиться кровью Багратидов. Однако стоило ему и Ахсартану назначить день выступления, как они неизменно наталкивались на сопротивление амира Гусейна бен-Исхака, который поджидал войска, шедшие из Ганджи и из Ташира.

Между тем Дзаган слал из Зедазени гонца за гонцом, требуя помощи.

Опять назначали день, и опять сельджукский амир возражал, ссылаясь то на малочисленность войск, то на неподготовленность лошадей, то на недостаток оружия, которое должны прислать.

Однажды вышедший из себя Рати позвал Долгого Георгия и, указывая на амира Гусейна, стал кричать:

— Переведи ему — напрасно он, неверная собака, трусит перед этим жалким царем Давидом и тянет с походом в Зедазени. Если он согласен идти с нами, пусть идет, если нет, мы управимся без него.

Долгий Георгий, конечно, постарался смягчить слова своего господина и не перевел ни ругани, ни обвинения в трусости, но раздраженный тон Рати был достаточно красноречив и понятен для амира, не знавшего ни одного грузинского слова.

Амир почесал затылок выкрашенными хной ногтями и сказал:

— Вот что, верзила, переведи твоему длинноному и короткоумному господину, что я опасаюсь не царя Давида, а поражения.

Объясни ему: нет смешнее на этом свете человека, хвастливо идущего на войну и возвращающегося битым.

Долгий Георгий смягчил так же и ответ амира.

Наконец согласились выступить из Рустави в Зедазени как раз в тот день, когда Нианиа Бакуриани вышел из Церовани к Арагви.

* * *

В Руставской крепости продолжались бесконечные пререкания Рати и Ахсартана с амиром Гусейном бен-Исхаком. Ахсартан не соглашался, чтобы центром войска командовал сельджукский амир, так как понимал, что в случае победы над царем Давидом амир Гусейн не выпустит Зедазенскую крепость из рук.

Сам Ахсартан славился искусством стрельбы из лука на охоте, но тяготы и лишения войны были ему не по вкусу. Желая поскорее с ними покончить, он настаивал, чтобы центром командовал Рати Орбелиани.

Рати и его азнауры смотрели свысока на презренного простолюдина бен-Исхака, бывшего тулухчи.

Во время этих споров амир Гусейн несколько раз до того выходил из себя, что готов был уйти с войском обратно в Ганджу.

В кругу своих приближенных он высмеивал Ахсартана и Рати: у иных больше дури в головах, чем воинов в их дружинах.

Однако, когда в Рустави пришли из Хорнабуджской крепости пять тысяч кахетинцев, он при виде этих загорелых и широкогрудых курчавых молодцов призадумался: лучше добровольно выступать самому, чем быть к этому принужденным другими.

Ахсартан и Рати в конце концов переспорили сельджука и навязали Гусейну командование левым крылом.

* * *

Эристав Джонди, как только перешел Арагви, выделил из своего войска триста лучников и приказал:

— Скачите до руставского поля, спрячьте коней в Лочинском ущелье и подожгите всю степь между ущельем и Рустави, как делают пастухи перед зимовкой.

Дал он и другое поручение:

— Пробреритесь ползком на поле и зажгите один за другим костры с севера и с запада от Лочинского ущелья до подступов к Руставской крепости.

* * *

Несчетные отары овец со своими пастухами еще мирно спали в загонах, когда по густой и высокой траве расползлись языки пламени.

Огонь вспыхивал, как раскаленная докрасна коса на наковальне, сливался в пылающую пелену, и языки пламени, извиваясь, как змеи, бежали к востоку, соединялись и то здесь, то там поднимались большими кострами.

Подобно громадным драконам с полыхавшими огненными гребнями они взвивались к небу.

Уже перешло за полночь. Луна освещала необъятное руставское поле.

Сельджукско-кахетинское войско двигалось на запад, как вдруг на поле у загонов завывли волкодавы. Начали блеять испуганные овцы, поднялся крик, затрубили рога.

Рати и Ахсартан сначала заподозрили, что траву по своему обыкновению зажгли пастухи.

Ахсартан пришел в неистовство — как они посмели это сделать! — но когда перед лошадьми метнулось несколько испуганных пастухов, он и Рати задумались.

Они попытались стремительно проскочить через пожарище, но лошади пугались огня и не слушались всадников. Кроме того, валившие валом с запада на восток отары запрудили поле, и продвигаться среди них удавалось с трудом.

Амир Гусейн сразу узнал испытанный сельджукский прием: он и сам не раз зажигал леса и пастбища, чтобы задержать вражеское наступление.

Поэтому он раньше других учел надвигающуюся опасность. Не скрывая тревоги, он тотчас послал гонцов к Рати в центр и на правое крыло к Ахсартану и настаивал идти к Лочинскому ущелью как можно скорее.

* * *

Когда царские войска заняли Лочинское ущелье во всю его длину, эристав Джонди разделил свои силы на три части. Азнауру Парджаниани он приказал, обвязав торбами

морды лошадей, чтобы не было слышно их ржания, выйти из ущелья на восток, по возможности скрываясь в лесу, и как только покажется правое крыло неприятеля, смело его атаковать.

Командование своим правым крылом Джонди поручил азнауру Георгию Панаскертели. Ему тоже было приказано обязать лошадиные морды торбами и скрытно пробраться к Руставской крепости по заросшему ольхой левому берегу Куры.

Сам Джонди с отрядом копьеносцев притаился в ущелье.

Сельджукско-кахетинское войско еще не прошло полпарсанга от Руставской крепости, как Георгий Панаскертели скомандовал садиться на коней и снять с них торбы.

Поднявшееся пламя пожаров осветило шедшую берегом Куры конницу, и сельджукские дозоры увидели ее.

Панаскертели обнажил меч и напал на левое крыло противника. Амир Гусейн не растерялся. Он сообразил, что среди сгрудившихся в степи овец невозможно сражаться в конном строю.

— Слезайте с коней! — приказал он своим воинам, соскочил на землю и сам напал на Панаскертели.

Рати Орбелиани стремился прорваться скорее к Лочинскому ущелью и выдвинулся вперед, не заботясь о связи с другими военачальниками.

Услыхав боевой клич, Ахсартан врезался в напиравшие отары и с криком устремился на помощь к амиру Гусейну.

Тем временем Парджаниани выбрался из лесу и оказался в тылу у Ахсартана и его хорнабуджских копьеносцев.

При свете пожара мелькали тени многих тысяч сражавшихся всадников, слышались боевые кличи, мешавшиеся с блеянием овец и коз, раздавался треск ломавшихся копий.

Рати и его азнауры повернули коней и поскакали на помощь к амиру Гусейну и царевичу Ахсартану.

Триалетцы не захотели спешиться и бились конные, но топтавшиеся в густой траве овцы бросались под ноги лошадям и всадники падали на землю.

Рати Орбелиани в каждом тяжеловооруженном воине искал царя Давида, зная, что царь не любит поднимать забрало и отличиться доспехами от своих спасаларов. При этом он усердно молился, чтобы бог обрек царя на смерть от его руки.

Эристав Джонди не бездействовал. Оставив в засаде в Лочинском ущелье две тысячи копыеносцев, он с остальными ударил в тыл повернувшему к востоку Рати с триалетцами.

Между тем к амиру Гусейну подоспела на помощь из Рустави туркоманская конница. Он с новыми силами обрушился на Панаскертели и оттеснил его к берегу Куры.

Затем он повернул на Парджаниани, заметив, что хорнабуджцы Ахсартана дрогнули под его натиском.

Как только передние ряды Джонди вступили в бой, из них двести закованных в броню латников спешили и яростно напали на конницу Ахсартана. Они перебили много лошадей и схватились с эретскими азнаурами.

Ахсартан дал шпоры своему громадному жеребцу и ринулся на врага, но сбившиеся в траве овцы метнулись к ногам коня. Непривычный к боям жеребец испугался и сбросил Ахсартана на землю.

Меченосец Ахсартана спешил и подвел господину своего коня.

Сельджукским и кахетинским всадникам мешали не только овцы, валом валившие в сторону Руставской крепости, но и сильный ветер, поворачивавший к востоку горячее дыхание пламени и едкий дым.

Все это мешало сельджукам и кахетинцам наступать развернутым строем. Разя мечами и копьями, они иногда не отличали своих от чужих.

В этой сумятице какой-то хорнабуджский копыеносец случайно убил коня под Ахсартаном. Царевич снова упал и вывихнул правое плечо.

Когда эретские азнауры опять посадили Ахсартана на коня, из густых облаков выглянуло поднявшееся солнце.

Ахсартан увидел, что эристав Джонди со своей дружиной неудержимо прорывается к нему. Он внезапно повернул коня к Руставской крепости, и вслед за ним помчались его азнауры.

Хорнабуджцы смешались и в беспорядке поспешили на восток.

Тем временем оправившийся Парджаниани снова напал на амира Гусейна и отбросил его к берегу Куры. Предоставив Панаскертели прикончить амира, сам он повернул в степь навстречу триалетцам.

Когда Рати получил весть, что правого крыла уже не су-

шествует, а амир Гусейн окружен, он решил, что несомненно в бою участвует сам царь Давид.

Параджаниани наружностью походил на царя Давида. Увидав его, Рати поднял неистовый крик и, опередив своих азнауров, первым бросился на передний ряд вражеской конницы.

Утомленные боем с сельджуками всадники Парджаниани не выдержали натиска и показали спины. Тогда Рати убедился в своей ошибке и стал искать царя Давида среди других тяжеловооруженных рыцарей.

Тут подоспели такверцы эристава Джонди и ударили в тыл триалетцам. Сбитые копыями кони первого ряда преградили путь триалетским азнаурам, поскакавшим на нового врага.

Опять загремел боевой клич Рати. Долгий Георгий размахнулся могучей рукой, и от его меча три всадника полетели на землю. Затем он схватил копье, в одно мгновение перебил передовых такверцев, поскакал на Джонди и пронзил его коня.

В ту же минуту перед Джонди оказался с поднятым мечом Рати Орбелиани. Соскользнув на землю быстрее мелькнувшей тени, Джонди вонзил копье ему под грудь.

Рати упал с седла, но правая нога его застряла в стремени. Испуганный конь, влача всадника, помчался по охваченному огнем полю.

Центр союзных войск пришел в расстройство. Мамиствала Махароблидзе и Цитлосан Дукидзе, отчаянно крича, три раза собирали всадников и пытались дать отпор противнику. Тогда Джонди вскочил на запасного коня и погнал триалетских азнауров с их воинами, как баранту.

Покончив с центром, эристав Джонди ударил на отступавших к Куре сельджуков. Амир Гусейн сначала храбро сопротивлялся, а потом, не ища брода, перешел с остатками своего войска через Куру, и сельджуки скрылись в степях правобережья.

* * *

Всадники мчались по горевшему полю. Блеяли овцы, и отары их текли на восток. Над руставским полем кричали беркуты и клевали разбросанные трупы...

Пожар не унимался. Огненные языки лизали поле, и

вихри пламени, подобные драконам, взметались к низким облакам.

Долго триалетские азнауры везли положенное на бурку и истекавшее кровью богатырское тело Рати. Наконец Цитлосан спрыгнул с коня и сказал:

— До Рустави ему не дотянуть.

Азнауры спешили и, сменяя друг друга, тащили своего господина. Впереди показался огонек какого-то загона, и они направились к нему.

— Воды! — стонал Рати.

Никто не дал ему напиться.

Вошли в вонючую землянку и уложили раненого на овчины, взятые у пастухов.

— Воды! — опять простонал Рати.

Когда и здесь никто не откликнулся, он открыл глаза и спокойно сказал:

— Раз вы жалуете для меня воды, то выполните, по крайней мере, мою последнюю волю.

Он взглянул на молившегося на коленях монаха Евтихий и велел принести евангелие.

Монах долго шарил рукой в порванной рясе, наконец достал книжицу в переплете соломенного цвета и положил на землю.

— Обнажи меч! — приказал Рати меченосцу.

Долгий Георгий обнажил меч и положил на евангелие.

Тогда Рати окинул взглядом опустившихся на колени Цитлосана Дукиддзе, Иа Цихелаиддзе, Мамиствалу Махароблиддзе и слабеющим голосом произнес:

— Поклянитесь, что царь Давид заплатит кровью за мою смерть.

Азнауры вскочили и выхватили мечи.

— Клянемся! — воскликнули они в один голос.

Из темноты выступила тень черного монаха. Евтихий читал над умирающим отходную...

Были волкодавы, блеяли овцы.

На руставском поле полыхал пожар.

* * *

Царь Давид собрался в Начармагеви, когда к нему приехал из Зедазенской крепости Кариман Сетиели и доложил:

— Вчера вернулся из Шиомгвимского монастыря Сит-

кваи Кора, ездивший туда по моему поручению, и сообщил, что эристав Дзаган скрывается в монастырском марани.

На следующий день на рассвете Кариман Сетиели с чухами окружил Шиомгвимский монастырь. У большой давилни на разостланных, бурках спокойно спала упившаяся молодым вином свита Дзагана: три епископа — алавердский Виссарион, харчанетский Клавдий и ниноцминдский Амвросий — и пять эретских азнауров.

Дзаган не спал. Он, не снимая панциря, всю ночь бодрствовал и пил.

Когда монахи сказали ему, что монастырь окружен чухами Каримана Сетиели, он спрятался в огромной амфоре. Кариман велел его оттуда вытащить.

С пьяного сняли доспехи и отвезли в ту же темницу Начармагевского замка, где целый год томился в оковах Липарит.

* * *

В Начармагеви никто не подозревал, что туда привезли эристава Дзагана. Во дворце текла однообразная жизнь. О событиях в Зедазени и на руставском поле знали во всех подробностях только царь Георгий, Георгий Чкондидели и Махара.

Царя Георгия просили до поры до времени ничего не говорить Липариту и дамам, за исключением императрицы Мариам.

Каждое утро царь Георгий уводил Липарита и Иоанна Дукидзе в виноградник и угощал их молодым вином.

Царица Елена, Дедисимеди и Ката догадывались, что где-то происходят грозные события. Они и знавшая обо всем императрица Мариам коротали время за рукоделием и чтением книг.

Сюда не доносились тревожные слухи. В четырех башнях немолчно ворковали дикие голуби и жужжали насосавшиеся молодого вина пчелы.

Идиллическую тишину порой нарушали только рык затосковавшего льва или мяуканье гепарда.

* * *

Как-то Сабия, войдя с горой фруктов на подносе в покои императрицы Мариам, сболтнул:

— Знаешь, что я тебе скажу, августа? Оказывается, белокурые женщины веселее смуглых.

Императрица Мариам была не в духе и не ответила старику, но его слова вызвали у нее раздумье.

Гванце наскучили затянувшаяся болезнь Дедисимеди, ее постоянные головные боли и чтение псалмов. Она в один прекрасный день переселилась к куропалатисе Мелите, жившей в нижнем этаже Южной башни. Обе беззаботно развлекались — то ловили форель с рыбаками, то ездили на охоту с соколами, то по-мужски гарцевали верхом.

Они без умолку хохотали. Когда все обычные удовольствия им надоедали, они забирали старого Сабия, наряжались в ореховые и инжирные листья и охотились на удонов. Глядя на этих амазонок, Сабия бормотал по-гречески:

— Бабы ничто и никого по-настоящему не любят и неспособны на самопожертвование. Они, как коровы, переходят с пастбища на пастбище.

Куропалатисе Мелите эти нелепые афоризмы пришлось по вкусу. Она хохотала над ними и повторила их императрице Мариам. Императрица ей ответила:

— Смотри кто, дорогая Мелита. Женщины бывают разные. Одни похожи на коров, меняющих пастбище, а иные...

Мелита заинтересовалась:

— А иные, августа?

— Иные похожи на овдовевшую горлицу.

— Почему же на горлицу?

— Горлица любит в своей жизни только одного. Если безжалостный охотник убьет ее возлюбленного, она никогда не утешится с другим.

Присутствовавшая при этой беседе Гванца не упрекала Мелиту за легкомысленные слова и только подумала про себя:

«Какие глупости говорит эта гречанка».

* * *

Махара не мог заснуть до утра, когда после полуночи чухчи тайно втащили завернутого в бурку Дзагана и заперли его в подземелье Башни теней, приковав цепью рядом с мономом Беция.

На следующую ночь местумретухуцеси разбудил Махара и сообщил:

— Пять триалетских азнауров приехали во дворец с боль-

шими дарами и просят принять их. Они хотят бить челом царю Давиду.

Махара, услышав число «пять», встрепенулся.

Местумретухуцеси ввел пятерых и представил их:

— Молочные братья Дедисимеди, сыновья Хорешан.

Тут безбородый понял темные строки тайнописи: «Пятеро придут, трое возвращайтесь».

Он принял гостей с самой изысканной любезностью. Им были отведены два дарбази в Башне теней. Махара приказал, пока проснутся эристав и его семья, подать «дорогим гостям» завтрак и молодое вино — маджари.

Когда сели за стол, Махара потчевал азнауров телячьей лопаткой и арисой из молодого барашка. Подливая им маджари, скопец извинялся:

— Головная боль меня одолела, к сожалению, не могу с вами выпить.

Он осыпал похвалами предназначенных в дар царю текинских жеребцов и годовалых соколов.

Позвав ловчего, Махара поручил ему:

— Если наши дорогие гости захотят поохотиться, чтобы у тебя были готовы быстрые и сокольничие.

Когда в своё время Георгий Чкондидели рассказал царю Георгию и императрице Мариам о перехваченной тайнописи от Рати Орбелиани, царь и императрица отнеслись к его словам с недоверием, даже заподозрили, не дело ли это рук Махары и Каримана Сетиели. Сомнения их подкрепились тем, что на свитке не было ни обращения, ни подписи.

Что касается показаний монаха Беция, то, по их мнению, плети могли заставить монаха показать все, что хотел Кариман Сетиели.

Приезд пятерых молочных братьев рассеял сомнения.

Как ни упрасивал Махара царя Георгия пригласить Липарита и приехавших гостей к завтраку, царь отказался наотрез:

— Не только с этими негодьями, но и с самим Липаритом я отныне не преломлю хлеба.

Махара под предлогом мигрени все ближайшие дни не выходил из башни Ркони.

* * *

Дедисимеди мучилась бессонницей. Днем она неотлучно находилась в дарбази императрицы Мариам.

Хорошо зная обо всем, что происходило за стенами Начармагевского замка, Мариам своим чутким сердцем горячо отзывалась на судьбу несчастной девушки, втайне печалилась о ней и старалась ободрить, но слова утешения давались ей с трудом.

«Марс восторжествовал!» — горестно думала она.

Каждый вечер Сабия приносил поднос с горой винограда и инжира. Придя наутро со свежими фруктами, он уносил принесенные вечером, не спрашивая, почему к ним никто не прикоснулся.

Старик бормотал когда-то где-то вычитанные фразы:

«...И как уходят и не приходят назад реки, так же уходят дни, унося с собой частицу нашей души и нашего тела...»

В Начармагевском дворце действительно уходили дни, уходили под воркованье голубей и жужжание пчел, а девушка не спала ночи напролет, боясь кошмарных сновидений.

Придя на следующее утро в покои императрицы, главный факельщик ставил на стол поднос с фруктами и по стариковской забывчивости повторял сказанное накануне:

«...И как уходят и не приходят назад реки, так же уходят дни, унося с собой частицу нашей души и нашего тела...»

В субботу вечером императрица Мариам читала Платона и переводила его с греческого Дедисимеди.

Держа в руке книгу, подаренную Анной Комнен, императрица читала нараспев:

«...принять смерть ради любимого — это долг влюбленных, обязательный не только для мужчины, но и для женщины. Пример этого нам подала Альцеста, дочь Пелиаса, с радостью встретившая смерть ради своего возлюбленного...»

Дедисимеди сидела у императрицы до полуночи, слушая чтение. Когда она вернулась к себе, там было темно, потому что Сабия забыл зажечь свечи в канделябрах.

Девушка испугалась темноты. Она прошла в дарбази, где спали Липарит и Ката, и легла там.

После нескольких бессонных ночей она крепко уснула. На рассвете ее разбудил гулкий бас Липарита.

Она слушала с закрытыми глазами спор отца с матерью и не сразу поняла, о чем идет речь.

— ...Значит, ты отказываешься ехать с нами? Так? Ну что ж! Все равно мы поедem. Я не могу оставить в одиночестве моего единственного сына, когда он бьется со смертельным врагом.

— Ты губишь всех нас, Липарит, и погибнешь сам. Зажливаю тебя, не делай этого. Не губи свою семью.

— Из-за паршивой девчонки я не брошу единственного сына.

— Опомнись, Липарит! Не забывай, что царь Давид твой будущий зять.

— Какой там зять! Сочтены дни твоего Давида! Эх, глупая ты баба! Ведь ты читала письмо Рати? Султан Бархиа-рок прислал войска. Царя удавят в Зедазенской крепости.

Я лучше отдам мою дочь в наложницы водовозу, чем в жены распутному Багратиону.

Липарит встал, надел на голову шлем и шагнул к дверям.

Ката вскочила и упала к его ногам. Липарит переступил через нее и направился к выходу.

За дверями послышались быстрые шаги. В дарбази просунулась голова Иоанна Дукисдзе. Он шепотом сказал эриставу:

— Уже рассветает. Брось возиться с бабами. Кто спрашивает у них совета в делах войны!

Дедисимеди лежала неподвижно, молча слушая плач матери.

Когда наступило утро, она встала, не говоря ни слова, вышла из дарбази и поднялась на башню Ркони с твердым намерением обо всем сообщить Махаре.

На лестнице ее встретил Сабия.

— Махара чуть свет взял чухчей и куда-то уехал, в замок еще не возвращался.

Сабия это сказал, исполняя приказ Махары никого к нему не впускать.

Ужасная тайна тяготила душу девушки. В полдень Дедисимеди навестила императрицу Мариам, рассказала ей все, не утаив ни слова, и прибавила:

— Я обо всем этом расскажу царю...

* * *

На другой день главный факельщик Сабия охотился на удонов в зарослях орешника, напротив соколятника. Убравшись с головы до ног ветками, он водрузил на голову остроконечный колпак из инжирных листьев.

Удоды еще не выходили на кормежку. Поэтому Сабия стоял не шевелясь, держа в руке длинный шест, к которому была привязана петля.

С трепетом в сердце ждал Сабия появления удода, не спуская глаз с опушки орешника. Из загона доносился пронзительный крик павлина. Обычно невозмутимого Сабия он привел в раздражение: «Чего орет проклятая птица!» Вдруг он услышал поспешные шаги двух человек.

Хотя у Сабии с главным ловчим и главным табунщиком были самые приятельские отношения, но его пристрастие к необычной охоте было предметом их постоянных шуток и поводом для проказ. Они подкрадывались к нему, сдирали с него одеяние «царя лесов» и вырывали из рук шест или вспугивали удодов.

Услышав, что кто-то идет, Сабия подумал, что это подбираются к нему насмешники, и решил огреть их хворостинкой. Старик юркнул в ореховые кусты, спрятался в них и приготовился к нападению. Теперь, кроме звука шагов, слышен был тихий разговор.

Сабия осторожно выглядывал сквозь листья своего колапака, покрывавшего его голову и спускавшегося на лицо до самой бороды. Вдруг вместо ловчего и табунщика он увидел на тропинке двух рыцарей в коротких кольчугах. Они шли к соколятнику. На опушке орешника их поджидали еще пятеро.

Когда первые двое приблизились, Сабия узнал в них Липарита и Иоанна Дукидзе.

— Не советую тебе, Липарит. Душой твоей матери тебя заклинаю, не связывайся ты с этим соколом! Не все ли нам равно, каких птиц взять с собой? Лишь бы монахи и пастухи видели, что мы охотимся. На войне нам будет не до голубых соколов, — уговаривал Иоанн Дукидзе клдекарского эристава.

— Нет, нет! Чтобы я оставил царю Давиду моего голубого сокола! Чтобы Багратион охотился с моим соколом!

— Да где ему охотиться! Его удавят в Зедазени.

Липарит и Иоанн прошли совсем близко от убранного ветками старика, даже взглянули в его сторону и, ничего не заметив, направились по тропинке в соколятник.

Сабия забрался в самую чашу орешника, присел на корточки и стал смотреть, что будет дальше.

Вот что он увидел.

Липарит открыл дверь соколятника и вдвоем с Дукидзе вошел туда. Не прошло столько времени, сколько нужно че-

ловеку, чтобы произнести семь раз свое имя и фамилию, как они вышли, неся семь соколов.

Одних они небрежно держали зажатыми в руке, а других прижимали к груди. Затем они роздали соколов ожидавшим на опушке орешника пяти рыцарям. Каждый посадил сокола на левую руку, и все семеро направились по тропинке, которая вела к базиликам.

Когда охотники скрылись, Сабия снял свое зеленое одеяние и засеменял к башне Ркони. Поднявшись туда, он разбудил Махару...

* * *

Целый день Махара с чухчами, переодетыми монахами, шел по пятам семерых. Те казались увлеченными охотой на перепелов.

Самый младший из молочных братьев Дедисимеди Ардзукай был хромой.

Он шел впереди и бил палкой по бурьяну, поднимая дичь, на которую остальные по очереди напускали соколов.

Пройдя открытое начармагевское поле, охотники надели на соколов рубашки и пошли берегом Куры по аробной дороге в сторону Ксанской крепости.

Махара и чухчи медленно ехали за ними на мулах, не спуская с них глаз.

Махаре издали было хорошо видно, что двое — Липарит и хромой Ардзукай — шли с большим трудом. Поэтому вся компания часто останавливалась и отдыхала у пыльной дороги.

Начало смеркаться. Махара приказал одному из чухчей догнать охотников и, проезжая мимо, вызвать их на разговор.

Когда чухча в монашеской рясе поравнялся с Липаритом, клдекарский эристав приосанился и попросил:

— Молодой человек, одолжи мне твоего мула доехать до Мцхета.

Лжемонах стал торговаться. Махара с остальными чухчами подъехал ближе и услышал, что эристав предлагает «монаху» семь ботинатов.

Безбородый задержал своего мула около Липарита и невозмутимо сказал:

— Я за пять ботинатов подвезу тебя, старче.

Это было условным знаком. Чухчи в одно мгновение обнажили мечи и окружили охотников.

Липариту голос Махары показался знакомым, но в темноте он его не узнал. Нападение было так неожиданно, что он растерялся и даже не сделал попытки оказать сопротивление.

Когда спешившиеся чухчи перевязали пленникам руки, Махара подошел к Липариту и, взяв у него сокола, сказал:

— Ты что же это вздумал, змеиное отродье, — так я тебе и дам моего голубого сокола?

В БОЛЬШОМ ШАТРЕ

«Наконец мы дождались приезда эристава Гуарама в Шараган, — писал Стефаноз Цилканский Георгию Чкондидели. — Долгий путь очень утомил эристава. На следующий день он послал к половецкому хану в большой шатер епископа Серапиона, Аршаруни и меня, недостойного, прах ног твоего преосвященства.

Дьякон Севастий с половцем Шортаем внесли богатые дары — золотую и серебряную посуду, ковры, обезьяньи, бобровые и лисьи меха.

Половецкий хан принял нас в малом шатре вежливо, но сухо. Прежде всего он осведомился о здоровье царей Георгия и Давида, нашей благочестивой царицы Елены, царевича Деметре и всех царских родственников и близких, старейшин царского двора и спасаларов.

— Передайте вашему государю нашу благодарность за присланные дары, — сказал хан.

Потом он спросил:

— Докладывал нам наш главный шатерничий Улуса, что царь Давид поручил посольство к нам старому спасалару, владельцу большой крепости. Имени его Улуса не запомнил. Мы хотим знать, почему спасалар не соизволил сам прийти в наш дворец?

Мы ответили:

— Владелец большой крепости болен и лежит в постели. Как только он, с божьей помощью, поправится, он попросит, чтобы ты его принял...

Когда мы передали посланный тобой свиток, Шараганович велел позвать переводчика. Вошел лысый половец, которого я видел первый раз.

До сих пор, как только половецкий хан получал послание на греческом языке, для перевода звали во дворец меня или русского дьякона Алексея, который уже десять лет томится в неволе в Шарагане.

Лысый половец долго разбирал твою эпистолу, владыка Георгий, и наконец с большим трудом ее перевел. Я здесь научился половецкому языку и следил, правильно ли толмач передает содержание письма. Когда он начинал путаться или не понимал какого-нибудь слова, я ему подсказывал.

При этом я заметил, что Атраха Шараганович не верил моим поправкам, пока лысый половец не кивал головой, что, мол, это так.

Наконец послание твое было прочитано. Хан надвинул на брови расшитую золотом бобровую шапку и сказал:

— Теперь мы заняты походом на Русь. Мы надеемся, что Улуса скоро возьмет Киев. Чтобы отогнать русских от их стольного города до страны, где никогда не восходит солнце, нам нужно большое войско.

Пока Улуса не выполнит нашего наказа, мы своих воинов внаем не дадим. Пусть владетель большой крепости проживет у нас. Мы приказали нашему шатерничему, чтобы у гостей было вдоволь убоины, бураха и меда.

Шатерничий наш позаботится, чтобы в отведенных вам шатрах было тепло и удобно отдыхать и спать. Пусть посол царя Давида отдыхает, пока мы его не позовем к себе.

Когда я доложил эриставу Гуараму ответ Шарагановича на нашу просьбу, он опечалился, но лишь только я добавил, что хан был не в духе, лицо его просияло.

— Ты говоришь, он был не в духе? Это нам на руку, Стефаноз. Как видно, дела половцев идут неважно. Если русские князья одолеют Улусу, половецкое войско освободится, и тогда хану незачем держать его при себе.

Одна беда, что измайльтяне назначат очень высокую цену за наемников. Потому что им придется немало заплатить русам за мир.

На третью ночь в наш шатер пробрался русский дьякон Алексей. Он под большой тайной сообщил:

— Прибыл в Шараган некий грек, торговец мехами, и рассказывает, что на берегах Донаприса идут большие бои. Уповаю, что господь даст Руси победу.

Я и Севастий угостили Алексея бурахом, и все трое мы помолились за победу христиан.

Уже больше месяца прошло, как главный шатерничий

Улуса ушел с пятьюдесятью тысячами всадников к берегам Донаприса, но не было никаких вестей ни о победе, ни о поражении.

Эристав Гуарам беспокоился. Он каждый день спрашивал меня и Севастия:

— Нет ли каких новостей?

Мы с Алексеем ходили по Шарагану. Днем и ночью приезжали и уезжали гонцы, но у половецкого народа такой замкнутый нрав и они так чуждаются иностранцев, что нам не удалось выудить ни одной сплетни.

Наконец однажды ночью Алексей тихо, как тень, проскользнул ко мне и шепотом рассказал:

— Прошлой ночью Атраха Шараганович повел в поход очень много войск. С ним пошли половецкие князья и темники Урособа и Кчий, Арсланапа и Китанапа, Куман и Асуп, Курток и Ченегрепа, Суребарь и Бельдюз.

Время шло.

Эристав Гуарам не находил места от беспокойства...

Шараган огустел.

Уходя на войну, половцы забирают с собой женщин и детей. В ханском дворце остались одни старики шатерничие да столъники, кибитчики и погонщики мулов.

Пока хан был здесь, нам каждый день пригоняли убойный скот и приносили хлеб и бурах.

Теперь о нас забыли. Мы с Севастием продавали за бесценок меха, но на пропитание нам еле хватало.

Баранту угнали с войсками. С трудом удавалось купить лежалую верблюжатину.

Эристав Гуарам не знал, как нам быть.

Бросить все и уехать?

Но с какими глазами мы явимся к нашему государю?

Тогда все окажется напрасным — и наше мучительное путешествие, и тяжкие лишения.

Поздней ночью нас опять проведаль Алексей и сообщил

— Вчера ночью половцы пригнали пленных — человек пятьдесят дружинников и около тысячи простых воинов. Дружинников заковали в цепи и бросили в ямы, что за загонами.

Как я ни пытался, не смог пробраться к моим сородичам, чтобы хоть воды им дать напиться, — грустно сказал Алексей.

Эта весть нас очень опечалила.

Епископ Серапион обхватил руками голову и горестно воскликнул:

— Видно, победили измаильтяне.

На следующий день меня позвали в ханский шатер.

Ко мне вышел тысяцкий, беззубый старик, и прошамкал:

— Хотя ты неверный, но я тебе доверяю. Мне нужно кое о чем допросить пленных. Иди со мной.

Как я узнал потом, лысого переводчика увез с собой Атраха Шараганович.

Русские воины сидели в ямах и переносили свое положение без ропота. На руках у них были оковы. На груди висели тяжелые медные кресты и складни. Они вполголоса грустно пели.

Мне было тяжело видеть христиан — голых и голодных, мучимых нечестивыми. Эристав Гуарам наделил меня драмами для задачи пленникам, но я не посмел их передать, потому что старик тысяцкий не спускал с меня глаз.

Некоторые дружинники свободно говорили по-гречески.

Как ни бился половец, он не мог выведать ничего важного ни о русских князьях, ни о численности и расположении их войск.

Он сулил русским и арису из баранины, и водку, и бурах, и мед, и вяленую конину, но ни один не захотел изменить родине.

Наконец старик обещал:

— Если скажете правду, с вас снимут оковы.

Один пожилой дружинник богатырского сложения поднял голову и сказал мне по-гречески:

— Переведи этому старому псу: пусть он нас оставит в покое, посулами он ничего не добьется.

Нам легки оковы, которые мы несем, терпя за христову веру.

Тысяцкий стал ругаться по-половецки, всячески поносил пленников и ушел рассерженный.

Когда я вечером с грустью все это рассказывал эриставу Гуараму, в шатер просунулась голова дьякона Алексея. Он долго у нас сидел, подавленный тяжелыми думами. Под конец он сказал:

— Необозримо велика и обильна наша земля, но на нас наложили ярмо измаильтяне, конца не видно междуусобицам князей и бояр.

Князья наши бражничают. Измаильтяне ловко пользуются их распрями, то одному, то другому князю дают наемное войско, но стоит им помириться, тотчас его отнимают.

Они переплывают через Донаприс, жгут наши села, гумна и стога, истребляют от мала до велика всякую живую тварь. Огню предают церкви, хоромы бояр и хижины бедняков.

Потом вскочат на своих неоседланных коней, и только их и видели. Гонись за ветром в поле.

Могу я и сам подтвердить, преосвященный владыка, что нет подлей половецкого племени. Думаю, что никто так много не лжет, как те, кто все время переезжает из страны в страну.

Тебе самому лучше ведомо, что только в десятки лет можно узнать человека, ибо человеческая душа темна, как безлунная ночь.

Представь себе, как трудно познать целый народ!

В прошлые годы мне приходилось бывать с половцами и в походах. Сам посуди, преосвященный владыка, какой выход был у меня — старца, попавшего в эту проклятую страну? Мог ли я отказать?

Идя в поход для грабежа Русской земли, половцы сажали меня на неоседланную клячу и таскали за собой как лекаря, костоправа и переводчика, который был им нужен для допроса пленных. Меня, пастыря святой церкви, меня, всю жизнь посвятившего проповеди завета господнего — не убий! — неволили лицезреть убийства и насилия.

Для пользы родины и служа нашему государю, мне не оставалось ничего другого, как скрепя сердце переносить все эти мучения.

На расстоянии пяти дней езды к западу от Шарагана на берегах многоводного Донаприса стоит русский стольный город Киев. Три года тому назад мне пришлось там побывать.

Половцы послали в Киев греческих купцов и меня вместе с ними.

Купцы должны были закупить соль, а мне было поручено следить за расчетами, чтобы греки не обманули. Зная, что я один, как перст, на этом свете и нет у меня никого родных, половцы решили, что у меня не явится желание попользоваться чужим серебром.

Не хочу докучать тебе, преосвященный владыка Георгий, повествованием о мытарствах, какие я претерпел, добираясь на кляче до Донаприса. В Киеве удостоился с молитвой обойти благолепный храм Святой Софии, украшенный золотом и серебром, подобный нашим чудесным храмам Светицховели, Болниси или кутаисскому храму покойного царя Баграта. Посетил я 365 пещер, обретающихся под покровом богоматери. В каждой пещере — могилы святых угодников.

Получил я благословение от киевского митрополита.

Он был поражен, когда я из-под половецкого платья, сшитого из собачьих щкур, вынул святой крест и сказал, что я епископ Цилканской епархии.

Насытился я молитвой и насладился пением. После службы киевский митрополит пригласил меня к трапезе и ободрил:

— Когда-нибудь смилуется господь и над нашей страной ярко воссияет солнце христианства и мы рассеем тьму измаильтян.

Через несколько дней половецкие орды перешли Донаприс, и вокруг Киева запылали деревни, крепости и церкви.

На рассвете половцы захватили Печерскую лавру. Монахи еще не кончили утреннего молебствия. Изверги выломали ворота и подожгли монастырь. Монахов убивали, сдирали оклады с иконостаса, надругались над святыми иконами, крестами и мощами святых угодников.

Теперь, как слышал я, среди русских князей поднялся один истинный поборник христовой веры, защитник родины, милостивый к духовному чину, великий князь Владимир Мономах.

Свою юность и зрелые годы он провел в неустанной борьбе за отечество во главе верной дружины и храброго воинства. Приходилось ему терпеть тяготы военного жребия, ночуя в покрытой снегом степи, в непролазных болотах и в дремучих лесах. Он всегда ободрял своих воинов:

— Сыновья мои любезные, задумав мужественное дело, не страшитесь ни врага, ни зверя. Памятуйте, что без божьей воли никто не сможет вам причинить зло.

Своих младших братьев и сыновей он поучает так:

— Когда вы делаете объезд ваших княжеств, не давайте никому в обиду своих подданных и жалейте неимущих. Уважайте гостя, кто бы он ни был — простолюдин или посол, ибо гость уносит далеко и добрую и плохую славу.

Прошло еще три недели. Однажды поздно вечером, когда мы сидели за ужином, к нам прокрался дьякон Алексей. Он был радостно возбужден и отозвал меня в сторону, опасаясь сидевшего на конце стола половца Шортая.

— Я узнал, что вместе с ранеными половцами привезли человек десять пленных, заковали их в цепи и бросили в ямы за загонами.

Меня к ним не пропустят. Пусть кто-нибудь из ваших попытается проникнуть к ним, чтобы разузнать военные вести.

Говорят, что среди пленных находится иеромонах Тихон. Он не в цепях и не сидит в яме, потому что знает средство от чесотки. Его сейчас же повели в большой шатер лечить шатерничего.

Весть эта показалась мне правдоподобной, потому что чесоткой болеют поголовно все простые половцы. К этому надо еще прибавить укусы несметных блох от многочисленной скотины.

Не только простонародье, но даже половецкая знать вечно чешется. Сидя на коне или разговаривая с гостями, половец запускает руку за пазуху. Они чешутся за беседой, чешутся, когда едят или пьют.

Каждую войну сопровождает какая-нибудь напасть. В этом году необыкновенно усилилась чесотка. Поэтому я не удивился, узнав, что иеромонах Тихон избежал ямы.

Через несколько дней Алексей опять прибежал к нам и шепнул мне:

— Ушлите сегодня куда-нибудь Шортая, я к вам приведу иеромонаха Тихона.

Если половцы проведают об этом, скажите, что вы его позвали потому, что у вас в шатре завелась чесотка.

Вы услышите от отца Тихона радостные вести.

Эристав Гуарам с нетерпением дожидался наступления темноты и прихода иеромонаха.

Шортая напоили и уложили спать, а десятник Латерия прикинулся чесоточным.

Дьякон Севастий приготовил для дорогих гостей ужин. Гости долго не приходили. Наконец в наш шатер вошел иеромонах Тихон в сопровождении Алексея.

По христианскому обычаю прочли молитвы и расцеловались, как братья, которые давно не видались.

Отцу Тихону случалось плавать на ладье в Анакопию и там вкушать вино и хлеб обезов, поэтому наш радушный прием его не удивил.

— Могу вас порадовать, дорогие единоверцы, — начал Тихон. — Я шел с крестом в руке впереди одной тысячи и, по несчастью, попал в плен к проклятым измаильтянам, когда наши их уже одолели.

Всеблагий господь вразумил добрых русских князей Владимира и Святополка. Они съехались на совет в Долобске и сели в шатре — Святополк со своей дружиной и Владимир со своей.

Первыми сказали свое слово дружинники Святополка: «Весной идти в поход негоже, только разорим наших смердов и пропадут их кони и нивы».

Владимир им на это ответил:

«Дивлюсь я, дружинники, что коней вы жалеете, а не подумаете о том, что как выедет смерд в поле, налетят половцы, людей перебьют стрелами, заберут коней и на селе захватят жен, детей и все имущество смердов. Коней вы жалеете, а людей вам не жаль».

Нечего было на это ответить Святополковой дружине, и Святополк сказал: «Я готов» — и поднялся.

Владимир ему на это промолвил: «Спасибо, брат! Ты сделаешь великое добро Русской земле».

Тогда послали к Олегу и Давиду: «Идем в поход на половцев, победим или погибнем».

Олег отговорился болезнью, а Давид согласился и пришел с дружиной.

Владимир с радостью встретил его и пошел к Переяславлю со Святополком, Давидом Святославичем, внуком Игоря — Мстиславом, Вячеславом Ярополковичем и Ярополком Владимировичем. Ехали на конях по берегу и в ладьях по Днепру.

Спустились мы к порогам и сделали остановку у острова Хортицы. Здесь все вышли на берег и пошли конные и пешие степью. Шли мы так четыре дня и остановились на Сутени.

До половцев дошла весть, что Русь без числа идет на них. Собрались половцы на совет. Старый Урособа сказал:

«Попросим мира у Руси, нам их не одолеть, они будут биться крепко за все зло, что мы сделали Русской земле».

Молодые стали говорить Урособе: «Если тебе Русь страш-

на, нам она не страшна. Побьем их войско, пойдем в их землю и заберем города. Не спаслись им от нашей руки».

А у нас в стане было другое. Все мы, и князья и воинство, жарко молились богу и божьей матери и давали обеты, если останемся живы, — кто угощением, кто милостыней убогим, кто жертвой в монастырь. С молитвой встретили мы врага.

Половцы послали вперед Алтунопу, он у них славился мужеством. Наши князья встретили его с отборной дружиной.

Окружили Алтунопу и убили его самого и перебили весь его отряд, никто из них не спасся. Тогда нашла на нас их рать, как лес дремучий, глазом нельзя было ее охватить.

Мы двинулись им навстречу. Бог смилостивился над нами и наслал на половцев страх — вдруг они ослабели духом и задрожали ноги их коней. А мы шли с веселием, конные и пешие, и сшиблись с врагом.

Половцы побежали, а наши их гнали и рубили. Четвертого апреля это было — день великой нашей победы. Пало в тот день двадцать половецких князей — Урособа, Кчий, Арсланапа, Китанапа, Куман, Асуп, Курток, Ченегрепа, Сурбарь и прочие, а Бельдюза взяли в плен.

Когда после победы братья-князья собрались, Бельдюза привели к Святополку, и он стал сулить за себя богатый выкуп золотом, серебром, конями и скотом.

Святополк послал его к Владимиру.

Владимир спросил Бельдюза:

«Разве ты не знал, что вы присягнули не разорять нашу землю? Как смели вы нарушить вашу клятву? Зачем ты не сказал своим сыновьям блюсти и не проливать кровь христианскую? Да падет за это пролитая кровь на твою голову!» И велел Владимир убить его и тело рассечь на части. Потом Владимир собрал князей и сказал: «Возрадуемся и возвеселимся, что господь нас избавил от лютых врагов, покорил их нам под ножи, сокрушил главу змия и дал русским людям все их достатки».

Взяли наши скот, овец, коней и верблюдов, кибитки со всем, что в них было, и с рабами и кибитками печенегов и торков, что пришли с половцами. Слышал я, что наше войско со славой и полоном уже вернулось домой.

Эристав Гуарам на радостях приказал поднести иеромонаху меду в награду за добрые вести.

Эти вести нас обрадовали, но от нетерпения мы скоро опять впали в уныние. Не возвращались ни половецкий хан, ни его военачальники, ни войско. Эрстав Гуарам был в волнении и в тревоге.

Рассказ иеромонаха Тихона стал нам казаться бредом измученного человека, утешающего себя и других приятной выдумкой.

Эрстав Гуарам не находил покоя... Его трясла лихорадка, и не давали уснуть блохи и вой собак. Шараган совсем обезлюдел. Мычал беспризорный скот, блеяли овцы. Собаки садились вокруг кибиток и всю ночь напролет оглашали окрестность заунывным воем.

Дьякон Севастий нас уверял — значит, дела половцев плохи, раз их собаки воют не переставая.

Примета Севастия оказалась верной...

В канун Успения послышался в степи протяжный, пронзительный скрип половецких кибиток. Не найду слов выразить, как невыносим скрип нескольких десятков тысяч несмазанных колес.

Вместе со скрипом ворвалось на взмысленных конях потерпевшее поражение половецкое войско. Щелканье и свист плетей, конское ржание и вой волкодавов слились в невообразимый шум. Всю ночь сидели мы, посольство царя Давида, перед нашими шатрами за пазухой у тьмы крошечной...

.

Через несколько дней Шараганович прислал нам своего шатерничего, который объявил, что на следующее утро половецкий хан примет посла царя Давида со всей его свитой в большом шатре.

На приеме у хана мне приходилось бывать неоднократно, но в большом шатре я не был ни разу.

Я заметил, что эрстав Гуарам не спал всю ночь, волнуясь в ожидании предстоящего приема.

Половецкие ханы, как и византийские кесари, имеют обыкновение принимать гостей и посольство утром на рассвете. Эрстав Гуарам надел шлем и салмасурскую кольчугу и опоясался позолоченным мечом, пожалованным ему когда-то царем Георгием.

Шатерничий долго вел нас по узким переулкам среди расставленных кибиток и шатров.

По настроению встречавшихся нам в переулках половцев было видно, что они тяжело переживают поражение в походе

де на русских. Они с мрачными лицами вели неоседланных коней, и в их резких окриках чувствовалось озлобление.

Мы подошли к волчьим ямам и рвам, наполненным водой.

Через рвы были перекинuty узкие мостики. Волчьи ямы попадались на каждом шагу, сверху они были прикрыты хвостом, а на дне их поставлены капканы.

— Смотрите, ступайте осторожно, — предупреждал нас хромой шатерничий.

Когда мы приблизились к сооружению, называемому дворцом, мы увидали насыпи длиной до полпарсанга. Они окружают майдан, среди которого возвышается большой шатер, раскинутый на шести столбах.

Как я слышал в Шарагане, для перевозки этого шатра нужно сто верблюдов.

Подойдя к дворцу, мы стали встречать на каждом шагу лучников, копьеносцев и тяжеловооруженных воинов в коротких боевых кольчугах. Некоторые из них, притаившись, наблюдали через щели частокола за всеми проходившими.

У входа в большой шатер нас встретил главный шатерничий Улуса, окруженный пятью седыми половцами в доспехах и с секирами в руках.

Затем провели нас через приемную, убранную коврами и орхови. Обстановка нам показалась скудной и неудобной. Вдоль одной стены стояли половецкие идолы, наряженные в шелка и повернутые головами к углу, увешанному шлемами, кольчугами, стрелами и колчанами.

Мы прошли между длинными рядами половецких воинов с секирами. Лица их были так же неподвижны, как у идолов.

Наконец мы оказались в гостиной, убранной мехами, коврами и шелками. На мраморных колоннах здесь поставлены серебряные драконы и попугай. С потолка спускаются золотые и серебряные светильники.

У низкого ониксового стола сидел великан в накинутом плаще перепелиного цвета. Грудь его была охвачена панцирем цвета турача.

На другом конце стола сидели с непокрытыми головами старейшины в кафтанах из китайского шелка. В одном углу стоял золотой петух с рубиновыми глазами, в другом янтарный верблюд с глазами из бирюзы — неразлучные спутники кочевых племен.

У Атрахи Шарагановича лицо цвета айвы. Он совсем не похож на скуластых половцев. Когда эристав Гуарам его при-

ветствовал, было видно, что величественная осанка седого эристава произвела на него впечатление, и он благосклонно улыбнулся гостю.

В этой улыбке было столько доброты и радушия, что я был поражен, отвыкнув за много лет от выражения чувств в неподвижных чертах здешних варваров.

По этому поводу я хочу доложить об одном моем наблюдении. Половцы не умеют улыбаться. Они или дико хохочут, или мрачно молчат, подозрительно поглядывая на чужестранцев своими узкими раскосыми глазами.

Такие глаза у них, наверное, потому, что они привыкли, вечно скитаясь по степям, вглядываться в беспредельную даль.

Когда вошел эристав Гуарам, придворные половецкого хана встали. У каждого из них на бахромчатом поясе висел ятаган.

Они, словно остолбенев, не спускали глаз со своего повелителя, приветствовавшего эристава Гуарама. Гостям были поданы — одним позолоченные кресла, а другим — высокие подушки, обшитые пурпуром.

Лысый переводчик был тут же. Его господин повернулся к нему и сказал:

— Переведи владетелю большой крепости: нас очень беспокоит твоя болезнь. Как твое здоровье теперь? Спроси его.

Эристав Гуарам, приложив руки к груди, поблагодарил хана. Он сказал по-грузински, что ему сейчас лучше.

Я перевел его слова по-половецки.

Атраха Шараганович посмотрел на старейшин и что-то им шепнул.

Распахнулся занавес, сшитый из шкур белых медведей, и показался главный повар с зажаренным целиком верблюжонком. За первым выступал второй повар, несший сваренного в молоке козленка. Так вереницей шли слуги с блюдами, на одном из них лежала жареная дрофа. В глубоких тарелках из китайского фарфора внесли подслащенный медом кумыс и подсахаренное верблюжье молоко. Расставили серебряные и ониксовые кувшины с миндальным молоком, водой, бурахом и дахади.

Хан сам отрезал ножом куски верблюжатины и козлятины или брал рукой ногу жареной дрофы и первому предлагал эриставу Гуараму. Потом показывал холеным пальцем на блюдо и ласково потчевал остальных, говоря по-половецки:

— Отведайте и вы!

Перед нами стояли ониксовые, серебряные и фарфоровые пиалы, а хан пил из золотой чаши. Сначала наливал себе водку, брагу или миндальное вино, а затем показывал нам глазами, чтобы мы взяли пиалы в руки. Когда он наливал себе вино, то прикрывал чашу левой рукой, видно опасаясь, как бы туда не залетели злые духи.

Половцев не приходилось упрашивать. Они с жадностью обгладывали верблюжьи и козлиные кости, мы же пробовали угощение только из вежливости — подслащенное и сваренное в молоке мясо нам казалось тошнотворным.

Нашего хозяина удивило, что эристав Гуарам не притрагивался к мясному и даже не пригубил миндального вина и дахади.

Он спросил меня:

— Владетель большой крепости монах или главный священник?

Такой вопрос меня убедил, что хан по одежде не отличает духовных лиц от светских. Епископ Серапион самым исправным образом пил вино и сделал две-три вылазки за верблюжонком.

Когда я ответил, что «владетель большой крепости» не монах и не главный священник, хан приказал лысому половцу перевести:

— Почему же тогда посол царя Давида не пьет ни вина, ни водки?

Сам Шараганович мешал в своей чаше водку, брагу и миндальное вино, выпивал и заставлял своих придворных пить такую же смесь.

Я разъяснил, что владетель большой крепости не пьет вина из-за болезни почек. Хан на это улыбнулся, отчего его благодушное лицо просияло, и обратился ко мне:

— Передай ему так, Тубутай: мы все когда-нибудь умрем, и, когда возвратимся в этот мир, нам придется здесь пить то, что не успели допить сейчас.

Он опять наполнил свою золотую чашу, прикрывая ее левой рукой, и сказал мне:

— Спроси владетеля большой крепости, есть ли у вашего царя жены?

На мой ответ, что у него нет ни одной жены, хан пожал плечами, пробормотал по-половецки что-то мне непонятное и замолчал.

Затем Шараганович пристально посмотрел на эристава Гуараму и сказал:

— Мы много думали о послании вашего государя и держали совет со старейшинами, — при этом он окинул взором седых половцев. — Царь ваш богат и могуществен, поэтому мы пошлем ему наемное войско, но только с одним условием... Об этом нам еще надо подумать...

Торопитесь вам некуда, погостите пока у нас. Когда будет время, мы прикажем тебя позвать, и ты узнаешь наше условие.

Эристав Гуарам был не вполне удовлетворен оказанным приемом. Он подозревал, что условия половецкого хана касаются не только величины денежной суммы.

Владелец Бечисцихе тревожился и укорял меня:

— Зачем ты проговорился половецкому хану, что у царя Давида есть сын? Боюсь, как бы он не попросил царевича Деметре в заложники.

Мы за полночь просидели так вдвоем. Владелец Бечисцихе сидел, поникнув головой и взявшись руками за виски, и делился со мной тысячами разных предположений.

В заключение он сказал:

— Раз половцы потерпели поражение в походе на Русь, им, несомненно, понадобится уйма денег, чтобы купить мир. Но у половецкого хана не одни деньги на уме. Как ты думаешь, Стефаноз?

Я согласился, что дело здесь как будто не только в деньгах.

Прошла еще неделя. Опять явился тот же самый хромой шатерничий и объявил:

— Половецкий хан приказал просить владельца большой крепости одного, без свиты и без переводчика.

Эристава Гуарамы увели в полдень, и до полуночи он не возвращался.

Когда он вернулся в шатер, все, кроме меня, уже спали. Лицо у него было расстроенное, он в изнеможении свалился на постель.

Я подошел к нему и спросил, что его так огорчило?

И вот что он мне ответил, владыка Георгий:

— Атраха Шараганович желает породниться с царем. Без этого он не дает наемного войска.

Хан сказал: «Сначала мы хотели попросить в заложники вашего царевича, но вы, христиане, вероломны и любите нарушать договоры. Мы не раз брали заложников у русских

князей, и они всегда изменяли своей клятве, оставляя нам заложников.

Наша единственная дочь была сговорена за русского князя, но теперь между нами кровь. Мы решили поэтому породниться с вашим царем. Если вы на это не согласитесь, мы не пошлем своих людей в неизвестную нам далекую страну».

Ища какого-нибудь предлога, я возразил, что такому браку препятствует разная вера у грузин и у половцев.

На это хан ответил: «Разве ты не знаешь, что султан Малик-шах был мусульманином, и это ему не помешало взять в жены Тюркан-Хатун, дочь половецкого хана. Русские такие же христиане, как и вы, но их князья часто женились на половчанках. Какая может быть у бабы своя вера? Она принимает веру мужа».

Ни я, ни эристав Гуарам в ту ночь не могли уснуть, так мы были удручены требованием хана.

Эристав Гуарам сейчас болеет и сказал, что даже если бы был здоров, рука его не поднялась бы написать о таком предложении Георгию Чкондидели. И мне это делать не легко, но я исполняю его волю.

Брат во Христе Стефаноз Цилканский.
Прах ног твоего преосвященства.

ГОСТИ В ЗАБРАЛАХ

Эфемериды.

«...И умер царь кахетинский Квирик, и посадили царем Кахети племянника Квирик Ахсартана, у которого не было ничего царского...»

Из хроники царя Давида.

«...В том же году заключили между собой мир Мохамед и Бархиарок, и в Багдаде прочли тогда хутбу во имя султана Бархиарока.

Бархиарок назначил своим шинеем впереди халифов амира над амирами Наджм Эддина иль-Гази».

Из annalов Абуль-Феда.

Кавкасион совершенно поседел и, казалось, приблизился к Начармагевскому замку. Уже промчались по равнине вокруг четырехбашенного дворца ветры поздней осени. Стало

пусто в аллеях столетних виноградников, и в цветниках белые розы увядали подсыбно мечтам старой девы.

В палатах Начармагевского дворца царило показное спокойствие.

Хотя реже приезжали из эриставств и великие азнауры, и епископы, и даропринесители, и странствующие монахи, но по заведенному порядку продолжали сновать во все стороны местумретухуцеси, главный повар, главный факельщик, ловчий и стольник.

Перед каминами стояли на коленях вымазанные сажей мальчики и поворачивали длинными щипцами большие кленовые поленья.

Опустел столовый дарбази царя Баграта. Главный повар, расхаживая по коридорам, посылал хозяевам и гостям в их комнаты шашлыки из джейрана и лани и нанизанных на вертела горных курочек и турачей.

В тонувших во мраке коридорах слышалось шлепанье туфель из заячьих шкурок на ногах старых слуг, шамканье беззубых мандатуров царя Баграта и сдержанный смех горничных императрицы Мариам.

Волнения последних недель уложили в постель царицу Елену и жену Липарита Кату, а здоровяк царь Георгий простудился на рыбной ловле.

Ката от потрясений почти лишилась языка. Это, надо заметить, не очень огорчало Махару, острившего, что она проглотила язык из страха, что Кариман Сетиели приедет и вытянет его.

Императрица Мариам не успевала ухаживать за больными, успокаивать мятущихся в тревоге и удрученных горем.

Изменился характер и хохотуньи Гванцы. Она уже не скакала верхом, не охотилась и перестала расставлять силки для птиц. Целые дни проводила дочь такверского эристава в обители Черной богородицы и не принимала никакого участия в дворцовой жизни.

Охотно беседовала она только с какой-то косноязычной птичницей по имени Теона.

Но больше всех тревожила императрицу Дедисимеди — та, душевные муки которой были так сильны, что переходили в телесные боли.

Мариам больше не пыталась ее успокаивать, она исчерпала все утешительные слова. От ее внимательного женского взгляда не могло укрыться, что девушка сохла на глазах.

Наконец Дедисимеди почти совсем перестала есть, не гуляла и лишилась сна.

Сабия по утрам видел в розовом цветнике только гулявшую с обрядовой точностью августу, не изменявшую привычке, приобретенной в Византии.

Мариам заметила, что дочь Орбелиани тяготится даже обществом матери и старается пореже к ней заходить. Обеспокоенная императрица под предлогом, что боится спать одна, перевела девушку в свою опочивальню.

Дедисимеди не могла ни долго сидеть за книгой, ни вышивать, ни принимать участие в продолжительной беседе. Когда Махара или Сабия заводили бесконечные рассказы о старине, она искала повода, чтобы выйти из дарбази.

Чаще всего сидела она у бойницы, через которую открывался вид на дорогу в Мцхета. В каждом всаднике ей чудился скороход царя Давида, в каждой группе всадников — его свита.

Не только Дедисимеди ждала царя Давида. Все в Начармагеви от мала до велика с замиранием сердца ожидали его приезда.

Георгию Чкондидели едва удавалось смирять Махару, твердившего каждый день, что он поедет к царю в Зедазени.

Махара боялся, как бы приверженцы Орбелиани, воспользовавшись отсутствием Каримана Сетиели, сопровождавшего царя в походе, не освободили из начармагевской темницы Липарита и его азнауров.

Этого приходилось особенно опасаться, потому что царь Давид не оставил в Начармагеви войска, кроме гарнизона из двухсот воинов. Царь был уверен, что Шергил Липартиани без задержки переведет через Сурамский перевал эгрисские тысячи и возьмет на себя охрану крепостей Внутренней Картли.

От зедазенского цихистава Ниани Бакуриани ежедневно приходили скороходы с донесениями царю Георгию и Чкондидели о военных действиях, но в этих донесениях не было ни слова о том, что думает делать царь Давид после взятия Зедазени. Раненые, привезенные с полей сражения, распространяли самые разнообразные слухи. Одни уверяли, что эристав Джонди готовится к осаде Руставской крепости, другие — что царь Давид движется с войсками из Херки через Мамкоду и собирается захватить всю Кахети.

Как раз в эти дни подоспели Джоджики и Арамаис Аршаруни со свежими известиями из Ирана.

Царь Георгий и Георгий Чкондидели радостно приветствовали воскресшего из мертвых Джоджики. С содроганием слушали они его рассказы об ужасах дома с ротейлем, бледное изображение которых уже знакомо нашему читателю.

Самым важным сообщением все же было то, что в Вагаршапат непрерывно прибывают султанские войска, которые, по твердому убеждению Джоджики и Арамаиса, предназначены для похода на Грузию.

При этом приходилось учитывать, что Джоджики и Арамаис находились в пути из Армении целых две недели. Они путешествовали в одежде купцов, пристав к попутному каравану, а затем тайком отделились от него и ехали на мулах по ночам.

Так, с большим трудом, добрались они до Дманиси, где чуть не попались в руки к сельджукам. Из Дманиси бежали ночью и только через три дня прибыли в Парцхисскую крепость.

Георгий Чкондидели немедленно послал скорохода в Зедазени с сообщением царю обо всех этих новостях.

Махара предполагал, что за последние две недели в Тбилисский амирал пришли новые тысячи сельджуков.

Они могли, оставив в стороне Зедазенскую крепость и следуя по правому берегу Куры, вторгнуться во Внутреннюю Картли.

Такая возможность тревожила и Георгия Чкондидели, но он несколько успокоился, когда на следующий день прибыл с эргисскими лучниками Шергил Липартиани.

К веренице событий прибавилось еще одно: вернулся эристав Гуарам с посольством. Вышло так, что владетель Бечисцихе обогнал письмо, посланное в Начармагеви Стефанозом Цилканским.

При переправе вброд через Текаис на посольство напали касоги. Епископ Серапион был пронзен копьем, а эристав Букандзе ранен.

Когда царь Георгий расцеловал старого эристава и поздравил его с прибытием, Гуарам грустно произнес:

— Хотя бы и меня заодно убили эти нечестивые касоги.

— Почему? — спросил в недоумении царь.

— Мы не с радостной вестью, наш государь.

Затем эристав Гуарам уединился с обоими Георгиями и подробно передал им все, что уже известно нашему читателю из письма Стефаноза Цилканского.

* * *

Императрице Мариам сельджуки внушали непреодолимый страх.

Она иногда шутя говорила:

— Если бы покойный царь Баграат так же боялся сельджуков, как я, то они наверное загнали бы грузинский народ за Кавкасион.

Мариам признавалась, что этим страхом ее заразили в Константинополе, которому сельджуки непрерывно угрожали все последние годы. Кроме того, императрице Мариам пришлось слышать об ужасах крестовых походов гораздо больше, чем знали о них в Грузии.

Потрясенная рассказами Джоджики и Арамаиса, Мариам даже подумывала вместе с царицей Еленой, Дедисимеди и Гванцей переехать в Гегутский дворец. Но когда пришли приведенные Шергилом Липартиани эгрисские войска, она успокоилась и ей стало стыдно за свое малодушие.

Зато у нее появилась новая забота: она чувствовала, что Гуарам привез из Шарагана очень неприятные вести.

Тщетно пыталась она выведать что-нибудь у своего брата. Эристав Гуарам заранее предупредил обоих Георгиев: до приезда государя ни под каким видом не оглашать ответа половецкого хана.

Поэтому царь Георгий утаил истину от сестры.

— Владетель Бечисцихе сказал: «Сначала я доложу ответ половецкого хана царю Давиду». Вот его слова, а больше я, моя Маико, ничего не знаю. Провались эти варвары половцы со своим ханом, чума их побери!

Такое положение заставляло ждать возвращения царя Давида с еще большим нетерпением.

Мариам обиделась на царя Георгия, усомнившись в его искренности. В тот же день она приказала Цинцилуку никого не принимать, кроме Дедисимеди, и лежала в своих покоях, читая Платона.

* * *

Однажды ночью налетел с запада ураган. Он сильно потряс начармагевские сады и виноградники и намел к стенам замка кучи последней листвы.

Удоды давно улетели, и старику Сабии пришлось найти себе другую потеху. В свободное время он уходил за Длахви,

взяв с собой силки с навешанными на них красными и желтыми лоскутами. Выбрав удобное место на склоне горы, он прятался в кустах и, присев на корточки, начинал квохтать, подражая горцым курочкам.

Наивные птицы, соблазненные яркими лоскутами, попадались в силки и квохтаньем созывали своих подруг. Сабия ловил курочек дюжинами и приносил их императрице Мариам.

Ничто так не отвлекает человека от его горя, как птицы и животные.

Дедисимеди и Мариам с детским восторгом наблюдали забавные повадки очаровательных созданий.

Пленницы старого Сабии оказались не только любительницами пестрых тряпок, но и кокетливыми, как женщины.

В опочивальне императрицы стояло прекрасное дорожное зеркало, оправленное самоцветом и малахитом, — то самое, которое по поручению Михаила Дука Хачатур купил у индийского магараджи. Мариам и Дедисимеди потешались, глядя, как озабоченно квохчущие курочки вертелись перед зеркалом магараджи, охорашивались и, восхищенные красотой своего оперения, вплотную приближались к волшебному стеклу, вызывая из его глубин свои отражения.

Это невинное развлечение, придуманное добрым Сабией, рассеивало грустные мысли двух печальных обитательниц Начармагевского замка.

Днем они коротали время, любуясь горными курочками и ухаживая за ними, по вечерам читали «Симфония», с волнением прислушиваясь, не едут ли царь Давид и Нианиа Бакуриани.

Мариам наказала Сабии, чтобы он непременно разбудил ее и Дедисимеди, если даже царь Давид придет после полуночи.

Как-то Дедисимеди встретила у обедни птичницу Теону, и та ей рассказала со слов одного раненого джаваетца, за которым она ухаживала, будто Нианиа Бакуриани тяжело ранен в бою с сельджуками под Зедазени.

Это известие очень встревожило Мариам, и она тотчас послала за Махарой.

Стали искать джаваетца, но оказалось, что он уже поправился и уехал. Махаре удалось успокоить Мариам только тем, что он сам расспросил птичницу Теону, и та отказалась от своих слов.

Приехал из Зедазети скороход и привез Чкондидели письмо от царя Давида. Прочитав его, Чкондидели срочно разослал вызовы эристам и епископам.

Опять начался съезд гостей. Первыми приехали епископы манглисский, цалкинский и цинцхаройский. Через неделю прибыл архиепископ кутаисский, за ним епископы бедийский, урбнисский, голготский и никозский.

Императрица Мариам вела затворническую жизнь. У Цинцилука для всех посетителей был один ответ: «Императрица нездорова и никого не принимает».

Наконец наступил день, когда Дедисимеди нежно поцеловала в щеку спавшую Мариам и шепнула:

— Кажется, приехал государь.

Мариам вскочила, как лунатик, и закричала:

— Мелита, Мелита!

Вместо Мелиты в дарбази вошла высокая женщина в черном.

Мариам вздрогнула и спросила:

— Кто ты?

— Я Теона, — был ответ.

— Какая Теона? Я ничего не понимаю.

Вид огромной, костистой, мужеподобной женщины был неприятен Мариам, и она спросила, как та посмела войти без доклада.

— Не гневайся, государыня... Я... я потому только решилась... потому что дочь эристава Ш... Шамана...

Дедисимеди вскочила и воскликнула:

— Что случилось с Гванцей?

— Умирает дочь эристава Шамана.

— Мелита, Мелита! — застонала Мариам.

Вбежала испуганная Мелита.

— Оденьте меня! — крикнула Мариам.

Пока Мелита ходила за горничными и выбирала платье для императрицы, Мариам выпытала у косноязычной Теоны, что случилось с Гванцей.

Выяснилось, что Гванца тоже не спала ночью и, когда услышала у ворот замка конский топот, упала в обморок.

Дедисимеди, стоя у бойницы, слушала ржание коней, скрип открываемых железных ворот и следила за передвижением теней всадников и за беготней слуг с факелами...

Мариам и Мелита вбежали в комнату Гванцы. Пока они

приводили ее в чувство, в дверях показалась голова старика Сабии.

Он направил в сторону императрицы зажженный факел и объявил:

— Царевич прибыл, августа.

Сильно взволнованная Мариам подумала в ту минуту, что за факельщиком следует ее обожаемый племянник. Она вскрикнула:

— Где же он? Где, Сабия?

— Царевича я сам только что проводил в башню Ркони.

— Ну-ка, Сабия, постарайся, сейчас же приведи ко мне Махару.

— Махара тоже прошел за царевичем в башню.

— Что он там делает?

— Как прибыл царевич, так в башню Ркони поднялся Георгий Чкондидели и с ним семь епископов, а потом и царь Георгий встал с постели, и за ним собрались эриставы и спасалары. Еще кто-то там был, только я в темноте не разобрал. августа, царствие небесное моей матери.

— А Ниания Бакуриани не приезжал, Сабия?

— Не приехал.

Услышав это, императрица затряслась, как в припадке, и схватила факельщика за плечо. Быть может, Ниания тяжело ранен и Махара это скрыл? Мариам овладела собой, поручила Гванцу Мелите и велела Сабии идти вперед.

Она пробиралась ощупью по темному коридору, сторонясь яркого света факела и боясь споткнуться.

Наконец она догнала старика и взяла его за руку.

Болтливый Сабия не умолкая бормотал:

— Мне так сдается, августа, царствие небесное моей матери, что у дочери эристава Шамана от любви все это. Потому она и выпытывала у нас, мандатуров, когда приедет наш царевич.

А то Махару умоляла: «Возьми меня с собой в Зедзени хоть стремянным». А по мне, царствие небесное моей матери, неплохо было бы, кабы наш царевич женился на Гванце.

Коридор казался Мариам бесконечным. Она шла рядом с Сабией, и от дрожащих бликов факела ей чудилось, что земля под ней колышется.

Болтовня Сабии надоела императрице, но вежливость не позволяла ей приказать старому мандатуре замолчать. Сабия без умолку продолжал свое:

— Правда, говорю тебе, августа, царствие небесное мо-

ей матери. И птичница Теона тоже поведала мне тайну Гванцы. Гванца так сказала: «Если даже в рабыни не возьмет меня царевич, я сделаю такое, чего ни одна женщина не делала».

Ты все видишь, августа. Всякую тварь ты жалеешь, и надо тебе пожалеть дочку эристава Шамана...

По мне так, царствие небесное моей матери, что нашему царевичу Гванца под стать.

Кое-как Мариам добрела до своих покоев, отпустила Сабю и как подкошенная упала на постель.

Дедисимеди схватилась за розовую эссенцию, но это не помогло. У Мариам был приступ крапивной лихорадки. Когда Сабия сообщил об этом Махаре, безбородый вынул из-за пазухи письмо Ниании Бакуриани, в котором тот просил прислать ему в Зедазени золотистого жеребца, и принес его императрице.

Мариам сама прочла письмо и понемногу успокоилась.

— Правильно о нас говорят евреи, — сказала она Дедисимеди, когда Махара ушел. — За ежедневной молитвой, я слышала, они восклицают: «Благодарю тебя, боже, что ты не создал меня женщиной!»

Произнеся это, она закрыла лицо одеялом, и в ее разгоряченной голове гулко прозвучали слова: «Я сделаю такое, чего ни одна женщина не делала».

Интересно, что задумала Гванца?..

Что решила сделать несчастная Гванца?

Слова эти много раз отдавались в сердце Мариам. Затем ее одолел сон — не сон, а кошмар. Она горела в лихорадке...

...и полз к ней на коленях слепой богатырь, и тень слепого богатыря простирала к ней руки. Слезы лились ручьем из потухших глаз, и умоляла тень жалостливую Мариам:

— Подари мне, слепцу, жизнь моей Гванцы, августа!

* * *

В первую очередь совету старейшин были доложены вести о положении в Сельджукском султанате.

Докладывал Джоджики:

— ...После нашего бегства из Кашана произошли в Исфагане и Багдаде важные события.

Междоусобная война между Бархиарком и его братом Мохамедом затянулась. Исфаган и Багдад переходили из рук в руки, ими овладевали сторонники то одного, то другого султана. В этих боях прославились амиры над амирами Аяз, Садака и иль-Гази.

Последний, как известно, сам домогается стать султаном и поэтому поддерживает то одного, то другого брата.

Одно время Мохамед утвердился в Гяндже и во всем амirate Арана, откуда еще Малик-шах удалил потомков того амира Фадлона, которого кахетинцы посадили на осла и доставили в Бочормский дворец Баграту IV.

Мохамед оставил в Гяндже довольно значительное войско под начальством амира Гозголи. Во имя Мохамеда читалась хутба в городах Зенджане и во всем Адарбагане.

Случилось так, что Мохамед, воспользовавшись отъездом Бархиарока на охоту в Хамадан, раньше него подоспел к Исфагану и захватил султанский гарем.

Бархиарок тем временем вернулся из Хамадана и обложил Исфаган. На выручку к Мохамеду двинулся с большим войском амир Гозголи с великими амирами Манцури и одним из сыновей Низама аль-Мулька, имени которого я не запомнил.

Подойдя к Рею, амиры узнали, что Мохамед вырвался из окружения и с остатками войска ушел в Саву.

Бархиарок бросился в погоню за своим единокровным братом и кровным врагом.

Узнав это, Мохамед повернул в Адарбаган. Здесь к нему пришел бить челом амир Мавдуд, отца которого убил Бархиарок. Он предложил: «Я буду помогать тебе против Бархиарока».

Союзники направились с войсками к Ардебилю. Мохамед захотел поохотиться в белаканских угодьях. В тростниках они наткнулись на тигров.

Тигрица растерзала Мавдуда, как ягненка, а тигр прыгнул на спину коня Мохамеда. Султан не растерялся, выхватил кинжал и пронзил им зверя.

Когда до Бархиарока дошла весть о заключении союза между Мохамедом и Мавдудом, он пошел с войском им навстречу.

Амиры, подвластные Мавдуду, не испугались, бросили сабли на коран и принесли Мохамеду присягу в верности.

— Кто были эти амиры? — спросил Георгий Чкондидели.

— Сокман Элькотби, правящий сейчас Арменией, Исмаил бен Якут, самый давний враг Бархиарока, амир Мехмед, сын Яги-Арслана, и Красный лев, сын Кизил-Арслана.

В окрестностях Коисской крепости завязалось сражение.

Бархиарок не знал о гибели Мавдуда и потому приказал амиру Аязу:

— Любой ценой добудь мне голову Мавдуда, за что пожалую тебе Адарбаган, Аран и Грузию.

Семь дней шло кровопролитное сражение. Наконец амир Аяз со свежими тысячами лучников зашел в тыл войска Мохамеда и этим решил исход боя.

Мохамед дрогнул, и вслед за ним отступили его амиры.

Бархиарок лично в этих боях не участвовал. Он в это время пировал на зеленом холме в окрестностях Тавриза. Рассердившись на то, что среди многочисленных трофеев не оказалось головы Мавдуда, он ушел со своим войском в Зенджан.

Мохамед же направился в Армению и стал лагерем в Ерзиджане, а затем, опасаясь приближения Бархиарока, перешел в Хлад, где его ждал арзрумский амир Али. С ним вместе он прибыл в Аниси к правителю этого города Манучару...

Таким образом, оба сына султана Малик-шаха, — продолжал Джоджики после короткой паузы, — значительно приблизились к границам нашей страны.

Джоджики опять помолчал, посмотрел в глаза Георгию Чкондидели и сказал:

— О самом главном я еще не доложил. Некоторые амиры и саранги из сторонников как Бархиарока, так и Мохамеда не упускали случая напоминать своим повелителям: чтобы отразить натиск христианских царей и князей, все мусульманство должно объединиться.

Здесь, конечно, имеются в виду царь Давид, армянские князья и антиохийские и иерусалимские франки. ♦

Эти самые люди подослали к обоим султанам Абдулафера Джорджани и хамаданского кади Абдулу Параджа.

Долго посланцы ходили между дворцами и, к нашему великому сожалению, им удалось добиться заключения мира между враждующими братьями.

Когда Джоджики смолк, эристав Гуарам его спросил:

— Что ты знаешь об условиях этого мира?

— В Вагаршапате мне сообщил один вартапет, что Бархиарок оставил за Мохамедом сан султана.

— А султанат они между собой разделили? — спросил царь Георгий.

— Сельджукский султанат братья разделили так: Мохамеду отошли земли по эту сторону Испит-руда до Дербента.

Услышав это название, эристав Гуарам закашлялся: он вспомнил, что при Баграте III Грузия простиралась от Никопсии до Дербента.

Джоджики не обратил внимания на беспокойство старого эристава и продолжал:

— К Мохамеду также отошли Диарбекир, Армения и амират Сейф-эд-Даулах Садака. По этому договору Бархиарок признал ленную зависимость Грузии, Армении и Месопотамии от Мохамеда.

При упоминании Грузии вскочил Махара, до этого молча сидевший в углу дарбази, и стал громко выражать возмущение.

Георгий Чкондидели его утихомирил, и Джоджики продолжал:

— Не так важен раздел между обоими братьями иранских и неиранских стран, как одна из статей договора. Султан Бархиарок и Мохамед, положив мечи на коран, поклялись бороться всеми силами с франками, грузинами, армянами и всеми христианами.

Когда Джоджики закончил свой доклад старейшинам, в дарбази воцарилось мертвое молчание.

Опершись обеими руками на колени Георгий Чкондидели обратился к эристам, спасаларам и епископам с такими словами:

— Старейшины, по заслушанному делу много говорить не приходится. Как задаток, султан уже получил от нас ответ под Зедазени и под Рустави.

Самое важное сейчас то, что, как мы только что слышали, Сельджукский султанат объединился и идет на нас. Теперь перед нами одна задача — ни у кого не быть рабами, кроме господ бога.

Давно сказано мудрецами: только тот достоин жизни и свободы, кто готов их защищать в ежедневной борьбе.

Эристав Гуарам доложит вам ответ половецкого хана Атрахи Шарагановича царским послан.

Тогда встал во весь рост седой осанистый богатырь, скупой на слова, состарившийся на царской службе.

На этот раз великий мастер взмахов мечом оплошал в делах красноречия.

Он говорил с запинками, не находил слов, а когда дошел до рассказа о брачных предложениях хана, то язык совсем перестал его слушаться. Он бросал взгляды на царя Георгия и на епископов, словно ища у них помощи, казалось, что ему не хватает воздуха. Наконец, кое-как закончив доклад, он тяжело опустил на свое место.

Как только заскрипело кресло под владетелем Бечисцихе, среди епископов поднялся ропот. Гуарам сидел молча, прислушиваясь к жалобам и вздохам царя Георгия.

— Быть может, кто-нибудь хочет сказать свое мнение по докладу эристава Гуарама? — с неохотой произнес Георгий Чкондидели.

В дарбази воцарилось молчание. Ни старый, ни молодой не могли заставить себя заговорить. Георгий Чкондидели повторил вопрос, и по ряду епископов снова пробежал глухой ропот. Сидевший в углу дарбази голготский епископ зашипел, как волна, ударяющаяся с разбегу о подмытый крутой берег. Харчашнели гневно зашевелил надутыми красными губами и потянулся к увядшему уху цалкинского епископа, а цинцхароели молча вращал бычачьими, налитыми кровью глазами пьяницы.

Урбнисский епископ подергивал бородавчатым носом, словно ему дали понюхать серной кислоты, и, нервно потирая поросшие черными волосами огромные длани, что-то забубнил манглисскому епископу.

Цинцхароели не смог сдержать охватившего его волнения, приподнялся, пододвинул кресло к кутаисскому архиепископу и загудел басом:

— Мы, без сомнения, попадем в ад, а церковь и царский престол опоганятся.

Эти слова облетели дарбази. Царь Георгий их одобрил кивком головы. Тогда цинцхароели осмелел и загудел так громко, что кутаисскому архиепископу, чтобы его унять, пришлось ущипнуть его за жирное плечо.

Поднялся с позолоченного кресла побледневший Георгий Чкондидели. Он поднялся, как вооружившийся самообладанием и исполненный решимости хирург, направляющийся к тяжело раненному с отточенным ножом в руке.

Первый визирь подошел к своему обожаемому воспитаннику, осенил его трижды крестным знаменем, отступил на

почтительное расстояние и, выпрямившись всем станом, как обнаженный меч, так обратился к молчавшему царю Давиду:

— Язык не повинуется вымолвить страшное и неслыханное. Горе гортани моей, что я принужден сказать тебе такое слово, наш государь. Горе моей старости, что немощен я поднять за тебя меч Багратидов на защиту родины моей и братьев моих.

Горе темным и гсрским временам, сопричастниками которых обреч нас быть всевышний. Никогда еще не бывало, чтобы царевичи из рода Багратионов брали себе в жены дочерей нехристей.

При этих словах снова возроптали епископы и в дарбази поднялся гул голосов.

Эристав Гуарам вскочил и сверкнул гневным взором в сторону цинцхаройского епископа. Этого оказалось достаточно, чтобы опять водворилось молчание. Георгий Чкондидели продолжал:

— Но что же остается нам делать, мой духовный сын? Никогда еще мы не стояли перед такой грозной опасностью. Как ты видишь, опять укрепился развратный Сельджукский султанат и блудные потомки султана Малик-шаха соединились на попрание нашей веры и нашей державы.

Так положено, что первыми приносят жертву избранные, а ты — избранный среди избранных, и поэтому тебе досталась чаша сия. Ты должен пожертвовать личным своим счастьем, мой духовный сын и наш государь.

Сказав это, он поцеловал Давида в лоб.

Когда Чкондидели сел на свое место, воцарилась гнетущая тишина. Царь Георгий сидел, облокотившись на колени и зажав рот ладонью, взгляд его был устремлен на кирпичный пол. Герой Парцхиси вмиг постарел и казался немощным.

Старейшины хорошо заметили, как бледность покрыла лицо царя Давида. Он хранил молчание недолго и произнес:

— Да будет воля твоя, владыка Георгий!

На совете старейшин было решено: эриставу Гуараму немедленно вернуться в Шараган и от имени обоих царей дать согласие половецкому хану на его условия и приступить к набору наемного войска.

В ту же ночь докладывалось дело клдекарского эристава Липарита, сына Ивана Багуаш-Орбелиани, обвинявшегося в многократных изменах родине и царю.

Постановили: изгнать его из пределов Грузии, лишив сана эристава над эриставами и родовых владений Манглиси. Липаритис-убани и Аргвети.

Когда это решение было оглашено, не посмел заикнуться даже цинцхаройский епископ.

Молчание нарушил царь Георгий:

— У собаки хвост никогда не станет прямым, и рак никогда не поползет вперед.

В Рконской башне свечи в золотых подсвечниках горели до рассвета.

В большом дворце Дедисимеди не отрывалась от окна, пока не задрожали утренние тени.

* * *

В следующую ночь, когда хозяева и гости еще крепко спали, к передовой башне Начармагевского замка подъехали на горных конях пять всадников с опущенными забралами. Из-под пастушьих бурок выглядывали короткие кольчуги.

Никто из пятерых не ответил на вопрос сотника чухчей Латерии, кто они и откуда едут.

Тогда Латерия потребовал, чтобы прибывшие подняли забрала.

Выступил вперед самый высокий, у которого на кольчуге вилась борода цвета волчьей шерсти.

Он сказал:

— Мы горцы и приехали бить челом первому визирю.

Ответом ему было:

— Чкондидели садится в сааджокари по понедельникам, а сейчас он отдыхает.

При этом Латерия раздраженно крикнул:

— Или поднимите забрала, или дайте оружие!

— Позови цихистава! — сказал незнакомец с волчьей бородой, вившейся по кольчуге.

Цихистав проснулся от поднявшегося шума и вышел сам. Он взглянул на гостей. Они показались ему подозрительными, и он приказал им немедленно поднять забрала.

Бородатый всадник нагнулся и шепнул, приблизив губы к самому уху цихистава:

— Ойдем, чтобы никто нас, кроме тебя, не видел, и мы поднимем забрала.

Цихистав в знак согласия кивнул головой. Тогда бородастый и еще один плотно сложенный мужчина слезли с коней и все трое направились в дом цихистава.

Латерию взяло любопытство. Он стал спрашивать проводников, кто они и откуда?

Они ответили то же самое.

— Мы горцы и приехали бить челом Чкондидели.

Через несколько минут цихистав любезно проводил всех пятерых до запасных ворот. Латерия издали не спускал с них глаз.

Он видел, как незнакомцы вошли в ворота и цихистав, поручив их коней конюшему, сам повел их к Кариману Сетиели.

Когда Кариман Сетиели привел таинственных гостей к первому визирю, Георгий Чкондидели еще стоял на утренней молитве. Гости настойчиво требовали, чтобы о них немедленно доложили царю, потому что они сегодня же должны вернуться в Хорнабуджи.

Чкондидели напрасно старался занять их беседой. Наконец он послал Каримана в Рконскую башню и предложил прибывшим позавтракать, но они отказались, опасаясь, что их опознают мандатуры.

Чкондидели вызвал местумретухуцеси, вышел к нему на встречу в коридор и приказал:

— Пусть накроют стол в моем дарбази.

Когда приказание было исполнено, он отослал и мандатуров, и местумретухуцеси и сам потчевал гостей.

В то утро Махара встал раньше всех и по своему обыкновению отправился проведать ловчих птиц (он верил в примету, что вставшему с постели мужчине, чтобы у него прибавилось мощи, надлежит первым делом посмотреть в глаза хищной птице или зверю).

Во дворе замка он сразу обратил внимание на забрызганных грязью коней и спросил конюшего:

— Чьи это кони?

Конюший не выпался и со зла ответил грубо:

— Волк их заешь! Цихистав мне их подсунул.

Махара отправился к цихиставу. Тот тоже оказался не в духе, потому что его второй раз разбудили, и неохотно пробурчал:

— Какие-то горцы приехали бить челом владыке Георгию. А больше мне ничего не известно.

Махара возвратился в замок. У него явилось подозрение: наверное, эти горцы подосланы триалетскими азнаурами, чтобы выпросить помилование Липариту. Охваченный гневом, он поспешил к Чкондидели.

К его удивлению, вместо келейника Беса ему открыл дверь сам хозяин.

Увидав безбородого, Чкондидели смутился. Протянув руку к приоткрытой двери дарбази, он быстро ее закрыл.

Махара не замедлил выразить любопытство.

— Что это за горцы приехали к тебе, владыка Георгий?

— Да приехали ко мне горские хевиставы, — уклончиво ответил визирь.

По его мнению, Махара не мог ничего скрыть от императрицы Мариам, а первый визирь был твердо убежден, что тайну нельзя доверять женщине.

Скопец удалился разгневанный.

До самого вечера носился он по дворцу, вертелся около покоев Чкондидели, но все же прозевал момент, когда туда вошел царь Давид в сопровождении эриставов и спасаларов.

Раза два он спросил царя Георгия, где молодой царь, на что тот ему ответил:

— Сам я его ищу. Он утром забрал с собой спасаларов, и, наверное, они поехали в крепость Цхвило.

Сердце Махары глодали гнев и любопытство. Он ломал себе голову, по какому поводу идет такое долгое совещание.

Лишь после полуночи его бдительный глаз заметил, как цихистав Чирдилели вывел из крепости пятерых всадников в забралах. Провожать их поехал Кариман Сетиели с семьей чухчами, старшим над которыми был Латерия, получивший по приказу царя повышение после поездки в Шараган.

Махара долго дулся на Чкондидели за то, что тот скрыл от него какую-то важную тайну.

Тем не менее через приоткрытую дверь ему удалось рассмотреть кахетинских эриставов Барама Аришиани и Кавтара Барамисдзе и хевиставов Торгвая, Тотибая и Хуранисдзе.

Махаре стало ясно, что решается судьба Ках-Эретского царства, где совсем недавно скончался кахетинский царь Квирике и на престол взошел Ахсартан II — «взбалмошный самодур и невежда».

ДНИ И НОЧИ ЗЛА

В то самое время, когда в дарбази первого визиря заседал совет старейшин, императрица Мариам безуспешно предпринимала все возможное, чтобы повидать царя Давида. Цинцилук и Сабия сбились с ног, бегая без толку вверх и вниз по лестницам дворца.

На следующее утро Мариам встала очень рано. Дедисимеди, не сомкнувшая глаз всю прошлую ночь, еще крепко спала. Мариам решила пойти сама в башню Ркони и, если ей не удастся увидеть царя Давида, то по крайней мере повидать царя Георгия.

Все дворцовые дамы отлично понимали, что происходят какие-то необыкновенные события, и, не имея другого способа проникнуть в тайну, осаждали вопросами мандатуров.

Некоторые из мандатуров царя Баграта были оскоплены в Византии, другие были бездетны и, не имея своей семьи, привыкли жить чужими интересами. Поэтому каждая мелочь в быту Начармагевского дворца была им известна лучше, чем автору этого романа.

Но на этот раз и они ходили оторопелые и недоумевающие.

Мариам еще не закончила своего утреннего туалета, когда испуганный Цинцилук ей доложил:

— Пожаловал басилевс Георгий.

Мариам заглянула в опочивальню. Дедисимеди еще спала. Вернувшись в гостиную, она услышала, как в коридоре, приветствуя царя, Цинцилук стукнул коленями об пол и воскликнул:

— Полихронион!

От природы спокойной и уравновешенной Мариам были чужды жалобы и упреки.

С Георгием ее связывала нежная родственная близость, и у них редко вырывалось по отношению друг к другу горькое слово...

Царь Георгий обладал добрым сердцем и с малых лет не имел привычки давать чувствовать свое превосходство. Сан властелина страны и кесароса он воспринимал как бремя, возложенное на него провидением.

Порой он думал: «Родись я простым охотником, пожалуй, был бы гораздо счастливей».

Такой же бесхитростной была его сестра Мариам, и де-

сятилетия, проведенные среди лести, разврата и интриг византийского двора, не смогли изменить ее нрав.

Однако она не сумела избежать слабости, свойственной как очень красивым женщинам, так и некоторым большим талантам. Привычка к поклонению развивает у них самовлюбленность и болезненную чувствительность к малейшим уколам самолюбия.

Судя о других людях по себе, Мариам была склонна украшать их благородством и, сама доверчивая и наивная, требовала от всех прямодушия.

По этой самой причине императрица, хотя и сдержанно, но не могла не упрекнуть брата. Она с болью посетовала, что нынче в Начармагевском дворце ей не доверяют.

И это кому же? Ей, Мариам, всей душой привязанной к отцовской семье, на протяжении многих лет орошавшей своими слезами подушки Буколеонского и Манганского дворцов.

— Я всегда презирала женщин, которые, выйдя за чужеземцев, тотчас забывают и родину и свою семью.

Чья это выдумка, что у женщины нет родины!

Пропади пропадом все византийские дворцы! Если бы у меня не было там сына, я бы больше не ступила ногой на греческую землю, — со слезами говорила Мариам.

— Откуда у тебя такие мысли, Маико? Разве когда-нибудь в уголке моего сердца может быть от тебя хоть малейшая тайна? Если я о чем-нибудь умалчиваю или не спешу тебе сказать, то это только щадя тебя, потому что не хочу прибавить лишнее огорчение ко всему тяжелому, что тебе пришлось пережить.

Если ты любишь меня, Маико, не показывай мне заплаканного лица. Ты ведь знаешь, что я не выношу женских слез, особенно твоих. Заклинаю тебя душой матери, перестань плакать, Маико. Мне недавно пришлось увидеть, как птичница Теона оплакивала своего сына. Я не вынес этого зрелища и сбежал, как ребенок.

Лишь только царь упомянул о душе матери, Мариам вытерла слезы.

Георгий продолжал:

— Кто мог выдумать, будто тебе не доверяют, — я или Давид, или владыка Георгий?

Если мы что-нибудь скрываем, то только горе, несчастья нашей страны. Разве ты не видишь, что я прикидываюсь беспечным — то занимаюсь рыбной ловлей, то пыгаюсь рассеять себя охотой. Боюсь иногда, что сердце мое разорвется.

Нет ничего утешительного в нашей горемычной стране, потому-то и приходится многое скрывать.

— Многие скрывать? А что же все-таки ты скрываешь? Ты сейчас же должен мне все сказать, Георгий! Не по душе мне такой долгий совет старейшин.

Заклинаю тебя душой матери, ничего не таи от меня! Пожалей меня, несчастную, лишенную родины, Георгий...

— Успокойся, Майко. Клянусь твоим солнцем, я все тебе скажу, если ты так настаиваешь, но что же из этого выйдет? Прибавится у тебя горя, и больше ничего.

Хотя бы самому мне многого не знать и раньше бы разорвалось это проклятое сердце!

К чему все это? Червяк сказал: «Мир погибает», и выколот заранеe себе глаза.

— Нет, нет, Георгий! Сейчас же мне все расскажи!

— Ну что ж, изволь... Султанат сельджуков объединился... Мохамед прибыл в Армению, а Бархиарок — в Адарбаган.

-- А еще что?

— Еще? Еще — Атраха Шараганович требует заключения между нашими домами брачного союза. Без этого, говорит, не доверю вам наемного войска.

— И как к этому отнесся царь Давид? Что решили ты и Чкондидели?

— Что же нам остается делать? В нашем положении не торгуются. Гуарам, владетель Бечисцихе, завтра едет обратно в Шараган.

— Зачем?

-- Затем, чтобы сообщить половецкому хану о нашем согласии. Ты сама посуди, какой у нас другой выход?

Султанат Малик-шаха объединился, и мы стоим перед ним лицом к лицу. Ты сама отлично понимаешь, что это означает. Малик-шах в свое время выводил на поле битвы семисоттысячное войско. Разве это шутка?

Как охваченные горем простые грузинки ударяют себя по лицу, так Мариам ударила прекрасными пальцами по своим щекам — пальцами, которые увековечены на иконе Хахульской божьей матери.

Царь Георгий заметил оставшиеся на щеках белые полосы.

— Великий боже, что слышат мои уши, что я слышу! — простонала Мариам.

После короткого молчания она сказала:

— Ах, Георгий... Неужели тебя и моего обожаемого племянника ничему не научил опыт Алексея Комнена?

Сколько раз приводил кесарь этих разбойников-половцев в свою столицу. Он их кормил до отвала, одевал, вооружал. Они давали ему заложников.

И вот в одну ветреную ночь они поджигали свои палатки и принимались грабить церкви и фабрики, а затем шли с огнем и мечом по Балканам, уничтожая села и города.

Несчастный кесарь бросался за ними в погоню, и ему приходилось воевать с ордами, которые он сам вооружал.

— Чему быть, того не миновать, Майко. Я в ту ночь замкнул мои уста и поклялся отныне не вмешиваться в государственные дела. Поеду к себе в Гегути и опять буду приручать волчат. Раз не слушаются меня люди, то, быть может, от зверей добьюсь толку.

Кроме всех других напастей, старость сопровождается еще одной — старики думают, что годы им прибавили ума, а молодые держатся обратного мнения, полагая, что к старости люди глупеют.

Не берусь судить, у кого из нас прибавилось ума и у кого убавилось. Возможно, что мы все ошибаемся.

Мариам слышалась в соседней комнате легкий шорох, и у нее явилось опасение, не проснулась ли Дедисимеди.

Извинившись перед братом, она вышла в опочивальню. Дедисимеди лежала, завернувшись с головой в одеяло. Мариам с ней заговорила, она не отозвалась.

Императрица немного постояла около ее кровати, затем вернулась в дарбазу, опять села подле царя Георгия и сказала:

— Я не могу прийти в себя, мой дорогой. Все это кажется невероятным: с одной стороны — правоверный христианин, царь, Багратид, а с другой — Атраха Шараганович и его дочь, дочь кочевого племени.

Боже, что услышали мои уши! — с жалобным воплем снова воскликнула Мариам.

Взгляд Георгия был устремлен на иконы, висевшие в углу дарбазы. Потом он перешел на Мариам, и царь грустно произнес:

— Я боюсь, как бы с нами не случилось того, что произошло с цаплей, которая, не наевшись мелкой рыбешкой, захотела проглотить рака. Клешни его застряли у нее в горле, и она погибла.

С другой стороны, если задуматься над нашим положе-

нием, у моего сына и Чкондидели иного выхода нет. Наших вековых союзников армян сельджуки уже раздавили, а греки и себя не в силах защитить.

Как надеялся я на этого злосчастного магистра Иоанна, но они с Романом, сыном Диогена, вели себя, как дети... Хорошо еще, что ты и Константин спаслись от беды, Маико...

Так или иначе, наша последняя надежда рухнула.

Я не хочу разочаровывать молодых и порой думаю про себя: «Быть может, я состарился? Ослабели мои руки, колени не слушаются, и поэтому, должно быть, нет у меня былой смелости и поколебалась моя вера в победу».

День и ночь твержу я владыке Георгию: «Что вы делаете?».

Хотя мне и не говорят, но я вижу, что они готовятся к великим событиям. Не знаю, что нас ждет, но в том, что не будет ничего хорошего, — в этом я, к моему несчастью, убежден.

Они забрали у кахетинского царя Зедазени и теперь метят на другие крепости, но ведь взять крепости легче, чем их удержать.

Ни Чкондидели, ни мой сын, ни его спасалары не считают с тем, что не только отвага воинов решает исход войны, но и вооружение, и вьючный скот, на котором перевозят войска.

Арабы победили Византию благодаря своим верблюдам, которые оказались гораздо выносливее лошадей при перевозке войск, снаряжения и продовольствия.

Альф-Арслан привез в Ахалкалаки многотысячное войско тоже на верблюдах.

У сельджуков за Каспийским морем стоят наготове десятки тысяч боевых верблюдов, и, как нам сообщил Джоджики, султаны Бархиарок и Мохамед выставили еще и боевых слонов.

Когда я обратил на это внимание моего сына и его спасаларов, Давид улыбнулся и ответил мне:

«У нас тоже есть боевые слоны... Это наши горы и холмистые предгорья. Сельджуки одерживают победы только в степи. Там же, где пройдут наши быстрые горные кони, их слонам и верблюдам делать нечего».

Присматриваюсь я и вижу, что войско наше обучено хорошо, но все же за многое я опасаюсь.

Впрочем, не могу не признать, что как-то сын мой мне здорово ответил: «У тебя, отец, в Парцхиси не было ни вер-

блюдов, ни боевых слонов, но все же ты победил сельджукского саранга. Не правда ли?

Войны выигрывают не верблюды и не слоны, а непоколебимый боевой дух народа.

Самсон побил филистимлян ослиной челюстью.

Разве это не так?..»

Это он мне очень хорошо сказал, клянусь твоим солнцем, Маико...

Что ж, дай бог, дай бог, Маико, чтобы Давид и Чкондидели побили сельджуков ослиной челюстью.

— Дело Липарита тоже слушалось вчера? — спросила Мариам в заключение беседы.

— Липарита осудили на изгнание и лишение всего имущества. Я думаю, что Ката оставят замок в Гомарети...

Сказав это, царь Георгий извинился, что ему пора уходить, потому что к царице Елене должен прийти лекарь.

* * *

Лишь только посетивший императрицу царь Георгий произнес первые слова, голос его разбудил Дедисимеди.

Она долго лежала ничком, затаив дыхание, и слушала беседу брата и сестры. Когда заговорили об условии половецкого хана и о том, что оно принято, она вскочила, надела на шею наперсную иконку и быстро оделась в домашнее платье.

Она свернула одеяло так, точно под ним кто-то лежит, и прильнула к дверной щели.

Услышав об осуждении Липарита на изгнание, Дедисимеди на цыпочках направилась к противоположной двери, выходящей в коридор.

В эту дверь кто-то еле слышно постучал.

В коридоре стояла высокая женщина в черном.

— Теона, это ты? — спросила Дедисимеди шепотом, взяла пришедшую за руку и бегом спустилась с ней по узкой лестнице во двор замка. Никем не замеченные, они проскользнули через двор. Лишь в столетнем винограднике им встретился сокольничий Звонила, направлявшийся в соколятник, чтобы задать утренний корм птицам.

Прячась за деревьями, они миновали обширный виноградник и вышли на дорогу, что вела к базиликам...

• • • • •

Проводив царя Георгия, Мариам осторожно вошла в опочивальню. Взглянув на постель Дедисимеди, она подумала: «Пусть, бедняжка, еще поспит», и стала на утреннюю молитву.

«Пресвятая богородица, — молилась императрица, — ты покровительница всех матерей и девушек. Твоему попечению поручаю я эту несчастную...»

Слезы подступили ей к горлу. Мариам думала с грустью: «У кого повернется язык сказать бедной девушке, какое горе обрушилось на ее голову? Нет, я не обмолвлюсь ни звуком. Кто хочет, пусть говорит. Я только поцелую тебя в лоб, моя красотка».

Императрица подошла к постели, осторожно отвернула одеяло... и ахнула.

Из гостиного дарбази послышалось квохтанье горных курочек.

Бросив птицам корм, Мариам подошла к двери и, приоткрыв ее, крикнула:

— Мелита!

Никто не ответил.

Она крикнула снова:

— Мелита, Мелита!

Вместо Мелиты появился заспанный Цинцилук.

— Разыщи Дедисимеди и тотчас ее приведи, — приказала императрица.

В оцепенении долго сидела она перед зеркалом магараджи, машинально разглядывая свое изображение. Сколько седых волос и морщин прибавилось у нее за последние дни!

Красногрудые горные курочки, квохча, суетились перед зеркалом.

Отворилась дверь, и вместо Дедисимеди в сопровождении Цинцилука вошла Гванца.

«Старик совсем выжил из ума», — подумала Мариам, однако не удивилась, потому что подобные ошибки случались не раз. Цинцилук часто путал негреческие имена.

Она остановила удаляющегося дворецкого и отчетливо приказала:

— Приведи ко мне дочь эристава Липарита.

Мариам в это утро по непонятной причине, как никогда, обрадовалась Гванце и обласкала ее.

— Слава богу, что ты здорова, девочка. Я собиралась тебя навестить.

И прибавила:

— Сегодня ночью ты мне приснилась. На тебе было покрывало фиалкового цвета, и ты сидела на белом коне.

— Ох, августа, такой сон не к добру. Сидеть на белом коне — к слезам, я слышала это еще от покойной матери.

— Не говори этого, моя красотка. Не пристали слезы твоим прекрасным глазам.

Императрица подвинула гостье вазу с сушеными фруктами и спросила:

— Не видала ты где-нибудь Дедисимеди?

— Нет, сегодня утром не видала.

— Тогда загляни в спальню Каты, быть может, она там, — приказала Мариам Цинцилуку.

Вошел Сабия с подносом.

— Не встретишься тебе Дедисимеди? — спросила его Мариам.

Оказалось, что в это утро и Сабия не видал девушки.

— Быть может, она у Теоны, — предположил старик. Мариам с улыбкой обратилась к Гванце.

— Что за дружба у тебя и у Дедисимеди с этой птичницей?

— Ничего особенного, августа. Теона потеряла единственного сына — его убили сельджуки под Зедазени. Поэтому мы ее жалеем и внимательны к ней.

Гванца взглянула на раскрытую книгу, лежавшую на столе, и воскликнула:

— Какая красивая книга у тебя, августа. Как она называется?

— Это Платон, милая.

— О чем там написано?

— Сейчас тебе скажу.

Мариам дотронулась пальцем до того места, которое прошлой ночью она читала Дедисимеди. Она медленно подыскивала слова, чтобы перевести Гванце строки: «...Если бы было возможно так устроить государство или какое-нибудь войско, где плечом к плечу боролись бы влюбленные пары, тогда легионы соревнующихся в любви были бы непобедимы».

У Гванцы заблестели глаза. Мариам закрыла книгу и сказала:

— Нечто подобное, милая, случилось в истории Эллады. Соревновавшееся в любви войско фиванцев под предводительством Пелопидаса разбило наголову спартанцев.

Цинцилук принес утешительное известие:

— Сокольный Звонила встретил дочь эристава, она с птичницей Теоной шла к базиликама.

— А в дарбази Каты ты заходил?

— Зашел, но там ее нет.

— А Теону не встречал?

Оказалось, что Цинцилук не знал ни Теоны, ни где она живет. Гванца ему объяснила, что у звериных загонов стоит ряд курятников и, пройдя их, три хижины. В двух живут пекари, а в самой дальней Теона.

Цинцилук пошел на поиски, и опять началось ожидание.

Мариам поминутно взглядывала на дверь.

Наконец дворецкий вернулся и сообщил:

— Хижина заперта, а пекари сказали, что Теона, наверное, ушла во Мцхета.

— Как во Мцхета? — воскликнула императрица.

Гванце это показалось правдоподобным. Неделю тому назад Дедисимеди ей говорила, что она должна непременно съездить помолиться в Светицховели.

Мариам обрадовалась.

— Она вправду так сказала, милая?

— Клянусь отцом, она так сказала, августа.

Гванце только казалось странным, что дочь эристава могла пуститься в такое далекое путешествие без прислуги и без охраны.

— Что же тут особенного? Дочери византийских вельмож очень часто уходят из дому на богомолье. В нескольких парсангах от Константинополя находится монастырь, излюбленный богомольцами.

Сама я в молодости много раз ходила в сопровождении какой-нибудь монахини из Гегути в Сохастери, — сказала Мариам и немного спустя добавила: — Давай посмотрим, какое платье надела Дедисимеди. Идем, Гванца.

Открыли стенной шкаф, сундуки и ларцы. Парчовые и шерстяные наряды оказались на месте. Мариам отсюда заключила, что Дедисимеди, по-видимому, надела свое повседневное платье.

Не оказалось наперсной иконки в малахитовом окладе.

С первого дня приезда в Начармагеви императрица Мариам сама собиралась во Мцхета, но следовавшие одно за другим тревожные события помешали ей осуществить это желание.

В то утро ярко светило солнце и погода была чудесная. Если бы не голые деревья и не отсутствие зеленой травы, можно было бы подумать, что наступил месяц роз.

Мариам с воодушевлением соблазняла Гванцу:

— Непременно сейчас же поедем во Мцхета.

В том, что беглянки должны быть именно там, она была теперь вполне уверена. Приняв без колебаний предположение Гванцы и пекарей, она уже представляла себе Дедисимеди с Тсоной на пути к Светицховели. Именно туда шли они, когда их встретил Звонила.

Она загорелась желанием немедленно ехать во Мцхета. Таким путем она отвлекалась от гнетущей мысли, что Дедисимеди пропала. Стоит только выехать из Начармагеви, и дорожные впечатления и верховая езда рассеют волнения последних дней.

С этой поездкой у Мариам подсознательно была связана и другая надежда.

Мцхета находится всего в нескольких парсангах от Зедазени. Быть может, счастливый ветер занесет туда Нианию?

Конечно, путешествие украсилось бы участием царя Давида, но и без того царь, вероятно, поедет взглянуть на вновь приобретенную крепость или сама Мариам захочет побывать в Зедазени.

Простые смертные, у которых между житейскими возможностями и мечтой лежит пропасть, привыкли находить утешение в мечтах и с этим мириться.

У царей и тиранов всемогущество создает уверенность, что каждое их желание должно непременно исполниться. И когда по какой-нибудь причине это не выходит, они чувствуют себя глубоко несчастными.

Одно обстоятельство смущало Мариам: если царь Давид окажется занят и не сможет ее сопровождать, то как устроить, чтобы внезапная поездка во Мцхета не возбудила подозрения у царя Георгия, царицы Елены и епископов?

Не решив окончательно этот вопрос, она занялась выбором платья для дороги.

Как раз в это время вошел Цинцилук и доложил:

— К тебе пришел от кутаисского, манглисского и бедийского владык дьякон Тимофей.

— Ты не знаешь, что ему надо? — спросила Мариам.

Цинцилук, стоя в дверях, ответил:

— Они все трое, если императрица соизволит, просят приема.

Мариам была в затруднении. Уже два раза епископы просили о приеме, но она им отказывала, ссылаясь на нездоровье. Отказать сейчас и самой уехать было бы совсем неудобно. А если их принять, то они просидят до вечера, пока не скажут наконец, после долгих церемоний и разглагольствований, о деле, которое их привело.

Вдруг ее осенила блестящая мысль:

«Возьму с собой епископов, и тогда никто не заподозрит, что императрица поехала во Мцхета на свидание с Нианией Бакуриани».

Участие в поездке царя Давида она считала также необходимым. Мариам знала много случаев, когда происхождение, стечение обстоятельств или запрет духовенства препятствовали византийским императорам жениться на любимой девушке. Тогда ее оставляли во дворце как любовницу, хотя бы в звании главной фрейлины. При дворе императора Константина было много таких любовниц.

Каприз судьбы расстроил брак Давида и Дедисимеди. Что может отсюда произойти? Императрица Мариам приложит все старания, чтобы ее обожаемый племянник, не нарушая Номоканона, не упустил своего счастья.

По этим соображениям ей казалось не только желательной, но даже необходимой встреча Давида с Дедисимеди вне Начармагеви, вдали от любопытных глаз мандатуров и придворных.

Воодушевленная своими тайными планами, она приказала Цинцилуку:

— Пойди в башню Ркони и от моего имени попроси пожаловать царя Давида.

Цинцилук обернулся в дверях и напомнил:

— Дьякон Тимофей ждет ответа.

— Скажи, пусть он идет, ответ я пришлю сама.

Цинцилук в растерянности замешкался. Мариам крикнула ему вслед:

— Иди скорей, а то как бы царь Давид куда-нибудь не уехал. Скажи Мелите, чтобы она тотчас ко мне явилась.

В дарбази послышался шорох парчового платья Мелиты.

Мариам поручила ей пригласить епископов. Когда она произнесла имя кутаисского архиепископа, глаза Мелиты блеснули. Она мигом повернулась и направилась к дверям.

Мариам остановила ее и наставительно произнесла:

— Помни, что ты не должна к ним входить без доклада. Поняла?

— Слушаю, — сказала Мелита и пошла к дверям.

Мариам снова ее вернула.

— Когда со всей учтивостью передашь приглашение, то между прочим скажи: «Императрица собирается поехать во Мцхета на богомолье».

— Слушаю, августа, — ответила Мелита и поспешила закрыть за собой дверь.

Кутаисский архиепископ Антоний показался Мариам очень располневшим. К его румяным щекам не шла монашеская ряса.

Пышущий здоровьем старик являл собой скорее цветение, чем умерщвление плоти.

Пока Мариам беседовала с Кирионом Манглиским, Антоний не отрывал алчных взглядов от налитых бедер куропатисы, ласково разговаривавшей с горными курочками на сладкозвучном греческом языке.

Вошел Сабия с горой винограда и сушеных фруктов на подносе. Вслед за ним появился главный кравчий.

Кутаисский архиепископ пожелал императрице здоровья на многие годы. Затем он передал кубок Кириону, но тому было не до вина. Он находился в разгаре повествования о разорении обителей и церковей Триалетского эриставства.

Тем временем Антоний успел осушить два кубка и сказал:

— Мелита нам передала, августа, что ты желаешь посетить вместе с нами мцхетские храмы. Если так, то уже пора ехать, потому что солнце поднялось высоко.

Мариам вспыхнула: «Как точно я ей объяснила, что надо сказать, а она все напутала». Не показав недовольства, она ответила архиепископу:

— Я давно собираюсь во Мцхета. Если вам будет угодно поехать вместе, владыки, я, конечно, буду очень рада.

Три епископа загремели в один голос:

— Мы готовы тебе сопутствовать.

Мариам сказала:

— Если в дороге нас застанет ночь, мы можем переночевать в Мухранском дворце.

Наконец возвратился Цинцилук и доложил:

— Царь Давид принимает владетелей Уплисцихе и Цхви-
лосцихе, и у него собрались также эриставы и спасалары.
Поэтому местумретухуцеси не пустил меня в башню Ркони.

Когда Мариам, провожая гостей, подошла к порогу дар-
бази, у нее явилась мысль: «Не зайти ли к царице Елене и
не объяснить ли хоть ей, что случилось», но она испугалась,
как бы царь Георгий не стал ее отговаривать от поездки из
опасения, что она простудится. Кроме того, ей казалось не-
уместным предавать огласке исчезновение Дедисимеди, и по-
этому она решила ехать без задержки, поручив главной над-
женской прислугой Мзисавар Шервашидзе сообщить об ее
отъезде царице Елене.

Еще до полудня императрица Мариам в сопровождении
трех епископов, Гванцы и куропалатисы Мелиты выехала из
Начармагеви. Им сопутствовали два протодьякона, две мо-
нахини и десять чухчей.

* * *

Мариам и ее свита уже были в дороге, когда Сабия
встретил в коридоре Махару и сообщил ему об исчезновении
Дедисимеди.

У Махары потемнело в глазах. Он прислонился к стене.

— Что ты мне сказал! — крикнул он факельщику.

Видя, какое волнение вызвали его слова, Сабия поста-
рался их смягчить и внушить надежду:

— Все говорят, и императрице Мариам так доложили,
что, кажется, Дедисимеди с птичницей Теоной поехали во
Мцхета. И я тоже так смекаю, царствие небесное моей ма-
тери.

— Как?.. Дочь Орбелиани с Теоной поехала во Мцхета?
Что ты мелешь, старик?

Махара грозно нахмурился.

— Нет, это не я говорю, царствие небесное моей мате-
ри, — оправдывался Сабия. — Мне самому не верится, цар-
ствие небесное моей матери. Так доложил императрице Цин-
цилук, и она поехала разыскивать Дедисимеди.

Махара был ошеломлен услышанной вестью. При Сабии
он, однако, не обнаружил своего недовольства единокровной
сестрой и только подумал про себя:

«Ох, уж это женское легковерие... Как? Дочь Орбелиани
в какой-то убогой птичницей поехала во Мцхета?»

Оставив Сабия в коридоре, он вернулся в башню Ркони с намерением немедленно доложить обо всем царю Давиду.

В башне заседал совет. Цихиставы, эриставы и спасалары сидели на своих местах, напротив царя сидел Чкондидели и докладывал.

Из слов первого визиря можно было заключить, что совет еще не скоро закончится.

Махара посмотрел на Давида. После бессонной ночи лицо его казалось утомленным. Под глазами лежали темные круги, и исчез обычный румянец. Он сидел чуть согрившись в золоченом кресле и внимательно слушал своего воспитателя.

Махара еще и еще раз взглянул на дорогое лицо, носившее печать усталости и трудов, и сказал себе:

«У кого хватит бессердечия сообщить ему такую горестную весть?»

Нет! Даже если Чкондидели закончит свой доклад и старейшины разойдутся, я не решусь это сделать».

Махарой овладело нетерпение, он был не в силах слушать длинную речь первого визиря, встал и вышел в полутемный коридор. Он шел под гнетом своих мыслей, когда его догнал дворецкий и прошамкал:

— Ты тоже едешь с государем в крепость Цхвило?

Махара не обратил внимания на его бормотанье и продолжал идти, низко опустив голову. Он шел, не зная сам куда и не представляя себе, кому первому следует сообщить о случившемся.

Его точила мысль: «Кто мог сказать Дедисимеди о решении совета?» Подозрение его пало на цинцхаройского епископа.

Болтовня Сабии и предположение, что Дедисимеди поехала во Мцхета, ему показались вздором. Он считал, что под впечатлением такого удара, к тому же не единственного, у девушки не могло хватить решимости и сил на дальнейшее путешествие.

Если у нее была потребность помолиться, зачем же идти так далеко? Разве нет поблизости церкви Черной богородицы или Самтависи, или других церквей в окрестностях Нарчамагеви?

Махара хотел было пойти в палаты царя Георгия, но его остановила мысль: «Царь и царица, наверное, еще отдыхают». Он спустился во двор замка, прошел через виноградники, и ноги сами вывели его на дорогу к Черной богородице.

Он зашел к иеромонаху, созвал монахинь, живущих при базилике. Никто из них не видел в последние дни ни Дедисимеди, ни Теоны.

Расстроенный, он направился по дороге на восток, вдоль вытянувшихся в ряд базилик. Некоторые из них были закрыты. Встречая священника, дьякона или монахиню, он расспрашивал каждого в отдельности, но не узнал ничего нового.

Вернувшись во дворец, он опять пошел в башню Ркони. Стоявший у дверей дворецкий ему сообщил:

— Совет еще продолжается.

Махара повернулся и пошел в палаты царя Георгия.

* * *

Когда Махара рассказывал царю Георгию об исчезновении Дедисимеди, у изголовья царя сидел Гуарам, владетель Бечисихе. Эристав вскочил, и по щекам его потекли слезы.

Глубоко опечален был и Георгий.

— Одень меня! — крикнул он постельничему Саридану.

Пожелал встать не только Георгий, поднялась с постели и больная царица Елена. Протянув руки, она оперлась на главную горничную.

— Скорей, скорей! — зывала она, точно ей нужно было только выйти в приемный дарбази и дочь Орбелиани тотчас же найдется.

Царь Георгий, подавленный несчастьем, твердил:

— Теперь ляжет на нас грех за гибель чужого дитяти.

Он резко отстранил обувавшего его неловкого постельничего и, несмотря на боль в пояснице, сам с юной бодростью натянул малиновые сапоги и, прихрамывая, вышел в дарбази.

Там уже был Махара, окруженный придворными и мандатурами. У дверей собралась дворцовая челядь прачки, судомойки, шатерничие, факельщики, сокольничие и погонщики мулов. Женщины тихо всхлипывали.

Махара, как опытный следователь, по порядку всех опрашивал.

Когда в дарбази вошли царь Георгий, царица Елена и эристав Гуарам, шум и суета сразу прекратились.

Увидав царя, челядинцы поспешили к дверям, но Махара поднял руку и крикнул:

— Все оставайтесь в дарбази. Уйти может лишь тот, кто расскажет мне все, что знает.

Первым Махара допросил Звонила, подтвердившего то, что он сказал Цинцилку:

— Я видал на рассвете дочь Орбелиани и птичницу Теону. Они шли по дороге к базиликам. Я спешил в соколятник кормить птиц и поэтому больше ничего не знаю.

Махара задал другой вопрос:

— Ты не помнишь, какого цвета была одежда на Дедисимеди?

Звонила почесал затылок:

— Этого я не помню.

— Быть может, у одной или у другой что-нибудь было в руках — корзина или сверток?

— И этого не помню.

Эристав Гуарам, взглянув на царя Георгия и на царицу Елену, прервал Махара:

— Мне кажется, Махо, что было бы лучше допрашивать поодиночке.

Всем приказали выйти из дарбази, закрыли двери и стали вызывать по одному человеку.

После Звонила был допрошен аробщик Сесия, который встретил утром двух женщин в черном, просивших подвести их до Мцхета.

Когда вызвали Сесию, он перепугался: ему еще ни разу не приходилось перешагнуть порог дворца и видеть так близко царя и царицу. Он опустился на колени, но безбородый, бывший запанибрата со всеми простыми людьми, дружески его обласкал и заставил встать на ноги. Он попросил аробщика рассказать лишь то, что он сам слышал или видел своими глазами.

— Ты куда ехал сегодня утром, Сесия?

— Я?.. В Игоэти я ехал.

— Где ты встретил тех женщин, о которых говорил дворецкому?

— Там, где дорога поворачивает направо к мельнице.

— Как были одеты эти женщины, не припомнишь ли?

— Кажется, они были в черном... — сказав это, Сесия почесал затылок и некоторое время смотрел в пол. — Хорошо не помню... Не прогневайся.

Махара повернулся к царю Георгию:

— Жаль, что Звонила не заметил, как была одета Дедисимеди.

И снова обратился к Сесии:

— Значит, ты не помнишь, как хоть одна из них была одета?

— Не помню... Не гневайся на меня за это.

— Ладно. Теперь ты мне скажи, Сесия, какая из них с тобой заговорила — пожилая или молодая?

Сесия поник головой.

— И этого не помню. Не гневайся, государь. Пожилой там не было. Показалось мне, что обе молодые. Остальное все богу лучше ведомо.

Тогда задал вопрос царь Георгий:

— Не предлагали ли тебе денег за то, что подвезешь до Мцхета?

Этот вопрос перепугал аробщика. Он не знал, зачем Махара велел его позвать и что случилось с той женщиной, из-за которой загорелся сыр-бор. Быть может, ее убили и на него хотя бы свалить вину... Он струсил и невнятно забормотал:

— Деньги?.. Никаких денег я не получал от этой женщины, государь... Не прогневайся... Ничего я больше не знаю... Чем я виноват, право, не знаю...

Георгий понял, что смутило Сесию, и постарался успокоить, аробщика:

— Ты не бойся, мой Сесия, тебя ни в чем не обвиняют. Мы ведь не виним тебя, а только хотим узнать, предлагали ли эти женщины тебе деньги за поездку в Мцхета. Ты теперь понимаешь?

Сесия успокоился и сказал:

— Денег они мне не сулили, потому что я сразу отказался их везти, — я ведь к вечеру должен был вернуться во дворец.

Махара пытался еще что-нибудь выведать у аробщика, но безуспешно. Под конец тот совсем замолчал.

Затем ввели погонщика мулов, рассказавшего, что по пути в Урбниси ему встретились две женщины, спросившие дорогу в Ташискарри. Он показал им дорогу и больше их не видел.

Погонщик мулов оказался осетином, он был немного навеселе и на каждом шагу путался. Когда Махара его спросил, как были одеты женщины, он сначала сказал, что молодая была в красном, а старая в черном. Махара отвлек его внимание другими вопросами и внезапно снова спросил:

— Какая же из них была одета в красное — молодая или пожилая?

Допрашиваемый забыл то, что показал две минуты назад, и забурчал под нос:

— Старая была одета в красное, старая...

Махара рассердился и гневно посмотрел на него в упор. Тогда погонщик стал говорить обратное:

— Нет, молодая была в красном...

Длительный допрос ничего не выяснил. По показаниям одного выходило, что две женщины направлялись на восток, а по показаниям другого — на запад. Никто не мог точно описать их наружность. Даже Звонила не помнил, какого цвета платье было этим утром на Дедисимеди. Таким образом, оставалось неизвестным, в каком направлении ушли дочь Орбелиани и птичница Теона.

Часто говорят, что от долгой совместной жизни между супругами возникает сходство. Так было у состарившихся вместе царя Георгия и царицы Елены. Мирный нрав царицы настолько приспособился к характеру Георгия, что если бы царь сказал о черном, что оно пестрое, Елена поспешила бы согласиться: «Да, да, — пестрое».

Но на этот раз они поспорили.

Царица хотела всей душой, чтобы Дедисимеди оказалась во Мцхета. Это было бы тем более кстати, что туда поехала ее разыскивать императрица Мариам. В таком случае все бы устроилось к лучшему и горе миновало бы ее обожаемого сына.

Елена рассуждала так: сокольничий Звонила совершенно ясно видел, что Дедисимеди и Теона шли по дороге к базиликам. Значит, путь их лежал к Мцхета. То же самое подтверждается показаниями аробщика.

Георгий с этими доводами никак не мог согласиться.

— Подумай-ка, что ты говоришь. Допустим, что Звонила же ошибся и девочка действительно шла с птичницей на восток к базиликам.

Скажи же мне, бога ради, разве не бывает, что человек сначала отправится на восток, а дальше почему-либо изменит направление и повернет на запад? Разве не так?

А что касается показаний аробщика, то вполне возможно, что по пути в Игоэти он встретил совсем других женщин. Мало ли людей ходит и во Мцхета, и на базар, и на богомолье...

Главная над женской прислугой дочь Шервашисдзе настаивала, что женщины, спрашивавшие дорогу в Ташискарри, несомненно, были Дедисимеди и Теона.

Георгия наконец взяло зло.

— Это все бабьи бредни, — сказал он эриставу Гуараму. — Какая цена глупой болтовне погонщика мулов, который ел глазами Махару и каждую минуту менял свои показания? Он даже не заметил, какая женщина была в красном и какая в черном.

Когда это короткое обсуждение закончилось, Махара приступил к допросу двух сапожников. Они встретили в Атенском ущелье пять человек. Три молодца вели красивую девушку, царапавшую себе щеки; они успокаивали ее, а она горько плакала. За ними следовала на обрызганном грязью коне пожилая женщина, из глаз ее лились слезы, и она тоже царапала щеки.

Это сообщение встревожило эристава Гуарама и самого царя Георгия. Каждого из сапожников допросили отдельно. Показания обоих сошлись на том, что молодая была красивая, а пожилая — широкоплечая и скуластая.

Как была одета первая, установить не удалось, а вторая была в простом, грубом платье. Мужчины, что вели их волей или неволей, были в коротких бурках, на головах пастушьи островерхие папахи. Под бурками кольчуг не было видно, удалось заметить только длинные кинжалы. Сапожники не могли определить, какого они племени, и не запомнили их лиц.

Махара позвал дворецкого и спросил:

— Есть еще кто-нибудь на допрос?

Таких не оказалось, и эристав Гуарам сказал:

— Самое главное теперь, Махо, разузнать, что собой представляет птичница Теона.

Главная над женской прислугой дочь Шервашисдзе доложила:

— Теона — женщина очень порядочная и работающая. Сельджуки убили в Парцхиси трех ее братьев, муж утонул в Лиахви, а в этом году в бою под Зедазени пал ее единственный сын.

Махара велел позвать главного птичника.

Старик с белой бородой, весь в пуху, испуганно тарачил глаза на царя и вельмож. Когда Махара его обласкал и спросил о Теоне, он охотно сообщил:

— Теона — женщина работающая, правдивая и добрая. Только в последнее время она затосковала, у нее опустились руки, и поэтому на кур напал мор и они подохли. Дни и но-

чи она пропадала в церкви Черной богородицы и все, что имела, пожертвовала на поминки.

Она так похвалялась: «Если царь Давид еще будет воевать, надену чоху мужа, опояшусь его мечом и оплачу сельджукам за кровь моего сына».

Эти отзывы рассеяли подозрение эристава Гуарама, которое у него возникло под впечатлением рассказа сапожников. Владетель Бечисцихе опасался, что птичница могла продать эриставскую дочь сельджукским лазутчикам и сапожники оказались свидетелями этого похищения.

Наконец дворецкий ввел только что вернувшегося с охоты главного ловчего.

Главный ловчий рассказал:

— Сегодня утром я охотился на ланей у горы Квернаки. Раненая лань убегала от собак и свалилась на дороге.

В это время в сторону Мцхета шли две женщины — одна в простой черной одежде, высокая и скуластая, другая молодая — в платье из пестрой ткани.

Молодая подошла к упавшей лани, заплакала и потом поцеловала ее в морду.

«Добрый человек, — упрекнула она меня, — что тебе понадобилось от этой лесной крысы?» — и пошла дальше.

Царица Елена ухватила за это показание и стала горячо убеждать царя Георгия:

— Поверь мне, государь, дочь Орбелиани окажется во Мцхета.

Царь Георгий долго внушал жене:

— Ты думаешь, что, кроме Дедисимеди, нет на этом свете других девушек, которые любят и жалеют животных? Ты вот считаешь меня бессердечным, но смерть лани, когда из прекрасных глаз ее текут слезы, — это такое потрясающее душу зрелище, что сам я не раз при виде его плакал в лесу.

У царицы Елены отняли последнюю надежду. Она заплакала, как ребенок, и принялась упрекать мужа:

— Правда, ты бессердечный, Георгий, бессердечный... Обязательно тебе нужно расстроить человека.

Царь Георгий пожал плечами. Он вызвал главного рыболова и приказал ему немедленно обшарить Лиахви неводами.

Вардосанисдзе, заменявшему Каримана Сетиели, было приказано отправиться с несколькими чухчами в Атенское ущелье и разузнать о трех всадниках, что вели двух плачущих женщин.

Танайскому хевиставу дали знать, чтобы он оказал чухчам всяческую помощь.

Когда мандатуры и слуги вышли, эристав Гуарам спросил царя Георгия:

— Не надо ли обо всем уведомить царя Давида?

Георгий был в нерешительности. Однако ни Махара, ни сам Гуарам не захотели взять на себя это поручение.

Царица Елена была против:

— Всю прошлую ночь он, говорят, не спал... Пусть хоть эту ночь немного отдохнет.

Царь Георгий, после недолгого раздумья, сказал Гуараму:

— Сообщить о неприятном никогда не бывает поздно. Царь Давид совещается с цихиставами и не скоро освободится. Посмотрим, что нам принесет завтрашний день. Пусть будет по-вашему, подождем до завтра.

Царица Елена жалобно сказала:

— Настали дни зла, эристав Гуарам.

Владетеля Бечисцихе мучило раскаяние. «Лучше бы я умер на пути в Шараган!»

* * *

Уже в сумерки царь Давид отпустил цихиставов. Спасалары и эриставы пошли отдыхать. Царь Давид был не в духе, у него болела голова.

Он не притронулся к ужину, оставленному по его приказанию на столе. Приоткрыв окно, некоторое время хмуро наблюдал тени часовых, двигавшиеся по двору замка, потом пошел в опочивальню.

«Немного отдохну и пойду к тетке Мариам», — решил царь.

Давид лежал в полутьме. Все тело его томило непонятное беспокойство. Его терзала мысль, что в дарбази императрицы Мариам он, несомненно, встретит свою любимую. Какие слова утешения найдет он для исстрадавшейся девушки, на которую без передышки обрушились гибель брата, заточение и изгнание отца и теперь новое и самое большое несчастье?

Какой страшный и неотвратимый поворот судьбы!

Дошла ли до нее весть о решении ночного совета? Кто мог быть вестником?.. У кого хватило жестокости сказать ей обо всем?

И если она каким-нибудь образом узнала, то что она должна была почувствовать?

У него перехватило дыхание. Он быстро переоделся и пошел в большой дворец.

В полутемных коридорах мандатуры и факельщики, завидев его, прижимались к стенам, боясь, что он обратится к ним с вопросом.

На другом конце длинного коридора, который вел на половину императрицы, показался Цинцилук. Узнав издали царя, он проскользнул в гостиную и там спрятался.

Главная над женской прислугой, дочь Шервашидзе столкнулась с царем лицом к лицу. Женщина задрожала: вдруг он ее окликнет и о чем-нибудь спросит!

Давид на минуту приостановился, а затем пошел дальше, направляясь к покоям Мариам.

Он постучал в дверь. На стук никто не отозвался. Дочь Шервашидзе быстро подошла и, задыхаясь от волнения, доложила, что императрица уехала во Мцхета.

Царь удивился: как она могла поехать во Мцхета без него? Тотчас он нашел объяснение: ведь если бы она и пожелала его видеть, это бы ей не удалось.

Он повернулся и пошел в палаты царя Георгия.

Вышедшие из башни Ркони эриставы и спасалары, узнав об исчезновении Дедисимеди, собрались у царя Георгия.

Еще на пороге приемного дарбази Давид услышал оживленный разговор, мгновенно смолкший при его появлении.

Молчали и царь Георгий, и царица Елена.

Давид окинул взором сидевших и стоявших и, пораженный единодушным молчанием, спросил:

— Что случилось? Почему вас так смутил мой приход?

Все поникли головами и продолжали молчать.

— Что случилось? — повторил он свой вопрос.

Тогда отец, всегда принимающий на себя тяжкое бремя нашего горя, бледный как полотно, вытер пот с похолодевшего лба и скупыми словами поведал сыну горькую новость этого дня зла...

Царица Елена упала на тахту. Опять водворилась тишина, и был слышен лишь сдерживаемый материнский плач.

Давид онемел, мертвенная бледность сменила румянец на его щеках. Не издав ни звука, он опустил в кресло.

Царица Елена собралась с силами и начала уверять, что Дедисимеди и Теона, несомненно, отправились во Мцхета.

Царь Георгий и эристав Гуарам неискренне поддакнули ей.

Махара повторил показания аробщика и главного ловчего.

Когда Махара назвал Теону, царь Давид вспомнил скучную женщину в черном, которую он последнее время часто встречал с Гванцей.

Все замолкли. Опять заплакала мать, видя, что Давид тоже не верит рассказу о поездке во Мцхета.

Плач матери и мертвое молчание остальных сделались Давиду нестерпимыми. Он встал и, не говоря ни слова, вышел из дарбазы.

Махара, Гуарам, эриставы и дворецкий последовали за ним. Давид обернулся и вежливо попросил их остаться.

Он прошел двор замка, виноградники и ступил на погруженную во мрак аллею, где столько раз гулял вечерами со своей любимой.

Он шел мимо звериных загонов, где, как и прошлым летом, подобно бронзовым изваяниям, застыли прильнувшие к земле олени, медведи и волки.

Только одинокий аху без усталости метался за оградой. Заметив приближение человеческой тени, он издал странный звук — что-то среднее между мычанием теленка и буйволка.

Вопль одинокого незащищенного животного в ту ночь хватал за сердце. Давид посмотрел еще раз на метавшуюся во тьме тень, миновал охотничий дом и свернул на дорогу, которая вела к базиликам. Сам он не знал, куда и зачем несут его ноги.

На висках его выступили капли пота, он снял шлем и подставил лоб дуновению ночной прохлады.

Он настойчиво шел к Черной богородице, прекрасно зная, что там он не найдет свою любимую, шел, влекомый непреодолимой потребностью взглянуть на то место, где она плакала, распростершись в пыли... Плакала так же жалобно и беспомощно, как аху.

От черной базилики исходил тусклый свет. Царь шел по окутанной тьмой степи.

Дверь базилики была открыта. Две монахини, лежа на кирпичном полу, плакали навзрыд и беспомощно простирались в пыли.

За иконостасом слышался бормочущий голос неромонаха.

Взгляд Давида приковал неприятно черный лик богоро-

дицы, ее заостренный нос, широкие угловатые плечи и тонкие губы. Где он видел это лицо? Он вспомнил птичницу Теону.

Да, да, сомнений нет — Теона похожа на Черную богородицу, как ее двойник.

Большое горе лишает того, на кого оно свалилось, способности логически мыслить: невозможное начинает казаться возможным, неисполнимое — исполнимым и невероятное под бременем несчастья кажется вероятным.

У Давида блеснула надежда: быть может, одна из молящихся женщин — Дедисимеди? Она обыкновенно надевала в церковь простое черное платье. Вторая женщина, может быть, окажется Теоной.

Это предположение показалось Давиду истиной.

Он быстро подошел к иконостасу, поднял зажженную свечу и осветил молящихся.

Обе женщины в черном оказались старухами.

Уходя, он бросил последний взгляд на жестокий лик черной Мойры и снова оказался в окутанной ночной тьмой степи...

* * *

Возвратившись в башню Ркони, Давид разделся и сделал попытку уснуть, но в ушах его не умолкал жалобный стон одинокого аху и глазам его мерещился лик Черной богородицы.

Одно за другим царь перебирал сведения, добытые Махарой от главного ловчего, аробщика, погонщика мулов и сапожников.

Мысли его были надолго привлечены показаниями последних.

Три всадника вели двух женщин — одну красивую, а другую безобразную, в черном...

Разве Дедисимеди и Теона не могли встретить рыскающих сельджукских лазутчиков и те их похитили? Он долго об этом думал и решил, что не остается ничего другого, как донесения чухчей, поехавших в Атенское ущелье.

Затем он встал, зажег свечи в подсвечниках и в ту ночь зла читал книгу Номана...

Царь с трудом дождался, пока затрепетали утренние тени и в замке началась жизнь, забегали мандатуры и раздались свист и переключка часовых. Он оделся, и умылся без помощи мандатуров и вышел в полутемный коридор.

Не доходя до покоев императрицы Мариам, он встретил факельщика Сабюю.

Давид спросил, не вернулась ли императрица.

Старик ничего не знал.

— Этой ночью чуть не умерла Ката, и мы с дочерью Шервашидзе находились при ней неотлучно, — объяснил Сабия.

Он шел за царем, бормоча под нос:

— Мне сдается, царевич наш государь, царствие небесное моей матери, что императрице Мариам и Дедисимеди уже пора бы вернуться. И вправду, может статься, царевич, что Дедисимеди окажется во Мцхета.

Болтовня бесхитростного старика заронила в сердце Давида каплю надежды.

Он уже более бодрым шагом шел по коридору и думал:

— Что ж... Кто знает, быть может, бедный старик окажется пророком.

Вдруг он откроет дверь и навстречу ему выйдет Дедисимеди!

По пятам его брел сонный Сабия и, не умолкая, бормотал:

— На все высшая воля, царевич. Не пропадет без следа горчичное семя, не то что душа человека, царствие небесное моей матери.

И еще душа такого ангела...

На все высшая воля, и верно сказано: как реки текут и не возвращаются вспять, так проходят наши дни, унося с собой частицу нашей души и тела.

Дойдя до покоев императрицы, Давид сильно постучал. Монахиня с завязанной головой открыла дверь и, увидав царя, испуганно опустилась на колени.

— Еще не приезжали? — спросил Давид.

— Нет, пока еще не пожаловали.

У Давида подкосились колени, он вошел в дарбазу и опустился в кресло.

Зеркало магараджи окружали проголодавшиеся горные курочки. Они сиротливо квохтали и звали из глубины зеркала свои отражения...

Царь Давид сидел, низко опустив голову, и тревога нарядных птиц казалась ему знамением судьбы в этот день зла.

СТРАУС И ЖЕЛТАЯ КОРОВА

«...В те времена царь глазом разума решил сотворить дело, которым угодил богу и сделал полезное, ибо святые церкви и божьи дома были превращены в вертепы разбойников. Недостойные носители епископского сана сделали их своими собственными именами. Эти распутные пастыри и архиепископы торговали именем божьим...

...Дабы пресечь столь великое зло, по приказу царя собрались католикосы, первосвященники, отшельники, пастыри и ученые перед его лицом и в назначенный день и место прибыли и в продолжение нескольких дней раскрыли и расследовали все беззакония. Недостойных и распутных выгнали из церквей, что нелегко было, ибо были они, что своевольно завладели церквями, сыновья князей и знатных, и поставили вместо них богобоязненных и праведных пастырей божьих».

Из хроники царя Давида.

Кариман Сетиели и «гости в забралах» переночевали в Мухранском дворце. Только на второй день в полночь добрались они до Зедазенской крепости.

Цихистав Нианиа Бакуриани убедил их переменить одежду на охотничью и, оставив лошадей в Зедазени, перейти из Мамкоди в Бочорму пешком. Он снабдил их охотничьими бурками, горскими бандули, лыжами и кошками.

По их просьбе он дал им в помощь Ситкваи Қора, Гогилея Хоргай и случайно попавшегося ему на глаза Хахутая. Старый «иерусалимец» достаточно отъелся на эриставских хлебах и уже снова жаждал приключений.

Нианиа Бакуриани по приказу царя Давида все время засылал в ках-эретские дворцы и крепости своих лазутчиков.

Ситкваи Қора и Гогилой Хоргай под видом то кузнецов, то каменщиков, то сапожников чувствовали себя там как дома. Они завязали тесное знакомство с постельничими монахами, меченосцами и конюхами кахетинского царя.

Всюду проникать невидимкой особенно хорошо удавалось Ситкваи Қора. Никому не приходило в голову заподозрить в этом тщедушном теле геройский дух.

После смерти царя Квирике деятельность лазутчиков в Кахети еще облегчилась, потому что простой народ не любил Ахсартана — отступника от Христовой веры.

Нианиа не хотел обескураживать «гостей в забралах», но в глубине души не верил, что им удастся их замысел похитить кахетинского царя Ахсартана.

В памяти народа еще свежо было воспоминание о том, как эристав Джонди выманил Рати из Хулутской крепости и захватил Липарита на охоте. Однако Ниании было хорошо известно, что в последнее время Ахсартан стал очень осторожен. К этому его вынуждали многие обстоятельства.

Как у большинства недалеких людей, у Ахсартана был обострен инстинкт самосохранения самого животного свойства.

Дорвавшись до престола, он не так безмятежно наслаждался своей властью, как думали его враги.

Давно известно, что когда игра случая вознесет на высокое место недостойного человека, он лучше других видит призрачность своего величия и испытывает мучительную тревогу. Поэтому он напрягает все силы, чтобы удержать то, что даровано ему прихотью судьбы.

Одна за другой свалились на Ахсартана две неудачи — смерть Рати и пленение Липарита.

Гибель молодого Орбелиани лишила его отважного союзника в борьбе с общим врагом.

В годы изгнания Рати из Триалети он сам и его азнауры обивали пороги кахетинских дворцов, убеждая царевича Ахсартана объединиться и общими силами стереть с лица земли царя Давида. Вовлекая царевича в эту опасную игру, Рати обещал ему руку Дедисимеди и склонял его заблаговременно развестись со своей законной женой Анастасией.

Ахсартан влюбился в Дедисимеди в первый же день своего посещения Триалети. Из памяти его не изгладилось, как неблагосклонно она приняла его признание, но он успокаивал себя: «Кто же спрашивает женщину, любит ли она? Как покончу с царем Давидом, все уладится само собой».

Он тайно посоветовался с бодбийским епископом Захарием, можно ли ему по Номоканону развестись с женой. Получив согласие, он решил дождаться, чем кончится задуманный самонадеянным Рати план вторжения во Внутреннюю Картли.

В ту осень, когда союзники были разбиты эриставом Джонди на подступах к Руставской крепости, Ахсартан познакомился на церковном празднике с единственной дочерью Барама Аришиани Наной и воспылал к ней неодолимой страстью.

Белокурая Нана тоже не осталась равнодушной к ши-

рокоплетному, статному богатырю со страстно блестящими глазами цвета алычи.

Царевича очень красили арабский кафтан и парчовая каба тигрового цвета. Нана сладко замирала от каждого взгляда могучего красавца.

Ахсартан послал сватов к владельцу Хорджской крепости Аришиани. Тому был не по душе ветреный жених, но на прямой отказ он не решался и нашел отговорку: «У тебя есть законная жена, и поэтому выдать за тебя мою дочь я не могу».

Получив такой ответ, Ахсартан вызвал к себе епископа Захария и потребовал немедленно развести его с женой.

Подслушавший эту беседу постельничий монах Улупиа все подробно доложил Анастасии, и та в ту же ночь тайком ушла из Хорнабуджского дворца и вернулась в отцовский дом — в крепость Макабели.

Ахсартан, уже будучи царем, послал бодбийского епископа к Аришиани и вторично просил его породниться. На этот раз у хорджского эристава не было повода для отказа, но он все же отказал кахетинскому царю. Взяв с собой Кавтара Барамисдзе и трех хевиставов, он тайно выехал в Начармагеви.

Вскоре после этого Ахсартан получил от гянджинского амира атабага Гозголи приглашение на охоту, которую амир устраивал в честь султана Мохамеда.

Мохамед прибыл в Гянджу с большим войском.

Амир Гозголи сообщил Ахсартану:

— Султан собирается в поход на Внутреннюю Картли. Ты должен быть с ним и указать дорогу.

Для упрочения союза Гозголи предложил кахетинскому царю в жены свою единственную дочь Айше, бывшую на три года старше Ахсартана.

Несколько дней царь тянул с ответом, но когда за пиршественным столом амир в присутствии султана повторил свое предложение, Ахсартану не оставалось ничего другого, как согласиться.

Султан Ирана и не-Ирана был очень доволен этим сватовством и вспомнил старину, как кахетинский царь Ахсартан I приехал в Исфаган к Малик-шаху и принял веру Магомета. Он обещал Ахсартану поддержку в войне против «царя Дауда» и сан ках-эретского амира.

Амир Гозголи обставил церемонию обручения с необыкновенной торжественностью.

На позолоченном кресле восседал султан, вокруг него стояли телохранители, амиры и саранги. Чтецы корана бесстрастными голосами пели суры:

«Смотрите, вот корова,
Не бесплодная, но не стельная —
Нечто среднее между ними,
И поступайте с ней по вашей воле».
И сказали они: «Молите за нас господа,
Чтоб вразумил он нас, какого цвета эта корова».
И ответили они: «Эта корова желтее желтого,
Она созерцающего распалит страстью».
И сказали они: «Молите за нас господа,
Чтоб вразумил он нас, какого цвета эта корова,
Ибо эта корова во всем похожа на нас».
И сказали они: «Уразумейте вы, вот эта корова —
Для ярма негодная и для плуга негодная,
Но совершенно здоровая и безупречная телом».
И после этого принесли в жертву
Корову желтее желтого. в

Это пение слушали Ахсартан и сопровождавшие его эретские азнауры. Ахсартан хорошо знал арабский язык, но ритуальный смысл строф ему был темен. Эретские азнауры запомнили только «желтую корову».

Тогда же в Гяндже султан пожаловал кахетинскому царю зеленый тюрбан, какие носили сельджукские амиры. Тюрбан был украшен страусовыми перьями, прикрепленными пряжкой из алмазов величиной с воробьиное яйцо.

Ахсартан был огромного роста, и когда он в таком виде появился в Кахети, народ его прозвал страусом. Близкие родственники поспешили ему об этом донести, но он был в восторге от почетной награды султана, и ничто не могло омрачить его радость. С тюрбаном он не расставался, утешая себя грузинской пословицей: «Пусть, кому хочется, говорит, а мне мельница мелет».

В свите Ахсартана, в бытность его в Гяндже, находился один остроумный азнаур — некий Дуралисдзе. Вернувшись из Гянджи, он распустил по всему Хорнабуджскому дворцу новость:

«Скоро нашего страуса, по приказу султана, женят на желтой корове».

Ахсартан часто ездил в Исфаган и в Багдад в чаянии султанских милостей и старался в быту ничем не отличаться

от сельджукских амиров и сарангов, думая этим укрепить свою власть и приобрести право смотреть свысока на свой народ.

Когда стране угрожает неизмеримо сильный враг, перед обитателями ее есть только два пути. Один путь — неустанной борьбы вместе со своим народом, чтобы или победить или пасть со славой, другой — ликовать с врагами.

Не будучи ни мучеником, ни бойцом, Ахсартан сознательно выбрал второй путь. Поприщами для подвигов у него были охота и винопитие. Отличный стрелок из лука и перепивавший всех на пирушках, он смотрел на Кахети, как на свои охотничьи угодья.

Через несколько дней после возвращения Ахсартана в Кахети к нему явился придворный духовник монах Тевдоре. Не спросясь епископов, он предстал перед царем и проклял его за вероотступничество и за обручение с «желтой короной».

Ахсартан ничего не ответил монаху и вышел, оставив его одного в дарбази. Вбежали меченосцы Ахсартана, схватили старика и сбросили его с башни Хорнабуджского замка.

Такое неслыханное злодеяние возмутило рядовое духовенство — священников, дьяконов и монахов — и простой народ.

Хранили угрюмое молчание епископы и братья-князья — владельцы больших имений и крепостей.

Они воздерживались от проявления накопившегося в сердцах гнева, потому что очень хорошо знали, что совсем недавно на Урбнисском церковном соборе царь Давид заклеял «сыновей знати, которые незаконно завладели церковью».

Ках-эретские братья-князья остались между Сциллой и Харибдой.

С запада им угрожал царь Давид, которого подозревали в ереси и чтении арабских книг и который изгнал из монастырей «сыновей знати, незаконно завладевших церковью».

С другой стороны, царь Ахсартан собирался пустить в Ках-Эрети не только сельджукских амиров, но и мусульманских хаджи, кади и мулл. Архипастыри кахетинской церкви боялись, что эти последние пожрут их так же, как тощие коровы фараона пожрали тучных.

Родные Ахсартана не скрывали от него, что народ роп-

щет по поводу измены вере и дикой расправы с беззащитным старым монахом.

Не скрыли они и того, что даже его сторонники смеются над обручением кахетинского царя с «желтой коровой».

Остролов Дуралисдзе уверял, что дочь амира Гозголи Айше уже успела побывать в трех амирских гаремах. Последний раз она была женой амира Мавдуда — того самого, которого тигр растерзал на глазах у султана Мохамеда.

Подобные разговоры глубоко оскорбляли мать Ахсартана Пелагею и его теток. Старухи поехали к жене Барама Аришиани Текле и еще раз просили ее посодействовать браку царя с Наной.

Самого Аришиани не оказалось дома, он был в Начармагеви, а Текле, конечно, мечтала, чтобы Нана стала царицей, но не посмела сказать Пелагее ничего определенного.

Все эти маневры и пересуды возбудили в душе Ахсартана подозрительность. Он был не настолько глуп, чтобы не видеть, какие темные силы его окружают и как мало он может рассчитывать на их верность.

Покойный царь Квирике славился своей набожностью и «пополюбием», его поддерживала церковь, простой народ уважал его за благочестие.

Ахсартан хорошо понимал, что только поэтому царь Давид, взяв Зедзени, воздержался от нападения на кахэретские крепости и не решился пролить кровь христианского царя или схватить его, как он поступил с клдекарским эриставом.

А что остановит царя Давида сейчас, когда на кахетинском престоле сидит царь-мусульманин, ненавистный народу?

Своевольные кахэретские азнауры, владеющие и не владеющие крепостями, черное и белое духовенство, лазутчики сельджукских амиров, снующие по кахетинской земле, — все эти враждующие между собой партии и группы были плохой опорой в случае серьезной опасности.

Неспособный навести порядок в стране, запутавшийся в своих любовных делах, Ахсартан несся очертя голову по течению. Как угорелый метался он между Хорнабуджским, Бочормским, Вежинским и Уджармским дворцами. Пил вино цвета гусенка, охотился и на пирах отводил душу, понося на чем свет стоит царя Давида.

Он хвастался: «Вот поставлю султанские войска в кахетинских крепостях, вторгнусь с лучниками гянджинского ами-

ра во Внутреннюю Картли и тетивой собственного лука задущу абхазского царя».

Он совсем перестал доверять ках-эретцам и пригласил к своему двору триалетских азнауров, томившихся бездействием в Руставской крепости. Он взял к себе меченосцем Долгого Георгия, Хорнабуджский замок поручил Заза Джубиели, бывшему парцхисскому цихиставу, Бочормский — Мамиствале Махароблидзе, Уджармский — Иа Цихелайдзе, а Цитлосана Дукидзе назначил начальником своей личной охраны.

Один лишь Евтихий остался несолоно хлебавши — как раз тот, кому уже давно была обещана Бодбийская епархия.

По приказанию Ахсартана Цитлосан привел из Адарбагана туркопулов и набрал из них тысячу, названную «малым войском», которое Ахсартан всюду брал с собой, наводя страх на своих врагов в Ках-Эрети.

* * *

К северо-востоку от Тбилиси, на высокой горе, находится старинный город-крепость Уджарма. Со времен Вахтанга Горгасала до наших дней он грозно смотрит на дремучие леса горной Кахети.

Гора, на которой стоит крепость, рассечена землетрясением и с трех сторон обрывается ущельями. Низвергнутые вниз громадные каменные глыбы образовали у горла котловины грандиозный амфитеатр.

Непроходимые леса покрывают расколотые подземным ударом утесы и ущелья. Заросшие пещеры обеспечивают надежный приют медведям и кабанам.

В лесу Саркинэ, где мы и теперь охотимся, уджармский цихистав Иа Цихелайдзе должен был устроить гай по случаю возвращения в Хорнабуджи удостоенного султанской милостью царя Ахсартана.

Эристава испокон веков устраивали гай царям в знак своей верности и преданности.

Назначенный для охоты день хранился в тайне, но соблюсти ее, конечно, не удалось. Сборище такого большого количества людей, к тому же в зимних условиях, требовало сложных приготовлений. Разжалованные из постельничих монахи шепотом от одного к другому распустили весть о предстоящем гае по всей стране.

Поэтому еще в Зедазени Нианиа Бакуриани сообщил «гостям в забралах», когда состоится гай.

Участвовать в нем должны были отборные воины уджармского гарнизона, самые искусные лучники из трех крепостей, три епископа, до сотни эретских рыцарей, более трехсот азнауров и столько же туркопулов и охотников.

* * *

Всю ночь валил снег.

На рассвете огромное ополчение двинулось из Хорнабуджской крепости. Более пятисот псарей вели сотни гончих и борзых, сокольников несли до двухсот ястребов и беркутов.

Рыцари на конях и пешие лучники пробирались через дремучие леса и заросли, покрывавшие когда-то цветущую Кахети.

По пути они безжалостно истребляли оленей, козуль, ланей, фазанов и турачей. Рабы и погонщики мулов не успевали собирать убитую дичь.

Поодаль следовали босые бедняки и нищие, на долю которых оставались худые зайцы и растерзанные собаками животные. В толпе этих оборванцев шли лазутчики царя Давида — Ситкван Кора и Гогилой Хоргай.

* * *

За неделю до гая «гости в забралах» поселились в полуразрушенной башне, которая в свое время была одним из передовых укреплений Уджармской твердыни. Отсюда открывается вид на всю окрестность.

Заговорщики со дня на день ждали прибытия Ахсартана с охотниками. Поэтому, чтобы не выдать себя, они не решались разжечь огонь и грелись, похлопывая руками и потопывая ногами.

Ночью они лежали, завернувшись в охотничьи бурки, но мороз и сырость пробирались и через шерсть.

Башня была без крыши. По ночам шел снег. Хахутай просыпался утром раньше всех и первым делом, как он сам говорил, «тряхивал снег с одеял».

Несмотря на такие мучения, они молили бога, чтобы снег не переставал.

Кариман Сетиели с самого начала отнесся недоверчиво

к замыслу эриставов и хевиставов захватить Ахсартана во время охоты в Саркинэ.

После трех дней бесплодного ожидания он откровенно высказал им свои сомнения.

Он говорил:

— Если бы было устроено так, чтобы и мы участвовали в гае, тогда другое дело — тогда бы можно было отвлечь Ахсартана в сторону без свиты и схватить его.

Допустим, начнется травля и мы сойдем в котловину. Несомненно, кахетинский царь не поедет на охоту с каким-нибудь десятком сопровождающих. Мы можем сразиться и опозориться... Вот чего я опасаясь.

Эриставы продолжали настаивать на своем.

Аришиани сказал:

— На охоте человек непременно проявляет свой нрав. Ахсартан нетерпелив и опрометчив.

Я не раз с ним охотился. Стоит ему услышать звук рогов и лай собак, как он приходит в неистовство и бросается за дичью, не спросившись ловчего.

В гае, несомненно, будут участвовать люди разных племен, одних туркопулов будет до двухсот, а всех охотников наберется до пятисот. Если мы смешаемся с этой толпой, нас никто не узнает даже без забрал.

Известно, к вечеру в лесу темнеет рано, мы спустимся с вершины и спрячемся среди каменных глыб или в пещере.

Как только выгонят медведей из берлог, от боя барабанов, трубных звуков и собачьего лая поднимется такой гвалт, что в нем даже пес не различит голоса своего хозяина. Мы будем держаться в сторонке и где-нибудь в зарослях схватим Ахсартана.

Хахутай был настроен еще более радужно.

Перед тем как подняться в башню, он спрятал в одной из пещер медвежью шкуру, на которую возлагал большие надежды.

Прижав к губам кулак, он хихикал:

— Ничего, будьте покойны. Лишь бы в тот день бог послал снега побольше. Как начнет смеркаться, я сам стану медведем. И вы увидите — взвалю Ахсартана на спину, как рождественского борова. Вы же займитесь его свитой, если она от него не отстанет. У меня уже готовы ремни, которыми и необъезженного жеребца можно скрутить.

С этими словами бывший дьякон ударил себя лопатообразной дланью по брюху.

Он распахнул охотничий полушубок, и эриставы увидели висевший у него на поясе целый сверток ремней из козьей кожи.

Барамисдзе засмеялся:

— Вот уже, воистину, вина еще нет, а черти бурдюки готовят.

— Что же такого, эристав! На войне невозможного не бывает. В бою побеждает тот, кто невозможное сумеет сделать возможным. Однажды, когда я был в плену у сельджуков, мне пришлось сопровождать моего хозяина амира в поход на франков.

Приготовившись к бою, франки и сельджуки стояли друг против друга и ждали только сигнального рога.

Вдруг, в одно мгновение, в ряды сельджукской конницы проскользнул какой-то асасин и выпотрошил ятаганом одного из амиров. Люди заметались во все стороны. Поднялся шум и гам, но — земля ли разверзлась или небо подняло этого молодца к себе, только его так и не нашли.

Амир Халиаф клялся, что это был сам джин. Несомненно одно — что он и сейчас где-нибудь бегаёт. Ясно, что, пробравшись в ряды сельджукской конницы и сделав свое дело, этот асасин сам же первый начал искать убийцу.

Кариман Сетиели много слышал об удали и озорстве Хахутая. Кроме того, он испугался, что вдруг его заподозрят в трусости. Опустив голову, он сказал себе под нос:

— А мне сдается, не лучше ли подождать до конца гая, и когда Ахсартан и его свита будут возвращаться в Уджарму, мы на них нападём и переколем?

Тут поднялся сотник чухчей Латерия:

— Нечего ждать конца гая. Вы здесь сидите спокойно, а я спущусь в котловину, спрячусь в зарослях и выпотрошу Ахсартана, как свинью. Жаль только, что я в лицо не знаю этого сукина сына.

Эриставы и хевиставы запротестовали.

Аришиани сказал:

— Государь нам приказал взять Ахсартана живьем и доставить в Начармагеви.

«Гости в забралах» еще не закончили совета, как явились Ситкваи Кора и Гогилой Хоргай и сообщили:

— Охотники сегодня ночуют в Уджармском замке, и мы должны быть наготове завтра утром.

В ту ночь Хахутай развел в башне огонь, и «гости в забралах» согрели озябшие ноги и руки.

На рассвете гора Саркинэ задрожала от частого боя барабанов и рева рогов.

Снег валил так обильно, что из башни нельзя было отличить рыцарей от псарей.

На снегопад возлагали все надежды Барам Аришиани и Кавтар Барамисдзе.

Хахутай торжествуя хихикал:

— Если, бог даст, снег к вечеру не перестанет, я сойду не только за медведя, но и за льва.

Расщедрился на обнадеживающее слово даже и Ситкван Кора:

— Вчера они набили много дичи и вечером, наверное, кутили в Уджарме. Должно быть, и сегодня у них хмель еще не прошел.

Кариман Сетиели видел через бойницу башни, как гору Саркинэ окружило целое полчище охотников. Люди запрудили теснины и тропы, загонщики с криками ворвались в лес, кое-где дымилась костры.

В медвежьих берлоги запустили собак. Наступило недолгое затишье. Над кострами медленно поднимался дым...

Барабанный бой возобновился. Залаяли собаки.

Кариману еще не приходилось видеть гай на медведей. Он наблюдал это зрелище глазами охотника.

Раздался грозный рев. Из берлоги вылез огромный медведь цвета папоротника. Он побежал, и некоторое время никто не дерзал пуститься за ним в погоню.

Какой-то туркопул попался ему на дороге. Человек потерялся, медведь схватил его лапами и толкнул в ущелье, как гнилой гриб.

Из зарослей выскочили три охотника в панцирях и стали один за другим бросать в зверя дротики.

Медведь обернулся. Охотник в панцире вонзил в него копые. Медведь поднялся на дыбы и бросился на копыеносца.

Долго боролись медведь и человек. Из башни затаив дыхание наблюдали, как они катались по снегу. То один, то другой оказывался сверху. К ним подоспел третий, и сверкнул меч...

Медвежий рев разнесся по всему ущелью.

Притаившиеся в берлогах медведи точно почуяли беду своего сородича. С ревом высыпали они в котловину, под тяжелыми лапами затрещали кусты, и взъерошенные, расвирепевшие звери набросились на копыеносцев.

Туда же кинулись туркопулы, вооруженные секирами,

копьями и дротиками, и завязался общий бой между зверями и людьми.

Медведь каштанового цвета долго боролся с рыцарем в шлеме. Они так тесно сплелись, что, когда подоспели охотники, оба полетели в пропасть.

Звери вылезали из берлоги с таким проворством, что их не успевали поразить дротиком или секирой.

Притиснутые к обрыву медведи поднимались на задние лапы и с отрывистым ревом бросались вниз, как самоубийцы.

Там их поджидал другой отряд охотников, засевший в ущелье.

Уже за полдень со всех сторон стали таскать выпотрошенные медвежьи туши, пронзенные мечами и копьями.

Каждую несли два-три человека и сваливали их в кучу посредине котловины.

Без конца шли из ущелий туркопулы и загонщики, обремененные тяжелой ношей.

Когда сбор трофеев подошел к концу, Аришиани и Барамисдзе увидели Ахсартана, Долгого Георгия и трех епископов, подошедших к горе медвежьих туш. Они стояли подбоченясь и громко, весело смеялись.

Аришиани дал знак своим и шепотом сказал:

— Пора, двинемся.

Впереди всех Хахутай, подвернув под себя полы полушубка, съехал, как на санях, вниз. Его примеру последовали Кариман Сетиели, Аришиани, Барамисдзе, хевиставы и чухчи.

Сказавшись в котловине, Хахутай спрятался в чаще и наблюдал, как главный ловчий, собрав охотников, давал каждой паре по одному убитому медведю, а они тащили их к непрерывно растущей куче.

Хахутай оглянулся и поднял руку, чтобы шедшие позади остановились. Сам он осторожно проскользнул в ближайшую пещеру.

Через несколько минут из пещеры вылез огромный медведь.

Аришиани невольно вздрогнул, но, всмотревшись, понял, что этот страшный зверь—не кто иной, как напавший медвежью шкуру, Хахутай, который подражал всем повадкам козлапого.

Аришиани осторожно заглянул в котловину. Охотники продолжали таскать туши, а Ахсартан, Долгий Георгий и епископы любовались этим зрелищем.

«Медведь» уже бежал по зарослям, а за ним на доволь-

но большом расстоянии следовал с копьём в руке Кариман Сетиели.

Увидев крупную дичь, Ахсартан востепенел, поднял копьё и, опередив Каримана, устремился за бежавшим вперевалку медведем.

Аришиани и Кариман Сетиели, каждый со своего места, наблюдали, как Ахсартан долго гнался за Хахутаем, наконец метнул в него копьё и промахнулся. Тогда он натянул лук и пустил стрелу, но Хахутай свернул в обрыв.

Долгий Георгий прервал разговор с епископом и побежал за своим господином.

Ахсартан в погоне за медведем спускался с обрыва, за ним, скрываясь за деревьями, следовал Кариман Сетиели, а за Кариманом, не видя его, — Долгий Георгий. Достигнув дна ущелья, медведь вдруг обернулся, выпрямился и обнажил меч.

Ахсартан оторопел и замешкался.

— Сдавайся! — крикнул Хахутай, с невероятной быстротой набросился на Ахсартана, выбил у него из рук меч и дал ему оплеуху.

Ахсартан не растерялся и ответил тем же.

Кариман Сетиели, спускаясь с горы, пропустил мимо себя Долгого Георгия, бежавшего на помощь Ахсартану, и прыгнул ему сверху прямо на плечи.

Хахутай и Ахсартан некоторое время дрались кулаками, потом Хахутай схватил противника за шиворот и повалил на землю, но в это время у него поскользнулась на льду нога и он упал.

Аришиани, пробежав с опущенным забралом мимо дерущихся Каримана и Долгого Георгия, опрокинул Ахсартана, сидевшего на груди Хахутая, и нанес ему такой увесистый удар по лицу, что қахетинский царь потерял сознание.

Хахутай поднялся, снял с пояса моток ремней, дал один конец Аришиани, а другим начал связывать Ахсартана.

Потом с помощью Каримана связали Долгого Георгия.

Вдруг откуда-то появились пять туркопулов, тащившие двух медведей. Подоспевшие хевиставы и чухчи набросились на них с мечами. Двоих прикончили, а остальные бросили туши и побежали, призывая на помощь.

На краю обрыва показались три епископа и главный ловчий. Четыре старика подняли крик.

На них устремились хевиставы и чухчи и, взвалив дородных мужчин на плечи, скрылись с ними в чаще. Но с утесов

уже спускались привлеченные шумом туркопулы и эретские азнауры.

«Гости в забралах» долго тащили своих пленников по ущелью. Им приходилось продирааться через колючие заросли и перелезать через нагроможденные глыбы. По два человека несли Ахсартана и Долгого Георгия, остальные раздвигали перед ними сцепившиеся ветви. Ноги их путались в петлях терновника, они спотыкались и падали.

Чем дальше углублялись в ущелье, тем темнота сгущалась все больше и колючий кустарник становился совсем непроходимым.

По пятам их с криками следовали туркопулы, и каждую минуту похитители могли сами попасть в плен.

Наконец они совершенно выбились из сил и им пришлось выпустить из рук добычу.

Бросив связанных пленников на землю, они повернулись к преследователям и стали пускать в них стрелы. Это на некоторое время задержало противников.

Когда же колчаны их опустели, им не осталось ничего другого, как под покровом темной ночи спастись бегством через густые заросли...

* * *

Все эти мытарства, оказавшиеся бесполезными, вывели из равновесия даже невозмутимого Барама Аришиани. Он не знал, как после такой неудачи показаться на глаза царю Давиду.

Прошел месяц, Барам пригласил в Хорджскую крепость бодбийского епископа Захария и наедине поведал ему: «Если царь Ахсартан вернется к Христовой вере, я согласен выдать за него мою дочь Нану».

Захарий прослезился от «столь богоугодного поступка» обычно несговорчивого Аришиани. Ему было хорошо известно, что Ахсартан страстно влюблен в Нану.

Епископа, конечно, не так трогало возвращение кахетинского царя в лоно православной церкви и избавление Ках-Эрети от торжества ислама, как то, что сам он не потеряет Бодбийскую епархию.

Он не скупился на хвалы «бескорыстной любви к отечеству и благочестию христоролюбивого эристава» и с радостью обещал употребить все свое влияние, чтобы помочь в этом деле.

Не теряя времени, он отправился в Хорнабуджский дворец.

Услышав радостную весть, Ахсартан пришел в восторг.

Всякая измена родине, дружбе, вере или чести трудна лишь в первый раз, а кто однажды чему-нибудь изменил, тот с легкостью это повторит и трижды в день.

Поэтому Ахсартан действовал без колебаний. Он тотчас же послал епископа Захария в крепость Хорджи передать Аришиани: «Если обручение состоится немедленно, я откажусь от веры Магомета и объявлю недействительным обручение с дочерью амира Гозголи».

Тогда Аришиани пошел на попятную и в конце концов так ответил епископу:

— Я еще хорошенько обдумаю и посоветуюсь с женой. Пусть царь подождет одну неделю. Ответ сообщу сам.

Тем временем он послал Хохутая в Начармагеви с письмом к царю Давиду, наказав в течение ближайшей недели привезти ответ царя.

Хохутай возвратился с письмом от Георгия Чкондидели.

После этого Аришиани отправил свою дочь Нану в семью ее кормилицы в Панкиси. Затем он приказал трем хевиставам объехать горные селения и 17 января на рассвете привести тысячу вооруженных горцев и окружить Хорджскую крепость. Как только им будет передан пароль «вина!», хевистав Хуранаисдзе должен войти в крепость.

Прошла неделя, и бодбийский епископ сообщил Аришиани: «Царь Ахсартан ждет от тебя ответа».

Аришиани радушно принял епископа и сказал ему:

— Заболел муж кормилицы моей дочери, поэтому Нане пришлось поехать в Панкиси. Только это и задерживает обручение, других препятствий никаких нет.

Епископ подумал и ответил:

— Пока ты не назначишь день обручения, я не могу ехать домой.

Оглядевшись по сторонам, он шепотом добавил:

— Ты сам хорошо знаешь, эристав, как непостоянен наш царь. Насколько мне известно, он уже сообщил амиру Гозголи, что отказывается от брака с его дочерью, но вчера я от него слышал: «Обручение с Наной должно быть непременно в этом месяце, потому что в феврале я выезжаю в Гянджу, а оттуда в Иран, и бог знает, когда возвращусь домой».

Три дня тому назад я причастил его по христианскому

обряду, но — бог весть! — вдруг он опять свихнется, примет снова мусульманство и женится на своей «желтой корове».

Аришиани после недолгого раздумья ответил епископу:

— Я не могу тебе отказать, владыка Захарий. Поезжай и передай царю, что обручение состоится 17 января.

Обрадованный Захарий поспешил в Хорнабуджи.

На самом деле все обстояло далеко не так просто, как казалось наивному епископу.

Ахсартан не имел намерения ссориться с амиром Гозголи и рассуждал так:

«Айше будет моей старшей супругой, а Нана любимой женой. Что касается Христовой веры, то кому нужно бормотание выжившего из ума епископа?»

* * *

Цитлосан Дукисдзе, узнав, что Ахсартан со всей свитой собирается в Хорджскую крепость, почуял недоброе: ему было известно еще в Триалети, что Аришиани водит дружбу с царем Давидом. Однако он не решился бросить тень на будущего царского тестя и только сказал Ахсартану:

— Если спросишь меня, государь, я скажу: чем черт не шутит! Не мешало бы взять с собой малое войско.

— Зачем? — спросил удивленный Ахсартан. — Ведь в Хорджской крепости у моего тестя более пятисот своих воинов. Не так ли?

— Конечно. Я только говорю — на всякий случай, государь, — ответил начальник охраны.

В конце концов Цитлосану удалось внушить царю, что взять с собой малое войско будет нелишним.

К назначенному дню обручения Аришиани приказал пригнать в Хорджи много убойного скота.

Весть о помолвке Ахсартана с Наной облетела всю Ках-Эрети. Особенно она обрадовала духовенство. В тесном союзе царя с влиятельным эриставом они видели залог превращения Ках-Эрети в сильное государство. При этом они уповали, что сплоченная государственная власть сможет оградить Кахети от двух бед: с одной стороны, от владычества ислама и хозяйничанья мулл, а с другой — от вторжения из Картли реформ, принятых Руис-Урбнисским собором.

Само собой разумеется, что кахетинские епископы предпочитали терпеть сумасбродство царя Ахсартана, чем склонить головы перед царем Давидом, ибо Ахсартан, еще буду-

чи наследником престола, проявлял полнейшее равнодушие к делам церкви.

17 января к Хорджской крепости подошел Ахсартан с малым войском. Аришиани не особенно этому удивился. Он знал, что после побоев, полученных в лесу Саркинэ, по суствам Ахсартана часто пробегала дрожь.

Цитлосан Дукисдзе остерегся войти в крепость и остался в шатрах, раскинутых перед Хорджи, с азнаурами и туркопулами.

Царь в сопровождении трех епископов, трех самых приближенных азнауров, своей матери Пелагеи и теток направился по тропе к воротам крепости.

Гостей встретили Барам Аришиани и его жена с родственницами и женами азнауров.

Войдя в дарбази, царь окинул его быстрым взглядом, надеясь увидеть Нану, но там не оказалось ни одной молодой женщины. Ахсартан подумал, что, наверное, невеста с подругами ожидает в соседнем дарбази, пока их позовут.

Когда сели за стол, мать царя Пелагея спросила:

— Где же невеста?

— Нана только сегодня приехала из Панкиси и устала с дороги. Она скоро придет, — ответила жена Аришиани.

Пелагея успокоилась, надеясь, что празднества затянутся на неделю и у влюбленных хватит времени побыть вместе.

Хозяин назначил тамадой эристава Барамисдзе.

У Ахсартана страстное желание увидеть Нану перешло в бычачью жажду к вину «цвета гусенка», которое в тот вечер нарочно велел подать Аришиани.

Тамада начал винопитие с золотых пиал, а затем стал один за другим посылать царю турыи рога.

Обычно крепкий на вино, Ахсартан почему-то скоро захмелел и начал по своему обыкновению поносить царя Давида.

— Если мне удастся сплотить вокруг себя видных эриставов, я, как крысу, выкурю царя Давида из Начармагевского замка, — хвастался он.

Наклонившись к Аришиани и понизив голос, добавил:

— Когда я был в Гяндже, то узнал там много новостей. Султан Мохамед непреклонно решил тронуться с несметным войском через Тбилисский амират во Внутреннюю Картли.

Армения и Адарбаган уже наводнены полчищами туркоманов. Во главе этих войск станут амир Гозголи и амир Элькотби и поведут их через Нуху в Кахети. Я передам охрану

кахэретских крепостей туркоманским войскам, а сам расправлюсь с Джонди в Лочинском ущелье и потом навалюсь на Нианию Бакуриани в Зедазени.

А от Зедазени до Начармагеви рукой подать — всего несколько парсангов.

У меня в Хорнабуджской темнице висит на стене цепь толщиной в мою руку, — продолжал Ахсартан и показал Аришиани свою правую руку. — Этой цепью я прикую царя Давида к стене темницы, и тогда посмотрим, сколько даст мне за его голову султан Мохамед.

Тамада прислал почетному гостю очередной турий рог. Когда Ахсартан его осушил, глаза его налились кровью и он без всякого стеснения обратился к хозяину:

— Все это хорошо, дорогой гость, но где же моя любовь?

Только успел он это сказать, как эристав Аришиани поднялся с золоченого кресла и крикнул тамаде, который стоял в конце стола:

— Вина!

Тамада приоткрыл дверь столового дарбази и крикнул кравчему:

— Вина!

Ахсартан продолжал поносить Давида непотребными словами. Вдруг распахнулись двери. В дарбази вошел с обнаженным мечом в руке хевистав Хуранаисдзе, за ним следовали Кариман Сетиели, Хахутай, Латерия и Гогиллой Хоргай.

Ахсартан был увлечен беседой, но его азнауры, еще державшие в руках недопитые роги, увидели вошедших.

Хевистав Хуранаисдзе и Кариман Сетиели схватили Ахсартана, а Хахутай крепко связал его козьими ремнями.

Вскочили азнауры Ахсартана, на них накинулись Гогиллой Хоргай и Латерия. Вбежали воины Аришиани и выволокли азнауров во двор.

Пелагея упала без чувств, и ей не пришлось увидеть, как Хахутай тащил ее сына по лестнице и золотые кудри царя подметали пыль на ступенях.

Епископы остолбенели от страха. Придя в себя, они окружили хозяина.

Аришиани оправдывался:

— Что мне было делать? Он так дерзко отзывался о нашем государе, что я вынужден был приказать, чтобы его связали.

На рассвете разбудили спавшего в шатре Цитлосана Дукисдзе и доложили, что Хорджская крепость окружена тол-

пой горцев, вооруженных копьями и мечами. Выйдя из шатра и посмотрев вокруг заспанными глазами, Цитлосан сначала подумал, что это собрался народ на празднество обручения.

Наконец, видя, что Хуранаидзе построил толпу в ряды и направился в его сторону, он велел поднять тревогу и двинулся со своими воинами навстречу противнику, не сомневаясь, что легко рассеет «чернь».

Горцев вели три хевистава — Хуранаидзе, Тотибай и Торгвай. Сначала они засыпали «малое войско» градом камней, а потом набросились на туркопулов с таким неистовством, что заставили их отступить.

Цитлосан Дукисдзе и триалетские азнауры еле спаслись бегством.

Когда эристав Аришиани вышел из крепости, чтобы отправить за ним погоню, он нашел только хевиставов с их отрядами и несколько сот пленных туркопулов.

Связанный ремнями Ахсартан рычал от ярости и поносил царя Давида. Хахутай заткнул ему ротку кляпом, завернул его в бурку, взвалил, как куль, на арбу и по приказанию Аришиани и Барамисдзе отвез в Начармагеви.

Зубоскалу Дуралисдзе представился новый повод пошутить:

«Погиб страус из-за желтой коровы».

ПОИСКИ

Еще не зашевелились вечерние тени, когда старый Сабия увидел в бойницу, что по дороге к Начармагевскому замку едет арба, сопровождаемая группой всадников. В арбе лежало что-то, укутанное черным.

Сабия засуетился. Поднявшись по винтовой лестнице на первую башню, он посмотрел на дорогу. Затем поспешно спустился во двор. С запыхавшимся стариком столкнулась Мзисавар, дочь Шервашидзе, главная над женской прислугой.

— Что с тобой, мой бедный Сабия?

— Кого-то, завернутого в черную бурку, везут всадники в замок.

Мзисавар не раз замечала, что Сабия был не прочь безобидно присочинить. Она не поверила старику и сама полезла на первую башню.

Долго смотрела дочь Шервашидзе на приближавшуюся арбу. Черная бурка не шевелилась.

В замке в те дни была суматоха, вызванная исчезновением Дедисимеди. То и дело возвращались с безуспешных поисков усталые охотники и скороходы из эриставств. До сих пор не вернулись семь чухчей, посланных в Атенское ущелье.

Поэтому Мзисавар тотчас направилась прямо в палаты императрицы Мариам.

* * *

Как раз в тот день после полудня епископы привезли в Начармагеви простудившуюся во Мцхета Мариам. Она лежала в жару, и Гванца клала ей на лоб камфорные примочки. У изголовья ее сидели царь Давид и эристав Гуарам, а в углу, почтительно вытянувшись, стоял лекарь. Он настойчиво упрашивал больную не разговаривать и не волноваться.

Мариам металась в тревоге за пропавшую Дедисимеди.

— Во Мцхета я поехала, мой дорогой, в полной уверенности, что найду там Дедисимеди и Теону, — говорила она Давиду. — Поехала, не предупредив ни тебя, ни царицу Елену, потому что не хотела доставить лишнее беспокойство, которого у вас и без того хватает. Когда поиски во Мцхета и Самтавро оказались тщетными и мы не нашли никого, кто бы их видел, я взволновалась и вызвала из Зедазени Нианию Бакуриани.

Нианиа приказал закрыть все дороги и тропы в Тбилисский амират. У него сразу явилось подозрение, не похитили ли дочь Орбелиани сельджукские лазутчики.

И правда, в этом нет ничего невозможного, мой дорогой. Несколько лет тому назад в Никоидии похитили среди бедняг дочь куропалата Хумбертополуса, и только после двухлетних бесплодных поисков лазутчики разузнали, что она находится в гареме иконийского султана. Оказалось, что какая-то гречанка увлекла ее на морской берег и там продала.

Тут вставил слово эристав Гуарам:

— Откровенно говоря, августа, у меня такое подозрение возникло с самого начала, пока я не удостоверился, что птичница Теона благочестивая и добродетельная женщина. А то и я подумывал, — чем душа не грешна, — быть может, эта женщина продала Дедисимеди сельджукам.

Царь Давид сказал:

— Конечно, ничего невероятного в этом нет. Если сама:

Теона не могла продать Дедисимеди, то, кто знает, быть может, их обеих подстерегли сельджукские лазутчики на опушке леса и действительно похитили.

Я велел разыскать аробщика, погонщика мулов и сапожников и сам их допрашивал, но они не показали ничего путного.

Эристав Гуарам заметил:

— Допустим, что две женщины, которых вели три всадника, были Дедисимеди и Теона, а трое всадников — сельджуки, но в таком случае странно, что они ехали в сторону Атенского ущелья.

Естественно было бы им направиться вниз по Куре или к границам Тбилисского амирата. Не так ли?

Царь ответил:

— Нам неизвестно, эристав Гуарам, сельджуки ли эти всадники. Почему они не повернули к югу? Кто знает, быть может, они увидели на этом пути чухчей или караулы. Возможно и то, что они опасались следовать в сторону Тбилисского амирата по многолюдной дороге.

Мариам спросила племянника:

— А в эриставства гонцов не посылали?

— В ту же ночь Георгий Чкондидели отправил скороходов в Джавахети к Бешкену Джакели и послал письма Шторе Моркневели в Парцхиси, своему племяннику Тевдоре, что теперь правителем Триалетского эриставства, Иоанну, анакопийскому цихиставу, Шамадавле, хуфтийскому эриставу, так что все пограничные эриставы и цихиставы уже нами оповещены, — ответил Давид.

Эристав Гуарам добавил:

— Если похитители — сельджукские лазутчики, то, путешествуя среди бела дня, они не могут долго оставаться незамеченными. Не подлежит сомнению, что большими дорогами они будут ехать только ночью. Поэтому выбраться к южной и западной границам им не так просто. Если же они держали путь в Тбилисский амират, то, пожалуй, они уже перешли границу.

Давид поник головой и ничего не сказал по поводу такого предположения. Мариам под вежливым предлогом удалила лекаря и приказала через Гванцу Цинцилуку:

— Пока гости не уйдут, никого не принимать.

Затем, понизив голос до шепота, она сказала царю и эриставу:

— Мне не дают покоя совсем другие подозрения. Перед вами у меня был Махо, и, оказывается, у него явилась такая

же мысль. Всем известно, какой нечестивец и распутник кахетинский царь Ахсартан, пьяница и охотник до женщин. Махо мне рассказал, что когда Ахсартан, еще царевичем; гостил в Липаритис-убани, то он за столом бесстыдно объяснялся Дедисимеди в любви. Недавно из допроса Липарита выяснилось, что Рати, убежав из Парцхисской крепости, обещал Ахсартану с ним породниться, и Липарит дал на это свое согласие.

Разве не мог этот негодяй Ахсартан поручить своим разбойникам туркопулам похитить дочь Орбелиани?

Сказав это, Мариам по очереди посмотрела в глаза царю и эриставу.

Давид молча пожал плечами, а Гуарам невнятно произнес:

— Что тебе на это сказать, августа? Ахсартан такой изверг, что трудно представить, на что только он не способен.

* * *

Пока в дарбази Мариам происходила эта беседа, по дворцовой лестнице поднималась окрыленная радостью дочь Шервашидзе Мзисавар.

Она с первых дней возненавидела Дедисимеди, но из страха перед царем скрывала свои чувства. После бегства Дедисимеди, перевернувшего вверх дном жизнь дворца, Мзисавар злорадно шипела:

— Я всегда говорила, что на кусте шиповника не вырастет белая лилия.

Дочь Шервашидзе и другие дворцовые служительницы, вышедшие из семей великих азнауров Западной Грузии, в связи с исчезновением невесты царя предвидели радостные перемены.

Дело было в том, что Гванца со стороны матери приходилась сродни Шервашидзе, и Мзисавар рассчитывала так: если царь Давид женится на дочери эристава Шамана, то молодая царица будет увлекаться охотой и вынашиванием соколов, как в свое время Русудан всегда была занята молитвами. Царица Елена недолговечна, — и она, Мзисавар, сделается хозяйкой Гегутского, Цагвлиставского и Начармагевского дворцов.

Все сторонницы Гванцы радовались исчезновению дочери Орбелиани и уж видели дочь такверского эристава на престоле. Они строили на этом событии свои планы, ничего не

зная об условиях половецкого хана и о решении совета старейшин.

Увидав арбу с закутанной в черную бурку кладью, дочь Шервашидзе сразу решила: наверное, чухчи, ездившие в Атенское ущелье, возвращаются во дворец с телом Дедисимеди.

Мзисавар страдала одышкой. Быстро поднимаясь по дворцовым лестницам, она задышалась, хваталась за перила и, переведя дух, снова спешила изо всех сил.

На последнем переходе она остановилась и задумалась, как преподнести такую весть Мариам. При этом она представляла себе, какие последствия может иметь смерть Дедисимеди.

«Человек в конце концов перенесет всякое горе, — размышляла Мзисавар. — Для мужчины любовные огорчения все равно что насморк или ветряная оспа. Только бедные женщины мучительно переживают несчастную любовь. Мужчина же погорюет год, быть может, два, и потом природа возьмет свое.

Что же тогда будет?

Пройдут недели, пройдут месяцы. Мариам пожалеет племянника и женит его на Гванце.

Интересно то, — думала Мзисавар, — что до сих пор она почти не пускала Гванцу к себе на глаза, а как пропала Дедисимеди, сейчас же ее приблизила и даже взяла ее с собой во Мцхета, будто на поиски пропавшей Дедисимеди. Она ведь хотела, чтобы и царь Давид с ними поехал, но государь был занят».

Мзисавар ненавидела императрицу Мариам, считая ее началом всякого зла в царской семье. Мариам развела царя Давида с его законной женой, она же поссорила его с семьей Липарита, а теперь посеет вражду между ним и еще каким-нибудь великим азнауром. В этой расправе, быть может, кто-нибудь убьет царя.

Для чего ей все это нужно?

«Чтобы стать царицей Грузии, а Нианию Бакуриани она сделает первым визирем и...»

Увлеченная этими мыслями, Мзисавар вдруг услышала позади шлепанье туфель из заячьих шкур.

Дочь Шервашидзе оглянулась.

По лестнице, тяжело дыша, взбирался Сабия.

Испугавшись, как бы главный факельщик не явился раньше нее в палаты Мариам, Мзисавар собрала последние силы,

с трудом одолела верхние ступени и поспешно устремилась в коридор.

Нет! Никому не уступит она этого наслаждения. Она вопьется в глаза императрице, когда та услышит, что чухчи везут труп, завернутый в бурку.

На пороге приемного дарбази дворецкий Цинцилук преградил ей путь.

Дочь Шервашисдзе заявила, что она должна доложить императрице очень важную весть.

Цинцилук упорствовал:

— У императрицы в гостях государь, и поэтому сейчас войти к ней нельзя.

Дочь Шервашисдзе плохо понимала греческий язык Цинцилука и решительно взялась за ручку двери. На шум показала Гванца. Узнав, что Мзисавар принесла важную новость, она ввела ее в покои Мариам.

Наблюдавший это Сабия повернулся и пошел разыскивать Махару.

Войдя в дарбази, Мзисавар увидела царя Давида и в страхе попятилась к двери.

Мариам испуганно воскликнула:

— Что такое? Что случилось?

— Всадники везут на арбе что-то, закутанное в черное, — пролепетала дочь Шервашисдзе.

Мариам в ужасе вскочила, сорвала с головы примочки и протонала:

— Какие всадники? Что ты говоришь, Мзисавар?

— Не знаю, кто они, августа. Меня Сабия повел на верх первой башни, и я оттуда их увидела.

— Своими глазами видела?

— Клянусь богом. Своими глазами, августа.

Встал глубоко взволнованный эристав Гуарам. Царь был ошеломлен страшной вестью, но ничем этого не проявил.

Мариам была неодета, но, не обращая внимания на гостей, подбежала к бойнице. Она рассмотрела перед домом цихистава арбу, на которой что-то лежало под черными бурками. Там расхаживал Махара, сдерживая теснившихся вокруг арбы мандатуров и чухчей...

Не прошло и нескольких минут, как в дарбази императрицы вошли Махара и цихистав Чирдилели и доложили царю:

— Эриставы Аришиани и Барамисдзе привезли к тебе связанного кахетинского царя Ахсартана.

Гнет ужасного ожидания сменился внезапной радостью.

* * *

Ни царь Георгий, ни императрица Мариам, тем более царица Елена, не очень обрадовались, когда они узнали, что «гости в забралах» приволокли во дворец связанного царя Ахсартана. Они почувствовали, что наступают кровавые дни.

Махара и Кариман Сетиели умышленно велели поставить на всю ночь арбу со связанным кахетинским царем под навесом перед пекарней.

С пленника сняли бурки. Подходили пекари, погонщики мулов, прачки и сапожники и сыпали ему на голову золу.

Приходили женщины, у которых дети, внуки, мужья и братья пали в боях с сельджуками под Парцхиси, Авчала и Зедазени. Все они приносили золу и посыпали ею страуса в тюрбане.

Узнав об этом, царь Георгий рассердился на Махару.

— Прекрати это надругательство! Хотя он и изменник, все же этот негодяй венценосец.

Махара ворча вышел из дарбазы. Ахсартана подняли с арбы, надели на него цепь и приковали к стене начармагевской темницы рядом с Липаритом, Дзаганом, владельцем Зедазенской крепости, и их приближенными.

Эристав Аришиани подшучивал:

— А ведь эта цепь как раз толщиной в руку Ахсартана. Он точно такую цепь приготовил для царя Давида.

— Что для других готовил, досталось самому, — сказал Махара. — Эх, где мои молодые годы!.. Мошь моих колен я потерял на войне.

Вот так и бывает — человек тогда теряет силы, когда они ему больше всего нужны, — вырвалось со стоном у безбородого.

— Ничего, царевич, у нас говорят: старый бык борозды не испортит, — успокаивал его Аришиани.

Эретские эриставы и цихиставы изнывали от нетерпения скорее вторгнуться в Ках-Эрети. Царь Георгий отечески умерял их пыл. Потчужа их, он говорил:

— Как-нибудь, сыновья мои, постарайтесь занять крепости без кровопролития. Негоже нам, по примеру безрасудного Ахсартана, истреблять свой народ.

Царь Давид тоже не торопился. Он держался правила: никогда не начинать наспех большого дела, так как спешка обычно ведет к неудачам.

Поэтому на следующий день он встал очень спокойно, помолился, позавтракал. Затем, беседуя с эретскими эриставами, милостиво пошутил:

— Я испытал на деле: врага надо догонять на арбе, и если колени крепкие, он все равно не уйдет. Самое же главное, чтобы язык не опередил и хватило терпения.

Видал я многих, что на войну летели стремглав и с поля битвы тоже бежали стремглав.

В разговоре принял участие царь Георгий:

— Покойный отец мой Баграат говаривал: «Война — испытание не только выносливости коней, но и выдержки удалцов».

Давид встал и, занятый своими мыслями, пошел в палаты Чкондидели.

После беседы с царем первый визирь сел писать приказы.

Ниани Бакуриани велено было в тот же день выступить вслед за эретскими эриставами и хевиставами, очистить подступы к Хорджской крепости от туркопулов Цитлосана Дукисдзе и подождать там царя Давида.

Эриставу Джонди — немедленно взять тысячи из Лочинского ущелья и обложить Уджарму.

А Шергилу Липартиани, стоявшему лагерем в Уплисцихе, — направиться к Хорнабуджи, но до прибытия царя Давида к осаде не приступать.

Бешкену Джакели предписывалось выступить из Джавахети к Парцхиси, там соединиться со Шторой Моркневели и, оставив в крепости за цихистава азнаура Мурджикнели, идти из Триалети на восток; около Хоранта обоим переправиться через Куру и стать лагерем на поле Аджиноури.

Они же должны были стеречь броды против гянджинской дороги и неусыпно следить днем и ночью за передвижением войск у Хорантской крепости.

Эристам и спасаларам приказывалось щадить население Ках-Эрети; в случае столкновений с туркопулами пленных направлять в Уплисцихе.

* * *

На следующий день царь Давид встал на рассвете и после утренней молитвы попросил родителей и тетку благо-

словить его в путь. Когда царь выходил из палат императрицы Мариам, какая-то женщина в черном обняла его колени. Давид был немного озадачен и, дав обогнать себя шедшему позади Махаре, подумал: «Верно, какая-нибудь монахиня пожелала благословить царя в поход».

Он поднял женщину и узнал Гванцу.

— Прошу тебя, государь, возьми меня с собой оружиеносцем, — умоляла она.

Давид был поражен. Он пытался успокоить возбужденную девушку.

Махара отечески обнял дочь эристава Шамана и сказал:

— Как это тебе взбрело в голову? Ты, правда, дочь мужественного отца, но мы не так уж слабы, чтобы брать на войну девушек.

* * *

Не спавший всю ночь Георгий Чкондидели встретил царя у порога. Он благословил своего воспитанника, потом обнял его обеими руками и поцеловал в глаза.

Георгий Чкондидели не хотел, чтобы Махара отправлялся в поход, но безбородый заупрямился.

Уходя, Давид уже в коридоре обернулся и напомнил первому визирю.

— Я оставляю тебе Каримана Сетиели. Посмотрим, с чем вернется из Атенского ущелья Вардосанисдзе. Если там ничего не обнаружат, надо послать на розыски в пограничные эриставства.

Как только эристав Гуарам выздоровеет, пусть не задерживается.

* * *

И царь Георгий и царица с императрицей слегли. Уход за больными взяли на себя Гванца и куропалатиса Мелита. Лекарей особенно беспокоило состояние царицы Елены.

У императрицы Мариам был приступ лихорадки, но она и в жару все время ждала возвращения Вардосанисдзе. По минутно подзывала она Гванцу или Мелиту и спрашивала:

— Не вернулись ли чухчи из Атенского ущелья?

Гуараму, владельцу Бечисцихе, очень хотелось дожидаться возвращения Вардосанисдзе, но на третий день после отъезда

царя Давида, Чкондидели ему деликатно напомнил: государь наказывал, чтобы ты немедленно выехал в Шараган.

Еще два дня протянул владетель Бечисихе. Наконец все приготовления к отъезду были закончены, и он волей неволей должен был отправиться в путь.

* * *

Весенние ветры неистово кидались на зубцы стен Начармагевского замка. Женщины и старики истомились в слезах и ожидании.

С уходом царя Давида и войска дороги опустели. Казалось, что Начармагеви оторван от всего мира. Вихрь крутился в зубах дворцовых стен. На Начармагевской равнине шла последняя схватка зимы с весной.

В палаты императрицы Мариам старый Сабия ежедневно приносил никому не нужный поднос с перезимовавшими фруктами.

Удрученная Гванца и томившаяся в жару Мариам внимали знакомым словам:

«Как реки текут и не возвращаются вспять, так текут дни и уносят с собой частицы нашей души и тела».

Наконец возвратился Вардосанидзе, заместитель начальника чухчей. Мзисавар, дочь Шервашидзе, получила возможность еще раз пронзить сердце императрицы Мариам, докладывая ей с притворной печалью:

— Вардосанидзе приехал. Он такой хмурый шел в палаты царя Георгия, видно, ничего хорошего не узнал.

Императрица Мариам вскочила и крикнула Мелите:

— Одень меня!

Лекарь воспротивился:

— Что ты делаешь, августа! Тебе еще нельзя вставать. Ты забыла, какой слабый пульс был у тебя вчера?

Когда закутанная шальями Мариам вошла к невестке, царица, лежавшая в полузабытьи, простонала:

— Зачем ты встала, Маико?

Мариам успокоила ее и прилегла рядом с ней. Обе они напряженно слушали Вардосанидзе, стоявшего с поникшей головой перед царем Георгием.

— Танайский хевистав подтвердил, что через ущелье Тана в тот день зла действительно проехали к югу три всадника и с ними две плачущие женщины, — так начал свой

доклад заместитель начальника чухчей. — Мы встретили пастухов, которые показали, что видели их на дороге в Алервскую крепость.

Опрашивая всех встречаемых, добрались мы до Алервской крепости. Тамшний цихистав нам рассказал: «На прошлой неделе эти всадники проехали мимо меня. Я их остановил и спросил, почему женщины плачут. Они мне объяснили, что у одной из женщин умерла мать и ее везут оплакивать покойницу». Спросил, оказывается, цихистав и откуда они. Всадники ответили, что из Сарбиела.

— А цихистав не поинтересовался, как зовут этих всадников? — спросил царь Георгий.

— Нет, этого, к сожалению, он не узнал, — ответил Вардосанисдзе.

— Что же вы сделали? Были в Сарбиела? — с нетерпением воскликнула императрица Мариам.

— Долго искали мы эту заброшенную деревушку, потеряли дорогу, три дня плутали в теснинах хребта Джимджама. Там встретили лишь одного слепого дьякона. Он ехал на изнуренном муле, и мы добрались до Сарбиела только на третий день.

Оказалось, что в деревне повальная оспа, болеют все от мала до велика. Из землянок неслись стоны. На нас напали собаки, от которых пришлось отбиваться мечами.

В церкви мы нашли старого-престарого священника, к тому же глухого. С грехом пополам втолковали ему, что нам нужно.

Он повел нас к себе и усадил у очага. Долго он тряс головой и наконец сказал:

«В этой деревне, насколько знаю, ни одна старуха не умерла. Правда, оспа у нас повальная, но умирают только дети. Детских гробов мы закопали около сорока, но такой женщины, у которой может быть взрослая дочь, мы не отпечевали».

Мы громко кричали священнику в ухо и разбудили спавшего тут же возле очага старого монаха. Он протер глаза, зевнул и затем прошамкал: «На прошлой неделе я ходил за подаванием в Эшмакис-убани. Там скончалась одна старуха восьмидесяти лет, и на похороны ее съехалось множество народу. Более ста одних всадников — мужчин и женщин — приехало на отборных лошадях».

«А где находится Эшмакис-убани?» — спросил я его.

«Между крепостью Петра и крепостью Демота».

Мы не знали, ни где крепость Петра, ни где крепость Демота. Пришлось опять ехать наугад. Ехали днем и ночью, спрашивая встречных, и наконец нашли семью, в которой умерла восьмидесятилетняя старуха.

Глава этой семьи пожал плечами. «Гости, правда, у нас недавно были, и конные и пешие, но сами мы из Джавахети, и из Внутренней Картли к нам на оплакивание никто не приезжал».

В этой семье случился в гостях один свинопас из Джавахети. Он нам рассказал:

«Я с племянниками пас свиней у озера Голи. Там на берегу на перевернутых лодках сидели три молодца и две женщины. Мужчины закусывали, а женщины плакали. Я торопился сюда и потому ничего не спросил ни у тех, что закусывали, ни у тех, что плакали».

Вардосанидзе на этом закончил.

Георгий Чкондидели спросил рассказчика:

— Проверил ты как-нибудь показание свинопаса?

Вардосанидзе ответил:

— Мы два дня бродили вокруг озера Голи. Встречали там и чабанов и свинопасов. Встретили какого-то дьякона, шедшего из Валашкерти, еще трех купцов, ехавших из крепости Қари в Джавахети. Всех допросили, но никто не видал трех всадников с двумя плачущими женщинами. Снова пустились в путь. Добрались до Белой крепости, обошли озеро Паланацио, но ничего путного нам никто не сообщил.

Тут царица Елена захотела узнать, спросил ли Вардосанидзе у танайского дихистава, как были одеты женщины, и о том же у начальника Алервской крепости и у свинопаса.

— Все трое показали, что обе женщины были в черном.

Елена задала еще вопрос:

— О возрасте их ты что-нибудь спрашивал?

— У алервского дихистава спросил, и он мне так ответил: «Лица их были искажены плачем, поэтому я не решусь сказать, какого они возраста».

Тогда царица Елена твердо заявила:

— На берегу озера Голи, несомненно, сидели Дедисимеди и Теона.

Царь Георгий стал спорить:

— Из доклада Вардосанидзе выясняется, что две женщины, которых встретили сапожники в Атенском ущелье, очевидно, те же самые, о которых рассказывал начальник Алервской крепости. Всадники, надо думать, показали о себе

ложно. Они, должно быть, похитили этих женщин и, заметая следы, сказали, что едут в Сарбиела, а на самом деле поехали на юг и оказались на озере Голи.

Жаль, что свинопас видел их сидящими, и мы поэтому не знаем, в какую сторону они направились. Однако, раз не установлено никаких примет — ни возраст, ни наружность, у нас нет оснований настаивать, что эти две женщины — дочь Орбелиани и Теона. Не так ли?

Сказав это, царь Георгий взглянул на императрицу Мариам.

Мариам не согласилась с братом и начала доказывать, что женщины, сидевшие на перевернутой лодке, конечно, не кто иные, как Дедисимеди и Теона. Поэтому она считала необходимым послать на розыски более многочисленный отряд.

Георгий Чкондидели всех выслушал и затем сказал:

— Я тоже не вижу достаточных оснований утверждать, что женщины, которых везли из Атенского ущелья к озеру Голи, то есть на юг, — дочь Орбелиани и птичница Теона.

Предвзятая уверенность может нас направить на ложный путь. Мне кажется, следует продолжать поиски в пограничных эриставствах, как нам велел наш государь. Затем будем искать внутри государства. Если ничего не найдем, пошлем людей в Армению, в Иран, в Месопотамию, в Багдад и в Мекку и будем искать, пока не нападём на след пропавших.

На следующий день отправились в путь Кариман Сетиели, его заместитель Вардосанисдзе и с ними около ста чухчей.

Кариман Сетиели разделил чухчей на несколько отрядов. Десять человек во главе с Вардосанисдзе опять поехали к озеру Голи и к Белой крепости. Отсюда они повернули на Абац, перешли через Абацкие горы, добрались до Гумбра и ночными переходами — до подступов к Аниси. Они имели несколько ночных стычек с сельджукскими пограничниками и, утомленные бесплодными поисками, повернули обратно.

Десять других чухчей на пятый день дошли до крепости Кумурлус, перешли через хребет Камя, отстояли обедню в монастыре Бана, расспросили тамошних епископов, монахов и богомольцев и направились в Панаскерти. Там допросили цихиставов и гарнизон и вышли на Ниалийское поле, где в свое время Георгий I нанес поражение Василию Болгаробойце.

Отсюда они прошли на Арсианскую гору, где побывали во всех монастырях, крепостях и башнях и обошли караванные стоянки.

Третья десятка перешла через хребет Ириджду, выбралась в Чорохское ущелье и дошла до крепости Хварамзе, спрашивая жителей деревень и городов.

Семь чухчей достигли Порчхского ущелья, обшарили Чорохскую долину и одолели Байбуртский перевал, осмотрев по пути сторожевые башни и крепости.

Другие отряды проникли в неприступные крепости Анакерт и Панакари, опрашивая цихиставов, священников, монахов, деревенских и городских жителей.

Пять чухчей приехали в Опиза. Здесь один монах рассказал со слов какого-то встретившегося ему грека, что тот видел семь всадников, которые везли похищенную девушку. Чухчи разыскали деревню, куда увезли эту девушку, и там узнали, что похититель уже отпраздновал с ней свадьбу.

Еще трое чухчей приехали в Шавшети, обыскали Чилованское ущелье и побывали во всех монастырях, церквах и крепостях. Они заехали к тухарисскому цихиставу и анакертскому епископу, спрашивая по дороге всех встречных от мала до велика.

Потом они долго ехали днем и ночью вдоль Арсианского хребта до самой реки Чорох и спрашивали по дороге погонщиков мулов и караванщиков.

Отсюда они добрались до подступов к Артвину, проехали глубочайшее ущелье и обращались за помощью к ишханскому епископу и к ишханскому цихиставу. Епископ и цихистав послали монахов и лазутчиков в Тортопу и Байбурт. Между тем сами чухчи обошли монастыри Артануджи, Мевви, Шиндеби и Ахизи, приехали в Калмахскую крепость, оттуда в Олтиси, затем в Наримани и через Таокари и Пасиани добрались до гор Армении.

Кариман Сетиели и его воины переоделись пастухами и перешли через Гурджибогаз. По дороге они не оставили неосмотренными ни одной крепости и ни одного монастыря, заглядывали даже на самые невзрачные мельницы, всюду узнавая о трех всадниках и двух плачущих женщинах.

Наконец Кариман купил сто овец и ночью проник в Байбурт. Здесь он три дня скитался по базарам, завязывая беседы с купцами, крестьянами и монахами.

Он погнал свое маленькое стадо еще дальше, перешел

через Бодзинские горы и вышел к Ркиниспало, где стояли пограничные посты Грузии и Византии.

Латерию и Ситкваи Кора Кариман послал в Арзрум. Эти опытные разведчики повезли туда продавать сыр. Под видом торговцев они днем бродили по базарам, а вечером заходили в мечети, стараясь что-нибудь выведать о дочери Орбелиани.

Ситкваи Кора в Арзруме свел знакомство с одним армянином, и тот под строгой тайной рассказал ему, что арзрумский амир Али держит в своем гареме трех красавиц грузинок.

При содействии этого армянина Латерия нашел гречанку, водившую дружбу с управительницей гарема Зоей-ханум. Та подтвердила, что в гареме у амира Али действительно находятся три грузинских красавицы, которых сельджуки пять лет тому назад похитили в Басиани.

Кариман встретился в Ркиниспало с Латерией и вместе с ним и с проводниками дошел до моря.

Они наняли в порту Офа лазское судно и поплыли морем в Атина, оттуда в Арташен-Хупта и в Аркаб, опрашивая по пути греческих и лазских моряков и рыбаков, но никто не рассказал им ничего, заслуживающего внимания.

Итак, совершив все эти путешествия сушей и морем, Кариман Сетиели узнал о происшедшем не больше, чем он знал, выезжая из Начармагевы.

Конец третьей книги



КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ



«Некогда в Начармагеви я потчевал
двенадцать царей.
Турок, персов и арабов выпроваживал
восвояси,
Рыб из амерских вод разводил в водах имеров;
Ныне же мне, вершителю сих дел, сложили
руки на груди».
Арсен Икалтоели.

БЕССОННАЯ НОЧЬ ЧКОНДИДЕЛИ

«Чкондидели — отец царя».
Дворцовый устав.

Над твердыней Хорнабуджи больше не реял черный стяг — государственная эмблема сельджуков. После поражения в Ках-Эрети грабительское войско акинджи уже не смело разорять пограничные города и селения.

Пользуясь этой передышкой, царь Давид усиливал постоянное войско, закупал лошадей в Ширване и горных областях Кавказа, сооружал каменеты, возводил все новые и новые крепости, строил мосты и дороги.

По многу дней не слезал он с коня, в необитаемых башнях и крестьянских лачугах проводил ночи...

Истребляя сельджукские гарнизоны, грузинская рать нанесла повреждения крепостям Ках-Эрети. Теперь Давид, при-

ступив к восстановлению этих бастионов и башен, сам руководил работами.

Рука Строителя дотянулась и до Начармагевского дворца. За Начармагеви испокон веков утвердилось прозвище «потешного» дворца; так его называли и прадед Давида — Георгий I, и дед — Баграт IV, эти неугомонные и храбрые воины.

У отца и деда Давида и в помыслах не было превращать Начармагеви в такой боевой бастион, какими были крепости Уплисцихе, Тмогви, Хертвиси, Тухариси или же твердыня Артануджи, о которой Константин Порфирородный в своей «Де администрандо империи» писал: «Артануджская крепость неприступна и обнесена столь же мощной стеной — «рапатин», какая бывает в областных городах. Это ключ к Иверии, Абазги и Месхети».

Полчища туркоманов должны были пройти через Артануджи и, прорвавшись через нынешний Гурджибогаз, — сломить сопротивление целой системы крепостей вплоть до Ташискарри. От Ташискарри начинается равнина, но тут на пути врага вставали новые укрепления. Неприятель же, вторгшийся с востока, наткнулся на твердыни самого Мцхета и Ксанского ущелья.

Несмотря на это, Давид решил превратить «потешный» дворец в неприступный бастион. Северную стену крепости-дворца он велел разрушить и продлить на два стадия, на расстоянии полета стрелы друг от друга были возведены боевые башни, в этих башнях установили котлы для кипящей смолы, малые камнеметы; хоботы катапульта высовывались наружу.

В крепостной стене он приказал соорудить винные погреба, помещения для скота, хлебопекарни. Под вековыми дубами и липами зарыли такие огромные амфоры, что когда надо было их вымыть, пять человек спускались туда по лестнице.

За северной крепостной стеной выстроили кузницы, кольчужные и оружейные мастерские. Хотя они были расположены далеко от дворца, ветерок все же нет-нет доносил энергичный перестук кузнечных молотов и молотков.

Почти каждый вечер дворцовая челядь наблюдала, как подъезжали к этим кузницам вереницы всадников, принимали из рук молотобойцев только что выкованные, еще не успевшие остыть мечи, пускали коней вскачь, считая, что на ветру сталь закалялась.

Георгий считал такого рода занятия баловством. Он, бывало, так говорил Чкондидели:

«И к чему, вежо, вы с Давидом зря в ступе воду толчете? Много ли мечей выкуют в ваших жалких кузницах? Неужто

их хватит на всех сельджуков, которые расплодились, что саранча?!»

К старым палатам Багратидов пристроили новые. Вдоль всех четырех крепостных стен устроили склады оружия и воинского снаряжения — «зардахана», конюшни, помещения для царской дружины и телохранителей, а также для прислуги.

По настоянию Махары расширили и пополнили загоны с диковинными зверями и птицами. Доверенные люди, посланные главным ловчим в Иран, привезли из Гюлистана двадцать гепардов, столько же барсов, одного львенка, попугаев, павлинов, соколов и ястребов с великолепным оперением.

Махара был вне себя от радости, но беда подстерегала его: к павлинам пристала куриная чума, лишь один самец уцелел от мора.

Как только закончилось строительство залов и палат, придворный живописец Тевдорэ привез из Кутаиси резчиков по дереву, мастеров финифти и мозаики. Расписали и покрыли глазурью палаты Багратидов, а новые покои искусные живописцы отделали по-иному.

С большим искусством расписал придворный художник стены охотничьего зала, изобразив на них эмблемы двенадцати месяцев.

Март облачен в стального цвета панцирь, на голове у него шлем. В одной руке он держит обнаженный меч, в другой — пергаментный свиток с такой надписью:

«Никому не уступлю первенства, ибо это я, первый воин Ледяного Царства. Навсегда запомним: каждый день надо теснить врага».

Апрель — это пастух. Он идет впереди табуна лошадей, отары овец, гурта буйволов, стада коров, свиней, коз и говорит:

«Это я кормлю страну мясом, молоком и сыром. Я вам даю и шерсть, и рог для луков, и буйволиные шкуры для шитов».

Месяц Роз — май увенчан венком из всевозможных цветов, в руке у него алая роза. Май молвит так:

«Если ты в самом деле мудр, так останись же под каждым деревом в цвету, возле каждого куста фиалок и цикламенов и насладись изобилием красок мира подлунного».

Месяц Сенокоса, опаленный солнцем мужчина, косит луг, приговаривая:

«Не приди я, и вы сами, и ваши табуны, и стада коров, коз и свиней с голоду бы умерли...»

Чело Месяца Жатвы украшает венец, сплетенный из хлеб-

ных колосьев. В одной руке у него серп, в другой — сноп пшеницы. Он говорит:

«Что бы вы делали без меня? Когда б я не заполнил ваши закрома, вы передохли бы, как мышата».

Август, тоже загорелый мужчина, плел корзины и умаялся. Припал к роднику, струящемуся из тростниковой трубочки, и жадно пьет.

Сентябрь украсил себя венком из виноградных гроздьев. На плече у него корзины, до краев наполненные виноградом... Тянутся ввысь врытые в землю амфоры — большие и поменьше. Разинув пасти, точно крокодилы, они обступили своего владыку и молят его: «Пить! Изнываем от жары!»

Октябрь — прекрасный юноша. На нем шуба из шкуры кавказского тура. На ногах — пестрые горские носки. Среди скал цвета коршуна, натянув тетиву лука, он преследует фазанов, тетерок и серых куропаток.

Ноябрь — молчаливый, мудрый пахарь. Согбенный, он налег на плуг, прокладывает в земле черные борозды и стыдливо бормочет:

«Если вы не получите плодов моего труда, вложенного в эту землю, ваши крепости, замки, города, деревни и села неминуемо будут голодать. Потому вы должны склониться предо мною точно так же, как я пред моим плугом».

Престарелый Месяц Рождества взвалил на спину мешки с зерном и, стоя на пороге мельницы, шамкает:

«Если я не намелю вам муки, что же вы будете есть?»

Январь — храбрый охотник, на ногах у него горские лапти, сплетенные из кожаных ремешков. С луком в руках он гоняется за турами, сернами и оленями.

Февраль свил себе венок из алых ивовых прутьев и тоже похваляется:

«И без меня вам не обойтись. Это я пробиваю ледяную кольчугу на груди ледников, освобождаю от серебряных оков ручьи, родники и ключи. Это я — первый вестник весны».

Давид каждый день сам взбирался на леса, проверял сделанное с такой же тщательностью, какая была ему присуща в ратных делах. Он уже приказал главному зодчему приступить к обновлению дворцов в Гегути, Цагвлистави и Бочорме.

* * *

На протяжении целого года Махара замечал, как молча страдал скупой на слова Давид. А ведь он, бывало, говорил:

«Если выскажешься, на душе станет легче». Давид извдал, что сказать подчас труднее, чем сделать.

С тех пор как исчезла Дедисимеди, Давид резко изменил своим привычкам... Он больше не увлекался ни игрой в поло, ни пирушками с Нианией, Махарой и Джонди. Избегал пить вино, меньше ел мясного, постоянно искал уединения, хотя близким старался этого не показывать.

* * *

У отца с сыном были странные отношения. Отец таил свою любовь к сыну глубоко в сердце из боязни, как бы мальчик не вырос маменькиным сыночком.

Он знал, что тогда Давид не сумел бы обрести твердость характера, столь необходимую для царя и военачальника.

Воротившись домой с войны или с охоты, даже еще не успев снять латы, Георгий склонялся над изголовьем ребенка и целовал его, спящего. Завтра он снова наденет личину «грозного отца» и не обронит ни единого ласкового слова.

Рано впрягшись в ярмо государственного управления, Давид не по годам возмужал, поэтому разница в характерах отца и сына вскоре дала о себе знать.

Юноша, уже вступивший на царский престол, эзоповским языком обличал слабости Георгия, всегда веселого и хлебосольного.

Давид говорил при отце:

— Чрезмерное гостеприимство столь же предосудительно, как и непомерная скупость. Кто испытывает душевную пустоту, тот хочет быть постоянно в кругу гостей.

Пир украшает победу, но уж никак не надвигающуюся войну.

Случалось, что безрассудные цари пригоршнями бросали золото в толпу, и та же самая толпа в другое время швыряла камнями в глупых царей.

Не тот мужчина, кто победит в первой войне, а тот, кто выиграет и последнюю войну в своей жизни...

Такие-то речи приходилось выслушивать отцу из уст собственного сына.

Все это основательно охладило сердце Георгия.

Он видел, какие безмолвные муки терпел Давид после исчезновения Дедисимеди. Одно время Георгий пробовал было приободрить сына, чаще устраивая пиры, но на печальном

лице Давида прочел: эти увеселения напоминают пир во время чумы.

Именно поэтому в Начармагевском дворце царь Георгий умерил свое гостеприимство. Он брал с собой рыбаей и охотников, и после удачного лова они уединялись куда-нибудь в лес. Друга детства Звонилу Георгий усаживал рядом с собой, и на лоне природы продолжали служение Бахусу.

Разногласия между отцом и сыном случались и по другим, более важным поводам: царь Георгий был сторонником ведения войны по старинке. Давид смотрел на это совсем по-иному. Он хорошо знал, сколь велика роль лошади, когда рать сшибается с ратью в открытом поле. Пешие лучники и копейщики не выдерживают напора всадников.

Царь Георгий утверждал так: хороший воин, даже пеший, должен быть столь же отважен, как и конный. Тем не менее Давид и Чкондидели стояли на своем: для закупки лошадей они посылали посредников в горы Кавказа и Ширван...

— Коней!

— Коней!

— Коней! —

не сходило с уст царя Давида и его спасаларов.

Царь Георгий подтрунивал над ними: «Мою казну лошадям скормили!»

Кроме того, царь Георгий считал безрассудным восставлять против себя седовласых епископов и эриставов. Некогда ему удавалось успокаивать непокорных феодалов, потчуя их, приглашая на охоту и оделяя богатыми дарами.

С тех пор как царь Давид покарал Липарита, Рати и кахетинского царя Ахсартана, недовольные епископы и старики эриставы поприкусили языки, но исподтишка все же продолжали изрыгать хулу...

До слуха царя Георгия доносился их глухой ропот, поэтому он опасался: того и гляди, недовольные улучат момент и отплатят царю Давиду.

* * *

Когда накапливалось много государственных дел, Давид запирался в зале Совета с первым визирем, и лишь далеко за полночь Сабия с тремя факельщиками провожали его до дверей опочивальни...

Утром, едва поднявшись с постели, он отправлялся в за-

гоны для зверей и диковинных птиц. Восторгался, глядя в сверкающие глаза гепардов и орлов.

Молча отобѣдав, Давид лежа внимал своим «мертвым советчикам», как он сам, бывало, называл книги.

Когда Давида навещали императрица Мариам, Ниания или Махара, он вел себя как человек, которого застали врасплох.

Последнее время охладел он и к охоте. Иной раз, когда у него не хватало сил отказать Ниании и Махаре, он вдруг в разгаре гая ускользал от Каримана Сетиели, захватив с собой верного своего оруженосца Куджи Алания и меченосца Георгия. Тайком поднимался царь в башню Теней и снова возвращался к своим «мертвым советчикам».

В такое время Сабия бдительно охранял проходы, всех и каждого — от мала до велика уверял: почивает государь...

* * *

Как-то вечером к первой башне Начармагевской крепости-дворца подъехали два всадника верхом на мулах. Вартапет Гайк, сын армянского католикоса, спешил, поручил мула своему погонщику, отправился к начальнику крепости и почтительно осведомился, где можно повидать Каримана Сетиели.

Ему ответили:

«Он уехал в Уплисцихе».

Вартапет собрался было уходить... В это самое время Махара со своими рыбаками, наловив желтой форели, вернулся в крепость.

Махара издали услышал, что ответили незнакомцу. Одежда незнакомца бросилась скопцу в глаза. Он был одет в черную кашемировую рясу, на груди у него висел золотой крест на толстой цепи. Осанистый, седобородый, он держал голову гордо, с достоинством.

Махара подошел к нему и заговорил:

«Кого тебе надобно, отец?»

Вартапет оглядел скопца, спросил, кто он такой, узнав, отвесил ему низкий поклон, отозвал в сторону и поведал такую историю:

«Проездом из Иерусалима, в Дамаске, я навестил своего кума, крупного вино торговца.

И сообщил он мне вот что: в прошлую субботу был он на невольничьем рынке, чтобы купить себе слугу, и видеж он там деву прекрасную, как две капли воды похожую на дочь Липарита.

Я еще спросил виноторговца, откуда он знает Липарита и его дочь?

Он так ответил:

«Семь лет был я кравчим при дворе ами́ра Липарита в Манглиси, на моих глазах выросла его дочь Дедисимеди».

Махара поручил вартапета заботам местумретухуцеси — вельможи, ведавшего приемом гостей. Приказал обмыть гостю ноги, угостить обедом.

Слуга подал ему умыться — путник поблагодарил его, от обеда же отказался: он и его погонщик пообедали в дороге.

Махара незамедлительно сообщил об услышанном царю Георгию и обеим царицам, а также Ниании Бакуриани.

Когда местумретухуцеси ввел вартапета, царь Георгий сам узнал его. В Вагаршапате ему представил вартапета армянский католикос в тот самый год, когда Георгий гостил в Исфгане у султана Малик-шаха.

Гость поцеловал царю руку и распрощался с ним. Георгий велел Махаре наградить вартапета. Однако тот вежливо отказался, вернул казначею золотые дукаты и сказал так:

«Я всего лишь выполнил свой христианский долг, для того к вам и явился».

Новость вскоре облетела весь дворец, но никто не решался доложить о ней царю Давиду, ибо за год по крайней мере раза три распускали слух: своими, дескать, глазами кто-то видел дочь Липарита.

Кариман Сетиели разыскивал рассказчика, рассказчик же ссылался на другого рассказчика, тот — на третьего, и столь длительные поиски оканчивались ничем. Наконец эти выдумки сделались поводом ко всякого рода попрошайничеству и вымогательству.

Потому-то во дворце и решили ни о чем подобном Давиду не сообщать, не считали нужным беречь уже слегка затянувшиеся раны.

Особенно настаивал на этом Ниания Бакуриани. Скрыть новость он считал тем более разумным, что и сам Давид и весь двор со дня на день ожидали Стефаноза Цилканского, который прошлую зиму писал из Шарагана: «Здесь все улажено, весной приедем».

Стефаноза тревожил лишь один вопрос: какой дорогой везти дочь Шарагана Шарагановича и половцев?

Касогам и джикам доверять нельзя — сомнительно, пропустят ли они чужеземцев без боя.

Ехать Дарьяльским ущельем? Но половцы все еще враждуют с осетинами.

Стефаноз Цилканский молил царя Давида отрядить в Осети посредников, чтобы примирить осетин с половцами.

Принесенная вартапетом весть заставила крепко призадуматься даже беззаботного царя Георгия. Он целую ночь не спал.

Советовался с царицей Еленой:

«Что делать? Как нанести Давиду такой удар?!»

На другой день Георгий призвал к себе Нианию, императрицу Мариам и Махару. Он сокрушался: кто же сообщит эту новость царю Давиду?

Молчал Нианиа Бакуриани, даже словоохотливый Махара и тот умыл руки. Доставленной из Дамаска вести еще большую убедительность придавало то, что вартапет, движимый бескорыстным побуждением, возвратил назад золотые дукаты и не пожелал воспользоваться гостеприимством.

Прошло два дня, но ни у кого духу не хватало доложить обо всем царю Давиду.

На третий день в шестом часу утра Давид через местумретухуцеси вызвал к себе Нианию, Махару и Каримана Сетиели.

Обведя своими большими золотисто-карими глазами всех троих, он спросил:

— Неужели вам нечего мне сообщить?

В палате воцарилось молчание. Наконец Махара, набравшись решимости, промямлил:

— Сообщить-то есть что, вот только смелости недостает, государь.

— Все это понятно, — сказал Давид, — в данном случае трудно что-нибудь сказать с уверенностью. Быть может, тут простое сходство, как знать... Не такая уж редкость, когда внешне один человек походит на другого. Вы хорошо знаете, что и у меня есть двойник: моего спасалара Моркневели часто принимают за меня.

Махара улыбнулся, а царь продолжал:

— От отца своего я слышал: блаженной памяти дед мой Баграт был, оказывается, точным подобием одного мельника из Дигоми, так что это наконец опостылело и моему деду и тому мельнику.

Ведь известно, что у царей из рода Багратидов было в обычае переодеваться простолюдинами и так появляться в

народе... Потому-то в Дигоми приезжие обыкновенно принимали мельника за царя Баграта.

На пирах даже подтрунивали над Багратом его эриставы:

«Как бы трон и корону не отнял у тебя этот дигомский мельник!»

В тот самый год, когда Баграт первый раз взял Тбилиси и обратил амира в бегство, призвал он в Исанский замок мельника из Дигоми и спросил его:

«Уж не оспариваешь ли ты у меня царский венец, братец?»

Мельник оказался острословом.

«А на кой черт мне он, твой венец, государь?»

«Отчего же?» — спросил Баграт.

«Отчего? Да оттого, что ты, может, из-за своего венца и голову сложишь, а мой пропыленный колпак да эта непутевая головушка до самой смерти при мне останутся...»

Рассказал Давид эту притчу, а затем вдруг вернулся к принесенной вртапетом вести:

— А с другой стороны, тут нет ничего удивительного. Разве мы знаем мало примеров, когда турецкие разбойники похищали дочерей у знатных азнауров? Взять хотя бы дочерей и невесток кларджетских и шавшетских эриставов?

Случалось также золотом выкупать похищенных, ибо золото порой действует лучше меча.

Что скажете? Пошлем в Дамаск лазутчиков?

Хотите, разошлем их и по другим городам: не нападут на след в Дамаске, пусть обыщут Халеб, Мосул и Багдад, если же крестоносцы заключат с сельджуками временное перемирие, наши люди и в Иерусалим проникнут, пусть повсюду обшарят невольничьи рынки.

Кстати, нам ведь надо узнать, что подельывают наши друзья и недруги за рубежами страны.

Поверьте мне, безумец тот царь, которому и впрямь чудится, будто судьбы царства всецело решаются в пределах его же страны.

Полезно до конца познавать друзей, ибо в друге порой можно открыть врага, однако врага узнать еще более важное и, я бы сказал, необходимое дело.

Глупец не только тот, кто не стремится разведать силы своего противника, но и тот, кто у врага не учится ежечасно.

Мои враги подчас были мне учителями, ибо в борьбе с ними я, бывало, нащупаю свои слабые места и изъяны, себе-

русь с силами, а потом снова ринуться на них и бьюсь до тех пор, пока в борьбе не обнаружатся их же собственные слабости.

Все трое слушателей диву давались: никогда еще не доводилось им слышать, чтобы царь говорил так долго. Заметив, что никто не намерен сказать свое слово, Давид продолжал:

— Уже третий месяц блаженный католикос Картли — Иоанн и дирбский епископ Максим просят меня позволить им отправить сборы как с Дирбского, так и с некоторых других монастырей Внутренней Картли и их угодий, настоятелям грузинских монастырей в Иерусалиме, как это водилось встарь, при моем прадеде Георгии и при блаженной памяти деде моем, царе Баграте.

У меня и у Георгия Чкондидели на этот счет разные мнения.

Должен вам сказать, это огромные деньги, скопившиеся за много лет, и не забывайте, ведь их непременно надо послать серебром.

Отправить деньги из Хупты в Константинополь, а оттуда — через Антиохию в Иерусалим? Не исключено, что акинджи иконийских сельджуков на караванных путях ограбят наших людей.

Послать доверенных через Гурджибогаз по Арзрумской дороге? Но в тех краях сейчас, как мы знаем, большие смуты. Армян, лазов и греков хватают без разбора и продают на невольничьих рынках.

У нас остается еще третий путь: Вагаршапат, Исфаган, Багдад и Иерусалим...

Эта дорога всегда открыта, но на караваны часто нападают то орды акинджи, то бедуины. К сожалению, говорят, и крестоносцы не гнушаются грабежом.

Стало быть, надобно заранее изучить этот путь.

У Джоджики и Арамаиса Аршаруни в Исфагане и без того много дел.

Подыскать бы только владеющих языками ислама смелых и увертливых лазутчиков! А то нам и в самом деле не мешало бы знать, что творится не только в Иране, Сирии и Месопотамии, но и за пределами этих стран.

Какой амир воюет ныне с исфаганскими Сельджукидами? Что поделывает хотя бы богатейший и могущественнейший из амиров Мардина — Наджм Эддин иль-Гази?

Что замышляют асасины и крестоносцы, угнетенные братья наши армяне и греки или же остальные недруги Сельджукского султаната?

Само собой разумеется, что враги наших врагов — это друзья наши, и с обстановкой у них нужно ознакомиться безотлагательно, ибо нынешний мир и гладь напоминают скорее всего затишье перед бурей, так мне сдается...

Без слов царь понял, что мысли эти нашли отклик в сердцах всех троих его слушателей.

— Заодно, — добавил Давид, — должно изучить, как нынче военный строй у сельджуков и крестоносцев.

С тех пор как эристав Джонди воротился из тамошних краев, немало воды утекло. За этот промежуток времени сельджуки, быть может, ввели какие-нибудь новшества в искусство обороны крепостей, их взятия и сооружения каменетов, «баранов» и осадных башен.

Теперь самое важное — подыскать подходящих людей, не так ли? — спросил царь, обводя взглядом своих слушателей. Нианиа и Махара молчали, а Кариман Сетиели попросил слова.

Кариман назвал Лулу бен Гайдара, родом турка. Давид кивнул головой... Так как Кариману добавить было нечего, царь спросил:

— Еще кто у вас на примете? — И он опять обвел взглядом всех троих.

Махара сказал:

— Нелишне напомнить и о Ситкваи Кора. Во времена Липарита он отличился, каким-то чудом пробираясь в крепости, да и турецкий язык знает превосходно. Единственный его недостаток, что он горбун, ну так что ж — не в зятя же мы его прочим, правда?

Нианиа улыбнулся и сказал:

— Хахутая послать тоже не мешало бы.

Царю было ведомо: при взятии Хорнабуджской крепости в Хахутая попала отравленная стрела. Потом было так: пховский костоправ Душо отпилил ему ногу ниже колена и приладил деревянную.

Это не мешало Хахутаю странствовать, ездить верхом на лошади и рубить мечом.

Он даже шутил: дай бог здоровья сельджукам, теперь ему на правую ногу не понадобится наголенника.

Да и насчет Лулу бен Гайдара ни у кого не возникло сомнений, хоть был он и одноглаз. По правде говоря, у Лулу, кроме имени, ничего и турецкого-то не было. Его прапрапрадед Лулу бен Гайдар был взят в плен грузинским войском в

988 году, когда в Армении Давид Куропалат и армянский царь Гагик наголову разбили рать амира Мамлуна.

У турок фамилий нет, потому-то два эти имени в разном порядке повторялись на протяжении четырех поколений. Во времена Георгия I и Баграта IV предки Лулу служили то толмачами, то конюхами.

Последний из них, отец Лулу — Гайдар бен Лулу — был у Давида в Начармагеви конюхом, он умер, заразившись от лошадей сапом.

Махара где-то в конюшнях разыскал его единственного сына Лулу, который на зубок знал коран. Еще безусым юнцом Лулу в Авчальской битве был ранен и попал к сарацинам в плен.

Тбилисский амир жестоко покарал его, как огрузинившегося турка, приказал выжечь ему правый глаз, чтобы в бою он не мог пользоваться щитом.

Озлобленный юноша бежал из Тбилисской крепости, в половодье переплыл Куру и явился к начальнику Зедазенской твердыни. Поначалу тот принял Лулу за лазутчика, подосланного амирком, но юноша заставил так себя полюбить, что начальник крепости представил его Давиду.

Царь Давид наградил Лулу, проверил, каковы его познания в арабском языке, и послал в Гречи к Арсену Икалтоели. Тот первым делом крестил Лулу, а затем, обучив богослвию и риторике, отослал назад к царю Давиду в Начармагеви.

Только юноша никак не мог привыкнуть к своему новому греческому имени — Антеподистос, которое дал ему Икалтоели, так что в Начармагеви его по-прежнему звали Лулу.

Вначале Давид собирался отрядить своего доверенного ко двору халифа в Багдад, но передумал, зная, что нигде не придадут такого значения человеческой внешности, как на Востоке.

По повелению царя Давида Кариман Сетиели послал всю трицу в Исфаган. Снабдили ее золотыми ботинатами и дирхемами, дали в придачу троих погонщиков и двоих шатерничих.

* * *

Неделю спустя, возложив на Георгия Чкондидели важные государственные дела, Давид неожиданно собрался ехать в Дарьяльское ущелье. Взял с собой каменщиков, кузнецов, плотников. Заранее с Кариманом Сетиели и телохранителями было отправлено много строительных материалов.



Крестоносите́ль шествовал впереди царя и его свиты, за конюшим и главным стремянным следовали конюхи и стремянные, за главным постельничим — постельничие, за обозничим — навьюченные книгами царя Давида мулы, а за ними — семерка мулов, везущих царский шатер.



С этого дня ожидание тяжким гнетом легло на Начармагевский дворец. Ждали царя Давида, ждали Георгия Чкондидели, с нетерпением ждали вестей от Лулу бен Гайдара из Дамаска.

Предполагалось, что к концу июля царь Давид вернется из Дарьяльского ущелья, где со дня на день должны были закончить строительство крепости Давида, что по какому-то странному недоразумению вплоть до наших дней именуется «Замком царицы Тамары».



Императрица Мариам неизменно сидела на балконе башни Теней. Примостившись у ее ног, куропалатиса Мелита читала ей Платона. Порой, облокотясь на перила, Мариам смотрела на дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья.

«В зубах застряла эта крепость! Уж не строит ли царь Давид в Дарьяле башню Навуходоносора?!» — говорил Махара царице Мариам.

Пропыленные гонцы из Исфагана, Вагаршапата, Никопсии, Таоскари то и дело на взмыленных рысках подъезжали к Начармагевской крепости, молча вручали привратнику первой башни запечатанные свитки, но читать их было некому.

Георгий Чкондидели уехал в Манглиси описывать дворцы, казну и оружейные, отобранные у опального Липарита. Ибо в ту пору ссылка — эксордия — по закону сопровождалась «изъятием» вотчины. Эриставу Джонди царь поручил обследовать триалетские крепости.

Шергил Липартиани, Бешкен Джакели, Барамисдзе и Аришиани были заняты в эриставствах войсковыми учениями, закупкой лошадей и приобретением оружия.

Царь Георгий окончательно отстранился от государственных дел. Время от времени в сердцах он высмеивал «непо-

«сед» — царя Давида и Георгия Чкондидели, занимался охотой и увлекался пирами.

Теперь он все чаще повторял свое излюбленное изречение: «Наша жизнь — что детские исподники: столь же грязна и коротка».

В тот год охота на уток, гусей и вальдшнепов обошлась благополучно, но, когда Георгий ловил в начармагевских ручьях желтую форель, он сильно простудился и чуть было не отправился к праотцам.

В конце концов тело его, закаленное в боях и на охоте, все же перебороло болезнь. Едва избавившись от холодных примочек, Георгий подолгу просиживал у камина, лениво потягивая подогретое красное мухранское вино. Возле него неизменно стоял виночерпий. А то иногда Георгий сажал у своих ног главного факельщика Сабия и заставлял его чесать себе пятки или, бывало, приказывал достать из книжницы «Асотасамгерали» — книгу примет и пророчеств.

Сабия клал на колени огромный фолиант, и между царем и главным факельщиком завязывался такой примерно диалог: Георгий. Если дергается правое верхнее веко, к чему это? Посмотри-ка, что там написано, Сабия.

Сабия. После печали возрадуешься, — молвил Даниил пророк.

Георгий. А если левая бровь вместе с веком?

Сабия. Это к гостям.

Георгий. Взгляни-ка, кто это сказал, старина?

Сабия. Запомню я, простофиля, Александр Македонский это говорил, государь батюшка.

Георгий. А если дергается левое крыло носа?

Сабия. К обнадеживающей вести или к гостям, — рек Даниил.

Георгий. А если подбородок?

Сабия. Быть новому врагу.

Георгий. Эх, неужели у нашей многострадальной Грузии еще мало врагов?

После короткого молчания Георгий продолжал:

— А если дергается левая ноздря?

Сабия. К женитьбе, — рек Даниил.

Георгий. Эх, не жениться бы мне и один-то раз, мой Сабия. Посмотри-ка, если подергивается левое я.о?

Сабия. Любовницы в изобилии.

Георгий. Чепуху мелет тот, кто это сказал. Какое время мне иметь любовниц, Сабия?

Свою молодость я отдал войнам и битвам в осажденных крепостях... Взгляни-ка там, а если дергается левая ягодица? Сабия. Это к смерти врага, — молвил Александр Македонский.

Георгий. Ого! Вот это хорошо, мой Сабия! Как я слышал, султан Бархиарок приказал долго жить. Царствие небесное отцу Александра Македонского...

* * *

На сей раз предсказания «Асотасамгерали» не сбылись: высоких гостей в Начармагевском дворце поубавилось. Сабия, в отличие от царя Георгия, это как раз радовало. Ему уже не доставляло удовольствия зажигать и гасить шандалы в царских хоромах, ибо занимался он этим делом по меньшей мере лет тридцать.

Охота на удонов уже началась. У Сабии заранее был припасен силок из конского волоса, прилаженный к шесту о двух сучках, сам же птицелов, разубранный ветками, прятался в кустах.

В наряде Очопинтре ковылял он по дворцовому саду, усердно гоняясь за удодами, а по ночам то читал царю Георгию «Асотасамгерали», то, вооружившись длинными щипцами, семеня по палатам, вступая в единоборство с мглой...

И трех месяцев не прошло со времени отъезда царя Давида в Дарьяльское ущелье, как в Начармагевском дворце поселилась скука. В длинных переходах уныло слонялись придворные в желтых скарамангах, на заре пронзительно кричал осиротелый павлин, а в зверином загоне метался разъяренный гюлистанский львенок...

* * *

Принесенная вартапетом весть облетела всю Грузию. Найдя предлог для посещения, по субботам к царю Георгию являлись его старые приятели и сотрапезники, кое-кто из них—его бывшие соратники. В большинстве своем это были старые кутилы, которых Махара, бывало, называл «эриставами с долгими мечами да короткими умишками».

С ними приходили дородные хохотушки-жены.

Смекнув, что «вечно хмурый» и «скупой» царь Давид долго застрял в Дарьяльском ущелье, во дворец зачастили и

епископы, после Руис-Урбнисского собора лишённые своих епархий.

Царю Георгию было и невдомек, зачем Давид созвал Руис-Урбнисский церковный собор, зачем затеял он волокиту с отстранением и наказанием лиходеев. Никогда Георгий не задумывался и над проведенной после этого церковной реформой. Напротив, Георгию было совершенно непонятно, за что царь Давид отнял у них богом данную паству и монастыри. Взять, к примеру, хотя бы Антония Кутатели, Филимона Голготели или Гедсона Некресели.

И царь Георгий, и старики эриставы, и опальное духовенство были возмущены тем, что царь Давид возвысил хундородных людишек, зачастую бывших дьяконов, сыновей сапожников, пожаловал им епископские епархии, дав тем самым повод своему историку написать:

«...Оттого, что церкви святые, дома божьи обращены были в разбойничьи вертепы, и недостойные и нечестивые скорее богатствами, нежели добродетелями своими захватили главные епископства, яко тати, и возвысили себе подобных попов и епископов без паствы, кои вместо веры Христовой поучали всех прихожан своих безверию, из самого дома господня и от священнослужителей исходило всяческое кощунство и скверна...»

* * *

В день преображения Начармагевский дворец посетил противившийся из Иерусалима монах Иоанн и в присутствии обеих цариц вручил царю Георгию свиток на имя Каримана Сетиели. При этом он добавил: кривой, хромой и горбатый нашли приют в иерусалимском грузинском монастыре Креста.

— Только они проведали, что я собираюсь на родину, целый месяц безвыходно сидели у меня в келье и сочиняли вот эту грамоту. Под конец они взяли с меня клятву и сознались, что посланы царем Давидом по весьма тайным делам.

Кривой среди них, видимо, главный, он блестяще владеет как греческим языком, так и арабским и турецким. Кривой-то и передал мне этот свиток.

— А не знаешь ли ты, как звали того кривого? — спросил царь Георгий.

Почесав в затылке, Иоанн пробормотал:

— У него какое-то чудное басурманское имя, никак не припомню...

— Уж не Лулу ли?

— Да, да, государь, Лулу.

Царь Георгий потянулся было к свитку, чтобы увериться в своей правоте, но царица легонько потрепала своего супруга по правой руке и шепнула ему на ухо:

— Не делай этого, Георгий, у нас ведь заведено, что письма лазутчиков распечатывает либо царь Давид, либо Георгий Чкондидели, правда?

Георгий нахмурился — его покорило, что даже монах заметил, как ущемляются царские права. Он положил свиток на колени и с напускным равнодушием спросил Иоанна:

— Что еще новенького сообщишь нам, отец Иоанн? Не нападали на тебя сельджукские разбойники на караванных путях из Антиохии в Никомедию?

— Дважды разграбили наш караван. Франкских епископов, державших путь из Иерусалима в Рим, отпустили в одном нижнем белье. Надо сказать, государь, каждый из нас видел до сих пор епископов только лишь в златотканых омофорах и... прочее ясно само собой. С одного итальянского священника стащили даже рясу. А с меня что взять?! Этот свиток был у меня зашит в рясу, и я все боялся, как бы, думаю, не сняли с меня мою последнюю дерюгу.

Посмотрел на меня разбойничий атаман и спросил по-гречески:

— И куда ты, монах, тащишь свои старые кости? Ты, моему, до того худ, что, верно, душу оставил в Иерусалиме?

— Нет, господин, там я оставил мясо, а кости везу на родину, чтобы там предать их земле.

— Как встретило тебя море, отец? — спросил Георгий.

— До Хупты один день пути был погожий, дул попутный ветер, но вдруг поднялась страшная буря и такая разразилась гроза, что мне казалось, небо рушится на землю...

Георгий смерил взглядом монаха, который вытянулся перед ним, как древко знамени, и спросил его:

— А была ли у вас в Иерусалиме жратва?

Монах усмехнулся.

— Жратвы-то было много, государь: копченые крысы приправленные перцем и уксусом, и еще кое-что...

Тут он замялся... В уголках его глаз мелькнули лукавы искорки...

— Не робей, отец, говори...

— Да как тебе сказать, государь мой себастос? Посыпанный перцем ослиный помет тоже едали..

Царь позвал местумретухуеси. Велел Ангии вымыть гостью ноги и досыта его накормить.

Когда Иоанна увели, Георгий снова взял в руки свиток и, тщательно оглядев его со всех сторон, сказал царице:

— Видишь, вежо, как скоро сбылся мой сон. Позапрошлую ночь мне пригрезилось, будто в опочивальне у Маико сидит перед зеркалом Дедисимеди и кормит куропаток. А куропатки радостно квохчут, резвятся перед зеркалом.

— Я тоже видела во сне Дедисимеди, будто бы я везла ее в Византию... — сказал Мариам. Она взяла из рук Георгия свиток, поднесла его к свету, словно сияясь прочесть запечатанное письмо.

Речь зашла о похищенных сельджуками девушках, и сказал Георгий:

— Во времена почившего в бозе отца моего Баграта у стен Описского храма турки подстерегли единственную дочь шавшетского эристава и похитили ее вместе с молочной сестрой.

Потом дело было так: царь Баграт сперва заслал лазутчиков... Затем отправил посредника к сельджукскому амиру Бухтекину Себухтекину, большой шатер которого стоял в окрестностях Арзрума... За три тысячи золотых дукатов выкупили дочь эристава.

— Я вам еще больше скажу, — заговорила Мариам. — Когда крестоносцы сражались на подступах к Антиохии, напали на них ратники Наджм Эддина иль-Гази. Крестоносцев, шедших из порта святого Симеона, они перебили, троих герцогских дочерей и невесток похитили. Потом Боэмунд с трудом их вызволил.

Да зачем далеко ходить? Половецкие разбойники у стен Константинополя схватили единственную дочь логофета дрома, ясноликую Анаиду. Алексей Комнен послал в степи лазутчиков.

Выкуп Анаиды обошелся кесарю недешево — золота дали столько, сколько весила она сама.

— Эх, об этом у меня спросите! Мало ли разъезжал я по басурманским странам? Как вы думаете, кого продают на невольничьих рынках Исфагана, Багдада и Каира? Дочерей и невесток грузин, армян и греков. Что и говорить, наша кровь облагородила этих жалких, узкоглазых, скуластых сельджуков... — простонал Георгий.

В тот день Махара допоздна ловил желтую форель. О свитке он узнал от начальника крепости. С юношеским проворством взбежал он по дворцовой лестнице, в охотничьем наряде ворвался к Георгию. При виде Махары Георгий опять разбушевался, опять потянулся за свитком и стал грозиться:

— Сорву печати!

Протягивая руку к свитку, Мариам мягко предложила брату:

— Подождем денька два, голубчик, а тем временем либо Чкондидели приедет, либо Давид, — вот тогда и распечатаем.

Георгий заметил: Махара тоже не намерен его поддерживать, поэтому он пошел на попятный и пробурчал:

— Убери от меня письмо этого басурмана, вежо, а то я просто задыхаюсь от злости...

— Не тревожьтесь, — сказал Махара, — пойду-ка я поверожу и сейчас же скажу вам, что написано в этом свитке. То ли еще я прочитывал, гадая на песке?!

Махара не вполне был уверен, что на брата его не найдет блажь и он не распечатает свиток. Потому-то он и сдал грамоту на хранение мцигнобари первого визиря, сам же призвал в свои покои куропалатису Мелиту, и они начали ворожить...

Императрица Мариам встала и взяла из алтаря священное писание. Царь с царицей и Мариам что-то задумывали, листали библию и так гадали втроем...

Наконец, когда строка из библии в третий раз совпала с задуманным, Мариам закрыла книгу и, положив на нее свою прекрасную руку, проговорила:

— Да исполнится воля провидения, мои милые. Лулу бен Гайдар в самом скором времени привезет Дедисимеди.

Между тем с сияющими лицами вошли Махара и куропалатиса Мелита.

Махара остановился посреди зала. Воздев правую руку к небу, он торжественно провозгласил:

— С нами бог, я нарочно заставил куропалатису Мелиту присутствовать при гадании. Лулу напал на след Дедисимеди, это как пить дать...

Императрица Мариам, взволнованная, поднялась с места и нетерпеливо, с дрожью в голосе произнесла:

— Ах, где сейчас царь Давид?! Надо как можно скорее написать Джоджики, чтобы он послал Лулу бен Гайдару золото для выкупа.

В ту же ночь весь дворец узнал о доставленном из Иерусалима свитке. Все, от мала до велика, превозносили Лулу. Вдобавок два источника пророчества — ворожили на песке и гадали по библии разные лица, в разных палатах — предсказали одно и то же...

Коль скоро легкое верие мчится на крыльях желания, все были убеждены: Лулу бен Гайдар в ближайшее время привезет дочь Липарита в Начармагеви.

«Да и что иного можно было ожидать от этого удальца, который бежал из Шурицихе от тбилисского амира и в половодье переплыл Куру!»

Так говорили даже те, кто лично не знал Лулу бен Гайдара.

В опочивальне Георгия Чкондидели лежал неприкосновенный свиток, скрывающий в себе какую-то неведомую и не доступную ни для кого тайну.

Во дворце почему-то думали так: вот-вот придет Георгий Чкондидели, сорвет со свитка печати, и в Начармагеви начнется новая эра; затуманенное скорбью чело царя Давида засияет счастьем, и уныние этих последних лет сменится небывалым ликованием.

Императрица Мариам потеряла сон. Подсознательное чувство подсказывало ей: после того как свиток будет распечатан, большой перелом произойдет и в ее жизни.

В субботу она отстояла вечерню в базилике Черной богородицы. Долго молилась она, коленопреклоненная, рядом с женщинами из простонародья, плакала в молитвенном экстазе,

Лбом она касалась сырого кирпичного пола, молила богородицу за многострадальную дочь Орбелиани и за своего обожаемого племянника, единственного потомка рода Багратидов, который не успел еще вкусить услад отрочества и юных лет, как семья и родина взвалили ему на плечи непосильное бремя забот.

Бездушные епископы, бессовестные эриставы силой женили его, отравив существование и ему, и бывшей царице Русудан. А теперь еще новое горе, опять невзгоды и неудачи...

«О гневный бренный мир, и когда перестанешь ты пить кровь Багратидов?»

Где это слыхано, чтобы на трон всехристианнейших царей Картли вступал потомок языческого племени?» — Так причитала про себя Мариам, преклоняла колени, билась лбом о кирпичный пол, молила Черную богородицу, чтобы она распростерла всеблагой свой покров над Начармагевским дворцом.

Вдруг молельщица ощутила прикосновение заботливой руки — это Мелита умоляла ее:

— Августа, полно плакать, встань!

Заплаканную и опечаленную, увела ее куропалатиса из церкви. Они вошли в крепостную ограду и поднялись вверх по лестнице, ведущей к башне Теней.

Долго сидели они вдвоем на окутанном мглою балконе...

Низкое, затянутое тучами небо нависло над Начармагевским дворцом, время от времени над гребнем Кавкасиони вспыхивали молнии. Прорежет молния небо, загрохочет гром, и снова сверкают молнии...

— Как горько ты плакала, обожаемая августа! Твой божественный лик должна озарять улыбка, едва ли эти прекрасные мраморные ланиты предназначены провидением для того, чтобы по ним текли слезы...

— Эх, моя Мелита, — со стоном вырвалось у Мариам, — ни красота, которую ты мне приписываешь, ни блеск Хризотриклинского дворца, ни златотканый далматик не дали мне счастья. Подобно супруге голодного чувячника, всю свою жизнь я вкушала золу вместо хлеба, орошая изголовье свое слезами...

Семья моя разрушилась, Мелита и родину свою я утратила.

Птичница Теона — несчастная женщина, но знай, моя доля и того горше.

Жизнь каждого из нас так же сокрыта за свинцовыми печатями, как и свиток Лулу бен Гайдара...

Над Кавкасиони снова блеснула молния. Мариам недвижно сидела в своем кресле, любуясь едва приметными переливами тонов — лилового, морской волны и малахита — над вершинами Кавкасиони.

Как всякий человек, кто испытал неумную тоску по утраченной родине, Мариам ныне с удвоенной силой, всем своим существом чувствовала красоту своей отчизны.

— Тебе должно быть понятно, Мелита, что сильная любовь, как и сильная ненависть, всегда склонны к преувеличениям. Иногда мне кажется, что это бывает и со мной.

Я объездила и увидела красивейшие страны, но сдается

мне, что вон то место на гребне Кавкасиони, что сейчас выхватила из тьмы молния, вон тот двугорбый ледник—прекраснейшие в целом свете.

Далекий и недосыгаемый, творящий молитву безмолвный волхв, который сам не сознает собственного величия, вздымает он к небосводу свою голову, мечтая проникнуть в тайны небес.

Ты помнишь, Давид говорил: наш ледник — это боевой верблюд господа бога. Присмотрись к нему хорошенько: при вспышке молнии он и впрямь напоминает боевого верблюда!

После короткого молчания Мариам продолжала:

— Вон там, близ той вершины, Давид и Нианя строят крепость для защиты христианства от Гога и Магога.

Ах, если бы и мы с тобой сейчас были там! Я все-таки нет-нет да и подумываю, милая: вот пройдет еще каких-нибудь несколько недель, и мне, верно, уже больше не видать в сумерки родных гор, а когда пробьет мой час, картины эти вспыхнут в моем сознании, как озаренный светом молнии Мкинвари.

Снова и снова сверкали молнии, на черном фоне на мгновение вырисовывались четкие очертания Кавкасиони, и вновь горы погружались во мрак...

— Не печалься, августа, — успокаивала ее Мелита. — Скоро мы, с божьей помощью, вернемся в Константинополь.

В твоём дворце все благополучно — писал же тебе недавно об этом управитель Евдоким?

— Как знать, милая, что нам завтра готовит провидение? И разве нам ведомо, о чем шепчутся демоны в самых мрачных тайниках нашей души?

О, горе людскому разуму, по-кротовьи слепому! Вчерашний день для нас, конечно, столь же темен, как завтрашний, когда исчезнет память о нашем пребывании на земле.

Мы, поистине, всего лишь жалкие кроты, снующие по темному подземелью, а нам-то чудится, будто мы парящие в эфире орлы.

Исчезновение злосчастной Дедисимеди совсем смутило мой дух. Ты ведь помнишь, Мелита, прошлый год в это время, в этот день, в эту самую минуту, Дедисимеди сидела в том кресле рядом с тобой, а вон там — Давид, Нианя и Джонди.

Сколько смеялись мы, как радовались, что находимся вместе, и кто мог представить, какое ждало нас испытание!

И подобно тени, от других теней отделившейся, она покинула нас; ушла безропотно, точно сомнамбула, влекомая сновидениями, и канул в бездну бесценный алмаз, поглощенный морской пучиной...

Вчера вечером Вардиа, главная прислужница Орбелиани, осмелилась сказать мне: «Тебя люди винят в исчезновении Дедисимеди. Я-то, конечно, не верю, но так говорят».

Не важно, выдумала это сама Вардиа или кто другой, — все равно какая-то доля самой неправдоподобной клеветы неминуемо пристает к человеку.

Сама посуди, Мелита, чем я виновата в этой истории? Бог свидетель, единственным моим желанием было во что бы то ни стало погасить извечную вражду Багратидов с Багуаш-Орбелиани и заставить два этих дома породниться.

Ума не приложу, в чем тут моя вина?

Я сажала розы любви, но, видишь, как их заглушил шиповник! Видно, зло так же неистребимо на земле, как и сама жизнь.

Нынешней ночью, Мелита, привиделся мне чудный сон. Будто бы в базилике Черной богородицы мы отслужили молебен в честь приезда Дедисимеди. На царе Давиде были парадные доспехи Багратидов, сбоку висел у него меч с рукоятью в виде креста, которым в день помазания препоясал его эристав Липарит.

Дедисимеди так красили кизилового цвета кабача и усыпанные алмазами черевички, которые я ей привезла из Константинополя. Птичница Теона, припав к ее ногам, целовала черевички. До того она была прекрасна, и описать не могу!

На клиросе пели монахини:

Богородицу, прекрасную лилию,
Воспевает ангел крылатый...

Дедисимеди плакала от радости, из глаз ее катились жемчужины. Все мы были так счастливы!..

Но разбудил меня истошный крик одинокого павлина. Потому-то я и пошла сегодня во дворцовую церковь к черне.

— Какой дивный сон, августа! Дай бог, чтоб сбылся он наяву! — сказала Мелита. — Не тревожься, базилиса, провидение дважды явило нам свой знак.

Я уверена, что предсказание Махары непременно исполнится. Да притом, ты же сама убедилась... Трижды подтвер-

дила библия загаданное... Вот увидишь, базилиса, не сегодня-завтра царь Давид распечатает свиток, и господь ниспешлет радость дому Багратидов.

Императрица Мариам промолчала, а Мелита грустно добавила:

— Уму непостижимо, как у этого Искарриота — амира Липарита и этой ехидны Каты мог родиться этакий ангел?!

— Э-э, милая, кто проникнет в тайны провидения и кто разгадает, почему на унавоженной земле вырастает ирис и отчего покрывается столь прекрасными цветами чертова плеть — шиповник? — промолвила Мариам, поднимаясь с кресла...

* * *

Прошла неделя. Нетерпение снесало Махару.

Он уже во всеуслышание высмеивал «этого копушу», главного зодчего Шарванисдзе, который до сих пор не достроил крепость Давида.

Гадание на песке было, по опыту Махары, безошибочным источником прорицания, поэтому он был твердо уверен: прочитав письмо Лулу, доньине столь удрученный царь Давид вновь обретет былую жизнерадостность.

Тем временем Начармагеву посетил ловчий Бешкена Джакели. Привез он царю Давиду в дар от эристава десять белых ястребов, столько же — сероголовых, еще пять — цвета скал и одного красноглазого ястреба-перепелятника, очень редкий экземпляр своей породы. Ловчий Бешкена пояснил: этот красноглазый тринадцать раз менял оперение.

Махара и сокольник Звонила были на седьмом небе.

И другую радость припас Махара к приезду племянника из Дарьяла. Укротитель зверей Глонисдзе в камышах близ Мухрани для пробы натравил иранских гепардов и барсов на косуль, и результаты превзошли все его ожидания.

Столько приятных новостей было припасено для царя в Начармагеву, а сам Давид, страстный охотник, все не ехал!

* * *

Субботним вечером опальные епископы Голготели и Некресели допоздна засиделись у царя Георгия. Царю слегка

нездоровилось, поэтому он велел поставить серебряный столик у себя в опочивальне.

Поведал им царь Георгий о привезенном монахом Иоанном свитке, не утаил от них также истории ворожбы на песке и гадания по библии.

Оба епископа были уверены, что все обойдется благополучно. Голготели был лично знаком с вартапетом Гайком. Несмотря на то, что по своей глупости и ограниченности Голготели только и делал, что издевался над армянами, а армянскую церковь называл «пристанищем еретиков», он принялся хвалить вартапета Гайка и, подвыпив, рассказал еще вот что:

— Вартапет Гайк — истинный христианин. Он и отец его, армянский католикос, в свое время, облачившись в кольчуги, с мечами в руках сражались против амира сельджуков Наджм Эддина иль-Гази, когда тот напал на Ани.

Некресели Гайка не знал. Он тоже недолюбливал «еретиков-армян», но его грузное тело, разомлевшее от вина и шипящих шашлыков, настолько его тяготило, что он всячески избегал двух занятий, а именно: раздумий и разговоров, столь сильно отличающих человека от животного, потому-то он молчал и ел...

Пока царь Георгий беседовал с Голготели, он усердно поглощал желтую форель и поминутно оглядывался на стоящего позади него виночерпия, чтобы тот почаще наполнял его золоченую чашу.

Царь Георгий подивился: тот же самый Голготели, который постоянно брюзжал, когда предполагалось породниться с Липаритом, сейчас вдруг разволновался.

— Интересно, когда же придет Чкондидели и распечатает свиток?

Под конец царь Георгий понял: Голготели вовсе не улыбалось, чтобы дочь половецкого хана «басурмана» стала грузинской царицей.

Вокруг серебряного столика об этом столько было говорено, что окончательно захмелевший Некресели заснул, и местумретухуцеси с тремя привратниками еле-еле выволокли из опочивальни раздутую, как бурдюк, тушу.

* * *

Поздней ночью царь Георгий, сам тоже под хмельком, проснулся от лая волкодавов, тихого пересвиста стражников, беготни и суетни факельщиков.

Неодетый, он выскочил в коридор, где, как неприкаянный, слонялся главный факельщик, и довольно грубо спросил его:

— В чем дело, что случилось, Сабия?

Сабия не замедлил с ответом:

— Пожаловали Георгий Чкондидели и эристав Джонди.

Обратно вернулся в свою опочивальню Георгий, зарылся головой в подушки, дожидаясь, пока утихнет поднявшийся во дворце гвалт.

Хотя от мухранского вина он совсем размяк, но все же усердно гнал от себя дремоту. Он так полагал: владыка Георгий войдет в свою опочивальню, снимет с себя панцирь, вымоет ноги, затем мцигнобари доложит ему о полученном из Дамаска свитке.

С присущей ему степенностью и невозмутимостью возьмет он в руки свиток, тщательно оглядит со всех сторон и сорвет свинцовые печати.

Близко-близко поднесет к глазам, прочтет раза два, потом опять облачится в свою линиялую монашескую рясу, неторопливым шагом направится ко мне, придет и доложит.

Георгий беспокожно ворочался на пуховой перине. Никто не шел. Он напрягал слух, однако не слышно было ни осторожных шагов факельщиков и привратников, ни шарканья мягких чувак из заячьей кожи.

Вообще Георгий был по натуре человеком с выдержкой, потому-то он терпеливо и переносил невзгоды этого бренного мира, но на сей раз он, против обыкновения, разволновался. От гнева хмель как рукой сняло, и почему-то в эту минуту его взяло зло.

Зачем послушался он цариц и сам не распечатал письмо от Лулу?

Будь сейчас свиток у него под рукой, он бы встал и непременно сорвал все три печати!

Георгий досадовал еще вот почему: что подумает монах Иоанн, когда царь абхазов и картвелов, себастос Георгий, герой Парцхиси, показавший всему христианскому миру образцы невиданной отваги в пору великого сельджукского нашествия (когда турки впервые прозвали греков «зайцями»), не осмелился распечатать свиток, присланный на имя Каримана Сетиели!

В душе Георгий подтрунивал над беспокойным нравом своего сына Давида, проклинал его «сумасбродных спасаларов» и особенно этого «старикашку владыку Георгия».

который с юношеским пылом переметнулся на сторону этих «безумцев», и они «вверх дном перевернули все Грузинское царство».

Ему уже надоело ждать, и теперь нахлынули на него думы. Вспомнилась беседа с Голготели.

Царь Георгий хорошо видел: не один Голготели, — и другие опальные епископы и старые эриставы после ссылки Липарита в Константинополь запели на иной лад.

Почувствовав, что с наказанием амира Липарита и заточением в темницу кахетинского царя Ахсартана опасность насильственного обращения в мусульманство миновала, высшее духовенство стало терзаться раскаянием, почему оно в свое время не содействовало возведению на трон дочери Багуаш-Орбелиани.

Была и другая причина для раскаяния: как духовенство, так и старые эриставы теперь уже на дыбы вставали при одной мысли о том, что Давид может породниться с Шараганом Шарагановичем и, что самое главное, семя «нехристей»-половцев попадет в Картли.

В те самые дни в Начармагеви воротился осетин-табунщик Чахилисдзе, которого посылали в Шараган закупать половецких лошадей.

Чахилисдзе провел купленный табун землями касогов и джиков. Невзирая на то, что его сопровождало более сотни втайне вооруженных воинов, по дороге на них нападали разбойники-касоги и отняли чуть ли не половину купленных лошадей.

Тотчас же по приезде прислужницы, птичницы и прачки стали приставать к Чахилисдзе с расспросами о будущей царице.

— Какова из себя дочь Шарагановича?

Чахилисдзе вначале отмалчивался, но прислужница надоедала ему до тех пор, пока осетин-табунщик не шепнул ей:

— Ни с кожи, ни с рожи, голубушка.

Этот шепот вскоре донесся до слуха табунщиков, погонщиков мулов, хлебопеков, оросителей, огородников и стольников. Потом шепот этот подслушали главный табунщик, начальник над слугами, главный стольник.

Шепот, подобно юркой ящерице, взобрался по ступенькам дворцовой лестницы, монахи-постельники доложили о нем постельничему, факельщики — главному факельщику, и под конец шепот этот взбудоражил обеих цариц!..

Как правило, к «слышанному своими ушами» рассказы приоблажали собственные домыслы... Прислужницы, как юродивые, станут, бывало, в воинственную позу перед пекарями и, потрясая кулаками, бранятся басовитым голосом:

— Нашего-то ангела до бегства довели и невесть куда упрятали, а теперь собираются посадить на трон образину половчанку?!

Непрочитанная грамота от Лулу и исход двоякого гадания тоже не укрылись от простонародья, снующего по заднему двору. Запечатанный свиток был сочтен за уже прочитанный. Все, от мала до велика, требовали немедленно послать золотые ботинаты и дирхемы для выкупа Дедисимеди.

Народ в одном похож на дитя: всегда ему не терпится поскорей получить то, о чем он мечтает.

Постельничие монахи известили обо всем епископов и эриставов: мирной жизни во дворце пришел конец.

Как?!

Привезти царю в жены дочь половецкого хана — басурманку, да вдобавок образину?!

До глубины души возмутила эта новость императрицу Мариам. Она все еще не отказалась от своего утверждения, что лишь в прекрасном теле обитает прекрасная душа.

Когда же главная прислужница Вардиан почтительно напомнила ей о недосягаемой душевной красоте бывшей царицы Русудан, Мариам оправдывалась так:

— В жилах Русудан течет кровь древнейших армянских царей — не надо забывать, что они тоже Багратиды.

Теперь подняли голос эриставы и епископы, в свое время почитавшие вздорной затею этого «сумасбродного» епископа Цилканского — привозить царю невесту из земли половецкой...

Все они были убеждены, что родство с половецким ханом повлечет за собой заселение Внутренней Картли двумястами с лишним тысяч «нехристей»-половцев.

Как в камышах с приближением подкрадывающегося льва малейший шелест переходит в шорох, так и в сознании легковверных шепот осетина-табунщика белкой прошмыгнул в Начармагевский дворец, а оттуда разнесся по всей Грузии, точно грозный набат на колокольне Родины и Веры.

Только Георгий Чкондидели, католикос Картли — Иоанн, Арсен Икалтоели и Кирион Манглели упорно молчали. Разумеется, и в их сердцах бушевало пламя ненависти к ино-

верцам, но они самообладания не теряли, догадываясь, каким огнем пылала душа царя Давида. На их глазах Давид сознательно оттолкнул свою желанную и низвергнул ее в бездну.

Они видели, что царь Давид смирился со своей участью, ибо сам он, бывало, говорил:

«Земля и бог в одном схожи друг с другом: они властно гребуют от тебя крови сердца, вплоть до последней любви и последнего вздоха».

Именно поэтому они волей-неволей соглашались с Давидом: каждый человек рождается без веры, и крещение всех нас приобщает к воинству христову.

Поначалу Махара держался в стороне, довольно равнодушно относясь к вопросам веры (ему, правда, нравился обрядовый ритуал христианской церкви, возгласы архипастырей в златотканых омофорах и патетические песнопения на клиросе), но весть, принесенная осетином-табунщиком, даже его встревожила.

Махара полагал так: красота для женщины столь же необходимая добродетель, как для мужчины — храбрость.

За последние дни он осознал, сколь глубокие корни пустила в его сердце любовь к Дедисимеди.

...Чаще стали перекликаться петухи, раза два до притаившейся во тьме крепости-дворца долетел тоскливый крик одинокого павлина, потом все смолкло...

Беспокойно ворочался на ложе царь Георгий, он усердно смыкал веки, но сон все не шел к нему. Георгий уже мечтал: хоть бы зашел кто-нибудь. Вдруг за дверьми послышался легкий шорох.

— Кто там? — окликнул Георгий из-за плотно притворенных дверей.

Шаги посетителя показались ему незнакомыми. На царицыны они похожи не были.

— Махо, вели зажечь свечи!

До прихода Сабии присевший у изголовья спросил у лежащего:

— Не приходил ли Чкондидели?

— Нет, — прозвучало в ответ.

— Быть может, занемог в дороге владыка Георгий, потому и лег сразу в постель.

Немного помолчав, царь сказал:

— Да, но почему же не пришел ко мне этот чудак?

Джонди?.. Любопытно, распечатал Чкондидели свиток или нет, как по-твоему, вежо, а?

— Уже очень поздно, верно, не посмели тебя тревожить, — успокаивал Махара разбушевавшегося царя.

Оба собеседника едва удерживали слова, готовые сорваться с уст, но мысли обоих вертелись вокруг свитка за свинцовыми печатями.

За дверьми снова раздались шаги.

Георгий обрадовался. Это, видно, Чкондидели пришел извиниться за опоздание. Но нет — на цыпочках вошли обе царицы в накинутых на плечи ночных туниках и присели у его изголовья.

* * *

Вчетвером они нетерпеливо ждали рассвета...

Каждый человек склонен из вероятного и возможного выбирать угодное. Особенно часто это бывает с ханжами и легковверными людьми, ибо им кажется, что божество и провидение пекутся о благе человека, даже когда он сладко спит.

Ни царь Георгий, ни обе царицы уже не скрывали доселе затаенной радости: ведь не только грузинская православная церковь, — все царство избегло опасности, а именно — заселения Картли нечестивыми половцами.

Все трое наивно верили, что от иноверца дурно пахнет. Ослепленные ханжеством, они уже заранее представляли себе, какое адское «зловоние» распространится по Внутренней Картли, когда эти «расплодившиеся, точно крысы», половцы со своими женами и детьми, отроду не мытыми отарами наводнят райские кущи, раскинувшиеся между Нарчармагеви и Мухрани.

Они были убеждены: как только царю Давиду удастся выкупить Дедисмеди, он тотчас же откажется породниться с Шараганом Шарагановичем.

Даже императрица Мариам, которая недолюбливала споры и пустую болтовню, столь распространенные в тогдашнем христианском мире, и та сказала свое слово, еще раз напомнив о бывших мужьях своих: Михаиле Дука и Никифоре Ботаниате. Да и разве им одним портили кровь туркоманы и наемное половецкое войско?

— Кто сочтет, милые, сколько бед обрушилось по милости половцев на несчастного Алексея Комнена. Когда им-

ператорская казна опустела, Алексей Комнен раздал половецким вожакам огромное количество золота и серебра из сокровищниц константинопольских церквей и монастырей.

Несметные богатства, завоеванные кесарями Константином Великим, Василием Болгаробойцей, Исааком Комненом, Романом Диогеном и Алексеем Комненом ценою крови на полях сражения Азии и Европы, без боя и без кровопролития прикарманили эти разбойники половцы.

От опытных охотников я слыхала, что почти каждый зверь наедается до отвала: на что уж прожорлив лев, — и тот, стоит ему наестся, перестает терзать свою жертву, но шакалы — те никогда не бывают сыты.

Они набрасываются на труп убитого молнией льва, дочиста обглаживают кости, но после этого, набреди они на амбар, не погнушаются охотиться за крысами.

В молодости мне рассказывали: мешками вывозили половецкие вожаки из Константинополя золото и серебро, однако проходило каких-нибудь несколько месяцев, и снова засылали они посредников в стольный град.

Опять кесарь Алексей посылал с логофетом казначеев мешки, набитые золотом и серебром, и на короткое время покупал себе спокойствие.

Беда человечества в том, мои милые, что варваров на этой земле больше, и они сильнее просвещенных и христианских народов.

Написано ведь, что Свет поборет Тьму, но, увы, это пока лишь мечта. Я так полагаю своим женским умом, остальное же, верно, лучше ведомо богу.

* * *

Все никак не занималась заря, хотя четверо столь пламенно жаждали наступления рассвета и новостей из распечатанного свитка.

Царь Георгий облокотился на подушку.

Снова спящий дворец наполнился звуками. Залаляли волкодавы, послышался тихий свист стражи. Пронзительный лязг обшитых железом дверей, цокот копыт, затем топот, фыркание и наконец неистовое ржание жеребцов и кобылиц прорезали ночь, что покоилась под сводами крепости-дворца, ночь бесконечно долгую, как ожидание роковой вести...

— Что за тревожная ночь! — произнес Георгий.

— Кто знает, быть может, это приехали Давид и Нианна! — сказал Махара, направляясь к закрытой двери.

Услышав эти слова, императрица Мариам взволновалась — упоминание имени Ниании стрелою пронзило ее сердце. Она первым делом вспомнила, что не одета. Как бы Нианна не застал ее врасплох!

Только она успела подумать: «Пойду к себе в опочивальню и переоденусь», как Махара остановил ее в дверях и недовольно пробурчал:

— Эристав Шаман, Гванца и десять такверских азнауров пожаловали с богатыми дарами.

При имени Гванцы Мариам невольно вздрогнула и, нагнувшись к Елене, прошептала ей на ухо:

— Как же так? Говорили ведь, Гванца замуж вышла?

Отняв руку от щеки, Елена положила ее на колено и, вздыхая, грустно сказала:

— Эх, я уже и запуталась, августа, эти смутные времена сбили с толку даже женщин. Недаром ведь у грузинских крестьян говорится: «Коли уж бабе что в голову втемяшится, ее и девятью упряжками быков не удержишь».

Вардиа, главная прислужница Орбелиани, говорила мне: прослышав, что Давид берет в жены Шарагановну, покорила своему отцу Гванца и согласилась выйти замуж за единственного сына аргветского эристава.

В день помолвки аргветский эристав затеял пир горой. Едва завечерело, Гванца заявила, что ей нездоровится, подружки увели невесту в опочивальню. Только ее и видели — по веревке спустилась она с утеса, на котором возвышается замок...

Мариам в ужасе шлепнула себя по щеке и не вымолвила ни слова.

К изнуренному бессонницей Георгию подкрадывалась дремота. Сон мало-помалу плел на его веках свой силок. Едва слышались шаги скопца, дрему как рукой сняло.

— Ну, что разузнал, Махо?

— Да ни шиша не узнал. Не успел дойти до опочивальни Чкондидели, как преградил мне путь привратник Алекса и проворчал:

— Почивает первый визирь...

Чкондидели же, усадив рядом с собой мцигнобари, временами что-то ему бубнил, а сам писал.

Долго стоял я, никем не замеченный, и напоследок ти-

хонько кашлянул. Приподняв голову, первый визирь вскинул лохматые брови.

«Что тебе понадобилось, Махо?»

Спросил он, конечно, для отвода глаз, а сам небось без слов догадался, зачем я пришел. Чкондидели прикрыл свиток своими длинными пальцами.

До приезда царя Давида он, мол, даже себе не позволит ознакомиться с содержанием этой грамоты.

Потом сказал так:

— Разве дело только в том, чтобы не разгласить тайну? Если в письме говорится о чем-нибудь дурном, не хочется быть вестником зла, если же о чем-либо радостном, так пусть царь Давид первым порадуетя, правда? Что скажешь, Махо, а?

Что мне оставалось сказать?

— Правда, говорю, владыка Георгий, — закончил безбородый.

Царь Георгий насупился было, но и его обезоружила правда Чкондидели. Отвернувшись к стене, он пробурчал:

— Эх, пропади все пропадом! Как хотят, так пусть и правят страной. К послезавтрашнему дню, Махо, рыбаки чтоб были у тебя наготове.

* * *

На другой день, в среду, Чкондидели восседал на «царском крыльце». Мцигнобари он усадил рядом с собой. Дворцовый дьяк сновал между «царским крыльцом» и толпившимся во дворе народом.

Во дворе собрались изувеченные в сражениях, притесняемые великими азнаурами и церковниками вдовы и сироты погибших на войне, неимущие и убогие, прибывшие из Абхазии, Кларджети, Картли, Ках-Эрети, Нагорного Кавказииони.

Больно сжималось сердце у Чкондидели при виде жертв лихолетья — подавленных, искалеченных, голодных и изуренных людей, доведенных страданиями до безумия.

Одни громко галдели, кляня день своего рождения, другие, укрывшись под сенью вековых деревьев, сидели безмолвно, безропотно или же негромко беседовали.

Бесноватые вопили, грозились, бранились, проклинали день, когда явились на свет.

Этот люд обыкновенно обступал молчаливого Чкондиде-

ли, как будто ему было под силу в один прекрасный день исцелить все раны народные, доставшиеся в наследие от великого сельджукского нашествия, землетрясений, засухи.

Среди бесноватых были и такие, что нарочно прикидывались безумцами, дабы вызвать сострадание властей.

Чкондидели не уставал выслушивать тех, кто терпел вероломство судьбы. Они были бессильны выразить словами свои муки, едва-едва лепетали, приходилось просто клещами вытягивать из них каждое слово...

Согбенные страданиями люди жаловались гораздо меньше, чем можно было ожидать, судя по выражению их лиц и одежде.

Каждый из них называл себя не «я», а «мы», ибо считал себя лишь представителем своего рода или семьи.

Чкондидели охотно выслушивал тех, кто никогда не ставил государству в укор своего самопожертвования и полученных из-за него ран. Они всегда винули в том несчастный случай или коварную судьбу.

Такие люди говорили: «Невзгоды привели нас к «царскому крыльцу». Когда б уцелела наша правая рука, уж мы не стали бы протягивать ее за подаванием».

Привратник Басила ввел сгорбленного великана, опирающегося на две клюки. Когда он поднял взгляд на первого визиря, Чкондидели содрогнулся.

У него не было носа!

Чкондидели, поднявшись с места, спросил:

— Что случилось с тобой, сынок?

— Палицей мне перебили позвоночник.

— А с носом что случилось?

Вот что случилось с ним под крепостью Хорнабуджи, когда царь Давид обратил амира в бегство:

— Я рассек мечом конного турка и задумал завладеть его скакуном, но только было я дотянулся до уздечки, как лошадь откусила мне нос.

(Чкондидели уже краем уха слышал эту историю от эристава Джонди.)

Спросил у безносого, как его зовут.

— Зовут меня Длинным Михо, — отвечал сгорбленный богатырь.

Длинного Михо отослали к казначею.

Теперь другой привратник — Алекса пустил пригожего молодца, который передвигался на колесиках.

— Из какого ты рода? — спросил безносого Чкондидели.

— Мы-то? Из рода Гагнисдзе, отец наш.

— Где тебя изувечили?

— Под Зедазени, — грустно отозвался калека.

Бедняга оказался зайкой. Защемило сердце у Чкондидели, когда он внимал беспомощному бормотанию несчастного.

Привратник Алекса тоже сопровождал царя Давида в битве при Зедазени.

И рассказал Алекса о подвиге Гагнисдзе так: занес он меч над конным сельджуком в кольчуге и рассек его надвое до самого седла.

Тут семеро накинулись на него одного, нанесли ему пять ран, но еще троих герой успел зарубить своим мечом.

Заметив, что к нему мчатся новые всадники, Гагнисдзе оставил поле боя и повернул коня в лес. Разорвав на себе рубаху, перевязал ею раны. Только было он занес ногу в стремя, как из засады высыпали турки и отрубили ему мечом ногу по колено.

Турки столпились над поверженным воином. И сказал, оказывается, один из них:

«Не станем его убивать, отсечем и другую ногу, а то, пожалуй, правой ноге одной скучно будет».

Несчастный пролежал на опушке леса, покуда не набрели на него крестьяне из Мамкоди.

Чкондидели заметил: когда Алекса рассказывал эту историю, Гагнисдзе то и дело бледнел, как бы заново переживая былые страдания.

Привратники ввели семерых калек. У кого был выжжен один глаз, у кого — оба. Лазутчикам, засланным в Зедазенскую крепость, турки выкололи глаза. Когда царь Давид взял крепость, целую неделю они прятались в подземелье, ибо не знали, кто овладел крепостью.

Дотемна выслушивал Чкондидели жалобы изувеченных на войне, притесняемых, неимущих и убогих, а дворцовый дьяк отводил их к казначею.

Такая бездна горя хлынула в душу Чкондидели, что ему казалось: сердце разорвется и он так и останется бездыханным в кресле.

* * *

Уже спускалась ночь, когда Сабия и Алекса отвели первого визира в опочивальню. Долго лежал он и думал:

«Как помочь всем этим несчастным людям?..»

Он не мог ни спать, ни молиться, ни читать. Голова болела, глаза горели.

Местумретухуцеси дважды подходил к дверям. Напоминал об обеде, но Чкондидели не отзывался. Когда он явился в третий раз и сказал, что Беса, молочный брат владыки, и иеромонах из базилики Черной богородицы — Еквтиме дожидаются в столовой палате, Чкондидели безмолвно встал и вышел вслед за местумретухуцеси.

Беса привез своему молочному брату скромные гостинцы: пироги, начиненные фасолью, поджаренную на глиняной сковороде форель. Все это было обернуто дубовыми листьями.

Затем Беса выложил из своей котомки печеные яйца, приготовленные по-колхидски, вяленый сыр и немного пшеничной кутьи.

При виде Беса Чкондидели оживился. Он расспрашивал молочного брата, как поживают его дети, внуки, вспомнил даже о туренке, которого Беса сам поймал и вырастил.

У Беса заблестели глаза, когда первый визирь осведомился даже о его любимце-туренке...

— Если ты его увидишь, со смеху будешь покатываться. Как он резвится среди своих сверстников-козлят! Подбежит к мамаше козе — сам-то он выше всех козлят! — станет на колени и теребит вымя.

Лицо Чкондидели светилось удивительно мягкой, доброй улыбкой.

Беса не мог нахвалиться на своего питомца. Туренок необычайно приятно пахнет, а какие глаза у него! — кроткие, невинные, вовсе не похожи на лучистые, озорные глаза козочек.

Ложится и встает он вместе с детворой. Маленький тур не дичится даже наших собак, да и собаки на него не грызаются.

— Этот туренок словно родной нам стал, — продолжал Беса. — Стоит ему куда-нибудь запропасться, мы с ребятами прямо места себе не находим. В своей приемной матери козе он души не чает... Совсем позабыл и свою родную матушку, и приволье горной Сванети, и вкус кислых вод...

— Где ты наловил этих форелей? — поинтересовался Чкондидели.

— В Цачкуре, — ответил Беса.

Затем первый визирь спросил о своей вотчине Диди-Чкони, под гостеприимным кровом которого вкушали хлеб-соль Баграт III, Баграт IV и оба последних Георгия.

— Процветает Диди-Чкони, устоял могучий дуб перед бурей изменчивых времен.

— Есть ли у тебя в нынешнем году домашние фазаны?

— Этой весной четырнадцать яиц притащили из лесу дети. Курица их высидела, и фазанята вместе с цыплятами бегают за наседкой.

— А вы не режете их, когда они подрастут?

— Мы ведь не так богаты, как цари, чтобы зря кормить фазанов и даже не отведать их мяса.

— А есть ли у тебя в этом году козы?

Их у Беса оказалось голов сорок.

— Козье молоко полезно, — машинально сказал Чкондидели, вспомнив при этом маленькую пеструю чашечку, из которой поила его козьем молоком мать... При воспоминании о матери старик ощутил какую-то шемящую боль.

Беса сказал: «Козье молоко очень полезно детям. Ни человека, ни лошадь, вскормленных козьем молоком, пот не прошибет».

Некоторое время Чкондидели молча ел форель, счищая с нее чешую.

— Что ты делаешь, Георгий?

— Знаешь, Беса, раз в детстве я видел, как форель застряла в глотке у змеи. С тех пор я всегда соскабливаю чешую.

— А ты разве боишься змей?

— Очень.

— Турок не боишься, а змей боишься?

— Я никого не боюсь, кроме бога, — спокойно и твердо ответил Чкондидели.

Чкондидели улыбнулся и помолчал. Соскоблив чешую еще с одной форели, он спросил своего молочного брата:

— На том месте, где прежде стоял дом моего отца, росла яблоня, такая же старая, как я. Вокруг нее обвилась виноградная лоза, толщиной в бычью шею. Живо ли еще то дерево?

— Яблоня давно высохла, — огорченно отозвался Беса, — а в этом году еще молния в нее ударила. Наши соседи бедняки ее срубили, и их дети отогрели у огня свои озябшие руки.

— А что случилось с лозой?

— Лозу тоже срубили, ибо от старости она перестала плодоносить, — печально ответил Беса.

— Да, все, что становится бесплодным, следует предавать огню, — промолвил первый визирь.

Мила была сердцу Чкондидели эта незатейливая беседа о мелочах жизни. Он немного помолчал. Воспоминания уносили его усталый ум в блаженный элизиум отроческих лет, когда с глаз человека еще не спала пелена и он пока ничего не подозревает о тех тяготах, имя которым борьба за существование.

Местумретухуцеси застыл у дверей. Чкондидели хотелось еще поговорить с молочным братом, чтоб рассеять тяжелые дневные впечатления, но при виде местумретухуцеси он вспомнил свое же приказание: если приедут строители из эриставств, где бы он ни был, непременно об этом ему сообщить.

В дверях он спросил у местумретухуцеси:

— Не приезжал ли кто-нибудь, Ангиа?

Сероглазый верзила, нагнувшись, доложил:

— Как же, приехали, владыка, нагрянули к тебе самое малое человек десять—двенадцать.

Чкондидели прошел в зал Совета. В проходах при его появлении люди обнажали головы, провожали любящими глазами, молча шли следом. У дверей он заметил главного табунщика, тот казался встревоженным.

— Чем ты так огорчен, Шио?

И всегда-то Шио был косноязычным, а тут, сорвав с головы шапку, в порыве искренней и преданной любви приложился к руке старца и, поминутно заикаясь, жалобно залепетал:

— В конюшне от ядовитой травы пал целый табун мулов. — Шио держал в руке охапку травы, похожей на клевер. — Вот она, окаянная, владыка!

Чкондидели взял у него траву, поднес к глазам, понюхал и вернул Шио назад.

— Где же набрали мулы на эту траву?

— Пониже Сацхениси есть луг. Он, окаянный, порос камышом, в прошлом году камыш крестьяне скосили, и возшла вот эта мерзкая трава. Говорил я табунщику Гиголе: не гоняй в камыши мулов, — так нет же...

Чкондидели уже сидел в зале Совета. Он слегка сутулился, лицо у него было усталое... Табунщик все не унимался: ему сообщили о новых напастях.

В горах Арсиани сап скосил двести кобылиц. В окрестностях Ркинис Пало, возле византийской границы, появились туркские разбойники, убили троих табунщиков, угнали пятьдесят верховых лошадей и шестьдесят чистокровных жеребцов.

Шио велел пересчитать табуны, спустившиеся с Девабоинских гор. Жаловался ему огорченный табунщик, что на них напала волчья стая, больше сотни кобыл растерзали хищники. Пастухи стойко от них отбивались, не то весь табун перепортили бы, гады.

Теперь к первому визирю подошли главный зодчий и его помощник. Отвесили ему поклон, приложились к руке, отступили на почтительное расстояние и доложили:

— Землетрясение, которое произошло в конце апреля, нанесло тяжелые повреждения Цагвлиставскому дворцу. Одна башня совсем рухнула, колокольня дворцовой церкви обрушилась, и звонарь погиб под грудой развалин.

Не лучше обстоит дело с замками Бочорма и Наохари. Южная стена Бочормского дворца в трех местах дала трещины, с одной стороны осел фундамент.

В Наохари полностью разрушились службы, в Хварамзе Чорох унес два мостовых быка.

Мцигнобари ввел начальников крепостей... Они также просили срочной помощи, строительных материалов, денежных средств и рабочих рук.

Надо сейчас же восстановить крепости Квелисцихе, Калмахисцихе, Окросцихе, Сакартлисцихе и Дедацихе. В тщательном обновлении нуждаются также Лаквати, Джвари, Уджарма, Панаскерти, Панакари и Торгва.

Другие посланцы просили о починке дорог: потоками размыло большую дорогу — Гурджибогаз, ведущую из Ахалцихе в Арзум. Обвалами и дождями попортило проселки в Чрдилис-Хеви, Кимеретис-Хеви и Черет-Хеви.

Мцигнобари записывал распоряжения Чкондидели, которые рассылались от имени царя Давида.

Чуть ли не каждому первый визирь вновь и вновь повторял:

— В нынешнем году все наше внимание и средства отданы восстановлению разрушенных крепостей в Ках-Эрети. Царь Давид самолично руководил работами.

Разъезжая по тем краям в трудных условиях, государь три раза простудился, но с божьей помощью все обошлось благополучно. Вина за проволочки в делах ложится на ме-

ня. Перед отъездом в Дарьяльское ущелье государь повелел мне и эриставу Джонди присмотреть за ходом восстановительных работ, но я в Манглиси прихворнул, поэтому нужные меры своевременно не были приняты.

* * *

В опочивальне Чкондидели Сабия уже зажег свечи, когда мцигнобари проводил туда старца...

Только было собрался Чкондидели помолиться на ночь, — ему, усталому, не терпелось поскорей добраться до постели, — как в это самое время опять просунулась в палату голова местумретухуцеси Ангии.

— Католикос Картли Иоанн и епископ дирбский Максим пожаловали, владыка.

На сей раз Чкондидели не обрадовался их приходу.

Накануне своего отъезда в Дарьяльское ущелье царь Давид отдал приказ: ни в коем случае не давать согласия на отправку церковных сборов в иерусалимские грузинские монастыри.

Из его повеления вытекало: не говорить ни решительного «да», ни бесповоротного «нет».

Чкондидели очутился в неловком положении... Его мнение на этот счет склонялось скорее в сторону католикоса, однако царю он в этом не смел признаться.

Царь Давид на сей раз даже Чкондидели не поведал о своих истинных побуждениях. Ведь в конце концов дело было не только в бездорожье.

Средства, предназначенные для иерусалимских грузинских монастырей, в то время расходовались преимущественно на восстановление крепостей и создание постоянного войска.

Треть их, по повелению Давида, шла в казну «царского крыльца», ибо царь хорошо видел: народ еще не залечил свои раны и не возместил ущерба, нанесенного ему войнами с сельджуками.

В данном случае еще одно обстоятельство мешало отослать в Иерусалим церковные сборы...

* * *

В век, следующий за первым тысячелетием эры христианства, как в христианском мире, так и в странах ислама

завелся червь религиозного сомнения. В оба мира, находившиеся под влиянием арабских и древнегреческих философов, начал проникать скептицизм.

Он проник не только в Италию и Византию, во дворцы Константинополя и Палермо, но и в мусульманские султанаты, в виде движения асаинов-исмаилитов.

Асаины убивали не одних султанов и амиров, — врывались они и в мечети к ходжам и муллам...

При дворах христианских императоров и царей читали Аристотеля, Аверроэса и Авиценну.

Идеи, точно эпидемии, переносятся по воздуху, и это случалось даже в ту эпоху, когда не было еще радио и реактивных самолетов, по дорогам мира передвигались медлительные караваны, запряженные четверкой колымаги и паланкины.

Философски глубокообразованный и начитанный Давид сомневался во многих религиозных догмах, но вслух этого не высказывал. Он и тут все подчинял интересам государства и страны.

Епископы и братья из князей, ввавшие в немилость после Руис-Урбнисского собора, исподтишка усердно язвили на его счет, упорно и всем скопом зубоскалили не только о царе, но и его ближайших друзьях: Махаре и Ниани Бакуриани, царских спасаларах и самом Георгии Чкондидели.

Теперь архипастырям подвернулся новый повод для зубоскальства: средства, предназначенные для грузинских монастырей в Иерусалиме, которые должны бы пойти на нужды настоятелей, иноков и иеромонахов, царь Давид скармливает на лошадей и мулов.

Епископ дирбский Максим, после Руис-Урбнисского собора получивший повышение, с юных лет сам действовал наперекор лиходеям, однако же, заняв епископскую кафедру, возгордился и стал ханжой.

Мало того: Максим в точности перенял все нравы и обычаи лиходеев. На свою епархию он смотрел как на вотчину, ниспосланную ему «божьей милостью».

Прекрасный пол он соблазнял своим мужественным видом, громоподобным голосом, иссиня-черными, как дикая слива, кудрявыми волосами и бородой, а самое главное — велеречивостью.

Отлично владея греческим языком, он точно усвоил ложный пафос византийских риторов, не понимавших, что

высокопарное кривляние способно привлечь разве только невежд, ибо пафос, стоит ему перейти за грань естественности, неизбежно утрачивает силу воздействия.

Когда епископ Максим, разъезжая по своей епархии, гостил у престарелых эриставов, он беззастенчиво волочился за их молоденькими женами.

Злые языки также утверждали: игуменя мцхетского женского монастыря, бывшая жена великого азнаура Квабулидзе, — наложница Максима Дирбели.

Во всяком случае было известно: едва лишь он попадал во Мцхета, как заболел «горячкой», по нескольку ночей проводил в женском монастыре.

Прекрасная Анастасия сама ходила за «прикованным к постели», делала примочки, по ночам неотлучно находилась при больном, потчевала собственноручно поджаренной лососяной не в меру страстного охотника до баб и рыбы.

Поэтому народная молва окрестила Максима «похотливым епископом».

И этот самый «похотливый епископ» по-бабьи злословил в своем кругу: царь Давид, мол, сослал клдекарского эристава в Византию, а дочь его, утолив свое вожделение, приказал Кариману Сетиели куда-то упрятать.

Теперь царь увивается за Гванцей, дочерью эристава Шамана.

Кариману Сетиели были ведомы происки Максима, и он хотел было вывести епископа на чистую воду, но царь Давид сказал:

«Камень, брошенный в правого и безмолвного, воротится назад к тому, кто его бросил».

Сам Максим не отваживался выступить против царя Давида, зная его тяжелую руку. Поэтому он с ножом к горлу приставал к католикоосу Иоанну: надо любым способом выманить у царя Давида средства, предназначенные для иерусалимцев.

Покуда Чкондидели мирно беседовал с католикоосом, Максим беспокойно ерзал в кресле.

У него была такая привычка: если он не принимал участия в разговоре, то непрестанно тербил свои усы, засовывал в рот по волоску, откусывал и жевал. Потом украдкой вытаскивал из кармана платок и тайком вытирал слюну, перемешанную с волосами.

Долго препирался Чкондидели с католикоосом. Георгий усердно внушал святейшему: опасна не только дорога между

Эчмиадзином и Исфаганом, — остальные пути также еще не изучены.

Епископа просто распирало во время этого спора, — так его тяготило молчание.

— Давайте пошлем деньги через Хупту и Константинополь, я отправлю их с тремя монахами, кои трижды объехали Сирию и Палестину, — робко вставил свое слово Максим.

Чкондидели взглянул в его выпученные воловьи глаза и спокойно возразил:

— На днях царя Георгия посетил монах Иоанн. Спросите, что ему пришлось претерпеть от турецких разбойников на караванном пути из Иерусалима в Никомедию. С бедняги чуть не сняли последнюю ряску.

Монах Иоанн накануне побывал и у Максима, только епископ в этом не сознался, — промолчал и откусил от своих усов еще один волосок...

* * *

Прежде чем лечь, Чкондидели в ту ночь долго молился. Осадить католикоса Иоанна и Максима Дирбели стоило ему немалых усилий.

Долго сидел он у своего стола, с трудом поддерживая обеими руками голову, утомленную от дневных забот. Где-то в глубине его души гнездились сомнения: а что, если опальные епископы и Максим Дирбели правы и в сердце царя Давида в самом деле закралось равнодушие к церкви Христовой? Уж не потому ли не хочет он отсылать в Иерусалим пожертвования, предназначенные для тамошних грузинских монастырей?!

Затем мысль его перенеслась к Ниани и Махаре: они доставляли царю арабские книги. Доля вины лежала, конечно, и на императрицу Мариам: ведь это она присылала в Начармагеви сочинения язычников — Платона и Аристотеля.

Кое-как Чкондидели удалось отогнать черные мысли. Он, по обыкновению, вспомнил, что надобно узнать у мцигнобари, составил ли он распоряжения и указы, которые на завтра предполагалось разослать по эриставствам.

Он тщетно звал привратника:

— Алекс! Алекс!

Ни звука...

Едва-едва добрел до дверей и дрожащим голосом позвал:

— Алекс!

Заспанный Алекса кинулся к нему. Он сразу заметил, что старику худо.

— Позови ко мне Беса, — велел ему Чкондидели и обеими руками вцепился в дверную ручку.

Неодетый, вне себя от ужаса, вбежал Беса. Точно дитя, подхватил он на руки своего молочного брата, изнуренного постами и трудами, донес до постели, недоумевая: каким образом эти кости, обтянутые кожей, таскают на себе кольчугу и как они выносят постоянные разъезды верхом на муле.

И другое еще удивляло Беса: с какой самоотверженностью борется этот человек, у которого во всей Грузии — ни кола, ни двора!

Беса бросился за придворным лекарем. Вскоре в опочивальню вбежали лекарь Качибаисдзе и Сабия... Лекарь велел принести полный таз горячей воды. Чкондидели приподняли, Беса и Сабия дотронулись было до его ног, но Георгий воспротивился и ни за что не разрешил вымыть ему ноги, сказав так:

— Иисус Христос, правда, мыл своим ученикам ноги, но себе мыть — не позволял.

Внезапно больному стало легче. Отвернувшись к стене, он, как это свойственно очень усталым людям, по-детски безмятежно заснул.

И приснилось ему:

Диди-Чкони... В отцовском имени на берегу Цачкуры бегают босоногий мальчишка. Мать, отец, братья все в сборе...

Иволги поют на ореховых деревьях. Веселый малыш гоняется за белыми козлятами и фазаньими птенцами...

...Тоскливый крик павлина разбудил Чкондидели.

Лежа пластом, он предавался воспоминаниям. Пред ним вставал длинный путь трудов и борьбы, на одном конце которого стоял босоногий мальчуган, на другом же — изможденный старик в кольчуге.

Сон подкрадывался к векам Чкондидели, но вдруг он заметил, что Сабия впопыхах забыл задуть свечи. Хотел было Георгий позвать Алексу, потом раздумал — стало жаль старика. Он решил:

Как-нибудь сам встану и погашу свечи.

В это самое время за дверьми послышался сдержанный кашель, и в опочивальню просунулась голова Сабии, в руках он держал какой-то свиток.

— Меня, блаженнейший, до того напугала твоя болезнь, что я, разиня, даже свечи забыл погасить.

Сабия положил перед больным свиток и пробормотал:

— Это мне передал начальник крепости: скороход после полуночи доставил из Исфагана.

Эта новость заставила Чкондидели позабыть про болезнь. Он попросил Сабия поставить у изголовья два больших шандала и, положив за спину подушки, сел на постели.

Сам сорвал со свитка печати, поднес к глазам и стал читать письмо от Джоджики.

Перечитал заново, потом опять свернул грамоту и положил под подушку, велел Сабии погасить свечи.

В палате было темно, и только перед образом богородицы теплилась неугасимая лампада...

Чкондидели отвел взгляд от мерцающего огонька, который тщетно боролся с воцарившейся в палате ночью, повернулся лицом к стене, и его неукротимый разум последовал за вереницей мыслей...

Первый визирь лежал пластом, и шмелями пронеслись в его голове мысли...

...В Сельджукском султанате опять бушевала смута... Хотя Бархиарок и убил двух своих братьев и дядю — ами-ра Тутуша, взятие Антиохии и Иерусалима крестоносцами умерило стремление сельджуков в Африку. Немалую лепту внесли в эти распри асасины-исмаилиты, которые часто помогали восставшим против турок армянам, грекам и крестоносцам.

У исфаганской ветви Сельджукидов был и другой враг, а именно — Сельджукиды, захватившие власть в провинции, отнятой у Византии, — так называемом Руме, и сделавшие своим стольным городом Иконий.

Еще при жизни султана Альф-Арслана потомок Великого Сельджука — Кутулмиш превратил Иконий в свою столицу. Султан Малик-шах воевал с Кутулмишем до тех пор, пока в одной из схваток тот не свалился с лошади и не погиб.

За кровь Кутулмиша решил отомстить его брат Мансур. Малик-шах послал в Иконий своего саранга, который по его приказу убил Мансура.

Малик-шах собирался истребить всю династию, но ве-

ликий визирь Низам аль-Мульк помешал ему, присвоив Иконийскому султану титул саранга Малик-шаха.

Потом дело было так: в Исфагане Малик-шах обласкал сыновей Сулеймана — Килирдж Арслана и Давида.

Султан Сулейман отнял у Византии тогдашний центр православного христианства — Nikeю. Алексей Комнен был вынужден добровольно уступить ему византийские провинции до реки Дракон.

Захватив Nikeю, румские Сельджукиды хотели перекрыть торговые пути из Константинополя в Малую Азию.

Вожди крестоносцев Готфрид Бульонский, Боэмунд и Танкред не оправдали надежд Алексея Комнена. Они не только не возвратили кесарю отвоеванных у Сельджукидов византийских городов и провинций, но из освободителей превратились в захватчиков и стали притеснять греков и армян.

Главари крестоносцев очень скоро охладели к идее освобождения гроба господня, теперь они стали прибирать к рукам христианские земли и грабить поработенные народы.

Рядовые крестоносцы были неимущими баронами („le baron sans avoir“). В Европе они потеряли родовые поместья и отчизну, а ныне принялись наживать себя на грабежах.

Еще в 1098 году крестоносцы создали Эдесское княжество. Они стремились преградить дорогу надвигающимся с востока ордам сельджуков.

Князь Эдессы Балдуин протянул руку помощи своему брату — Готфриду Бульонскому, прослывшему «заступником гроба господня и королем Иерусалима».

Мало-помалу разлад между Алексеем Комненом и крестоносцами углублялся. Готфрид Бульонский и Балдуин отныне задались целью захватывать все новые и новые города и земли.

Крестоносцы так сильно припугнули турок, что теперь уже бесстрастно взирали на распри между сельджукскими султанами и амирами и на их борьбу с мятежными асасинами.

Но новая угроза нависла над крестоносцами: на Сирию зарились мелкие султанаты и амираты Малой Азии.

Крестоносцев начали теснить египетские халифы из династии Фатимидов.

В самой Малой Азии возродилась турецкая династия Данишмедов, которая правила племенами «гази», пришед-

шими из Хорасана. Наконец Данишмеды столкнулись с румскими сельджуками и нанесли им не одно поражение.

В 1106 году вождь племен газа — Мелик-Гази основывает греко-туркское государство...

Повелитель Антиохии Боэмунд нападает на Мелик-Гази, но последнему приходят на помощь султан Килирдж Арслан и амир Ридуан. Они на конском волосе поклялись друг другу в верности и, натравив туркоманские орды на Боэмунда и его крестоносцев, разбили их наголову...

На первых порах Мелик-Гази объявил себя вассалом Алексея Комнена, но после этой победы до того возгордился, что повелел вычеканить монету с надписью: «Повелитель всея Романии и Анатолии — Мелик-Гази».

Боэмунд ослабил свой натиск на Данишмедов и сельджуков и пустился в новую авантюру. Он возмечтал «вонзить копьё в стену Константинополя».

Напрасно старался Боэмунд сравнить Мелик-Гази с Алексеем Комненом.

Между тем Мелик-Гази вероломно напал на прежних своих союзников — румских сельджуков, неожиданно обложил Иконий и после долгого кровопролития взял его.

В тот самый год халиф и сельжукский султан Мохамед прислали Мелик-Гази из Багдада и Исфагана черное знамя, золотой скипетр и барабан — турецкие государственные регалии.

* * *

В то время как христианские правители были поглощены столь сумасбродными затеями, христианские народы — грузины, армяне, греки и сирийцы — восстали против сельжукских султанов и амиров.

Едва лишь в каком-нибудь городе вспыхивало пламя мятежа, тотчас же воздвигался целый лес из виселиц...

От Тбилиси до Аниси, от Аниси до Исфагана, от Исфагана до Шайзара и оттуда вплоть до самого Икония выстраивалась нескончаемая вереница виселиц, на которых вниз головой вешали бунтовщиков. Так и висели эти трупы до тех пор, пока не превращались в скелеты...

В багдадском «казначействе голов» были выставлены головы христиан и асаинов, в Исфагане и Дамаске их бро-

сали под ноги слонам, а бывало и так, что мясом христиан и асаинов кормили прикованных тяжелыми цепями львов...

Перебирая в памяти эти события, Георгий Чкондидели беспокойно ворочался на своем ложе и с закрытыми глазами прислушивался к рыканию гюлистанского львенка...

ВЕЧЕРЯ ОПАЛЬНЫХ

Боже мой, положи врагов наших, яко колесо.
Яко трость перед лицом ветра.
Яко огонь, опаляющий дубравы,
Яко пламень, обжигающий горы:
Так поженеши их бурей твоею
И гневом твоим смятеши их.
Исполни лица их бесчестия,
И воззовут к имени твоему, господи.
Да постыдятся и смятутся в век века,
И посраматся и погибнут.

Эти строки псалма принесли утешение Георгию Чкондидели. Кончив молиться, он взял указы, переписанные мцигнобари. Перелистывал, поправлял, придираясь к каждому пустяку.

Эристав Джонди вошел без доклада, приложился к его руке, справился о здоровье и доложил:

— Конюший приготовил лошадей, блаженнейший.

— Эх, Джонди, господин мой, что лошади готовы, это, конечно, хорошо, только главное, чтобы всадники были готовы. Давно уж послал я за моим мцигнобари, а его все нет — не захворал ли бедняга?! Состарился мой Пидой, но что поделаешь, привык я к нему и без него как без рук...

Не тревожься, Джонди, господин мой, дотемна, с божьей помощью, доберемся хоть до Петресцихе, там и заночуем.

Чкондидели подошел к поставцу, вынул оттуда цветные склянки и пиалы.

Джонди внимательно следил за его действиями.

— Что это за лекарства, блаженнейший?

— От сердечной боли, господин мой Джонди. — Затем, показывая эриставу каждое в отдельности: — Это стёбелек фиалки, а это отвар из айвовых семян, а вот это — отвары, приготовленные из мяты, мускуса и амбры.

Эх, господин мой Джонди, тщетны мои старания, как пожелает меня призвать к себе всевышний, тогда никакие лекарства не помогут. На всякий случай пусть лежат в моей дорожной сумке.

Вошел Сабия. Поклонившись Чкондидели, обошел палату. Длинными, прокопченными щипцами погасил шандалы. По опочивальне разнеслось благовоние воска.

На пороге выросла фигура местумретухуцеси.

— Что новенького скажешь, Ангия?

— Прибыли гости из Византии, блаженнейший. Царь Георгий просит тебя и эристава Джонди пожаловать к нему.

Чкондидели недовольно поморщился:

— Не знаешь ли хоть, кто они такие, Ангия?

— Стратиг Нотар, евхаитский епископ Феофилакт, ни-комедийский епископ Илларион, Епифаний Непьющий, турмарх и протосикрит. Их сопровождают двадцать шатерничих, погонщик мула и постельничий.

При упоминании о Епифании, Джонди, расплывшись в улыбке, воскликнул:

— Так Епифаний Непьющий еще жив?

— Эх, господин мой Джонди, известно ведь, что шиповник живет дольше розы, — проворчал Сабия.

Джонди сказал:

— Странно, все три епископа остались не у дел...

Кончив укладывать свои снадобья, Чкондидели обратил взгляд на эристава.

— Любопытно, из-за чего потревожились почтенные?

— Верно, соскучились по хлебосольству царя Георгия или, быть может, приехали навестить императрицу Мариам. Как говорит куропалатиса Мелита, почти все они в опале. Вельможи в такое время обычно вспоминают старых друзей.

— Скажи мне, господин мой Джонди, кое-что я и сам слышал об этом Нотаре, — знавал ли ты его в Константинополе?

— Как же! Вся Византия знает Нотара. Он служил трем императорам. В царствование Никифора Ботаниата, Михаила Дука и Алексея Комнена он всегда исправлял высокие должности — то доместика, то логофета дрома, то посла.

Это способнейший и отважнейший стратег, блестящий вельможа, сладкоречивый царедворец. Он был завсегдаем дворца императрицы Мариам.

Едва завидев его, прислужницы гинекеи и жены куропалатов приходили в трепет.

Когда Боэмунд впервые посетил Буколеонский дворец, логофеты, препозиты и их супруги без конца препирались между собой: какой из мужчин красивее и имеет более воинственный вид — Боэмунд или Нотар?

Не только Нотар, но и его прапрадеды служили доместиками, логофетами и послами при дворе византийских императоров, и он унаследовал от предков искусство придворной лести и храбрость военачальника. Константинопольские красавицы прозвали Нотара «Аполлоном в кольчуге».

Если тебе не наскутит, я поведаю тебе одну прелюбопытную историю.

Как-то раз, на пасху, когда Нотар, облачившись в золоченые доспехи, скакал на своем жеребце к ипподрому, под ноги его коню бросилась какая-то цыганка.

Взмолилась:

«Дай я тебе погадаю».

Как всякий византиец, Нотар был не в меру суеверен. Он спешился, протянул оруженосцу поводья коня, а гадалке — левую руку.

И сказала, оказывается, эта цыганка Нотару:

«Ты — счастливейший из рыцарей, всегда побеждаешь в боях, но есть у тебя на этом свете три врага:

женщина,

вино и

собственный язык».

Нотар рассмеялся, бросил гадалке золотой ботинат и распрощался с нею.

Тем временем в Сербии вспыхнуло восстание.

Кесарь Алексей назначил Нотара доместиком западных войск и послал с многочисленной ратью подавить восстание.

У доместика Нотара был помощник — знатный дворянин из Салоник, некто Куркуас, сам мечтавший стать доместиком.

Куркуас задумал свалить Нотара. В ту же ночь, как войска прибыли в Сербию, Куркуас напоил своего начальника допьяна. Наутро мятежники напали на шатры доместика и его свиты. Греки в одном нижнем белье едва унесли ноги.

Кесарь очень ценил Нотара как замечательного стратега и, несмотря на этот провал, назначил его начальником своих телохранителей — друнгарием вигля...

Нотар волочился за женами и сестрами куропалатов и логофетов. Это бабье столько чесало языки, что наконец слухи достигли ушей Алексея Комнена:

Отчаянный «Аполлон в кольчуге» увивается вокруг супруги кесаря — Ирины.

Чтобы заставить умолкнуть злые языки, кесарь Алексей послал его в Багдад, назначив послом при дворе халифа.

Нотар подкупил главного евнуха в халифском гареме. Жен халифа евнух переодевал прачками и в таком виде посылал в Нотару.

В конце концов эта история раскрылась, евнуху отрубили голову, а Нотар чудом улизнул из Багдада.

Затем император, оказывается, назначил Нотара стратигом в Халкедонии. Тот был не в восторге от этого назначения, распустил язык и принялся поносить кесаря.

Алексей Комнен сместил Нотара, сказав ему только одно: «Рыцарю под стать длинный меч, но не длинный язык».

Так сбылось предсказание цыганки.

Эта история рассмешила Чкондидели. Он обратился к местумретухуцеси:

— Ангия, доложи государю, что по приказу царя Давида я и эристав Джонди едем в Кларджети, поэтому явиться к нему не сможем.

Чкондидели протянул руку к серебряному блюду, снял с него крышку и сказал эриставу:

— Я ведь еще не завтракал, господин мой Джонди, осмелюсь тебе предложить... Откушай-ка со мной кутьи, хороша кутья с медом!

Эристав улыбнулся: перед отъездом к Кларджети Чкондидели собирался полакомиться кутьей.

— Я уже отведал джейраньих шашлыков, преосвященный Георгий. Ты, пожалуйста, кушай, блаженнейший, а я тебя буду занимать беседой.

Чкондидели еще не кончил завтракать, когда вошел Пидой, его мцигнобари. Георгий отдал ему распоряжения, затем велел позвать постельничего монаха. Тот молча вынул неизменную кольчугу Чкондидели на куньем меху, облачил в нее старика, помог приладить шпоры, снял с крюка меч, опоясал его, потом отправился в зардахана за легким шлемом, ибо этого пожелал владыка Георгий.

Чкондидели сел за стол, бросил взгляд на факельщика, который слонялся тут же, неподалеку:

— Как ты думаешь, Сабия, ради чего утруждали себя наши гости, а?

— Эх, откуда мне знать, господин первый визирь, чего таскаются по свету эти рабы божьи?

Уж не обессудьте на слове, так я разумею своим скудным умишком: если бы каждый человек довольствовался собственным домом, а каждый народ — собственной страной, да приналег бы на соху и на плуг, кто стал бы погонщиком мулов, кто — сапожником, а кто работал бы в кузнице, если б каждый человек сажал розы и подрезал виноградные кусты или же, на худой конец, вроде меня, в уборе из листвы, увлекался бы охотой на удонов, — тогда не было бы ни такой катавасии, ни такого нашествия гостей и посланцев, царствие небесное моей матушке.

Чкондидели от души расхохотался, зная, как не любил Сабия гостей.

— Но, Сабия, что же поделывать с теми, кто не любит ни сажать розы, ни подрезать виноградные лозы и кто не выпускает из рук меча, лука и кнута?

— Если я не прискучил тебе своей болтовней, расскажу одну историю. Еще безбородым юнцом я в качестве факельщика сопровождал в Иерусалим супругу царя Баграта, пожившую в бозе царицу Мариам.

Когда мы оттуда возвращались, пристал царицын дядя, армянский вельможа Сумбат: заедем, мол, осмотреть Мекку.

Царица сперва отказывалась, а потом уступила ему. Под силу ли мне, несмышленишу, описать вам все, что мы там видели?! Одно мне врезалось в память:

В Мекке есть столб из черного камня. Каждый год, не помню уж, в какой именно день, все арабы стекаются в Мекку и швыряют камнями в черный столб. У них такое поверье: мы, мол, бросаем их в сатану.

Я — царствие небесное моей матушке — так смекаю моим скудным умишком: кому не сидится в своем доме и в своей стране, у кого нет охоты ни сажать розы, ни подрезать виноградные лозы, кто только и делает, что прикарманивает чужое добро, в того каждый человек должен бросить камнем... Но загвоздка-то вот в чем, блаженнейший: кто швырнет камнем во всех этих чертей, да и где взять столько камней?

— Не тужи, Сабия! Вот уже показался наш пращник и наш псаломщик, а что до камней... В камнях у нашего храброго народа никогда не будет недостатка, всегда найдется

камень для тех, кто предпочитает присваивать чужое добро, а не сажать розы и подрезывать виноградные лозы.

Не унывай, старина, с нами бог и правда, — сказал Чкондидели. У порога он перекрестился и, опередив эристава, направился к конюшням.



Вечер глядел в окна большого дворца. Сабия с тремя факельщиками уже засвечивали золотые шандалы. К трапезе приступать не собирались, ибо ни одной из цариц еще не было видно.

Изнывавшего от скуки царя Георгия обрадовало столь неожиданное посещение византийских гостей, хотя причина их приезда была пока ему неясна. Последнее время Георгий часто повторял очередное свое изречение:

— Хочешь укоротить горе, продли пир — разлитое море.

И вот в Начармагевском дворце подвернулся повод для разлитого моря...

Кроме того, сердце Георгия заранее чуяло: в нынешнем году это, должно быть, последнее пиршество, ибо стоит только вернуться из Дарьяльского ущелья вечно хмурому царю Давиду, как он запрется в своей башне с Чкондидели и спасаларами, а нет, так опять начнутся нескончаемые воинские учения...

Заново вспашут плугами Наирмальский холм перед Начармагевским дворцом и пойдут гарцевать на конях по пахоте... Безусые юнцы кубарем будут лететь из седла. Заржут необъезженные жеребцы и кобылицы, зазвонят мечи, залязгают кольчуги.

Поташут камнеметы, «баранов» и осадные башни. В воздухе будет стоять немолчный стук, скрежет, дребезжание... А все это за долгую жизнь успело Георгию опостылеть.

Известно, что забияки и весельчаки обыкновенно цепляются за малейший повод, и царь Георгий на сей раз не замедлил им воспользоваться...

В ожидании дам Махара отводил душу в беседе с выдавшим виды Нотаром. Стратиг удивлялся, узнав от Махары, что тот участвовал в сражении при Манцикерте. Нотар заинтересовался арабской картой, которую где-то разыскал

Махара, развернул ее, и палец бывшего domestика, немало на своем веку повоевавшего, стал отыскивать те города, горы и реки, где ему довелось сразиться с сельджукской ратью или исполнять обязанности императорского посла...

Он водил своим длинным пальцем по необъятным просторам Сельджукского султаната от Хорасана до Исфагана, от Исфагана до Каира.

Потом его палец коснулся Дарданелл, Венгрии, Крoа-ции, Сербии, Болгарии, половецких земель...

И наконец опять уперся в Константинополь.

Нотар сказал:

— В бытность мою domestиком и послом я исколесил весь мир — от Китайской стены до Геркулесовых Столпов, — но пока нигде не видывал ничего, способного сравниться со столицей нашей империи — Константинополем.

Это не только красивейший, но и сильнейший в целом мире город-крепость. Со всех четырех сторон он обнесен неприступной крепостной стеной, стена же с трех сторон омывается морем. Не будь так могуча столица, империя наша не устояла бы перед непрерывными вторжениями сельджуков, половцев, печенегов и иных варваров.

В конце концов море — это наш неприступный бастион. Недаром же персидский царь Ксеркс приказал высечь Дарданеллы розгами.

Рим расположен на равнине. Пресловутые Семь Холмов годятся разве только для катания на салазках. Потому-то он и не выдержал натиска самнитов, галлов, вестготов, германцев и прочих варваров.

Когда царь Георгий подошел к карте, Нотар, смерив хозяйина завистливым взглядом, сказал:

— Поистине, вы дети счастливой страны, этот ваш Кавкасиони, по-моему, самый замечательный из всех горных хребтов, какие мне когда-либо доводилось видеть на всем протяжении от Китайской стены вплоть до Британии.

Конечно, это древнегреческий миф о Прометее приковал к нему внимание всего мира.

Когда мы приблизились к берегам Колхиды, глаз не мог вдоволь наглядеться на красоты Колхидского Кавкасиони... Величава и ослепительна краса морских просторов, но меня всегда больше пленяла горделивая прелесть гор.

Должен вам также доложить, господин себастос: большое счастье быть сыном такого края, однако счастье непременно чем-то омрачается.

Вашим предкам, должно быть, нелегко было завоевать эту землю, но еще труднее закрепить ее за собой. Для этого нужна не только большая доблесть, но и большой ум.

— Когда я гостил у султана Малик-шаха в Багдаде, он пригласил меня на охоту, и мы с болью в сердце убивали этих красивых зверей.

Нотар взглянул на карту.

— Где мы сейчас находимся?

Махара указал пальцем сначала на Тбилиси, затем подвинул его к западу и приблизительно показал Начармагеви, так как на карте он обозначен не был.

— Сколько парсангов отсюда до Тбилиси?

Когда ему ответили, Нотар вздрогнул:

— Как близко, оказывается, эти нехристи!

Немного помявшись, Нотар сказал так:

— Если не прогневаешься, господин себастос, вот что я тебе доложу: как и Рим, Тбилиси ваш тоже не совсем разумно было делать столицей. Хоть я там и не бывал, но из писаний арабских географов мне известно, что на восток и, если не ошибаюсь, на север от Тбилиси лежат бескрайние равнины, не так ли?

— Да, — ответили ему.

— Так вот, эти равнины являются продолжением степей, которые перекинулись из-за Каспия. Потому взять Тбилиси легко, но удержать трудно.

Императрица Мариам говорила мне: блаженной памяти отец ваш Баграт дважды брал его, но оба раза вынужден был оставить, так ли это?

— Да, — ответили ему.

Затем Нотар обернулся к Георгию:

— Как я слышал, паниперсебастос Давид собирается брать Тбилиси, не так ли? Да будет на то воля божья! Быть может, он его и возьмет, но вряд ли удержит...

Теперь покажите-ка мне новые земли, отвоеванные царем Давидом в позапрошлом году.

Ему показали Ках-Эрети.

— Ой-ой-ой, да ведь со стратегической точки зрения это недопустимо, господин себастос! Сама Начармагевская крепость в опасности, имейте в виду. Вы же видите, мусульмане клином врезались в метрополию.

Ни дать, ни взять, упершийся в круг остроугольный треугольник. Не так ли? Это недопустимо!

Враг в любой момент может рассечь этот круг и до-

стичь Кавкасиони, тогда вновь завоеванная провинция останется по ту сторону, так ведь?

— Это не так уж обязательно, стратиг, — возразил Махара. — А разве треугольнику, который вклинился в окружность, не грозит опасность? Если мы и с запада, и с востока ударим по ним покрепче, то непременно отсечем острие от этого треугольника.

До Нотара дошел смысл сказанного.

Переведя взгляд на царя Георгия, он пробормотал:

— Нет, на всякий случай имейте в виду, если вы в скором времени действительно собираетесь брать Тбилиси, то я мог бы повести ваши когорты.

Как я слышал, царь Давид еще молод, а вам, верно, известно, что мудрость шагает вслед за сединами, и ничего так не нуждается в мудрости, как война.

Под греческим «техне» — искусство — подразумевается не только живопись и сочинение трагедий, но и военное искусство, военная хитрость. В конце концов война это всегонавсего хитрость и обман.

Пренебрежительный отзыв о царе Давиде пришелся Георгию не по вкусу, но он этого не показал. Слегка обиженный, он горько усмехнулся и сказал:

— Нет, ты ошибаешься, стратиг, на одном обмане далеко не уедешь. Главное в бою — это сила натиска и удара.

Во время великого сельджукского нашествия, под Парцхиси, амир войска Малик-шаха Нусреддин Аббас долго пытался заманить нас в ловушку — на ближайшую лесную вырубку. До обеда мы бились в поле верхом...

Турки отступили к лесу.

Я возглавлял центр, левое крыло — триалетский эристав, печальной памяти амир Липарит, а правое — эристав Шаман.

Шаман велел передать мне: турки хотят заманить нас на вырубку.

«Едем за ними», — велел я передать в ответ. Эту просторную поляну только что вырубил турки. Кругом еще валялись огромные стволы.

Заметив это, я приказал моим всадникам спешиться. На передние ряды турок я напустил своих копейщиков. Потом мы ударили — да как! Спешиться турки не отважились, их кони спотыкались о стволы и пни, всадники валялись на землю и разбивались, точно тыквы. Наконец, еще до заката солнца, господь ниспослал нам победу.

Нотар заметил: хозяину не понравилось, как он отозвался о Давиде и Тбилиси. Снова уставившись на карту, он произнес:

— Нет, бесспорно, великим стратегом был царь, сделавший своей столицей Мцхета. Город этот окружен горами, а гора во время войны — это та же крепость. Врагу тут не помогут ни катапульты, ни верблюды, ни слоны...

Как вам известно, еще сарацины пустили в бой двух страшных животных, они просто подавили греческого коня. На равнинах верблюд и слон очень опасны...

Махара заметил:

— Пока они дойдут до равнины, мы их встретим в теснинах мечами и камнями.

Нотар поинтересовался:

— В случае, если турки неожиданно нападут на Начармагеви, есть ли поблизости крепость?

Ему отвечали:

— Целый ряд крепостей охраняет Начармагеви со всех сторон.

Георгий проговорил:

— Думается, сейчас туркам не до нас. Султана Бархиярока аллах прибрал, в Сирии сельджуков по-прежнему теснят крестоносцы.

Нотар так бы, верно, и разглагольствовал без конца о слонах и верблюдах, не показись в гостиной палате обе царицы. Стратиг мгновенно потерял интерес к арабской карте и, по-военному чеканя шаг, устремился к дамам.

Прямой, как поднятый меч, приветствовал он царицу Елену: склонив пред нею голову, облобызал руку. Затем приблизился к опустившейся в кресло Мариам, дважды поцеловал ей руку. Сдержанно улыбнулся куропалатисе Мелите и Гванце, а потом обратился к императрице:

— О, прекраснейшая и добродетельнейшая базилиса, как жаждал я тебя видеть! В душе я торопил мчавшийся по Понту дромедар, дабы вновь узреть неземную твою красоту. Ты и не знаешь, счастливая базилиса, как недостает тебя нашему Константинополю, любому из нас.

Город украшают не одни дворцы и площади, но также — и это главное — красивые люди. Вся наша столица стосковалась по твоей коляске из слоновой кости, о базилиса.

Императрице Мариам была не внове приверженность византийцев к лести и витиеватости.

Но, не взирая на столь патетический тон речей Нотара, она чувствовала в этой выпренной тираде зерно искренности. Свою преданность, возведенную в степень благоговения, стратиг не раз выказывал ей на деле.

Нотар обвел опасливым взглядом находящихся в зале и, слегка понизив голос, сказал Мариам:

— Ты всегда была проницательна, о базилиса, а, как тебе известно, ветренные рыцари, вроде меня, обычно всю жизнь влюблены в одну и ту же даму сердца, и знаешь в кого?

Мариам была озадачена. В душе она даже усмехнулась. «Уж не объясняется ли мне в любви этот седовласый стратиг, да еще вдобавок во дворце моего брата?!» Она смутилась, слегка покраснела.

— В какую даму? Что вы говорите, господин стратиг?

— В ту самую, от которой рыцарю вовеки не добиться взаимности. Я еще в ту пору был тысяцким византийского войска, когда тебя вместе с куклами привезли в Буколеонский дворец три грузинских епископа и управитель дворца Баграта Куропалата.

Как вчера, помню тот день, когда патриарх Константинопольский тебе, стоящей рядом с императором Ботаниатом, возложил на голову золотой венец в храме святой Софии.

В ту ночь я рыдал, как дитя. Моя покойная мать застала меня на месте преступления, пришлось притвориться, будто зуб разболелся.

Мне не хочется, чтобы ты приняла все сказанное мною за лесть, о базилиса.

Должно быть, по нашей человеческой близорукости мы любим вовсе не тех, кто отвечает нам любовью на любовь, а именно тех, от кого вовеки не дождемся взаимности.

Кто сочтет, сколько раз с тех пор, движимый бескорыстной любовью к тебе, рубил я врага мечом на полях сражений Анатолии и Балкан. Как сейчас помню: в тот самый день, когда доместик Никифор Мавракатаклон разбил половцев, раненный в правую ногу, я лежал в каком-то болоте.

Ветер доносил заунывный волчий вой и далекое ржание лошадей, низкое облачное небо шлемом нависало над полями. Мне грезилось сияние твоих несравненных синих глаз, и я готов был снова взять в руки свой меч и, стоя на одной ноге, сразиться и с половцами и с волками...

Два года уже лишен я счастья лицезреть тебя, и сколь

мне отрадно, что всеокрушающее время ничем не повредило твоей красоте, о базилиса.

Опять зарделась Мариам и, улыбаясь, сказала Нотару:

— Это вовсе недурно, господин стратиг. Очевидно, я сыграла какую-то — хоть небольшую — роль в твоей преисполненной подвигов жизни.

— Воистину, воистину, о базилиса! Быть может, я чувствую себя человеком погибшим, но сгубили меня женщины, дарившие меня плотскими наслаждениями. Ты же, кого я безответно боготворил всю свою жизнь, была той звездой, что в дремучем лесу освещает путь воину и охотнику.

— Погибшим?! Что ты, стратиг! Не беда, что сегодня ты не управляешь никакой провинцией. Император Алексей Комнен — милосердный повелитель, и не сегодня-завтра он, возможно, опять призовет тебя на защиту отчизны. Не так ли?

— Ты правду изволила сказать, базилиса. Погибший... Это слово вырвалось у меня невольно, на самом же деле погибший тот, кто не знал любви, за которую не жаль отдать жизнь.

Сегодня я, правда, в немилости, да и старость стоит у порога, но сердце мое каждый миг открыто для любви и войн. И если понадобится, я снова подниму свой меч ради тебя, во имя христианства...

Знаешь ли ты, кого на этом свете ждет венец высшей славы? Того, у кого и на старости лет хватит сил пойти на бой за любовь, пронесенную сквозь отрочество и зрелые годы.

Мариам ощущала некоторую неловкость — слишком долго оставалась она наедине с посторонним мужчиной. Стратиг говорил бы до бесконечности, если бы местумретухуеси не объявил:

— Трапеза начинается.

Три стола поставили в пиршественной палате.

За золотым столом сидели царь Георгий, обе царицы и Гванца, а напротив — стратиг Нотар и трое греческих епископов.

За серебряным столом — епископы Голготели, Некресели и Максим Дирбели.

За деревянным — византийский турмарх, протосикрит и начальник Начармагевской крепости Чирдидели.

Прежде чем приступить к трапезе, шестеро епископов пропели молитвы по-грузински и по-гречески.

Махара, не очень-то обрадованный приходом Максима Дирбели, вошел в палату с опозданием и подсел к епископу Максиму.

Местумретухуцеси, главный повар и стольник с ног сбились, угождая хозяевам и гостям.

В виноградниках на крепостных стенах уже заливались цикады — вестницы сбора урожая. На стройных побегах лоз рдели тяжелые гроздья винограда — дзвелшава, атенури, тита и таквери.

Стольник посылал пирующим вина: красное мухранское, атенское — цвета гусенка, чинури, оджалеши и аладастури.

Как только кончились молитвы и начался пир, стольник что-то по-грузински сказал Максиму Дирбели, и тот, встав, по-гречески предупредил гостей: красные и белые вина друг с другом не мешать — это может повредить здоровью.

Епископ Евхаитский решил не пить ни того, ни другого, ибо еще смутно надеялся, что патриарх Константинопольский пожалует ему этой осенью епархию.

Епифаний Непьющий не раз бывал в опале за пьянство и распутство, но ему с лихвой хватало золотых ботинов, скопленных еще в молодые годы, потому он и не помышлял о возвышении.

Непьющий исподтишка читал «Диалоги» Платона, но в жизненных вопросах отдавал явное предпочтение Эпикуру. Епифаний то и дело протягивал пустую чашу стоящему за его спиной виночерпию и подзадоривал епископа Евхаитского: и красное и белое — оба от бога.

Царь Георгий сообщил гостям: мухранское красное — вино столетнее, еще из погребов Баграта Куропалата.

Тогда даже те, кто охотно пил атенское белое, принадлегли на мухранское, ибо хорошо знали, что время служит испытанием для вина так же, как для слова.

Ни джейраньи шашлыки, ни зажаренный на вертеле теленок не удостоились такого одобрения византийских гостей, как бычья лопатка, которую главный повар стругал длинными лентами и, нахернув на вилку, подносил пирующим.

Епифаний Непьющий не раз вкушал хлеб-соль в Гегутском и Кутаисском дворцах Багратидов, но таких яств еще не видывал.

Поэтому он с улыбкой обратился к епископу Евхаитскому:

— Знаете, импертим, пожалуй, этих ленточек хватит, чтобы протянуть отсюда до самого Понта.

Нотар пил в меру. Он то и дело улыбался базилисе и еще более беззастенчиво глазел на сидящую рядом с ней Гванцу. Взглянет, потом взглянет еще — украдкой, думая при этом: «На мою рыжую кобылу смахивает эта полногрудая и тугобедрая колхка».

Мухранское красное и созерцание ясноликих жен удвоили красноречие стратига, и он бесцеремонно нарушал исстари соблюдаемую грузинскую традицию: есть молча.

Вдоволь полакомившись бычьей лопаткой, он заговорил о политике, поминутно пересыпая свою речь именами Алексея Комнена, Боэмунда, Балдуина и Танкреда. На чем свет стоит поносил крестоносцев:

— Сколько уже лет, как эти слепые кроты поселились на греческой земле, и по сей день все никак не возьмут в толк, что со времен Константина Великого и поныне Византийская империя была, есть и будет единственным знаменосцем христианского мира.

И от грубости они до сих пор не избавились. Когда Боэмунд гостил в Буколеонском дворце, он налился, точно варвар, и потехи ради взобрался на кесарев трон..

Где это слыхано, чтобы благовоспитанный рыцарь, да к тому же чистокровный дворянин, напивался до бесчувствия в присутствии царей и дам?!

Закончив свою тираду, он покосился на женщин. Но ни у кого не нашлось что сказать, и Нотар продолжал:

— Как известно, культура духа — это прежде всего подавление низменных страстей. Иначе чем бы мы, дворяне, отличались от смердов и рабов, предающихся пьянству и обжорству, как и темным страстям — воровству и грабёжам.

— Теперь-то крестоносцы раскусили, сколь трудно бороться против кита ислама... — сказал Илларион Никомедийский, усердно уписывая бычьую лопатку, — ни дать, ни взять — еж, пробравшийся в огород.

— Под Ксеригордоном, если бы я не подоспел с моими когортами, ратники султана Солимана разогнали бы крестоносцев, точно стадо коз, — добавил Нотар.

— Воистину, воистину, — поддакнул епископ Евхаитский. — Да, не прегради мы дороги сарацинам, Малик-шах и Альф-Арслан прорвались бы к Риму и Парижу, вот тогда-то католические страны и узнали бы где раки зимуют.

Папа Римский, словно насадка, засел в своем Ватикане и, с тех пор как начались Крестовые походы, даже на мост Святого Ангела глаз не кажет.

Мы же, князья православной церкви, надевали на себя кольчуги и сражались против нечестивых сельджуков.

А Балдуин и Боэмунд, вместо того чтобы воевать с султаном Мохамедом, амиром иль-Гази и Мелик-Гази, строят козни императору Алексею Комнени.

Главный повар велел подать на стол желтую форель. Епископы бросили политику и принялись расхваливать желтую форель. Особенно превозносил ее стратиг Нотар.

— Такой форели я еще нигде не видывал. Редкость возвышает в людских глазах не только женскую красоту, но и любую вещь, любое создание. Золото, по существу, вовсе не красивее серебра, но оно редко, и это первейшее его украшение.

Когда Махара рассказал гостям, что царь Давид повелел разводить желтую форель и в реках Колхиды, Епифаний Непьющий, придя в неопишуемый восторг, сказал:

— Если бы себастос Георгий оказал нам свое милостивое содействие, то мы взяли бы в Византию желтых форелей на развод.

Епископ Никомедийский был не из любителей рыбы, так как однажды отравился форелью, поэтому он попробовал придать беседе уклон философический. Он упомянул об опасности, какой грозило православной церкви учение «того язычника» — Платона.

Припомнил кстати и раскол, возникший на этой почве между патриархом, Константинопольским и философом Михаилом Пселлом.

— Когда Ксифилин взошел на патриарший престол, в обращенном к нему дружеском послании Пселл превозносил Платона, а его святейшество велел передать в ответ Пселлу: те, кои преисполнены соблазнов Платонова учения, да будут отлучены от церкви, яко еретики.

Максим Дирбели шепнул Махаре на ухо:

— Не мешало бы, господин мой Махара, доложить об этом происшествии царю Давиду и Ниании Бакуриани.

При этих словах Махара вспыхнул и резко оборвал епископа:

— Не мешало бы и тебе, отче, присмотреть за твоими наложницами.

Епископ Дирбский тоже украдкой прикладывался к мух-

ранскому, но все-таки уразумел, что сболтнул лишнее, тогда он пошел на попятный и смиренно возразил скопцу:

— За какими такими наложницами? Что ты изволишь говорить, царевич?

Махара изведal на опыте, что во дворце его звали царевичем одни льстецы. Он ответил так:

— Да хотя бы за мцхетской игуменьей, твоей толстозадой Анастасией. Хи-хи... Ты, верно, читал в каноне: монах, кой содеет непотребство, семь лет да не будет допущен к исповеди.

Максим Дирбели сперва побагровел, потом побелел.

Императрица Мариам заметила, какое действие возымело мухранское красное. Мужчины говорили и смеялись все громче.

Басилисе было ведомо, что греки, стоит им только подвыпить, тотчас же принимаются изощряться в непристойностях, и потому, сославшись на дурное расположение духа, взяв с собой царицу и Гванцу, она удалилась из зала.

Это очень обрадовало куропалатису Мелиту. Щеки у нее порядком разгорелись, а похотливый ее хохот вносил буйное веселье в вечерю старых эпикурейцев, превратившуюся в разгульную пирушку.

Царь Георгий прислушался к перепалке между Махарой и епископом Дирбским. Недовольно вскинув брови, он обернулся к местумретухуцеси и шепнул:

— Напомни-ка Махаре: гость от бога.

На это напоминание Махара чуть ли не вслух ответил:

— Иной от бога, а иной и от черта.

Епифаний Непьющий вступился за Платона.

— Что ты изолишь молвить, импертим? Климентий Александрийский называл Платона «Аттическим Моисеем». Как известно, он приводит цитату из Платонова «Критона» и величает его автора возлюбленным Истины, вдохновленным свыше.

Тут в полемику вступил епископ Евхайтский:

— Как ты мог позабыть о Максиме Исповеднике, импертим? Максим в своей книге «Кефалия теологика», наряду с цитатами из священного писания, ссылается на мысли Платона и Аристотеля.

Царю Георгию наскучил философский спор, поэтому он сказал Нотару:

— Ты объехал весь свет, стратиг. Скажи-ка нам, все ли народы питают пристрастие к вину?

Нотару польстили его слова, и он ответил:

— Питают ли пристрастие?! Да еще какое, господин наш себастос!

Георгий только сейчас подметил, как во время беседы прыгает вверх и вниз кадык у длиннеего, с гордо вскинутой головой Нотара.

— Пьет весь мир — и христианский и мусульманский, но дело вот в чем: вино, искусство и любовь — удел избранных. Ни одно из них, коль скоро становится достоянием каждого, гроша ломаного не стоит. Старьевщикам да сапожникам эта триада вообще ни к чему, не так ли?

— А философия? — с кривой усмешкой процедил епископ Евхаитский.

— И она не нужна черни, — вставил свое слово Максим Дирбели.

— Вот как! А ты разве забыл, монах, что сам-то ты сын сапожника? — шепнул Махара епископу. Слова эти ножом резанули того по сердцу, но он предпочел смолчать, а Нотар между тем продолжал:

— При дворе багдадских халифов шербет из розовой воды с сахаром на льду — розатон — раньше пили не только халифы, но и их жены. В подражание фарсидским царям арабские халифы и сельджукские султаны каждые три дня напивались.

Халиф Язид выказал чрезмерную дерзость. Он пьянствовал каждый божий день, пил перед сном хмельное. У халифа была обезьянка по прозванию Абу Каси. Когда халиф пировал со своим сотрапезником, Абу Каси восседала у него на плече, ей тоже лили в глотку вино. Абу Каси — старый раввин, за грехи свои превращенный богом в обезьяну, — утверждал халиф.

Однажды он посадил Абу Каси на дикого осла, и любимица халифа участвовала в скачках. Осел споткнулся, и Абу Каси сломада себе шею. Халиф устроил своей любимице пышные похороны. Муллы и чтецы корана шествовали впереди «траурной процессии», распевая стихи из корана...

Сельджукские султаны, бывало, перегораживали пиршественную залу кисеей, сами же ложились где-нибудь в темном уголке и из-за прозрачного занавеса следили, как по ту его сторону танцевали их мальчики или распутные женщины.

Под конец танцоры и музыканты, игравшие на сандже,

обступали своего повелителя, подхватывали его на руки и так несли в опочивальню.

Простонародью коран запрещает пить, в мусульманских городах за пьянство подвергают тяжчайшему наказанию. Халиф Омар тшетно взывал к правоверным мусульманам, дабы те пили лишь воду с медом, сармак и миндальное вино.

Египтяне пьют ячменный мизр, арабы — мет, индийцы — мадхуд, а иногда — фокку, сдобренную перцем, опиумом и нардом.

И на базарах Багдада я также видел людей, захмелевших от фокки.

Царь Георгий внимательно слушал рассказ Нотара. Епифаний Непьющий также хорошо разбирался в винах, поэтому он был недоволен, что стратиг обнаружил в этой области такие обширные познания.

Он погладил куропалатису Мелиту по руке у локтя и прошептал:

— Наш стратиг еще многого не знает. У одного арабского поэта есть даже такие стихи:

...Усей ты розами ложе свое,
Из листьев розы сплети венки,
Упейся лаской, упейся вином,
Пир предпочти намазу.
И нежным девам вино к лицу,
Хмельному вражда нипочем,
Не пресечь пьянства внушеньям муллы,
Пир предпочти намазу...

Епифаний Непьющий стал доказывать, что один Магомет запрещал пить вино.

Епископ Евхаитский возражал ему с пеной у рта:

— Что ты изволишь говорить, импертим, разве один Магомет? Христианское вероучение гласит: истинным христианином нельзя почитать того, кто пьет вино, играет в кости и прелюбодействует с флейтистками.

— Импертим, — огрызнулся Епифаний Непьющий, раскусив, что намек относился к нему самому, — а разве спаситель наш Иисус не превратил воду в вино и не напоил им народ?

Епископ Евхаитский замаялся и не нашелся, что возразить. Он снова принялся за желтую форель, а ободренный его молчанием Епифаний Непьющий продолжал:

— Вино вкушают сами императоры и патриархи. Как это можно, импертим! Коли рыцарь не выпьет вина, он и меча-то не сможет поднять. Мужчины, взращенные на сладостях, убегают с поля боя так же, как и с пира...

Стратига Нотара тоже удивили слова Феофилакта. Ехидно усмехнувшись, он подстрекнул Епифания Непьющего:

— А спроси-ка ты, импертим, у епископа Евхаитского: считает ли он истинным христианином нашего философа Пселла?

Феофилакт на время оторвался от форели, поднял голову и пробурчал:

— Как же не считать Пселла истинным христианином?

— В таком случае я молю тебя, импертим, — обратился Нотар к Епифанию Непьющему, — прочти-ка нам с чувством, как ты умеешь, «Похвалу блохе» Михаила Пселла.

У Епифания уже раскраснелись щеки от лобзаний Бахуса, и он напыщенным тоном начал:

— ...Нам столь же приятно маронское вино, как хиосское и лесбосское. Неужели нас за это кто-нибудь будет порицать?

Тут он остановился, метнул взгляд в сторону улыбающегося царя Георгия и, еще больше расхрабрившись, продолжал:

— Иные любят прокисшее вино, но среди любителей вина величайшим знатоком является блоха. Она притрагивается только к ароматным и хорошо выдержанным винам. мутные же и кислые пить гнушается.

Если блоха ненароком припадет к запястью пьяницы, раздувшегося от благородного вина, она жадно напьется и крови, и вина...

Знайте, почтенные, блоха — величайший из дегустаторов. В этом отношении она похожа на Атиллу, жадного до крови и вина...

Я очень люблю тех, кто проявляет изысканный вкус и в выборе чаш, любовно приобретая кубки и психтиры, как, например, тириклийские из чистого стекла, кувшинчики с журавлиным горлышком, изо рта которых вино с бульканьем льется в рот его любителя.

Всякий ли из нас ощущает эту прелесть? Что же до блошиного племени, то оно благородно и гордо. Блоха признает только чистое вино. И кровь блоха любит такую же чистую, в этом она похожа отнюдь не на царей — любителей

крови черни, а на мятежную толпу, которая никогда не пресыщается кровью аристократов.

Куропалатиса Мелита восхищалась не только смыслом сказанного, но формой речи, блестящей витиеватостью греческого языка, по которой она так соскучилась в чужом краю. Царя Георгия забавляла эта высокопарная галиматья так же, как и ворожба Сабии на «Асотасамгерали» (хотя и джины и блохи внушали ему одинаковое омерзение).

Вино, которое подчас помогает проснуться Музам, иной раз обнажает человеческие пороки. Стратиг Нотар до того распалился от мухранского, что принялся без удержу хватать.

С пылающими щеками Нотар расписывал царю Георгию и его сотрапезникам, как быстро переправил он на дромадерах греческое войско в Битинию в те самые дни, когда турки под крепостью Ксеригордон гнали германцев и франков, точно стадо баранов.

Он весьма прозрачно намекнул также: когда бы послушался его Алексей Комнен, греки раньше крестоносцев овладели бы Антиохией и Иерусалимом...

Подобно римским рабам, что на Форуме бесстыдно обнажали свою грудь перед праздною толпою и показывали на ней рубцы от стрел и мечей, распинался стратиг Нотар, поочередно обращая внимание своих сотрапезников на следы от ран за ушами, на щеках и затылке.

Епископа Максима, которому не удавалось скрыть рабское преклонение перед византийцами, бахвальство Нотара привело в восторг, и он пробормотал:

— Если бы у каждого христианского народа сидели на троне столь отважные рыцари, тогда никакие турки нам не были бы страшны.

При этих словах ярость вспыхнула в сердце Махары. Он подумал было: «Закатить бы оплеуху этому дуралею!» Но, постеснявшись царя Георгия и гостей, сдержался. Вдруг он упал с кресла и ударился лбом о кирпичный пол.

Когда к нему подбежал царь Георгий с гостями, на губах Махары выступила пена, руки и ноги беспомощно подергивались.

Византийские гости остолбенели. Они и не знали, что скопец страдал падучей. Царь Георгий первым бросился к сводному брату, схватил его за правую руку и поднял с пола. Он шел рядом с носилками и не отходил от Махары до тех пор, куда тот не пришел в себя.

Епископ Евхаитский, проведая, что скопец болен паду-
чей, не утаил «значения» этой хвори:

— Падучая — это дьявольское наваждение, только и
всего...

— Воистину, воистину, — поддакнул Максим Дирбели.

Илларион Никомедийский тоже разделял это мнение.
Он утверждал:

— Последнее время участились явления нечистой силы
в образе припадочных не в одной Византии — и в Антиохии,
и в Эдессе такое случалось.

От арабов я слыхал, что падучая приключается глав-
ным образом с людьми, которые находятся во власти
джинов.

Епифаний Непьющий перестал пить и сказал:

— Мне еще больше об этом ведомо. Вообще джины из
стран мусульманских проникают в христианские. В коране
упоминаются два ангела — Тагут и Магут, за совокупление
с распутницами повешенные богом головою вниз в одном из
подземелий Вавилона. Так вот они, оказывается, продол-
жают свои чародейства.

Эти самые ангелы и рассылают по всему свету джинов.
По-моему, порфи́ровая колонна в Константинополе, в кото-
рую ударила молния, рухнула тоже по вине джинов.

Стратига Нотара это заинтересовало, и он вновь при-
нялся разглагольствовать:

— Родона́чалник джинов в образе черного змия явил-
ся в Каабу. Да не один, а с целым легионом джинов, и впе-
реди всех шествовал, знаете, кто? Огромный-преогром-
ный Еж!

— Еж?! — в один голос загалдели струхнувшие епископы.

— А потом, что ж было потом? — нетерпеливо спросил
восхищенный этой небылицей царь Георгий.

— А потом арабы, оказывается, перепугались. Обнажили
мечи и сразились с джинами. Несметные силы джинов и сара-
цин полегли в этой войне. Под конец джины отступили, пре-
вратились в белых змиев и взвились в воздух.

Это еще что?!

Явились они к богу, дабы проведать, о чем это он шушу-
кается со своими ангелами. Потом дело было так: разгневался
вседержитель, ангелы обрушились с огненными мечами на об-
наглевших джинов и, точно цветы смоковницы, посбивали их
на землю.

В тот год произошли сильные землетрясения, и звезды срывались с небес...

Покончив с историей о джинах, гости снова налегли на мухранское красное. В пиршественной палате все громче слышались голоса хмельных гостей. Царь Георгий знал по опыту: стоит византийцам опьянеть, как они тотчас теряют над собой власть.

Некресели, Голготели и Дирбели тщились утихомирить гостей. Когда в пиршественной палате послышались крепкие выражения, Георгий подозвал к себе местумретухуцеси и шепнул ему:

— Займитесь гостями.

Затем он встал и неторопливым шагом прошел через всю обширную залу.

Местумретухуцеси привел троих привратников и двоих постельничих и поставил их у порога.

Нотар сжал виски руками и выкрикивал такие словечки, какие имелись в обиходе разве что у константинопольских сапожников, напившихся в винных погребах.

Уставившись на кого-то в пространство, он истерическим голосом вопил:

— Куркуас, где ты, салоникская свинья, твою...

Так как салоникской свиньи нигде не было видно, он бесильно опустил руки на стол и стукнулся об него головой.

Местумретухуцеси почтительно потрепал его по плечу и сказал по-гречески:

— Пожалуйте в опочивальню, господин стратиг.

Нотар вскочил с места и по-солдатски вытянулся, вопя при этом:

— Подать сюда немедленно моих конюхов и шатерничих, сейчас же пусть седлают лошадей...

Местумретухуцеси прибегнул к хитрости: велел привести двоих конюхов, и те доложили стратигу:

— Лошади готовы.

При виде конюхов Нотар поднялся и строевым шагом проследовал за ними в опочивальню.

Епископ Евхаитский то плакал, то молился, то ругал Епифания Непьющего:

— Это козлобородый поп меня совратил, теперь вот проведает обо всем патриарх Константинопольский, и епископской кафедры не видать мне как своих ушей.

Епифаний Непьющий, щелкая зубами, тянулся к раскрас-

невшейся пухлой щечке куропалатисы Мелиты. Она и сама порядком опьянела, но все же уговаривала епископа:

— Успокойся, отче!

Епифаний размяк, привратник Алекса взвалил его на плечи, точно пасхального барашка, и унес.

Весьма трудно было обуздать епископа Никомедийского. Ухватившись своими широкими, волосатыми лапами за край стола, он орал, почему-то по латыни: — *In vino veritas!*¹

Трое дородных постельничих монахов едва выволокли из палаты ползающего на четвереньках епископа.

Царя Георгия необычайно взволновали события этой ночи. Он тоже подвыпил, но ни на миг не терял самообладания. У него был своеобразный взгляд не только на дела военные, но и на винопитие:

— Кто на войне смельчак, тот и на пиру не окажется трусом. — Вообще в его глазах состязание в питье приравнивалось к состязанию на мечах, поэтому он считал ниже своего достоинства связываться с этими «развалинами» в искусстве винопития.

Георгий с отроческих лет полюбил греков. На сей раз он горько пережил их поражение за столом. Все свои зрелые годы он воевал с турками, но ненависть к ним была ему чужда.

Когда Георгий гостил у Малик-шаха в Исфагане и Багдаде, он познакомился с хорошими людьми, хотя это были и турки. Его к тому же покоряла та притягательная мягкость, которую ощущаешь при общении с турецкими народами. Более того, он был очарован поразительной благозвучностью арабского, турецкого и персидского языков.

В Исфагане и Багдаде царь Георгий не раз присутствовал на пышных приемах у султанов, своими глазами видел блеск золота, серебра и мрамора, образцы великого искусства, и, несмотря на все это, искренняя любовь все же влекла Георгия к Византии.

Сегодняшняя же трапеза с византийцами оставила в его душе неприятный осадок, мало того, — вселила в него безнадежность...

Политическая обстановка в данном случае была, конечно, решающей. Георгий рассуждал так: в борьбе с китом ислама, кроме армян и византийцев, у грузинского царства нет других союзников.

Угрозы царя Давида и его спасаларов выбить сельджуков.

¹ Истина в вине.

из Тбилиси и Аниси и вытеснить их с Кавказа казались Георгию задиристым ребяческим бахвальством.

Поначалу он восторженно, приветствовал победы крестоносцев и Алексея Комнена в Малой Азии и Сирии, но когда небосвод христианского мира вновь заволокло тучами, Георгий стал искать утешения в вине.

За какие-нибудь двадцать лет Георгий и грузинская знать, грезившая о помощи, успели последовательно разочароваться сперва в Никифоре Ботаниате, затем в Михаиле VII Дука, Алексее Комнене и Константине Порфирородном...

А теперь сами византийцы упали в глазах Георгия.

Ну на что были похожи его сотрапезники по последней вчереш? Какие на них линялые скараманги и омофоры, и как веля себя эти горделивые и благовоспитанные вельможи!

Георгий был твердо уверен: вино, словно зеркало, показывает изнанку человеческой души. Едва византийцы захмелели, как тотчас же уподобились пьяной черни.

Предаваясь столь невеселым мыслям, лежал царь Георгий в своей опочивальне...

Когда-то, во времена юности Георгия, Византия была для него неким непреодолимым мифическим львом, что с поднятым мечом выступал против Гога и Магога.

Неизгладим в памяти Георгия и тот день пасхи в Константинополе, в первый год замужества Мариам, когда Никифора Ботаниата и Мариам облачали на царство в Октагоне дворца Дафны.

— Христос анести! — воззвал Ботаниат к членам синклита, а императрица Мариам — к их женам.

Достигнув палаты Дафны, Ботаниат снял свой златотканый скараманг и надел далматик. Препозит припал к ногам императора и доложил:

— Знать собралась!

Тогда с кесаря сняли далматик и облачили в щипак. В одну руку ему вложили крест, в другую — маленький шелковый мешочек с землей, олицетворяющий собой земную власть царей.

Наконец император Ботаниат и императрица Мариам вступили в двери, отделяющие дворец Дафны от дворца Девятнадцати Аккувитов.

— Полихронийон! — пожелали кесарю и его супруге этериоты.

Повелителей усадили в златотканые кресла. Приблизился к ним ректор. Он облобызал кесарю колени, руки и напослед-

док поцеловал в губы. Так же поступили и остальные вельможи.

Как изваяние, стоял остиар, ожидая знака препозита. Препозит подал знак остиару, и тот задернул занавес.

Из-за занавеса показались силенциары. Приблизившись к кесарю и его супруге, они преклонили колена и провозгласили:

— Христос анести!

Между тем за занавесом кувиклиары соорудили небольшой балдахин из ветвей мирта.

Как только пропели «Христос воскрес!», император с императрицей сели под балдахин. По левую и по правую руку от них расположились кувиклиары...

Император подал знак препозиту. Тот вступил под балдахин и склонился перед императором и императрицей.

Препозит пригласил членов синклита и иноземных послов. Они также приветствовали кесаря и его супругу.

Тогда император с императрицей сняли цицаки и за занавесом облачились в лоори.

Опять кинулся препозит в ноги кесарю и воскликнул:

— Повелевай!

К кесарю подошли веститоры и скопцы. Препозит принес золотые венцы и возложил их на государя и государыню, вручил им аккакии и усыпанные жемчугом золотые кресты.

Под конец явились одетые в золоченые доспехи domestici, катепаны, спатарии с поднятыми мечами и воздали хвалу кесарю и его супруге.

НАЗИДАНИЕ ВАВИЛОНСКОГО ЦАРЯ

Лопнуло терпение у Махары. Июль был уже на исходе, а о царе Давиде — ни слуху ни духу. Византийские гости и не помышляли о возвращении восвояси, и даже столь хлебосольный царь Георгий уже твердил грузинскую пословицу: «Утром гость — золото, вечером — серебро, допоздна коль засидится, в медный грош он обратится».

Махара никак не мог насытить их любопытство: то они желали осмотреть конюшни царя Давида, то взглянуть на сокровищницы и оружейницы — зардахана, то проехаться верхом к высоким отрогам Кавкасиони. Императрице Мариам наскучило каждый божий день выслушивать высокопарные восхваления стратига. Разок-другой Нотар робко предложил было императрице отправиться с ними на прогулку, однако

Мариам, отговорившись мигренью, навязала ему в попутчики куропалатису Мелиту и управителя Цинцилука, а сама, огорченная опозданием Давида и Ниании, продолжала читать Платона.

Махара не стал дожидаться, пока гости обратятся в медь. В воскресенье вечером он твердо заявил Георгию:

— Завтра утром я уезжаю в Дарьял.

Георгий удивился:

— Да ты с ума сошел, вежо! Понедельник — чертов день. Как может здравомыслящий человек трогаться в путь в такой день?

— Черти мне нипочём! Разве у меня не висит на поясе меч с рукоятью в виде креста?!

— И притом, вы ведь можете разминуться в пути.

— Ничего, я выйду в Ксанское ущелье краткой дорогой.

— Говорю тебе, не делай ты этой глупости, Махо. Намедни докладывал мне табунщик: оползнями и обвалами завалило эту дорогу. А если ты все-таки не отступишься от своего, уж лучше езжайте на мулах.

Махара не жаловал мулов, полагая, что предназначены они исключительно для духовных лиц. Он даже шутил:

— Это животное так же упрямо, как я.

На сей раз Махара настоял на своем: поручил стремянному Гингиле отобрать четырех верховых лошадей и столько же мулов. На одного мула навьючили шатер, на другого — провиант и полные бурдюки вина.

Махара был очень разборчив в винах, брезговал пить случайно поднесенные, но вообще-то и кусок не полез бы ему в горло без вина.

Да разве Георгий беспокоился только из-за того, что ехать предполагалось на лошадях? Он хорошо знал: негоже припадочному подолгу ездить в жару. Взмолился:

— Ведь если наденешь шлем, на солнце он раскалится.

Махара встал на дыбы.

— Что?! Я же не дьякон, чтобы напяливать на себя кольчугу и ночной колпак.

Махара заметил, как опечалился Георгий.

— Обо мне не тревожься, — успокоил он сводного брата.

Позвали Сабию и велели ему покрыть шлем тыквенными листьями.

Георгий расхохотался.

— Знаешь, кого ты мне напоминаешь, Махо?

— Кого?

— Видел я в Багдаде статую одного вавилонского царя. Ты поразительно на него похож, ей-богу.

— Эх, государь ты наш, дело ведь не в том, на кого ты похож, а кто ты есть на самом деле. Что ж, пусть принимают меня за вавилонского царя.

— Махара едет в Дарьял?!

Эту весть разнесли по Ксанскому ущелью странствующие монахи. Опальные пастыри и владетельные азнауры встречали его по дороге хлебом-солью.

Беззастенчиво льстили ему вчерашние враги царя Давида, зазывали путника к себе в замки, исподтишка подтрунивая над его головным убором.

Ларгвисский эристав над эриставами выслал навстречу дяде царя Давида, на подступы к крепости, брата своей матери и управителя замка. Велел поднести хлеб-соль, пригласить в замок и передать его извинения:

— Занемог, дескать, потому и не встречал самолично.

Махара не принял хлеба-соли от Ларгвели, поручил сказать эриставу, что ждут его неотложные дела и недосуг ему разъезжать по гостям.

Чем выше поднимались путники, тем несноснее становилась дорога. Обвалы в самом деле снесли мосты, местами дорога сплошь была завалена отколовшимися от скал каменными глыбами, так что всадникам приходилось ехать вверх по промоинам, которые оставили после себя горные потоки. Когда наконец они вышли к перевалу, тут даже это средство не помогло. Не только лошадей, но и мулов пришлось тащить на руках.

В конце концов выехали на совершенно размытую дорогу. Русла потока не было видно.

Махара придержал лошадь, посмотрел на груды валунов и неохотно признал:

— Правду говорил царь Георгий.

Они повернули обратно и двинулись вниз все по тому же Ксанскому ущелью. Известно ведь, что дорога очень сближает людей. Махара жалел стремянного и меченосца, уставших таскать упрямых мулов, он шутил с ними, поил вином, ободрял по мере сил.

Стояли безлунные ночи. В ущельях слышались вой волков и мяуканье рысей. Несмотря на это, Махара не пожелал вновь заезжать к тем же азнаурам и епископам, у кого ночевали, поднимаясь по Ксанскому ущелью, поэтому он объявил меченосцу и стремянному:

— Где застигнет ночь, там и раскинем шатер.

По ночам у входа в шатер стоял на часах с копьем в руке меченосец Маймаха, прислушиваясь к реву медведей и вою волков в безлунной ночи...

Когда выехали на Мцхетскую дорогу, Махара решил провести одну ночь в Шио-Мгвимском монастыре.

Монастырь этот был в свое время прибежищем сторонников Дзагана, эристава Зедазенского, от Махары не укрылось также, что после Руис-Урбнисского собора у опальных лиходеев в Шио-Мгвиме остались сочувствующие и среди них поп-чернец Серапион, монастырский эконо́м, который позволял себе исподтишка злословить о царе Давиде.

Монахи недолюбливали Махару, но, невзирая на это, с показным радушием приняли почетного гостя. Обмыли ему руки и ноги, угостили жареной форелью и кутьей.

— Знаешь, отче, — говорит Махара полу-чернецу Серапиону, — припрячьте-ка вы лучше эту кутью для епископа Дирбского. Как известно, Максим — весьма добродетельный муж, он, кроме кутьи, ни к какой пище не притрагивается.

Ты, отче, человек запасливый, у тебя уж наверняка где-нибудь припрятана старая восковая водочка и винцо... Ты на меня так не смотри, не сегодня-завтра, глядишь, и меня удостоит епископской митры, ты, вероятно, слышал притчу о Лисе, который угодил в котел с краской и был избран царем зверей.

Поп-чернец ухмыльнулся, даже его дремучие усы не смогли скрыть эту усмешку.

— Я тебе одно скажу, отче, — говорит Махара Серапиону. — Ты человек не больно-то прямой...

— Почто изволишь так говорить, царевич?

— Знаешь, отче, у меня спина тоже сутулая, но в этом повинны старые раны. Ты же такой brave мужчина, а ходишь согнувшись. Да будет тебе известно, что я люблю не согнутых, как собачий хвост, а прямых, точно древко копыя.

Ты сгорбился потому, что вечно пресмыкаешься перед епископами да католикосами. Знаю я и то, что Максим Дирбели постоянно гостит у тебя, ты сам моешь ему ноги и надо мной потешаешься...

— И кто тебе мог такого наговорить?

— Ворона на хвосте принесла.

Серапион еще больше согнулся.

— Человек может враждовать с человеком. Враг должен быть у всякого мужчины. Ты, верно, слышал: грош цена че-

ловеку без врагов, — но плохо, когда ими хоть пруд пруди. Я иногда даже благодарен моим врагам — они подстегивают меня в борьбе.

Из врагов пуще всего я не терплю тихонь. Мужчина — это тот, кто, распрямившись, подобно копьют, в открытую сшибается со своим противником.

Что ты человек не правдивый, я подметил даже на сущей безделице.

— На чем же все-таки, царевич?

— Когда ты покосился на мой шлем, обвитый листьями, будь ты со мной откровенен, ты бы спросил, почему это так, а я бы тебе, не таясь, ответил: падучей, мол, страдаю.

Серапион повесил голову.

— В прошлом году в Начармагеви мне донесли, — продолжал Махара, — что ты, оказывается, разглагольствовал так: Махара-де незаконный сын царя Баграта, потому его и оставили без крепости и без вотчины. Вот он теперь и подлизывается к царю Давиду, дабы государь на старости лет пожаловал ему крепость и вотчину.

Ты монах, ведь правда? Но ты такой холеный мужчина, что если завтра сбросишь рясу и женишься, и заведешь шашни с непотребными девками — лучше моего в жизни устроишься.

Помимо всего прочего, — мне и это известно, — ты потомок великих азнауров и унаследуешь отцовский замок, не так ли?

Я же — скопец, на что мне царские милости, крепости да вотчины? И разве вся Грузия не моя вотчина? Подхалимничать пред царями не понадобится мне ни в какую погоду. Эх, мой Серапион, состарился я, а сейчас только уразумел: воздавать за зло добром, давать советы глупцу и проповедовать пред тупицей — все равно что в ступе воду толочь, только и всего.

Если мои назидания засядут в твоей голове, всем поведай: так, мол, и так молвил вавилонский царь.

Серапион остолбенел: он так и не понял, почему Махара величал себя «вавилонским царем».

При виде оторопевшего Серапиона Махара покатился со смеху. Наконец он сказал монастырскому эконому:

— Ну-ка, пошевеливайся, отец, мы спешим, поскорей накрывай на стол.

— Царствие небесное твоему батюшке, — думал про себя проголодавшийся Гингила, лукаво щуря свои серые глаза.

Монахи подивились, когда дядя царя усадил рядом с собой за стол простолюдинов в лохмотьях, еще больше они изумились, увидев, как Махара сам наливал водку стремянному и меченосцу.

Махара наблюдал за обжорой стремянным, который, точно дикий зверь, обгладывал желтыми клыками баранью ногу. Махара только сейчас заметил, что Гингила страдал удивительной болезнью — обжорством, называемой у арабов — катиджилбиа. В то утро он съел полбарана, а теперь чуть ли не в одиночку усидел поднесенного Серапионом ягненка.

— Не налить ли тебе еще водочки, старина?.. Только боюсь, как бы у тебя разум не помутился, бедняга.

— Не тревожься, царевич, чем больше я пью, тем больше умнею.

— Нет, братец Гингила, ты не очень-то старайся поумнеть. Умных и притом счастливых мало я видел на своем веку. Наоборот, дураки да бессовестные лучше устраивают свою жизнь. Два эти свойства — ум и совесть — только мешают любому из людей, хи-хи.

— Коли так, то налей мне, царевич, хочется мне лучше устроиться в жизни, может, хоть на старости лет дождусь дьяконской епитрахили, — ответил побагровевший стремянный, протягивая Махаре пустой рог.

Маймаха втихомолку посмеивался из-под усов, закрученных наподобие сваясла, жевал он лениво и даже на водку особенно не налегал.

— Что это ты такой угрюмый? Выпей-ка, Маймаха, ты, как я погляжу, только и умеешь на этом свете, что мечом рубить!

— Ничего не поделаешь, царевич. Отец мой был кузнец, только тому меня и выгучил, что ковать мечи да рубить. Отец мне все втолковывал: остерегайся пить, когда опоясан мечом, сидишь верхом на коне или собираешься в путь-дорогу.

— А жив ли отец твой, Маймаха?

— Убили у меня отца.

— Где убили?

— При взятии Хорнабуджской крепости он находился при царе Давиде. Когда он подковывал царского жеребца, неверные тут его и застigli. Двоим он размозжил головы своим молотом, но в конце концов его все же зарубили мечом, точно пасхального барашка.

— Выпей-ка теперь, Гингила, за упокой души отца Маймахи. Пусть найдет она себе приют у господ бога в дальней стране.

Махара налил еще по одному рогу стремянному и меченосцу, заставил выпить и вдруг говорит:

— А теперь я вам еще кое-что скажу. Мне ведомо, о чем вы сейчас думаете...

— Откуда? — удивленно спросил Гингила.

— Как так «откуда»? Я—ясновидец, потому-то и выбрали меня вавилонским царем. Когда я читал нравоучения иноку Серапиону, ты, Гингила, да и ты, кажется, Маймаха, не улыбались, но в душе думали: этот Махара или сумасшедший, или прикидывается сумасшедшим.

Знаете, молодцы, много по земле бессовестного люду ходит, мало того, ест хлеб, добытый потом и кровью грузинского народа.

Все это видят, а молчат. Иные думают так: лишь бы мне было хорошо, а после меня хоть трава не расти; иные боятся, как бы врагов не нажить; одни стесняются говорить правду, другие так рассуждают: только безумцы да дети способны выпаливать всю правду в глаза.

Невзирая на это, я считаю, что у нас в Грузии кто-нибудь да должен притвориться безумцем. Дабы кое-кому из наших кутил-эриставов и обжор-епископов хоть раз в год говорить в глаза правду.

Монахи хорошо знали, что Махара — любитель попить, поэтому были удивлены, когда он, совсем трезвый, поднялся из-за стола и поблагодарил хозяев за угощение.

Инок Серапион Махару терпеть не мог, называл его «злым демоном» царя Давида и обрадовался, что этот нежеланный гость собрался уезжать. Тем не менее ради приличия он все же принялся упрасивать: останься, мол, до утра. Скопец упорно стоял на своем, тогда Серапион предложил снабдить их в дорогу вином и провизией. Но и от этого Махара отказался и с юношеским проворством вскочил на свою лошадь.

После полудня выехали к перевалам. За девственными сосновыми лесами уже показались ледники, подпирающие купол мелово-белых облаков...

Лисицы и зайцы перебегали дорогу, на пригорках нежно вхохтали куропатки...

Мелькали белые церкви и воздвигнутые на вершинах скал крепости.

Ехали,
ехали,

и снова наступила тишь безлюдных лесных дебрей. Те же

самые крепости и воздвигнутые храмы теперь, казалось, нависали над бездной.

Лошадь Махары совсем выбилась из сил, он дважды сменил коня, но все никак не мог побороть предубеждение против мулов... Наконец стремянный и меченосец спешились, Маймаха вел лошадь Махары под уздцы, а Гингила погонял упрямое животное плетью.

Лошади и мулы начали фыркать и ржать, учуяв, как в зарослях и на опушке леса шарахались прочь испуганные звери, из оврагов доносился леденящий душу вой.

На дорогах валялись обглоданные зверями коровьи скелеты.

Там и сям шакалы еще глодали объедки с волчьего стола.

Расчеты Махары не оправдались, им предстояло по крайней мере три дня пути.

Запасы продовольствия быстро таяли в руках ненасытного Гингила.

Ко всему этому добавилась еще беда: в одной лощине встретился им на пути ветхий мостик. Лошади прошли по нему без колебаний, но мул, навьюченный бурдюками с вином, стал на нем как вкопанный. Гингила и Маймаха принялись избивать его плетями, обезумевшее животное ринулось в овраг, бурдюки лопнули. Гингила сначала бил себя по голове, а потом бросился вниз, следом за мулом, и пригоршнями пил вино.

У лошади Махары окончательно иссякла способность терпеть невзгоды. Не действовали на нее уже и побои, так что гордый иверийский рыцарь вынужден был пересесть на мула.

Чаще попадались навстречу отары овец, мутными волнами текли они по проезжим дорогам. Махара подмечал, как у стремянного Гингила загорались глаза при виде жирных овечьих курдюков.

За четыре дня Гингила успел поглотить весь взятый из Начармагеви запас продуктов: и ветчину, и вяленое мясо, и все прочее.

Гингила уже не скрывал тоски, в которую повергли его голод и отсутствие вина. Раз он даже, как бы в шутку, обмолвился:

— Если бы ты, царевич, парочку баранов купил, мы бы многом огонь развели.

Махара улыбнулся.

— Много времени это дело отнимет.

Потом утешил повесившего нос стремянного таким обе-

щанием: если уж очень живот подведет, ночь они проведут в крепости Бакура.

— Потерпи, потерпи, мой Гингила, ты ведь слышал: без терпения нет спасения, — убеждал Махара.

— Скажи-ка, царевич, а что едят праведники в раю?

— Что ты вздор мелешь, в раю — и вдруг едят!

— А что же делают день-деньской обитатели райских куш, царевич?

— Как что? Сидят да поют.

— Ну, так я прямо должен признаться, царевич, чем сложа руки в раю сидеть, я уж лучше в аду буду жрать.

Не доезжая до Млети, справа, на поросшей ельником горе, среди скал цвета барса показались две крепости и церковь с белой колокольней.

Махара осадил мула, некоторое время молча их рассматривал, а потом сказал стремянному и меченосцу:

— Вот это крепости Бакура и Вараза. Давайте-ка, ребята, заедем в гости к эриставу Бакуру, заночуем у него, даст он нам хороших верховых лошадей..

Немного помолчав, Махара добавил:

— Да только Бакур больно уж хлебосольный хозяин, станет спаивать, а тем временем как бы нам с царем Давидом не разминуться.

Маймаха почесал в затылке.

— Да что тебе сказать, царевич, как велишь, так и будет.

Махара перевел взгляд на Гингилу.

Слово «гингила» обозначает по-грузински епитрахиль. Это было прозвище бывшего звонаря Гарибаисдзе, всю жизнь мечтавшего о епитрахили дьякона, но за беспробудное пьянство расстриженного даже из звонарей. Потому его в шутку и прозвали Гингилой.

О хлебосольстве эристава Бакура прослышал краем уха и Гингила, поэтому от слов Махары его бросило в дрожь. Он думал так: «Если будет на то воля божья и мы в самом деле завернем в крепость Бакура, хоть денька три да покупаюсь в вине!»

Во всем этом он скопцу не сознался, а только жалобно захныкал:

— Воля твоя, царевич, если прикажешь, я вон с того утеса спрыгну очертя голову, но ты же сам видишь твоими светлыми очами, лошади совсем на ногах не держатся, да и мул не крепче.

Думал было Махара ехать дальше, но взглянув еще раз

на замки, которые высились среди скал, захотел во что бы то ни стало повидаться со старым своим соратником, эриставом Бакуром.

— Эх, будь что будет, заедем, только я вас теперь же предупреждаю: на вино не очень-то налегайте, мы останемся там только на одну ночь. Эристав Бакур ослеп, впрочем, он на старости лет умеет пировать так же, как в юности умел рубить мечом.

При вести о пиршестве любопытство овладело Гингилой:

— А откуда же в горах вино, царевич?

— Виноград привозят из Кахетии. В крепостном дворе у Бакура зарыто двенадцать таких амфор, что в любой из них можно смело уместиться верхом на осле.

Теперь Гингила пожелал узнать вот что:

— Отчего ослеп эристав Бакур?

Махара рассказал:

— Эристав Бакур, его сын и племянник Вараз во времена великого сельджукского нашествия воевали против войска Малик-шаха. Бакур служил у царя Георгия начальником Парцхисской крепости. Сын Бакура вместе с Варазом под Самшвилде напали на амира сельджукских войск.

Когда Малик-шах обложил Парцхиси, он велел передать эриставу Бакуру, чтобы тот прислал ему ключи от твердыни, не то он возьмет крепость и выжжет ему глаза.

Три месяца Бакур продержался в осаде, а потом все же выжгли глаза начальнику крепости.

В тот же день под Самшвилде убили у Бакура единственного сына.

Тяжело раненный Вараз попал в плен и пропал без вести. Выкуп Бакура обошелся царю Георгию в три тысячи дирхемов.

В тот самый год, когда Георгий гостил у Малик-шаха в Багдаде, царь поручил своему доверенному разыскать Варазу, и привезли его в Грузию сильно изменившегося. От ударов палицей обе ключицы были у него перебиты.

Из Багдада Вараз привез арабские книги, зажил он замкнуто, и дни и ночи просиживал в отцовской крепости, все читал и молчал.

Вы, верно, слышали, что в тот год, когда царь Давид вступил на трон, великое множество крепостей и храмов было разрушено землетрясением. Под развалинами Тмогви погиб сын Ниании Орбелиани — Кахабер, в тот же год обрушилась и крепость Варазу.

ТАЙНА КРЕПОСТИ ВАРАЗА

Событие это не на шутку испугало неустрашимого в сечах Вараза. Ему поминутно мерещились землетрясения.

Только сказал это Махара, — под вязами поднялась страшная возня и раздалось медвежье урчание. Скопец придержал мула и прислушался к лесным шумам. А когда вновь воцарилось безмолвие, он продолжал:

— Хоть не было еще Варазу и тридцати лет, решил он тем не менее постриться в монахи и после долгих колебаний поведал о своем замысле дяде.

«Что за вздор?! — вскричал Бакур. — У меня оба глаза выжгли, единственного сына убили, а я все-таки не отчаиваюсь. Турки наш род истребили, глядишь, не сегодня-завтра обе мои дочери уйдут в монахины.

Если теперь и ты останешься бездетным, на что это похоже?»

Над гребнем Кавкасиони прокатился гром, Махара преврал рассказ и глянул на небо. Солнце скрылось за черными тучами. Пологая щебенистая дорога вилась все выше и выше.

Опять зашумел безлюдный лес, послышался какой-то топот, непохожий на цоканье лошадиных копыт.

Через дорогу проскакало стадо оленей. Своими могучими ветвистыми рогами вожак разодрал заросли ломоноса, и еще долго из чащи вязов доносились треск, свист и топот.

Махара заговорил:

— ...Наконец Вараз внял мольбам Бакура и его супруги Сидонии, только заявил:

«Женюсь лишь в том случае, если удастся построить крепость, которая устоит против любого землетрясения».

В великий четверг, под вечер, к крепости Бакура подъехал курчавый рыцарь верхом на муле, похожий на змею меч в черных ножнах висел по иранскому обычаю у него на поясе. Рыцарь спросил Вараза.

Гость пожелал остаться с Варазом наедине и заявил ему:

«Я — зодчий из Артануджи. От странствующих монахов слышали там, что крепость вашего отца разрушена. Если угодно, я построю вам крепость, которую не сокрушить никакому землетрясению».

Целую ночь, сказывают, шептался гость с Варазом в опочивальне. И поныне никому не ведомо, о чем совещались они и на чем порешили. И трех лет не прошло, как зодчий

сдержал свое обещание — и на развалинах отцовской крепости воздвиг замок, которому не страшно никакое землетрясение.

Между тем путники миновали еще один косогор. Теперь две крепости, стоящие на утесах друг против друга, были видны как на ладони. Махара показал плетью на восток.

— Вот эта, слева, рядом с белой колокольней — крепость Вараза, а вон та, напротив нее, с четырьмя башнями — эристава Бакура...

На колокольне стоял звонарь в черной чохе и бил в колокола...

Звонкие, чистые голоса колоколов разносились по безмолвному ущелью, со скал взмывали в небо орлы, рассекая воздух взмахами могучих крыльев.

Дорога изогнулась петлей, и обе крепости скрылись за исполинскими чесалками вековых елей.

— Потом дело было так, — продолжал Махара, — кларджетский зодчий расписал и покрыл глазурью палаты замка. В одной из них, той, где сам он прожил три года, зодчий запечатлел самого себя.

Отделочные работы в замке зодчий закончил как раз в канун светлого воскресенья. На эту вот колокольню поднялся на рассвете пономарь Шиола, чтобы позвонить к заутрене, и вдруг увидел: под колоколами без шапки стоит чернокудрый зодчий.

Когда он слышал шаги и скрип ступеней, у него выросли крылья и он взлетел в небо.

— Да неужто?! — воскликнул Гингила.

— Так я слышал, а лучше меня ведает об этом событии господь бог, — добавил Махара.

Вараз пропустил мимо ушей рассказ Шиолы. Крепость, которую не разрушить никакому землетрясению, вселила бодрость в эристава Вараза, и взял он в жены племянницу ларгвисского эристава. Она подарила ему троих сыновей. Но беда не заставила себя ждать.

Однажды ночью какой-то рыцарь с подъятым мечом ворвался к спящему Варазу в опочивальню. Вараз вскочил на ноги, и долго продолжалось единоборство. Потом пришли к отцу на помощь его юные безбородые сыновья.

До зари из-за запертых дверей опочивальни слышался звон мечей и неслись страшные крики.

На другой день челядь взломала двери, и жуткое зрелище

предстало взорам слуг — отец лежал с пронзенной грудью среди зарубленных мечом сыновей.

Подозрение Бакура пало на правителя замка эристава Вараза и троих постельничих монахов, их заковали по рукам и по ногам, долго пытали, заставили даже присягнуть на иконе. Ночная стража в один голос уверяла: в ту ночь никто не входил в замок через ворота, так что злодея и след простыл.

Единственная улика: одно окно было открыто.

Жена Вараза вернулась в отцовский замок — Ларгвиси. С того дня заперта крепость Вараза, и живет в ней один старый звонарь Шиола, — закончил Махара.

Длинноногие босые мальчишки с гиканьем бежали за стадами коров и овец, которых гнали к крепости Бакура. Рычали и лаяли волкодавы.

Воинственный рев ослов на пригорках, неподалеку от крепостей, оглашал ущелье.

Коровы с набухшим выменем, мыча, трусили по пешеходным тропкам, которые вели к крепостям.

По другую сторону лощины полуголые мальчишки гнали табун лошадей, только что выкупанные животные блестели на солнце, словно покрытые лаком. Дорога петлей обвивала гору, похожую на пирамиду. Обогнув ее слева, путники уже отчетливо видели дворы и местность, прилегающую к крепостям Бакура и Вараза.

Преодолев еще один крутой подъем, они услышали разноголосый шум, — по двору крепости Бакура сновала челядь, визжали убойные свиньи, жалобно блеяли подвешенные вниз головой козы,

Махара сказал:

— Большие приготовления идут в крепости! Быть может, эристав над эриставами ждет царя Давида?

У Гингилы, утомленного ездой по безлюдным горам, слюнки потекли при виде животных, висящих вниз головой на деревьях.

Когда всадники приблизились к щиту крепостей Вараза и Бакура, из небольшой пещеры вышли трое стражей и спросили приезжих, кто они такие. Узнав, что пожаловал дядя царя, один из них вскочил на коня и во весь опор поскакал к крепости.

Навстречу Махаре из ворот крепости вышли местумретухуцеси эристава Бакура и трое его помощников с непокрытыми головами.

Местумретухуцеси снял шапку и взял мула Махары под уздцы, а помощники его побежали впереди почетного гостя. У крепостных ворот Махара спешился, правитель замка и трое местумре ввели его во двор.

Величавый старец с гривой серебристых волос сидел под тысячелетней липой в высеченном из камня кресле, перед ним стоял огромный каменный стол. Заслышав шаги гостя, слепой старец с юношеской живостью вскочил с места и длинными своими руками обнял скопца за плечи.

Долго со слезами на глазах целовали друг друга соратники былых лет.

— Я счастлив, что мне привелось еще раз услышать твой голос, Махо. Позавчера послал я в Начармагевский дворец приглашения. Ведь через неделю у нас свадьба, Махо, — рокотал длиннородый старец. Когда покончили со взаимными приветствиями и расспросами, Бакур сказал:

— Из Ананури сообщили мне, что царь Давид поехал в Дарьяльское ущелье. Я выслал навстречу ему моего внука Валанга, местумретухуцеси и духовника. Государь велел передать мне: сейчас он очень спешит, но на обратном пути непременно сюда заедет.

Я приказал завтра же освятить замок Вараза и привести его в порядок: в моей-то крепости едва ли найдется столько палат, чтобы принять и царя, и весь его двор.

Махара услышал скрип ступеней. Уловив шум шагов, Бакур вдруг радостно закричал:

— Валанг, Валанг, ты знаешь, кто приехал?!

На его крик прибежал синеглазый юноша, кудри цвета спелой пшеницы ниспадали ему на лоб. Махара ласково посмотрел на юношу, который под пристальным взглядом незнакомца зарделся, как девушка.

— Это, Махо, моя единственная надежда в жизни—мой внук Валанг, — взволнованно проговорил слепец, поглаживая юношу по руке.

— Сбегай, дитя, и позови сюда поскорей твою бабушку.

Когда шаги Валанга затихли, Бакур продолжал:

— Ты, Махо, человек чуткий и без слов поймешь, как я сегодня счастлив. Семью племянника моего Вараза, как тебе известно, истребили. Отчизне я принес в жертву три самых драгоценных для человека сокровища: мое единственное дитя и оба глаза.

Один Валанг остался мне в утешение, его-то я и собираюсь через неделю женить.

Валанг — единственный продолжатель нашего угасающего рода.

Горе мне! Обречен я на вечный мрак и лишен счастья узреть его своими глазами!

Да простит господь мне эту жалобу, его милостью я все же счастлив.

Чуть только услышу голос и шаги моего Валанга, мне так и грезится, будто зовет он меня.

Мать моя была знаменитая сказочница, и от нее я слышал, что у счастья есть один-единственный изъян: его никогда не увидишь собственными глазами, а если все же сумеешь подглядеть, оно проскочит между пальцев.

Омраченную мою старость скрасил Валанг. С малых лет спал он вместе со мной, я неизменно охранял и сон его, и бдние; легкое, ровное его дыхание всегда радовало мне душу.

Как тебе нравится мой Валанг? Что скажешь, Махо?

— Что и говорить — истый львенок!

К почетному гостю подошли супруга эристава Бакура — Сидония, местумретухуцеси и домашний священник, отец Макарий.

Бакур велел местумретухуцеси накрыть стол под липой.

— Остальных гостей, — сказал он, — пригласите в столовую палату и там их попотчуйте. Царевич устал с дороги, и мы с ним вдвоем спокойно посидим под липой. Махара должен отведать моих вин.

Уже стемнело, поэтому принесли сосновые лучины, зажгли их по обе стороны стола. Звезды золотыми веснушками усеяли небо.

Местумретухуцеси и стольник подносили дяде царя Давида выдержанные вина, вареную в молоке телятину, подрумяненную на глиняных сковородах форель и жареных целиком, вместе с рогами, туров на серебряных подносах.

Туры ласкали взор Махары. Он уже не надеялся на свои зубы, источенные временем, так что эти жареные туры лишь пробудили в нем воспоминания юных лет, когда Махара сам на них охотился и наблюдал, как опускались они на колени у самого обрыва и, подобно самоубийцам, очертя голову, кидались в бездну.

Махара проголодался и с жадностью набросился на телятину. Бакур сказал:

— В нынешнем году, Махо, я тоже сделал отличные вина. Особые сорта винограда прислал мне из Кахети мой

дядя. Как тебе известно, немало глупцов на этом свете пьют вино, но далеко не каждый человек понимает в нем толк. Разве дело тут в одном винограде?

Чтобы выдержать вино, надо обладать большим умением. И, что главное, вкусом. Вкусом, которому нельзя научиться и который нигде не продается, не так ли?

— Воистину, — подтвердил гость.

— Я хоть и не объездил, подобно тебе, весь свет, но за свою долгую жизнь многое постиг. Хлеб-соль да вино, конечно, мелочи, но ведь в конце концов из мелочей складывается наша жизнь! Канаты, которыми связывают разъяренных слонов, скручивают из тоненьких бечевок...

Потому-то и отношусь я с величайшим вниманием ко всякой мелочи, хотя известно, как немощен глаз смертного пред лицом ослепительного, как солнце, всевидящего ока господня.

Погляди-ка налево, видишь круглые сланцевые плиты? Ими закрыты амфоры — там мои винные погреба.

Самую крайнюю амфору я велел наполнить восемнадцать лет назад, как раз в день рождения моего Валанга.

Сам я вырос в Кахети, там, как тебе известно, есть такой обычай: при рождении каждого из членов семьи наполняют отдельную амфору и открывают ее лишь в день его свадьбы.

Эту амфору я велю почать в день свадьбы Валанга.

Из числа амфор, наполненных восемнадцать лет назад, три в этом году уже открыли. Знай же — ты в жизни не пробовал такого вина!

Бакур отпустил столownika и всех местумре, факельщикам велел зажечь на столе новые лучины... Сидели под липой бывшие соратники, немало повоевавшие на своем веку, и вспоминали лихие години кровавых дождей.

Луна выплыла из-за гор, стада беломраморных барашков рассыпались по звездному небу.

Лениво потягивали вино старики, расположившись под сенью липы. Мяуканье рысей и дремотный шум далеких водопадов доносились из черных пастей ущелий.

Рысье мяуканье временами сменялось отчаянным воем какого-то неведомого обитателя лесов; казалось, страстная мольба души возносится к небу.

Когда выпили за здоровье царя Давида, эристав Бакур сказал:

— Грузии повезло, что амиру Липариту, кахетинскому

царю Ахсартану и кое-кому из кутил эриставов и обжор епископов не удалось содейть с нашим государем то же, что католикос Петр и его приспешники-епископы содейали с по- велителем Армении Гагигом.

Насколько мне известно, Гагик не пожелал ехать на поклон к императору Константину Мономаху. Духовенство «наставляло» царя до тех пор, пока не заманило его в ловушку. Ты лучше моего знаешь, как Мономах захватил Гагика в плен и прибрал к рукам Армению вместе с Аниси.

— А ты как думаешь, — сказал Махара, — разве Липарит, Рати и Ахсартан не о том же самом мечтали? Они замышляли свадьбу в Липаритис-убани, а во время этой мнимой свадьбы собирались схватить царя Давида. Втайне поддерживали их и другие эриставы. Потому я доньше и не в ладах с твоим родичем, эриставом ларгвисским.

Когда амира Липарита допрашивали в начармагевской темнице, он сознался, что ларгвисский эристав обещал ему две тысячи тяжеловооруженных ратников. Сейчас Ларгвели уже одряхлел, и царь Давид не пожелал выставлять его на позорище. Года два потерпим, а там смерть сама воздаст ему по заслугам.

— Да что ты говоришь! — вскричал Бакур, хватаясь за голову. — Знай я об этом раньше, ни за что не пригласил бы старого пса на свадьбу.

Из крепостного двора виднелись родовая усыпальница эриставов, небольшая базилика с одним нефом и множество могильных камней. Застыли каменные ангелы, озаренные луной; крылатые эти фигуры, скорбно склонившиеся над усопшими, казались живыми.

Долго созерцал Махара это зрелище и наконец проговорил:

— Знаешь, Бакур, по-моему, царь Георгий разумно поступил, запретив хоронить во дворе Гегутского дворца новых покойников. Он говорит так: где жизнь еще кипит, там смерти не должно быть и в помине.

— Эх, Махо, кто разделит Свет и Тень? Кто разлучит Жизнь и Смерть? Наши предки правильно поступили, устроив усыпальницу неподалеку от замка. Мне чудится, будто все в ней погребенные — это частицы моей души. Одних мужчин там похоронено больше ста — иные умерли от тяжелых ран, иные пали в бою. Ты только посмотри вниз, увидишь, как Смерть витала над нашим родом.

Проклятые сельджуки истребляли нас, Махо, но судьбе этого мало: нечистая сила поселилась в крепости Вараза... На завтра я пригласил епископов — замок Вараза надобно освятить. Кроме того, я жду царя Давида со свитой и сто с лишним гостей из Ках-Эрети.

Едва Бакур успел это сказать, в крепостном дворе залаяли волкодавы, из конюшен послышалось лошадиное ржание. Потом раздался топот копыт по каменистой почве, стук и лязг железных засовов...

Прибежал местумретухуцеси: пожаловали эристав ларгвисский и четверо епископов вместе со своими приближенными.

Бакур, понизив голос, приказал местумретухуцеси:

— Передай от меня Сидонии: пусть гостей накормят ужином и уложат спать.

Постельничий монах спросил хозяина и гостя, не желают ли они отдохнуть.

Махара сказал:

— Знаешь, Бакур, очень уж много к тебе нагрянуло гостей... Да помимо всего прочего, не желаю я ночевать под одной крышей с эриставом ларгвисским. Так что я уж лучше проведу ночь в замке Вараза. Пусть моему стремянному и меченосцу тоже там постелят.

Бакур встревожился:

— Что ты говоришь, Махо?! Последние семь лет в замке Вараза, кроме звонаря Шиолы, ни один смертный не ночевал! А Ларгвели ты и в глаза не увидишь — я нынче ночью уложу тебя в своей опочивальне.

Завтра замок Вараза освятят, епископы прочтут молитвы, снимающие чары с заколдованного жилища. А там твоя воля — если угодно, переселяйся туда и живи хоть до приезда царя Давида.

Махара послушался его совета, но вставать из-за стола пока не собирался. Попросил принести вина.

— Встретим рассвет с полными чашами, — сказал он.

Когда опять стали пить, Махара пожелал подробнее разузнать у Бакура о столь чудном исчезновении зодчего. Бакур опустил голову.

— Знаешь, Махо, до рассвета еще далеко, так давай не будем ворошить темное прошлое, — сказал слепой и велел постельничему монаху позвать местумретухуцеси.

На другой день ни свет ни заря в крепость прискакал гонец от Каримана Сетиели и доложил эриставу Бакуру: через неделю пожалует царь Давид и соизволит присутствовать на свадьбе.

Все новые и новые гости стекались в крепость Бакура. Оседланные лошади уже не умещались в конюшнях обеих крепостей и наводняли окрестности. От их многоголосого ржания можно было оглохнуть. Днем приехали бодбийский архиепископ Падлиа в сопровождении трех епископов и ланкисский эристав со своими приближенными.

На склоне дня епископы и домашний священник отец Макарий в полном облачении, с хоругвями и знаменами возглавили шествие.

С песнопениями направились они к замку эристава Вараза. За священником двинулись Бакур со своими домашними, эриставы, старейшины, дворцовая челядь, смерды, боногие рабы и нищие.

У главных ворот их встречал коленопреклоненный звонарь Шиола, единственный обитатель замка эристава Вараза.

Падлиа, бодбийский архиепископ, подошел к парадным дверям, которые в день похорон Вараза и его сыновей открыли, четырежды стукнув об них гробами, и троекратно ударил по ним крестом.

Едва отворились двери, шествие последовало в замок. Епископы пели молитвы и хурили ладаном.

Гости, прибывшие из глухих горных мест, изумленно разглядывали палаты, с большим искусством расписанные и покрытые глазурью.

Все убранство и даже посуда лежали нетронутыми со дня гибели этого семейства.

Сам Махара, который видел на своем веку немало пышных чертогов в Византии и в мусульманских странах, и тот как зачарованный любовался фресками, выполненными с недостижимым мастерством.

Среди эсхатологических картин приковывали к себе внимание семь апокалиптических всадников. Вставшие на дыбы лошади с широко раздутыми ноздрями были изображены столь искусно, что, казалось, вот-вот заржут.

Там же был и Иисус-чудотворец, обративший нечистую силу в стадо свиней, которые низринулись со скалы, и Патмосский остров, и Зеленый Конь.

Махара глаз не мог оторвать от двух ангелов — Тагута и Магута — висящих вниз головой в вавилонском подземелье; они таинственно шевелили длинными прекрасными пальцами и творили чудеса.

Вокруг простертых из преисподней рук витали легкокрылые духи, меньше бабочек; алые, как цветок граната, цвета зеленой лягушки и киновари, они создавали фантастический калейдоскоп сочных ярких тонов.

На противоположной стене красовались закованные в золоченую броню чернобородые эриставы — предки владельца замка. Иные могучими волосатыми, жилистыми руками опирались на мечи, иные стояли с поднятыми мечами, иные гарцевали у подножия скал. Ряды их замыкал победитель дракона святой Георгий верхом на белом коне.

На третьей стене виднелась единственная фреска: зодчий из Артануджи. Лицо курчавого, темноволосого мужчины обрамляла черная как смоль борода, скулы были цвета яичного желтка. Змеевидный меч по иранскому обычаю висел у него на поясе.

Тотчас же по приходе в палату все — от мала до велика — загляделись на эту фреску.

Наконец пред многоядным собранием предстал архиепископ бодбийский Падлиа и своим зычным голосом прочел заклятие против нечистой силы, поселившейся в замке.

«Господи боже спасения нашего, сыне бога живого, на херувимах носимый, превыше сущий, всякого начала и власти, и силы, и господства.

Глаголь солнцу — и не воссияет, звезды же запечатлей.

Запрети морю и иссуши его. Твоя же ярость растопит начала и власти, и камни содрогнутся от тебя. Врата медные сокруши еси, и столбы железные сломил еси.

Крепкого связал еси, и сосуды разодрал еси. Мучителя крестом твоим низложил еси, и змия естеством человеческим привлек еси, и узами мрака, в тартаре посадив, связал еси.

Ибо сам ты, господи, — утверждение на тебя надежду возлагающих, крепкая стена на тебя уповающих, отринь, отвергни и в бегство обрати всякое дьявольское наваждение, всякий навет сопротивный и силы належащие от крова сего и от одержимых от него, и от обходящих под ним, знамения страшные на демонов победы креста твоего.

Ей господи, легионы демонов отогнавший, и глухому, и

немому демону и нечистому духу, удержавшемуся от чело- века, изыти и исходу невозвратным быть повелевший.

Все ополчение невидимых врагов наших истребивший, верных же и познавших тебя умудривший. Даю вам власть, дабы попать змиев и скорпиев и всю силу вражью.

Сам, владыко, ты превыше всякого вреда и искушения, всех сущих в дому сем сохрани, избавляя их от страха ночного и стрел, летящих во дни, от вещи во тьме приходящей и демона полуденного.

Яко ты еси, боже, утверждение мое, и у тебя единого есть царство и сила и слава, со отцем и святым духом, ныне и присно, и во веки веков. Амины!»

«Амины!» — пробубнили епископы и толпящиеся вокруг них гости и челядь. Юный Валанг и Махара взяли эристава Бакура за руки, слепой преклонил колена перед бодбийским архиепископом, приложился к его руке, и из потухших глаз старца покатались слезы. То скорбел он по своему племяннику и его загубленной семье...

— Изыди, сатана! — воскликнул бодбийский архиепископ Падлиа.

— Изыди, Вельзевул! Изыди, сатана! — грянул народ, и эхо этого дружного, прозного возгласа прокатилось по опустелым залам и палатам замка эристава Вараза.

У порога плакал на коленях звонарь Шиола в черной чохе, беззвучно шевеля губами: — Изыди, сатана!..

* * *

В Дарьяльском ущелье Махара не бывал. Хотя эристав Бакур дал им шесть верховых лошадей, столько же мулов и табунщика, путникам пришлось очень туго. Стояло то время года, когда наши пастухи перегоняют овечьи отары с гор на летние пастбища.

Несметные стада заполнили дороги и тропы, овцы усеяли склоны гор.

Уставшие от долгой ходьбы пастухи ленились расчищать путникам дорогу, поэтому Гингиле и Маймахе пришлось бежать впереди лошади Махары и разгонять кнутом этих кротких животных, которые, как это свойственно глупцам, вообще не любят уступать дорогу.

Гребни гор уже покрылись проталинами. Оттепель только что началась. Ручейки, журча, струились по склонам; внизу,

уже превратившись в потоки, они сливались друг с другом, впадали в реки и, полноводные, сбегали в ложбины.

Горные ручьи и потоки размыли придорожные утесы, так что кое-где обломки скал заваливали дороги и тропы.

Гингила и Маймаха то и дело слезали с мулов и скатывали в пропасть огромные глыбы.

Безмолвствовали дремучие леса, верхушки исполинских сосен упирались в купола облаков, что покоились на горах.

На Крестовом перевале цвели азалии, мотыльки порхали над колышущейся под ветром золотистой сурепицей, а на расстоянии полета стрелы шел снег.

В пастях ущелий еще лежал зимний снег, нередко лошади проваливались в него по самую грудь.

Еще большей преградой были несущиеся с запада потоки, местами мулам и лошадям приходилось переправляться через них вплавь.

Особенно бушевал Наджихвари. Тамошние пастухи рассказывали Махаре: недавно поток так сильно вздулся, что трое пастухов, поплывших за овцами, не вернулись назад — их унесло течением.

Наджихвари — это русло пересохшей реки, ложе которой и по сей день шире, чем у Арагви. Во время весеннего паводка она превращается в ненасытного зверя и глотает смельчаков.

Махара велел Гингиле достать веревку, стремянному и меченосцу дал в руки по концу, сам же иверийский рыцарь ухватился за ее середину. Так после долгих мытарств они переправились на другой берег. И здесь не обошлось без беды: мул, навьюченный снейдью и бурдюками, свалился в воду, долго волочил его за собой поток, мула вытащили, но еда уже никуда не годилась.

«В этом происшествии повинен рыжебородый поп-чернец Серапион: наверно, это он их сглазил», — решил Махара.

Из крепостей, построенных в устьях ущелий, как тени, выбегали дозорные, преграждали дорогу Махаре и его спутникам, а узнав, что едет дядя царя Давида, оказывали ему почести, приглашали скопца в гости.

Махара видел, что из-за последнего несчастного случая голод опять стоял у их порога, но боялся, как бы не разминуться с царем Давидом, поэтому, переправившись через Наджихвари, приказал своему стремянному и меченосцу не шадить мулов и лошадей.

Нигде не было ни души. На тропинках, что карабкались по безлюдным утесам, стихла даже звериная возня, и только

стаи орлов безмолвно кружили над задранными хищниками. Заслышав стук копыт, они поднимали клекот, а рассевишиеся вокруг них вороны, почуяв приближение путников, с карканьем кидались врасыпную, точно разбрызгивая по небу капельки дегтя.

Лишь на третий день достиг Махара того места на берегу Большой Арагви, где меж неприступных утесов прячется дорога, ведущая в Осети и страну дзурдзуков.

— Сколько парсангов осталось нам до крепости Дариала? — спросил Махара у первого встречного — старика в тупе.

Не успел тот и ответить, как из ближайшей пещеры, словно призраки, выскочили двое лучников, расспросили скопца, кто он и куда держит путь.

Оказалось, это дозорные из новопостроенной крепости царя Давида. Они-то и отвели Махару и его спутников к Шторе Моркневели, недавно назначенному начальником крепости.

Махаре не по вкусу пришлось, что царь со свитой перенбрались в старый дворец: еще, должно быть, долго придется ехать верхом.

Моркневели взял с собой троих воинов, и они двинулись вниз по Арагви.

— Да разве мы за этот короткий срок одну крепость Давида выстроили? Восстановили старый дворец на Орлином нагорье. Этот дворец, как тебе, должно быть, ведомо, был построен еще до Вахтанга Горгасала. Здесь, бывало, стояли лагерем наши цари, собираясь идти в поход на хазар и половцев, — сказал Моркневели.

Гулко отдавался меж безлюдных круч мерный цокот копыт лошадей и мулов. Махара едва на ногах держался от усталости и все же с неослабевающим любопытством выпытывал у Моркневели свежие новости.

— Не ездил ли государь в Осети?

Ему отвечали: царю было не до этого.

— Не писал ли чего нового Стефаноз Цилканский?

— Нет, — отвечали ему.

Теперь настал черед Моркневели спрашивать Махару:

— Не знаешь ли ты, что пишет Лулу бен Гайдар? Три дня назад получил царь из Начармагеви письмо Лулу, с тех пор никто не видел улыбки на его лице.

— Неужели ты, Штора, не сумел проведать, что пишет Лулу? — допытывался Махара.

— Не то что мне, — даже Ниани Бакуриани и Арсену

Икалтоели царь не показывал письма. Кончив читать грамоту, сказывают, побледнел государь, снова ее свернул и спрятал в свою книжницу.

— Скажи-ка, Штора, а когда государь собирается домой?

— Царь решил завтра чуть свет сняться. Он дал эриставу Бакуру слово непременно присутствовать на свадьбе его внука. Притом до Каримана Сетиели доходят недобрые вести из Ширвана...

В Гянджу прибыл амир сельджукских войск с многочисленной ратью.

Нашим лазутчикам еще не удалось установить, намереваются ли они идти походом на Триалети или вторгнуться в Ках-Эрети.

Путники проехали нагорье и, вступив на изрезанное оврагами плато, они вдруг услышали громкое конское ржание.

Из конюшен высовывались головы боевых коней царя Давида.

Даже старинный дворец, построенный в глубокой древности из каменных глыб эпохи неолита, носил на себе следы обновления. Фасад заковали в сизую отборную броню, на остальных же стенах уцелел вековой мох, они пока стояли в лесах.

Махара мимоходом кинул взгляд на медвежат, волчат и гусят, которые резвились в новом загоне; неподалеку от них на нашесте клевали носом плешивые ягнятники.

Во дворце Горгасала, в зале с низкими сводами, вокруг длинного каменного стола сидели царь Давид, Арсен Икалтоели, Нианиа Бакуриани, Шергил Липартиани, трое епископов и лысый поп с бородой цвета папоротника, достававшей ему до самого пояса.

Судя по еще не убранному столу, с трапезой уже закончили. Чернобородый стольник печально поглядывал на нетронутые чаши.

За столом беседовали вполголоса.

Махара поразился, увидев царя: Давид сидел, чуть-чуть сутулясь и облокотясь на стол. Волосы и борода у него сильно отросли, вокруг подбородка появилось несколько белых волосков, обветренные скулы на солнце заметно загорели...

Давид удивился приезду Махары, глаза засветились застенчивой радостью. Он встал и расцеловался с новоприбывшим.

Расспросив о начармагевских новостях, царь усадил скопца рядом с собой, обернулся к своим сотрапезникам и продолжал начатый разговор:

— ...Много трудов положили мы на крепость, но я об этом не жалею. Крепость Дариала построил еще царь Мирван, собираясь идти на хазар.

Сейчас самое спешное дело—это укрепление ворот Дарьяльского ущелья.

Не сегодня-завтра мы введем во Внутреннюю Картли двухсоттысячное половецкое войско.

С Атрахой Шарагановичем мы, должно быть, вскоре породнимся, но не это главное.

Нынче Землей половецкой правят Шараган и его сын, но, как известно, племя половецкое — неутомный народ.

Что случится завтра или послезавтра, одному богу ведомо...

Притом, на свете нет ничего вечного, а тем более — вечной дружбы...

Дружба нередко бывает роковой, более, нежели вражда. Известно также, что Дружба и Вражда вечно качаются на чувствительных весах, достаточно горчичному зернышку упасть на одну из чаш, чтобы друг обернулся врагом, а враг — стал другом... Ясно также, что бывший друг опаснее недруга, враждующего с тобой испокон веков.

Давид спросил скопца:

— Как тебе понравилась наша новая крепость, Махо?

— Построить бы тебе, государь наш, еще тысяч десять таких твердынь! Доложу я тебе, кстати, что в этих краях меня поразило прежде всего обилие крепостей. Устье каждого ущелья замыкает крепость, каждое нагорье охраняет твердыня. Вот бы нам всю Грузию так укрепить!..

Сказал Махара и стал перечислять те места, где он считал нужным возвести крепости.

— Эх, Махо, нам и впрямь до зарезу нужно строить побольше новых крепостей, но изобилие замков не решает дела.

Неприступных крепостей до сей поры известно только две: Аламутская в Иране и Биртвисский бастион в Грузии. Я мыслю так: наш народ должен как зеницу ока хранить нашу главную крепость — веру в собственные силы. Если враги сокрушат эту твердыню, остальные крепости сами им сдадутся.

Махара вздрогнул—вспышка молнии озарила окна дворца, внезапно донесся раскат грома. Несколько мгновений обступившие дворец горные вершины безмолвствовали, потом вдруг загрохотало в лощинах.

Царь встал и вышел на балкон. Вся свита последовала за ним. Шел слепой дождь —солнышко умывалось, над Мкин-

вари повисло облако—простертое, точно длань господня. За горой шел снег; лучи, блестящие, как только что размотанные шелковые нити, сияли над седым Мкинвари.

В тени, отбрасываемой этим облаком, виднелась церковь Тройцы и Гергети. Вдруг продолговатое облако скрылось, по небу пошли белоснежные, чистые, словно детокие грезы, ба-рашки и столпились вокруг Мкинвари.

Солнце склонилось к западу, и небосвод с плывущими по нему облаками стал похож на какой-то пылающий оранже-вый офорт.

Надвигалась мгла, шлемы купоросно-синих гор озарились переливами желтых и красных тонов.

И Махара, и все приближенные царя были потрясены столь внезапной переменой небесной декорации. Теперь обла-ка посерели, за снежными вершинами снова блеснула молния, прокатился гром, и всюду, куда хватал глаз, засверкали зиг-заги молний.

Мгновенно небо стало свинцовым, из почерневших зевов ущелий доносился немолчный гул. На миг темные вершины замерли, купоросно-синий цвет мало-помалу тонул во мгле. Вдруг небосклон точно опустился вниз, раза два его прореза-ла молния, и начался ливень.

Царь со свитой вернулись в залу. Все чувствовали, что твердое решение царя ехать на другой же день объяснялось не одним желанием поспеть к свадьбе внука эристава Ба-кура.

Все знали, что не в его характере выказывать страх на людях. Должно быть, царя заставили призадуматься вести, дошедшие из Гянджи.

Несмотря на это, старики опасались выезжать на следую-щее утро. Они подослали к царю Арсена Икалтоели, который уговаривал Давида выслать вперед Каримана Сетиели и тело-хранителей, чтобы они разведали дороги, а потом уже отпра-вляться в путь самим.

Царь выслушал своего духовника и спокойно ответил:

— Я, отец Арсен, в этих краях охотился, исходил их вдоль и поперок. Потоки, правда, вздуваются неожиданно, но нам нельзя медлить.

Высылать вперед Каримана Сетиели нет никакого смыс-ла, пока он вернется с новостями, мы дня два потеряем.

Как тебе известно, мне сейчас не до пиров, но эристав Бакур принес на алтарь отчизны столь большие жертвы, что я не в силах отказать слепому старцу.

Главное, не по душе мне, что амир войск явился в Гянджу с большой ратью.

Нередко за день опоздания мы расплачиваемся целым веком слез. Боюсь, святые отцы не перенесут этой опасной дороги. Я и мои спасалары закалились в сражениях да на охоте. Если понадобится, вплавь переправимся через горные потоки, в пастушьих лачугах заночуем..

Икалтоели молчал, а Давид продолжал:

— По-моему, с отъездом двора спешить нечего. Вы с епископами можете выехать несколькими днями позже. Большой шатер мы возьмем с собой, а шатерничий и обозничий поедут с вами.

И Арсен Икалтоели, и старики епископы в один голос взмолились: раз уж ехать надобно столь спешно, то они двинутся в путь вместе со всеми.

Царь приказал Ниани Бакуриани назначить помощника Шторы Моркневели начальником новой крепости.

Новость эта озадачила Нианию... Таится от них государь, а ведь, верно, ждет больших событий!

Чуть свет весь двор был уже на ногах.

Царь окинул взглядом Мкинвари—над ним повисло единственное облако, сверкающее, точно златотканый балдахин.

Давиду подвели вороного жеребца с черной, как ночь, гривой и хвостом. Царь обрадовался. Он обратился к едущим позади него Ниани Бакуриани и Махаре.

— На этого жеребца я еще ни разу не садился. Когда я меняю лошадь, мне так и хочется ей сказать:

— Посмотрим, кто из нас двоих дольше устоит перед врагами? На войне мне до боли жаль лошадей. До чего же прекрасные и преданные животные эти бедняги!..

Мы, люди, боремся и истребляем друг друга, а их, ни в чем не повинных,—приносим в жертву. Когда любимый жеребец моего деда был смертельно ранен, Баграт опустился перед ним на колени и поцеловал издыхающего коня в глаза.

Я испытал неистовство в бою, которое порой охватывает каждого из нас, и невольно передается животным,—они тоже приходят в ярость.

— Да разве одни лошади? — вставил свое слово Махара. — Я наблюдал, как во время войны бесились верблюды и слоны.

С виду это столь безобидные создания, а, случалось, буйствовали пуще коней.

Царю хотелось еще поговорить о боевых конях, но тропа

настолько приблизилась к Арагви, что из-за шума ничего не было слышно. Как бешеный барс, ревела Арагви, пенные волны лизали скалы.

Орлы лениво поднимались с утесов. Махара то и дело поглядывал вверх. Он поравнялся с Давидом и поделился с царем своими опасениями:

— Эта туча цвета волчьей шкуры мне что-то не по душе. Боюсь, государь, как бы погода опять не испортилась!

— Эх, будь что будет! Никто не в силах пойти против воли providения. Я тоже примечаю—не к добру эти тучи бродят по небу.

Уже проехали Степан-Цминда, когда издали донесся сильный удар грома, небо вдруг нахмурилось, снова грянул гром и резкий ветер взлохматил лошадиные хвосты и гривы.

Давид сказал:

— Мне за эти два месяца уже прискучила тихая, спокойная жизнь. Ничто на свете так меня не бодрит, как громовые раскаты в горах Кавкасион. Невольно вспоминается юность: не было у меня тогда забот, и гонялся я за турами по Двалетским горам.

Мне и жизнь не мила, если не окрыляет меня могучее возмущение природы.

Мкинвари еще был виден, когда по небу двинулся целый легион пепельно-серых туч. Они обступили двугорбую вершину, в горах опять прогремел гром, по ущельям прокатился мощный рокот, а вслед за ним — ритмичные раскаты, напоминающие стук лошадиных копыт по бревенчатому настилу.

Кругом виднелись голые утесы и облысевшие лужайки, а местами — груды валунов.

Через два мутных потока переправились благополучно. Туман поднимался с гор, еще до половины покрытых снегом. Только лошадь Махара оказалась на волосок от гибели: споткнулась о подводный камень, припала на передние ноги, однако Штора Моркневели и Нианиа Бакуриани подоспели вовремя, они подхватили старика на руки, точно вязанку хвороста, и посадили на запасную лошадь, которую стремянный Гингила вел за ним на поводу.

Не успели добраться до другого берега бурливого потока, как начался ливень. Во мгновение ока поднялась вьюга и с вершин двинулись снежные лавины. Едва зазеленевшие молодой травкой поляны опять запорошило снегом.

Махара настойчиво уговаривал царя Давида:

— Давайте укроемся в Кумильской крепости, а то скоро

мы подъедем к Наджихвари. Если начнется паводок, мы пропали — нас унесет вместе с лошадьми.

Царь догадался, о каком горном потоке шла речь. Он хорошо знал: если не добраться до него раньше, чем начнется половодье, не хватит и трех дней, чтобы переправиться через Наджихвари. Поэтому он подозвал сотника Латерию и приказал взять с собой малое войско.

Осадили лошадей, покрепче затянули подпруги и двинулись вверх по крутым дорогам. До Наджихварской ложбины оставалось полпарсанга, когда царь и его свита встретились с Кариманом Сетиели и сотней телохранителей.

Кариман доложил Ниании Бакуриани:

— Наджихвари сильно вздулся, три раза мы пытались через него переправиться, но тщетно — он чуть у нас лошадей не отнял!

Царь не пожелал возвращаться назад. На вершине холма Давид придержал коня и окинул взглядом бегущий с запада полноводный поток: Наджихвари вышел из берегов...

Подъехав к руслу бушующего потока, Ниания и Шергил спешили и стали просить царя:

— Дождемся царского шатра и здесь остановимся на ночь.

Наджихвари со страшным грохотом стремил свои воды к равнине, неся с собой вырванные с корнем ели и кусты калины, трупы утонувших животных и обломки водяных мельниц.

Махара тоже долго молил царя подождать, пока не подвезут царский шатер. Давид улыбнулся и сказал:

— Ты сам посуди, Махо, если я не смогу перебраться даже через Наджихвари, как же переправлюсь я через Аракс?

Махара остался с царем наедине и дрожащим от обиды голосом проговорил:

— Во всем царстве мне одному позволено говорить тебе правду в глаза, государь наш.

Я в отцы тебе гожусь, потому и беру на себя такую смелость. Дедово упрямство и тебе передалось. Блаженной памяти отца моего, бывало, хоть мечом руби — все равно не переубедишь. Негоже быть таким упрямым, государь наш.

— Знаешь, Махо, без упрямства еще не выиграна ни одна война. Если бы послушался я моих жалостливых советчиков, — донине пировал бы себе у гегутского камина.

Упрямство возводит крепости, упрямство же их и берет.

Улитки еще никому не объявляли войны, так ведь? — промолвил Давид и велел позвать начальника малого войска Латерию. Тихо сказал ему:

— Боюсь, как бы течением не унесло Махару и наших святых отцов! Поэтому, прежде чем пускать лошадей в поток, дайте всадникам в руки веревки, и пусть каждый не спускает глаз со стариков... Хорошо, если бы твоя тысяча заранее перегородила реку.

Кариман Сетиели не мог похвастать богатым опытом борьбы с водной стихией — на сей раз он оплошал, и все же хотел первым броситься в волны. Шергил Липартиани остановил его, взял с собой пятнадцать эгрисских наездников, и они погнали кобей в бурный поток.

Давид и Нианиа последовали за ними. Противоположный берег не был виден. С каждой минутой вода в потоке поднималась все выше и наконец в тех местах, где Надживари впадает в Арагви, разлилась морем.

Жеребец Давида отважно рассекал волны. Всадник подобрал поводья, чтобы видеть, что происходит вокруг него. Ратники малого войска, выстроившись в ряд, плыли на восток.

Давид боялся, как бы Махару не унесло течением. Вдруг он заметил какого-то всадника: его захлестнула волна; немножко поиграв ездоком, она понесла на восток коня вместе со всадником.

Давид принял его за Махару, повернул жеребца налево и решил: «Надо спасти утопающего!». Во мгновение ока Махара на своей тушинской лошадке очутился возле царя и прокричал:

— Каримана Сетиели унесло!

Громкие вопли разносились по ущелью. Тысяцкий Латерия подал знак своим ратникам, и десять храбрецов, прыгнув с коней, вплавь вынесли Каримана Сетиели к берегу. Все промокли до нитки, но, позабыв о себе, кинулись к Кариману Сетиели. Телохранители и ратники малого войска подбежали к нему и, схватив Каримана за руки и за ноги, принялись его откачивать.

Когда он очнулся, царь наклонился над начальником своих телохранителей и, улыбаясь, сказал:

— От тебя, Кариман, я ожидал большего.

— Что ж поделаешь, государь. Мы, сваны, на суше недурно владеем мечом, а в воде даже рукой не можем шевельнуть.

До пастушьего жилья оставалось порядочное расстояние. В горах еще стояли холода, поэтому царь отдал приказ: до овчарен скакать галопом. Ехать верхом здесь стало труднее, ибо все ущелье заполнили овечьи отары.

Нианиа Бакуриани и Штора Моркневели доехали до овчарен раньше царя.

Пастухи не раз видели царя Давида издали и тем не менее приняли Штору Моркневели за царя, собирались бить ему челом, но улыбающийся Моркневели опередил их:

— Государь еще в пути.

Когда Давид вошел в овчарню, пастухи недоуменно поглядывали то на него, то на Моркневели, не в силах разобраться, кто же из них двоих царь? Старый знаток своего дела, овчар Леван узнал государя — ведь он участвовал в Зедазенской битве.

Закололи ягнят и развели костры.

Был у саркала Левана в стаде ручной туренок. Пастух погладил его и хотел зарезать ради такого торжественного случая. Давид не позволил.

— Впервые вижу я тура в овечьем стаде. Не спешите же лишать жизни этого красавца!

Махара засучил рукава и помогал нанизывать шашлык на вертелы. Он шутил:

— Теперь я за главного повара.

Давид и спасалары грелись у костра, стоя сушили на себе мокрую одежду.

Давид сказал Левану:

— Часто коротал я ночи у пастухов, но никогда не приходилось попасть к окоту. Скажи-ка, Леван, сколько пастухов ходят за овцами в эту пору?

— На время окота, государь, к каждой сотне овец приставлено по пастуху, у каждого есть помощник. Он все ночи не спит. Если у какой-нибудь из овец начнутся схватки, помощник дожидается родов, зажжет лучину и примет ягненка. Новорожденных помещают отдельно.

Овца, как окотится, облизнет ягненокочка, даст ему пососать, а не даст — пастух заставит накормить детеныша.

Окотится ночью овца, умается и уснет. Ягненок встанет, начнет ходить, да и вымажется в чужом помете.

Мать не признает грязного ягненка, так как от него идет не ее дух. У нас это называют «неприятнью».

Коли много наберется новорожденных ягнят, меня разбудят. Среди сотни ягнят я должен разобраться, какой яг-

ненок чей. Одна овца детеныша не признаёт, другая полюбит.

— А давно ли ты пасешь овец, Леван?

— Целых семьдесят лет, клянусь солнцем моей матери. Давиду понравилось, что старый пастух клянется солнцем своей матери.

— Кто же обучил тебя этому искусству?

— Бог меня научил, государь.

Царь улыбнулся и сказал:

— Некоторые люди меня от азнаура Моркневели не могут отличить, а как же ты разбираешь, какой ягненок от какой матери?

* * *

На заре в крепости Бакура ударили в набат. Обитатели замка проснулись от ржания коней и лая волкодавов.

Плакали в голос старики и женщины — очевидцы встречи царя Давида с эриставом Бакуром.

Под старой липой слепой эристав кинулся государю в ноги и хотел облобызать ему колена, но царь не позволил, поднял его и поцеловал в лоб.

— Благодарение богу, что сподобил он меня твоей милости, государь. Ничего не щадил я ради нашей обожаемой отчизны. Весь наш род полег в борьбе с врагами Грузии, но один-единственный внук у меня еще остался, и если понадобится, я, подобно Аврааму, принесу его в жертву царю и родине.

— Правду изволишь молвить, эристав над эристами. Нынче стране нашей приходится очень трудно, единственные сыновья — и те должны жертвовать собой. Я тоже у матери единственный сын, но если бы вседержитель даровал мне три жизни вместо одной, все три отдал бы я за отчизну, ибо без самопожертвования никто еще не побеждал.

Земля и бог взыскательны и беспощадны — они требуют от нас крови, всей крови, вплоть до последней капли, до последнего нашего издыхания.

* * *

В замке Вараза с узкими стрельчатыми окнами было еще темно, поэтому факельщики вошли в залу раньше царя и его свиты.

Давид очень устал. Тем не менее он внимательно осматривал построенный зодчим дворец, о котором слышал множество небылиц.

На стенах зала виднелись чопорные фигуры закованных в золоченые латы эриставов с поднятыми мечами; ржавые шлемы и косматые черные бороды придавали им в полутьме еще более свирепый вид.

Взгляд царя остановился на фреске зодчего. Он схватил Махару за руку и сказал ему на ухо, почти шепотом:

— Погляди хорошенько на курчавые волосы зодчего. Вон, смотри, Махо, еле заметные рожки выступают из черных как смоль кудрей, точь-в-точь такие рожки пробиваются у молочного туренка.

Махара велел факельщику осветить на стену. Некоторое время, застыв от изумления, он рассматривал фреску, а затем пробормотал:

— Правду изволишь молвить, государь наш, — два еле заметных рога выглядывают из курчавых волос...

. . . * . . .

* * *

Едва Икалтоели отслужил вечерню, царь отослал пастельничего монаха Иоакима и задумчиво проговорил:

— Хоть и много всяких рассказней слышал я о несчастьях, которые случились некогда в крепости Вараза, но и доныне не знаю толком, как было дело? Тогда все царство содрогнулось от ужаса.

Дело в том, что по сей день никто ничего не знает ни о чудесном исчезновении зодчего, ни о злодейском убийстве эристава Вараза и его сыновей.

Одно время поговаривали так: у эристава Вараза был сводный брат Ваче, который скрывался в Византии. И будто бы этот самый Ваче заявил свои права на отцовскую крепость. Сказывали также, что Ваче тайком воротился на родину и зарубил Вараза и его сыновей... Иные же утверждали другое, совсем уж странное...

— Об этих событиях и я кое-что слышал, государь. Только кто постигнет тайны вселенной? На свете столько же тайн, сколько на дереве листьев или светил в звездном мире.

— А поведай мне, отче Арсен, как по-твоему, настанет ли когда-нибудь время, когда человек проникнет в тайны мироздания?

— Эх, государы! Естество подобно книге, которую трудно прочесть. И как некий человек раскрывает книгу свою, прочитывает строку за строкой и мало-помалу постигает смысл, точно так же познаются и тайны мира сего.

Если с тайны сразу сорвать покровы, сын Адама испугается и чего доброго от изумления у него сердце разорвется. Лунатик, как известно, во сне встанет с постели и ходит по крыше, повинувшись некоему таинственному чутью.

Говорят, если лунатика в такие минуты разбудить, он потеряет равновесие и разобьется.

Я так полагаю, государь: если род Адамов в конце концов прозреет, он неминуемо погибнет, точно разбуженный лунатик.

Мир земной — обиталище тьмы кромешной, мир божий — царство вечного света.

Божьи владения — простор небес, и власть его непреложна вплоть до Судного дня. Пристанище Вельзевула — мрак преисподней, дьявол — житель безмолвных пустынь и отвесных скал, ночные громы — его извечная колесница. В руках у Вельзевула — вожжи Вероломства и Распутства, по следам его идут Огонь и Смерть...

Мир наш создан из парных сочетаний.

Земля и Воздух...

Тень и Свет...

Огонь и Вода...

Высота и Низость...

Добро и Зло...

Самка и Самец...

Они ведут вечную борьбу друг с другом. Из двенадцати элементов — шесть небесных, шесть дьявольских. Из двенадцати светил — шесть небесных, шесть огненных...

Уже петухи поют. Заговорился я, государь, и коротко тебе скажу: владыка тайн земных — ангел преисподней Абадон...

Долго не спалось царю после этой беседы. Весь день ему было не по себе, на губах чувствовался неприятный привкус, какой оставляет баранина, в особенности летом, его неотступно преследовал запах бараньего мяса, слегка мутило.

Давид велел постельничему монаху Иоакиму разыскать среди его книг фолиант Ибн-Сины.

Когда принесли «Врачевание духа», он сам нашел нужное место и вычитал:

«Ахаллуджи-алоэ — индийское растение. Прополоскай им рот — ощутишь благовоние и приятный вкус».

Махара послал постельничего монаха за лекарем Ордзелисдзе. Лекарь дал царю ахаллуджи-алоэ.

Тошнота от него улеглась, тем не менее царь до самого рассвета листал фолиант и читал Ибн-Сину.

* * *

Даже слепой эристав Бакур чувствовал, что Давид сидел за свадебным столом невеселый. Тщетно подносили ему олени шашлыки, лососей и осетров, не притронулся он и к турам, зажаренным целиком, вместе с рогами.

Бакур то и дело расспрашивал местумретухуцеси, кушает ли что-нибудь государь?

— Отведал немножко лососины, только и всего.

— А пьет ли он вино?

— Подносили царю отменнейшие вина, а он даже не пригубил свою чашу.

Махара успокоил встревоженного хозяина:

— Вчера мы, очень усталые и голодные, заехали к пастухам, накинулись на жирные шашлыки, и нам обоим от баранины было худо. Вчера вечером мы с Ордзелисдзе давали государю ахаллуджи-алоэ — чуть-чуть полегчало.

Бакур приказал местумретухуцеси:

— Дайте государю попробовать вина из амфоры Валанга.

Бакур сам принялся упрашивать царя. Расхваливал восемнадцатилетнее вино, рассказывал, как наполнили этим вином амфору в день рождения Валанга.

Давид вежливо возразил:

— Белые вина я понемногу пробовал, эристав над эриставами, а красного летом не пью.

Только царь успел это вымолвить, как на другом конце стола, где сидели жених с невестой и дружки, поднялся непонятный переполох. Давид заметил, как покачнулся исполнитель стольник.

Прежде чем стольника вынесли на носилках из пиршественной палаты, Сидония, рыдая, бросилась к царю и Икалтоели со стоном:

— Жених и невеста занемогли!

Поднялась суматоха, волнение охватило гостей. Теперь дружки попадали с кресел. Эристав Бакур попытался подняться, но не хватило сил.

Царь и вся свита столпились над бесчувственными телами. Придворный лекарь Ордзелисдзе в отчаянии метался от одного больного к другому.

Давид послал за постельничим монахом Иоахимом и приказал ему поскорее принести «Врачевание духа».

Царь вначале сам листал фолиант, потом попросил Махару:

— Посмотри-ка среди ядов.

Долго Махара искал и наконец перевел:

— Опиум-бадзахр убивает ползучих гадов, исцеляет отравленных змеиным ядом, ужаленных змеей и укушенных скорпионом, человеком, одержимым водобоязнью, бешеной собакой и лютым барсом; пострадавших от морского дракона; отравленных армянской стрелой.

Целую ночь больных отпаивали опиумом-бадзахром.

В ту ночь царь со своей свитой поздно удалились в замок Вараза на ночлег.

Давид долго читал «Врачевание духа». Наконец он велел постельничему монаху Иоакиму оставить в нише один шандал, а сам закрыл книгу.

...От внезапно раздавшегося звона дремлющий вздрогнул. Он подумал: «Это, верно, кто-то из ночной стражи уронил меч», он снова смежил веки — опять раздался звон. Давид приподнялся на локтях. Ему привиделось: ослепительное сияние, подобное греческому огню, озарило стену с изображением зодчего...

Давид протер глаза. Теперь уж он ясно видит: курчавый рыцарь сошел со стены и, обнажив змеевидный меч, направился к царю...

Давид вскочил и схватил лежащий у изголовья меч с рукоятью в виде креста...

* * *

На другой день шел пир горой. Царь был в отличном настроении, почтительно беседовал с сияющим эриставом Бакуром, обещал пробыть у него еще день.

Местумретухуцеси приблизился к эриставу над эриста-

вами и доложил: опорожнили амфору Валанга, на дне ее нашли скелет гадюки.

Теперь стало ясно: когда восемнадцать лет назад в амфору налили сладкий сок, змея вползла внутрь. Невеста с женихом и дружки уже совсем выздоровели. Погиб один Гингила, стремянный Махары, который выпил слишком много отравленного вина.

Царь собирался остаться у эристава Бакура до следующего дня, но из Начармагеви прискакал гонец. Георгий Чкондидели молил государя не медлить с возвращением.

Царь со свитой тотчас собрались в путь. До Мцхета мчались галопом.

Почти всю дорогу Давид молчал. Только когда проехали Бебрисцихе и на горизонте показался силуэт храма Светицховели, Давид сказал едущим рядом с ним Арсену Икалтоели и Ниании Бакуриани:

— Кто ведает, что скрывается за этими стенами и чему мы поклоняемся?

От автора:

Почти восемь с половиной веков прошло с тех пор. Недавно мне довелось путешествовать по Кавказиони. Три дня бродил я по безлюдным горам, с трудом отыскал место, где прежде стояли крепости Вараза и Бакура.

Среди скал цвета барса высится Варазова крепость, она поныне цела и невредима. Крепость Бакура разрушили превратности времен и землетрясения.

Пониже крепости, между скал, ютится маленькая горская деревушка. Старейший житель этой деревни, столетний старик, рассказал мне такую легенду:

«Царь Давид исцелил новобрачных, которым грозила смерть от змеиного яда. Тогда прогневался черт, строитель крепости Вараза.

Выскочил он из собственного изображения и бился на мечах с царем Давидом, но, посрамленный, убежал через окно. Крепость Вараза народ и ныне называет Чертовой крепостью».

.

ДИАЛОГИ ПОД ГРАНАТОМ

Царь Георгий полагал так: свадьба эристава Валанга затянется на несколько дней, так что Давид прибудет в Начармагеви в лучшем случае только через неделю.

Чкондидели волновался, то и дело засылал лазутчиков в Гянджу... Ему казалось сомнительным последнее известие: амир сельджукских войск Ших-Алдин Ахмет, по-видимому, приехал из Исфагана на седьмую свадьбу гянджинского атабага, амира Гозголи.

Георгий не уставал подтрунивать над подозрительностью Чкондидели:

— Ты как же думаешь, вежо, сельджукские султаны и амиры не пируют, что ли? Пируют, да еще как! И притом, разве им сейчас придет в голову воевать с нами?

Стратиг Нотар поддержал царя:

— Недавно мне сообщили из Константинополя, что Боэмунд и Балдуин еще раз при Шайзаре нанесли поражение сельджукам. Пока все их внимание сосредоточено на Сирии и Палестине.

Знайте также, что, посмей они сунуться в Ках-Эрети, уж я им задам жару. Если вы мне доверитесь, я возглавлю центр грузинского войска и заставлю Ших-Алдин Ахмета клясть свою жалкую судьбу.

Стратиг метнул испытующий взгляд в сторону царя Георгия. Даже глаз многоопытного византийского дипломата не в силах был прочесть на лице Георгия, какое впечатление произвели на него эти слова.

Вести, дошедшие из Гянджи, больше всех встревожили императрицу Мариам. Царь Давид и его спасалары что-то замешкались, а двум этим старикам — царю Георгию и Георгию Чкондидели — по силам ли сразиться с врагом?

Слова стратига Нотара запали императрице в душу, и она настойчиво советовала царю Георгию и Чкондидели до приезда Давида не отпускать Нотара и византийских гостей.

Чкондидели молча выслушал Мариам, а царь Георгий усмехнулся:

— Как я замечаю, Майко, старик Нотар столь сильно тебе полюбился, что, кажется, и на будущий год в это время отсюда не уедет.

Слишком избалованный константинопольскими краса-

вицами «Аполлон в кольчуге» отлично овладел стратегией не только военной, но и любовной. Нотар похвальный: — Не построена еще ни одна крепость, не родилась еще ни одна женщина, способная устоять предо мной.

Он, правда, носил не одни подметки, без толку обивая пороги дворца императрицы Мариам, но ведь Мариам прослыла в патрицианских кругах Константинополя неприступной. Нотару без обиняков говорили: Мариам — грузинка, потому и такая ригористка.

«Аполлон в кольчуге» рассуждал по этому поводу совсем иначе:

— Женщина всегда остается женщиной, будь она хоть грузинка, хоть гречанка. У любой из женщин слаб не только ум, но и колени.

Потом стал сам себя утешать: Мариам происходит из рода Багратидов и, естественно, избегает любовной связи с рыцарем не царской крови.

Не знаяшему поражения в амурных делах стратега не хотелось уезжать из Начармагеви с пустыми руками. Убедившись наконец, что императрицыным «мигреням» конца не видно, он твердо решил поволочиться за дочерью эристава Шамана.

По утрам в дворцовом саду Нотар встречал быстро идущую Гванцу. Стратиг, бывало, почтительно с ней поздоровается, остановит, потреплет по подбородку, как мы обычно ласкаем невинное дитя, иной раз проведет рукой по волосам.

Однажды через императрицу Мариам он передал Гванце, что старшая его дочь — ее ровесница.

Вначале дочери эристава все эти заигрывания казались выражением отеческих чувств.

Однажды под вечер возле звериного загона Гванца столкнулась со стратигом: Нотар сразу утратил интерес к ястребам-перепелятникам, вплотную подошел к девушке и нежно ущипнул ее за щеку.

Гванца покраснела, но ничего не сказала.

Стратиг истолковал ее молчание по-своему. Он расхрабрился, обнял девушку за плечи и хотел прижать к груди; однако Гванца выскользнула из его объятий и убежала.

После этого происшествия Гванца умышленно стала его избегать, опасаясь, как бы невзначай не оскорбить наглою гостью.

Наконец девушке так надоело его упорное ухаживание;

что, сославшись на нездоровье, она перестала появляться даже в столовой палате.

Императрица Мариам вовремя это заметила и даже спросила Гванцу, не докучает ли ей наглец стратиг? Девушка зарделась, но решительно это отрицала.

Тогда стратиг начал выпытывать у куропаталитисы Мелиты историю не столь уж долгой жизни дочери эристава Шамана.

Мелита в романтических красках расписала ему, как убежала Гванца от своего бывшего жениха — сына аргветского эристава — и как спустилась она по веревочной лестнице из крепости, висящей на неприступной скале.

Наслушавшись ее рассказней, Нотар принял Гванцу за одну из тех знатных девиц, каких он на своем веку немало видывал во дворцах византийских императоров и других христианских властителей — подвластные феодалы поставляли их на потеху царям и придворным.

Епифаний Непьющий был человек наблюдательный. Поэтому он раньше всех заметил, как день ото дня терял самообладание престарелый стратиг. И как-то раз, под хмельком, даже осмелился на такую шутку:

— Как я примечаю, господин стратиг, ты отдалился от Осени и обратил свои взоры к Весне.

Нотар понял смысл иносказания, многозначительно кашлянул и проговорил:

— Эх, что ж поделаешь, импертим! В неумолимом беге лет больше всего люблю я эти два прекраснейших времени года. Тугобедрая колхка чем-то сильно напоминает мне мою рыжую кобылицу.

Чем же и развлечься в этом бренном мире многострадальному человеку, вроде меня? Покойный отец мой напрасно выстроил монастырь при дворце — не влечет меня к себе монашеская ряса.

Веру в завтрашний день я утратил. Моя родина — на краю пропасти. Будь я сейчас даже двадцатилетним юношей, все равно ничем бы ей не мог помочь.

Я заранее чую: когда безумцы начинают торжествовать победу, это значит, что они сделали еще один шаг навстречу бездне.

И отошел я от суетной жизни, дабы летописец будущего не возложил на меня долю вины за гибель моей родины. Как тебе ведомо, импертим, правило сильных мира сего таково: они никому не простят ума, ибо хорошо знают, что

обладатель его не годится на роль льстеца. Известно также, что каждый царь, каждый властитель нуждаются в льстецах, дабы их славословием придать самому себе бодрости.

В жизни, импертим, двумя сокровищами следует пользоваться осмотрительно: умом и золотом, потому что обладателей их подстерегает величайшая опасность. Оба сокровища даровал мне господь, но я, видно, не сумел ими воспользоваться как надо.

Из ума извлечь пользу труднее, нежели из золота, знай это. Человек именно тогда оказывается перед лицом величайшей опасности, когда возомнит, будто он — умнее всех на свете. Голова у него закружится, самообладания — как ни бывало, и возмечтает он покорить весь мир, а мир-то сильнее любого из людей, и в конце концов с него обязательно собьют спесь.

В момент головокружения от успехов меня и подсел мой соперник Куркуас.

Сейчас я все это тяжело переживаю, импертим, потому и стараюсь рассеяться.

К тому же горе человеку, уже не способному рассеяться: его непременно загрызет демон Тоски.

Что у меня осталось, кроме развлечений? Я прекрасно вижу: не одна моя родина, — весь христианский мир стонет в пасти Мрака...

Тысяча демонов терзает мне грудь, потому-то и предаюсь я разгулу.

Епифаний плотоядно ухмыльнулся и пробормотал:

— Как я примечаю, господин стратиг, и на сей раз вкусо тебе не изменяет! Ох, и породистая же бабенка! Таких грудей я еще ни у одной женщины не видывал. А глава, а бедра! Только если ты что-нибудь задумал, попытай счастья до приезда царя Давида.

Если верить злым языкам, эта колхка — его наложница. Будь осторожен, господин стратиг: вспомни Медею, дочь колхидского царя Эета! Знай, колхки очень мстительны!

— Э-э, полно, до баб ли сейчас этому горемыке, царю Давиду? Он одержим тем же недугом, каким в юности страдал Алексей Комнен. Давид тоже простодушно надеется выгнать сельджуков с Кавказа. Что ж, блаженны легковерные!

А что касается мести колхки, то меня никогда не страшили даже боевые верблюды и слоны сельджуков.

Нотар догадался, что Гванца последнее время его сторонилась. Это его еще больше распалило.

Он настолько был избалован византийскими красавицами, что поражения не мог себе даже и представить.

Здесь одно примечательно: инерция однажды стяженной славы обычно заводит очень далеко, поэтому победители твердо уверены, что их ждет успех всегда и всюду.

Совет Епифания Непьющего крепко засел в голову у Нотара. Он то и дело справлялся у куропалатисы Мелиты: когда ожидают царя Давида?

Стратиг уже поседел, и тем не менее в Константинополе о нем по-прежнему ходила молва: копье «Аполлона в кольчуге» пронзит сердце любой женщины.

На сей раз Нотар не на шутку взбеленился.

Как?! Эта колхидская девчонка смеет задирать нос, и перед кем?!

Хотя царь Георгий, Епифаний Непьющий и Нотар, бывало, вечеряли до глубокой ночи, последний вставал ни свет ни заря и прогуливался близ конюшен, чтобы хоть краем глаза поглядеть, как вскакивала на сытого жеребца «эта бесстрашная амазонка», которая ездила верхом вместе с мужчинами.

Как и многие византийские вельможи того времени, стратиг Нотар не был правоверным христианином. От долгого обращения с мусульманским миром религиозное чувство у него ослабло.

Несмотря на это, Нотар зачастил в начармагевскую дворцовую церковь к вечерне, чтобы подглядывать за Гванцей, преклоняющей колена перед Черной богородицей.

Порой слонялся он по дворцовому саду в надежде встретиться с дочерью эристава, которая последнее время в уборе из листьев вместе с Сабией охотилась на удонов.

Показная галантность, однако, не прикрывала наглости Нотара, обычно присущей людям, выросшим в столицах (когда они попадают в пределы не столь уж могущественного государства). Эрос столь сильно распалил чувства старого стратига, что он забредал даже на женскую половину дворца и не без задней мысли прогуливался по тем переходам, которые вели к опочивальне Гванцы.

Влюбленный стратиг ликовал, когда ему удавалось

мельком взглянуть на обнаженные груди полуодетой девушки.

Как-то Нотар три дня подряд разыскивал Гванцу.

По утрам он слонялся около конюшен, ходил к вечерне, допоздна поджидал ее в дворцовой церкви. Однажды, поздно вернувшись во дворец, он встретил на лестнице Сабюю.

Нотар слышал об исчезновении Дедисимеди, поэтому с простодушным видом спросил главного факельщика, уж не похитили ли турки и дочь эристава Шамана?

Сабия удивленно вскинул рыжие брови:

— Какие там турки? Гванца в баню пошла с императрицей Мариам.

Нотар долго прохаживался мимо бахчи, где находилась дворцовая баня. Ему вспомнилась юность, когда он часами фланировал возле константинопольских бань, лишь бы поглазеть на женщин после купания...

Наконец ждать надоело, и он вернулся во дворец. Едва лишь стемнело, Нотаром овладело беспокойство. Он встал и торопливо зашагал к дальним переходам женской половины.

Здесь он долго расхаживал взад и вперед. Стратиг собирался уже возвращаться назад, когда послышались быстрые шаги.

Нотар лицом к лицу столкнулся с раздумявшейся девушкой, закутанной в купальное сюзане.

Она ограничилась молчаливым кивком и хотела пройти в свою комнату, но в узком проходе широкоплечий великан преградил ей дорогу.

Гванца остановилась и несколько раздраженно по-грузински спросила: чего надобно господину стратигу?

Нотар подошел к ней совсем близко.

— Твоей любви, прекраснейшая. — Сказав это, он потрепал ее по щеке; девушка покраснела и отпрянула. Тогда Нотар схватил ее за талию, а другой рукой крепко сжал ее правую грудь.

— Пусти! — прошипела Гванца. Нотар потянулся было к ней с поцелуями, но девушка закатила нахальному стратигу такую звонкую пощечину, что пострадавший покачнулся и, если бы не стена, непременно упал бы.

Нотар, как ошпаренный, бросился бежать в свою опочивальню. С этих пор у него пропала всякая охота к шашням Гванцей.

Теперь стратиг пытался искать утешения в ловле желтой форели.

* * *

Царь Георгий не считал для себя зазорным обучать стратига рыболовному искусству. Люди, разочарованные в больших делах, обычно вкладывают свои нерастраченные силы в мелочи.

Чуть свет вставали царь со стратигом, переодевались в ветхую, заношенную охотничью одежду и усердно помогали рыбалям чинить и расставлять сети.

Безпрекословно подчинялись они старшине рыбаей — Шишмате, который всегда с ритуальной точностью следовал давным-давно усвоенным правилам, а закидывая и выбирая невод, не считался даже со строптивым характером царя Георгия.

Вдоволь понатешившись ловом в ручейках, они поднимались вверх по Лиахви...

Георгий, который на войне не страшился проливать человеческую кровь, всегда протестовал против безжалостного истребления зверя и рыбы, поэтому смиренно упрасивал Шишмату:

— На сегодня хватит нам ловить этих бедняжек форелей.

Вечерней порой они раскидывали шатер возле какой-нибудь стремнины, разводили костры, уписывали за обе щеки вареную форель и беспечно предавались служению Бахусу.

После ужина рыболовы ложились у входа в шатер на лужайке и подолгу прислушивались к соловьиному свисту в Лиахвском ущелье.

Удивительно, что сначала запевали соловьи за рекой, перекликаясь между собой с самых дальних кустов, потом, точно по уговору, заречные умолкали, и тогда начинали заливаться соловьи на ближнем берегу Лиахви.

Распростершись на голой земле и опершись на локти, стратиг внимал дивному состязанию этих божественных певцов.

Шишмата еле удерживался от смеха, глядя, как стратиг, обычно закованный в золоченые доспехи, обряжался в охотничью ветошь. Как-то он даже шепнул сокольничему Звониле:

— Этот чудак стал похож на Очопинтре, владыку зверей.

Однажды вечером царь и стратиг с богатым уловом во-

ротились в Начармагевский дворец и решили на следующее утро преподнести добычу дамам.

Рано поутру накрыли стол под гранатом. Это было одно из прекраснейших деревьев в начармагевском дворцовом саду. Летом оно пленяло зрителя своими чудесными цветами, а осенью ветви его сгибались под тяжестью сладчайших плодов.

Огромный дзелквовый чурбан стоял под этим гранатом, двенадцать чурбанчиков поменьше окружали его. Волшебное зрелище явилось глазам стратига: среди листвы качалось множество крохотных рубиновых колокольчиков, увенчанных огненно-красными лепестками.

Георгий и Мариам особенно любили это дерево, ибо отец их, царь Баграт, имел обыкновение завтракать и отдыхать под гранатом. Нотар настойчиво утверждал:

— Столь красивого дерева я никогда в жизни не видел.

По этому поводу Георгий как-то даже подшутил над сестрой:

— По-моему, Маико, стратиг так восторгается, потому что ты сейчас сидишь под этим гранатом.

Нотару было любопытно, о чем это говорят по-грузински, и он, как мальчишка, пристал к Георгию:

— Что ты сказал, что, а?

И когда Георгий перевел свои слова на греческий, Нотар затараторил:

— Правду изволишь молвить, государь! Да разве присутствие базилисы украшает только гранатовое дерево?! Оно украшает даже Константинополь.

Стратиг поднял глаза на гранат.

— Это дерево римляне называют пуницей. Некогда финикийцы и ассирийцы считали его священным. Вы, верно, помните, в Гомеровой «Одиссее» гранатовое дерево росло в саду у царя феаков.

Говорили также, будто богиня Афродита собственноручно посадила гранат на острове Кипр. В древней Греции прорицатели гадали на плодах граната.

— У нас, у христиан, гранат считается символом богородицы, носящей во чреве своем непорочный плод. Так ведь импертим? — обратился епископ Евхитский к Епифанию Непьющему.

Епифаний поддакнул.

У стратига уже разгорелись щеки от мухранского красного, поэтому слог его стал еще более цветистым.

— Доводилось мне наблюдать за частной жизнью многих властителей, но такого счастливого и веселого царя, как ты, я еще никогда не видал, господин себастос.

Он подняв взгляд на гранатовое дерево, на распростертый над ним лазурный небосвод и продолжал:

— Да и могло ли быть иначе? Благословен властелин этого эдема, не правда ли? В такой стране не только царь, — в ней и нищий, верно, счастлив.

Я мог бы стать летописцем трех императоров. Я преломляя хлеб на трапезах у сербских и венгерских государей, гостил во дворцах великих султанов и амиров, но такого щедрого повелителя, как ты, еще не встречал, господин себастос.

Да разве дело в размерах владений? Властители самых обширных государств — самые несчастные.

Ты сам посуди, господин себастос, что осталось от величия Александра Македонского и Константина Великого, Альф-Арслана и Василия Болгаробойцы?

Прах и суета.

Троя погибла, пал Рим, не лучшая участь постигла Карфаген и Вавилон.

Даже тем императорам и султанам, которым при жизни было тесно в империях семи климатов, всевышний отмерил всего-навсего семь шагов земли да семь локтей ткани на саван.

Что от них осталось?

Прах и суета.

По-моему, господин себастос, самым мудрым из мудрецов был Эпикур. Он проповедовал эвдемонию.

— А скажи-ка, господин стратиг, как надо понимать эвдемонию? — спросил оратора Епифаний Непьющий.

— Я так полагаю, импертим: эвдаймонос или эвдемония — это блаженство, высшее, утонченнейшее наслаждение, — ответил Нотар и перегнулся к царю Георгию:

— Каждый ли из людей наделен даром эвдемонии? Далеко не каждый. До эвдемонии возвышается лишь человек беспечного нрава, вроде тебя, господин себастос.

И я хорошо понимаю, зачем ты каждое утро сидишь под гранатом. Не только у древних финикийцев и карфагенян, и у мусульман считается, что гранатовое дерево ниспосылает благодать, дарует эвдемонию.

Халифы и султаны, амиры и ходжи нарочно ложились под этим деревом, заранее внушив себе, что тень граната убережет их от демонов, от злых духов.

Известно и то, что душа человека, на которого снизошла эвдемония, также преисполнена всяческих радостей, как плод граната — несчетными рубиновыми зернышками.

Нотар поднял свою длинную руку, сорвал цветок с ветки, склонившейся над самой его головой, протянул цветок граната императрице Мариам, и в этот миг в Начармагевской крепости ударили в набат. Послышался лязг железных засовов, ржание сытых жеребцов и цокот копыт.

Нотар поднялся и вместе с императрицей Мариам и Георгием пошел навстречу царю Давиду и его свите.

Когда приезжие подъехали поближе, Нотар умышленно замедлил шаг, а затем остановился и принялся в упор разглядывать загорелого мужчину в шлеме цвета коршуна, прямого, словно поднятый меч, который, бросив поводья своего черного жеребца конюшему, подошел к императрице Мариам и поцеловал ее.

А когда в зале Совета царю Давиду в первый раз представляли гостей из Византии и стратиг еще не слышал из его уст ни единого слова, Нотар шепнул Епифанию Непьющему:

— Голову даю наотрез, что этот хмурый царь не наделен даром эвдемонии, импертим!

АБДУЛ-МЕССИЯ

«Амирана, Дареджани воспевал Мосэ Хонели.
Похвалу Абдул-Мессии в славных спел стихах Шавтели...»
Р у с т а в е л и.

Амир Сих-Алдин Ахмет сам был родом из Гянджи, притом амир Гозголи, правитель Гянджинского атабагства, приходился ему шурином. Поэтому он не слишком огорчился, когда первый эджиб исфаганского дворца амир Мансур, именем султана Мохамеда, приказал ему без промедления отправляться с войском в Гянджу, захватить с собой амира Гозголи и покорить Гюрджистан еще до наступления зимних холодов.

Чтоб отвести глаза лазутчикам царя Давида, заранее распустили слух, будто бы амир Ахмет едет в Гянджу с тайной целью: немедленно схватить амира Диарбекира — Ома-

ра бен Якута, который после смерти Бархиарока отказался повиноваться его сыну, султану Мохамеду, и скрывался где-то в горах Армении. Называли еще одну причину: амир Гянджи собирается привести в дом седьмую жену и амира Ахмета ждут на свадьбу.

Хитросплетения эти не укрылись от Джоджики, доверенного лица царя Давида в Исфагане. В свое время он доносил о них Чкондидели, а второй доверенный царя, Гарегин Мамиконян, сообщал: в Гяндже амиру Ахмету готовят пышную встречу.

В исфаганском дворце Сельджукидов амир Ших-Алдин Ахмет слыл за весьма ученого и храброго мужа. Это был один из учеников великого визиря Низама аль-Мулька, который прилежно обучал будущих военачальников не только управлению государством и стратегии, но и мусульманскому богословию.

Отец амира Ахмета, амир Кадир, на протяжении многих лет был военачальником у Альф-Арслана и Малик-шаха. Некогда он потопил в крови восстания в Диарбекире и Аниси, он же сопровождал обоих султанов в битвах при Самшвилде и Ахалкалаки.

Сын амира Хадира, амир Ахмет, благодаря редкой своей отваге уже в юные годы отличился при подавлении восстаний в Хорасане и Армении, а также в битвах с крестоносцами.

Амир Ахмет долго воевал с мачехой Бархиарока — Тюркан-Хатун, со сводным братом султана Синджаром и его дядей амиром Тугушем.

Точно карающая десница аллаха, обрушился амир Ахмет на мятежных армян, греков и сирийцев, целый лес из виселиц выстраивался, бывало, от Аниси до Иерусалима.

Еще при жизни Бархиарока Ших-Алдин Ахмет был удостоен почти всех высших титулов Сельджукского султаната: «Хусам Ал-Дин» — Меч Веры, «Сейф Ад-Даулах» — Меч Государства, «Амин Ад-Даулах» — доверенное лицо султана.

Постепенное возвышение его на этом не прекратилось. После смерти султана Бархиарока возмущения среди покоренных сельджуками народов участились, и в это смутное время сын Бархиарока — султан Мохамед призвал к себе Ших-Алдин Ахмета и предложил ему должность амир-хараса.

Амир-харас при дворе Сельджукидов был беспрекословным исполнителем воли гневного султана.

Рубить головы изменникам, бросать непокорных под ноги разъяренным слонам, сажать крамольников в клетки со львами — все это входило в обязанности амир-хараса.

Под началом у амир-хараса было двадцать меченосцев и столько же палачей, снабженных серебряными и золотыми палицами. Стоит, бывало, султану сдвинуть брови, — и человек обречен, ему тотчас проломают череп или перебьют хребет.

Амир Ахмет, подобно царю гурий Соломону, всю жизнь мечтал иметь от своих многочисленных жен тысячу дочерей, чтобы каждая из них дарила родине в год по одному воину.

Вместо тысячи дочерей уже седеющая старшая жена родила ему одноглазого и однорукого сына.

Когда мальчик подрос, он стал якшаться с асасинами-исмаилитами.

И вот случилось неслыханное событие: в главной исфганской мечети во время молитвы асасины закололи ятаганом верного слугу султана Мохамеда, амира Абдала бен Харсума.

После долгого следствия убийцу амира, некоего Хромого Гасана, схватили во дворце у сына Ших-Алдин Ахмета. У преступника нашли окровавленный ятаган, который убийца не удосужился даже вычистить.

По выяснении всех обстоятельств этого странного случая султан Мохамед счел неудобным оставить Ших-Алдин Ахмета на высоком посту амир-хараса, но, учитывая большие заслуги амира, не решился его строго наказывать.

Султан сам собирался идти походом на Гюрджистан и «проучить» не платящего хараджу царя Давида. Однако от неумеренного потребления мяса дикого осли у него начались рези в животе. Тогда султан послал первого эджиба за Ших-Алдин Ахметом и велел ему покорить Гюрджистан. При этом Ших-Алдин Ахмету было присвоено высокое звание **амира войск**.

* * *

За день до похода в Грузию амир Ахмет устроил смотр войскам. Его наметанный глаз сразу заметил, что среди лучников и копьеносцев мало конных ратников.

И в зрелые годы и в преклонном возрасте амиру войск приходилось сражаться с византийцами, греками и крестоносцами главным образом на равнинах, в горах же доводилось воевать лишь в редких случаях.

Амир Ахмет хорошо знал, что в открытом поле пешее войско едва ли устоит под натиском конных ратников, несущихся во весь опор с мечами наголо, испуская воинственные крики. Поэтому он совещался с первым эджибом амиром Мансуром: не попросить ли султана об увеличении численности конницы?

Обоим было известно, что за время войн с крестоносцами сельджуки потеряли много лошадей. Вот почему амир Мансур, первый из эджибов, почесал в затылке выкрашенными хной ногтями и сказал:

— По-моему, ни в коем случае нельзя об этом докладывать. Султан и так имеет против тебя зуб! А тут еще подумает, что ты уваливаешь, не желаешь выполнять его приказ! Да притом Гюрджистан — страна горная, а, стало быть, от лошади, верблюда и слона там толку мало.

Помимо всего прочего, в разгаре лета горы и луга выжжены солнцем, так что кормить лошадей в пути будет трудно.

Доводы первого эджиба не убедили амира войск, но он предпочел смолчать.

Амир Мансур был соратником амира Ахмета и потому, усадив его рядом с собой, долго беседовал с ним по душам о «кознях этого шайтана — царя Дауда»...

Вскоре Ших-Алдин Ахмет отправился в Гянджу вместе со своей старшей женой, одноруким и одноглазым сыном и гаремом мальчиков.

* * *

Хотя амиру Ахмету уже минуло шестьдесят, выкрашенная хной борода скрывала его годы. Любитель вина и наслаждений, он без устали предавался разгулу.

Ему очень шла белая чалма и кизилового цвета каба. Когда он гарцевал по улицам Гянджи на серебристом арабском мерине, прекраснейшие женщины, закутанные в чадру, помогая ветерку рукой, приоткрывали лицо, чтобы хоть издали украдкой полюбоваться на знаменитого амира.

В Гяндже уже цвели гранаты. Свадьба атабага напомнила амиру Ахмету его собственную юность, когда он дни и ночи проводил в кутежах. Пирыв чередовались с охотой на джейранов и нескончаемой джигитовкой.

Шатры сельджукского войска заполонили окрестности Гянджи. Весь город превратился в военный лагерь, от кон-

ского ржания и барабанного боя, местным жителям не было покоя даже по ночам.

В те времена город был таким, как его описывает Хандулах бен Казвин:

«Гянджа относится к пятому климату. Расстояние ее от Счастливых островов равняется 88,0, а от экватора — 40,30. Этот город основан Искандером Руми, обновил же его Кобад бен Пируз.

Гянджа — город большой, в нем уйма жителей и много высоких домов. Фруктов здесь великое множество: и гранаты, и виноград, и орехи. Водой Гянджа снабжается из реки Бербер».

Амир Ахмет любил поиграть на сандже, он часто напевал известные персидские стихи:

Гянджа — царица городов Ирана.
Она благолепна, вода и воздух здесь несравненны
Гянджу предпочитаю я Мерву и Хорасану,
Тус и Аксеру отдам я за одну Гянджу.
Повсюду разносится благовоние мускуса,
Небо тут цвета шафрана, и танцует сама земля...

Едва лишь закончилась свадьба атабага, амиры и старейшины стали держать совет.

Три дня совещались трое амиров: амир войск Ахмет, атабаг Гянджи — амир Гозголи и сардар пограничного войска акинджи амир Гусейн.

Амир войск тщательно изучал арабские карты. Наконец он представил такой план захвата Грузии.

Первоначально сардар войска акинджи, амир Гусейн, под видом охоты, называемой у турок «герке и нерке», должен вторгнуться в Иорское ущелье. Крепости по возможности следует обходить; церкви, дома и сеновалы — сжигать.

Само собой разумеется, в пути ему не избежать стычек со спасаларами царя Давида. А тем временем в борьбу вступят амир войск и гянджийский амир.

Амир войск с сельджукской ратью переправится через Куру возле Рустави, выйдет в Триалети, сломит сопротивление тамошних крепостей и проникнет во Внутреннюю Картли.

Гянджинский амир, оставив Херкскую и Зедазенскую крепости к югу от себя, через Мамкоди достигнет равнины Церовани.

Между тем амир Гусейн через Лочинское ущелье проберется в Тбилиси, по пути прихватит с собой Бану-Джаффар и его войско, и Мцхетской дорогой они выйдут в долины Внутренней Картли.

Под конец все четыре амира общими силами сразятся с царем Давидом где-нибудь в открытом поле, ниже Уплисцихе. Амир войск, опираясь на показания своих лазутчиков, рассуждал так: у царя Давида конницы нет, стало быть, дать сражение в открытом поле для сельджуков гораздо выгоднее.

Амиру Гянджи доводилось и раньше воевать со спасаларами царя Давида. Ему хорошо были известны те стратегические трудности, которые сопутствовали, во-первых, завоеванию лесистой Ках-Эрети и, во-вторых, вторжению с войсками во Внутреннюю Картли.

Не подоспей к этому времени Цитлосан Дукидзе, Иа Цихелаидзе, Мамиствала Махароблидзе и Заза Джубиели, спор, верно, затянулся бы надолго.

Цитлосан Дукидзе прекрасно знал эти дороги, поэтому он начисто отверг весь план амира войск. От Рустави до Тедзмийского ущелья у царя Давида столько крепостей, фортов и высеченных в скалах укреплений, что и за год не прорваться с боями во Внутреннюю Картли.

Проникнуть туда через Мамкодское ущелье помешают твердыни Херки и Зедазени. Притом дорога эта защищена непроходимыми лесными чащобами. Леса для царя Давида — те же крепости.

Цитлосан Дукидзе был человек темный и невежественный. Туркский язык его, очень далекий от совершенства, не отличался связностью. Дукидзе невнятно мямлил, пытаясь высказать свои соображения.

Несмотря на это, амир войск примерно догадывался, о чем он говорил.

Туркским языком отлично владел Заза Джубиели. Он подробно перечислил трудности, связанные с передвижением войск по этим трем дорогам.

Джубиели сказал:

— С запада Тбилиси окаймляют горы. Амир Гусейн и тбилисский амир Бану-Джаффар, если даже им удастся выбраться из Тбилиси в этом направлении, дойдя до Мцхета, окажутся в западне, — город чуть ли не со всех сторон окружен горами и крепостями.

Амир войск слушал со вниманием. Ему было известно,

что эти «гюрджи» предали своих соплеменников, а он так полагал: кто хоть раз изменил своей отчизне, тот в любой миг может предать кого угодно. В душе он думал: «Кто их знает? Быть может, они подосланы царем Давидом».

Несмотря на свои подозрения, амир Ахмет был приятно поражен чистейшим туркским языком Джубиели и степенной его речью. В душе его теплилась надежда: авось хоть этот Джубиели — честный человек.

Вообще же амир Ахмет был убежден: если иноплеменник хорошо владеет их языком, невероятно, чтобы он был врагом сельджуков. У кого нет в сердце любви к тому или иному народу, тот не сможет столь глубоко изучить язык этого народа. Подобные мысли внушил амиру Ахмету Низам аль-Мульк.

Он открыл в Сельджукской империи бесчисленное множество медресе, где туркскому языку уделялось гораздо больше внимания, нежели арабскому.

Стоило сельджукам уничтожить в какой-либо стране национальную государственность, как там тотчас принимались насаждать турецкий язык.

Низам аль-Мульк утверждал:

— Если настанет время, когда ислам и турецкий язык будут господствовать повсеместно, то мир будет нами покорен.

Турецкий язык — язык аллаха. Кто его изучит, тот невольно забудет родной язык...

Вот почему амир войск пришел в умиление от изысканной речи Джубиели и слушал его с особым вниманием.

Наконец нарушил молчание амир Гусейн, сардар войска акинджи. Обращаясь к амиру Ахмету, он сказал:

— Все, что сообщили нам эти гюрджи, совершенно верно. Ты, господин амир, по милости аллаха и благодаря собственной доблести, великий военачальник, но должен я тебя предупредить: Гюрджистан — это тебе не страна равнин, вроде Сирии и Антиохии. Здесь каждая гора, каждое ущелье, каждая чащоба — своего рода крепость. Поэтому даже с сильным войском Гюрджистан покорить нелегко.

Тогда поднялся со своего места амир Гусейн. Пошарив пальцем по арабской карте Ках-Эрети, он проговорил:

— В Ках-Эрети такое множество крепостей, лесов в выдолбленных в скалах тайников, что у нас, в сущности, нет выбора. Остается одна-единственная река, по течению

которой можно проникнуть во Внутреннюю Картли, — это Иори.

На наше счастье; по берегам ее крепостей не так много, Иорское ущелье, правда, топко и лесисто... Впрочем, и леса и болота мы употребим себе же на пользу... Давайте заранее условимся: я с моими туркоманами, вначале под видом охоты «герке и нерке», двинусь вверх по Иорскому ущелью. Как только мои люди начнут грабить прибрежные селения, царь Давид, разумеется, немедленно начнет военные действия.

На всем пути, вплоть до Дампала, крепостей нет, так что мы должны повстречаться с царем Давидом и его войском, не доходя до крепости Дампала, где-нибудь в открытом поле.

Теперь самое главное: как доносят мои лазутчики, конное войско царя Давида малочисленно. Поэтому всем трем нашим дружинам надобно приказать, чтобы каждый воин старался прежде всего убить под врагом коня... У царя Давида, как мы знаем, одни лишь азнауры ездят верхами.

Цитлосан Дукидзе не согласился с амиром Гусейном:

— Так было во времена отца Давида, царя Георгия. На конях тогда сидели одни азнауры, а за последние годы царь Давид и его первый визирь Георгий Чкондидели закупили в горах Кавказа столько лошадей, что они не уместились в начармагевских дворцовых конюшнях и часть табунов пришлось разослать по эриставствам.

Амир войск молча выслушал Цитлосана Дукидзе и еще раз пожалел, почему лично не попросил султана дать ему побольше лошадей.

* * *

Когда закончился военный совет, все три амира со своими свитами направились к главной гянджинской мечети, построенной еще при Альф-Арслане. Чтецы корана и муллы с песнопениями шли впереди.

Муфтий взошел на кафедру и стал читать стихи из корана:

— «Да ведают правоверные, что неверные хуже животных».

Хуже животных те люди, которые не веруют в аллаха. Поэтому, когда попадут они в плен, карайте их со всей жестокостью, дабы утратить их единомышленников.

Так соберитесь же с силами и вооружитесь мечами,

копьями и стрелами, садитесь на самых резвых коней, дабы трепетали пред вами не верующие в аллаха, и не только они, но и те, кого вы даже не знаете, но о ком без вас знает всеведущий аллах.

И да ведают правоверные: за все, что бы ни посеяли вы на дорогах аллаха, воздаст вам аллах сторицею.

О пророк, всели бодрость в народ твой и зажги в нем дух воинственный! И если окажется среди приверженцев твоих всего лишь двенадцать твердых духом, они сумеют противостоять двенадцати тысячам, ибо бог лишает неверных разума. И да ведают правоверные: аллах — господь твердых духом, и ведомы аллаху все вещи и все твари земные».

* * *

Не прошло после этого и трех дней, как полчища туркоманов в трех местах нарушили границу между Гянджинским атабагством и Ках-Эрети.

Головорезы амира Гусейна напали на грузинских пограничников, босоногие орды верхом на неоседланных лошадях понеслись вверх по Иорскому ущелью. Цитлосан Дукисдзе и другие триалетские азнауры ехали впереди, показывая врагу дорогу.

Войско акинджи делало вид, будто бы оно увлечено охотой. Туркоманы наводнили леса и болота, раскинувшиеся по обоим берегам Иори, беспощадно истребляли джейранов, фазаньих птенцов и маленьких косуль.

Местные пастухи и погонщики буйволов вначале в самом деле принимали их за охотников.

Народ был занят уборкой хлебов. Когда дичь иссякла, захватчики устремились на гумна. Они угоняли скот, запряженный в молотилки, прямо на глазах у пахарей закалывали волов.

Озлобленные крестьяне взялись за вилы. Мечом и кнутом расправлялись туркоманы со старым и малым, поджигали снопы и скирды.

В окрестных селах звонари ударили в набат, на крепостных башнях развели сигнальные костры. Деревни были объяты огнем, стон стоял над землей.

На помощь безоружному народу поспешили эриставы Аришиани и Барамисдзе с конными дружинами. Соединившись с местным населением, вооруженным вилами и граб-

лями, они перебили лошадей в передовых отрядах амира Гусейна и отгеснили их к прибрежным лесам.

Цитлосан Дукидзе и триалетские азнауры привлекали на свою сторону опальных епископов и владетельных азнауров, подстрекали их к мятежу:

— Вы сами видите, что царь Давид самовластно изгнал вас. Сельджуки пришли всем нам помочь, так давайте поддержим их и прогоним из Ках-Эрети верных царю Давиду эриставов и епископов.

Теснимоу эриставами амиру Гусейну с первых же дней было трудно прокормить своих ратников и их коней.

По велению царя Давида весь скот с иорских пастбищ перегнали в Панкисское ущелье, жителей укрыли в крепостях. В деревнях остались одни собаки.

Расчеты амира Гусейна не оправдались. А ведь Цитлосан Дукидзе и триалетские азнауры уверяли его:

— Народ в Ках-Эрети с нетерпением ожидает вас, избавителей от плетей царя Давида. Ках-эретцы вас на руках носить будут!

Кроме того, амир Гусейн ожидал, что, как было условлено, амир войск и амир Гянджи будут идти за ним следом. Когда же ни одно из обещаний не было выполнено, сардар войска акинджи не на шутку обозлился: то и дело посылал он гонцов к обоим амирам, требуя немедленно идти ему на помощь.

Амир Гусейн в лицо бранил Цитлосана Дукидзе и его сообщников:

— Вы же уверяли, что стоит нам войти с нашей ратью в Ках-Эрети, народ примет нас с распростертыми объятиями? Где же теперь он, этот ваш народ?

* * *

Царь Давид со свитой и малым войском ночью по Мамкодской дороге вышел в Кахети и тайно поселился в Бочормском дворце. Здесь поджидал он Георгия Чкондидели и спасаларов с их дружинами...

Кариман Сетели каждый день докладывал царю о военных действиях эриставов Аришиани и Барамисдзе против войска акинджи.

Кариман приставил соглядатаев к Цитлосану Дукидзе и крамольным ках-эретским азнаурам.

На второй день подоспел Ниания Бакуриани с дружи-

ной. Махара волновался, видя, что Давид все еще не собирается выступать. Давид это замечал и однажды, как бы между прочим, сказал: эриставы Аришиани и Барамисдзе сами сумеют справиться с туркоманами и триалетскими изменниками.

Бочормский дворец напомнил Махаре его отроческие годы. С болью в сердце смотрел он на огромный камин, возле которого, бывало, сживал поздней ночью его отец, погруженный в думы о судьбах отчизны.

Смотрел Махара на отцовские кресла, на его постель, на развешанные по стенам луки и мечи. Псалтырь царя Баграта лежал все там же, у изголовья, с того самого дня, когда владеец в последний раз его перелистывал. Перед образом богородицы по-прежнему теплилась неугасимая лампада. На опустевшем ложе, застланном звериными шкурами, были разбросаны кожаные подушки.

Убитые Багратом олени с ветвистыми рогами, навеяв глубокую грусть, глядели со стен своими потухшими глазами.

Старики придворные в линялых скарамангах еле волочили ноги...

Приезд царя со свитой был для них неожиданностью, поэтому они наспех вытрясали и взбивали постели, скребли и мыли посуду, кресла, ниши, стены и полы.

Начищали засиженные мухами образа и шандалы, закаливали неугасимые лампы пред иконостасами и образами...

Тайная печаль легла на сердце Махары, когда вошел он в Багратову оружейную.

Махара рассердился, увидев, как вокруг без присмотра валялось оружие Баграта. Он выбрал нерадивого правителя Бочормского дворца, плешивого Маркоза, и пригрозил ему:

— Царь Давид собирается посетить оружейную. Мигом чтобы все было вычищено! Не то с тобой, Маркоз, случится то же самое, что однажды сделал я с монахом Козманом.

Маркоз был шутник. Он, улыбаясь, спросил Махару:

— Царевич, а что же ты все-таки сделал с этим негодником Козманом?

— Что сделал?.. Ты это узнаешь, когда я вырву эти два волоска, которые растут на кончике твоего красного носа!

— Не столь уж тяжкое это наказание, царевич! Волоски

эти я сам выдергиваю каждую неделю, а они, окаянные, снова вырастают.

Махара погрозил пальцем плешивому Маркозу:

— Ну-ка, Маркоз, пошевеливайся! Все тут приберите и сейчас же доложите мне.

Когда Махара вышел из гостиной палаты на балкон, он увидел: царь Давид, прикрыв глаза ладонью, долго глядел в небо. Наконец Давид обернулся к Ниании:

— Ты видишь, кто летит к нам?

Ниания тоже прикрыл глаза ладонью и ответил:

— Нет, ничего не вижу, государь.

— Вон там, на вершине, стоит башня, а над нею белый ястреб играет с ветром. Посмотри, Ниания, что за красота! О боже, сколь счастливы птицы небесные! Мы едва ползаем по сей унылой грешной земле, они же привольно парят в небесах!

И правда, зрелище было удивительное: сверкающий близкой ястреб описывал круги над безымянной крепостью, высоко-высоко в небе.

Он то скрывался за облаками, то камнем падал вниз; плавно взмахивая крыльями, ястреб точно ластился к ветру.

Заметив Махару, Давид спросил его:

— А помнишь ли ты, Махо, сколько было у меня белых ястребов?

— Сорок, государь наш.

Давид грустно проговорил:

— Видите, какое странное совпадение: ровно столько же, сколько лет прожил я на белом свете. В тот день, когда Звонила выпустил на волю моих ястребов и перепелятников, я почувствовал, что с ними вместе навеки умчались утех юных лет.

Махара, улыбаясь, ответил:

— Я рад, что ты сохранил бодрость духа, государь наш.

— Эх, Махо, сколько врагов ежечасно окружает несчастную страну нашу! Если я стану хныкать, кто же тогда от них будет отбиваться?

Навсегда запали мне в душу назидания наставника моего, Чкондидели. «Разве студёные родники, сочась капля по капле с утесов, не подтачивают самые твердые скалы?» — так говаривал владыка Георгий.

Долго беседовали они втроем, наконец приплелся плешивый Маркоз и доложил Махаре:

— Царевич, в оружейной наведен полный порядок.

Нианиа Бакуриани никогда не бывал в Бочормском дворце, поэтому он с любопытством осматривал развешанные по стенам Багратовы шлемы, кольчуги, стрелы, мечи, палицы и копыя.

Махара подвел Нианию к ржавой кольчатой рубахе и пояснил:

— Эта кольчуга была на блаженной памяти отце моем, когда сражался он в Ахалкалаки с этим проклятым султаном Альф-Арсланом.

Затем Махара остановился перед доспехами, висящими на крюке:

— Этот панцирь был на нем надет, когда отец мой и брат Георгий покорили Гянджу и отослали домой несметное число пленных и много добычи.

Положив Ниании руку на плечо, Давид задумчиво проговорил:

— Знаешь, Нианиа, временами мы оказываемся пленниками своих почивших предков. По-моему, мой дед Баграт, которого я и в глаза-то никогда не видел, оказал на меня большее влияние, нежели отец мой. Отец всегда старался пробудить во мне страсть к охоте, веселью, пирам. И, как видишь, я последовал не за живым отцом, а за покойным дедом. В юности я часто спускался сюда, в оружейную. Жадно разглядывал я оружие деда, его латы, кольчуги и конскую сбрую...

Показывая Ниании доспехи, уже покрытые ржавчиной, пробитые мечами и стрелами, Махара не устал рассказывать о каждом из них:

— В этот панцирь был облачен великий дед мой Георгий Первый, когда под Басиани он впервые разбил Василия Болгаробойцу; изготовлен панцирь бедийскими мастерами.

А эта кольчуга принадлежала Баграту Куропалату, над ней потрудились ремесленники из Уплисцихе.

Чья эта кольчуга, — точно не знаю; слышал я, будто бы носил ее Вахтанг Горгасал, а лучше меня ведает об этом господь бог.

А известно ли тебе, чья эта кольчуга? Ее сняли с амира Фадлона, когда один кахетинский крестьянин взял его в плен и привел к царю Баграту.

Махара подошел к грузинским мечам с крестообразными рукоятками.

— Эти мечи выкованы дманисцами, те — бедийскими

мастерами, а вон те, что висят в углу, сделаны мастерами из Тао-Кларджети и Артануджи.

Махара брал меч в руки и указывал Ниании то на выгравированную на нем надпись, то на клеймо в виде волчьей головы, лука со стрелами или креста.

— Эти мечи — иранские, отменного булата, который персы называют «пуладом», эти — ферганские, эти — басорские, а эти — дамасские, или, как говорят персы, «димисские».

Эти шлемы — грузинские, из Уплисхихе, а вон те — шишаки с высокими гребнями — иранские.

Давид сказал:

— Когда я возьму Тбилиси, открою большие мастерские мечей и кольчуг, а также мастерские, где будут закалять булат. Кто жаждет свободы, тот должен иметь свое собственное оружие.

— Когда же это будет, государь? — спросил Махара.

— Когда будет на то воля господня, Махо.

— Да будет на то воля господня! — промолвил Махара.

— Одних молитв, конечно, мало. Боле господней надобно подсобить мечами, Махо!

Они сели, закусили и опять повели беседу. Напоследок, чтобы успокоить нетерпеливого Махару, царь сказал:

— Напрасно ты тревожишься, Махо. Я об этом думаю несколько иначе. Если бы я считал это нужным, тотчас послал бы Нианию Бакуриани выпроводить амира Гусейна и орды акинджи за пределы Ках-Эрети. Однако, как мне доносят, амир сельджукских войск и гянджинский амир пока еще находятся в пути. Если выдворить амира Гусейна из Иорского ущелья, все три амира соединятся и нам трудно будет сразиться со всеми троими зараз в открытом поле. Поэтому лучше измотать врагов поодиночке...

Самое главное — это выбрать поле битвы. Я — у себя дома и не дозволю сельджукским амирам сделать это за меня. Я сам выберу поле сражения.

* * *

Амир войск и атабаг выступили из Гянджи на два дня позже, чем было условлено. Когда амир Гусейн и триалетские азнауры тронулись в путь, Ших-Алдин Ахмет вдруг передумал... Умудренный опытом боев в Антиохии, он рассуждал так: недопустимо, чтобы войско на походе оставля-

ло позади себя хоть одну большую крепость, обойдя ее стороной...

До границ Грузии оставалось всего два парсанга, когда сельджуки повстречали гонца от амира Гусейна.

— Два эристава и восставший народ преследуют амира по пятам, — рассказывал гонец. — Несколько раз пытался он выбраться из Иорских болот и завязать бой на плоскогорье, но гюрджи скатывают на сельджуков каменные глыбы, устраивают засады в лесах и трясинах, перебили у них великое множество лошадей. Пищи не хватает, более тысячи наемников уже сбежали. Амир Гусейн просит вас как можно скорее выручить его из беды!

И еще сообщал амир Гусейн: его лазутчик Заза Джубиели доносит, будто бы царь Давид и трое его спасаларов держат путь на Хорнабуджскую крепость.

Известие это совсем сбило с толку амира войск. Не без злорадства он сказал своему шуруну:

— Я же тебе говорил: нельзя обходить стороной такую большую крепость, как Хорнабуджская! Да и конница у меня немногочисленна. Что же получится, если следовать за амиром Гусейном? Погубить лошадей в трясинах? Без лошадей мои три тысячи тяжеловооруженных ратников в этих глухих лесах и болотах и гроша медного не стоят. Мы, сельджуки, — воины степей. У нас исстари ведется: сначала порубим лес, а потом — врага, ибо притаившийся в лесу неприятель столь же опасен, как и враг, засевший в крепости. Потому-то в Хорасане и Сирии мы первым делом выжигали леса, а затем уже переходили в наступление.

Оба амира сидели в седлах насупившись. Лошади шли шагом по лесной дороге. Издали доносился вой шакалов.

Амир Ахмет придержал лошадь у дощатых мостков.

— Еще в Исфаганс, — сказал он своему шуруну, — предостерегал меня первый из эджибов, амир Мансур: «Царь Давид — истый бес! Берегись, как бы он тебя в дери не заманил!» А мне нипочем: я ведь шайтан почище него!

Поэтому и я говорю: к чему нам без толку вязнуть в болотах? Султан наказал мне покорить Гюрджистан до наступления зимы. Давай сразимся с этим царем и его спасаларами где-нибудь на плоскогорье. Впрочем, пока они вряд ли желают встречи с нами.

Значит, лучше нам обложить крепость Хорнабуджи — царь не захочет ее лишиться и поспешит на выручку.

По твоим словам, с востока к этой крепости примыкает большое поле. Отзовем обратно амира Гусейна и там дадим врагу решающее сражение.

Долго еще выслушивал атабаг речи амира войск, а потом сказал:

— Я не могу похвастать столь богатым военным опытом, как у тебя. Однако знаю я Гюрджистан лучше тебя, поэтому должен высказать свое мнение. Лучше вовремя подсобить амиру Гусейну, а не то царь Давид разобьет войско акинджи, потом нам вдвоем трудненько будет с ним справиться и воротиться домой с победой еще до наступления зимних холодов.

* * *

Выглянув из бойницы Хорнабуджской крепости, Шаверди Бурсели заметил сельджукских разведчиков, вывел в степь триста конных ратников, смял передовые ряды войска амиров и бился с сельджуками до самого вечера. Наконец, воспользовавшись темнотой, он вернулся в крепость и велел запереть дубовые ворота, окованные железом.

Была уже ночь, когда амир войск и гянджинский амир подошли к Хорнабуджи... Не спеша расположившись станом в поле, сельджуки и гянджинцы обложили крепость. На другой день начальник Хорнабуджской крепости увидел, как побелела от шатров спаленная зноем степь; казалось, снег выпал в разгаре лета.

На заре загрели барабаны. Амир Ахмет отобрал бывалых воинов, которые в Антиохии не раз ходили на приступ.

Много раз пытались они взобраться на крепостную стену по веревочным лестницам, но защитники крепости обрушивали на сельджуков ливень из камней, стрел и кипящей смолы...

Амир войск не пренебрег и угрозами — начальнику крепости Бурсели он послал письмо на острие стрелы.

«Если сдашь крепость в течение трех дней, — писал он, — и тебе и твоим людям мы сохраним жизнь, если же нет — захватим крепость и выколем всем глаза».

Грамотой, посланной со стрелой, ответил осаждающим и Шаверди Бурсели:

«Рыскай ты по этим степям хоть три года, все равно ничего не добьешься. А если попадешься мне в руки, сгною

тебя в крепостной темнице. К скале там приварены цепи толщиной в руку, и наложу я на тебя оковы».

Разгневался тогда амир Ахмет и повелел стрелять из камнеметов по главным воротам. Но Хорнабуджская крепость стоит на высоком цоколе, и камни с грохотом скатывались обратно, на тех, кто метал их. Даже подвижные осадные башни не смогли дотянуться до крепости с восточного ее края, с других же сторон твердыню обступали утесы.

* * *

Бешкен Джакели и эристав Джонди со своими дружинами достигли Хорнабуджи лишь на третий день. Бескрайние степи простираются к востоку от крепости и обрываются у подножия той самой горы, на которой Хорнабуджская твердыня стоит и поныне.

На запад от этой невысокой горы, там, где теперь расположен районный центр Цители-Цкаро, прежде был заболоченный лес. С запада кончался он высоким утесом, с двух сторон — непроходимыми трясинами.

В этом самом лесу и расположились станом оба эристава с дружинами. Эристав Джонди велел устроить лагерь по всем правилам военного искусства того времени — шатры раскинули в лесной чаще, с четвертой — незащищенной — стороны леса, на опушке, выкопали глубокие рвы, куда отвели воду из болот, полосу земли шириной в десять локтей оставили неразрытой.

Удивился амир войск, когда лазутчики донесли ему, что эриставы прочно обосновались в лесу. Лагери противников находились друг от друга настолько близко, что разведчики сельджуков слышали, как в стане грузинских эриставов ржали лошади, стучали топоры и падали срубленные деревья.

— Уж не запасаются ли на зиму дровами эти проклятые гурджи? — горько усмехаясь, сказал гянджинскому амиру амир войск.

Воины эриставов рубили огромные ели и насыпали перед рвами валы, чтобы легче было отражать налеты вражеской конницы.

Амир Ахмет недоумевал: ни начальник крепости Шаверди Бурсели, ни оба эристава не помышляли завязывать бой по собственному почину. Дни шли за днями. Сельджуки

с первого же дня начали искать источник, снабжающий водой крепость, долго рыскали они вокруг да около, но так ничего и не нашли.

По ночам сельджуки привозили бурдюками воду из дальних селений, но этого запаса едва хватало на то, чтобы смочить пересохшее горло. В спаленной солнцем степи, где стояли шатры сельджуков, кроме сухого бурьяна не было никакого другого корма для лошадей.

Еще труднее было прокормить войско. Первое время пригоняли скот, еще оставшийся на берегах Иори, а иногда совершали набеги на селения, отбирали у крестьян скот и птицу. Теперь же, как установили разведчики, по всей округе жители попрятались и попрятали скот.

Раза два верховых послали за кормом и продовольствием подальше, но встречались с ними ратники эриставов, отнимали лошадей и убивали сельджуков.

Вначале амир войск думал: вероятно, эти эриставы поджидают царя с войском. Но дни шли за днями, а ни царя, ни его войска все не было.

Известно, что военачальники во все времена отличались чрезмерным тщеславием.

Амир Ахмет воевал с Боэмундом, Балдуином и Танкредом. Он считал для себя унижительным сражаться с какими-то безвестными грузинскими эристами. Будучи опытным и наблюдательным сардаром, он отлично знал, что в любой битве можно потерпеть поражение, но нельзя предусмотреть, где и при каких обстоятельствах.

Если прославленный амир империи Сельджукидов потерпит поражение от каких-то эриставов, кому тогда сможет он показаться на глаза? И к тому же, недавно назначенный амир-харас султана Мохамеда золотой палицей перебьет ему хребет!

Амир Гянджи был не ахти какой великий сардар. Довольно храбрый воин и редкий наездник, он не особенно разбирался в стратегии больших войн и осады крепостей.

Амиру Ахмету за долгую жизнь порядком надоело нескончаемое ожидание, которое непременно требуется от военачальника, осаждающего крепость. Невзирая на это, амир Ахмет утверждал так:

— Терпение нужно не только тем, кто строит крепости, но и тем, кто их берет.

Гянджинский атабаг очень волновался. Он заладил одно и то же: надо, мол, заслать в крепость лазутчика и про-

ведать, сколь велико число ее защитников и много ли у Бурсели запасено продовольствия.

Был у атабага на примете один хромоногий кузнец из Тбилиси, отличный знаток грузинского языка, мастер пробираться в осажденные крепости. Было у него множество напильников и отмычек, никакие стены, никакие засовы не могли преградить ему дорогу. И сказал этот кузнец:

— Переоденьте меня в нищего, раздобудьте мне свирель и ятаган. Я проберусь в крепость, а там сами увидите, что будет дальше.

Одели кузнеца в лохмотья, снабдили его свирелью и ятаганом. Предлагали напильники, но он отказался: напильники не понадобятся.

Под покровом темной ночи подобрался кузнец к крепости, а когда занялась заря, уселся возле главных ворот и заиграл на свирели. время от времени он переставал играть и просил милостыню у крепостной стражи.

Шаверди Бурсели раскусил сельджукскую хитрость.

Он приказал:

— Приведите сюда этого игрока!

Сначала по приказу Бурсели его накормили, а затем отвели в винные погреба, где у него на глазах открыли полные амфоры с разинутыми, как у китов, пастями, обошли с ним крепостные амбары и сеновалы, спустились в подвалы и показали ему вяленые и копченые олени и говяжьи туши; наконец подвели его к роднику, который с журчанием струился по отвесной стене. На прощание Бурсели подарил игроцу две драхмы и приказал выпустить его из крепости.

Когда амиры подробно допросили нищего, сиречь лазутчика, которому были оказаны столь большие почести, амиру войск еще раз вспомнился наказ султана Мохамеда покорить Гюрджистан до зимних холодов. С амиром своими опасениями он не поделился, но в уме прикинул, что крепость с такими запасами, пожалуй, не возьмешь и за год.

Амир войск, просвещеннейший вельможа своего времени, читал о военных хитростях и у арабских, и у византийских, и у сельджукских историков, тем не менее его очень удивила ловкая проделка начальника крепости Бурсели.

Своему шурина амир Ахмет не открывался, однако жалел теперь, почему они не пошли по Иорскому ущелью, ведь там войско хоть охотой могло бы прокормиться, хоть корма для лошадей и воды было бы вдоволь.

Невзирая на то, что атабаг увещевал хромого лазутчика

ничего не рассказывать наемникам о погешении крепости, кузнец все же не сберег тайны. Соратникам и тысяцким сельджукского войска хорошо было известно, что султан Мохамед гневался на амира войск.

Вдобавок ко всему, накануне выступления войска из Исфагана султан слег в постель, так что ни первому визирю амиру Мансуру, ни амиру Ахмету не удалось заставить казначея выдать жалованье наемникам, идущим на войну.

Нерозданное вовремя жалованье не раз влекло за собой последствия еще во времена войн между султаном Бархиароком и его мачехой Тюркан-Хатун.

Тысяцкие ничего не говорили амиру Ахмету о ропоте, начавшемся среди воинов. Недовольные уже вслух возмущались:

— Чего же ждем мы у ворот столь богато оснащенной крепости? Лучше уж двинемся дальше и хоть грабежом съедем себе пропитание.

Другие говорили так:

— Раз царь Давид избегает сражения, давайте мы сами найдем его ставку и нападём на него.

Гянджинский амир трижды засылал лазутчиков. Они пробирались вверх по течению Иורי. Через неделю лишь один из них воротился назад и рассказал обоим амирам, что его товарищей убили в пути. Под крепостью Дампала лазутчики догнали амира Гусейна. Двое эриставов и несметные толпы народа одолевают войско акинджи, ни дух не дадут перевести, ни пропитания добыть. Хотел бы амир Гусейн вернуться обратно, но и это не в его воле. Умоляет сардар войска акинджи поскорее прийти ему на помощь...

Амир Гянджи был убежден, что, услышав рассказ лазутчика, амир войск сразу переменит свое намерение — снимет осаду, и оба они, поспешат на зов амира Гусейна — выручать его из беды.

Как всякий храбрый воин, амир Ахмет был упрям. Он рассуждал так:

— Если нам удастся захватить такое огромное количество продовольствия, мы заткнем рты недовольным и сможем терпеливо дожидаться царя Давида.

* * *

Наконец-то Георгий Чкондидели, Шергил Липартиани и Штора Моркневели прибыли в Бочормский дворец со своими

дружинами. Оставив свиту во дворце, на расстоянии одного парсаंगा, царь Давид разыскал удобное плоскогорье, с трех сторон защищенное ущельями и скалами.

Несколько дней даже сам Георгий Чкондидели не знал, что замышляет царь.

Кариман Сетиели в сопровождении троих телохранителей, переодетых в жалкие лохмотья, сновал взад и вперед между Хорнабуджи и Бочормой, следя за передвижением войск всех трех амиров.

Махара волновался, он то и дело напоминал царю:

— Надо поскорее переходить в наступление, а то еще все три амира соединятся, и тогда нам трудно будет с ними справиться.

Спасалары держались такого мнения: быть может, следовало бы сразиться с врагом под крепостью Дампала.

Царь со спасаларами сидели в большом шатре. Снаружи доносился немолчный шум водопадов, поэтому Давиду пришлось повысить голос:

— Поспешность на войне подчас предвещает запоздалый мир. Невелико мужество—поспешно разбить себе лоб о скалу, настоящее геройство — это заставить врага размокнуть голову об эту скалу.

На войне одной храбрости мало, нужна также ловкость и хитрость. Если бы на войне все решала смелость, львов и тигров выбирали бы тогда царями и военачальниками.

Смелости у них хоть отбавляй, только ума и хитрости недостает, потому-то они так легко и попадают в расставленные охотниками капканы.

Смелость лишь тогда имеет цену, когда сочетается она с умом и ловкостью.

Я особенно не спешу. Кариман Сетиели нынче утром сообщил мне отрадные новости. Пока время работает на нас.

Нет худа без добра. Приспешники эристава Липарита и ках-эретские азнауры-отступники еще раз показали грузинскому народу свое истинное лицо.

Среди сторонников Цитлосана Дукидзе, как видно, начались раздоры. Кариман надеется в самом скором времени обрести в их лагере лазутчика.

Взглянув на первого визиря, Давид добавил:

— У нас пока еще мало лазутчиков, владыка Георгий. Если бы у Низама аль-Мулька не было соглядатаев как в собственном войске, так и во вражеском стане, Сельджукский султанат наверняка бы давно распался.

У Низама аль-Мулька повсюду были сахиб-бариды.

Они тоже нужны! Главе государства не только полезно иметь глаза и уши во вражеских крепостях, — он должен читать во вражеских сердцах. На днях Кариман вел переговоры с бывшим начальником Парцхисской крепости, Заза Джубиели. Об этом пусть нам доложит сам начальник царских телохранителей.

Кариман приблизился к царю и Чкондидели. Поведал он вот что:

— Очень трудно было встретиться с Заза Джубиели наедине. Триалетцы напуганы, друг другу не доверяют, собственной тени боятся. Наконец напал я на след кума Джубиели, некоего мельника, живущего неподалеку от крепости Дампала. Как-то ночью мельник тайком привел Джубиели к себе на мельницу.

И рассказал нам Заза:

«Когда мы были в Гяндже, я, как и другие триалетские азнауры, усиленно уговаривал сельджуков и гянджинцев поскорее вторгнуться в Ках-Эрети.

Нам казалось, что стоит только сельджукам вступить в Ках-Эрети, как народ тотчас же к нам примкнет, а верных царю Давиду эриставов, епископов и начальников крепостей прогонит прочь.

Амир войск и гянджинский амир уверяли нас: мы, мол, освободим Ках-Эрети, а править будете вы.

И тут обманулись мы в своих ожиданиях. Помню, когда малышом я плакал в колыбели, покойная матушка, бывало, грозилась: «Замолчи, а то турка позову!» Это проклятые Липарит, Рати и Цитлосан Дукидзе сбили меня с пути истинного. Из меня, благочестивого христианина, сделали сельджукского бадрага и лазутчика.

Наконец-то у меня открылись глаза, и я сам узрел, какое страшное злодеяние мы совершили — ведь мы позволили врагу обогреть родную землю кровью нашего же народа! Я знаю, все вы меня презираете, как изменника! Но если царь Давид простит мне мои преступления, я готов любой ценой искупить свою тяжелую вину, смыть с себя мой позор.

Если же нет мне прощения, то вот я стою перед вами безоружный — без меча и без кольчуги. С тобой трое телохранителей. отрубите мне голову, а тело бросьте в воду», — сказал Джубиели.

Вдруг этот великан разрыдался, как дитя.

Немного помолчав, царь Давид тихо проговорил:

— Ну, что ж, давайте испытаем его, а там будет видно.

Он взглянул на Чкондидели и добавил:

— По-моему, ни один злодей, ни один предатель не рад, что он таков, как есть. Обычно жизнь и обстоятельства порождают негодяев, подобно тому, как болотная вода производит на свет головастика, пиявок и лягушек.

Все дети в колыбели похожи на ангелов. Все живописцы рисуют ангелов с лицами детей.

Завтра утром Нианиа Бакуриани, Штора Моркневели и Кариман Сетиели с дружинами выступят в направлении Хорнабуджи. Владыка Георгий, чего бы нам это ни стоило, крепость врагу не сдавать.

Царь взял со стола свиток, передал его Ниании и сказал:

— Я здесь кое-какие советы даю Бешкену и Джонди. Вы все тоже ознакомьтесь и действуйте сообща.

В тот же день присягнули царю в верности панкисский эристав и трое панкисских хевиставов: Хуранаисдзе, Тагаури и Джабаели.

* * *

Бешкен Джакели и эристав Джонди попали в трудное положение. Амир войск и атабаг Гянджи уже перешли в наступление. У обоих амиров было впятеро больше пеших и конных ратников, чем у обоих эриставов.

Пешие сельджукские воины нападали на лагерь в лесу, ратники эриставов беспощадно истребляли врагов, но оставшиеся в живых, карабкаясь по трупам, упрямо рвались вперед. Все новые и новые ряды ложились на тела убитых.

Нестерпимое зловоние распространяли вокруг себя гниющие трупы. По ночам к лагерю подходили стаи шакалов, волков и рысей; они оглашали лес воем, плачем и мяуканьем.

Запасы продовольствия и в грузинском лагере мало-помалу иссякали.

Сельджуки переняли у врага такой прием: стоило эристам послать верховых за водой или продовольствием, вражеские воины подстерегали их и нападали.

Но вот подошли Нианиа Бакуриани и Штора Моркневели. Они познакомили обоих эриставов с планом наступления, который был составлен царем Давидом.

Наступление предполагалось начать в ветреную ночь. Поэтому целую неделю выжидали, пока не поднялся ветер.

Все четверо эриставов с дружинами снялись со стоянки,

в лагере осталась только стража. Лошадям надели на морды торбы, чтобы не ржали. Грузинское войско с трех сторон оцепило сельджукский лагерь...

Эристав Джонди с тысячьо ратников подошел вплотную к шатрам сельджуков. Грузины перебили стражу, со страшным криком, с горящими факелами в руках ворвались в спящий лагерь. Безжалостно рубили они высыпавших из шатров сельджуков..

Между тем трое эриставов с трех сторон подожгли степь.

Не успев даже одеться, сельджуки кинулись к конюшням. От ветра пожар переметнулся уже и на конюшни.

Конюшни были далеко от шатров. Здесь бушевало пламя, огненные языки лизали хвосты и гривы обезумевших от ужаса животных. От истошного лошадиного ржания волосы становились дыбом.

В одном нижнем белье выскочили оба амира со свитой, едва успели они ускакать на неоседланных лошадях.

На другой день сельджуки и гянджинцы собрались с силами и оттеснили всех четырех эриставов. Однако у амира войск и атабага Гянджи, кроме конницы, было еще пешее войско. Если бы они ушли без пеших ратников, войско разделилось бы на две части. Но царя Давида ожидали со дня на день, и турки на такой рискованный шаг не отваживались. Амир войск и гянджинский атабаг с дружинами снялись с лагеря и двинулись вверх по Иори в сторону крепости Дампала, навстречу амиру Гусейну.

* * *

Амир Ахмет диву дался: объединенное войско сельджуков и гянджинцев достигло крепости Дампала, так нигде и не встретив ни царя, ни его спасаларов. А ведь лазутчики доносили, что Давид с многочисленной ратью расположился лагерем на подступах к этой крепости.

Кое-где, в теснинах, у сельджуков бывали стычки с воинами, набранными в Панкисском ущелье хевиставом Хуранисдзе; они скакали верхом на низкорослых горских лошадках. То и дело нападали они на передовые отряды, а иногда — на шатерничих и табуншиков, следующих позади войска. Воины Хуранисдзе наносили сельджукам большой урон... На головах у них были черные войлочные шапочки, какие в старину носили под шлемами рыцари; теперь же их носят колхозники Восточной Грузии.

Усмирить смельчаков в черных шапочках амир Ахмет поручил амиру Гусейну. Войско акинджи вело с ними ожесточенную борьбу, но Черные Шапки скакали на таких резвых пховских лошадаках, что сельджуки на своих текинских и арабских конях не могли за ними утнаться.

Не успел амир войск стать лагерем, как на шатерничих опять напали Черные Шапки. А когда амир Гусейн с малым войском пустился в погоню, он наткнулся уже на ратников эриставов Аришиани и Барамисдзе.

По приказу амира войск против эриставов выслали тысячу, составленную из триалетских и ках-эретских ренегатов; возглавляли ее Цитлосан Дукисдзе и именитый эретский азнаур Вахан Ваханисдзе...

В этом бою легко ранили Цитлосана Дукисдзе. Амир Ахмет только было собирался послать союзникам на помощь гянджинского атабага с его дружиной, когда оба эристава под покровом ночи ушли в дремучие леса.

Грузинских ренегатов это известие обрадовало. Рана подогрела воинственный пыл Цитлосана Дукисдзе.

Он полагал, что сельджуки оценят его самопожертвование. Дукисдзе был теперь уже вполне уверен: царь Давид струсил и бросил Ках-Эрети на произвол судьбы; трое амиров последуют в Картли за царем-беглецом, а в Ках-Эрети будут самовластно править они, отступники. Беседуя с сардарами, Цитлосан как-то раз, в дороге, закинул удочку...

Гянджинский амир и амир Гусейн для видимости согласились с Дукисдзе, а искушенный в военных интригах амир Ахмет выслушал его молча.

* * *

На склоне дня амир войск послал на север разведчиков, поручив им тщательно обшарить окаймленную вековыми дубами лесную вырубку и прилегающую к ней местность. Сам же сел верхом на серебристого жеребца, взял с собой малое войско и на голом утесе, с которого открывался вид на Иорское ущелье, повелел раскинуть свой большой шатер.

Лазутчики и соглядатаи сельджукского войска на три парсанга в окружности построили дозорные башни, расставили западни и капканы, а кое-где вырыли волчьи ямы, чтобы обезопасить войско от ночных налетов Давидовых ратников.

На другой день начался прием в большом шатре. К амиру войск явились с подношениями опальные ках-эретские азна-

уры. Они подарили ему холеных жеребцов, изготовленные грузинскими мастерами доспехи и конскую сбрую, живых джейранов, косуль, фазанов и сладкие кахетинские вина.

С подьятыми мечами, в шлемах, украшенных султанами из страусовых перьев, у входа в большой шатер стояли фигуры гульямов. Коленопреклоненные негры держали в руках горящие еловые лучины. Рабы с огромными медными серьгами в ушах проносили серебряные блюда, которые ломились от всевозможных яств.

Амир войск, поджав под себя ноги, восседал на кожаных подушках, позади него стояли тысяцкие, по левую руку, тоже на кожаных подушках, сидели триалетские и ках-эретские азнауры. Стольник подносил пирующим сладкие кахетинские вина.

Амир войск глаз не спускал со столника и, хотя тот был гянджинец, все же боялся, как бы не отравили его эти проклятые гюрджи.

В начале пира амир Ахмет был не в духе. Он молча ел плов с изюмом, облизывая свои длинные пальцы и изредка рыгая, но, осушив подряд несколько чаш, раскраснелся и стал разговорчивее.

Глаза его зорко, как у ястреба, следили за триалетскими и ках-эретскими предателями. Безбожно коверкая язык, они с трудом изъяснялись по-туркски. Когда амир Ахмет сам не мог понять их речи, он теребил за руку Заза Джубиели и поминутно переспрашивал:

— Что он сказал? Что сказал?

Амир Ахмет глаз не сводил со статного чернобородого мужчины, который, поджав под себя ноги, неподвижно сидел среди соплеменников, триалетцев и ках-эретцев, и заставлял Заза Джубиели переводить себе каждое слово амира войск. Это был великий азнаур Вахан Ваханисдзе.

Амир Ахмет то и дело поглядывал на этого великана с могучей бычьей шеей, с длинными волосами цвета воронова крыла, ниспадавшими ему на плечи, в серебристой кольчуге, надетой поверх кафтана цвета оперения иволги.

Человек для своего времени весьма образованный, амир сразу разобрался в сложной обстановке, создавшейся в Кахети с вторжением сельджуков и гянджинцев.

Он догадался, что именно Вахан Ваханисдзе, по матери племянник кахетинских царей Квирике и Ахсартана, имеет виды на ках-эретский престол; а Цитлосан Дукидзе, женатый на сестре кахетинского царя Ахсартана, не довольствуясь од-

ним триалетским эриставством, постоянно пресмыкался перед амиром войск и упорно внушал ему:

— Я помогу тебе расправиться с царем Давидом, а взамен великий султан должен отдать в полное мое владение и Ках-Эрети и Триалети.

Амиру войск надоело выслушивать и одного и другого. Вот и на сей раз, не разобрав толком, о чем бубнит Цитлосан Дукидзе, своей невероятно длинной рукой он тронул за плечо Заза Джубиели и велел перевести его слова.

Когда Джубиели толково перевел ему сбивчивую речь Цитлосана Дукидзе, амир Ахмет удивленно вскинул густые, лохматые брови, затем снова нахмурился и, по-прежнему обращаясь к толмачу, проговорил:

— Растолкуй ты этому азнауру, и пусть он зарубит себе на носу: медведя сначала надо убить, а потом уж — делить его шкуру.

Тем временем босоногие рабы принесли жеребенка на вертеле.

Амир войск засучил рукава, взял широкий нож и придвинул к себе жареного жеребенка. Положив на свою тарелку кусок внушительных размеров, он сам стал резать и потчевать амира Гозголи, амира Гусейна; следующие ломтики предназначались Цитлосану Дукидзе и Вахану Ваханисдзе. Затем амир Ахмет протянул нож стоящему рядом с ним длинноусому тысяцкому и приказал оделить лакомым блюдом всех остальных.

При виде конины грузины недовольно поморщились, поблагодарили щедрого хозяина за угощение, но, так и не приронувшись, втихомолку положили свои куски на серебряные тарелки, поставленные перед каждым гостем. Амир Ахмет это заметил, но даже бровью не повел.

Когда грузины удалились в свои шатры, амир Ахмет встретился взглядом с атабагом и заговорил:

— Гюрджи не пожелали есть конину. По-моему, все, кто не ест нашу пищу и не владеет нашим языком, — это, несомненно, наши недруги. Знайте же: мы имеем дело с вероломным врагом.

Этому народу помогают еще не выжженные дремучие леса и непроходимые болота.

Мы, сельджуки, сталкивались, главным образом, с народами, населяющими равнины. Взять крепость, построенную посреди степи, гораздо легче: отрежь воду да пусти в ход камнеметы — вот и все. Покоренные нами народы — большей ча-

стью наездники, их лошади не устояли перед нашими боевыми слонами и верблюдами.

В Гюрджистане же верблюд и слон нам ни к чему. Крепости там построены на столь высоких и крутых горах, что к ним не подступят ни верблюд, ни слон, ни камень...

Как доносят наши лазутчики, гюрджистанские племена не ладят между собой, и мы должны этим воспользоваться.

Они, — произнес амир Ахмет, указывая пальцем на пустые подушки триалетских и ках-эретских азнауров, — могут пригодиться нам в борьбе с царем Давидом.

Он перевел взгляд с амира Гозголи на амира Гусейна и продолжал:

— Вы знаете их лучше меня. Так же, как и всякий народ, лишенный веры в самого себя, гюрджи предадут своих соотечественников.

Мы должны использовать этот раскол в своих интересах. Вы, верно, слышали известную притчу: дервиш, отбиваясь от собак и не найдя под рукой камня, схватил ползущую по дорожке змею и бросил ее на злых собак.

Оба амира кивнули головой. Амир войск снова бросил взгляд на подушки, где совсем еще недавно сидели грузинские ренегаты, и добавил:

— И этих змей мы должны бросить на тех собак.

Амир Ахмет обглодал еще один большой кусок от жеребьячей лопатки и сказал:

— Одним ударом не сломить народ даже самому сильному врагу. Если хочешь покорить чужеземное племя и приобщить его к вере аллаха, не надо воевать сразу со всем народом. Одних нужно обласкать и подкупить, других же — истребить, ибо каждый народ подобен песку — стоит его взять в руки, и он проскользнет между пальцев.

Одним ударом скорее сокрушишь скалу, нежели песок.

Греков, армян и сирийцев мы так и одолели: только заметим, что одно племя враждует с другим, мы тут как тут — одно обласкаем или подкупим, стравим два племени, а когда они вцепятся друг другу в горло, вот тогда-то мы и покончим с обоими. В худшем случае отойдем в сторонку и спокойно наблюдаем, как противники истекают кровью.

Мы постоянно должны помнить о том, что кровь верных детей аллаха — дороже золота. Кровь гяура гроша ломаного не стоит, поэтому врагов закона Магомета надобно натравливать друг на друга и топить непокорных воле аллаха в их же собственной крови.

Не следует забывать притчу о собаках из корана. Надо нападать не на всю свору одновременно: одних полезно обласкать, в других — бросить камнем, ибо порок учит нас: «Едва только ты замахнешься на собаку, она тотчас оскалит зубы».

Я старый охотник и замечал, как умен медведь. Когда медведь найдет каштан, он сразу его не проглотит. Сперва обломает на нем колючки, разгрызет гладкий плод, очистит кожуру, а потом уже по частям съест свою добычу.

Воля аллаха открывается нам то в одном, то в другом живом существе, и наш долг — чутко прислушиваться к велению всевышнего.

* * *

Войско сельджуков и гянджинцев с каждым днем голодало все сильнее. Туркоманы амира Гусейна тщетно рыскали по опустевшим деревням. Жители и здесь уже успели угнать скот в ущелье Панкиси и Илто. Бывало, одному счастливцу из тысячи удавалось наткнуться на небольшую отару овец или на старых буйволов, бродивших в зарослях держидерева; иногда туркоманы возвращались в лагерь с курами и гусями.

Шло время. Хевистав Хуранаидзе со своими Черными Шапками не давал покоя рыскавшим вокруг лагеря лазутчикам, по ночам нападал на них, а иной раз подкрадывался даже к шатрам вражеских воинов и беспощадно истреблял сельджуков и гянджинцев.

Эристава Аришиани и Барамисдзе раза два-три среди бела дня вступали в схватки с гянджинцами и наносили им большой урон.

Амир Ахмет из себя выходил — ни его лазутчикам, ни изменникам грузинам не удалось проведать, что замышляет царь Давид. Не терпелось амиру войск дать грузинскому царю решающее сражение! Да и воины роптали:

— Война так война! Доколе будем сидеть мы в этих топях?!

Лихорадка косила сельджуков. Родниковой воды на всех не хватало, а от иорской воды начались желудочные болезни, больше сотни воинов погибло от них.

Участились ночные налеты. Станы всех трех амиров охватила тревога. Содержать конюшни стало труднее. Не успеют, бывало, сельджуки убрать сено в стога—Черные Шапки

их подожгут; выгонят сельджуки лошадей на пастбище—Черные Шапки нападут на табунщиков, перебьют всех до одного, а лошадей уведут с собой.

Тревожился амир войск: «Неужто до наступления холодов не удастся нам лицом к лицу встретиться с царем Давидом?!»

Недовольство войска страшило амира Ахмета. Казначейм был отдан строгий наказ вовремя выдавать жалованье наемникам, однако только что полученные из Исфагана дирхемы лежали без употребления—покупать было нечего.

Около тысячи овец и столько же крупного рогатого скота берегли для амиров, их свиты и ратников малого войска амира Ахмета, одетых в красные кафтаны. Ратники эти прибыли из Исфагана вместе с амиром войск, чтобы охранять его особу и ходить на приступ.

Амир Ахмет приказал сардару войска акинджи, амиру Гусейну, совершать набеги на прибрежные селения.

Амир Гусейн послал за Йори своего помощника — Исхака бен Хусаму, бывшего эджиба, который в Сирии и Киликии десятки лет громил армян и сирийцев, а сам амир Гусейн с большей частью войска двинулся по течению реки.

Туркоманы врывались в деревни и села. Они поджигали сеновалы и хлева, безжалостно вырубали сады и виноградники, обирали путников, предавали огню девственные леса.

* * *

Лихие были времена, и все же в богородицын день в монастырь святого Додо стеклось великое множество народа. Богомольцы не умещались в стенах обители, многие из них сидели в холодке на крытых коврами арбах и закусывали.

Заметив приближение передовых отрядов войска акинджи, старики и дети укрылись внутри ограды. Мужчины же на подступах к монастырю вступили в бой с конными сельджуками в белых папах.

К туркоманам прибывали все новые и новые подкрепления. Тогда богомольцы, отступая, вошли в монастырский двор и заперли железные ворота.

Амир Гусейн расположился на холме, неподалеку от монастыря. Вдруг откуда ни возьмись появились всадники в черных шапках; нахлестывая коренастых горских лошадок, они подскакали к монастырю, окружили его. Железные ворота внезапно распахнулись, и из них высыпали люди, вооружен-

ные копьями и мечами. Люди эти присоединились к Черным Шапкам и объединенными усилиями отбросили передние ряды туркоманов.

Амир Гусейн глазам не поверил, увидев, что туркоманы в белых папахах повернули вспять и поскакали к тому самому холму, на котором расположился сардар войска акинджи со своей свитой.

Амир пришпорил коня, галопом помчался навстречу отступающим. С гортанным криком взмахнул он сверкающим мечом, подал знак приближенным, чтобы они следовали за ним. До монастыря было уже недалеко, когда амир Гусейн соскочил с лошади. Тотчас же спешили свитские, а за ними и вся тысяча...

Снова отворились железные ворота. Хевистав Хуранаисдзе понял, что биться на подступах к монастырю бессмысленно, приказал своим воинам слезть с коней и укрепиться за его стенами.

И вот на туркоманов обрушились стрелы и камни. Впереди амира скакали двое оруженосцев, державших огромный щит, двенадцать меченосцев и оруженосцев ехали рядом с ним.

Градом сыпались со стен камни и стрелы. Амир Гусейн с поднятым мечом устремился к воротам. Внезапно бросили сверху огромный валун, он попал в одного из щитеносцев и убил его наповал. И вновь амир Гусейн, уже без прикрытия, устремился вперед с криком «аллах!».

Туркоманы осмелели. Шагая по трупам соплеменников, они рвались к железным воротам.

Тщетно ломались они в ворота. Тем временем краснобродый сотник нашел пролом в стене и во главе своих копейщиков под градом камней прорвался за ограду.

У хевистава Хуранаисдзе мгновенно созрел замысел: он бросился к крепостце, высившейся среди монастырского двора — вернее, к развалинам ее. Он увлек за собой богомольцев, вооруженных мечами, кинжалами и палицами.

Для кого не нашлось места в развалинах крепостцы, те грудью встретили туркоманов амира Гусейна и плену предпочли смерть. Тем временем Хуранаисдзе велел завалить бревнами ворота крепостцы, зажечь на крыше сигнальный костер. В наступающих туркоманов полетели камни и стрелы.

Монахи вовремя сообразили отпереть окованные железом двери церкви и впустить народ внутрь.

Туркоманы колотили в тяжелые створы, а в храме народ взывал в отчаянии о помощи:

— Иисус Христос, помоги нам! Богородица, заступись! Защити нас, святой Георгий!

Пятьдесят коленопреклоненных монахов истово молились перед алтарем. Они просили святую деву и Георгия Победоносца взять под свое покровительство притесняемых христиан.

Долго ломились туркоманы в церковь. Наконец краснобородый сотник притащил каменную плиту с какой-то детской могилы. Два туркомана, раскачав, ударили ею в кованые створы.

Заслышав этот страшный грохот, вскочил простертый ниц пред иконостасом инок Куталай, чернобородый, плечистый великан; бросился к настоятелю монастыря отцу Евфимию, топтавшемуся тут же, неподалеку, выхватил у него из рук двурогий железный посох и стал у входа.

Когда туркоманы выломали двери, Куталай схватил одну из створок, прикрылся ею как щитом и бросился на ворвавшихся в храм врагов. Он искусно отражал своим двурогим посохом удары занесенных мечей и сбивал врагов, точно ледяные сосульки. Туркоманы избивали палицами стариков и женщин, кричали, злорадствуя:

— Что же не помогает вам ваша богородица? Где царь ваш?

В церкви было темно. Куталай что было мочи молотил туркоманов своим жезлом, затем ненадолго скрывался в боковом приделе и, немного отдышавшись, снова с остервенением кидался на озверелых врагов.

Грабители ворвались в алтарь, набросились на церковную утварь. Краснобородый сотник запихал за пазуху золотые ложечки, дароносицу, потир и дискос, потом дотянулся до висящего над царскими вратами златокованого образа святого Георгия, сунул его под мышку и зашагал к южным дверям. Куталай, жестоко избитый, лежал на земляном полу.

— Святого Георгия похитили! — разнеслось по храму. Куталай поднялся с пола, погнался за краснобородым туркоманом.

Сотник собирался свернуть направо, но вымазанный в крови Куталай настиг его и схватил за руку; краснобородый ударил монаха в лицо, но тот обнял его правой рукой за шею и вместе с ним ринулся в пропасть.

Дочиста разграбив церковь, туркоманы устремились к крепостце...

* * *

Штора Моркневели и эристав Джонди бились на берегу Иори с двумя тысячами туркоманов, предводительствуемых эджибом Хусамом. Эджиб не смог противостоять эристам и, оставив на поле битвы около пятисот убитых воинов, поспешил к лагерю амира Ахмета.

Всего два парсанга отделяли эриставов и их конницу от монастыря святого Додо, когда лазутчики доложили об их приближении амиру Гусейну.

Лошади туркоманов, осаждавших крепостцу, остались в поле; монастырская стена была разрушена во время боя. Укрепляться здесь было бы неразумно, поэтому амир Гусейн снял осаду и приказал своим ратникам садиться на коней.

Он двинулся навстречу эристам и построил своих всадников на равнине, между двумя лесами.

Амир Гусейн был мастером внезапных налетов; однако некоторых приемов кавалерийской атаки того времени он не знал.

Амир Гусейн слышал: выгодно сражаться с вражескими всадниками в открытом поле, между двух лесов, чтобы противник не мог напасть с флангов. Но на этот раз леса находились так далеко друг от друга, что линия всадников акинджи получилась очень растянутой и редкой.

Эристав Джонди сразу заметил ошибку, допущенную врагом. Во мгновение ока рванулись вперед дружины обоих эриставов. Местами жидкие ряды туркоманов не могли сдерживать натиска грузинских всадников, и конница эриставов оказалась у них в тылу.

Амир Гусейн жестоко бился с врагом, плечом к плечу с ним сражались его меченосцы и оруженосцы.

Вскоре под амиром убили боевого коня; не успел он подняться с земли, как в колено ему вонзилась стрела. Двое стремянных посадили Гусейна на запасную лошадь, но амир все же продолжал сражаться с врагом.

Из раны в колене струилась кровь, а он отважно рубил противника.

Амир Гусейн подметил: его всадники дрогнули, один отряд без боя поскакал на запад, к лесу.

Чтобы бегство не приняло общего характера, амир Гусейн, отбиваясь от эриставов, отошел с войском к ближним болотам, чтобы малодушным некуда было отступать.

Амир Ахмет, узнав, что войско акинджи попало в клещи, вначале сам намеревался идти на выручку, но потом передумал и приказал гянджинскому атабагу, Цитлосану Дукидзе и Вахану Ваханисдзе вызволить из беды амира Гусейна; сам же решил не вступать в бой до тех пор, пока царь Давид не придет на помощь эристам.

Дукидзе и Ваханисдзе получили от него строгий наказ: как только царь Давид покажется на поле битвы, немедленно ему об этом сообщить.

Свежие подкрепления придали бодрости туркоманам. Дважды эриставы оставляли свои позиции и собирались отступить на восток, но тем временем подоспел хевистав Хуранаисдзе со своей конной ратью и грузины оттеснили вражескую конницу к болотам. После полудня прискакали қазретские эриставы Аришиани и Барамисдзе со своими дружинами.

* * *

Сражение на подступах к монастырю святого Додо еще не кончилось. Поздней ночью настоятель монастыря отец Евфимий услышал чей-то зов. Трех монахов с лучинами и веревками послали узнать, в чем дело. Они спустились на веревках на дно пропасти и нашли там жестоко избитого инока Куталай, лежавшего с образом святого Георгия на груди.

Выяснилось, что Куталай после долгого поединка задушил краснородого сотника. Победу монаха над туркоманом Евфимий счел за очередное чудо святого Георгия.

Инок Куталай предстал пред отцом Евфимием и твердо заявил:

— Хочу скинуть на время монашескую рясу и послужить при Георгии Чкондидели меченосцем.

Отец Евфимий велел Куталаю доставить образ святого Георгия к эриставу Джонди, чтобы тот передал чудотворную икону Чкондидели.

Иногда кажется, возможно, и ошибочно, что война — не что иное, как учащенная пульсация жизни. На войне, как и в жизни, немалую роль играет случай.

Момент этот, который сам по себе закономерен, всегда очевиден, только надо умело им воспользоваться.

Цитлосан Дукидзе не видел царя Давида с юношеских лет. В одной из стычек на расстоянии полета стрелы он принял за него Штору Моркневели и, несколько не колеблясь, решил, что сам царь Давид участвует в сражении.

Дукидзе рассказал о виденном Заза Джубиели, но не открыл ему, какое поручение получил от амира войск... Джубиели видел обоих — и царя, и Моркневели. Поначалу и он принял Штору Моркневели за Давида, но потом понял, что ошибся. Несмотря на это, он подтвердил: царь Давид под чужой личиной участвует в боях.

Цитлосан считал Джубиели человеком не вполне надежным, ибо однажды спяна у него сорвалось: «В дурных делах помогаем мы сельджукам».

В конце концов вышло так, что Джубиели и Дукидзе, каждый в отдельности, донесли амиру войск: царь Давид сам предводительствует грузинской конницей.

Сообщение это взволновало амира войск. В тот же день оба амира доложили ему: царь Давид с эриставами отступает на север, а их дружины, потрепанные в боях, нуждаются в свежем пополнении.

На другой день, совершив утренний намаз, амир Ахмет не спеша позавтракал, послал за глашатаями и приказал им трубить сбор. Сам же уселся на кожаных подушках и велел принести арабскую карту Гюрджистана. Тысяцкие расселись вокруг.

Он водил указательным пальцем по карте, стараясь проследить на ней пути, ведущие на север, — они были нанесены киноварью.

Когда шатерничие, казначеи, конюшие, обозничие явились и доложили, что войска готовы выступить в поход, амир Ахмет неторопливо поднялся с подушек; главный меченосец повесил ему через плечо золоченый дамасский меч — дар султана Мохамеда.

Трое конюхов подвели златогривого жеребца с двойной уздой. Пятнадцать запасных лошадей, шестнадцать меченосцев, латников и стремянных двинулись вслед за амиром Ахметом.

Царь Давид на рассвете приказал сниматься с лагеря. Когда Нианиа Бакуриани доложил ему, что войско находится в боевой готовности, Георгий Чкондидели вынес из бочормской дворцовой церкви златокованный образ божьей матери и, опустившись на колени, прочел молитву.

Главный меченосец вынес из оружейной Багратов меч с крестовидной рукоятью. Преосвященный Георгий приблизился к закованному в латы безоружному царю; поцеловал своего воспитанника в лоб и сам препоясал его мечом.

Потом Чкондидели благословил коленапреклоненное воинство. Развернули хоругвь. Впереди царя, свиты и тяжеловооруженной тысячи понесли боевой крест Багратидов.

В тот же день бывший монах Куталай поднес Чкондидели чудотворную икону святого Георгия и попросился к нему в меченосцы.

Стоял солнечный осенний день. На мелово-белом фоне Кавкасиони горели золотом леса. Кое-где рдели кроны буков и рай-деревя, там и сям полыхали кусты кроваво-красной калины.

Сверкали на солнце шлемы рыцарей, доспехи воинов и их боевых коней.

Громкий цокот лошадиных копыт вспугивал оленьи стада. Из тихих дубовых чащ слышались топот и фырканье.

В это дивное утро, столь пышно расцвеченное золотом и багрянцем, трудно было себе представить, что где-то идет война, льется кровь.

Орлы покидали утесы и величаво парили под лазурным небосводом. Где-то в ложбине кричал тетерев, куропатки вквохтали у подножия скал.

За царской свитой и тяжеловооруженной тысячей следовали пешие и конные лучники и копыеносцы Бешкена Джакели из Джавахети, позади них шли шатерничие, оруженосцы, табунщики с запасными лошадьми.

Умышленно отстали на два парсанга тысячи Шергила Липартиани, эристава Джонди, Барамисдзе и Аришиани; они пробирались тропинками, вившимися по ущелью. Кариман Сетиели с телохранителями и Черные Шапки Хуранаисдзе разведывали склоны близлежащих гор.

Как только достигли плоскогорья, был объявлен привал. Царь и военачальники, не слезая с коней, стали держать совет.

Чем дальше продвигалось войско на север, тем хуже становились дороги...

Тысячам Бешкена Джакели, Шергила Липартиани и конным ратникам Хуранаисдзе было приказано отстать в пути, устраивать засады в лесах и лощинах, разрушать мосты, время от времени нападать в теснинах на вражеское войско и скатывать каменные глыбы на сельджукские табуны.

* * *

Было еще темно, когда объединенное сельджукское войско вступило на проезжую дорогу, ведущую в Эрцухское ущелье...

Медленно продвигались тяжеловооруженные конные ратники в шлемах со страусовыми перьями, впереди ехал амир войск в золотых доспехах, за ним следовали гянджинский атабаг амир Гозголи и сардар войска акинджи амир Гусейн.

Черные страусовые перья колыхались над черными знаменами сельджуков и над древками копий предводителей тысяч копыеносцев. Тысяцкие с бородами, выкрашенными хной, были одеты в кафтаны цвета киновари; от тяжеловооруженных конных сельджуков их отличали белые чалмы и кольчуги.

По горным тропкам, которые лепились по обеим стенам ущелья, за войском бежали вооруженные ятаганами разведчики, лазутчики и скороходы, чтобы защитить его от нападения с флангов.

Амир Ахмет любил себя побаловать. Большой шатер амира везли семь верблюдов, а белые мулы тащили на себе его паланкины. Позади табунщики сопровождали запасных лошадей и отары овец. За ними следовали казначеи, чашники и повара.

С тыла войско прикрывали опять-таки тяжеловооруженная конница, пешие лучники и конные копейщики.

Рядом с хорунжими ехали чтецы корана, мукри, трубачи, барабанщики. Частая барабанная дробь врывалась в осеннюю идиллию безмолвных лесов.

* * *

В ложбинах уже кричали фазаны, когда царь Давид с тысячей тяжеловооруженных конных ратников достиг Эрцухи.

Сказочной красотой блистал Кавкасион. В легкой дымке дремали сапфирно-голубые вершины, волокнистые покрывала застыли над зубчатой линией ельника.

Царь ехал с Георгием Чкондидели, Нианией Бакуриани и Махарой. Окидывая взором Велкетильское нагорье, он проговорил:

— Я здесь бывал в юности, охотился в этих лесах на оленей. — Давид показал плетью на дубняк, тесным кольцом обступивший плато. — Плоскогорье тянется в длину не менее чем на три парсанга, — лучшего поля битвы в горах не сыщешь!

Вон тот холм зовется Архангелом, — продолжал царь, переводя взгляд на возвышенный край равнины. — И, что самое главное, между этим холмом и полем бежит полноводный поток. В бою вода имеет огромное значение. А ведь почти все потоки в такое время года пересыхают. Мы должны приложить все усилия, чтобы не уступить врагу водного рубежа.

Когда въехали на вершину холма, царь был поражен красотой здешних мест. В церковном дворе росли три дуба, под сенью которых приютилась маленькая замшелая базилика Архангела.

У подножия утеса стояла стройная белая колокольня и рядом с ней — белая колонна для монахов-столпников.

В чистеньком дворике, посреди цветника, Давид заметил с десяток ульев. Розы уже отцвели. Там и сям виднелись буйно разросшиеся кусты шиповника, усыпанные рубиновыми плодами.

Пчелы грустно гудели, точно отпевая осень.

Радовал взор этот заброшенный уголок, оторванный от всего мира.

— Когда мы с тобой, Нианиа, кончим воевать и составимся, пусть нас похоронят в таком вот тихом церковном дворике, — мечтательно проговорил царь.

Нианиа, улыбаясь, ответил:

— По-моему, государь, тебе и после смерти не придется отдохнуть.

— Ты прав, Нианиа... Вряд ли сподоблюсь я такой смерти, какая постигает мирных людей!.. Думается мне, человеку пора позаимствовать мудрость хотя бы у этих пчел.

Безропотно встречать Смерть, подобно этим мужественным созданиям, — вот величайшая премудрость. Мне жаль

всякую живую тварь, с малых лет я никогда не убивал даже лягушки.

Люблю я пчелу... Это истинная героиня!.. Если ее обидеть, она ужалит врага, но жертвует и собственной жизнью.

Смерть — седьмая печать на таинственном свитке нашей жизни. Это последнее испытание силы духа...

Когда царь со свитой входил в церковную ограду, седебородый карлик звонарь поднимался на колокольню. Обернувшись, он вдруг увидел царя и простерся пред ним со словами:

— Низший приветствует высшего!

— Кто так заботливо ухаживает за этими пчелами и за этими розами, старче?

— Я и Серапион, государь!

— А кто такой Серапион?

Звонарь показал рукой на столпника.

— Тридцать лет хранит молчание отец Серапион!

Давид с любопытством рассматривал человека на столпе — отшельника с белыми всклокоченными волосами, одетого в черную рясу, вперявшего задумчивый взор на Велкетильское нагорье.

— Так это и есть тот самый отец Серапион?! Я слышал о нем! — воскликнул Чкондидели.

Столпник видел царя и первого визиря, но не счел нужным сойти вниз и приветствовать их.

Давид подошел к обрыву и снова обвел взглядом Велкетилю: у опушки леса шатерничие уже раскинули шатры, кое-где развели костры — воины готовили себе ужин.

— Мы должны, Нианиа, перегородить этот поток, лишим сельджуков воды. Всю округу наши лазутчики обшарили вдоль и поперек. В этих местах всего два родника, разве хватит их на все вражеское войско?

Нианиа прикрыл глаза ладонью: горный поток серебряным кушаком опоясывал лесные опушки.

* * *

На другой день царь быстро покончил с размещением войск...

Объединенная сельджукская рать запаздывала на целую неделю... Было к тому несколько причин. Шатерничие, табунщики, обозничие и целый караван медлительных вер-

блюдов амира Ахмета тащились черепашным шагом... Черные Шапки хевистава Хуранаисдзе и дружины эриставов то и дело завязывали с ними стычки в теснинах, скатывали с гор каменные глыбы, разрушали на их пути мосты.

В этой войне Давид впервые завел у себя пешие части камневержцев и пращников. Они нанесли большой урон вступившей в ущелье вражеской рати. В Эрцухском ущелье камнеметным отрядам не было нужды собирать камни и таскать их за тридевять земель мешками, как это, бывало, делали византийские и римские пращники.

Амир Ахмет выбрал в проводники Заза Джубиели, из всех грузинских ренегатов доверял ему одному.

Ни Цитлосан Дукиддзе, ни амир Гозголи не подозревали, что Джубиели последнее время стал лазутчиком Каримана Сетиели. Через кума Заза Джубиели Кариман точно разузнавал о замыслах амира войск.

На сей раз Джубиели вел сельджуков по самым труднопроходимым дорогам, чтобы царь Давид успел построить свои войска для боя на Велкетильском нагорье.

Стоило только соединенной сельджукской рати войти в Эрцухское ущелье, как конница эриставов и Черные Шапки стали наносить по ней фланговые удары.

Царь не собирался уступать врагу право первым выхватить меч из ножен. Поэтому на подступы к Велкетили, навстречу неприятельскому войску, был послан Нианиа Бакуриани со своей легковооруженной дружиной...

Амир Ахмет, возглавив тысячу тяжеловооруженных конных ратников, ударил по передним рядам грузинской конницы.

Нианиа Бакуриани впустил сельджуков в ущелье. Он разделил свою дружину надвое: одну половину повел Штора Моркневели, другой половиной предводительствовал он сам. Грузинские воины неожиданно для врага спешились, опустили на одно колено и, выставив вперед копья, встретили сельджукских всадников, одетых в красные кафтаны.

— Первым долгом убивайте под врагами коней! — таков был наказ царя Давида, знавшего, что тяжеловооруженные ратники без лошадей оказывались совершенно беспомощными.

Почти до самого вечера Нианиа Бакуриани и Штора Моркневели задерживали амира войск и его передовые тысячи.

Царь Георгий трижды шепнул Давиду перед походом: — Старайся в начале битвы выслать против врага тяжелооруженных рыцарей.

Георгий твердо верил: сотня тяжелооруженных всадников стоит тысячи пеших.

Давид же рассуждал иначе: храбрец доблестно сражается и на коне и в пешем строю.

Поэтому, когда амир войск напустил на конницу Ниани Бакуриани и Шторы Моркневели лучших своих тяжелооруженных воинов, эристав Джонди, по приказу царя Давида, повел в бой конных копьеносцев вперемешку с пешими. Они рассеялись по всему полю битвы. На каждого тяжелооруженного ратника приходилось по трое пеших копейщиков и лучников, а чтобы защитить воинов от фланговых ударов, и справа и слева их сопровождали тяжелооруженные рыцари.

И тяжелооруженные рыцари, и пешие копьеносцы, и лучники метали во вражеских коней копьа и стрелы.

Царь Давид еще до начала сражения повелел спрятать более половины всех боевых коней в лесу, за холмом Архангела.

Сельджуков, гянджинцев и туркоманов ввел в заблуждение Заза Джубиели. Он доложил амиру войск, будто у царя Давида мало лошадей. Тогда амир приказал своей дружине и союзникам в первую голову убивать под врагами коней. Пронзительное ржание раненых животных заглушало боевой клич сельджуков «аллах!».

Первые два дня в сражении участвовали только амир Ахмет и гянджинский атабаг, и лишь на третий день под барабанный бой на поле битвы вступил сардар войска акинджи амир Гусейн со своими ратниками в белых папах.

Еще до того, как они пришли в Эрцухи, у него перебили столько лошадей, что теперь на каждом коне сидело по два человека, а кое-где за одним конным ратником шли пешком трое копьеносцев или лучников.

Амир Ахмет, так же как и царь Георгий, думал так: от пешего войска толку мало, главное — это тяжело- или легкооруженные всадники, поэтому он пустил вперед главным образом тяжелооруженных конных ратников, за ними следовали легкооруженные и лишь позади них — пешие.

Среди сельджукских военачальников начался разлад.

Однажды ночью атабаг Гянджи сам явился к амиру Ахмету в большой шатер и сообщил ему:

— Мне доподлинно известно: царь Давид где-то здесь, в горах, прячет своих лошадей. У моих воинов что ни день коней становится все меньше и меньше. Так давайте и мы уведем их с поля сражения, ибо если придется отступать, на своих на двоих живыми нам отсюда не выбраться!

Амир Ахмет почесал в затылке выкрашенными хной ногтями и возразил:

— Кто на поле битвы думает о бегстве, тот может удирать и пешком, даже на коне ему все равно не укрыться от недреманного ока аллаха! Лишь к тем милостив аллах, кто стойко сражается за него!

Амир Ахмет вначале не верил Цитлосану Дукидзе и гянджинскому атабагу, утверждавшим, что царь Давид прятал лошадей, однако подсознательное чувство подсказывало ему: кое в чем амир Гозголи не лжет.

Поседевший в боях полководец понимал также, что теперь уже немислимо увести с поля брани хотя бы часть лошадей...

И тогда он усомнился в искренности Джубиели: «Видно, не без умысла задержал он меня в пути!»

На пятый день амир Ахмет построил свои полки клином. Впереди всех двигались тяжело- и легковооруженные латники верхом на верблюдах. Острие этого огромного треугольника уперлось в самый центр грузинского войска, предводительствуемый самим царем Давидом. Левое крыло возглавлял Георгий Чкондидели, а правое — Нианиа Бакуриани.

Бичом сельджуков было безводье. Родниковой воды, которую привозили бурдюками, не хватало на все войско.

Сельджуки и туркоманы неистово рвались к потоку. Они мечтали отбросить царя Давида за ложину и прорваться к воде.

Царь отвел центр войска назад и замаяил амира Ахмета с его тяжеловооруженными ратниками на середину поля. Амир Гозголи и амир Гусейн, не устояв под натиском колонн Чкондидели и Бакуриани, отступили. Вот тогда-то с обоих флангов и ударили по тысячам амира Ахмета Бакуриани и Чкондидели.

Ночь выручила амира Ахмета, не то он вместе с войском попал бы в плен.

После этого амир Ахмет отказался от своей затеи построить колонны в виде клина и вновь пустил в ход прием, многократно испытанный им в войнах с крестоносцами. Он разделил все войско на три части. Центр возглавил сам, правое крыло — гянджинский атабаг, а левое — амир Гусейн.

Как-то вечером в большой шатер к царю Давиду явился с повинной Заза Джубиели. В знак раскаяния на шею у него висела веревка. Он поцеловал царю колено и подробно поведал ему о спорах, разгоревшихся между тремя амирами, и об их замыслах.

— Из этих трех амиров, — сказал царь, — один амир Ахмет мудрый воин. Амир Гусейн — главарь шайки головорезов, а гянджинский атабаг — сумасброд.

По-моему, и мне и амиру Ахмету надо одинаково остерегаться амира Гозголи.

Я всегда знаю, с какой стороны ожидать нападения умного военачальника. А что вытворит глупец, угадать мудрено, разве только господь умудрит!

Пророчество Давида в точности сбылось на другой же день.

Заметив колебания гянджинского атабага, амир войск в самом начале боя послал ему на помощь тысячу ратников верхом на верблюдах. Истомившиеся от голода и жажды животные храпели. Георгий Чкондидели получил от царя Давида свежие подкрепления — отряды пеших и конных копьемосцев.

Амир Гозголи, убедившись, что гюрджи уничтожают верблюдов точно так же, как и лошадей, приказал одной из своих тысяч биться в пешем строю, а коней во что бы то ни стало увести с поля битвы и спрятать на лесной вырубке. Лошадей он оставил только своим личным телохранителям.

Заза Джубиели с пятьюстами эретских конных ратников пробрался на вырубку и перебил коней гянджинцев всех до единого.

Оставшись без лошадей, гянджинские наемники не выдерживали напора конных и пеших копейщиков Чкондидели. Гянджинский атабаг, оголив левый фланг сельджуков и гянджинцев, ударил по эретской коннице Джубиели.

Георгий Чкондидели во главе своих легковооруженных ратников последовал за атабагом на вырубку. Амир Гозголи прервал бой с Джубиели и на своем огромном жеребце

подскочил к Чкондидели, который, сидя верхом на муле, доблестно отбивался от гянджинцев.

В этот самый миг бывший монах Куталай, прицелившись своим копьём, метнул его в атабагова коня.

Амир Гозголи вместе с жеребцом упал на землю, однако сразу вскочил и замахнулся мечом на Чкондидели.

Вдруг откуда ни возьмись подскочил Джубиели и единым взмахом меча убил под атабагом коня. Стремянные и меченосцы атабага кинулись к своему повелителю, бросили его, словно куль, на запасную лошадь и увезли с поля брани.

Джубиели снова вскочил на коня, грудью сшибся с каким-то гянджинским всадником; но раб с медной серьгой в носу проткнул ему плечо копьём. Джубиели упал с лошади. Раб снял с убитого доспехи и, увидев, что противник еще дышит, вонзил ему в грудь ятаган с такой силой, что рассек его сердце надвое...

Поражение атабага и его дружины привело в полное смятение левое крыло объединенного сельджукского войска.

Георгий Чкондидели обошел справа центр вражеской рати, по-прежнему возглавляемый амиром Ахметом. Лишившись союзника, оба амира сражались теперь с удвоенным ожесточением.

Вот наконец амир войск ввел в бой отважнейшую свою тысячу, которая не раз ходила походами на греков и крестоносцев. Тяжеловооруженные всадники этой тысячи были одеты в кроваво-красные кафтаны, поверх которых они носили кольчуги. На головах у них красовались высокие белые папахи, увенчанные султанами из черных страусовых перьев.

Тогда царь Давид послал за конной дружиной, доселе стоявшей в укрытии за холмом Архангела. Амир Ахмет и амир Гусейн еще раз прокричали перед своим воинством «аллах!» и вновь нанесли удар по той колонне, где сражались царь Давид и его свита. Царь с тринадцатью меченосцами разил закованных в броню воинов и их коней. Как подкошенные, валились наземь ратники амира Ахмета.

Посрамленный атабаг во главе двух сотен тяжеловооруженных гянджинцев с диким криком прорвался сквозь правофланговые колонны к центру войска. Когда гянджинцы с налета атаковали колонну, в которой сражался царь, атабаг, растоптав своим конем трех царских меченосцев, замахнулся мечом на Давида; отскочив от царского шлема, меч рассек скулу его оруженосцу Георгию. Тогда царь повернулся к

атабагу и одним ударом разрубил огромное его тело до самого седла.

Под вечер раздалась барабанная дробь — сельджуки и туркоманы били отбой...

На другой день Черные Шапки Хуранаисдзе рыскали по окрестным ущельям и вылавливали улепетывавших тяжело-вооруженных сельджуков и гянджинцев... Только амиру Ахмету и амиру Гусейну с горсточкой воинов удалось переправиться через Иори...

Автор на этом прерывает свое повествование, ибо у летописца царя Давида, участника этих боев, имеется блестящее описание финала сражения при Эрцухи:

«...И была при Эрцухи битва великая, и царь одержал победу, слава о которой пронеслась из края в край, ибо малочисленное и самоотверженное его воинство истребило несчетные полки султана и множество кахов и множество людей земли нашей, купно с врагами сражавшихся против нас...

...Сам же царь не скрывался в тылу войск своих и не взывал к ним издали, как иные из военачальников, а скакал впереди всех и львиным кличем увлекал за собой воинов и как вихрь носился по полю брани...

И подобно Голиафу обрушивался он на богатырей и крепкою рукою повергал их, рубил и поражал всех попадавшихся ему на пути, покуда от великого бранного труда рука его не прилипла к мечу, как у древнего Элизера, полководца Давидова, и кровь, стекавшая с его клинка, не залилась под его одежды, и когда по исходе сечи царю развязали пояс, множество загустевшей крови изверглось на землю, и соратники думали, что это кровь из его ран; трех коней убили в тот день под государем, а на четвертом завершил он сражение. И поведенное нами — лишь малая доля того, что было...»

Когда же на второй день после победоносного окончания войны Георгий Чкондидели в присутствии воинства и свиты отслужил молебен в храме святого Захария, инок Серапион сошел со столпа, простерся ниц пред царем-победителем и впервые за тридцать лет нарушил обет молчания:

— Воистину ты есть Абдул-Мессия, государь наш!

Царь Давид вновь укрепил за собой Ках-Эрети и оставил тамошние крепости надежным людям...

Эрцухская битва породила в Начармагевском дворце столько треволнений, что любопытство к грамоте Лулу бен Гайдара невольно ослабело.

Обе государыни слегли в постель. И даже неугомонный весельчак царь Георгий, с уст которого не сходила грузинская народная мудрость: «Ржа железо ест, сердце людское — печаль», — вдруг предался печали.

Георгий на чужем свет стоит бранил старость — ведь из-за нее, окаянной, не смог он помочь на поле брани славному сыну своему. Как это нередко случается с бодрыми и крепкими стариками, Георгий сразу сдал, забыл про пиры и охоту, целые дни проводил в молитвах, до поздней ночи читал псалтырь, а под конец зачастил в базилику Черной богородицы.

То и дело посылал он за Кирионом Манглиским и архиепископом Мцхетским Анаксимандром.

Сторонился Георгий сокольничего Звоницы, конюшего Квелаидзе. Приуныла соколыня, зевали от скуки рыбари.

Императрице Мариам пришлось до поры до времени отложить в сторону Платонов «Симфозион». Епископы со всех концов страны наводнили покои государынь, в них запахло ладаном. В дворцовой церкви без конца служили молебны.

А когда в Начармагеви прискакали гонцы с вестью о победе, Георгий, не дожидаясь донесения начальника крепости, по-юношески проворно сбежал по ступеням дворцовой лестницы и со слезами на глазах кинулся навстречу запыленным скороходам.

* * *

После победы при Эрцухи Георгий воспрял духом. Вновь вспыхнула в нем неистребимая любовь к жизни и веселью.

Укорял себя теперь Георгий, вспоминая, как подтрунивал он над царем Давидом и его спасаларами: «Ваши угрозы расправиться с турками — пустое ребячество!».

А ныне?

Ныне Георгий был твердо уверен, что спутник победы — ликование — навеки раскинет свой шатер в Начармагевском

замке, что скорбное сердце царя Давида вновь распахнется для радости; а этот дворец, искони предназначенный для охоты и пиров, — сюда, бывало, частенько наведывались и Баграт Третий, и Георгий Первый, и даже посевший в битвах Баграт Четвертый, — вновь станет «потешным».

Георгий никак не мог себе простить, зачем в самый канун Эрцухского сражения отпустил он в Константинополь стратига Нотара и Епифана Непьющего.

Но безоблачная радость — увы! — лишь несбыточная мечта. И на сей раз отрадным вестям сопутствовало немало горестных.

В последний и решающий день Эрцухской битвы — точнее говоря, на исходе того дня, когда сельджуки, гянджинцы и туркоманы яростно нанесли удар за ударом по сердцу грузинского войска, где беззаветно сражались царь Давид со свитой и оруженосцами, копьё вонзилось в левую лопатку Ниани Бакуриани; под Шергилом Липартиани турки убили боевого коня, а ему самому проткнули копьем плечо; у Бешкена Джакели в самом разгаре сечи сполз с головы шлем, и он с непокрытой головой отражал натиск туркоманов до тех пор, покуда их тысяцкий не разворотил ему бердышом скулу; когда же под царем Давидом пал третий конь, проворно, как рысь, выпрыгнул из седла эристав Валанг, подвел царю четвертого скакуна, но в этот самый миг клинок краснокафтанного тысяцкого амира Ахмета угодил ему в правую грудь.

Был убит некресский епископ отец Амвросий. Сначала туркоманы зарубили его коня, закованного в броню, а когда старик в боевых доспехах ничком упал на землю, поразили копьем и его самого.

В тот же день геройски пали сын артануджского эристава Талагва, руставский эристав Вараз Ваче, панкисский эристав Утургва, гишский эристав Шавлег.

А когда вдогонку беспорядочно отступающим сельджукам царь послал эристава Джонди, враги заманили его в лес, убили под ним коня, но он успел выскочить из седла и, дважды раненный, все же не сдался. Окровавленный Джонди лишился своих меченосцев в то самое время, когда на него напали гянджинцы. Артануджскому эриставу и его оруженосцам едва удалось спасти Джонди.

Когда раненых эриставов и сыновей эриставов на носил-

ках доставили в Начармагеви, царь Георгий растроганно целовал каждого в лоб.

Императрица Мариам уступила свои покои раненым, а сама переселилась в светлицу, отведенную Гванце.

Пострадавших разместили также в Большой и Малой залах Совета.

Обе царицы, их приближенные — дочери и невестки эриставов и родовитых азнауров, Гванца, придворные лекари и костоправы проводили у изголовья раненых ночи напролет.

Общее горе, в которое повергли всех печальные события, несколько рассеял приезд царевича Деметре.

Царевича сопровождали муж его кормилицы, знатный осетинский азнаур Гац, молочные братья Алистон, Миштала, Тохта, Тотир, Дзаго, Алостэ, Хуга, Нартис, Зурдел, Садула, Караман и Цамел, кормилица Дзерасса и молочные сестры Азау, Чизнал, Сурата и Арцирухси.

Величественное это было зрелище, когда во двор замка — впереди царевича Деметре и осетин, — ослабив поводья, въехал на коне муж кормилицы Гац, статный широкоплечий мужчина. Чуть тронутая сединой борода ниспадала до самой рукоятки его кинжала.

Царь Георгий прогуливался в дворцовом саду, когда распорядитель приемов сообщил ему радостную весть. Георгий, не дослушав его, поспешил навстречу дорогим гостям. Завидев старого царя, Гац и двенадцать его сыновей выхватили кинжалы из ножен и гортанными голосами горцев прокричали по-осетински:

— Долгий век царю Георгию!

Георгий поцеловал своего внука, потом направился к Гацу. Муж кормилицы поспешно вложил кинжал в ножны, обеими руками обхватил Георгия за плечи и произнес по-грузински:

— Не только царь ты наш, но и отец родной.

Ласково поздоровался царь Георгий с молодежью, а под конец подошел к кормилице. Женщина оробела, упала перед ним на колени, но Георгий почтительно обнял Дзерассу и благоговейно поцеловал ее в правое плечо.

Не у одних цариц — у самого Георгия градом покатились слезы по багровым щекам, когда царь Давид привлек к себе сына и нежно поцеловал в глаза. Разок-другой подпрыгнув, Деметре крепко обвил ручонками могучую шею отца.

Целую неделю царицы наперебой баловали царевича Деметре. По ночам мальчик забирался в постель к бабушке.

Дед Георгий совсем помолодел.

Целыми днями он суетился, угождая внуку. С утра Георгий и Махара водили Деметре в звериные загоны, а под вечер, прихватив с собой горящие лучины, сети, багры, брали мальчика на рыбную ловлю.

На сон грядущий, опустившись на колени у изголовья отрока, дед тихо целовал его прекрасные синие глаза.

В воскресный день устроили скачки.

Плугари сызнова распахали поля Саирме, Оба государя со свитой присутствовали при этом зрелище. Не на шутку волновались муж кормилицы и молочные братья, когда Деметре скакал по пашне на жеребце, подаренном ему отцом. Следуя за ним верхами поодаль, они по-осетински подбодряли его: «Абатеру! — Смелей! Смелей!».

Конюший, табунщик, стремянный ни на шаг не отставали от царевича, наблюдали, как он одной рукой подхватывал с земли брошенную плеть. Потом расставили по полю чучела — подобия людей в шлемах и латах, с намалеванными углем усами и бородами, с мечами в руках.

То поручат Деметре выбить у них из рук мечи, то ударить по шлему, то на всем скаку метнуть в чучело копьем, то единым взмахом меча рассечь его надвое вместе с броней.

Потом посадили чучела на деревянных лошадей и стали обучать юношу, как убивать боевых коней.

Царю Георгию не по душе было все это.

После вечерней трапезы он сказал Давиду:

— Ведь уж натешился ты вдоволь войною с сельджуками, вежо! Наши враги покрыли себя таким позором, что во веки не посмеют идти на нас войной. Так зачем же нам причучать царевича к человекоубийству? В боях сложили головы предки наши. Пора бы уж подумать и о веселье. В Иерусалиме и Антиохии воссели на престол цари-христиане. Алексей Комнен благополучно правит греческим православным людом. Должен же в конце концов наступить мир на земле и в человецех благоволение!

В тот самый год, когда я с блаженной памяти отцом моим ходил походом на гянджинцев, как-то попал к нам в плен один кади, родом турок. Оказался он стихотворцем и искусным игроком на сандже.

Прослышав, что пленник слагает стихи и играет на сан-

дже, мой покойный отец однажды приказал позвать кади к ужину, изъявил желание послушать его стихи и игру. А в награду царь подарил стихотворцу пять перперов золотом. Смягчилось сердце кади, и сказал он:

«Вразуми аллах наших халифов, султанов да амиров, мы, сельджуки, тоже стали бы отменными земледельцами и садоводами, а вместо кнута взяли бы в руки сандж и свирель».

Так давай же, вежо, оставим царевича в покое. Человекоубийство еще нашим предкам постыло, пора позаботиться и о забавах.

Неделю спустя Давид, вняв уговорам своего отца, устроил во дворце большой прием. На торжество прибыли армянские вельможи и епископы из Ани и Вагаршапата, сын владельца Ширвана, осегинский царь Доргалели, эристава, епископы и хевиставы из восточных и западных земель грузинских.

Зима в тот год поздно вступила в свои права, но выдалась на диво снежная и мягкая. В воздухе кружились пушистые хлопья. Замок со всеми четырьмя башнями, сады, виноградники и выстроившиеся позади них вековые дубы и ореховые деревья оделись в белый наряд.

Начармагеви напоминал теперь хрустальный замок из старинной сказки. Ряды ярко освещенных окон, пляшущие языки пламени факелов в руках слуг, взад и вперед снующих по двору, придавали старинным чертогам Багратидов какую-то феерическую прелесть; дворец вновь уподобился «охотничьему и потешному», каким он был некогда, во времена Георгия I и Баграта IV.

Уж завечерело, но царь Георгий пока не велел «вкушать хлеб», ибо ожидали еще двух дорогих гостей: эристава Шамана из Таквери и эристава Бакура из Гудамакари.

Не на шутку встревожен был царь Георгий, поминутно вставал, подходил к окну, чтобы посмотреть, не усиливается ли снегопад. С сокрушенным сердцем говорил он своему сыну:

— Как бы беды не стряслось со стариками в дороге!

Наконец терпение у Георгия иссякло, и он повелел садиться за стол.

С трапезой покончили, а к пиршеству еще не приступили, когда начальник Начармагевской крепости Чирдилели ввел эристава Шамана и семерых такверских азнауров в кольчугах.

Слепую сопровождала Гванца, которая еще до наступления зимы отправилась в Таквери за отцом.

Царь Георгий и Георгий Чкондидели бросились навстречу слепому эриставу, расцеловались с ним. После этого Гванца подвела отца к Давиду. Старец, чутьем угадав близость царя-победителя, взволнованно пробормотал:

— Сколь несчастен я, государь, ибо не суждено мне узреть тебя в сиянье славы бранной!

Старец хотел было броситься перед царем на колени, но Давид, опередив его, поднялся со златокованого кресла и обнял Шамана.

Турий рог, поднятый за здоровье эристава Шамана, еще не успел обойти вокруг стола, когда во дворе замка опять заржали лошади и залаяли волкодавы. Не прошло и нескольких минут, как свита из цанарских азнауров ввела в Большую палату эристава Бакура.

Едва лишь слышав раскатистый бас Бакура, Шаман поспешно вскочил с места и, не спросив у Гванцы, торопливо заковылял к противоположному концу стола.

Присутствующие, боясь пошевелинуться, взволнованно наблюдали за встречей двух друзей.

— Шаман, ты ли это?

— Бакур!..

Слова эти разнеслись под гулкими сводами. Когда же два слепых великана, сойдясь, стали гладить друг другу лица, бороды, плечи, руки и под конец крепко обнялись, государыни расплакались. Царь Георгий застыл в своем кресле, тщетно пытаясь унять волнение, но вот и у него скатилась по щеке непрошенная слеза.

Даже царя Давида, столь сдержанного в своих чувствах, растрогало это зрелище. Склонив голову, он тихо сказал стоящему рядом с ним Георгию Чкондидели:

— Так уж истари ведется, владыка Георгий. Родина наша — что беспощадный Молох. Оба витязя пожертвовали светом очей своих поверженной отчизны ради. Когда же вновь восстала она из пепла, героям не дано боле узреть ее величие.

Читал я где-то: когда римский император Тит разрушил Иерусалим и изгнал оттуда израильтян, один раввин выжег себе каленым железом оба глаза, воскликнув: «Не в силах я глядеть на разоренную отчизну».

Царь Георгий обманулся в своих надеждах. Едва разъехались гости, вновь загрустил царь Давид. Каждое утро он навещал раненых. Потом призывал к себе в башню католика Картли Иоанна, Арсена Икалтоели, придворного живописца Тевдорэ, гегутских и кларджетских зодчих и целыми днями обсуждал с ними планы будущего храма в Гелати. А по ночам, запершись в башне Теней, вновь и вновь обращался к книгам — своим «мертвым советчикам».

Недоумевал Махара: царь победитель не обнаруживал ни малейших признаков радости, стал еще более молчалив и замкнут; один посещал звериные загоны, один прогуливался по заснеженному саду, один ходил ко всенощной в базилику Черной богородицы.

Императрица Мариам, сидя у камина вместе с царем Георгием и царицей Еленой, говорила:

— Если Давид не переменится, придется мне, видно, в самом разгаре зимы ехать в Константинополь.

— Мы и сами, Майко, ума не приложим, как с ним быть! — стонал царь Георгий. — Когда человек тебе возражает, можно с ним поспорить, постараться внушить ему, что он неправ. Не так ли? А что поделаешь с молчаливым, коль он ни на что не жалуется, никаких тайн тебе не поверяет?

— И главное, Майко, — вмешалась в беседу обычно неразговорчивая царица Елена, — мы ведь даже не знаем, о чем писал этот Лулу бен Гайдар, нашлась наша бедняжка Дедисимеди или нет. У Георгия Чкондидели недавно пробовала я выпытать, известно ли ему что-нибудь о ее судьбе. Ни «да», ни «нет» не ответил, только печально посмотрел мне в глаза и, тяжело вздохнув, вышел из палаты.

А вчера остались мы вдвоем с Махарой. Признался мне Махара, что и ему не открывает сердца царь Давид; а он, мол, не решается задавать вопросы, ибо спрашивающий должен дожидаться, пока спрашиваемый сам знак ему подаст — вот он и предпочитает помалкивать до поры до времени.

— Вся моя надежда на тебя, Майко!.. — сказал царь Георгий и кочергой затолкнул в камин подкатившуюся к самому краю головню.

— Надобно тебе сказать, голубчик, что никакими особыми добродетелями не наградил меня всевышний, но более всего прочего обделил меня смелостью.

Сколько раз пробовала я выведать тайну окольными путями! Совсем недавно, например, беседовали мы с Давидом о многом, а как до дела дошло, тут я оробела и сразу же перевела разговор.

Избегая моего взгляда, царь отвечал мне: «Гелати воздвигну я на усладу души моей, и будет он местом упокоения для меня, детей моих и внуков».

— Дивлюсь я, вежо, — вновь заговорил царь Георгий, переводя взгляд с царицы Елены на Мариам, — время ли ему думать о смерти? Да и мало ли у нас усыпальниц — и в Уплисхихе, и в Бочорме, и в Гегути, и в Мухрани, и в Артануджи, и в Дидгори.

Гм, место упокоения!..

Нелегко на этом свете найти пристанище для веселья, а для упокоения-то!.. Ведь в конце концов вся наша земля и есть место упокоения.

Думается мне все же, Майко, — добавил Георгий, — что ты одна сумеешь выпытать у Давида, что пишет Лулу.

— Да разве я сама этого не хочу? Нынче утром я твердо решила: как только представится случай, прямо так и спрошу Давида: какие вести от Лулу бен Гайдара?

Едва императрица Мариам произнесла эти слова, как дверь отворилась и Давид вошел в опочивальню.

Царь Георгий и царица Елена поодиночке удалились, оставив императрицу Мариам наедине с племянником. Мариам, улучив время, повела речь издалека. Справилась о самочувствии Ниании Бакуриани, похвалила Турманисдзе, искусного целителя, который лечил Нианию. Затем заговорила про Эрцухское сражение, всячески превознося и возвеличивая Давида, неустрашимого Абдул-Мессию...

Давид молча выслушал Мариам, а затем грустно промолвил:

— Эх, августа, десница всевышнего длиннее моего меча! Eimi skia tu theou. Я лишь тень господа на сей грешной земле...

В это время Гванца ввела в опочивальню эристава Шамана, и Мариам предпочла пока не спрашивать о грамоте Лулу бен Гайдара.

* * *

С самого утра Махара пытался застать Давида одного. Целый день царь безвыходно присидел в Большой палате.

Вновь и вновь вместе с Георгием Чкондидели, Арсеном Икалтоели, католикосом Картли Иоанном пересматривал он чертежи Гелати. Придворный художник Тевдорэ и старшина каменотесов Зедгенисдзе докладывали о подвозе строительных материалов. И лишь под вечер Давид, пройдя через сад и виноградник, отворил плетеную калитку и зашагал по тропинке, ведущей к базилике Черной богородицы.

Махара пошел по другой, сбегавшей в овраг, тропке, по которой обычно пастухи гоняли свиней и телят. Скрываясь за высокими, занесенными снегом зарослями бурьяна, он не спускал глаз с Давида, направлявшегося к базилике Черной богородицы.

Махаре послышалось, будто кто-то крадучись шел по пятам за царем, и он выглянул из-за бурьяна. Но Давид был один. Лишь обрывки слов достигали слуха Махары.

Когда же Давид приблизился к базилике, какие-то верзилы вышли из бокового придела и преградили ему путь. Он молча свернул с тропинки, уступая им дорогу, и вступил в храм через западный вход.

Махара проник в базилику через дверь, предназначенную для женщин.

Падая на колени, рыдали молельщицы в черном. Иеромонах топтался перед иконостасом, неустанно вознося к небу молитвы за упокой души героев, павших в Эрцухской битве; при поминании имен погибших базилика оглашалась громкими стенаниями матерей и сестер.

В темном углу Махара заметил коленопреклоненного Давида в кольчуге. Иеромонах то и дело подходил к нему и курил ладаном.

Когда всенощная кончилась и женщины в черном разошлись, Махара, прячась в темном углу, дождался, пока Давид вышел из церкви и направился к винограднику. Подобно соглядатаю, на расстоянии полета стрелы крался он за царем, который на сей раз выбрал тропинку, пролежавшую сквозь бурьян.

Поднявшись на гору, Давид остановился и задумчиво окинул взором Кавкасиони — этого исполина окутывала молочно-белая пелена. Несколько слов прозвучали в густых зарослях, и царь не спеша зашагал вниз по дороге, изрытой свинными и телячьими копытцами.

Махара затаив дыхание шел следом: быть может, удастся узнать что-нибудь важное.

Давид отворил калитку виноградника. Закрывая ее за собой, входящий непременно должен был оглянуться, поэтому Махара предусмотрительно присел на корточки посреди бурьяна; когда же Давид свернул на тропинку, пересекающую виноградник, Махара вскочил и поспешил за царем.

Лань, убежав из загона, резво скакала по снегу.

— Не-ет, от меня не уйдешь! — кричал старик ловчий, преследуя животное.

— Что случилось, Апридон? — окликнул Давид ловчего.

— Никакого сладу нет с этой озорницей, государь наш.

— Бог с ней, Апридон, пусть бедная узница вдоволь натешится прелестями зимы.

От зверинца Давид направился к своей башне. Махара все шел за ним по пятам. При появлении царя в сенях зашевелились слуги; псаломщики и постельничие застыли, прижавшись к стенам... Сабиа встречал царя у дверей опочивальни. Распахнул перед ним дверь и ввел в залитую светом палату.

Махара прильнул к дверям и явственно расслышал слова Сабии:

— Пока ты, государь, воевал в Эрцухи, я в твоей опочивальне нашел один арабский пергамент, прочел его и затвердил на память вот эти стихи:

Конечно, не теряю я надежды,
Что долго проживу на этом свете,
Но ведаю, что день моей кончины
Придется или на аввал,
Иль на ахван, иль на джубар,
А коль не на джубар, то на дубар;
А если и тогда я уцелею, —
То на мунис иль асубу; не то
Не пережить, наверно, мне шиара.

— Перед тем как отправиться в эрцухский поход, я перечитывал эти стихи... Все это хорошо, Сабиа, а сейчас ступай и позови ко мне Махару. Только сначала погаси свечи да подбрось дров в камин.

Прежде, чем Сабиа успел выполнить наказ, Махара отскочил от двери и скрылся в переходах, ведущих на женскую половину дворца.

Долго блуждал в поисках его Сабиа. А Махара тем временем проник в царскую опочивальню. В покое царил полумрак. Давид сидел в низком кресле, обхватив руками

колени и неотрывно глядя на огонь. Рядом с ним на небольшом треногом столике лежал свиток.

Махара тотчас узнал его.

Между тем вернулся Сабиа. Подойдя к большому золотому шандалу, он хотел зажечь свечи.

— Нет, нет, не надо, Сабиа, — остановил его Давид, — так, при свете камина уютнее.

Заметив скѳпа, царь разжал руки на коленях и сказал:

— Заутра мы с Георгием Чкондидели едем в Гелати. Ты, говорят, тоже собираешься с нами. А не лучше ли тебе остаться дома и присмотреть за ранеными? Тем более, в горах уже выпал снег, дороги занесло.

Когда государь отпустил Сабию, Махара нерешительно пробормотал:

— В Гелати я не поеду, коль нет на то твоей воли. Но, сдается мне, звал ты меня, государь, не только затем, чтоб сказать об этом.

Махара вновь покосился на свиток, а царь спросил:

— Так зачем же, по-твоему?

— Мнил я, поведаешь мне наконец, что пишет Лулу.

Царь опять уставил взор на пламя.

— Ужель доселе не знаком ты с грамотой Лулу бен Гайдара?

— Нет. Ведь последнее время мысли каждого из нас были поглощены войной. И расспрашивать тебя я не осмеливался.

— В третий раз уж перечел я грамоту Лулу. Сколь вероломна судьба! Счастье трудно найти, Махо, а утратить его можно во мгновение ока... Все мы — лишь тени господ бога. И никто не ведает, когда сотрет он тени с лица земли...

Давид хотел что-то добавить, но тут Сабиа доложил о приходе местумретухуцеси.

— Царица Елена занемогла, — сообщил тот, — видеть тебя желает, государь.

Когда царь и местумретухуцеси удалились, Махара встал, зажег свечи в золотых шандалах и не спеша начал читать грамоту...

ПИСЬМА ИЗ ИЕРУСАЛИМА,

В хроникон семидесятый посланные Лулу бен Гайдаром начальнику царских телохранителей Кариману Сетиели.

«Слыхал я, будто Магомет говорил: ни писать, ни считать, дескать, не умею. Сам я, признаться, в грамоте тоже не силен, а все же засел за писание: авось, думаю, корявым своим пером накропаю грамоту, поведаю миру хоть малую толику тех чудес, что привелось нам узреть своими собственными глазами, пережить и узнать за это время. Коль найдете нужным, доложите о них царю Давиду.

Я пишу эту грамоту, а Хахутай стоит у меня над головой с горящей лучиной в руке и потешается над словами Магомета: «Выходит, только и умел этот греховодник что людей убивать да брехать. Языком-то молоть дело немудрое, все равно, что жрать, — знай себе рот разевай!»

Через Тедзамское ущелье вышли мы в Триалети и лишь на другой день добрались до Самшвилде. Я и Хахутай ехали верхом на мулах, а Ситкваи Кора плелся далеко позади нас, лениво погоняя выючных ослов. Мы заранее сговорились: в случае чего Кора будет делать вид, что знает нас не знает. Предосторожность нелишняя, ибо в ослиных подседельниках было зашито все наше достояние: выданные по повелению царя Давида золотые дирхемы, ботинаты, греческие солиды и перперы.

Мы с Хахутаем одеты были далеко не по-барски, а Кора вырядился в совсем уже ветхие отрепья и не без умысла — чтоб разбойники при встрече приняли его за убогого нищего.

Вдруг видим: сельджуки вышли из крепости и приближаются к нам. Их главарь скользнул взглядом по мне и Хахутаю — мы, бедно одетые путники, его внимания не удостоились.

Мы натянули поводья и с опаской оглянулись назад: Кору и его ослов пока не видать. Тогда Хахутай поскакал было обратно, но вскоре вновь догнал меня и утешил: Кора еле взбирается по крутому склону.

Мы благополучно миновали крепость Самшвилде, приметили, как развевалось над нею черное знамя сельджуков.

Но не отъехали мы от Самшвилде и двух парсангов, как вдруг, откуда ни возьмись, неподалеку, на пригорке, показались пятеро всадников.

При виде их сердце мое тревожно екнуло, но неизвестные скрылись в ближайшем лесу — видать, на сей раз пронесли!

Мы с Хахутаем проголодались и решили устроить привал у родника; тем временем, думаем, и Кора подоспеет. наших мулов мы пустили пастись, а сами блаженно растянулись на траве.

В ожидании Кору мы частенько поглядывали на дорогу и озирались на лес, где исчезли пятеро всадников.

Едва лишь вдалеке замаячил Кора, мы тотчас собрались в путь.

Не успели мы сесть на мулов, как вдруг послышался топот конских копыт. Главарь тех самых пятерых всадников, сельджук в белой чалме, подскочил к нам и заорал по-тюркски:

— На мулов не смейте садиться!

Я осадил наглеца на его же языке: мулы наши, говорю, и не ваше дело, садиться нам на них или нет.

Человек в белой чалме, оскалив белые зубы, крикнул:

— Нет, врешь, теперь и мулы наши, и погонщики!

Тут только мы и смекнули, что на разбойников нарвались.

Главарь шайки соскочил с лошади и, замахнувшись на нас плетью, велел раздеваться.

Хахутай по-грузински пробурчал: «Проткнуть бы этих собак моим кинжалом!».

Разбойник в чалме подошел ко мне вплотную и спросил: что там бубнит этот хромоногий?

Жалко ему расставаться со своим новым нарядом, говорю.

Усмехнулся краснобородый сельджук.

— Нужны мне обноски этого калеки! В них, должно, насекомые кишмя кишат. Мы хотим только прощупать вашу одежду, не защиты ли в ней золотые дирхемы.

Оглядев Хахутая, краснобородый спросил меня:

— Что свело вас вместе — кривого да хромого?

— Горе, говорю.

— Что за горе?

— Двоюродные братья мы, дед у нас помер в Ани, едем

его оплакивать. Едва я это сказал, как — о ужас! — Ситкван Кора со своими ослами, вскарабкавшись наконец на гору, поравнялся с тем холмом, на котором стояли мы.

Кора без слов понял, какая беда с нами стряслась, и, даже не глядя в нашу сторону, грубо прикрикнул на своих ослов: «Аце-е!». Он заковылял дальше, по крутым горным тропинкам.

Краснобородый велел своим подручным спешиться. Те тотчас повиновались. Ощупали сначала одежду Хахутая — ятаганами всю пораспороли, нехристи! — а как за мою принялись, взмолился я: не рвите понапрасну мою последнюю джубу, прямо вам говорю — сто дирхемов зашито у меня под мышкой.

Разбойники извлекли дирхемы на свет божий, а я захныкал: смилуйте, не отнимайте у нас деньги, деда ведь не на что хоронить.

Краснобородый высыпал на ладонь золотые монеты и торжественно произнес:

— Не такие уж вы бедняки, как я погляжу! — И тут же нас утешил: — Не горюйте, добрые соседи уж как-нибудь похоронят вашего деда.

А когда дирхемы зазвенели у разбойника в кармане, он же и упрекнул меня: почему, дескать, не взяли побольше денег на помин души?

— Больше ни гроша не было, — отвечаю.

Приметил я, что звон золотых монет в кармане привел краснобородого в благодушное настроение, и вкрадчиво попросил:

— Все, что у нас с собой было, ты отнял. Хоть теперь отпусти нас, опаздываем же.

— Нет, погодите, — отвечал предводитель разбойников. — Меня не проведешь! А может, вы тут не одни и по вашему следу идут паломники — грузинские азнауры либо епископы.

— Мы армяне, — говорю, — что у нас может быть общего с этими гюрджи?

Краснобородый огрызнулся:

— Что гюрджи, что армяне — все едино. Все вы псы неверные. Ходил я, бывало, с султаном в походы и слышал в Гюрджистане: «Собака собаке шкуру не разорвет». Все вы тут одним миром мазаны.

Онемел я со страху. А разбойник, почесывая себе подбородок крашеными ногтями, задумчиво пробормотал:

— Эх, что от вас проку — один кривой, другой хромой. Продать бы, да кто на таких уродах польстится?

Краснобородый приказал своим слугам готовить трапезу.

Притороченные к седлам пестрые хурджины сняли и поставили на землю. На полянке, под огромным буком, разложили тонкие лаваш и бараньи окорока. Вдруг заржали лошади: жеребцы разорвали узду и понеслись к Самшвилде.

Слуги краснобородого подняли крик, двое из них погнались за ними.

Главарь разбойников тем временем приступил к трапезе. Могучими клыками он старательно обгладывал баранью ногу. Потом, протягивая мне наполовину объеденную кость, милостиво произнес: дай, мол, хромому.

Когда же Хахутай отверг столь щедрое угощение, краснобородый удивленно вскинул брови:

— За что на меня дуется этот калека? Почему не благословляет своего бога, что не вышибли из него дух?

Швырнув и мне кусок мяса, он сказал:

— Ну-ка, признавайся, одноглазый, турок ты или гюрджи?

— Ни тот, ни другой, — говорю.

— Так кто ж ты?

— Человек, — отвечаю.

А он ухмыляется:

— Коль не турок, какой же ты человек? И кто научил тебя так чисто говорить по-нашему?

— У тбилисского амира я в конюхах ходил, — говорю.

При упоминании о Бану Джаффаре краснобородый смягчился. Даже расщедрился на несколько теплых слов. Я не преминул этим воспользоваться.

— Да я ведь родом тоже из сельджуков, только обрезания мне не делали.

— Ну, это не беда. Обрезание тебе любой мулла сделает.

Разбойник умолк и принялся за третью баранью ляжку.

Нажравшись доотвалу, он рыгнул и вдруг спрашивает меня:

— В аллаха веруешь?

— Не верую, говорю, в аллаха. — И в свой черед спросил его о том же.

— Было время, когда верил...

На лице моем выразилось изумление.

— А теперь? — спрашиваю.

— Теперь больше не верю.

Покончив с ляжкой, краснобородый отшвырнул от себя дочиста обглоданную кость и пробормотал:

— А ну-ка, угадай, как я стал разбойником.

— Почему же я знаю, господин? — говорю.

Схватил краснобородый четвертую баранью ляжку и поведаль мне вот что:

— Некогда в Исфагане разговорился я с одним асасином. И спросил он: «Знаешь ли ты, краснобородый, за что человек ценится?».

Отвечаю ему: человек ценится за те два нежнейших члена, что меж зубами да меж ногами у него спрятаны.

— Нет, не за то, — возражает асасин.

— Так за что же, спрашивается, ценят человека?

— Человека ценят за те дирхемы, что он имеет. У кого сиротливо звенит в кармане один-единственный дирхем, того не то что соседи, — даже собственная наложница презирать станет. А у кого ни единого дирхема за душой нет, тому и соседские коты на голову мочиться будут.

Пришлось мне тогда согласиться с асасином. С того дня и пошел я в разбойники.

Ну, ладно, теперь можете убираться на все четыре стороны. А то, что я говорил, расскажете на поминках по вашему деду.

Смирненно склонив головы, выслушали мы сие назидание, уселись на своих мулов и, проскакав во весь опор парсанга два, догнали Ситкваи Кору.

* * *

В лесу на берегу Ареза стали мы очевидцами (и не только очевидцами) страшного зрелища. На старой вырубке шакалы жадно глодали кости — человечесьи и верблюжьи.

Подле скелетов валялись уже не нужные своим владельцам кольчуги, ятаганы и копыя. Хахутай, вспомнив Антиохию, вздумал тряхнуть стариной и поспешно принялся подбирать оружие. В это время раздался отчаянный крик человека, а затем — громкое мяуканье, похожее на завывание мартовских котов.

Мы пришпорили своих мулов и вскоре на расстоянии полета стрелы увидели всадника с черной чалмою на голове, из последних сил отбивавшегося от гепарда, который так и норовил вспрыгнуть на грудь взвившемуся на дыбы коню.

Мы все трое спешились, выхватили копыя. Человек в чалме при виде нас приободрился, но слезть с лошади не смог...

Тут мы втроем — Кора, Хахутай и я — ринулись ему на помощь.

Ситкваи Кора со страшной силой вонзил копые в разъяренного зверя, уже готового на него наброситься. Гепард попытался было сделать свой последний прыжок, но кишки вывалились у него из распоротого живота, и зверь рухнул замертво.

Человека в черной чалме, обливавшегося кровью, мы стащили с седла. Хахутай разорвал на себе рубаху, и мы кое-как перевязали раненому колено.

Долго лежал он недвижно на земле. Наконец мы его приподняли, разжали ему челюсть и заставили выпить вина. Придя в чувство, незнакомец снял с лысой головы чалму, рукавом кафтана отер холодный пот со лба и невнятно пробормотал:

— Аллах да будет заступником вашим, братья! Какой ангел прислал вас ко мне на помощь?

Он расспросил нас, кто мы и куда путь держим. Мы слово в слово повторили ему те же небылицы, что наплели разбойникам в Самшвилде: двоюродные, мол, братья мы, едем в Ани на поминки деда.

Раненый снова повязал себе голову чалмой, огляделся и указал пальцем вдаль, на два неподвижных окровавленных человеческих тела и двух растерзанных верблюдов.

— Те двое были мои слуги... — слабым голосом проговорил незнакомец. — Врасплох захватила нас самка гепарда, напала и насмерть загрызла вооруженных мужчин. Верно, детенышей своих прячет, окаянная, где-нибудь поблизости, в зарослях.

Человек в чалме едва держался в седле. Мы с Хахутаем ехали по обе стороны, поддерживая раненого под руки. Так довели мы его до постоянного двора, на берегу Ареза, содержанием которого был один армянин.

Выслушав рассказ о страшной опасности, которой подвергся наш новый попутчик, хозяин постоянного двора, почесав себе голову, сказал, что подобное случалось уж раза три за нынешний год. Человек десять загрыз гепард.

Караван-сарай до того провонял верблюжьим и ослиным пометом, да к тому же такие полчища блох на нас набросились, что о сне нечего было и думать. Мы расселись

вокруг раненого и стали расспрашивать, кто он и откуда. Нос у нового нашего знакомого был загнут крючком, наподобие ястребиного клюва, а на правой щеке багровело родимое пятно величиной с мелкую монету.

— Эх, что вам, братья, в имени моем? Прозвали меня Плешивым Хасаном. А имя мое — Абу Хасан. Откуда я родом, не ведаю, ибо не знаю, как звали моего отца. А раз даже это неизвестно, то откуда мне знать, кто был мой дед. Слышал я от бедной матушки моей, что отчим купил нас обоих на невольничьем рынке в Тбилиси. Три месяца спустя отвез нас отчим в Шайзар, где его убили франки в ту самую ночь, когда они напали на город. Мать мою захватили в плен, не знаю только, крестоносцы или сельджуки.

Кличут меня Плешивым Хасаном, а прежде другое у меня было прозвище: Изумруд, ибо купленный раб обычно получает имя одного из самоцветов.

Раз уж из-за этих проклятых блох и зловония нам все равно не уснуть, то расскажу вам кое-что из многострадальной моей жизни.

Эх, кто знает, каких только имен и прозвищ не носил я на своем веку.

Иерусалимец, Филистимлянин, Египтянин, Суфи, Аскет, Дервиш, Хазиф (то есть на память читающий Коран), Каноник, Иман, Муэдзин, Иракец, Багдадец, Сириец, Знаток Адаба — все эти прозвища получил я в городах с различными климатами, в которых побывал на верблюдах, лошадях и ослах.

За все это время не убавилось у меня ни богатства, ни славы, ни невзгод, ни нужды. Не устоял я и от искушений, ибо еще никто не прожил жизнь без греха. Потому что жизнь сама по себе — тягчайший грех, а старость и смерть — расплата за грехи наши тяжкие.

Так было всегда, братья мои. Только дураки лезут на рожон и пытаются оправдать свои поступки. Но знайте: кто поминутно оправдывается, тот и есть самый великий грешник.

Я на память знаю Коран и все четыре евангелия, книги пророков читал, многие годы старался постичь мусульманское вероучение и сам толковал вероучение и адаб.

Не раз подымался я на кафедру муфтия, с минаретов вещал истину правоверным.

Доводилось мне бывать и имамом, читать суры из Корана на молитвенных собраниях правоверных мусульман,

со лъстивыми речами обращаться к кровожадным султанам и амирам.

На трапезах суфиев едал я мясную похлебку с пшеницей, вместе с пустынниками питался кашей, с мореходами — толокном, сдобренным медом и маслом. Пробовал и мацу, которой потчевали меня раввины. А случалось, из мечетей и синагог выставляли меня в такие ненастные ночи, когда хороший хозяин и собаки на двор не выгонит.

С разбойниками и охотниками не раз скитался я по ночам в пустыне, копьем отбиваясь от львов и гепардов. Армяне и греки в своих грязных кабаках избивали меня до полусмерти, когда мне, мертвецки пьяному, нечем было с ними расплатиться.

То, как правоверный мусульманин, я прилежно следовал правилам адаба; то, как христианин, лакомился свиной.

Гостил я в кельях у ливанских отшельников, вместе с бедуинами грабил на караванных путях странников, совершавших паломничество в Мекку, обирал мусульманских хождей и христианских епископов на самых подступах к Иерусалиму.

Торговал я медом, хлебом и водой на базарах Багдада и Дамаска. Да мало ли чем торговал я на своем веку! Яснооких гречанок, армянок и грузинок тоже не раз приходилось покупать и продавать.

То служил я у султанов и амиров домоправителем, то помогал асасинам в их покушениях на султанов и амиров.

В медресе я превосходил кади в знании Корана и адаба; а бывало, препирался и с невеждами из простонародья.

В Мекке едал я даровой хлеб за счет халифа, в Иерусалиме принимал копченую чечевицу из рук настоятелей монастырей. На самом себе испытал ловкость рук опустошителей кошельков и мошеннические проделки фальшивомонетчиков. Не раз и самому доводилось сбывать фальшивые дирхемы на базарах Дамаска и Багдада, ибо глупцы все еще не поняли той простой истины, что не все желтое — золото.

Не раз бывал я пленен франкскими рыцарями как лзутчик сельджуков, а случалось, и туркоманами — как соглядатай византийского кесаря.

Купался я в серных банях Табаристана, глазел на торжества навруза в Исфагане, а в Константинополе на празднике св. Сергия носил свечи высотой с человеческий рост под пение «Отче наш».

С франкскими рыцарями и арабскими фарисами бился на мечах, а один шелудивый пес так отдубасил меня на караванном пути однажды ночью, — чуть дух не вышиб. Спасибо еще, какой-то паломник проявил ко мне милосердие самаритянина.

А месяца два спустя я уже сопровождал Наджм Эддина иль-Гази, когда он шел на неприступную крепость Мардин всего-навсего с тремя тысячами тяжеловооруженных воинов. В Мардинскую твердыню я ворвался первым и всадил свое копьё начальнику крепости прямо в пах.

Родины я лишился с малых лет, вот почему спина верблюда, мула и осла заменила мне и отчизну, и дом родной. Скитаюсь я доньше по белу свету, без устали разыскиваю потерянную мать и родину свою...

Уж до чего прилежно вчитывался я в писания мудрецов, а под конец так и остался бездомным глупцом.

В Исфагане и Багдаде считался я непревзойденным знатоком арабских карт. Отлично знаю карты климатов — сувак аль акалим, страны света — абкал аль билад, уставы городов — таквим аль булдан. Я ведь первым привез эти уставы в Исфаган и преподнес султану Мохаммеду.

Следил я за гороскопами, по ночам наблюдал круговращение светил. На верблюдах, лошадях и в паланкинах пересекал страны ислама от Ферганы до Хорасана, от Хорасана — через Джибал — до Ирака; оттуда пять месяцев — то на верблюде, то на муле — ехал до Аравийского Йемена. На парусном судне ходил до Мрачного моря, а на обратном пути добирался и до Овечьих островов.

На греческих триремах не раз переплывал я Понт Эвксинский от Лазики до стольного града Константинополя, вдоль и поперек исходил Хорасанские земли, избородил Джурджанское море, которое называют еще озером Аль Баба.

Бывал я и за Дербентскими вратами. Там где-то поблизости есть два острова. На островах этих я, кроме чаек; ни души не видал, хоть и слышал, будто на тех островах обитал прежде какой-то народец, но неведомые завоеватели вырезали всех жителей до единого. Короче говоря, аллах ведает, жил там вправду народ или не жил и действительно ли его истребили.

В книгохранилище Исфаганского дворца попался мне на глаза один безымянный kitab, где я вычитал: наше Солнце, наши семь небес и Земля, на карте похожая на некую

хищную птицу, просуществуют якобы всего лишь четыре миллиона четыреста четыре года, а потом обратятся в прах.

Хорошо еще, что все мы, сидящие сейчас на этом подворье, тогда давно уже будем на том свете и не придется нам узреть собственными глазами, как рассыплется в порошок грешная земля.

В годы отрочества я знал на память китаб Абу-Абас-Ахмет-Ибн-Аль-Кас Ат-Табари аль-Амула «Далаил Килба», то есть учение об обращении Солнца, Луны и прочих светил. В этой же книге говорится также о колебании длины и высоты теней, о сроках свершения азана, есть там и множество всяких откровений.

* * *

На постоялом дворе мы застряли надолго. На другой день по приезде был понедельник, и старшина караванщиков побоялся пускаться в путь. На третий день Абу Хасану стало хуже, и мы не решились бросить на произвол судьбы этого несчастного искалеченного человека. Надо же было кому-то перевязывать его раны.

Хозяин подворья брюзжал, боялся, как бы этот бездомный бродяга ноги не протянул и не пришлось ему хоронить мертвеца за свой счет.

Абу Хасан, тронутый нашим сочувствием, сказал:

— Вы, сдается мне, не мусульмане. И дивлюсь я, как это вы так чутко отнеслись ко мне, бедному турку. Да может мне всемилостивый аллах воздать за ваше добро сторицею!

А я отвечал ему:

— Мы ненавидим не турок, а их султанов и амиров.

— Да, признаться, я тоже их недолюбиваю, — сказал Плешивый Хасан.

* * *

Последние события настолько сблизили нас с Абу Хасаном, что мы открыли ему свои настоящие имена и цель наших странствий.

Долго сидел он молча, уставясь на земляной пол, потом поднял голову и вымолвил:

— Считайте меня вашим сподвижником в этом деле. Если дочь эристава где-нибудь в этих краях обретается, мы непременно ее разыщем.

Похищенных женщин искать дело нелегкое... Вы говорите, кто-то видел ее в Дамаске? Но это ровно ничего не значит. Работорговец привезет невольницу, скажем, в Дамаск, а если там не дадут за нее хорошую цену, отправится в Исфаган или Багдад.

И сдается мне, именно в Багдаде надобно искать дочь эристава. В Багдаде огромный невольничий рынок, там же дворец халифа и его гарем.

Богатейшие сельджукские амиры съезжаются в Багдад, дабы купить там себе прекраснейших невест или наложниц.

Не мешало бы нам мимоходом завернуть в Ани. С тех пор как сельджуки там укрепились, похищенных в Гюрджистане или Армении женщин везут сперва в Ани, а уж если там не сумеют сбыть, тогда в Багдад едут или в Дамаск.

Все, что касается торговли рабами, никто лучше меня не знает — разве что сам аллах.

Целых десять лет потратил я на поиски моей матери. Ходят слухи, будто бы в Антиохии и Иерусалиме христиане франки тайком торгуют невольницами. В Шайзаре или Багдаде скупают красавиц, иных оставляют у себя наложницами, а иных за большие деньги перепродают богатым египетским купцам.

Дела у меня немного. Двинский амир, правда, поручил мне в Багдаде купить для него лошадей. Но едва лишь мы выехали из Двина, нас ограбили разбойники, а потом слуг моих гепард загрыз.

Ну и черт с ним, с амиром! Пусть себе дожидается, когда заржут купленные мною кони! А я поеду с вами. Может, и бедную мою матушку где-нибудь найду.

Мы вняли совету Абу Хасана, тем более, что Георгий Чкондидели наказывал нам при случае захватить в Ани и повидаться с вартапетом Гайком.

* * *

К Ани подъехали на рассвете. Муэдзин с минарета зывал к правоверным мусульманам, и по всему городу разнеслись клики мулл.

В Ани мы пробыли целую неделю, ибо вартапет Гайк оказался в отъезде и нам пришлось его ждать.

Тщательно исходили мы весь невольничий рынок вдоль и

поперек, но из грузин у иранского торговца рабами оказались лишь безусые отроки, а женщин — ни одной.

После долгих колебаний рассказал нам работарговец:

— С месяц назад привезли ко мне из Двина грузинок: все, кроме одной, — образины. Здесь я их не сумел выгодно сбыть с рук, хоть и продержал, у себя целых две недели. В конце концов в Багдад пришлось их угнать моему старшему сыну. А та, одна, была красавица писаная.

Торговец невольниками был человек угрюмый и неразговорчивый.

Спрашивал я у него, знатного ли рода была та, одна, и как звали ее.

Ни того, ни другого он так и не припомнил.

Наконец воротился в Ани вартапет Гайк. Вартапет послал к торговцу невольниками верных людей, но ничего нового из него выудить не удалось.

* * *

Вартапет Гайк водил нас по разрушенным крепостным стенам, башням, церквям и монастырям. Над христианскими храмами, на месте крестов, вознеслись полумесяцы.

В развалинах лежала городская стена. Полумесяц водрузился и над собором Гагика, царя Армении. Такая же участь постигла и церковь армянской царицы Катрониты.

Вартапет рассказал: все эти храмы сельджуки разграбили сразу же, как заняли Ани. Иные из них обратили в мечети, иные — в постоялые дворы, а иные — в хлева для верблюдов.

* * *

Долго ждали мы попутного каравана, идущего из Ани в Багдад.

Вартапет Гайк прислал лекаря к Абу Хасану, а нас поручил заботам Хачика, хозяина постоялого двора.

* * *

Бальзамы, принесенные лекарем, сотворили чудо — раны Абу Хасана быстро заживали.

— Однажды вечером вартапет зашел к нам на постоялый

двор, принес изюму и сладкого вина. Долго занимал он раненого беседой. Абу Хасан заметно окреп; он теперь часто смеялся и шутил.

Вартапет Гайк поведал нам о печальных событиях:

— После того как византийский кесарь Константин Мономах из-за вероломства армянских епископов пленил Гагика, царя Армении, сельджукское войско расположилось на постой в стольном граде Ани.

Наша конница распалась: кто скрылся в Рум, кто бежал в Грузию.

Ани — родина Мариам, дочери армянского царя Сенакерима и матери грузинского царя Баграта. Вот почему царю Баграту достался в удел осиротелый Ани.

Что же было дальше? В 454 году хиджры султан Альф-Арслан вздумал идти походом на Рум, а усмирить армян он поручил Малик-шаху, тогда уже наследнику престола, послав с ним Низама аль-Мулька, «непревзойденного ходжу и первого среди визирей», как величали его сельджуки.

На подступах к Ани лазутчики донесли Малих-шаху, что конному воину не перебраться через стену города, а пешему — не подступиться к его башням. И доложили еще сыну султанову, что городскую стену опоясывают рвы, наполненные водой.

Струсил Малик-шах. Не хотелось ему просить подмогу у отца, который ушел завоевывать Рум, а возвращаться домой без боя тоже было зазорно.

Наконец, посоветовавшись со своими военачальниками, он решил начать осаду крепости. На лодках и плотам ратники переправились через рвы.

Тогда защитники города обрушили на сельджуков град стрел и камней.

Низам аль-Мульк, напуганный упорным сопротивлением армянского воинства, посоветовал сыну султана, покуда цел, возвращаться в Исфаган.

Малик-шах заупрямился, не внял советам первого визиря. Он подступил с войском к самой крепости. Армяне закидывали арканы из крепостных бойниц, обдавали идущих на приступ кипящей смолой и нанесли потери войску Малик-шаха.

Низам аль-Мульк и Малик-шах не знали, как и быть.

С отчаяния они собирались снять осаду и повернуть назад, к Исфагану, но тут обрушился на нашу голову гнев господень.

Поднялась страшная буря, разгневанные небеса разразились ливнем, солнце стало похоже на взболтанное тухлое яйцо.

Мрак объял стольный град, земля содрогнулась, крепостные стены растрескались и рухнули в наполненные водою рвы.

Пешие лучники Малик-шаха отперли кованые ворота, прорвались в город и впустили тяжеловооруженных конных ратников. Сельджуки заполонили дворцы, церкви и караван-сарай, разграбили столицу. Защитников главной твердыни перебили всех до единого.

Женщины, старики и дети устремились к крепости Неркиберд, кое-кто укрылся во дворце царя Гагика. Лишь неркибердское укрепление стойко оборонялось от врага.

Сам царь Баграт не смог тогда прийти на помощь Ани — по пути в Рум Альф-Арслан вторгся в Ахалкалаки, и грузинскому царю пришлось дать сражение султану.

А в Ани царь Баграт послал Георгия, эристава Торели с конной дружиною, составленной из грузин и армян.

Эристав Торели с боем ворвался в город и на подступах к крепости Неркиберд вступил в схватку с тяжеловооруженными конными ратниками Малик-шаха. Целую неделю бился с врагами Торели, а в понедельник отважный эристав пал от первого же взмаха сельджукского меча.

Прежде чем грузинская дружина отступила, восьмидесятилетний старец Бахтагек, начальник Неркибердской крепости, вышел за ворота, возглавил воинство царя Баграта и наголову разбил конную рать сельджуков.

Тогда Малик-шах и Низам аль-Мульк прислали подкрепление. Грузины и армяне потерпели поражение в неравном бою с несметными полчищами лучников-туркоманов. Старцу Бахтагеку отрубили голову и водрузили ее над крепостью.

Помню, словно вчера это было, как развевалась на ноябрьском ветру пышная белая борода Бахтагека.

А под конец, когда пал Неркиберд, рассвирепевшие сельджуки стали чинить расправу над женщинами, священниками, епископами и монахами. У матерей вырывали из рук прудных младенцев и с размаху бросали их об стены храмов.

Кровью людской обагрилась река Ахуриан, улицы и площади были завалены мертвецами и ранеными, а живые ходили прямо по трупам, ибо больше негде было пройти.

По ночам волки и рыси прокрадывались в город и пожирали никем не оплаканных, неприбранных покойников.

Враги истребили всех мужчин и принялись за грабеж. Много золота, серебра, драгоценностей вывезли они на мулах и верблюдах из дворцов и храмов.

Только два амира, Кутулмиш и Ибрагим, похитили из дворца епископа Давтика несметные сокровища — золото, серебро, самоцветы, парчу, которые едва увез караван из сорока верблюдов.

Золотые листы с церковных куполов и те были сорваны и отправлены в Исфаган...

Вартапет Гайк умолк. Опершись локтями на колена, он сжимал виски ладонями.

Из-за стены доносилось громкое сопение верблюдов. Изредка ночное безмолвие прорезали оклики стражи.

— Вот как враги расправились с родиной нашей! Лишь очи нам оставили, чтобы плакать, — горестно добавил вартапет.

— А теперь в чьих руках Ани? — спросил Абу Хасан.

— У Альф-Арслана Ани купил курдский амир Абу-л-Сувар, заплатив за город великим множеством златокованных образов и церковной утвари. Впоследствии же Абу-л-Сувар передал город во владение сыну своему Мануче.

* * *

Поведал нам вартапет Гайк о победе царя Давида при Эрцухи и добавил при этом: в семи храмах Ани отслужили молебствие по случаю этой победы.

* * *

Перо мое бессильно описать все те ужасы, какие узрели мы на пути из Ани в Багдад. Тысячи человеческих трупов вниз головой висели на придорожных деревьях. И терзали их коршуны, вороны, стервятники.

Жара была страшная, и кругом нестерпимо разило мертвечиной.

Голодные рысьи и волчьи стаи бродили окрест, но не могли подобраться к добыче.

Неподалеку от крепости Аль-Джиср случилось с нами диковинное происшествие. Вы, верно, знаете, что амир Наджм Эддин иль-Гази, владетель замка Мардин, отступился от сельджукского султана Мохаммеда.

Войско султана, предводимое атабегом Токтекином, вплотную подошло к высившейся над рекой неприступной твердыне Аль-Джиср. С противоположного берега навстречу ему двинулись франки и ратники иль-Гази (а ведь известно, что иль-Гази некогда был злейшим врагом франков).

Общими силами ударили по сельджукам мусульмане и христиане.

Пыль клубилась над караванной дорогой, полчища туркоманов нещадно погоняли лошадей, спеша на помощь к иль-Гази.

Заладил наш Хахутай: свернем с караванного пути — тут того и гляди туркоманы ограбят.

Послушались мы Хахутая, оставили в стороне широкую дорогу, поскакали по глухому проселку, пролегающему через высокие заросли, в которых легко мог укрыться человек верхом на лошади.

Из предосторожности так же поступил и шедший впереди нас караван, возглавляемый бодрим седобородым старцем на белом арабском скакуне.

Абу Хасан уговаривал нас не слишком отставать от каравана, ибо в трудную минуту караванщики могут нам помочь. Тогда мы поскакали быстрее и старались не упустить караван из виду.

Предвидя опасность, мы порешили: Хахутаю как самому храброму и сильному из нас троих надо держаться сзади, а Ситкваи Кора с его ослами надо пропустить вперед. Вдруг мы услышали неистовый звериный рев и крик человека.

Еще миг, и мы узнали голос Хахутая.

Мы с Абу Хасаном тотчас повернули своих мулов назад, и что же! Видим, огромный лев вспрыгнул на спину мула Хахутая.

Клинок сверкнул в воздухе.

Лев упал на землю, но снова вскочил и вцепился Хахутаю в ногу (слава богу, зверь вонзил зубы как раз с той стороны, где была у Хахутая деревянная нога).

Лев, видно, был тяжело ранен и все же грозно рычал, а Хахутай разил копьём приникшего к земле зверя.

Издали доносились воинственные клики и цокот конских копыт.

Все мы приблизились к раненому хищнику. Он злобно ревел, хотя из груди его торчал кинжал Хахутая. Подоспевший на помощь седобородый караванщик на всем скаку вонзил свое копьё в спину льва.

Затем старик обернулся ко мне и проговорил по-арабски:

— Не проткни ваш спутник зверя своим кинжалом, нелегко было бы его одолеть.

Когда я перевел эти слова Хахутая, тот усмехнулся:

— Не вмешайся этот старый бородастый козел, хоть раз в жизни смог бы я похвастать: льва, мол, своей рукой убил.

* * *

Жуткое зрелище привелось нам увидеть на подступах к Багдадской крепости.

«Оплоту веры исламской», халифу багдадскому Мустазадиру Ибн-Моктади донесли: караванщики, погонщики верблюдов и мулов, оказывается, собираются у ворот дворцов, крепостей, мечетей и базаров. Обступят со всех сторон проезжего амира, ходжу или кади и кричат: «Если тебе нужны золотые дирхемы для твоих гаремов и наложниц, то и нам они не помешают — мы купили бы на них хлеба, вина и шербета. Отдавай деньги, лучше отдавай добром, не то бросим работу и придется тебе тогда на своих на двоих таскаться».

Вслед за караванщиками, погонщиками мулов и верблюдов взбунтовались и другие бедняки. На улицах Багдада не было от них проходу амирам, богатым купцам и их женам, даже корзины со снедью вырывали у идущих с базара хозяек.

Визири не отваживались доносить халифу о смуте. Но однажды караванщики, погонщики верблюдов и мулов все разом бросили на произвол судьбы своих подопечных верблюдов, лошадей и ослов.

Дружно заревели голодные животные, по всему Багдаду разнеслось пронзительное ржание лошадей, фыркание верблюдов, крики мулов и ослов. Этот гвалт донесся и до халифского дворца.

День-другой, говорят, терпел эти бесчинства «оплот веры», халиф багдадский, а затем повелел своим слугам схва-

тить зачинщиков, заковать им ноги в железо, вывести за черту города и наказать, чтоб другим неповадно было.

Как он велел, так и сделали. На наших глазах к распростертым на земле, закованным узникам подсакали чернокафтаннне всадники и принялись избивать несчастных чугунными палицами.

Абу Хасан объяснил нам: эти стражники в черных кафтанах — телохранители халифа, у него во дворце все, даже повар, ходят в черном.

Истошно кричали бедняки. Тщетно пытались они увернуться от сыпавшихся на них ударов. Чернокафтанники что было сил молотили их по спинам.

— Если сделаете нас калеками, кто тогда прокормит наших жен и детей?

Чернокафтанники оставались глухи к стенаниям своих жертв.

Нешадно расправлялись они с копошившимися на земле людьми. Луг обогрился кровью.

Изувеченные узники — палицами им перебили позвоночники — иступленно кричали: «Эй, безбожники, добивайте уж!». Но никому до них дела не было. Обессилев, жертвы и шевелиться почти перестали, тогда под мерный барабанный бой чернокафтанники сели на коней и во весь опор помчались к багдадской крепости.

«Куда вы, уж прикончили бы, бога на вас нет!» — неслись им вдогонку жалобные стоны караванщиков, погонщиков верблюдов и мулов..

Сердца у нас разрывались от жалости, и не в силах более внимать воплям несчастных, мы тронулись вслед за чернокафтаннными всадниками..

* * *

Трудно сыскать более диковинное зрелище, чем багдадский базар. Несметные толпы толкуются на площадях: рыцари в красно-желтых одеждах, поселяне, рабы и босоногие дервиши с пестрыми «куфиджэ» на головах.

Немало тут и негров с кольцами в носу, женщин в черных чадрах, мулл с крашеными черными бородами (любопытно, что красить бороду в черный цвет дозволено лишь амиру, ходже или мулле).

Во всю глотку орут продавцы воды и меда. Пекарь, водрузив себе на голову поднос с хлебом, зазывно кричит:

— «Агиф джа шибаб!» — Эй, молодцы, покупайте горячий хлеб!

Без устали гарцуют на своих скакунах бедуины; к стременам приторочены длинные копыя, увенчанные черными страусовыми перьями.

Какого только люда тут не встретишь! И канатоходцев, и прорицателей, и цыганок с продетыми в ноздри железными трубочками.

Голые индийские факиры бесстрашно ступают по остриям мечей. Кто глотает языки пламени, кто засовывает себе в глотку докрасна раскаленный клинок.

«Хабил астан!» — выкликает торговец шербетом. Зеленщик огромными буквами намалевал на стене, при входе в свою лавчонку: «Эддаим аллах» — Вечен бог.

Выставленных для продажи женщин и юношей, запертых в клетки с ржавыми прутьями, зорко стерегут торговцы невольниками.

Каждый усердно расхваливает свой «товар» толпящимся вокруг клеток покупателям.

Работорговцы, обступив Абу Хасана, наперебой спрашивают:

— Женщин желаете купить или, может, мальчиков?

В тот день мы видели двенадцать прекрасных черкешенок, гречанок, армянок и одну пожилую грузинку. Абу Хасан подошел к этой грузинке, спросил, откуда она родом.

— Я было принял ее за бедную мать мою... — грустно произнес Абу Хасан.

Седая грузинка, как выяснилось, была из Дманиси. Несчастную, оказывается, долго таскали по невольничьим рынкам, но она была немолода и к тому же ряба, так что охотника на нее не нашлось. Тогда ее приставили служанкой к двенадцати красавицам.

Сетовала горемычная: «Целый год уж возит нас хозяин по невольничьим рынкам Исфагана, Хамадана, Ани и Куфы. Дорого запрашивает хозяин за красавиц, потому и не кончаются наши скитания из города в город».

Тут и я подошел к пожилой женщине, спросил: не встречались ли ей красивые грузинки на невольничьих рынках?

И ответила старуха:

— Ровно три месяца тому назад в Багдаде продавали одну прекрасную грузинку. Если память мне не изменяет, из халифского дворца прискакали какие-то всадники, долго

торговались с хозяином, спорили, но в конце концов все же ее купили.

Посоветовавшись, мы решили во что бы то ни стало свести дружбу с человеком, посвященным в тайны халифского гарема.

Абу Хасан весь день неутомимо шнырял по базару, кого-то, видно, высматривал. Но кого, нам не говорил.

Между тем Плешивый Хасан наткнулся на какого-то киприота, у которого был индюшонок с двумя клювами и тремя глазами на самом затылке.

Много мы смеялись при виде этой чудной твари.

— Подумаешь, невидаль! — сказал киприот. — Вот теперь покажу я вам диво дивное!

И познакомил он нас с каким-то армянином. У армянина был козленок, а у козленка мордочка круглая, словно лицо человеچه, и на ней — один-единственный глаз.

Тут к нам подошел один бедуин. Он тоже смеялся немало, но сказал:

— Это цветики! Еще и не то увидите!

Бедуин показал нам корову, у которой одна нога росла из спины, а на остальных трех она едва-едва ковыляла.

— Бывают чудеса и почище этого, — сказал киприот, — Наджм Эддин иль-Гази в прошлом году прислал халифу двух рабов-близнецов, которых произвела на свет одна сирийка в Куфе.

Пуповины их сплелись между собой, но были эти пуповины настолько длинны и гибки, что если один вставал, другой мог в это время сидеть. Они вдвоем ездили на одной лошади, у каждого был свой срам, вот только один питал слабость к бабам, а другой к мальчикам.

Абу Хасан отозвал меня в сторону и шепнул:

— Этот киприот, видно, малый бедовый! Непремено надо с ним подружиться.

Мы угостили его харисой из барашка и напоили шербе-том.

Узнав, зачем мы приехали в Багдад, открылся нам киприот:

— Мы с вами, выходит, друзья по несчастью. По пути из Икония на родину мою сестренку похитили разбойники сельджуки. Третий год уж ее ищут.

Объездил я земли Хорасанские, Иран и Диарбекир, в Трапезунде и Арзруме ни единого невольничьего рынка не

пропустил. Все свое достояние ухлопал на поиски, и пока что безуспешно.

Голос его дрогнул:

— В гареме у халифа багдадского, должно быть, томится моя сестренка, вот почему я и приехал в Багдад.

В халифском дворце одна моя родственница прачечной заправляет, вся надежда на нее.

Если вы хоть что-нибудь смыслите в садоводстве или в уходе за лошадьми, тогда авось мы как-нибудь проникнем во дворец этого проклятого халифа.

Киприот ночевал в землянке у одного кузнеца и нас там же пристроил.

Разыскали мы его родственницу гречанку, и сказала она нам:

— С халифовым конюшим мы на короткой ноге, так уж и быть, замольву ему за вас словечко. Коль возьмет он вас к себе в конюхи или коновалы — ваше счастье. Как знать, может, и найдете тех, кого ищете. Ведь жены и наложницы халифа то и дело выходят на балконы и в розовых садах часто гуляют без чадры.

Я и Ситкваи Кора слыли знатоками по части лошадей, но Абу Хасан оказался великим мастером этого дела. Он такого нам порассказал и о породах лошадей, и об уходе за ними, что мы от изумления просто рты разинули.

Не прошло и трех дней, как гречанка явилась к нам и радостно сообщила:

— Господь помог вам в благом деле! Вначале конюший заартачился было, но на ваше счастье в халифовых конюшнях начался повальный сап. Конюший в отчаянье рвет на себе волосы. Скорей, говорит, веди сюда твоих коновалов.

Я, киприот и Абу Хасан на другой же день отправились во дворец халифа.

* * *

Багдад — город чудный. Каждая его слобода обнесена крепостной стеной с воротами.

У каждых ворот сидит вратник с мечом.

Постучишь железным молоточком — спросит страж:

— «Мин?» — Кто там?

А ты отвечаешь:

— «Ифтах иа харис», а по-нашему: эй, вратник, отворяй! Ворот семь миновали мы, прежде чем подступить к высоким вратам, из синего камня сложенным.

Вратник с мечом впустил нас в просторный двор дворца, целиком построенного из темно-синего камня. Вокруг большого чертога разбросано множество хорм поменьше: иные — из белого камня, иные — из черного, а иные — из желтого.

В садах растут вековые деревья — миндаль, смоковницы, яблоки, в зеленой листве резвятся диковинные птицы. На балконах сидят и прогуливаются женщины ослепительной красоты.

Нам тогда было, конечно, не до лошадей халифа — краешком глаза мы поглядывали на красавиц. Рабы с серьгами в носу, евнухи и негритята окружали женщин. Дородные прислужницы ястребиным оком надзирали за прелестницами из халифова гарема.

Посреди сада красовался огромный водоем, выложенный зеленым камнем; по краям водоема лежали каменные киты с разинутыми пастьями и русалки, изо рта у них извергались струйки воды.

Конюший был мрачнее тучи. Зажав в зубах кальян, он курил опиум.

Допросив нас, что нам известно об уходе за лошадьми и их врачевании; убедившись, что мы и вправду знатоки своего дела, он стал приветливей, предложил выпить по чашечке черного кофе, спросил, не желаем ли мы покурить опиум.

Я и киприот вежливо отказались, Абу Хасан же охотно затянулся. Потом конюший повел нас к лошадям и поручил нашим заботам одну из конюшен.

Заметили мы, что он приставил к нам соглядатаем одноглазого сельджука.

Тягостное зрелище увидели мы: в страшных мучениях гибли лучшие жеребцы и кобылы халифа. Душераздирающее их ржание до сих пор звучит у меня в ушах.

Абу Хасан горячо принялся за дело, велел раздобыть ему каких-то диковинных трав и приготовил из них чудодейственные снадобья...

Чрезмерного рвения Хасана киприот не одобрил: чего доброго конюший потом не отпустит нас из дворца!

* * *

Как-то вечером родственница киприота радостно объявила нам:

— В пятницу свадьба старшего сына халифа. Если бу-

подарили они ему арабских и текинских скакунов, александрийскую парчу, а вероломные греки подвели к нему детей своего народа: малолетних дев и отроков.

Рабы несли наполненные золотыми дирхемами кувшины и серебряные подносы, а восемнадцать из них — золотые и серебряные кубки, сплошь осыпанные самоцветами. И так становилось явью речение Корана:

«И шествовали вокруг блаженных сих отроки,
С кувшинами, кубками и блюдами».

Шедшие позади отроков длиннородые ходжи и муэдзины опередили отроков, несших блюда и кубки, и осыпали будущую невестку халифа золотыми монетами.

Как нам впоследствии рассказывала гречанка, на свадебном пиршестве халиф получил в дар золотого слона с рубиновыми глазами, золотого павлина с изумрудными глазами, золотого петушка с яхонтовым гребешком и еще джейрана, все брюшко которого было выложено жемчугами...

Невесте подарили зеркало в смарагдовой раме, столик для закусок из чистого золота, а ножки у того столика были из оникса.

На свадьбе было выполнено предуказание суры Корана:

«Пейте и ешьте до тех пор, покамест белую нить не отличите от черной».

Абу Хасан, выслушав все это, прочел нам по-арабски стихи:

Городов и владений безбрежных,
Именем аллаха завоеванных;
Арабских хваленых скакунов,
Несметных богатств — золота, серебра и сапфира
Все еще мало женам твоим и наложницам.
Платят тебе дань Ани, Исфаган и Иконий,
Тбилиси, Мерв, Хорасан и Нишабур.
Коль сохранил ты хоть каплю здравого смысла, скажи,
Кто одобрит столь неразумное правление,
Если войны твои мечтают даже о хлебе?

Свадебные торжества продолжались три дня. Я, Абу Хасан и киприот вместе со слугами и рабами хлопотали то на кухне, то в помещении для прислуги.

Стояла страшная жара. Жены и наложницы халифа без чадры часто показывались на балконах, и нам то и дело предоставлялся случай хоть мельком взглянуть на каждую из них. Но ни одной, похожей на Дедисимеди, я не видел.

Фатима. Амир Арзрума подарил ее халифу по случаю бракосочетания его сына.

Чем дальше, тем невзрачней были женщины — уж успели они поблекнуть в халифском дворце. Иные куплены в Армении, иные — в Диарбекире, иные — в Нишабуре.

А вон те, что бредут следом за пожилыми, закутанные в пестрые шелка, — одни гречанки, другие грузинки, третьи армянки; ни одна из них красотой не блещет.

В свое время они были похищены на Кавказе тамошними амирами, а некоторые куплены по дешевке на невольничьих рынках Двина и Ани. Эти женщины выглядели бы совсем старухами, если бы не красили себе волосы хной...

Войдя в мечеть, халиф поднялся на амвон. Он снял с себя меч в черных ножнах и бросил его на пол. Высоко подняв голову и закатив глаза, прочел суру из Корана:

«И вот явились к ним ангелы и молвили: сей есть день, аллахом назначенный».

Некоторое время халиф что-то тихо бормотал, а затем возгласил во всеуслышание:

«Слава аллаху, ибо обратил он сыпучую землю в твердь земную, воздвигнул на ней горы недвижимые, понуждающие ее стоять прочно и незыблемо, и не дозволяет он ей колебаться и разверзаться.

Слава тому, кто избороздил сушу ручьями и реками.

Аллах устроил на той суше пустыни и моря и одарил их премудростью дивною, изумляющей нас в проявлениях своих. И установил он над нею Солнце и Луну. Землю сию покорил он воле своей и раскинул ее на просторах необозримых, и даровал ее старому и малому на радость.

И повелел он бурям и ливням часто проноситься над нею и поселил в роде людском жажду странствий по ней. И жажду эту сохраним мы в себе навеки, вплоть до конца земного нашего существования.

Да внемлют сим назиданиям все, у кого есть уши, глаза и сердце.

Так восславим же аллаха за неиссякаемое милосердие его на веки веков.

И да благословит он пророка своего благородного, пред коим расстилается сия твердь земная, яко обиталище его вековечное».

После молебствия халиф первым вышел из мечети и направился к своему дворцу, смиренно склонив голову под сенью черных стягов. У ворот дворца его встречали послы,

так и не удалось пробиться к той единственной речушке, откуда воины Давида постоянно брали воду.

Сельджукские всадники так обезумели от жажды, что, набросившись на собственных лошадей, жадно пили их кровь.

Ошибкой амира войск было также и то, что в боевой обстановке гор казну, оружие и припасы он навьючил не на быстроногих мулов и лошадей, а на медлительных верблюдов.

Когда же войско отступило, верблюды на горных откосах никак не могли угнаться за лошадьми.

Эриставы Аришиани и Барамисдзе, хевистав Хуранаисдзе с его Черными Шапками еще до окончания войны снесли последние мосты. Конные ратники еще кое-как переправились через топи и бурные потоки, но верблюды заартачились, и обозные без боя сдались преследователям.

Таким образом, грузинское воинство захватило семь верблюдов с навьюченными на них дорогими шатрами амира войск, казной, вооружением, множеством доспехов, кованных в Багдаде и Дамаске.

По приказанию Давида половину этой военной добычи и роздал Чкондидели на царском крыльце.

* * *

Долгожданный мир воцарился в Начармагевском дворце..

Кончились неустанные заботы о приобретении оружия, лошадей. Немного вздохнули чеканщики, лучники, закальщики мечей, ковали, шорники.

Ныне только и было речи, что о художествах иконописи, златоваяния, финифтяном искусстве да резьбе по дереву.

В расположенной к северу от замка дубовой рощице, где находились конюшни, кузни и разные мастерские, как грибы, вырастали все новые помещения, предназначенные для искусных златоковачей, резчиков по дереву и живописцев. Там поселили мастеров и ремесленников, выписанных из Тао-Кларджети и Самцхе. Царь Давид и Арсен Икалтоели, старшина живописцев Тевдорэ, главный зодчий Лукианэ изо дня в день наблюдали за их работой.

* * *

Волнующие события не заставили себя ждать.

Едва лишь были получены грамоты, доставленные иеромонахом Сосипатром, как присланные ранее свитки, — те самые, что хранил у себя под замком Давид, — словно бы сами собой заговорили.

Не повезло и киприоту — он тоже не нашел своей сестры среди многочисленных жен и наложниц халифа...

* * *

После свадьбы мы не пожелали более оставаться во дворце халифа. Киприот опасался, как бы конюший не стал чинить препятствий нашему отъезду — уж очень мы все трое пришлись ему по нраву.

Абу Хасан над чем-то ломал голову. Однажды ночью он шепнул мне: он, Абу Хасан, всерьез замыслил приготовить ядовитое зелье, от которого лошади халифа опять заболеют сапом, но киприота в эту тайну посвящать не стоит.

Я стал его отговаривать: ведь если нас выведут на чистую воду, тогда несдобровать — всех троих на кол посадят!

И тут, кажется, само провидение вмешалось в наши дела. У Абу Хасана все еще побаливали ляжки и правое колено, прокушенное гепардом, но последнее время он что-то очень часто ходил купать лошадей халифа.

Однажды под вечер Абу Хасан повел купать любимицу халифа, золотистую кобылку Фатиму, названную так в честь самой прекрасной и самой младшей из его жен.

Когда Абу Хасан возвращался с лошадьёю в конюшню, маленькая дочурка конюшего помахала перед мордой Фатимы красным платком.

Кобыла перепугалась. Абу Хасан все еще прихрамывал и не смог совладать с лошадьёю. Фатима метнулась в сторону и на всем скаку стукнулась коленями о каменный парапет водоема — обе передние ноги, хрустнув, переломились, точно ледяные сосульки.

Фатима сломала себе ноги!

Весь дворец всполошился при этом известии.

Конюший схватился за голову и дико завопил. Потом избил нас всех троих чубуком своего кальяна. Накинулись на нас халифовы люди, связали и бросили в темницу, ибо конюший упрямо твердил: джинами, дескать, подосланы злодеи.

Целую ночь не спали мы от страха, ибо киприот уверял: на кол посадят всех троих.

На другой день пришли за нами вратники с мечами и закричали:

— Вставайте! Опора веры призывает вас пред светлые свои очи!

Мы заартачились было, но нас схватили за руки и потащили в помещение конюшего.

За золоченым столом сидели сам халиф и амир Наджм Эддин иль-Гази. Конюший, бледный как смерть, едва держался на ногах.

Тыча пальцем на Абу Хасана, конюший проревел:

— Этот плешивый черт переломил лодыжки Фатиме!..

Халиф метнул гневный взгляд на Абу Хасана и спрашивает:

— Кто ты и откуда взялся?

— Мусульманин я, скитаюсь по белу свету.

— А что знаешь ты о белом свете? — вопрошает халиф.

— Все, что угодно знать наместнику Магомета.

— Ну, так что скажешь ты об Индии?

— В Индии море полно жемчугами, горы — изумрудами, а деревья — благовониями.

— А о Мукране что ведомо тебе, плешивый?

— Вода там зловонная, инжир — гнилой, людей треплет лихорадка, а разбойникам — житье привольное. Войско с голоду мрет, муллы ходят без штанов, но ворожить на песке не перестают.

— В Хоросане что творится?

— Могущество его безгранично, зло — в двух шагах, а добро — за тридевять земель.

— О Йемене что скажешь?

— Йемен — страна арабов и житница золотая.

— Об Омане?

— В Омане зной нестерпимый, дичи видимо-невидимо, а земледельцы босиком ходят.

— О Бахрейне?

— В Бахрейне между двух городов — свалка мусора, а между двух морей — райские кущи.

— А Мекка?

— В Мекке народ глуп и неотесан, но халифу покорен.

— Куфа?

— В Куфе асасины восстают против амиров и ходжей, и там такое же согласие, как у невестки с золовкой.

Халиф рассмеялся и что-то шепнул на ухо амиру иль-Гази.

Халиф избегал наших взглядов. Он бросил конюшему несколько слов по-арабски: «Дайте по десятку плетей каждому и вышвырните вон из дворца».

Мы были на седьмом небе — ведь мы ожидали, что нас на кол посадят или глаза выжгут.

В тот же день приказ халифа был выполнен: стащили с нас исподники, по десятку раз хлестнули плетью и вытолкали вшаей из ворот дворца.

* * *

Пристал к нам Абу Хасан: теперь, говорит, поедем в Куфу. Там, в Куфе, торговцы невольницами имеют, оказываются, пышные дворцы, утопающие в зелени садов, подобных эдемоким.

В эти дворцы со всего света съезжаются погостить ветреные сынки султанов и амиров, искатели невест и наложниц. В торговых домах они живут целыми неделями, а хозяева угодливо потчуют их сладкими винами.

Попируют, пораспутничают, а потом выберут себе красавицу по сердцу.

В Куфе разыскал Абу Хасан некоего Бен Исмаила, богатого работорговца, который подробно рассказал нам, в каком дворце какого роду-племени женщины продаются, однако ни одной грузинки среди них не оказалось. Напоследок он посоветовал нам: отправляйтесь, мол, в Дамаск, торговля там сейчас бойкая.

* * *

У главных ворот Дамасской крепости придержал Абу Хасан своего мула и прочитал начертанное на них греческое изречение:

«О Христос, владычество твое непреходяще, и во веки веков не будет ему конца».

После того мы обошли тринадцать греческих храмов, превращенных мусульманами в мечети, осмотрели замечательную церковь Иоанна Крестителя.

Абу Хасан рассказал: когда сарацины впервые вторглись в Дамаск, половину города они отвоевали у византийцев. И эту церковь поделили пополам, так что долгое время на одной ее половине по-гречески служили обедню, на другой — суры Корана читали муэдзины.

Целый месяц напрасно бродили мы по базарам Дамаска.

Наконец Абу Хасан познакомился с переодетым мусульманином, франкским купцом по имени Алиманд.

Этот человек, как оказалось, много лет торговал оружием и лошадьми; с помощью сирийцев и греков он переправлял свои товары крестоносцам в Антиохию и Иерусалим в те самые годы, когда воинство Христово то и дело завязывало стычки то с исфаганскими султанами, то с Яги Сианом, то с амиром иль-Гази.

— Торговля оружием—дело опасное. Постарел я, потому и взялся торговать невольницами. С месяц назад отослал я в Иерусалим пятнадцать яснооких грузинок, черкешенок и армянок. У моего меньшого брата Алиманда Младшего есть собственный дворец в Иерусалиме. Я ему напишу, а вы передайте брату мое письмо.

В тот же день мы порешили отправиться в Иерусалим немедленно.

* * *

Кое-как добрались мы до Иерусалима. Если до сей поры денно и ночью с минаретов несея протяжный зов муэдзинов, то теперь многоголосым благовестом приветствовал нас освобожденный Иерусалим. Далеко-далеко разносился согласный гуд, гул и звон.

Еще не достигнув подступов к городу, поравнялись мы с огромной толпой конных франкских рыцарей, епископов и прочих священнослужителей. В самом хвосте ее тянулись боконогие иноки в черных клобуках, закутанные в белые покрывала монахини, тяжело навьюченные верблюды и мулы.

От конского ржания и ослиного рева можно было оглохнуть.

Абу Хасан долго глядел на монахинь, которые, шлепая босыми ступнями по каменистой дороге, как ни в чем не бывало распевали псалмы.

— Мы с вами видели, как припеваюче живут бесчисленные жены и наложницы халифа. А теперь взгляни, каково приходится этим бедняжкам, невестам Христовым.

Святись, святись,
Новый Иерусалим,

— звучали пискливые бабьи голоса. Позвякивали бубенцы, подвешенные к шеям верблюдов, звенели колокольчики за высоких древках хоругвей.

Бодро шагали широкоплечие дородные монахи, нестройный их хор напоминал скорее блеяние стада баранов, нежели песнопение.

Лучи солнца, уже клонившегося к западу, играли на шлемах крестоносцев. Их жалкие, тощие, закованные в броню клячи через силу тащили на себе тяжеловооруженных рыцарей и пузатых епископов.

Впереди всех гарцевал на коне исполин в золоченых доспехах, справа и слева от него, чуть позади, трусили верхом два хорепископа.

Нас одолело любопытство, и мы затормошили киприота. Как выяснилось, правитель Антиохии Балдуин едет в гости к королю нерусалимскому Готфриду Бульонскому, дабы отпраздновать предстоящее торжество вместе с братом.

Я пришпорил мула и вырвался вперед, но лошади все прибывавших рыцарей поднимали такие тучи пыли, что мне едва-едва удалось увидеть лишь бороду Балдуина с легкой проседью.

Когда прямо перед нами выросли зубчатые стены Иерусалимской крепости, дьякон-расстрига Хахутай затянул:

Стекайтесь, народы, к Сиону.
И овладейте им,
Восславьте его,
Восставшего из мертвых.

Теперь нашим проводником стал Хахутай. Он то и дело вспоминал о схватках Яги Сиана с крестоносцами, о необычайных похождениях эристава Джонди; о том, как в Антиохии он, Хахутай, тайком ел крыс, и о прочих своих проделках в том же роде.

Киприот сказая:

— Арабы называют этот город Аль-Кудом. А с незапамятных времен наречен он именем Урушалим, а по-нашему Город Мира.

— Хорош мир! — добавил киприот с горькой усмешкой. — Кесарь Тит в свое время спалил Иерусалим, а римский кесарь Адриан изменил его название на «Элиа Капитолина». И по сей день идет из-за этого города постоянная грызня.

Абу Хасан настаивал: первым долгом надобно найти франкского купца Алиманда Младшего.

Над проезжей дорогой клубилась пыль, мы томились от нестерпимого зноя и жажды. С юга дул ветер пустыни — жгучий, словно жаркое дыхание раскаленной печи.

Абу Хасан тревожился: такая тьма народу нагрнула из Антиохии, найдем ли мы ночлег?

У Акса-Мечети киприот повстречал какого-то босоногого монаха грека, старого своего знакомого...

Тот монах привел нас в один греческий ксенодохиум, а говоря по-нашему, — пристанище для странников, подворье. Долго ждали мы хозяина подворья. Наконец он появился и недоверчиво оглядел нас.

Видать, не по нутру ему приглась арабская одежда Абу Хасана, да и на здорового Хахутая он покосился не ахти' как дружелюбно. Видать, принял всех нас за разбойников.

Тогда, гордо распрямившись, я выступил вперед и, указывая на своих спутников, заявил:

— Это мои слуги.

Едва заметная ухмылка скользнула по насмешливым губам хозяина, и он спросил:

— Ну, а сам ты кем же изволишь быть?

— Все мы подданные царя грузинского Давида, по его велению посланы в Иерусалим.

Снова оглядел он меня с ног до головы, видно, не понравился ему мой наряд паломника, потому что он проворчал:

— На царевых посланцев ни один из вас не похож.

Монах-грек, выслушав меня, сказал:

— В Иерусалиме много грузинских обитателей, при многих есть и ксенодохиумы... Мужской монастырь Креста, кажется, далеко отселе, однако в сотне шагов, по левую руку от нас, находится женский монастырь Капатта; слышал я, что в монастыре этом игуменствует ныне не кто иная, как бывшая супруга царя вашего — инокиня Рипсимэ.

Была уже ночь, и я почел неудобным идти так поздно в женский монастырь. Снова попросил я содержателя ксенодохиума:

— Хоть на одну ночь приюти нас у себя.

Вымолвив эти слова, я потянулся рукой к карману.

Хозяин подворья, тотчас же смягчившись, пробормотал:

— Один солид за ночлег.

Хоть и немало времени провели мы в пути, мне не спалось — до того грязно и шумно было в этом прибежище для странников. А Хахутай с Абу Хасаном повалились ничком на голые нары и сразу захрапели.

Сотня богомольцев, нищих и убогих, беспокойно ворочалась на нарах. Одни молились, другие вздыхали, иные бре-

дили, иные храпели. То одни, то другие вставали, рассказывали взад-вперед, во весь голос распевая псалмы. А те, кто не устоял перед нашествием насекомых, стаскивал с себя исподнее и при мерцании восковых свечей сражался со вшами.

Чуть свет поднялись мы с нар и направились в женский монастырь Капатта.

Заутреня уже кончилась, и черницы собирались в трапезную.

Пожилая инокиня отперла нам дверь, обитую железом. В ответ на наше приветствие, она по-грузински пожелала нам доброго утра и спросила:

— Кто вы и что вам надобно?

— Мы от царя Давида, желаем повидаться с вашей игуменьей, — промямлил я.

Инокиня очень обрадовалась, услышав родную речь, тем не менее она не сумела скрыть свое изумление при виде одетого на арабский лад Абу Хасана, который, входя в монастырь, снял с головы чалму.

Долговязая, длинношеяя и длинноногая монахиня в белом клубуке, с покрывалом, достававшим ей до плеч, привела нас в палату, убранную иконами и крестами.

Через некоторое время дверь распахнулась и вошла статная женщина в монашеской рясе цвета ежевики. На груди у нее висел золотой крест, волосы, как бы обсыпанные пеплом, нипадали ей на плечи из-под белого монашеского клубука.

Она сразу узнала Хахутая, протянула ему для поцелуя породистую руку с тонкими длинными пальцами. Бывшая царица поцеловала в лоб склонившегося пред ней Хахутая и милостиво спросила, как его здоровье.

Потом она подошла ко мне и воскликнула:

— Лулу, ты ли это?

Я не скрыл своего удивления:

— Как ты меня узнала, игуменья-матушка?

— А почему бы и нет? Память у меня еще хорошая, слава богу. Сколько раз, бывало, ты сопровождал меня в моих поездках...

Мы не открыли бывшей царице, какова истинная цель наших странствий; впрочем, надо сказать, с виду она и не проявляла ни малейшего любопытства к нашим делам.

Повела она нас в трапезную, кликнула экономку, сестру

Юстину, рослую пожилую монахиню, и велела попотчевать нас кутьей, толокном и медом.

Когда Юстина пошла за угощением, Хахутай по привычке принялся зубоскалить:

— Эх, плохи мои дела, Лулу, медом да кутьей не больно-то брюхо набьешь! Эх, сожрал бы я сейчас барашка! Коль и впредь будут меня так кормить, братцы, я не то что с львом, — с крысой и с той, пожалуй, не справлюсь.

Когда завтрак подали на стол, игуменья присела рядом с нами и принялась нас угощать, да как учтиво! О владетелях и обитателях Начармагевского дворца почти не расспрашивала, трелько промолвила:

— В городе слухи ходят, будто императрица Мариам собирается в Иерусалим.

Я ответил, скромно потупясь:

— Ни о чем подобном не слышал.

Бывшая царица снова позвала экономку, сестру Юстину, и велела ей принести еще хлеба, меда и кутьи. Когда все это было нам подано, игуменья сказала:

— Ты, Лулу, человек ученый и знаешь, должно быть, что обитель эта построена византийским кесарем Юстинианом, в тысяча десятом году ее разрушил проклятый господом богом халиф аль-Хаким, а впоследствии монастырь восстановили вторая жена Баграта Четвертого Борена и императрица Мариам.

Я промолчал, ибо не мог подтвердить, что все это мне давно известно.

Молодая монахиня приблизилась к игуменье и что-то шепнула ей на ухо. Покидая нас, та просила извинить ее и наказала экономке не морить гостей голодом.

Экономка оказалась дочерью Маргветского эристава. Постриглась она в монахини из-за того, что супруг ее, сын Цхумского эристава, прижил ребенка с ее же собственной прислужницей.

Когда Юстина отвела душу, поведав нам о своих злоключениях, она подошла ко мне совсем близко и прошептала:

— В Иерусалиме слух пронесся, якобы царь Давид пал от руки неверных при Эрцухи. Прослышала об этом наша игуменья, три ночи проплакала горемычная, но так никому и не созналась, что скорбит о бывшем супруге.

Не только чернецы и черницы из грузинских монастырей, — в Иерусалиме и армяне, и сирийцы, и франки удручены скорбной вестью о гибели грузинского царя.

Вмиг весь монастырь облетела принесенная нами отрадная весть о победе.

Экономка Юстина трех инокинь разослала по грузинским монастырям Иерусалима, дабы оповестить их о радостном событии. Благодарственный молебен отслужили в тот же день.

Когда молебствие кончилось, нас снова позвали к игуменье, в приемную.

Бывшая царица с непокрытой головой сидела в кресле, украшенном резьбой в виде креста.

Ей даже к лицу были пепельно-серые волосы. Какой-то неземной чистотой веяло от этого лица, уже слегка поблекшего, иссушенного частыми постами.

Осыпанный жемчугом ларец черного дерева покоился у нее на коленях. В этом ларце помещалось несколько ларчиков, один другого меньше. Как девочка, которая показывает своим сверстницам все новые и новые игрушки, игуменья Рипсимэ с сияющими глазами вынимала из большого ларца и показывала нам ларчики, все меньше и меньше.

Открыла она первый ларец из дзелквы, достала из него крохотный образок, завернутый в дамастовый лоскут, поднесла его к самому моему лицу и спросила:

— Узнаешь ли ты, кто это?

— Не узнаю, игуменья-матушка.

— Это Адам, пращур рода людского.

Образ Адама она снова завернула в шелковый лоскут. Потом вынула следующий ларец — тисового дерева, меньше предыдущего, достала из него икону и, показав ее каждому в отдельности, спросила:

— Ужель и его не признаете?

Хахутай, Кора и я ответили в один голос:

— Это спаситель наш, Иисус Христос.

Ублажили мы игуменью, узнав Иисуса. Тогда она открыла следующий ларчик, серебряный, и достала из него образок, завернутый в лоскут синего шелка.

Показала нам изображение мужчины в шлеме, с копьем в руке.

— А это кто? — спрашивает:

Отвечаем: не узнаем, мол.

Подивилась игуменья:

— Да, ведь это святой Георгий Пеший, работы иерусалимских златоаятелей-грузин.

После этого открыла бывшая царица еще ларчик, из ко-

сти единорога; развернув шелковую ткань оттенка цветов граната, вынула совсем маленький образок.

— Кто сей муж?

По длинной бороде смекнули мы, кто он таков, и ответили:

— Моисей пророк.

— Этот образок дманисские мастера финифтяного искусства прислали мне в позапрошлом году.

Потом игуменья открыла следующий, еще меньше прежнего, ларчик слоновой кости. Вынула образок, усыпанный ламами. Женщина с длинными косами опиралась на крест из виноградской лозы.

Мы узнали просветительницу Грузии — Нину.

Из следующего ларчика достала она завернутый в черную тафту-финифтевый образок. Ничего не спросив у нас, сама объяснила, указуя на него перстом:

— Это святой Илья, ополчившийся против Ветра, а вот и Ветер.

Под конец открыла она самый маленький ларчик, золотой, извлекла из него образок, завернутый в шелк цвета туррача, также на финифти выполненный.

Пышнокудрый синеокий мальчик в красных сапожках сидел на белой лошади, латы цвета чешуи лосося облекали его стан.

Хахутай, Кора и я тотчас узнали его и в один голос воскликнули:

— Да это же царевич наш Деметре!

Очи бывшей царицы Русудан наполнились слезами, но она сумела побороть волнение, крепко прижала к груди изображение сына своего и с дрожью в голосе проговорила:

— Да, это он, свет очей моих...

Затем, немного помолчав, добавила:

— Мастера из Тао-Кларджети в дар прислали мне этот образок в нынешнем году.

Немного успокоившись, бывшая царица попросила нас перед отъездом из Иерусалима зайти к ней — письмо в Начармагеву хочет она через нас передать.

— Есть ли у вас пристанище? — И об этом не забыла спросить игуменья, а узнав, что туго у нас с жильем, дала нам письмо к эконому монастыря Креста, Еквтимию Короткому.

В обители Креста тепло принял нас Еквтимий Короткий со всею братией, ибо явились мы вестниками победы царя Давида. Нас поместили в мужской ксенодохиум. На монастырском подворье нашли приют уже дряхлеющие чернецы да

миряне, которые отправились в паломничество ко святым местам еще во времена царя Баграта, да так и не вернулись в Грузию — кто из страха перед разбойниками, а кто по бедности.

Усердие иноков обители Креста нас удивило немало. В нестерпимую жару двести с лишним монахов гнули спины в книгохранилищах, переписывая божественные книги.

Насмешливость и тут не изменила Хахутаю. Шагая по монастырским переходам, он шепнул мне:

— Почтенные переписчики и вправду благое дело делают, да только молодцам с такими жирными загривками больше пристало бы носить боевые доспехи да рубить мечом. Уж Кариман Сетиели нашел бы им дело под стать!..

Когда я пожурил его за столь кощунственные слова, он поправился:

— Да нет, переписка, конечно, тоже дело нелегкое в такое пекло. Стоит мне нацарапать с грехом пополам свое имя да прозвание, — потом никак не отдышишься. Дай бог им терпения!

* * *

Немало удивительного повидали мы в монастыре Креста — и столпников, и молчальников, и голых блаженных. Издали нам показали некоего инока Ксенофонта, который уже сорок дней не вкушал хлеба насущного, не пил вина и не видел лица человеческого.

Напротив ксенодохиума, где нас приютили, мы набрали на подворье, предназначенное для женщин... Здесь находили прибежище грузинки, либо увечные, либо бежавшие из плена.

Управляла этим ксенодохиумом сестра Теогона, в миру — супруга начальника Аршской крепости. Узнав о нашем приезде, она в воскресенье пригласила нас к себе на завтрак, дабы собственными ушами услышать рассказ о победе царя Давида.

Во время завтрака эта почтенная женщина, не отходя от стола ни на шаг, сама усердно угощала нас рыбой и маслинами. Вдруг взор Теогоны остановился на Абу Хасане.

Она бросилась к Абу Хасану, сидевшему на другом конце стола, впилась глазами в багровое родимое пятно, величиной с золотую драхму, на правой его щеке.

С отчаянным криком «Артаваз!» женщина упала как подкошенная. Все мы, очевидцы этого события, обомлели.

Сумею ли я словами передать и горе, и радость обоих?

Долго рассказывала нам Теогона историю злосчастного пленения своего. Вкратце передам вам ее.

В 1055 году жена начальника Аршской крепости Теогона со своим трехлетним сыном спешила на храмовой праздник в Светицховели. Около Сапурцле их схватили разбойники-сарацины и на тбилисском невольничьем рынке продали в рабство.

О дальнейших похождениях Артаваза я уже рассказывал. В день взятия Шайзара франки захватили в плен Теогону, прямо на базаре, малолетний же Артаваз остался один и с той поры поневоле отдался на волю волн житейского моря...

На другой день настоятель монастыря Креста, отец Дамиан и вся монастырская братия весьма торжественно причастили Артаваза, сына начальника Аршской крепости. На празднестве присутствовали бывшая царица Русудан, высшее духовенство и книжники из всех грузинских монастырей Иерусалима.

Столь чудесная встреча матери с сыном была, разумеется, сочтена за изъявление воли всемилостивого господина...



Абу Хасан, отныне ставший Артавазом Аршели, каждый божий день приставал к нам: во что бы то ни стало надо отыскать Алиманду Младшего. В конце концов киприот, после долгих поисков, нашел его дворец в предместье Харам Ареа.

Алиманд Младший, как мы узнали, восстановил разрушенный дворец какого-то римского патриция.

Долго шли мы по просторному двору под сенью исполинских пальм и наконец оказались перед старинными римскими воротами, запертыми на железные засовы.

Мы постучались в ворота железным молоточком, и вратник с мечом отворил нам. Когда мы передали ему письмо от Алиманды Старшего, страж велел нам обождать, а сам исчез. Немного погодя он почтительно распахнул перед нами двери и предложил следовать за ним. В огромной, устланной коврами палате на груде подушек, по иранскому обычаю скрестив ноги, сидел торговец невольниками и курил наргиле.

По-видимому, письмо от брата очень обрадовало хозяина.

Он ударил в медные тарелки — вбежали двое полуголых испуганных негров.

Вмиг нам подали шербет, маслины и финиковое вино.

Алиманд Младший терпеливо выслушал меня и сказал: — Франкские бароны в Иерусалиме уже не отваживаются покупать себе красивых невольниц — прелаты вмешались в это дело, да и от римского папы в нынешнем году получено гневное послание. У него-то самого, наместника святого Петра, нет недостатка в прекрасных наложницах, однако тут, возле гроба господня, подобные дела творить как-никак совестно.

Стало быть, вашей беде я, к сожалению, ничем помочь не могу. Уж лучше вам наведаться во все женские монастыри и там поискать пропавшую дочь эристава.

Торговля невольниками последнее время совсем захирела. Вот почему я и взялся за торговлю святыми мощами. Мои люди сбывают их в Риме, Неаполе, Париже.

Он пристально посмотрел на Артаваза Аршели и спросил его:

— Скажи-ка, бывал ли ты в Риме?

— Был как-то проездом, — отвечал Артаваз.

— Если даже ты пробыл в этом святом городе совсем недолго, то в погребе любого монастыря ты, конечно, мог видеть сложенные в клетку, вроде дров, черепа и бедренные кости покойников, причисленных к лику святых.

Мы тоже посылаем отсюда множество останков. Цель наша — усеять весь мир святыми мощами. Мощи — не чета живым людям, которые все как один заживо прогнили.

Награди меня господь даром сочинителя, уж я бы вывел на чистую воду все мерзости и бесчинства, творимые родом человеческим.

Еще восторженным юнцом последовал я за крестоносцами в Иерусалим.

На подступах к крепости Ксеригордон я был дважды ранен неверными, три тяжелых ранения получил и при взятии Иерусалима.

Когда же Иерусалим взяли крестоносцы, христианские графы и бароны первыми ворвались в церкви и монастыри, растащили златотканые образа и утварь. Тогда-то сердце мое и отворотилось от веры.

Сперва я торговал на базарах лошадьми, потом стал торговать рабами.

А теперь решил заняться более безопасным делом —

промышляю святыми мощами, ибо убедился, что жизнь земная — всего лишь омерзительное торжище.

Алиманд приналег на вино. Лицо его побагровело. Он и нас уговаривал: пейте, мол.

Он снова ударил в медные тарелки, на сей раз вбежал совсем голый негр, металлические трубочки были продеты в его ноздри.

Алиманд что-то ему приказал на языке пехлеви.

Дверь распахнулась, и три полунагие женщины вихрем, с песнями и танцами влетели в залу. Каждая держала в руках сандж, плясала и при этом пела по-пехлевийски.

Опираясь подбородком на ладонь, Алиманд пожирал глазами самую молодую и красивую из трех. Сам тоже время от времени нежно повторял пехлевийские слова... Когда женщины кончили плясать, они расселись у ног повелителя.

Алиманд обернулся ко мне и сказал по-тюркски:

— Эта синеокая за большие деньги куплена в Исфагане. А ты, белокурую, привез мне один грек из Икония, я отдал ему взамен трех скакунов: текинского, арабского и еще одного — шихнийской породы. Вместе с лошадьми отдал я ему свою душу!

А вот эту, третью, в прошлом году за десять тысяч дирхемов купил я в Луксоре. Как видите, она самая молодая и самая прекрасная из трех, но одновременно и самая распутная; помимо прочих добродетелей, она еще и на руку не чиста.

Наши епископы учат: красота сама по себе — грех. И я вынужден прощать целых три смертных греха этому бесенку!

С этими словами он погладил младшую танцовщицу по заду.

* * *

Вернувшись в тот вечер к себе на подворье, мы совершенно неожиданно обнаружили там монаха Козмана. Он сгорбился и, как нам показалось, очень постарел.

Козман, оказывается, пристал к пилигримам из Антиохии и привез с собой в Иерусалим кости, ногти и волосы св. Аквиндия, св. Наталии, св. Арефы... Похвалялся он: завтра ему, дескать, предстоит встреча с богатым франкским купцом Алимандом Младшим. Об исчезновении Дедисимеди он узнал еще в Антиохии и тоже нам посоветовал продолжать

поиски в грузинских женских монастырях. Козман утверждал: когда у купленной рабыни умирает муж, после его смерти она зачастую уходит в монастырь.

* * *

На другой же день мы побывали в монастыре Дерфуты. Однако все сестры были тут в летах. После этого мы посетили Делтавскую обитель — тамошние сестры тоже были далеко не юны.

Прилежно гнули они спины — кто над перепиской божественных писаний, кто над рукоделием.

Они расшивали золотом парчовые покровы для церкви.

Вновь возвратились мы в монастырь Креста. Здесь нам показали написанный на стене лик первого паломника в Иерусалим, грузинского царя Мириана. Тут же изображены государи наши Вахтанг Горгасал и Баграт Куропалат.

* * *

Карманы наши уже порядком оскудели, и мы вознамерились уехать из Иерусалима. Поклонились мы Вифлеему и Вефсиде, побывали в пещере той скалистой, где были ясли для скота, и облобызали землю на месте том святом.

Узрели рощи оливковые, где молился Назаретянин, видели и то место, где был распят на кресте Спаситель. Артаваз, Хахутай и я целовали землю на том самом месте.

Осмотрели мы и ту местность, где у некоего еврея было поле, засеянное горохом, и пришла к нему мать божия попросить гороху, и не дал ей гороху хозяин поля. А на другой день выходит хозяин в поле — глядь, а горох-то в камень обратился.

Под конец навестили мы монастырь св. Екатерины на Синайской горе, в церкви Неопалимой Купины помолились, пешком одолели три тысячи ступеней лестницы, высеченной в скале.

И тут грузинские монахи трудились над перепиской божественных книг.

Накануне отъезда из Иерусалима мы, как обещали, повидались с бывшей царицей Русудан. И поручила она нам передать в Начармагеви оную эпистола, писанную на языке латинян; иными словами, список с той грамоты, которую

вместе с боевым крестом Багратидов послал в Париж Анселлус, кантор и пресвитер обители Гроба господня...

ИЗ ИЕРУСАЛИМА

Галону, епископу Парижскому, архидьякону Стефану и всему причту собора Парижской богоматери свое почтение и любовь свидетельствует Анселлус, кантор и пресвитер...

Из тех даров, что ниспосланы мне свыше, ради украшения, прославления и возвышения церкви вашей и града вашего, дар высший и бесценный (разумей — крест, сделанный из древа св. Креста) передаю через верного вашего Ансельма, от которого и получил я посланную вами эпистола.

Как гласят писания греков и сирийцев, крест Христов был составлен из четырех брусьев. Один был тот самый, на котором Пилат сделал надпись, другой — тот, на котором были распростерты десницы спасителя нашего, третий — тот, на котором распято было тело его, а четвертый — тот, на котором укреплен сам крест.

Сей, четвертый, омыт и освящен кровью, с ног и боков его стекавшей. А тот крест, что вам я посылаю, составлен из двух брусьев. Крест заключает в себе крест. Вложенный внутрь сделан из того бруса, на котором был распят Спаситель; тот же, в который он вложен, — из бруса, что был у господина нашего под ногами и подпирал крест. Оба благоденны, оба — священные.

К оному кресту царь грузинский Давид изъявлял великую любовь и почтение. Тот самый Давид, что по примеру праотцев своих оборонял врата Каспия, за коими заперты Гог и Магог.

Страна государя этого — прочная стена на пути мидийцев и персов.

Бывшая супруга царя Давида, досточтимая не только знатности своей ради, но также и святости ради, приняла пострижение и облеклась в одеяние веры. Взяв с собою крест сей и много злата, с малой свитою прибыла она в Иерусалим не с тем, чтобы потом воротиться на родину, а дабы здесь, в мирной обители, закончить дни свои, проводя их в благочестивых молитвах. Бывшая царица все свое злато и все сокровища раздала монашеским общинам Святого Града, благоденняя великие делала она нищим, убогим и странникам.

После того вступила она в подвластный владыке патриарху Гибеллину грузинский женский монастырь, что в Иерусалиме...

Наконец, когда сокровища свои она распределила и пожертвовала, а все остальное потратила на нужды монастыря, в стране нашей начался голод; она сама и подопечные ее жестоко страдали от лишений и голода.

И хотя получала она немало даров и даже брала займы, все это расходовала она отнюдь не на утехи плоти своей — целью бескорыстных ее забот было благоденствие монастыря.

Итак, посылая вам сие бесценное древо, прошу воздать ему подобающие почести, дабы осталось оно в наследие грядущим поколениям; и в назидание потомкам вашим описать, каким путем получили вы древо сие, и занести в ваши книги:

«Анселлус, священник наш, сей крест, из бруса святого Креста вытесанный, прислал собору нашему из Иерусалима».

Впоследствии же, в знак должного признания заслуг моих, помяните меня в ваших молитвах, как и подобает жертвователю сокровища столь бесценного.

А еще напишите мне, дошел ли до вас крест в целости и сохранности.

Вопрошала вы меня, по какой причине и при каких обстоятельствах попала сюда эта часть креста господня? В ответ на вопрос поведаю вам то, что вычитал из разных книг, а также слышал от старых сирийцев.

В Евангелии мы читаем: «Много других чудес сотворил Иисус пред учениками своими, но не все они описаны в книге этой». И вы многое читали, однако далеко не все.

В писаниях у греков есть немало такого, о чем у латинян не упоминается.

Впрочем, вы все же, должно быть, читали о том, как святая Елена велела рассечь крест господень пополам.

И один крест отвезла она в Константинополь сыну своему, а другой в Иерусалиме оставила; оставленный там крест захватил Хосро, который разорил Иерусалим и увез его с собою в Персию. И крест оный после смерти Хосро кесарь Ираклий привез в Иерусалим и водрузил его на лобном месте — на Голгофе, дабы поклонялись ему народы христианские.

После кончины Ираклия неверные стали притеснять христиан и возжаждали навеки стереть имя Христово из памяти людской и выкорчевать само воспоминание о кресте и гробе

господнем. Однако христиане спрятали крест, за что многие из них были преданы смерти.

Потом христиане держали совет. Они рассекли и многократно раздробили крест и раздали по разным храмам. Так что, когда б неверные сожгли одну частицу креста сего, другая уцелела бы.

Итак, ныне во граде Константинополе, кроме кесарева креста, существует еще три креста; три креста — и в Антиохии; на Кипре — два, по одному имеют Крит, Эдесса, Александрия, Аскалон и Дамаск; в Иерусалиме их четыре. Один хранится у ассирийцев, у греков обители святого Саввы — один, у монахов в долине Иосафата — один; у нас, латинян, в монастыре Гроба господня есть один — длиною в полторы пяди, толщиною в большой палец, у грузинского патриарха есть один, и царь грузинский владел одним, который милостью божьей уже находится у вас, отныне во умножение радости вашей и во славу и возвеличение церкви вашей и царственного достоинства».

Махара едва разобрал приписку в конце этого послания опять-таки корявой рукой Лулу бен Гайдара.

«Не ведаем, что ожидает нас в пути, потому и посылаем грамоту с иеромонахом Сосипатром, который вместе с франкскими рыцарями отправляется в Константинополь и через Хупту с божьей помощью явится к вам в Начармагеви».

«ПРЕИСПОДНЯЯ, ОТВЕРЗНИ УСТА ТВОИ...»

Поистине непостоянное и изменчивое создание человек, в самом деле сплошь соткан он из противоречий.

I

Весна вновь посетила Начармагеви.

Зацвел миндаль вокруг дворца, а в долинах, подступавших к нему с севера, алыча побелела так, что казалось, ветер смел с Кавкасиони пушистые снежные хлопья и осыпал ими деревья.

Раненые эриставы и спасалары мало-помалу выздоравливали, некоторые уже ковыляли на костылях. Гости, бывшие в замке всю зиму, разъехались по эриставствам.

Первый визирь по понедельникам восседал на царском крыльце, выслушивая жалобы вдовых и сирых, увечных и

убогих, но не в его силах было облагодетельствовать всех нуждающихся.

Да разве в одном Начармагеви, — в тот год Чкондидели восседал на царском крыльце и во дворцах Бочормы, Мухрани и Гегути.

Раза два выезжал он в Тао-Кларджети, дабы позаботиться о семьях павших в бою и тяжело раненных воинов. Казначей и слуги сопровождали его в пути.

По велению Давида первый визирь получил для этого немалую долю богатой военной добычи, доставшейся грузинскому войнству при Эрцухи.

Убийство гянджинского амира и постыдное бегство с поля брани предводителя войска акинджи — амира Хусейна такого страху нагнало на Ших Алдин Ахмета, что даже столь многоопытный военачальник не смог сдержать беспорядочного отхода побежденной рати и не сумел использовать искусство отступления, которым превосходно владели еще полководцы тех времен.

Испокон веков так было заведено: побежденный военачальник, возглавив пока еще не разбитую часть войска, прикрывал отступающих, непрестанно завязывая стычки с врагом, покуда беглецы не окажутся вне опасности.

Особое внимание придавалось в таком случае обозу, в котором за войском обычно везли казну, оружие, доспехи и гнали запасные табуны.

Людам свойственно причину собственных неудач искать вне себя. Вот и амир Ахмет обвинял в поражении при Эрцухи гянджинского амира, который, в подражание царю Давиду, спешил своих лучников и приказал угнать лошадей на лесную вырубку... Он клял трусливого амира Хусейна и предателя Заза Джубиели, собственной кровью искупившего измену отчизне.

Не одну стратегическую ошибку допустил при Эрцухи амир Ахмет. И первейшая его ошибка состояла в том, что он предоставил царю Давиду самому выбрать поле битвы и последовал за ним в такие дебри, о которых амир войск имел весьма смутное представление. Ших Алдин Ахмет слепо доверился советам Заза Джубиели. Он провел свою рать по крутым дорогам и тропам. Передвигавшиеся верхом на верблюдах войсковые части запоздали и не подспели на помощь амиру Ахмету, когда он и его союзники так нуждались в подкреплении. Вот тогда-то царь Давид и сломил ядро сельджукского войска.

Целых три недели туркоманы вели упорные бои, но им

так и не удалось пробиться к той единственной речушке, откуда воины Давида постоянно брали воду.

Сельджукские всадники так обезумели от жажды, что, набросившись на собственных лошадей, жадно пили их кровь.

Ошибкой амира войск было также и то, что в боевой обстановке гор казну, оружие и припасы он навьючил не на быстроногих мулов и лошадей, а на медлительных верблюдов.

Когда же войско отступило, верблюды на горных откосах никак не могли угнаться за лошадьми.

Эристава Аришиани и Барамисдзе, хевистав Хуранаисдзе с его Черными Шапками еще до окончания войны снесли последние мосты. Конные ратники еще кое-как переправились через топи и бурные потоки, но верблюды заартачились, и обозные без боя сдались преследователям.

Таким образом, грузинское воинство захватило семь верблюдов с навьюченными на них дорогами шатрами амира войск, казной, вооружением, множеством доспехов, кованых в Багдаде и Дамаске.

По приказанию Давида половину этой военной добычи и роздал Чкондидели на царском крыльце.

* * *

Долгожданный мир воцарился в Начармагевском дворце...

Кончились неустанные заботы о приобретении оружия, лошадей. Немного вздохнули чеканщики, лучники, закальщики мечей, ковали, шорники.

Ныне только и было речи, что о художествах иконописи, златоважня, финифтяном искусстве да резьбе по дереву.

В расположенной к северу от замка дубовой рощице, где находились конюшни, кузни и разные мастерские, как грибы, выросли все новые помещения, предназначенные для искусных златоковачей, резчиков по дереву и живописцев. Там поселили мастеров и ремесленников, выписанных из Тао-Кларджети и Самцхе. Царь Давид и Арсен Икалтоели, старшина живописцев Тевдорэ, главный зодчий Лукианэ изо дня в день наблюдали за их работой.

* * *

Волнующие события не заставили себя ждать.

Едва лишь были получены грамоты, доставленные иеромонахом Сосипатром, как присланные ранее свитки, — те самые, что хранил у себя под замком Давид, — словно бы сами собой заговорили.

И Чкондидели, и Арсен Икалтоели, и католикос Картли Иоанн ознакомились с ними, однако же упорно хранили молчание...

Царь Георгий не очень-то любил утруждать себя... Он старался и читать поменьше, рассуждая так: все, что доселе написано людьми, испокон веков уже запечатлено в Евангелии, остальное же в назначенный срок возвестит нам ангел господень. Иисус Христос никогда не читал чужих вымыслов, да и сам ничего не писал, а божественному его избранию это вовсе не помешало.

Но, вопреки своему предубеждению, Георгий прилежно прочел все письма Лулу. Только последняя грамота порадовала Георгия, а именно: «чудесное» странствие креста Багратидов в Париж. Не один царь Георгий — и Арсен Икалтоели, и католикос Иоанн, и члены коренного Совета, — все ликовали.

Цел боевой крест животворящего древа, который в неисчислимых битвах предшествовал воинству Багратидов! И, несмотря на потоки крови, проливаемые в крестовых походах, благополучно доведен он от Иерусалима бывшею царицей Русудан, без ратных людей в дальний путь пустившейся.

Из Иерусалима, через Антиохию и Битинию, крест вернулся в Константинополь, откуда прибыл в Париж и ныне покоится в Соборе Парижской Богоматери всему христианскому миру на диво.

— Ого! Вот чудеса-то! — радостно басил Георгий.

Постельничие монахи из Начармагеви и странствующие иноки разнесли эту весть по всей Грузии.

Самые ярые фанатики, как из среды духовенства, так и из числа мирян, приписывали боевому кресту Багратидов всевозможные небылицы. Даже в победах Готфрида Бульонского, Балдуина и Танкреда, по их словам, была будто бы доля и его заслуг.

Сам Георгий Чкондидели восхищался столь достославным паломничеством боевого креста, однако внимание его отвлекали другие дела.

Теперь ему стало вполне ясно, почему царю Давиду не хотелось разглашать содержание посланий Лулу бен Гайдара: епископ Голготели и его присные, противники воцарения дочери половецкого хана, вновь подняли бы смуту; а крамола опальных епископов и впавших в немилость вельмож отнюдь не способствовала сплочению сил державы, втянутой в войну.

Чкондидели и без слов чувствовал, какое пламя бушевало в душе его питомца. Он боялся, как бы царь Давид не отказался от брака с дочерью половецкого хана в том случае, если Лулу бен Гайдар найдет Дедисимеди.

Хотя Чкондидели и Давид были привязаны друг к другу, точно отец и сын, все-таки старый сердцевед всегда остерегался глубокого вторжения в святилище чувств своего воспитанника. Вот почему и на сей раз он не проявлял любопытства.

Первый визирь диву давался: царь Давид как будто вовсе и не собирается посылать людей за половчанкой.

Однажды остался Чкондидели наедине с Нианией Бакуриани и осторожно завел речь об этом.

Немного помолчал, потупясь, Нианиа, потом поднял глаза на старца и спокойно сказал:

— Как ведомо тебе, блаженнейший владыка Георгий, жестокое поражение потерпели от нас лиходеи, однако опальные князья церкви все еще сидят по своим вотчинам. Окончательно побежденным же может считаться лишь тот, кто окончательно раздавлен. Правда, от недругов наших остались одни жалкие обломки, но нередко и от малой щепки разгорается пожарище великое...

* * *

Не по душе первому визирю столь длительное пребывание дочери эристава Шамана в Начармагеви.

С наступлением весны, когда такверские азнауры увозили из царских чертогов слепого эристава Шамана, Гванца **тоже** собралась было в путь, но обе государыни воспротивились этому, настаивая: пусть Гванца погостит еще, до осени.

— Как же, как же! — горячился царь Георгий. — Да разве можно, вежо, ведь придется переправляться через бешеные потоки! Вам-то, мужчинам, все нипочем, справитесь как-нибудь с течением. А каково ей, хрупкой девушке, сносить трудности наравне с вами!

Царь Давид присутствовал при этом разговоре, но не проронил ни слова.

Чкондидели замечал, как нежно любили Гванцу обе государыни и царь Георгий, который с готовностью выполнял любую ее прихоть, будь то рыбная ловля или охота.

Да и сама Гванца выказывала старому царю необычайную предупредительность. Завтрак Гванца подавала Георг-

гию под гранатовое дерево. Каждый вечер, после моления, Гванца, сопровождаемая прислужницами, с тазами и кувшинами в руках, провожала Георгия в опочивальню и собственноручно омывала старцу ноги.

Шутил Георгий:

— Цари всей земли во все времена мечтали о сыновьях. Я же мечтал иметь хоть одну-единственную дочку. Но не внял господь мольбам моим. Что ж, придется мне теперь отнять у эристава Шамана Гванцу.

Царице Елене последнее время часто недужилось. Гванца ночи напролет просиживала у постели больной, облегчая ее страдания пением ирмосов и милой девичьей болтовней.

И пьявки ей ставила Гванца, и лекарства давала. «Моя милосердная сестрица», — так в шутку называла ее Елена.

Чкондидели сильно опасался, как бы царицы не вмешались в дело женитьбы царя Давида, и так-то сложное, и не испортили бы того, что уже налажено. Вот почему он огорчился, когда Гванца не уехала вместе с эриставом Шаманом.

Преосвященный Георгий, разумеется, поклонялся пресвятой богородице, просветительнице Грузии — Нине, глубоко чтил добродетельную мать царя Давида — Елену, к прочим же особам женского пола либо питал равнодушие, либо таил в сердце неприязнь.

Не слишком большое уважение выказывал он императрице Мариам, ибо доселе никак не мог ей простить ее вторичное замужество.

Недовольно хмурился владыка Георгий, когда императрица Мариам в беседе с царем Давидом затрагивала государственные вопросы.

Часто говаривал архимандрит Георгий:

— Бабыя доля издревле предуказана господом: детей плодить да растить их, изо дня в день читать псалтырь, а на досуге пряху.

Через лазутчиков Каримана Сетиели узнавал Чкондидели, что после поражения сельджуков при Эрцухи по всей стране пошли толки и пересуды, направленные против царской невесты-язычницы.

И высшее духовенство, и знать, и черный люд, монахи, — все считали неслыханным богохульством поселить в Картли «нечестивых» половцев. Чкондидели и сам был ревностным христианином, но даже ему казались безрассудными крамольные речи Голготели и его приспешников: «Над сельджуками царь Давид одержал окончательную победу. Кон-

стантинополем, Антиохией и Иерусалимом благополучно правят христианские властители. Так гоже ли нам родниться с варварами?!»

* * *

По донесениям Джоджики и Арамаиса Аршаруни Чкондидели прилежно следил за обстановкой — как внутренней, так и внешней — в Сельджукском султанате.

В 1104 году умер (или был отравлен) султан Бархиарок, и на исфаганский престол взшел его сводный брат Мохаммед, который, помимо своего сельджукского титула «Тапар», подписывался под фирманами не очень-то коротким именем: Абу Шулджак Гиас Эд-Дуни-а Вад-Дин Касим Амир ал Муминин.

Мохаммеда Малик-шах прижил с купленной невольницей — вот почему так трудно было ему проложить себе дорогу к султанскому престолу. Мой читатель, по всей вероятности, помнит: как только отравили Малик-шаха, из-за султанского престола сцепились между собой старшая его жена Тюркан Хатун и старший сын — Бархиарок.

Тюркан Хатун призрела юного Мохаммеда и провозгласила его соправителем малолетнего сына своего Махмуда. В конце концов Бархиарок одержал верх над мачехой, и Мохаммед переметнулся на сторону сводного брата.

Со смертью Тюркан Хатун великая смута воцарилась в Исфагане, между братьями началась ожесточенная борьба за престол. Борьба эта завершилась «ненарушимым миром», по которому Исфаган и западные провинции достались Бархиароку, а Гянджа, Аран и южная часть Кавказа — Мохаммеду. В мечетях Арана полагалось восхвалять до небес султана Бархиарока.

Крестовые походы и рост могущества христианского мира сблизили братьев.

Столько наветов наслушался султан Мохаммед от своего визиря Муейд аль-Мулька, сына великого визиря Низама аль-Мулька, что наконец отдал приказ: в мечетях Арана не восхвалять более султана Бархиарока.

Этого было вполне достаточно, чтобы между братьями вновь вспыхнула вражда. Умер Бархиарок, однако его приверженцы, амиры и визири стали на дыбы и пошли против Мохаммеда.

Вдобавок ко всему этому возмутились асасины, они взя-

ли несколько крепостей в горных областях Ирана и захватили в свои руки неприступную Аламутскую твердыню.

Мохаммед отправился в Багдад и явился к халифу Мустазиру Ибн-Моктади. Халиф позволил Мохаммеду в Иране и землях неиранских восхвалять султана, но зато взял с Мохаммеда одно обещание: ратоборствовать с асасинами и христианами.

Ободренный Мохаммед прибыл в Исфаган, и кровь полилась рекой. Вождю асасинов ибн-Аташу султан послал богатые дары и, выманив его из крепости, отрубил голову; повелел он отсечь головы и крепостной страже, а цитадель Шадиз — сравнять с землею.

В конце концов Мохаммедом овладел такой ужас перед асасинами, что в сговоре с ними он заподозрил даже самых преданных визирей и амиров и без суда учинил над ними кровавую расправу. Долго боролся султан с опасным крамольником, великим амиром Шавалом Сакаву, который своевольно хозяйничал в провинции Фарс; наконец схватил его и выколол ему глаза.

И все же асасины не смирялись. Тогда султан приказал своему визирю Муеид аль-Мульку без промедления овладеть Аламутской крепостью. Многие тысячи ратников принесли в жертву Муеиду, пытаясь овладеть этой твердыней, но так и не смог. Разъяренный Мохаммед наложил на него опалу.

Султан Мохаммед сражался одновременно и с крестоносцами, и с асасинами. В эту самую пору потерпели поражение при Эрцухи амир войск Ших Алдин Ахмет и гянджинский амир.

По повелению грозного султана Ших Алдин Ахмету, тотчас же по его возвращении в Исфаган, амир Хараси золотой палицей перебил позвоночник.

Чкондидели, учитывая все эти обстоятельства, полагал, что царю Давиду надобно поскорей породниться с половецким ханом, привести половцев в Грузию и усилить ими наемное войско.

* * *

Примечал первый визирь и еще кое-что: спасалары царя Давида тоже порой колебались. Эристав Джонди особенно сильно поддавался влиянию сплетен и пересудов, распространяемых по всему царству Максимом Дирбели, Голготели и

опальными епископами. Сомневались и Шергил Липартиани, и Бешкен Джакели.

Некоторые из них руководствовались не столько религиозными соображениями, сколько внушениями императрицы Мариам. Они выражали опасения: неровен час, эти неугомонные половцы все царство наше взбудоражат, и тогда призванных по доброй воле чужеземцев нам же самим придется усмирять.

Еще царь Баграт, борясь против Липарита, призывал в Грузию варягов, но те были малочисленны.

Да и у самого Чкондидели, погруженного в думы о нависшей, быть может, над страной угрозе, сон бежал от глаз; однако превыше всего была для него незыблемость царского обещания.

Как неусыпный охранитель дома Багратидов и блюститель его чести, первый визирь почитал невозможным нарушить данное слово.

* * *

Дважды приходили письма от Стефаноза Цилканского из Земли Половецкой. Он не таил, что Атраха Шараганович был немало удивлен, а теперь даже и обижен непонятым молчанием царя Давида.

Не раз заговаривал Чкондидели об этих письмах с Давидом: какой, дескать, ответ дать Стефанозу Цилканскому?

В последний раз, выслушав его, царь немного помолчал и, устремив печальный взор на своего наставника, молвил:

— Подождем с ответом до будущей субботы.

На той же неделе, в пятницу, прискакал гонец из Земли Половецкой и привез, третью уж по счету, грамоту от Стефаноза Цилканского.

На исходе следующего дня в башне Теней посетил царя Давида его первый визирь. Царь беседовал о гелатских делах с Икалтоели, католикосом Картли Иоанном, главным зодчим и старшиной живописцев Тевдорэ.

Когда беседа закончилась, Чкондидели вынул письма Стефаноза Цилканского и разложил их перед царем.

Давид внимательно ознакомился с ними и передал их Икалтоели. Когда же прочел письма и католикос Иоанн, в палате наступило неловкое молчание.

Чкондидели, вперив взор на царя, твердым голосом проговорил:

— Нам вполне понятна обида Атрахи Шарагановича. Государь наш, от тебя самого слышал я не раз: слово царское должно быть законом нерушимым. В минувшем году от имени обоих царей известил я Стефаноза Цилканского, что еще до конца осени пришлем людей за царской невестой.

Потом, как вам ведомо, этому помешала война и, наконец, — зима. Ныне пора бы уж нам отрядить посольство в Землю Половецкую.

Так воспользуемся же тем, что гостит у нас муж кормилицы царевича — Гац. Много раз бывал Гац у половцев. Через Дарьяльские врата он проведет царских посланцев к Атрахе Шарагановичу.

Порешили: главой посольства быть Гуараму, владельцу Бечисцихе. Ему должны сопутствовать два епископа — Курмурдоели и Ишхнели, а также пятеро владетельных азнауров: Элашер Элашеридзе, Георгий Шабуридзе, Вамех Урдоэли и уже бывавшие в Земле Половецкой азнауры Хурцисдзе и Букаисдзе. Небольшая свита из царских телохранителей, а также шатерничие и погонщики мулов препоручаются тысяцкому Латерии.

Тогда же договорились вотчину изменника Рати Орбелиани в Аргветском эриставстве передать Гелати, сорок юношей-грузин отправить на учение в Константинополь.

Прошла еще неделя. Выезд доверенных задерживался. Чкондидели слал гонца за гонцом к эриставу Гуараму. Однако супруга эристава сообщала через них: «Занемог эристав Гуарам, как только оправится, тотчас явится к вам». В тот же день условились: отъезд доверенных в Землю Половецкую хранить в тайне, ибо никто не ведал, сумеет ли Гац провести их через Осетию к половцам. Всем было ясно также, что возвращение посольства ни с чем непременно послужило бы поводом к злорадным пересудам.

* * *

До приезда иеромонаха Сосипатра в душе у царя Давида еще теплилась надежда; авось в одной из следующих грамот напишет что-нибудь утешительное Лулу бен Гайдар.

Государыням не спалось по ночам... Загадочным казалось им бесследное исчезновение дочери эристава. Ведь Кариман Сетиели все Грузинское царство обшарил, да вдобавок еще — Арзрумский и Трапезундский амирата. Не щадили своих сил ни Джоджики, ни Арамаис Аршаруни, много золо-

та потратили они, засылая лазутчиков в города, дворцы и крепости.

А теперь Лулу бен Гайдар прошел от Ани до самого Иерусалима, и все тщетно. Так где же искать эту злосчастную Дедисимеди? — сокрушались царицы. От природы мягкая и набожная, царица Елена чаще всего молилась и плакала. Безошибочное материнское чутье подсказывало ей, как страдал ее сын... Мариам была глубоко тронута горем своей невестки. Впрочем, ее тоже замучила бессонница, то и дело звала она к себе лекарей и сиделок, что ни день пила снадобья от мигрени.

* * *

Однажды среди ночи Мариам проснулась. Чуть брезжило, когда она встала и заглянула в опочивальню Елены. Царица, разметавшись, лежала в жару. Придворная дама Мзисавар, из рода Шервашисдзе, прикладывала ей ко лбу холодные примочки.

— Скажи-ка, голубушка, — спросила Мариам свою невестку, — вправду ли в жилах Гванцы течет кровь Багратидов?

Елена, сняв правой рукой со лба примочку, отозвалась:

— Да, и вправду течет царская кровь в жилах Гванцы. Ведь бабка ее из рода артануджских Багратидов. Неужели ты в первый раз слышишь об этом? Если не ошибаюсь, я тебе когда-то говорила: Эдишер, отец эристава Шамана, взял в жены девушку из рода Багратидов.

Немного помолчав, Мариам спросила свою невестку:

— Да, но в каком колене доводится она нам родней?

— В восьмом колене.

— Э-э, столь дальнее родство браку не помеха. Византийские императоры женились и на дочерях своих двоюродных братьев. Велика важность!..

* * *

Ночное перешептывание цариц на другой же день по всему дворцу разнесла дочь Шервашисдзе, Мзисавар... Каждого в отдельности молила не проговориться, каждого заклинала благодатью всех четырех Евангелий... Факельщики и постельничие столь же «тайно» и «под присягою» передавали новость

гостившим в Начармагеви владетельным азнаурам, епископам, иеромонахам и чернецам.

И вот уже по всей Грузии пронесся слух:

Царь Давид раздумал породниться с половецким ханом и берет себе в жены дочь эристава Шамана — Гванцу.

Прежде всего долетел этот слух до епископа Голготели. Теперь он уже во всеуслышание разглагольствовал:

— Девушка царской крови, дочь испытанного ратоборца земли родной, у нас во дворце обретается. Так не безумство ли возводить на престол чадо какого-то гуртовщика-половца?

По всему царству загалдели опальные епископы и азнауры, в Триалетском эриставстве зашевелились уцелевшие прихвостни Липаритовы. И друзья, и недруги царя Давида вопили на всех перекрестках:

— Не желаем, чтобы половчанка окаянная воссела на трон Багратидов!

Максим Дирбели и прочие крамольники, которые использовали исчезновение Дедисимеди как оружие в борьбе против царя Давида, возводили на него еще более тяжкие обвинения: царь Давид, дескать, дал наказ Кариману Сетиели погубить дочь Липарита, а потом, тщась отвести глаза недовольным, послал в Палестину Лулу бен Гайдара якобы на розыски Дедисимеди.

Не будь он равнодушен к вере, зачем бы ему тогда жениться на дочери басурмана и осквернять землю грузинскую, заселяя ее нечестивыми половцами? Голготели со своими приспешниками припомнили дела давно минувших дней: половецанкою была Тюркан Хатун, старшая жена Малик-шаха, но наущению которой сначала был отравлен ее муж, а затем и султан Бархиарок. Великую свару завела Тюркан Хатун по всему султанату.

Царю Давиду доносил обо всем этом Кариман Сетиели, однако государь выслушивал его молча.

* * *

Мзисавар Шервашидзе нимало не тревожила ни судьба отчизны, ни душевные переживания царя Давида.

Это была уже поблекшая во дворце Багратидов старая дева. Будучи в молодости очень красива, она отвергла всех просивших ее руки владетельных азнауров, ибо сама происходила из знатного рода Цхумских эриставов и вбила себе в

голову, что выйдет замуж только за эристава. Между тем отвергнутые ею азнауры обзавелись семьями, а Мзисавар так и осталась старой девой.

Как только в Начармагевском дворце вновь зашептались о приезде дочери половецкого хана, Мзисавар встревожилась не на шутку. Она рассуждала так:

— «Бог ведает, какого нрава та половчанка, детище басурманского племени, да притом язычница? Придется ей что-нибудь не по вкусу — со свету сживет!»

Подобными страхами был объят весь царский двор, и не только в Начармагеви, — в замках Бочорма, Мухрани, Гегути, Цагвлистави тоже трепетали престарелые придворные: «А что, если новоявленная царица-безбожница станет чинить над нами суд и расправу?!»

Мзисавар заранее была уверена, что новая супруга государя уж во всяком случае не похожа на кроткую и богобоязненную царицу Елену (которой, кстати сказать, отнюдь не по душе было самовластие бездельницы и склочницы Мзисавар в Гегутском и Начармагевском дворцах; но из христианского милосердия старая царица ее терпела).

* * *

В один прекрасный день Мзисавар встала спозаранку, нарвала в дворцовом саду огромную охапку роз и направилась к опочивальне Гванцы.

Накануне царь Георгий и Махара брали с собой Гванцу на рыбалку. Она, должно быть, простудилась и сейчас лежала в постели с пылающими от жара щеками. Мзисавар осторожно приоткрыла дверь и просунула голову внутрь:

— Ты не спишь, душенька?

— Не сплю, — неохотно отозвалась девушка.

Мзисавар на днях только воротилась из Абхазии. Давно не видела ее Гванца, и все же вовсе не обрадовалась приходу долговязой, сухопарой старой девы с глубоко запавшими глазами.

Мзисавар почуяла, что не угодила дочери эристава своим посещением. Но она все же преподнесла девушке розы — одни сунула Гванце прямо в руки, другие разбросала на подушках и ложе. Присев у изголовья больной, нежно поцеловала ее в лоб и погладила по блестящим, как шелк, волосам.

— Чуешь ли ты, душенька, что другой такой счастливцы, как ты, не сыщешь ныне во всем нашем царстве?

Гванца недоумевала:

— О чем ты, тетушка Мзисавар?

— Уж поверь мне, поистине ты счастливейшая из девушек, душенька, и вдобавок — прекраснейшая. События складывались так, что сразу было видно: господь непременно желал даровать тебе счастье. И случившееся доныне и происходящее сейчас — неизбежность, ибо все это предначертано провидением.

Господь — всемилостив и всевидящ! Даже тогда, когда нам кажется, будто счастье от нас отворотилось, всевышний неусыпно печется о нашем благе. Господь всеведущ, он всечасно среди нас и в сердцах наших, ибо любая тайна смертного доступна провидцу!

Произнося эти слова, Мзисавар устремила умильный взор на златокованный образ спасителя, висевший напротив, на стене.

Гванца так и не поняла, на что намекала Мзисавар и что предвещали ее темные речи. Девушка накинула на плечи халат и, приподнявшись на подушках, оперлась на локоть.

— Скажу я тебе по правде, тетушка Мзисавар, — такой несчастной девушки, как я, не сыскать, верно, не только в Грузии, но и во всем христианском мире.

Дочь Шервашидзе вскинула свои изогнутые, подобно луку, брови.

— Что ты говоришь, душенька?!

— Разве сама ты не знаешь, тетушка Мзисавар, сколь жестока ко мне судьба? Мать я утратила рано. А что требовать от слепого отца? Душа моя никогда не знала родительской ласки, того тепла, что согревает человека вплоть до самой могилы: должно быть, потому и вспоминаем мы мать в свой смертный час. Стынет мое сердце, лишенное любви.

— Не ропщи на бога, дочь эристава. Кое-что и я слышала о тебе. Отважнейшие мужи державы нашей боготворят тебя. Я сама знаю нескольких эриставов, которые безмолвно томятся по тебе.

— Эх, тетушка Мзисавар, наверно, и ты прежде любила. Говорят, в молодости ты была очень красива. Верно, в тебя тоже не один азнаур влюблялся, и что же? Когда ты любима, этого еще вовсе недостаточно для счастья. Полное счастье бывает лишь в том случае, когда сама любишь и любимый отвечает тебе взаимностью. Видно, судьбою мне предназначено любить того, кто самому себе не принадлежит. Да простит мне господь такое богохульство, но ведь это правда, тетушка Мзисавар.

Старая дева опасливо оглянулась на дверь, нагнулась над больной и тихо проговорила:

— Открою я тебе одну тайну, душенька, да только чур — не выдавай, а то удалит меня от двора царица Елена!

Подивилась Гванца: что за тайна такая?

— Прошлую ночь, — шепотом продолжала Мзисавар, — делала я примочки царице Елене. У ее изголовья сидела императрица Мариам. И всю ночь напролет они проговорили о тебе.

— Обо мне? Неужели! И что же могли говорить обо мне государыни? Путаешь ты что-то, тетушка Мзисавар!

— Что могли говорить? Да ведь обе они только и мечтают, чтобы ты стала царицею грузинской. Тебе самой, конечно, виднее, душенька, как быть. Но надеюсь, в лучшие времена ты о нас не позабудешь? О нас, кто принесли в жертву дому Багратидов и юность свою, и силы.

Гванца вдруг почувствовала себя совершенно разбитой. Зарывшись лицом в подушки, она заплакала в голос, словно дитя малое.

Не ведала она, что сулит ей грядущее и как ответить на сказанное.

Немного полежав ничком, Гванца вновь оперлась на локоть и сказала:

— Не может этого быть, тетушка Мзисавар! Где мне удостоиться столь великой чести?!

— Давно уж мечтаю я устроить этот брак. Ведь, казалось бы, кто просит меня вмешаться в царские дела? Однако же все на свете имеет свой смысл: всякое словечко, кстати ввернутое в беседу; всякая сплетня, вовремя переданная по назначению.

Еще в тот год, когда Липарит с семейством гостил в Гегутском дворце, я что ни день втолковывала обеим государыням: Дедисимеди, хоть она и прекраснейшая и добродетельнейшая ереди девиц, все-таки царю не пара — негоже царю родниться с семьей изменника Липарита. На кусте шиповника, говорила я, никогда не расцветает роза.

Когда бы вняли моим советам, жизнь царя Давида шла бы совсем иначе. Возможно, и эта злосчастная Дедисимеди в живых осталась бы, в конце концов вышла бы она замуж за какого-нибудь эристава и такого горя не причинила своей погибелью царю Давиду.

Гванца вспыхнула при этих словах.

— Говоришь, в живых осталась бы? А почему ты знаешь, тетушка Мзисавар, что Дедисимеди нет в живых?

Мзисавар смутилась:

— Я-то не знаю, голубушка, да только слухом земля полнится. Максим Дирбели, к примеру, так утверждает: грех сей, дескать, на душе у Каримана Сетиели. А я передаю то, что слыхала. Думаешь, жива она? Да, впрочем, если даже и так, что проку от этого царю? Не зря ведь говорили: «Что мертвый, что без вести пропавший — все едино...»

Мзисавар помолчала, покосилась на дверь и прибавила:

— Лишь бы ты утешилась, душенька! Один стремянный открыл мне важную тайну: лошадей седлают в царской конюшне! Доверенных людей снаряжают к хану Половецкому, дабы передать ему отказ царя вступить с ним в родство.

Из коридора слышались шаги. Мзисавар в испуге вскочила, задом попятилась к двери, потом вернулась обратно и, нагнувшись над больной, поднесла палец к губам:

— Только знай, ни гу-гу!.. Запомни, душенька: до времени разглашенная тайна подчас чревата роковыми последствиями.

* * *

Последние годы не поверял Чкондидели царю Георгию государственных тайн, да, впрочем, старому царю до того они надоели, что его это не очень-то печалило...

О решении снарядить посольство в Землю Половецкую Георгий даже не слыхал. Одно только заметил Георгий: когда сам он и государыни воспротивились возвращению дочери эристава в Таквери, царь Давид присутствовал при этом, однако не высказался ни за отъезд Гванцы, ни против него; когда же дочь эристава уговорили остаться в Начармагеви, луч затаенной радости вдруг вспыхнул в глазах царя.

Возликовал царь Георгий. Денно и ночью мечтал он о том, чтобы дождался наконец отрады в этой жизни его единственный сын.

* * *

Всю ночь Георгий пролежал без сна. Чуть свет он отправился к императрице Мариам. Не успев еще присесть, он заговорил:

— Ну, скажу я тебе, Маико, чертовски выносливо мое

сердце, точно мехи у волынщика из Таквери. Но знай, наступит день, когда разорвется оно, злосчастное, от пережитых страданий.

Мариам пытливо посмотрела на брата.

— Да и мне что-то нездоровится, клянусь тобою, Георгий, — призналась она. — И сердце устало, и разум... Скажи мне, кто навлек проклятие на род наш? Недавно позвала я к себе лекарей — биеение сердца проверить. «Избегай волнений», — советовали они мне. А ты сам посуди, Георгий: возможно ли нам избегать волнений?

Ты видишь, моя невестка Елена в постель слегла от горя. Она говорит так: «Не приведи господь дожить до того дня, когда рядом с сыном моим единственным басурманка воссядет на трон Багратидов!..»

И в самом деле, к чему нам басурманы? Не хотим мы, не хотим у себя нехристей! И не у нас ли под крылышком горлица кроткая? Иные заладили: юница царской крови, дескать, надобна нам... А скажи-ка, милый, какие цари были в роду у конеедов-половцев? Вчера и Елена подтвердила: кровь артануджских Багратидов течет в жилах Гванцы.

— Да разве ты доселе не знала, Майко, что эристав Эдишер, отец Шамана, был женат на девушке из рода Багратидов? Теперь твердит Чкондидели: не подобает, мол, властителям нарушать свое царское слово. Ха, ха, ха! Даже на старости лет наш преосвященный Георгий не избавился от простодушия.

Приводи мы в исполнение все наши обещания, данные на этом свете царям да султанам, ныне, пожалуй, волки и овцы паслись бы вместе. Что ж поделаешь! Слово иногда твердо, как золото, иногда же — хрупко, как чесночная шелуха.

Когда Малик-шах гостил у султана в Багдаде, однажды вечером, воротившись с охоты во дворец, мы напились. Вернее говоря, Малик-шах опьянел первым, ибо мусульмане опиум, правда, переносят хорошо, но от вина сразу пьянеют.

Несколько раз подряд поцеловал меня в щеку Малик-шах и сказал:

— Ты так мне полюбился за время охоты на джейранов, что до конца дней моих не лишу я тебя отеческой заботы, клянусь аллахом! И знай: никогда не потребую с тебя хараджи.

Как бы не так! С того времени, кажется, лет десять

посылал я харáджу Исфагану, до тех пор, пока царь Давид не отказался платить дань султану Бархиароку.

В коридоре послышался перезвон бубенцов. Георгий прервал рассказ и оглянулся на дверь.

Махара ввел царевича Деметре, на левой руке которого сидел ястреб, сам же Махара держал в руке свиток.

Георгий выглянул в приоткрытую дверь: за порогом стоял Звонила в красно-желтом одеянии, на левой руке у него тоже сидел ястреб.

На царевиче была красная кабача с золотым шитьем на груди. Красные сафьяновые сапожки облегли его стройные ноги. Золотые кудри ниспадали на лоб. Георгий приподнялся и поцеловал своего внука.

Засиял старик при виде своих любимцев: внука и стальных ястребов. Мельком взглянув на свиток, он спросил Махару:

— Откуда эти ястребы, вежо?

— Эристав Аришиани прислал их в дар царевичу Деметре.

— Как?! Двух этих ястребов?

— Двух, говоришь?! Добрых семнадцать ястребов и двенадцать перепелятников, да еще семь соколов, сменивших оперение.

Георгий распечатал свиток, некоторое время читал про себя, наконец радостно объявил Мариам:

— Приятные вести, Маико! Стратиг Нотар с Епифанием Непьющим сообщают из Константинополя: «К исходу мая приедем к вам поздравить царя Давида с победою при Эрцухи. Патрикий Модистос сопровождает нас и трое епископов. Епископ Смирнский Фералонт собирался ехать с нами, однако занемог; скоро поправится с божьей помощью».

Георгий перевернул эпистолу на другую сторону и радостно воскликнул:

— Послушай-ка, Маико, что творится! Кесарь Алексей Комнен, оказывается, сменил гнев на милость — назначает Нотара послом в Исфагане.

Есть тут еще приятная новость, Махо! Семь византийских ищеек посылает мне Модистос с дьяконом Лукием и бывшей рабыней Маврой. «Они уже в пути и в ближайшие дни придут в Хупту. Пусть ваши люди встретят их, ибо дороги страны вашей не очень-то хорошо знакомы дьякону Лукию и бывшей рабыне Мавре».

У Махары! глаза загорелись при упоминании о византийских гончих.

— Старый-престарый мой друг — патрикий Модистос, — продолжал Георгий. — Когда под Карис-Цихе я воевал с сельджуками, он ни на минуту от меня не отлучался, сражался, как лев. Если бы ты знала, Маико, какой храбрел патрикий Модистос!

Мариам улыбнулась:

— Я ведь, милый, тоже хорошо знаю Модистоса. На Новый год он, бывало, первым являлся ко мне во дворец. Когда завистники оклеветали моего Константина, не побоялся бывать у нас патрикий Модистос. Это истинный христианин и доблестный рыцарь.

Императрица Мариам ждала письма от сына своего, Константина. Новости ее порадовали: наверно, гости привезут ей долгожданное послание.

Вошел царь Давид. Поцеловал в щеку своего сына и, протянув к ястребу левую руку, посадил его себе на палец.

Давид подул ему на грудку, щелкнул по хвосту. Ястреб, грозно распрямившись, сверкнул на царя глазами цвета прося.

Давид сказал:

— Уж сколько лет я не сажал ястреба на руку!

— Ну, так скажу я тебе, государь наш: каждое утро надо бы мужчине выдерживать взгляд ястреба, — пробормотал Махара.

Давид передал ястреба царевичу Деметре, а сам сел у изголовья Мариам.

— Лекари были нынче утром? — озабоченно спросил царь Давид у Мзисавар Шервашидзе.

— Недавно только ушли, — отвечала та.

— Что они сказали? — спросил царь.

— Поправляется, говорят. Не сегодня-завтра в сад выведем императрицу погулять.

Полученный из Константинополя свиток приободрил Мариам.

— Ты знаешь, Георгий, — сказала она, — между тобою и патриkiem Модистосом находят поразительное сходство. Он, как и ты, крепок здоровьем и никогда не унывает. Даже в бровях не осталось у него ни единого черного волоска, а охоту все никак не бросит... и даже...

Мариам, поколебавшись, обвела взором присутствующих и с улыбкой продолжала:

— Представь себе, даже влюбляться не перестает патрикий Модистос.

— Как?! Он до сих пор не женат? — воскликнул Георгий.

— Так бобылем и состарился Модистос. Однако наш старец — знаменитый обольститель. Он превосходно играет на македонской арфе и распевает греческие рапсодии.

Перед моим отъездом из Константинополя у придворных дам Буколеонского дворца не было лучшего развлечения, как посудачить об очередной любви Модистоса. Старик без памяти влюблен во вдову Стефана Куропалата.

— Ну, царица, отныне берегись! А ведь патрикий Модистос мой ровесник. Ха, ха, ха! — от души смеялся Георгий. — Ты говоришь, Маико, он никогда не унывает. А скажи-ка, много ли проку в унынии? Как я погляжу, трусы погибают на войне раньше, нежели храбрецы. Такова уж воля божия, Маико, что всего лишь раз суждено нам явиться на этот свет в телесной оболочке. Потому-то и должны мы веселиться, покуда не явится за нами архангел с мечом огненным и не потребует от нас души.

Возрадовался я нынче утром, увидев ястреба на левой руке моего внука, напомнил он мне лики почивших моих предков с ястребом на одной руке и с мечом — в другой.

Потомки моего внука, наверно, тоже во все века будут красоваться с ястребами и мечами в руках.

— Сколько тебе было лет, милый, когда ты впервые посадил себе на руку ястреба? — спросила Мариам у Давида.

Царь, улыбаясь, отвечал:

— Еще и десяти не было, когда Махара всучил мне ястреба.

* * *

Вошла куропалатиса Мелита. Она восхищенно воскликнула:

— Каких дивных ловчих птиц подарили царевичу!

Деметре повис на шее у отца.

— Пойдем, поглядим на ястребов.

А Георгий пристал к сестре:

— И ты иди с нами, Маико.

Мариам не могла удержаться от смеха:

— Какой уж из меня охотник! — И все же уступила Георгию. Махаре удалось уговорить Нианию Бакуриани и эристава Джонди; опираясь на свои костыли, они, ковыляя, брели к соколятне и при этом посмеивались: «На костылях много ли от нас проку во время охоты?»

Давид облобызался с обоими.

— Я бы предпочел вместо этих ястребов увидеть вас, моих верных соколов, но без костылей.

— Скоро так и будет, государь. Наш лекарь обещает к будущей субботе избавить нас от костылей, — отвечал Ниания.

— Лишь бы увидеть на лице твоём улыбку, государь, и я готов хоть сейчас выкинуть эти деревянные, — сказал Джонди.

— Ну, нет, Джонди, в этом деле надобно повиноваться лекарю, а не царю.

Звонила был на седьмом небе. Давно уж он замечал, как царь Давид охладел к охоте. Царь Георгий того и гляди отпавится к праотцам, а Давид, пожалуй, вовсе прикроет соколятню, и придется тогда ему, сокольничему, на старости лет кормиться милостыней.

Эристав Аришиани прислал ловчих птиц со старым сокольничим Бататаем. Тот деловито ковылял в железных клетках, связывая путами ястребов. Пискливым голосом усмирлял свирепо нахохлившихся хищников.

Махара тоже вошел в клетку. Все слышали, как он шептался с ястребами и перепелятниками. Затем вынес одного ястреба цвета топленого масла, длиною в целый локоть, и, показывая его столпившимся перед соколятней, радостно воскликнул:

— Знаете ли вы, что это за ястреб?

— Откуда нам знать? В ястребиные родословные еще не доводилось заглядывать, — улыбаясь, ответил Давид.

— Сей ястреб родом из Египта, это и есть певчий ястреб.

Царь Георгий, знавший толк в ловчих птицах, и тот подивился:

— Ужели певчий? Да что ты, вежо?

— В Египте водятся такие ястребы. Бедуины привозят их на соколиные базары Багдада и Исфагана.

Георгий расхохотался.

— Неладное городишь, вежо, ястреб, и вдруг поет? Ты что-то путаешь, Махо.

Тут сокольничий Бататай выступил вперед и подтвердил

слова Махары: «Этот ястреб и вправду певчий. Я сам слышал утром, как звонко он заливался».

Георгий сказал:

— Эх, часто людям не худо бы поучиться уму-разуму у животных и птиц, ей-богу. Коли уж у этой злосчастной плененной птицы хватает духу петь, то вам, молодцам, и вовсе грешно хныкать да носы вешать.

А коль зазорно вам уподобляться ястребу, тогда подражайте мне, молодцы добрые: шутя и пируя, приближаюсь я к смерти. Так веселитесь же, веселитесь, покуда не запылит вас головы снегом.

Затем вынес Махара ястреба цвета кольчуги и посадил его царю Георгию на большой палец.

— Да будет всевышний заступником твоим, Махо. Ястреб дарует человеку силу. В юные годы, бывало, как только встану утром с постели, тотчас отправляюсь в соколятню покойного родителя моего; выберу себе самого лучшего ястреба, посажу на большой палец и гляжу, гляжу на него. Потому-то, видно, и ниспослал мне господь отвагу ястреба и долготерпение буйвола, иначе как бы я перенес такую собачью жизнь?

Давид призадумался над словами отца. А ведь и правда: из каждого мгновения надобно человеку извлекать радость, ибо что без нее жизнь?

Он задумчиво оглядел рядком сидящих на шестах соколов, и вспомнились ему невозвратимые блаженные дни, проведенные в Гегути, Кутаиси и Липаритис-убани; все ныне в сборе: и Нианя, и Джонди, и Гванца, и Махара — одной Дедисимеди недостает среди них.

Махара вынес перепелятника песочного цвета, посадил Гванце на палец и сказал:

— Этот красноглазый счастье приносит, Гванца.

— Эх, дождусь ли я своего счастья, царевич? — отвечала ему дочь эристава.

— Надежду никогда не надо терять, Гванца, — вставил свое слово Давид, заглядывая в злые красные глаза перепелятника.

— Как потерять то, чего никогда и не имела, государь?

Тут Махара вынес глухаря и вручил его Ниани Бакуриани.

— Таких держат туркоманы за Гурганским морем. Глухарем можно затравить журавля, а при случае и зайца.

Едва Махара успел это произнести, как появился распорядитель приемов и доложил царю Георгию:

— Пожаловал Вамех Торели с азнаурами своими.

Вамех Торели был спасаларом у царя Георгия еще в те времена, когда тот «овладел греческой Анакопеей, главной цитаделью Абхазии, и многими крепостями Кларджети, Шавшети, Джавахети и Артаани, а после того взял стольный град, крепости и твердыни Вананда и Карнифора и прогнал сельджуков из земель своих».

Георгий отдал ястреба Махаре и юношески упругим шагом устремился к калитке, за которой уже показались статный Вамех Торели и трое рыцарей в доспехах.

Тут же, у калитки, крепко обнялись два седовласых великана.

Вамех Торели всего раз видел Давида, еще юношей. Он смело приблизился к царю и поцеловал его в щеку.

Отступив назад, он сказал:

— Я счастлив лицезреть тебя, государь. Старость не радость — не смог я за тебя постоять в Эрцухи своим мечом. Колени уж не гнутся от старости, на коня не могу взобраться без чужой помощи, а все-таки приехал взглянуть своими глазами на победителя да на твою добычу.

Вамех Торели тоже оказался страстным любителем ловчих птиц. Он восхищенно ловил слова Махары.

— Вот этот, чернохвостый, ястреб могуч, как орел. Недурен и тот, с желтоватыми крыльями и белой грудкой. Таких у нас два; должно быть, оба вылетели из одного гнезда. А вон тот — с пепельным, в красную и желтую крапинку, оперением — весьма редкой породы, но, к сожалению, приручается с трудом.

Махара схватил Вамеха за руку:

— А тех двух примечаешь ли, эристав батону, что сидят на самом краю нашеста? С черными головками и желтыми крыльями. В паре они и лань затравят.

Одна из этой пары, видимо, самка. У ястребиных самок оперение вообще более светлое.

Ястребов из этой породы называют «скитальцами», ибо странствуют они по всему белу свету, голос у них более резкий, чем у прочих, а в глазах — больше свирепости; они хватают только птицу. Такой ястреб хорош для охоты на диких гусей.

Как схватит на лету гуся либо журавля, — мигом придушит. И к охоте на диких уток пригоден тот ястреб, однако бывает, что утка упорхнет от него, нырнет в реку, а ястреб — сломя голову за ней. И тонет...

Царю Георгию надоели рассказы Махары.

— Ну, полно докучать эриставу твоими ястребами, Махо. Покажем-ка лучше Вамеху захваченных на войне лошадей, верблюдов, оружие, доспехи. Проводим гостей в конюшни.

* * *

Прихода царей и эриставов в конюшнях не ожидали. Конюший, оказывается, занемог, а заменявший его Шошитай вышел навстречу гостям и доложил: из Иерусалима доверенные люди прибыли.

— Ну, как поживаешь, Шошитай? Все не стареешь, толстяк! — сказал Георгий.

— Старость я поборол, государь. Да и не вспомню о ней, доколе архангел-меченосец не станет над моею головой...

— Так и надо, мой Шошитай: старость и смерть не след поминать.

В помещении конюшего один за другим били челом о земляной пол Артаваз Аршели, Хахутай, Лулу бен Гайдар и Ситкваи Кора.

Царь Георгий поднял Артаваза Аршели и спросил:

— Как звали твоего отца?

— Ваче, — отвечал Артаваз.

— Владетель Аршской крепости был верным слугой почившего в бозе родителя моего... Он доблестно сражался с амиром Фадлоном под Церовани и вел за собой левое крыло войска, когда царь Баграт вторично брал Тбилиси.

Давид оглядел лысого мужчину, щеки которого были сплошь исполосованы рубцами, улыбнулся, припомнив все его похождения, и спросил по-арабски:

— Скажи-ка, Артаваз, каков вид земли нашей?

Артаваз, едва удерживаясь от смеха, отвечал:

— Земля слагается из пяти частей, государь. Вообразите себе птичью голову, два крыла, туловище и хвост.

— А теперь молви, Артаваз, где начало земли?

— Начало земли — Хатаэти, государь.

— А за Хатаэти какая страна?

— За Хатаэти обитает народ по прозванию «вах-вах».

— А за государством вах-вахов кто живет?

— За государством вах-вахов столько народов живут, что перечесть их под силу разве что одному господу богу.

— На правом крыле кто живет?

— На правом крыле — страна Хинду, государь-батюшка.

- А на левом?
- На левом два народа: маншак и машак.
- А ведомо ли тебе, кто обитает по ту сторону от маншаков и машаков?
- По ту сторону от маншаков и машаков обитают народы яджудж и маджудж.
- Кто же населяет сердце мира?
- Мусульмане полагают, что сердцем мира должны быть Мекка, Хиджаз, Сирия и Миср.
- Сколько же твердей земных у Магомета?
- Семь.
- А твердей небесных?
- И небесных семь. Спросил, оказывается, Магомета один невежда: «На какой тверди обретаемся мы?» И отвечал тот: «На первой». — «Кто обитает на второй?» — вновь спросил тот темный человек, и ответил ему Магомет: покорные создания обитают на второй тверди, на третьей — существа дивные и неведомые, на четвертой — голые скалы, на пятой — воды мелкие «дахдах мин ал-мах», на шестой — глина, а на глине той воздвигнут престол Иблиса, на седьмом же — бык.

Тогда спросил Артаваза Давид:

- Ведаешь ли, на чем земля покоится?
- На бычьем роге.
- А бык?
- На рыбе.
- Рыба?
- На воде.
- Вода?
- На воздухе.
- Воздух?
- На влаге, по-арабски именуемой «ас-сарах».
- Ас-сарах? — переспросил, улыбаясь, Давид.
- На ас-сарахе обрывается познание людское.

* * *

Артаваз Аршели принес в дар царю Давиду бесценные арабские карты Махмуда Вашгара и еще одну — Аль Сафакиса.

Покуда царь Давид беседовал с Артавазом Аршели, Шошитай велел конюхам пригнать отбитые у врагов табуны. Эристав Торели налюбоваться не мог на арабских жеребцов, текинских кобылиц и меринов.

Когда гости вошли в конюшню Давида, восхищенный взгляд Артаваза Аршели тотчас остановился на золотистом аргамаке.

— Это чистокровный кейланский жеребец, государы! — воскликнул Артаваз. — О таких скакунах прочел бы я тебе арабские стихи, коль прикажешь.

— Что ж, прочти. — с улыбкой ответил Давид.

Не говори, будто животное это —
Конь мой,
Скажи мне: «Это — дитя твое».
Он стремительней вихря,
Проворнее ока.
Словно злато, блестит он,
А очи светлы и ясны,
Даже волос увидит он темною ночью.
На полном скаку обгонит джейрана,
Орла в полете окликнет:
«Не перегонишь меня ты!»
Свист стрел и скрежет мечей
Чуть слышит, — тотчас взволнуется
Сердце его.
Когда ж выступает он шагом,
Хоть ставьте на круп ему полную чашу —
Не расплескает.
Он столь же разумен,
Сколь мудрейший среди людей,
Только создал аллах его
Бессловесным.

Царское посещение застало Шошитая врасплох, конюшники были еще не прибраны, так и бил в нос запах навоза.

Давид взял за руку эристава Торели, подвел его к кауруму боевому жеребцу и сказал:

— Ты, верно, слышал, Вамех батону, что подо мною четырех боевых коней убили в Эрцухи. Того, что я тебе давеча показывал, прозвал я Алерсой.

Этот жеребец тоже великолепен, его я зову Муццои, в память моей любимой лошади. Гляди, какие у него короткие ушки. Весь он мелкокостный, морда — совсем не мясиста, а ноздри, «словно львиные зевы, просторны», как говорят арабы. Ноги, точно у страуса, длинны, сухожилия — верблюжьим подобны...

Почуввав близость посторонних, жеребец задрожал. Давид подошел к нему совсем близко, ласково потрепал его по остроконечным, словно листочки вяза, ушам, поцеловал в глаз и, обернувшись снова к эриставу, продолжал:

— У породистой лошади лоб большой, грудь — широ-

кая, шея — длинная, а уши — непременно короткие и такая же грива.

Словом, лошадь должна быть одновременно похожа на борзую, голубя и верблюда...

Давид подвел старика эристава к золотистому боевому жеребцу.

— А это преемник моего любимца Куджая. Лишь даром речи не наделил его господь: Нрав у него горячий и неукротимый, разумен — на диво.

К мерину цвета льва подвел Давид эристава Торели.

— Это чистокровный текинский скакун. Гляди, как высоки его ноги, как длинна шея и широки ноздри!

В конюшню вошли царь Георгий, Нианиа и Джонди, а вслед за ними — Артаваз Аршели.

Давид показывал эриставу запасных лошадей — цвета куницы, серебристых в бурых крапинах, иных — с песочным отливом, иных — точь-в-точь цвета коршуна.

Давиду пришлось не по нраву, что многие из них были не выхолены: он подозвал к себе Шошитай:

— Уж не растеряли ли скребницы твои конюхи, а, Шошитай?

Шошитай побледнел.

— Что подделаешь, государь, надрываются мои конюхи на работе. Шутка ли за такой тьмой лошадей присмотреть? Конюший лежит в горячке. Обещал мне табунщик перегнать лошадей в Гегути, да, как на грех, скрутила беднягу подагра. Того и гляди, нас самих тут лошади сожрут. Приходится теперь присматривать и за теми, что пасутся в поле, предоставленные воле божьей, табунщики даже не успевают напоить лошадок вдоволь.

Конюшни оглашались пронзительным ржанием. Когда Давид собирался выходить из третьей по счету конюшни, царь Георгий преградил ему путь и, указывая на привязанных в ряд жеребцов, сказал:

— Этих семерых жеребцов давай подарим на память Вамеху и его азнаурам, а одного — Артавазу...

Артаваз догадался, что речь шла о нем. И когда Давид перевел ему слова царя Георгия по-арабски, склонил перед царями колена потомственный владетель Аршской крепости.

Эристав Торели радостно смотрел на толпившихся перед конюшнями лошадей. С запутавшимися в шерсти, еще с зимы, репьями, всклокоченными гривами и растрепанными хво-

стами, они напоминали каких-то легендарных существ. Давид, обозревая несметные табуны, сказал эриставу:

— Перед Эрцухской битвой намеревался я послать доверенных людей в горы за лошадьми. Кто знает, сколько золота пришлось бы казначею выдать на это дело, однако всевышнему было угодно, дабы амир Ших Алдин Ахмет со своим войском доставили мне их сами.

* * *

Царь Георгий настаивал: «Теперь оружейную покажем Вамеху».

Оружейная помещалась как раз напротив конюшен, в старинной полуразрушенной крепости времен царя Баграта, заново перекрытой и обшитой тесом по распоряжению оруженничего.

Царь Давид окинул взглядом сгрудившихся в поле верблюдов и сказал эриставу:

— Эти твари — лютые враги христианства. Сарацины и сельджуки, разъезжая верхом на верблюдах, отняли у греков, сирийцев и армян их исконные земли.

Стоящие вон под той березой двугорбые верблюды родом из Махра, самые проворные и неутомимые в ратном деле. А те, что лежат в поле, — дромадеры.

Цари и эриставы подошли к верблюдам поближе. Царь Георгий обратился к эриставу:

— Знаешь, Вамех, как смердят эти мерзкие животные... А сколь приятен запах лошади! Мне люб даже запах конского навоза; сам посуди, ведь все наши юные и зрелые годы мы провоевали верхом на лошадях. Помнишь, как некогда мы провели ночь под одной крышей со скакунами в заброшенной конюшне, неподалеку от Карнифора. А верблюд? Врагу не пожелаю такого соседства — разит от него, будто от падали.

Давид подошел к двугорбому верзиле и сказал:

— Глядите, какой осоловелый вид у этого бедняги, какие глупые, бессмысленные глаза. Верблюд, кажется, единственное животное, которое рождается с открытыми глазами.

— И что этот дурень так торопится взглянуть на наш подлый бранный мир, как по-твоему, Вамех, а? — пошутил царь Георгий.

Вамех приблизился к громоздкому животному. Местами прошлогодняя шерсть уже слиняла, а кое-где еще торчала грязными свалывшимися клочьями.

Огромный черный двугорбый верблюд лежал, но, учуяв приближение чужих, поднялся, выставив напоказ свои тощие, изъязвленные бока.

Он уныло качал головой и плевался...

Между тем истошно завопили на ближней поляне верблюды цвета папоротника.

Пришедшие взглянуть на них заткнули уши пальцами — такой стоял кругом дикий гвалт, в котором рев, рычание и икота сливались воедино.

Царь Давид посмотрел на верблюдов и сказал:

— Амир войск, видимо, не изучил как следует упрямый и бешеный нрав этого животного. Он и тут ошибся, когда все свои шатры, казну и оружие навьючил на этих безмозглых тварей... Сколь доблестно сражаются верблюды в открытом поле, столь же строптивы бывают они зачастую в горах.

А на переправах через реки и озера, случается, и вовсе обезумеют: едва почуют воду, сперва отпрянут прочь, заартачатся, а потом как припадут к воде и пьют, пьют, не зная меры.

Именно в речках ловили верблюдов вместе с их всадниками, точно индюшат, хевистав Хуранаисдзе и его Черные Шапки.

Совсем лысый, длиннородый оружничий вышел навстречу царям и эристам.

На воротах старой крепости еще со времен Баграта Куропалата уцелели крылатые львы.

Служители оружейной палаты застыли, прильнув к стенам. Царь Георгий и его гости безмолвно шли мимо развешанных на крюках грузинских доспехов, кованых мастерами Гегути, Уплисцихе и Дманиси; мимо шлемов, панцирей, кольчуг, палиц, бердышей, мечей, секир, алебард, луков, палашей, кинжалов и копий на длинных древках, которые прикреплялись всадниками того времени к стременам.

Все это висело вокруг, тщательно смазанное салом, начищенное до блеска. Но когда посетители прошли в помещение, где хранились военные трофеи, даже невозмутимый царь Георгий вознегодовал. Грязь и кровь присохли к оружию, в беспорядке разбросанному повсюду.

Показали Вамеху иранскую, арабскую и сельджукскую сбрую, отделанные золотым бродом подушки;

серебряную конскую броню, нагрудники и подхвостники; златотканые подушки, которые разбрасывали в шатрах, работы мастеров Фарсистана и Хузистана;

расшитые золотом подушки и ковры из большого шатра
амира войск;

посеребренные шеломы и салмасуровые кольчуги, серебряную конскую упряжь, мечи с золотыми рукоятками, луки и стрелы работы умельцев Дамаска и Исфагана;

ятаганы, изогнутые, точно змеи, с эфесами, обтянутыми змеиной кожей, шлемы с серебряными забралами, тонкой работы;

золоченые сарацинские пояса, удила, зеркала, бердыши с двурогим полумесяцем на верхушке, насаженные на посеребренные древка;

греческие приспособления для высекания огня, парадные набедренники, нагрудники и железные рукавицы, предназначенные для греческих огнеметчиков;

обоюдоострые палаши с рукоятями, усыпанными самоцветами; мечи, выкованные мастерами Дамаска, Багдада и Исфагана...

Давид остановил престарелого эристава. Показал ему мечи с эфесами в виде креста, в Палермо, Ферраре и Париже кованные.

— Мечи, отнятые у крестоносцев, — сказал он эриставу.

Франкские, фризские и британские кольчуги, распяленные, висели по стенам, одни — крупнокольчатые, другие — мелкокольчатые;

норманские шлемы без забрала, усеянные шипами величиною с рожки козленка;

прямые баварские мечи с крестообразной рукоятью, бургундские латы, сбрую и набедренники;

франкские палицы и секиры, варяжские шлемы с изображением оскаленной волчьей головы;

и снова туркоманские, сельджукские и иранские кольчуги показывал гостю царь Георгий, они все еще хранили на себе отлив воронова крыла...

Старый эристав был неутомим. Он намеревался посетить и другие хранилища, сплошь заваленные кольчугами, мечами, секирами и копьями.

Царь Георгий тронул за локоть бывшего своего спасателя.

— Полно тебе, вежо, теперь полакоимся лиахвской лососиной.

Между тем из Таоскари прискакал гонец. Царь Давид увел Георгия Чкондидели в свои покои, а царь Георгий и эристав Вамех уселись за стол, накрытый под гранатовым деревом.

— Эта лососина — просто объеденье, вежо! — говорил Георгий своему гостю.—В апреле она поднимается к истокам Лиахвы метать икру, а осенью нет зрелища отраднее, чем несметное множество лососей, со своим многочисленным потомством плывущее обратно в Куру.

Хватит с нас рассуждений о лошадях, верблюдах да боевых доспехах. Отведай-ка ты лучше этого атенского.

Благодарение богу, дурного расположения духа у сына моего как не бывало, завтра он отправляется в Гегути поохотиться да попировать. Пусть хоть немного расправит свое затекшее в железе тело.

Эти слова Георгий проговорил чуть не плача — к старости он стал не в меру чувствителен.

* * *

Еще у конюшего, ловчего и сокольничего не все было готово к отъезду в Гегути, когда азнаур Моркневели на своем белоногом мерине въехал во двор Начармагевского замка.

Не менее дюжины перепелятников, по лазским правилам обученных, привез он с собою из Спери.

Всеобщую радость во дворе вызвало не столько количество, сколько превосходная выучка хищников.

Пока азнаур Моркневели и трое худородных его спутников скакали в Начармагеви, ловчие птицы летом неотступно следовали за ними.

Царь Георгий с царицей Еленой воспротивились намерению императрицы Мариам и Гванцы ехать в Гегути: весенний паводок еще не спал, и как, мол, они, женщины, перенесут переправы через бурные потоки.

Мариам заупрямилась: пасхальную службу она во что бы то ни стало хочет прослушать в храме Баграта.

Еще пуще упорствовала Гванца: ей тоже нужно ехать с императрицей.

Долгие увещевания царственной четы не привели ни к чему. Императрица Мариам, куропалатиса Мелита и Мзисавар Шервашидзе уселись в колесницу с козлами из слоновой кости. Трое епископов и пятеро дьяконов сопровождали их верхами.

Гванца пожелала путешествовать на лошади. Джонди

и Нианиа выбрали для нее довольно смиренного мерина из конюшни царицы Елены.

Давиду конюший подвел его любимца — жеребца Алерсай. Тридцать запасных лошадей вели стремянные и конюхи.

На царе был кольчатый шлем, стан плотно обхватывала охотничья мелкокольчатая рубаха.

Сокольников и ловчий, оба в красно-желтых колпаках и джубах, предводительствовали целым легионом сокольников и конюхов. Махара и Артаваз Аршели взялись управлять всеми охотничьими делами.

Звон сокольных бубенчиков и дружный собачий лай умиляли царя Георгия. Вспомнился ему тот «блаженный день», когда бывший его зять — император Никифор Ботаниат со своею свитою, состоящей из логофетов и друнгариев, прибыл к Баграту Куропалату в Начармагеви ради пиров и охоты, и тогда во дворце царило такое же праздничное возбуждение.

Известно, что император Ботаниат всему на свете предпочитал говядину и кропание бездарных стихов. И тем не менее охота, устроенная Багратом и Георгием в его честь, удалась на славу — сотню оленей, вдвое больше того ланей и столько же вепрей набили тогда в лесах Картли.

* * *

Заранее было условлено: Арсен Икалтоели, старшина живописцев Тевдорэ и главный зодчий неделю будут дожидаться каменщиков из Тао-Кларджети и Самцхе, а потом с ними вместе отправятся в Гелати.

Георгию Чкондидели самому не терпелось взглянуть, как подвигается строительство в Гелати, однако с отъездом приходилось повременить, покуда не поправится Гуарам, владетель Бечисихе, и не возглавит посольство, отряжаемое в Землю Половецкую.

* * *

Царь Георгий был вне себя от радости. Еще за коротким завтраком под сенью граната развеселился Давид. На сей раз он не отказался выпить атенского вина, хоть и взял

себе за правило: не говоря уж о выступлении в поход, даже при выезде на охоту — не брать в рот хмельного.

По сердцу пришлась царю Георгию и шутливость сына.

Давид велел позвать азнаура Моркневели и с улыбкой сказал ему:

— Ты, Штора, и Кариман Сетиели скачите впереди колесницы. До самого приезда в Гегути пусть все принимают тебя за царя, а меня — за безвестного охотника.

* * *

Гванца ехала на мерине цвета меда. Неутомимая наездница разгорячила это смиренное животное. Она состязалась в верховой езде то с Шергилом Липартиани, то со своим братом Джонди. Лошади Давида и Ниани не спеша поднимались в гору. Время от времени седоки придерживали своих коней и окидывали взглядом окрестности.

Нианиа подметил: когда царь украдкой оглядывался на едущих за ними следом двух витязей с девушкой, всякий раз необычное волнение охватывало его. На Гванце была кабача оттенка цветов граната; оба седока издали видели, как лихая наездница заставляла своего мерина перепрыгивать через бороздившие ущелье потоки.

Царю не хотелось, чтоб Нианиа заметил, как он взволнован, поэтому сказал:

— Боюсь, как бы у Шергила и Джонди раны не открылись от этой сумасшедшей скачки.

Еще один подъем — и перед глазами всадников раскинулась широкая лощина, вся разубранная гирляндами цветов алычи и персика.

За лощиной, на взгорье, плуги прокладывали по земле черные борозды, по горным склонам среди зарослей ежевики рассыпались козьи стада.

* * *

Когда Давид и Нианиа вновь поскакали по крутым конным тропам, они уже явственно различали, как за лощиною толпившийся возле крепостей и церковей народ приветствовал императрицу Мариам и азнаура Моркневели. Ветерок разносил по ущельям малиновый колокольный звон.

Нианиа, прикрыв глаза рукою, сказал:

— А ведь и в самом деле азнаура Моркневели за тебя принимают, государь.

Гванца, посмеиваясь, наблюдала за едущими по ущелью.

— Всегда великие услуги оказывал мне Штора, — тихо рассказывал Давид. — Дабы отвести глаза сельджукам, не раз посылал я его вместо себя за Лихский перевал, а сам тем временем в Уплисцихе или в Начармагеви преспокойно готовился к новым походам.

А когда отставшие всадники нагнали их, Давид громко сказал:

— Давайте поедем по ложине вправо. Мимо вон того разрушенного замка пролегает короткая дорога к Чхерской крепости, так что мы прибудем в Чхери раньше императрицы и ее свиты.

Лошади, не ища брода, переправились через бурливую горную реку. За нею начиналась ложина. В цветущих персиковых садах поселяне подстригали деревья.

Кукование кукушки доносилось с полей, черневших по правую сторону дороги.

Буйволы нежилась в буром месиве, волкодавы лаяли на всадников, шагом ехавших между изгородами.

Сидя верхом на вымазанном в грязи буйволе, босоногий мальчуган беззаботно распевал:

Смерть пришла —
Старик встретил ее дома.
Дал ей затрещину старик —
Смерть до смерти напугал.

Заслышав цокот конских копыт, из кустов вылетели жаворонки. Притаившиеся в камышах лани мгновенно настораживались, и на взгорье то и дело мелькали их беленькие задки.

Фазаны, шумно хлопая огненными крыльями, покидали густые заросли, их оперение пламенело в небе.

Давид упивался ослепительным богатством красок природы. Он небрежно сидел в высоком седле, обтянутом барсовой шкурой, и рассеянно поглядывал по сторонам; а когда отставшие вновь поравнялись с ним, сказал так:

— У меня столь рано отняло провидение отраду юных лет, что ныне, когда я неразумно растрачиваю свое время, всегда себя за то укоряю: мне все кажется, будто я свершаю тяжкое преступление. Поистине, счастлив тот, кого в

пору зрелости не терзают сожаления о бесплодной, безрадостной младости.

Всевышний возжег в душе моей пламень столь могучий, что, коль доживу я до старости, то так, верно, и не припомню: когда был юношей, а когда стал зрелым мужем.

Махара как-то рассказывал мне, тогда еще отроку, сказку о чародее, что сидел на волшебном коне, а конь тот был сплавлен из семи веществ: золота, серебра, яхонта, латуни, железа, хрусталя и красной меди. И, оказывается, конь тот, подобно радуге, светил на все четыре страны света.

Имя тому коню было Вера, — так говорил Махара.

И в самом деле, коль есть у человека вера, он непобедим.

А вот еще речение мудреца: «Если вера твоя неколебима, прикажи горе: сойди с места и низринься в море — так оно и будет».

По-моему, вера — это та же любовь, а любовь, бесспорно, сильнее смерти.

Гванца, слегка прищпорив свою лошадь, поравнялась с Давидом и сказала:

— Мне же, с моим скудным бабьим умишком, кажется, государь, что сильнее любви — смерть. Ибо, превозмочь любовь — в наших силах, смерть же — всех и все превозмогает.

Всадники приближались к развалинам огромного храма, обломки рухнувших куполов и поваленных столбов валялись кругом. Расписные арки и краеугольные камни, покрытые узорной резьбой, какой-то чудовищной силой были повергнуты наземь.

Царь придержал коня у развалин и молвил:

— Мнится мне, не права ты, Гванца. Видишь, сколько засохших стеблей полыни вокруг этого разрушенного храма полегло. Они сами погибли от морозов, однако из земли выбивается множество молодых ростков.

— Кто сочтет, сколько людей полегло, обороняя этот храм, государь. Где же они теперь?

— Вместо них, Гванца, нас с тобою послал сюда Вершитель Судеб. Мы тоже уйдем, и нам на смену придут другие. И точно так же, как ни единое семя полыни не потеряно землю, — сохранят века грядущие нашу любовь и дела наши.

Изрек мудрец: даже горчичное семя еще никогда не пропадало втуне, а слово людское — и подавно.

А спаситель наш Иисус Христос еще лучше сказал:

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».

Взять хоть этот храм... Слыхал я от отца моего, что Мурван Глухой разрушил его, но по воле господя три столетия спустя на землю послан я, дабы воздвигнуть Гелати.

Давид натянул поводья: Он окинул взором Эльбрус, вознесшийся вершиною в ясное небо. Лишь над Брутсабдзели, обиталищем нечистой силы, нависла продолговатая, напоминающая дракона туча.

Нианиа уверял: края той тучи заалели — значит, быть ветру.

Не проехали путники и сотни шагов, как за гребнем Кавкасиони блеснула молния.

А с запада уже неслись стаи облаков, кудрявых, как барашки.

Давид сказал, улыбаясь:

— Знай, Нианиа, я, как охотник, постиг всяческие чуды природы.

Уж скрылся из виду Брутсабдзели. Весь Кавкасиони подернулся синевой купороса. Поглубела Лихская гора. Туманы разорвали свой дымчатый подол об острые, точно зубья пилы, верхушки елей.

Косматые облака набегали с запада.

Путники уже ощутили влажное прикосновение первых дождевых капель, хотя солнце, окруженное молочно-белыми облаками, все еще сияло в небе.

— Солнышко умывается... — проговорила Гванца.

Давид усмехнулся, понимая, что на небе готовится нечто большее, нежели «умывание».

Непривычно было ему возвращаться с полпути, но на сей раз, щадя Гванцу, он заколебался и спросил девушку:

— Не вернуться ли нам? Быть может, лучше заночевать в Цагвлиставском дворце?

— Не любо мне, государь, поворачивать назад с полдороги. Поедем дальше, а если уж не доберемся до Чхерской крепости, остановимся на ночлег в замке Вахана.

В горах уже грохотали раскаты грома. И наконец раздался такой оглушительный треск, какой обычно предшествует началу ливня.

Гванца с молодым задором подхлестнула своего мерина. Лошади все еще неслись во весь опор, как вдруг дико взревели потоки. Кейданский жеребец и текинский мерин

состязались между собою в резвости, а оба вместе — «Ночью, стараясь во что бы то ни стало раньше нее доскакать до крепости Вахана.

Давид боялся, как бы лошадь на всем скаку не сбросила Гванцу, поэтому он умышленно отстал.

Тогда еще быстрее поскакал мерин. Давид не мог понять, подчиняется ли еще мерин воле Гванцы или обезумевшая лошадь понесла.

Опасность подстерегала путников на каждом шагу. Прелегавшая вдоль реки дорога местами завалена была камнями. Лошадь Гванцы то и дело спотыкалась о них. Ни бурные реки, ни шаткие мостки не страшили наездницу.

Дождь все усиливался, горы потемнели.

Внезапные вспышки молнии на миг выхватывали из мглы голубой силуэт Эльбруса, и вновь горы и дороги погружались во мрак.

Шергил и Джонди нагнали Давида. Прибыл-де гонец с донесением: река вздулась, и императрицу Мариам с епископами побоялись переправить на другой берег.

Давид приказал всем троим спасаларам немедленно воротиться назад, заночевать в Цагвлистави, а если завтра разведрится, то он будет ждать их в Чхерской крепости.

Лошадь Гванцы между тем неслась во весь опор.

Сквозь расщелины прибрежных утесов уже хлынули кипучие потоки, и дорога сама стала больше походить на реку.

В горных теснинах опасность удвоилась: «Как бы не оступилась лошадь Гванцы и не сорвалась в реку!»

Совершенно непостижимое смятение овладело Давидом, он вынужден был себе признаться: дорогое ему существо на краю гибели. Он поглядел вперед — будто сам черт вселился в этого мерина! Тут Давид, великий мастер верховой езды, с бешеной скоростью помчался вдогонку на своем жеребце.

Едва седоки поравнялись, Давид, перегнувшись, схватил мерина Гванцы под уздцы.

Совсем потемнели горы...

Потоки дождевой воды с ревом обрушивались на дорогу, сдвинувшиеся от землетрясений каменные глыбы грозно нависали над нею, точно ставшие на дыбы мастодонты.

И вдруг прояснилось, на западе показался ослепительный, словно расплавленное золото, небосклон.

Рокот потоков, однако, не смолкал. Где-то замяукали рыси.

Давид заметил, что буйный разгул стихии восхищает девушку.

Он то и дело спрашивал ее:

— Тебе не страшно?

— Мне — нет, а вот ты за меня боялся, и это меня удручало. Рядом с тобою мне и ад не страшен, государь.

— Ты не жалеешь, что мы не повернули назад?

— Напротив, никогда не чувствовала я себя столь счастливой.

— Даже в Сатаплии?

— Нигде.

Давид промолчал. Теперь-то он воочию убедился, что горячая кровь артануджских Багратидов бурлит в жилах этой девушки.

Гванца сказала:

— Я презираю тех женщин, которые считают, что жизнь украшают лишь жемчужные ожерелья да золотые перстни.

— Так что же, по-твоему, украшает жизнь, Гванца?

— По-моему, ничто так не украшает жизнь, как игра со смертью.

Давид усмехнулся: «Уж не читает ли в моей душе эта юница?».

А Гванца, немного помолчав, продолжала:

— В нашем роду сохранилось предание. Моя прабабка, говорят, была первой красавицей своего времени.

Когда сарацинский амир Джебраил взял Артануджскую крепость, моя прабабушка лишилась мужа и троих сыновей. Амир-победитель пришел к ней за ключами от крепости, а неутешная вдова распустила волосы и бросилась амиру в ноги. Когда же он наклонился, чтобы поднять ее, она крошечным кинжалом пронзила врага.

Давид улыбнулся рассказчице:

— Говорил же я, Гванца: любовь сильнее смерти.

— Должно быть... — пробормотала девушка.

Два монаха верхом на мулах повстречались путникам. Давид спросил у них дорогу к замку Вахана.

Проедете еще сотню шагов, там, в конце моста—часовня. Минуете ту часовню и увидите башню, передовое укрепление замка Вахана. Вас встретят дозорные и сами укажут вам дорогу.

После долгих колебаний Давид направился к крепости

Вахана. Он поведал Гванце: у эристава Вахана есть брат, отъявленный негодяй, один из зложелателей его, царя.

— В свое время я наложил на него опалу. Быть может, там мы с ним встретимся. Во всяком случае, не станем открывать хозяину, кто мы такие. Ты выдай себя за сестру азнаура Моркневели.

Вокруг часовни горели костры. Босоногие ребятишки пели, юродивые извивались в исступленной пляске, выкрикивали при этом какие-то бессмысленные стихи:

В ограде святого Георгия
Тополь вырос,
На верхушке вьется виноград,
Начал уж он попевать...

Женщины в белом, неся в руках маленькие колыбельки, разукрашенные красной тесьмой и цветами персика, с песнопениями ходили вокруг часовни.

Гванца тихо проговорила:

— В самом деле — ведь сегодня день святого Георгия. Не успели еще путники дойти до первой башни, как двое дозорных преградили им путь.

Давид спросил у них про эриставов: отца и сына.

Молодой Вахан с супругою своею выехал, мол, навстречу царю Давиду и императрице Мариам, а старый Вахан и брат его дома — гостей ожидают.

По двору замка, с факелами в руках, сновали слуги, на кострах палили туши. На ветвях буков вниз головой висели заколотые овцы.

Когда дворецкий доложил эриставу Вахану: азнаур Моркневели со своею сестрою, дескать, пожаловали, — тот недовольно поморщился. «Пожаловали», — передразнил он дворецкого.

У порога гостиней Гванцу ласково приветствовала прислужница, которая и увела ее на женскую половину. Давид же дворецкий проводил в палату с низкими сводами.

По углам палаты в медных шандалах чадили тусклые свечи, под божницею с множеством образов теплились лампы.

У камина сидел широкоплечий старик с крупной головой на короткой шее и всклокоченной бородой, из раздутых ноздрей и оттопыренных мясистых ушей торчали пучки черных волос.

За стоящим перед ним тисовым столиком сидел еще чернобородый монах. Выпученные, точно у буйвола, глаза

его были затянуты бельмами. У ног его примостился плешивый дьякон с тонкой цыплячьей шеей.

При появлении незнакомца дьякон вскочил. Длиннородый эристав, опираясь могучими руками на подлокотники кресла, тяжело приподнялся, монах же свирепо повел бесесыми глазами и встать даже не подумал.

На нем была черная, как ежевика, ряса, тяжелый золотой крест блестел на груди...

Когда Давид приблизился к камину, старец, подтянув к себе костыль, вновь приподнялся и промолвил:

— Ноги у меня отнялись, сынок, а брат мой — епископ, и ему подобает вставать лишь пред царями да первосвященниками.

Затем, обращаясь к человеку в рясе, старец сказал:

— Христодуле, придвинься ко мне поближе, уступи место гостю — он, верно, продрог.

Христодуле подтащил свое кресло к креслу старца. Притулившись рядом с камином, Давид почувствовал, что и правда продрог. Он ожидал, что ему по обычаю прежде всего омоют руки и ноги. С женской половины, куда прислужница увела Гванцу, доносился топот ног да звон посуды.

— Христодуле, — опять заговорил старый эристав, — налей-ка ты гостю вина да угости бараниной.

Тот, кого звали Христодуле, долго шарил рукой по столу, потом плеснул в чашу вина и пренебрежительно, словно милостыню, швырнул гостю баранью ногу.

Давид заметил, что монах плохо видит.

А тот снова пошарил рукой по столу, взял кувшин за горлышко и велел дьякону принести вина.

Когда его приказание было выполнено, Христодуле налил вина в свою чашу и, пригубив, поморщился.

— Зачем притащил ты эту кислятину? — зарычал он на дьякона. Потом, замахнувшись своей могучей рукою на стоящего рядом с ним тщедушного человечка, отпустил ему такую затрепину, что бедняга завертелся веретеном, успев лишь вымолвить: темно, мол, было в погребе.

Когда дьякон еще раз сбежал за вином, снова пригубил чашу Христодуле и молча налил гостю.

От долгой верховой езды путник, правда, изрядно проголодался, но после нерадушного приема и избиения злополучного дьякона ему расхотелось есть.

Давид уже готов был послать на женскую половину за

Гванцей, потребовать у дворецкого лошадей и, не мешкая, покинуть жилище этого неприятливого эристава; но в конце концов он все же решил терпеть, поднял чашу, пожелал хозяевам долгих лет жизни и неохотно принял за баранью ногу.

Теперь Давида лишь одно тревожило: «Как знать, быть может, с Гванцей, озябшей и промокнувшей до нитки, еще хуже обходятся эриставовы прислужницы».

Давид с самого же начала заметил: щеки горели и у эристава, и у монаха, а они все пили.

Эристав Вахан, оборачиваясь к гостю, спросил:

— Как же это вы с сестрой разъехались со свитой царя и императрицы?

— Мы вдвоем успели переправиться через реки рано утром, еще до грозы. А остальные, должно быть, заночевали в Цагвлиставском дворце.

Эристав Вахан всполошился:

— Так, стало быть, напрасно мы ожидаем их нынче ночью? — произнося эти слова, он покосился на Христуле, когда же тот ничего ему не ответил, старый эристав продолжал:

— Вот видишь, Христуле, в третий раз уж подводит меня мой сын: едва прослышит, что царь Давид держит путь за Лихский перевал, как тотчас велит закалывать скот. а сам спешит навстречу. Но царь Давид всякий раз заезжает в Чхерскую крепость, и на нашу долю выпадают лишь тщетные ожидания.

Некоторое время эристав пристально глядел на огонь, а затем пробурчал:

— Говорил же я сыну: не смогут они переправиться через реки и проведут ночь в Цагвлистави. Ума не приложу, чем приворожил к себе этих молокососов царь Давид? Как услышит мой Вахан его имя, тут его и веревками не удержишь! После ливня реки, видно, разбушевались. Кто знает, что стало с путниками...

Христуле вновь молча выслушал его, наполнил вином свою чашу, не обделил и гостя, но перелил через край.

Когда эристав Вахан захмелел еще пуще, он злобно прошипел:

— Ни царь Баграт, ни царь Георгий никогда не проезжали мимо, не переночевав в моем замке.

Сто восемь лет мне уж стукнуло, и никто не запретит мне говорить правду. Ни один петух столь страстно не при-

зывает рассвет, как я зову смерть. Да и на что мне такая жизнь, когда четверо слуг еле волокут меня к этому камину.

Христодуле пробурчал:

— Разве говорить правду одним старикам позволено? И отрокам того не должно запрещать. Однако же царь Давид и старому, и малому — всем рты заткнул, много у него соглядатаев по всему царству. Сам-то встречает всех уветливо, а плети да оковы Кариману Сетиели препоручил.

Эриставу Вахану вино уже бросилось в голову. Он осыпал неумеренной хвалою всехристианнейшего государя Баграта Куропалата. И в Джавахети, и в Кларджети он ходил с ним походами.

— Когда Альф-Арслан вторгся в Ках-Эрети, царь кахов Ахсартан принял обрезание и сдал султану крепости кахетинские. Султан силою перетянул на свою сторону Ахсартана, армянского царя Гагика, по доброй воле явился к султану с войском тбилисский амир. Царь Баграт под Церовани дал сражение султану. Я вел в бой левое крыло войска. Кровавые тучи нависли над Картли. Это было в декабре, в страшную метель бились мы с сельджуками до тех пор, покуда султан не воротился назад в Хорасан.

После того как Вахан выпил за упокой души царя Баграта, он пожелал долголетия царю Георгию и восславил его как «щедрейшего из царей и хлебосольнейшего из людей». И поведал он:

— С ним тоже я рука об руку несчетное число раз дрался: в Таоскари и Карнифоре, в Парцхиси и Самшвилде, да мало ли еще где... Убьют, бывало, под ним лошадь — я тотчас подведу ему свою. Стократ подставлял я свою грудь под удар меча, над ним занесенного.

В последний вечер Парцхисской битвы сокрушительный удар нанесли хорасанцы в самое сердце грузинской рати, отрезав царя и его свиту от войска Внутренней Картли. Аргветские копыеносцы ударили по сельджукам.

Из свиты царя Георгия уцелело всего три человека. Государь и Чкондидели рубились неистово. И вдруг хорасанец, верхом на огромном неоскопленном жеребце, провалился сквозь строй аргветцев и устремился к царю.

Тут я спрыгнул с коня, на коленях подполз под брюхо ставшей на дыбы лошади, пронзил амирова жеребца, а когда верзила в зеленой чалме скатился на землю, я вскочил на него верхом и кинжалом проткнул ему глотку — точь-в-

точь как картлийский крестьянин закалывает рождественскую свинью.

В ту пору царя Давида еще на свете не было. И если бы не я, так и не видать бы ему света белого.

Эристав некоторое время задумчиво глядел на огонь, а затем сказал:

— Таитья мне нечего. Не сегодня-завтра отправлюсь к праотцам моим, на небеса. Сиди за этим столом хоть сам царь Давид, я бы и ему сказал всю правду в глаза.

Обе ноги потерял я в сражениях за царей и отечество. Да это ли только? У почившего в бозе отца моего было тринадцать сыновей.

Пятеро из них пали на поле брани. Шестерых, тяжело раненных, мы привезли домой. За два года шестерых мужчин ногами вперед вынесли из этой крепости.

Единственный брат у меня остался, вот он — Христодуле. Царь Давид пренебрег заслугами семьи нашей. Опалу наложил на Христодуле, отнял у него епархию. Бедняга слег в постель, и наконец с горя бельмами заволочло ему очи.

Наложниц, дескать, имел епископ! Да кто их не имел? Не одну и не двух имели блаженной памяти царь Баграг и отец его Георгий, а византийские кесари сколько?..

Баба на то и создана богом, дабы мужчина тешился ею. Ну, скажите, к чему еще пригодна баба?

Теперь Христодуле отточил оружие обличения. Уставившись на ошеломленного гостя своими белесыми глазами, он спросил:

— Читал ли ты евангелие от Иоанна?

— Раз как-то, бегло, — потупив взор, отвечал ему собеседник.

— Коли не читал ты его более одного раза, то когда воротись домой, в главе восьмой отыщи стих третий, там говорится:

«Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: Учитель! Эта женщина взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: Кто из вас без греха, первый брось в нее камень».

На Руис-Урбнисском церковном соборе многих свя-

щеннослужителей сверг Давид в опалу: одних сана лишил, у других вотчину отнял. Якобы за прелюбодеяние и содержание наложниц.

А спрашивается, имел ли царь Давид на то право — бросать камень во всехристианнейших отцов церкви нашей?

Духовных лиц княжеского рода из храмов и монастырей изгнал, а каких-то ублюдков да людишек худородных возвышать стал!

А сам он разве к единому греху прелюбодеяния причастен?

Кровью царя-христианина и высшей знати руки его обагрены!

Ахсартана, царя кахов, он погубил. Его спасалары убили на войне сына Липаритова — Рати, замучили в темнице владетеля Зедазенской крепости эристава Дзагана. Царь Давид обрек на изгнание эристава клдекарского Липарита, а супруге его оставил какой-то один, да и то полуразрушенный, монастырь. Дочь их единородную в наложницы себе взял, а как прискучила она ему, приказал Кариману Сетиели утопить бедняжку в Лиахве.

Ныне же, как нас известили, царь Давид, пытаясь отвести глаза православным христианам, послал своих людей в Сирию и Палестину, будто бы на поиски той злосчастной женщины.

Все замки и сокровища Липарита царь к рукам прибрал. Вотчину Рати в Аргветском эриставстве Гелатской академии пожертвовал недавно.

И всего содеянного показалось ему еще мало: дочь такверского эристава своей любовницей сделал. Эристав Шаман слеп и того не замечает, но православные с болью в сердце видят все воочию.

Главное, ведь дочь эристава Шамана происходит из рода артануджских Багратидов и состоит с Давидом в кровном родстве! А теперь сам посуди, подобает ли все это царю-христианину?

Христуле отпил вина и спросил гостя:

— Не ведаешь ли, с какой целью направляется на сей раз царь за Лихский перевал?

— Воздвигать храм в Гелати, как я полагаю.

— Воздвигни он даже не один храм, а хоть все сорок сороков, все равно не миновать ему кары господней.

Раскаленной лавой извергался в лицо Давиду поток

грязной клеветы, и все же он неизменно хранил молчание. А Христодуле продолжал:

— Третьего дня странствующие монахи принесли нам вести из Начармагеви. Теперь в Половецкую землю посылает, оказывается, царь своих людей, дабы на престол всехристианнейших государей наших, Багратидов, посадить отродье нечестивых половцев.

Пьяный монах воздел к небу правую руку, заросшую густой черной щетиною, и сказал:

— Хватит и меня одного, чтобы проклинать и изобличать его перед лицом Божиим. Не уйти царю Давиду от геены огненной и адского пламени неугасимого!

Все чаще перекликались пегухи в замке. Было уже далеко за полночь, когда домоправитель постелил в гостиной пуховые перины: но гостю на них не спалось.

В соседнем покое плешивый дьякон взывал к небесам:

— Господи! Как умножились враги мои! Многие встают на меня.

Многие говорят душе моей: нет ему спасения в божестве.

Но ты, господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою.

Гласом моим взываю ко господу, и он слышит меня со святой горы своей.

Ложусь я, сплю и встаю, ибо господь защищает меня.

Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня.

Восстань, господи! Спаси меня, боже мой! Ибо ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых.

От господа спасение. Над народом твоим благословение твое.

НАЗИДАНИЯ ИНОКА КИРИОНА

Давида разбудило лошадиное ржание. Он выглянул из окна: жеребца Алерсай и мерина цвета меда водили по двору конюхи. Гванца вышла на задний балкончик замка. Давид приветствовал ее:

— Как почивала, прекраснейшая?

— Хорошо, слава богу, государь.

Дворецкий почтительно приблизился к гостям и стал оправдываться:

— Не знаем, что и делать, господин, — эристав Вахан и епископ Христуле спят непробудным сном, никак не могли мы их растолкать.

Давид, обрадовавшись, ответил старику:

— Молю тебя, почтенный, ни в коем случае не тревожь хозяев. Впереди у нас долгая дорога, и мы должны отправляться в путь немедленно.

— Что вы, господин! Жаркое из печенки готово, прошу отведать. А лошадям уже задали ячменя.

* * *

Солнце еще не всходило на небо, по цвету схожее с чешуей лосося, когда всадники покинули крепость Вахана.

Давид нагнал опередившую было его Гванцу и сказал:

— Какую оплошность я совершил, Гванца, приняв хлеб-соль от этого полоумного эристава. Здесь, в ущелье, в какой-то сотне шагов отсюда есть мельница, лучше бы мы там переночевали. Изрядно выругал меня опальный епископ.

— Что за вздор молот тот монах?

— Не стоит и повторять наветы суеслова. Ну, да это не беда. Почаще бы цари разезжали по своим владениям под чужой личиной — тогда бы легко отличали они зерно от плевел, друзей от врагов.

Брат эристава Вахана Христуле на прошлой неделе подсылал ко мне своих людей: пусть, дескать, государь снимет с него наказание и пожалует ему какую-нибудь епархию в Аргветском эриставстве.

Выходит, словно бы он и слухом не слышал, что именно на Руис-Урбнисском церковном соборе положили мы сурово осудить пьянствующих и любострастных епископов.

Я не замедлил передать просителю: пусть обратится к Георгию Чкондидели. Ибо отлично знал, что не посмеет он просить о чем-либо подобном владыку Георгия.

Лошади без брода перешли через грозно ревущую реку. Давид боялся за Гванцу, но она крепко держалась в седле, ухватившись обеими руками за голову своего мерина.

Солнце поднялось уже на древко копья, когда путники подъехали к бешеному потоку.

Мерин заупрямился и пошел вкось. Тогда Давид пересадил Гванцу на своего жеребца, а сам вскочил на мерина и, благополучно переправился вместе со своей спутницей на другой берег.

Когда опасность миновала, Давид сказал:

— В годы моей юности мы, бывало, расставляли на этой реке верши. Махара, Нианиа и я форель тут ловили...

Часто бывает так: стоит вам вспомнить друга — а он уж тут как тут. Вот и на сей раз, едва было упомянуто имя Ниании, как вдруг раздался стук копыт. Нианиа Бакуриани и эристав Джонди скакали во весь опор по направлению к нашим путешественникам.

Давид удивился их появлению.

— А что же нам было делать? — как бы оправдываясь, проговорил Нианиа. — Императрица Мариам очень о вас тревожилась. Велела она мне и Джонди ехать вдогонку. Не дай бог, мол, попадут в беду. Нашли мы никудышный брод, переплыли через реку, заехали в крепость Вахана и вот наконец-то догнали вас. Эристав Вахан всполошился: «Как?! Тот, в кольчатом шлеме, царь Давид был?» Мы подтвердили, что это был сам царь. «Горе мне, старику, язык мой — враг мой!» — сокрушался эристав, хлопая себя ладонью по лбу.

— Ого, вот страху-то нагнали! А тот злоязычный епископ Христодуле тоже все слышал?

— Христодуле весь пожелтел с перепугу. Не удовольствуется, говорит, теперь наш царь одной опалой.

— Эх, ты-то отлично знаешь, Нианиа, — лежачего я никогда не бью.

Еще один горный поток пересекли все вчетвером. Отсюда начинались виноградники, которые перемежались с пышно разубранными цветущими персиковыми садами.

В садах пылали костры. Пожилые мужчины заняты были подрезкой виноградной лозы, женщины и дети уносили срезанные побеги.

На дорогах стоял веселый шум и гомон. Давид догадался: это, верно, ряженые пришли в селение.

Двое из них пали ниц перед едущим впереди других Давидом. Гванца еще никогда в жизни не видывала столько скоморохов разом.

По проселку ползли на четвереньках какие-то диковинные твари с медвежьими, песьими, козлиными, бараными, ослиными головами. Верзила со свиной мордой возглавлял

шествие. Замыкал его старик на хромом муле. На спине у мула висела переметная сума, до отказа набитая курами, индейками, поросятами; в руках старик держал унизанные кусочками мяса вертела.

«Дьявольские песни» горланили ряженные.

Нианиа объяснил Гванце: это молодежь празднует наступление весны, скрывая лица свои под войлочными личинами.

Вот так и скитаются ряженные по городам и селам, оглашая округу бесстыжими песнями. А снедь, навьюченную на мула, им, должно быть, подали поселяне.

Подобные игрища дьявольские, по повелению царя Давида, были запрещены на Руис-Урбнисском церковном соборе, — добавил в заключение Нианиа.

Давид усмехнулся:

— Эх, что с ними поделаешь! Обычаи ведь складывались веками, и нелегко отворотить народ от них.

— Клянусь святым Георгием, что этот, впереди, — царь Давид! — крикнул ряженный с медвежьей головой.

— Что ты городишь, толстяк? Да где это видано, чтоб царь Давид показывался на людях в таком убогом, ржавом шлеме?

Еще не выехали путники из ущелья, как издали донесся ласкающий слух шум мельницы. На горах показались разрушенные замки и развалины храмов, пониже, в долине, расположились в ряд дощатые кельи.

Почтенной наружности монах, лысый, с длинной бородой, кормил ланей в загоне.

При виде всадников он затворил за собою калитку и вышел навстречу приезжим.

— Коль глаза мне не изменяют, сдастся мне, будто вы царевы посланцы. А?

Нианиа молча кивнул головой.

— Что посланцы — это как сказать. А вот что мы поданные царевы — то правда, — отозвался Давид.

Монах взял под уздцы лошадь Гванцы.

Когда все спешили и расселись на пнях, Давид спросил инокка:

— Ужель живешь ты здесь совсем один, честной отче, средь безлюдных сих развалин?

— Да, мой господин. Прежде неподалеку стоял отчий замок, ныне же одни жалкие обломки от него остались... Вон там, на скале, высится башня; одна она и уцелела от

землетрясения. Я покрыл ее тесом, и когда зима выпадает зело лютая, укрываюсь от стужи в той башне. А кельи эти предназначены для путников и странствующих монахов.

Гванца ласково поглядывала на ланей, резвившихся у дверей мельницы. Наконец, нарушив молчание, она спросила хозяина:

— Чьи эти лани, отче?

— Божьи, дочь моя. В зимние холода их родители находят приют на мельнице, по весне же оставляют мне молодняк, а сами возвращаются в горы.

У меня, кроме молитвы да забот о животных, нет дел иных, дети мои.

Видите, как встрепенулись они при вашем появлении. Я лелею их, что детей родных, каждой имя дал. Один детеныш вот захворал третьего дня; стонет, горемычный, словно ребеночек малый.

Гванца спросила:

— Чем вы их зимой кормите, отче?

— К осени припасая сена, да и на мельнице остается много отрубей, дочь моя.

— А мельница чья? — поинтересовался Давид.

Монах простер свою длинную руку к югу и ответил вопрошающему:

— Вон за той горой — девичий монастырь святой Февронии. Эта мельница принадлежит монастырю. Игуменья Дарья, женщина весьма милосердная, жалеет приретенных мною тварей божьих и даже уделяет мне для них отрубей малую толику.

— Открой нам имя твое, отче, — ласково попросил инок Давид.

— Кирионом зовусь я, господин, а в миру был Каха.

— В тех горах, верно, отменные охотничьи угодья? — осведомился эристав Джонди.

— Ланей, туров да куропаток там больше, чем жаворонков в поле, как говорят охотники. Столько дичи нигде по всей Грузии не сыщешь.

Как выедете из ущелья, так сразу и откроется долина Мзианети, — добавил монах.

— Долина Мзианети?! — удивленно воскликнул Давид, обращаясь к Ниании. — Мы с тобой столько раз тут охотились, а такого названия еще не слыхивали.

В тонэ посреди двора ярко пылал огонь. Вкусный запах свежеспеченного хлеба раздражил аппетит гостей.

Инок разложил на подносе продолговатые хлебцы-шоти, okayмил их форелью.

Смушен был старец:

— Не достойна скудная сия трапеза слуг царевых.

— Что вы, что вы, святой отец! — в один голос вскричали гости.

Давид и сам охотно ел форель, и Гванцу угощал.

Монах, уговаривая Гванцу отведать рыбы, перевел взгляд на Давида:

— Сколь юница эта на тебя похожа, господин! Сразу видно, что сестра единокровная.

Нианиа, опережая царя, ответил иноку:

— Да, отче, ты не ошибся — они брат и сестра.

Гванца вспыхнула, опустила глаза, делая вид, будто очень занята форелью.

Давид обратил взор на инокa и спросил:

— Поведай мне, отче, как это случилось, что ты постригся в монахи? Из какого рода ты производишь?

— В миру был я сыном владетельного азнаура Сумбата Миндорели, — начал свой рассказ старец. — Покойному отцу моему вздумалось во что бы то ни стало женить меня, в ту пору еще безусого отрока. Мать мою рано призывал к себе господь. Нелегко в доме без хозяйки. Сначала моего старшего брата уговаривал отец жениться, но тот упорно отказывался: в монахи, мол, хочу идти. Собирался он затвориться в Иерусалимский грузинский монастырь Креста.

Наконец внял брат нашим неотступным мольбам и издалека привез себе невесту, прекраснoliкую дочь одного родовитого азнаура.

Три дня продолжалась свадьба. А пока гости да хозяева занимались винопитием, эта чертовка, сговорившись со своим братом и конюхом, средь бела дня по веревочной лестнице бежала из крепости.

Смутило Гванцу услышанное. И Давид, и Нианиа заметили, как зарделись ее щеки.

— После того еще настойчивее стал молить нас брат, — продолжал рассказывать инок, — отпустите, мол, в Иерусалим.

Отец мой весьма был удручен происшедшим — ведь потомки Миндорели уцелели лишь в нашем замке. Тогда-то и настал мой черед. У меня, как я уже говорил, тоже не лежала душа к браку, но в конце концов отец принудил

меня обзавестись семьей. В тот же год женили меня на дочери высокородного азнаура (даже имя ее мне ненавистно!).

А как на лире играла эта бесовка! Ангелов и тех сманила бы с небес.

Не прошел еще и медовый месяц, как я застал окаянную на мельнице с моим же собственным братом. Обоих хотел я тогда убить, но брат на коленях умолял меня: «Эту женщину пощади, а меня убей!» Я обезоружил брата, снял с него кольцо и выгнал из замка.

И поныне не ведаю, какая судьба его постигла. Одни говорили, будто видели его в Иерусалимском монастыре Креста, другие же — будто сражался он вместе с царем Давидом в Эрцухской битве и там убит сельджуками.

— А как имя брата твоего, отче? — спросил Джонди.

— Ношреван.

Давид был поражен, а Нианиа тронул его за локоть и не проронил ни слова, хотя отлично знал, какую великую доблесть явил при Эрцухи Ношреван Миндорели, беспощадно истребляя сельджуков. Но под конец семеро врагов заманили его в сторону от поля битвы и изрубили на мелкие куски.

— На другой же день после того постыдного события родитель наш с горя пронзил себе сердце кинжалом, — продолжал иннокентий печальную повесть своей жизни. — А проклятой распутнице я велел складывать свои побрякушки и убираться прочь. Пусть твоя сестрица носит золотые сережки на счастье — не все ведь женщины хулы достойны! Но моя бывшая жена воистину подобна зверю лютэму.

О сатанинское искушение! По вине женщины изгнан из рая Адам.

Уж на что мудр был Соломон, но и тот не устоял перед соблазном.

Из-за женщины бросили в темницу Иосифа Прекрасного.

Тебе, верно, хорошо известно, сын мой: аспиды тихим словом укрощаются, тигры от ласки смиряются, а также львы и крокодилы. Жена же злая, сколько ее ни ублажай, все равно взбеленится.

Вспомните хотя бы, как Иродиада обошлась с Иродом.

Скажите на милость, какой зверь замыслит подобное, и какая змея восхочет погубить супруга своего?

И какая тигрица своего самца на заклятие отдаст?

Должно быть, прогневили господа бога тяжкие прегреше-

ния людские. И случилось в феврале сильное землетрясение, за одну неделю разрушившее наш родовой замок и дворовую церковь. В те дни погибла вся моя родня: тетки со стороны матери и отца, их дети...

Монах некоторое время молча жевал хлеб, затем поднял голову, обвел взглядом своих сотрапезников и промолвил:

— Дети мои, слышал я, что царь Давид непобедим в боях с врагами. Так передайте же ему слова неученого схимника: если когда-нибудь и будет он побежден, то только женщиной.

Сорок лет уж не покидаю я этих развалин, но ведомо мне все, что творится в царском дворце. От монахов, разъезжающих из Гегути в Начармагеви, слышал я, будто после исчезновения божественно прекрасной Дедисимеди Давид замыслил возвести на престол дочь хана половецкого.

Не без умысла поведал я тебе о мзей грешной жене: уж коли христианка, да к тому же дочь грузинского азнаура, оказалась столь коварна, то одному лишь богу известно, какова та нечестивая половчанка.

Да не будет на то воли господней! Выкормок нехристей-половцев — на богоугодном престоле Багратидов?!

Недавно был тут проездом из Начармагеви один архидьякон, и под большою тайной поведал он мне:

Императрица Мариам и царица Елена прочат в жены Давиду совсем другую — ясноликую дочь эристава Шамана — Гванцу. Да и самому царю Давиду, говорят, это угодно. Одному Георгию Чкондидели совестно нарушить данное обещание.

Гванца недовольно поморщилась.

— Так передайте непобедимому нашему царю, что женьитьбой на дочери эристава он все царство обрадует. Зело благонравна, говорят, та девица. Не диво — ведь сама царица Елена ее выпестовала. Так может ли быть иной питомица высокодобродетельной царицы и дочь доблестнейшего из эриставов?

Нианиа вновь завел речь о ланях и охоте на них, так что хозяину поневоле пришлось оставить в покое царский двор и рассказать гостям о ланях и уходе за ними.

Гости собрались уезжать. Давид, глядя на небо, покрытое рдяными облаками, произнес:

— Это к непогоде! Да, впрочем, куда нам спешить? Мне так по сердцу и воркотня старого монаха, и прелестные лани, и это дикое ущелье...

Гоча Квабулисдзе давно уж мечтает принять у себя импе-

ратрицу Мариам и, наверно, долгожданных гостей скоро не отпустит.

Что же до византийцев, то пусть себе дожидаются нас, сколько душе угодно. Нотар и его свита, как видно, приехали сюда для пиров.

Хозяин проводил гостей в их кельи.

Келья Давида оказалась довольно просторна. По стенам висели иконы. На полу были постелены медвежьи шкуры, а на ложе, предназначенном для гостя, — шкуры ланей.

Монах принял из рук Давида мелкокольчатый панцирь, снял с него набедренники и мягкие сапоги. Затем, опустившись на корточки перед ложем, молвил:

— В этой келье, бывало, коротали ночи царь Георгий и Георгий Чкондидели, католикосы и епископы. Почивший в бозе Баграт Куропалат, вначале побежденный Липаритом, скрывался в крепости моего отца. Эти башни он укрепил, опасаясь, как бы Липарит и Аргветское эриставство не захватил.

Хозяин принес кадушку с водой и обмыл гостю ноги.

— Жаль, нет здесь сейчас ни одной монахини, а то бы они и твоей сестрице ноги вымыли. Что за красавица сестра твоя, сынок! Постарайся выдать ее за человека достойного.

Потом, крепко сжав руку гостя своими иссохшими костлявыми пальцами, он почти шепотом проговорил:

— Заклинаю тебя, господин мой, не называй царю Давиду имени моего и не передавай ему того, что я тут наболтал сгоряча о его намерении породниться с погаными половцами. Слыхивал я: не любит царь, когда посторонние суются в его дела.

Давид улыбнулся и пообещал:

— Ничего ему не скажу, честной отче! Будь покоен.

— Да пошлет тебе мир господь! — сказал хозяин, затворяя за собою дверь.

Давид погасил тускло мерцавшие в стенных нишах свечи, оставил себе лишь один шандал у изголовья. Раскрыл псалтырь, но при слабом свете свечей не смог прочесть мелко написанный текст.

Тогда он на память произнес:

«Услышь, господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, царь мой и бог мой...»

Из ущелья доносились шум реки и вой шакалов. Давид беспокойно ворочался на своем ложе. Бывало, приходилось ему проводить ночи и на более жестком ложе — во время охо-

ты или на войне, лежал и на драных мельничьих тулупах. Но всегда спал крепким сном...

Вновь пришли на память стихи псалма:

«Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду.
Да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде».

Он перевернулся на спину. Пред глазами у него витал прекрасный образ Гванцы. Как вспыхнули ее ланиты, когда инок упомянул ее имя!..

Давид изумился, в каких подробностях известны дворцовые пересуды даже живущему в этой глуши отшельнику. По его речам можно судить, что и среди низшего духовенства усиливается ропот недовольства.

И большой, и малый — все требуют от царя послать Атрахе Шарагановичу отказ от брака с его дочерью и жениться на дочери эристава Шамана.

Снова мысли Давида вернулись к Гванце. Вспомнилась поездка в Сатаплию вместе с Дедисимеди...

Вспомнились вечера, проведенные с Гванцей у камина в Гегути...

Давид вздохнул и перевернулся набок. Вновь поднималось в нем волнение, которое он испытывал в те минуты, когда Гванца на своем горячем скакуне мчалась по загроможденным валунами тропам.

Удивительно, сколь сильно взволновался обычно твердый сердцем царь Давид!

Он встал, оделся, вышел в коридор. В кельях Ниании и Джонди было темно. И лишь в покое Гванцы теплился огонек.

В головах уснувшей висел недосыгаемо прекрасный образ божьей матери. Высоким своим челом, волосами цвета спелой пшеницы и очертанием уст она разительно напоминала Гванцу.

Давид приблизился к спящей девушке. Заменявшие одеяло кожаные покровы откинулись, ворот рубашки распахнулся.

Влюбленный царь опустился на колени, поцеловал спящую в губы, покрыл лобзаниями нежные соски цвета земляники.

Гванца застонала во сне и отвернулась к стене. Давид заботливо укрыл ее шкурками ланей, задул свечи в углублении стены и на цыпочках вышел из кельи.

В темных переходах бродил кто-то. Не прошел Давид и

десятка шагов, как вдруг наткнулся на монаха — тот был в одной рубахе.

— Не желаешь ли водицы испить, господин? Мигом принесу тебе студеной ключевой. Нет у меня, на беду, вина, а то не худо бы тебе сейчас немного выпить — сразу бы сон нагнало.

— Буду благодарен тебе, отче, если угостишь холодной водой.

Инок торопливо спустился по скрипучей лестнице. Давид жадно выпил воды прямо из медного кувшина и, поблагодарив старца, прошел к себе в келью.

— Может, еще тебе дать ланьих шкурок? — тревожился монах.

— Не утруждай себя, честной отче.

Единственным его желанием было поскорей выпроводить хозяина. Давид прилег, монах присел на корточки у его изголовья.

— Молю тебя, господин: коль поведаешь царю Давиду о нашей беседе, добавь при сем: «Отнюдь не зложелатель твой тот схимник несчастный. Все Миндорели, из рода в род, были верными «слугами государевыми». Скажи ему: в битвах за отчизну и царей наших истаял род Миндорели.

— Будь покоен, отче! Обо всем доложу царю Давиду — и о том, что ты за ужином говорил, и что ныне молвишь. Да ты не бойся, отче, — не так страшен черт, как его малюют...

Схимник осенил Давида крестом и закрыл за собою скрипучую дверь.

Слухи о ропоте духовенства из-за нареченной царя половчанки не раз доходили до Давида через придворных вельмож и отцов церкви. Однако назидания этого несчастного монаха на сей раз глубоко запали ему в душу.

Вспыхнул в сердце Давида пламень с удвоенной силой.

Правду говорил старец: где уж дочери какого-то Атрахи Шарагановича, питомице нечестивых половец, тягаться с прекрасной Гванцей, продолжательницей рода достойнейшего из эриставов.

Богоматерь, лилею прекрасную,
Воспевает ангел крылатый...

Эти стихи всплыли в полусне. Раскаивался царь, что согласился на выезд посольства в Землю Половецкую.

Оставалась одна надежда на затяжную болезнь Гуарама, владельца Бечисхихе, который должен был возглавить посольство.

«Лишь бы Чкондидели не снарядил доверенных людей еще до моего возвращения из Гегути».

Царь перевернулся на другой бок. Нет, надо положить конец колебаниям. Сразу же по приезде в Гегути Давид объявит свое окончательное решение.

В письмах Джоджики и Арамаиса Аршаруни из Исфагана сообщались хорошие вести. Великая смута объяла сельджукский султанат после смерти Бархиарока. Сына его Малик-шаха прибрал господь.

Царь Давид собственными силами одолеет врагов. И, наконец, надобно же считаться и с христианским миром. За жеманство на царевне-басурманке осудят его, царя-христианина, величаемого во всех концах земли воителем против Гога и Магога.

Розыски Дедисимеди не сулили никаких надежд. А девушки, более прекрасной и чистой, чем Гванца, не найти Давиду во всем его царстве.

Как только придет Давид в Гегути, тотчас же даст знать Георгию Чкондидели, чтобы он отменил посольство к Атрахе Шарагановичу.

А уж как возрадуются царица Елена и императрица Мариам, когда Давид объявит им о своем намерении обвенчаться с Гванцей!

* * *

Гости чуть свет сели за накрытый иноком стол. Истосковавшись по людям, Кирион без конца рассказывал своим гостям о ланях, шакалах, о заунывном вое волков в зимнюю пору.

— Эту форель ты сам поймал, отче? — спросил хозяина эристав Джонди.

— Что ты, сын мой! Не пристало монаху ловить тварей божьих. У жителей ближнего селения верши расставлены по реке и затоны устроены. Как наловят рыбы, всегда немного и мне уделят.

Давид поднялся с места, поблагодарил инока за гостеприимство.

...Когда всадники, во весь дух скакавшие по направлению к Гегути, поравнялись с Аджаметским лесом, фазаны уже успели пропеть рассвет. Почуввав близость людей, они, шумно хлопая крыльями, вылетали из кустарника и с горделивым клекотом уносились к лесу.

Единственного фазана подстрелила Гванца.

«ПРЕИСПОДНЯЯ, ОТВЕРЗНИ УСТА ТВОИ...»

«Понстине, непостоянное и изменчивое создание Человек, в самом деле, сплошь соткан он из противоречий».

Благовестом встречали в Гегути царя Давида и его спутников. Звонарь в черной чохе стоял на колокольне. Мерно и гулко перекликались колокола. Полы чохи развевались от ветра.

Давид проговорил:

— Колокольный звон полюбил я с малых лет. Втайне мечтал даже стать звонарем. Грешным делом, и ныне подчас завидую я доле звонаря, табунщика или мельника.

Эристав Джонди заметил:

— Зато совсем иной удел тебе назначен.

— Эх, мой Джонди, не столь уж он завиден! Храбрые и любящие свою отчизну цари редко умирают в собственной постели. Вахтанг Горгасал был пронзен стрелой какого-то вероломного грузина. Георгия Первого и деда моего Баграта кручина да непрестанные труды ратные свели в могилу.

Вот, наконец, показался и Гегутский дворец, весь утопающий в пенном море цветущих персиков и алычи. У Махара уже были заготовлены силки и западни для ловли птиц. Сидя на шестах и луках, дремали ястреба-перепелятники. Сокольники тазами носили для них воду.

— Кто еще приехал, кроме стратига Нотара, Махо? — спросил у своего дяди Давид.

— Днесь пожаловал бывший друнгарий Босфорского флота, крестный Константина Порфирородного — Ласкарис. А Епифаний Непьющий и епископ Евхаитский привезли нам великое множество икон и крестов.

— Византийских? — спросил царь.

— Нет, исключительно грузинских. Как тебе ведомо, во времена Никифора Ботаниата и Михаила Дука немало церковной утвари отвез нашей Маико в Константинополь блаженной памяти родитель мой Баграт. Вот их-то и потребовала прислать Маико. Должно быть, в Гелати все пожертвует.

В ожидании обеда гости развлекались игрой в нарды. При появлении Давида Нотар вскочил, подошел к нему четким шагом и поцеловал в левую грудь.

Во время трапезы он подсел к царю и почтительно поздравил его с победой при Эрцухи.

— Вот бы господь ниспослал крестоносцам такого полководца, как ты! Тогда бы они, грешные, так не оплошали.

Давид расспросил стратига, как идут дела у воинства Хростова.

— Тебе, разумеется, известно, государь, что султан Мохаммед примирился с тем, богом проклятым, амиром Наджм Эддином иль-Гази. Теперь они общими силами выступают против франков. Впрочем, и франки в долгу не остаются. К сожалению, кесарь наш Алексей Комнен пока еще в стороне держится. Папа римский снова призвал христианский мир работорговать против нехристей. По всей Европе набирают добровольцев.

— Если все христиане приложат руки к общему делу, то мусульманам нас не одолеть, — промолвил Давид.

— Твоя правда, государь. Я только и делаю, что внушаю эту же мысль императору Алексею. Но увы, франки этого не понимают. Не окажи мы им помощи в Никомедии, франков и германцев утопили бы в море сельджуки.

Вошел Нианиа Бакуриани.

— Лошади оседланы, можно выезжать.

Давид извинился перед императрицей Мариам и вышел. Эрстав Джонди и Нианиа Бакуриани последовали за государем.

После обеда гости продолжали игру в нарды. Друнгарию флота Ласкарису все время везло. Нотар тоже раза два пытал было счастья, но вскоре игра ему прискучила.

Тогда Нотар присоединился к императрице Мариам и другим дамам. Затем, выйдя в гостиную палату, он принес оттуда полированный ларец махагониевого дерева и отпер его на глазах у императрицы и ее приближенных.

Нотар высыпал из него всевозможные геммы и перстни: египетские, древнегреческие, арабские и индийские.

Сначала взял он в руки перстень с геммой цвета морской волны и, почтительно притронувшись к кисти императрицы Мариам, надел ей на указательный палец, поясняя:

— Эта гемма — работы древних индийцев, августа.

Мариам сняла кольцо, внимательно его осмотрела. В гишеровые кудри мужчины со стройной шеей были вкраплены мельчайшие яшмы и рубины, они горели и переливались.

— Эту гемму я приношу тебе в дар, прекраснейшая. Богатый армянский купец Ованес привез мне ее из Бомбея.

Мариам, оглядев гемму, поблагодарила Нотара и сказала:

— Не такая уж я любительница гемм. У меня в Константинополе не менее десятка очень старинных, из коллекции Ботаниата. Но, откровенно говоря, они внушают мне какой-то тайный страх.

Куропалатиса Мелита и Гванца потянулись к гемме. Восхищенные, стали ее разглядывать.

— Что ты, августа! Я лет десять возил их с собою, даже в походах с ними не расставался. Еще несколько гемм заперто в тайниках моего дворца. Геммы — это моя последняя страсть.

Другую гемму показал Нотар дамам.

— Эта гемма — египетская. Говорят, из сокровищницы супруги последнего фараона выкрали ее арабские разбойники и продали Роберту Гюискару, герцог же подарил ее на память своей любовнице, а та год назад перепродала мне.

Все новые геммы доставал из ларца Нотар.

— Вот эта гемма, с изображением двух быков, по всей вероятности — колхидская. Рассказывают, будто Язон, разграбив дворец царя Аэта и похитив дочь его Медею, захватил с собою и эту гемму.

А вот эта — тоже работы колхов. Михаил Пселл утверждает, что вырезанные на камне юноша и девушка не ктс иные, как Язон и Медея. Тот же Пселл передает, будто гемма эта похищена из сокровищницы арзрумского амира рабом-египтянином. А раба того пленили пираты в Пелопоннесе и продали угорскому царю. Угорский же царь прислал ее Алексею Комнелу как пасхальный дар.

И, наконец, благословенный богом кесарь наш Алексей преподнес ее мне в тот год, когда я прогнал печенегов и половцев из-под Константинополя.

Еще одну гемму вынул из махагониевого ларца Нотар. Аквамариновые глаза были у женщины, на ней изображенной.

— Также колхидская. Смотрите, на ней надпись.

Мариам взяла у него гемму и прочла: «Колхис».

Агатовую гемму достал Нотар.

— Вот гемма итальянской работы. Роберт Гюискар проиграл ее в нарды. Затем приобрел ее Григорий Бакуриани,

а domestик Бакуриани подарил гемму одному богатому армянскому купцу взамен двух принятых от него в дар арабских скакунов.

А эта великолепная гемма — из яшмы. У какого-то арабского халифа купил ее правитель эдесских армян Рупен и преподнес королю Иерусалима — Готфриду Бульонскому. Красива, не правда ли, августа?

— Красива, очень красива, — подтвердила Мариам и, оглядев гемму, вернула стратигу.

— Эти геммы из рубина, гишера, смарагда и аквамарина — древнегреческие. А вот и перстень, по своим достоинствам превосходящий все остальные. Вы видите на нем голову Афины Паллады в шлеме, а на шлеме — золотая змея с разинутой пастью.

Эту гемму я никому не могу подарить, ибо называю ее «последним мигом моей жизни». Достаточно кому-нибудь лизнуть язычок золотой змеи, и смерть не замедлит явиться.

Гванца и Мелита схватили было кольцо, но императрица сдвинула брови, и они тотчас возвратили гемму владельцу.

— Когда пробьет мой последний час и мне не захочется более ничего на свете — ни войн, ни пиров, ни любви прекрасных женщин, — тогда коснусь язычка этой змеи; во чреве ее таится столько яду, что он и слона повалит.

Мариам взяла гемму, пристально на нее посмотрела и сказала:

— Спаси вас бог от подобной смерти. Да и время ли думать о смерти, стратиг? Христианам так нужны многоопытные воины, вроде вас. Видите, до чего обнаглели турки. Уж и над крепостью Арзрума развевается черное знамя сельджуков.

Гванца все не сводила глаз с «Афины Паллады».

Возбужденный Нотар вертел в руке гемму и высок парно разглагольствовал:

— Эту гемму подарил мне на память всемилостивейший кесарь наш Алексей Комнен, когда под крепостью Ксеригордон сельджуки окружили франков и германцев, а я повел за собою когорту и прогнал неверных прочь, точно стадо баранов.

Нотар рассказывал, как он сражался при взятии Антио-

хии, как оказывал помощь Балдуину и эдесским армянам в их борьбе против сельджуков и туркоманов...

* * *

Императрице Мариам претило безудержное бахвальство стратига Нотара. Оставив гостя с Гванцей и куропалатисой Мелитой, она присоединилась к сидящим за круглым столом епископам.

— ...Душа? Это то же самое, что дыхание — «эпсихэ». В минуты смерти она обычно расстается с телом, не утрачивая, однако, способности самостоятельного существования. Ведь и при жизни человека она имеет обыкновение на время произвольно покидать тело, после же смерти она витает вокруг покойника, дабы вновь возвратиться к первоначальному телу.

Платон поучал: тело — темница души, душа же бестелесна. Она приводит в движение и самое себя, и тело.

Тут вступил в беседу Иоанн Петрици:

— А Прокл Диадокх полагает, что всякая душа либо божественна, либо колеблется между разумом и безумием.

Как известно, ваши преосвященства, «адонаи», господь, есть само движение и вечное обновление. И каждый сын человеческий должен помнить, что хотя он и менее зерна ячменного, но из него вырастает древо жизни.

— А бог? — спросил друнгарий Ласкарис, у которого изрядно раскраснелись щеки от обильных возлияний за завтраком.

— Бог есть начало и конец всего сущего, — изрек Епифаний Непьющий, которого до того разморило от гегутского вина, что он еле-еле шевелил своими длинными ресницами. — Потому-то и молвил господь: я есмь первый и последний, аз и ижица.

Итак, и бог-отец, и Христос открываются нам в святых проявлениях своих, яко аз и ижица всего, что есть. Царство природы само по себе — вечный мрак, царство божие — светоч негасимый.

Учил же нас Иоанн: свет истинный сияет во тьме, и тьма не одолеет его. Князь тьмы — Сатана, который искушал и спасителя нашего, Иисуса Христа...

Императрице Мариам и тут стало скучно. От долгой верховой езды у нее разболелась голова, и она собиралась было удалиться на покой, но пожалела Гванцу и Мелиту:

— Пойдемте, поглядим на фазанят, — предложила она и пошла с ними в загончик для дикой птицы.

* * *

В великий четверг к царю прибыл сын эристава Бакура — Валанг с богатыми дарами. Царь Давид поцеловал юношу в лоб, пожаловал ему шоборканские доспехи и золоченый меч.

Стан юноши был тонок, а плечи — широки, золотые кудри ниспадали на высокое чело.

Императрица Мариам залюбовалась им: ведь Валанг — вылитый ее сын, царевич Константин. Она прозвала его Алкивиадом.

И куропалатиса Мелита с этим согласилась. Она была от юноши без ума, глаз с него не сводила. В присутствии Валанга она заявила императрице:

— Вот единственный мужчина в мире, ради которого я без колебаний пожертвовала бы жизнью.

Гванца плохо понимала греческий и спросила:

— Что говорит Мелита, августа?

— Она попалась в сети любви. Говорит, жизнью готова пожертвовать ради Валанга.

Гванца презрительно усмехнулась.

— Какое безумие, августа! Будь мужчина хоть самым сыном божьим, я бы никогда не покончила жизнь самоубийством из-за любви.

— Не зарекайся, милая. Любовь — чувство роковое. Никто не ведает, когда и кому суждено потерять из-за нее рассудок... Я уж далеко не молода. А было ведь время, когда первые красавцы лежали у моих ног. Но вот, наконец, настала в моей жизни пора, когда я сама полюбила. и за любимого без колебаний отдала бы свою жизнь.

— Кто же этот счастливец, августа? — благоговейно спросила Гванца.

— Эх, милая, он не счастливее меня. А знаешь, что я скажу тебе, Гванца: любовь, по-моему, — не что иное, как стремление к недосыгаемому.

Валанг в совершенстве владел греческим и отлично понял слова Мелиты, но промолчал.

В пасхальную заутреню в храме Баграта пятеро стояли прямо напротив иконостаса: Давид, Мариам, Гванца, эристав Валанг и куропалатиса Мелита.

Среди богомольцев событие это вызвало немало толков. И стар, и млад — все, казалось, воочию удостоверились, что царь Давид вот-вот обвенчается с дочерью эристава Шамана. Мелиту же, как поговаривали, берет в жены эристав Валанг, а после свадьбы сын эристава Бакура отправляется в крестовый поход. Сплетням немало способствовали слухи, распускаемые самой Мелитой.

На другой день на Гегутском поле царь устроил джигитовку. Лучшие наездники Аргветского эриставства, города Кутаиси, Мегрелии и Абхазии состязались между собою в удалстве. Особенно выделялись на скачках Гванца и эристав Валанг.

Давид каждый день ездил в Гелати, бдительно надзирал за строительством монастыря. Мастера — мцхетцы, самцхийцы, лазы и греки — были заняты обтесыванием плит. Вокруг места, отведенного под собор, возводились земляные валы.

В ограде церкви святого Георгия царь часто собирал зодчих и совещался с ними.

Подолгу следил он за работой каменщиков, плотников и ваятелей.

Указывая на них, он тихо говорил Ниани и Джонди:

— По-моему, они-то и есть соль земли. Ведь это их руками создаются бессмертные памятники. Но сколь огорчительно, что имя даже одного из тысячи не останется в памяти грядущих поколений. Скольких глупых царей прославили наши летописцы, даже и таких, которые только и делали, что бессмысленно махали мечом да разоряли страну.

А ведаем ли мы, кем созданы величественный храм Баграта, Бедиа, Цроми, Кинцвиси, Цугругашени или же Болниси?!

Четверо каменщиков тащили огромную, уже обтесанную плиту — один из будущих краеугольных камней. Давид, отделившись от своих спутников, взял из рук каменщиков плиту и водворил ее, куда следовало¹.

Ниани и Джонди от неожиданности опешили. Царь, отирая пот со лба, успокоил их:

¹ Этот камень я и сам видел много раз (Прим. автора.).

— Ничего, друзья мои, это воодушевит строителей. Только не говорите о происшедшем нашим женщинам. У моей матушки и так сердце уже пошаливает.~

Дамы раза два побывали на строительстве. Мариам и Гванце досмерти надоедало занимать византийских гостей.

А старший повар шутил, бывало: «Ишь, как быстро эти обжоры переваривают телячьи лопатки и ланьи шашлыки! Видать, голодом морили их хозяева!»

Мариам и Гванца с нетерпением ожидали субботы — ведь Давид обещал с утра отправиться с ними на прогулку в Сатаплию.

Тяжелые воспоминания были связаны у Давида с Сатаплией, вот почему он все откладывал поездку. Наконец наступила и суббота. Конюший приготовил для императрицы Мариам колесницу, а для Давида, Гванцы, куропататисы Мелиты, Джонди и Ниании — верховых лошадей.

Гости из Византии тоже увязались за ними.

Махара и сокольничий Звонила занялись обучением кречетов. Стратиг Нотар и друнгарий Ласкарис не отходили от них ни на шаг. Византийцы впервые наблюдали травлю с ловчими птицами.

Махара устал от назойливого любопытства гостей. В конце концов он резко повернул своего приземистого мула на изрезанное ложбинами плоскогорье так, что жеребцы византийцев, которые и без того-то неохотно повиновались своим седокам, теперь уж никак не могли угнаться за Махарой и его сокольниками.

Джонди, издали завидев их, вскачь нагнал Давида и Гванцу и предостерег их:

— Если мы не поторопим лошадей, наши гости скоро настигнут нас и примутся донимать своими нескончаемыми расспросами.

Давид всеми силами старался скрыть от Гванцы дурное настроение. Каждая придорожная часовня, каждое одинокое дерево, каждый цветущий гранат — все тут напоминало ему о Дедисимеди...

Гванца и Ниания пристали к Джонди, упрашивая его изобразить византийских гостей.

Джонди, подобно стратигу Нотару, смешно вытянул шею и принялся похвастаться, как под Ксеригордоном он разбил турок; затем снял с большого пальца кольцо и, вертя его в руках, называл всякий раз по-разному.

Потом он напыжился, точно жаба, вытарашил глаза, нахлобучил себе на голову шапку — ну точь-в-точь Епифаний Непьющий — и начал проповедь:

— Бог суть сущность всего сущего, сам неподвижный, но приводящий в движение все сущее.

Сатана — князь тьмы. А при свете дня трепещет он пред спасителем нашим, страхом великим, яко лист осино-вый.

Бог беспределен. Ни начала у него нет, ни конца. Поэтому и сказал мудрец: «Господь — первый из первых, и средь последних — последний. Бог суть аз и ижица мира сего».

Кривляния Джонди позабавили Давида и Гванцу.

Нианиа придержал лошадь на холме и сказал Давиду:

— Давай-ка тряхнем с тобой стариной — поскачем во весь дух, не то стратиг и его свита вот-вот настигнут нас.

Давид первым легонько пришпорил своего Алерсая. Мерин Гванцы, закусив удила, пустился вслед за жеребцом. Нианиа и Джонди, то и дело оглядываясь назад, гнали своих лошадей во весь опор.

Давид сдержал своего коня и поравнялся с Гванцей. Теперь они скакали стремя в стремя, постепенно переводя лошадей на рысь.

Когда лошади замедлили бег, Давид промолвил:

— Как странно, Гванца, — в природе ничто не меняется, десятки лет в ее жизни ровно ничего не значат... Вон любимица наша — гора Хомли. А вот уж и луга — подъезжаем к Сатаплии.

Гванца заметила:

— Зато мы, люди, — жалкие жертвы непреложной изменчивости. Недавно императрица Мариам три седых волоска нашла у меня в голове...

— Невелика беда. Седина ни о чем еще не говорит. А вот жены халифов с шестнадцати лет красят себе волосы, чтоб их мужья никогда не видели у них седых волос.

— Как прекрасна старость императрицы Мариам! Удивительно — на беломраморном лице августы нет ни единой морщинки. А мало ли горя перенесла она за эти годы? Вчера долго сидела она со мною рядом с дворцовой церковью: Обняла меня и сказала: «Три заветных желания у меня, Гванца: долголетие Константина Порфирородного, счастливая женитьба Давида и такая смерть, которая наступит прежде, чем лицо мое избородят морщины».

Солнце клонилось к закату, тени полосами ложились на изумрудную мураву Колхиды. Дорога вилась через лавровую рощицу. Приятный пряный запах щекотал ноздри седоков, когда их лошади, цокая копытами, пробирались сквозь чащу.

Гванца, придерживав своего мерина, окинула взором вершину Хомли и проговорила:

— Седина украшает лишь горы и мужчин, государь. Любо поглядеть, как серебрятся волосы у царя Георгия, Георгия Чкондидели или у Гуарама, владетеля Бечисихе... А сколь прекрасны почтенные седины католикосов наших!.. Да взять хотя бы схимника Кириона, бедного нашего Кириона — с его белоснежной бородой и черными, как смоль, бровями...

— Эх, моя хорошая, седины — это еще не горе. Главное, чтоб душой человек не постарел.

— А я бы предпочла, государь, чтобы смерть пришла ко мне раньше, чем появится на голове четвертый седой волос.

— Не в обиду тебе будь сказано, но это уж просто малодушие, Гванца. Все в божьей воле — от нас самих не зависит появление даже единого волоска на голове.

— Лани! Лани! — вдруг воскликнула Гванца.

Царь недвижно сидел в седле, обтянутом кожей лани. Он проводил ласковым взором уносящуюся вдаль парочку — самца и самку.

Гванца упрашивала царя:

— Давай догоним их и убьем.

— Знаешь, Гванца, самки сейчас телятся. Ты же видишь, одна из двух все отстает, это и есть стельная лань... В такое время жалко их убивать.

Коль турки вновь не облаглют, к концу этой осени, возьмем с собою Джонди и Нианию, навестим инокка Кириона и устроим охоту на ланей в долине Мзианети.

В Колхиде я много раз охотился. Но там места, где водятся лани, легко доступны — это равнины. Охотится всякий, кому не лень. Вот почему слишком пугливы тамошние лань.

А в этих краях, пожалуй, даже дитя не промахнется.

В долину Мзианети, как видно, верхом не проехать — тропинки завалены камнями.

— Хотела бы я знать, — сказала Гванца, — какая добыча достанется нашим охотникам?

— В этих местах зимует много перепелов, наша зима им нипочем. Еще, наверно, куропаток загравят ястребами. А может, и ланей настреляют. Махара ведь не повинуется мне в охотничьих делах.

Лошади остановились на гребне холма. Всадники увидели, как из долины выехала императрица Мариам со своею свитой.

Гванца услышала пение какой-то птицы.

— Уж не соловей ли?

— Соловей до августа не поет; это, должно быть, трясогузка.

— Да? Но где же соловьи до августа?

— От бывалых охотников я слыхал (да и Махара подтвердил недавно), будто соловьи из Колхиды никуда не улетают. В конце сентября соловьи меняют оперение. Старые охотники говорят, что соловей — это просто-напросто один из видов воробьев. Осенью он одевается перьями воробьиной окраски и умолкает. Я, как охотник, считаю эти сведения за достоверные. Однажды Георгию Чкондидели на Новый год внуки его кормилицы привезли соловьев. Засмеялся, глядя на них, преосвященный владыка. «Зачем потревожили божественных пернатых? Я ведь не халиф, чтобы лакомиться соловьиными язычками», — сказал он, поцеловал одного из соловьев и выпустил всех на волю.

— Но отчего же с приходом красавицы весны не поет соловей? — спросила Гванца.

— По весне соловьи выводят птенцов. Пока малыши не подрастут, соловей-отец помогает своей подруге вить гнездо, кормить детенышей. В августе оперившиеся птенцы вылетают из гнезд, тогда самец и начинает петь.

— Вот удивительно!

— Эх, моя Гванца, на свете столько же удивительного, сколько звезд на небе и овсяных зерен на земле. Как видно, господь, уступив нам эту юдоль печали и страданий, ключи к тайнам ее спрятал от нас.

Гванца оглянулась назад: византийцы, их оруженосцы и конюхи неумоимо погоняли лошадей. Стратиг скакал впереди.

Давид и Гванца тут только опомнились — они сильно замешкались в пути. Тогда дама и ее рыцарь, соскучившиеся

по быстрой езде, прервали беседу, прищипорили лошадей и помчались к Сатаплии.

Проносившиеся мимо тополя и кусты лавра напомнили Давиду невозвратимый счастливый вечер. То были блаженные мгновения, проведенные им вместе, с Дедисимеди в райских кущах...

Всадники издали заметили костры перед огромным входом в пещеру.

Вокруг костров были разложены дубовые бревна, наминавшие сиденья в античном театре.

Императрица Мариам и куропалатиса Мелита сидели в стороне, на одном из бревен. Неподдалеку от них расположились византийские гости.

Махара и местумретухуцеси знали, что византийцы не терпели долгих ожиданий перед трапезой; поэтому их первыми пригласили к ломившимся от яств подносам. Старший повар забыл взять с собой вилки, потому приходилось есть руками. И каждый грек усердно запихивал себе в рот по целой ляжке.

Повара крутили на вертелех туши ланей и фазанов.

Стратиг Нотар, уже слегка под хмельком, подошел к царю и Мариам с жалобой:

— Мы с друнгарием Ласкарисом поистине заслуживаем сострадания, августа. Совсем извели нас святые отцы своими бесконечными рассуждениями о боге и сатане.

...Дела у крестоносцев обстоят неважно. Никто не ведает, что будет дальше, — продолжал сетовать Нотар. — Наш император пререкается с ними из-за Антиохии; Боэмунд спорит то с патриархом иерусалимским, то с кесарем Алексеем.

Ты, верно, слышал, что в Каппадокии Боэмунд попал в плен к туркоманскому амиру Гумуштекину ибн-Данишмеду. Тщетно пытались крестоносцы отбить его; в конце концов богатый купец-армянин выкупил Боэмунда.

Вообще, надо сказать, довольно глупо ведут себя вожди франков.

К королю Иерусалима Готфриду Бульонскому приехал один амир поздравить его с победой, поднес много даров и среди них — кедровый орех. Готфрид съел орех и в ту же ночь отдал богу душу.

Были отравлены и придворные Готфрида, и горожане того квартала, где и поныне находится дворец короля иеру-

салимского. После смерти Готфрида королем выбрали князя Эдессы Балдуина.

Боэмунд видел, как день ото дня таяли силы крестоносцев. Мужчины сотнями гибли в боях, а на приток свежих сил ни малейшего намека не было.

Наконец, разъяренный, он отправился в Европу.

Как тебе известно, Боэмунд — сын Роберта Гюискара, заклятого врага императора Комнена, да и сам — злейший враг Византии. Теперь расскажу я вам, к какой хитрой уловке прибег этот отчаянный вояка. Отлично зная, что кесарь не выпустит его из Константинополя, он притворился мертвым. Гроб с его телом слуги отнесли на корабль, и так он путешествовал до острова Корфу.

Оттуда он прибыл в Париж ко двору короля франков Филиппа Анжуйского и женился на его дочери.

И тут же стратиг тихонько шепнул Давиду:

— Впрочем, его возлюбленная, итальянская принцесса, была еще прекраснее. Но, как тебе ведомо, у царей и властителей — один общий удел: с избранницей сердца вступить в брак им не суждено... Хи-хи...

Скитается теперь Боэмунд по всей Европе, набирая золото и крестоносцев.

Рассказчик заметил, как внимательно слушал его Давид, поэтому придвинулся к нему поближе.

— От злоречивых слышал я, государь, будто недолюбливает меня царь Давид...

— Что ты, стратиг! Я всегда высоко ценил тебя как доблестного воина и рыцаря, — отвечал на это Давид.

Нотар приободрился и еще смелее продолжал беседу.

— Хотя всегда я полагал, что не подобает мудрецу хвалиться своею премудростью и не к лицу рыцарю самому расписывать свои подвиги, однако либо неизмерные страдания, либо мстительность подчас лишают человека благороднейшего из чувств, которое зовется у нас скромностью.

— Случается, — заметил Давид.

— И еще одно доложу тебе, государь. Приезжаю я в твое царство не затем только, чтобы повидаться с твоей прекрасной тетушкой, которой я поклоняюсь, словно божеству. И она поистине божественна. В Константинополе не раз писали с нее лики святых на стенах храмов. Я уверен, что в Гелати мы также узрим ее неземной образ.

В Эрцухской битве тебя, государь, оказывается, сопро-

вождали около двадцати рыцарей-греков, они-то и поведали нам о твоей легендарной отваге.

Не сочти мой слова за лесть. Бог мне свидетель, говорю я тебе от чистого сердца: что Бозмунд, что Танкред, что Готфрид Бульонский — все они ничтожества пред тобою. Если бы тебе не приходилось постоянно оборонять Кавказ от библейских Гога и Магога, ты непременно стал бы предводителем крестоносцев и разбил наголову их врагов.

Все мы восхищены, как ты твердой рукою обуздал внутренних врагов, как подавил сопротивление своевольных грузинских эриставов и строптивых епископов. О, если б нашему кесарю Алексею было ниспослано такое могущество в борьбе с недругами! Но, увы, он постарел, одряхлел и гораздо больше времени посвящает молитве, нежели делам государственным, хотя в молодости и сам был героем.

Возвращаюсь к сказанному выше: всякое геройство — хотя бы и содеянное царями и величайшими полководцами — совершенно бесплодно, если у героя не найдется достойного летописца и одописца.

Вероятно, и Одиссей, царь Итаки, и Ахиллес так и остались бы в безвестности, не живи в ту эпоху Гомер, их воспевший.

Тебе-то тужить не о чем, государь, — в твоей стране, говорят, есть весьма даровитые писатели. Пройдут годы, и великие мастера слова опишут твои подвиги.

Писатели есть и у нас, и не бездарные, но духом слабые. Они становятся панегиристами чуть ли не каждого нового кесаря. А едва лишь умрет тот или иной император, их писанина предается забвению точно так же, как и кесаревы наложницы, которые, вихляя задом, забавляют своими танцами властителей.

Говорят, Алексей Комнен намерен снарядить меня в поход на Антиохию. И коли вернусь оттуда живым, я еще наведаюсь к тебе, с твоего соизволения. Возьми меня к себе хотя бы в советники или препоручи мне когорта и, будь на то воля божья, при взятии Тбилиси я еще раз явлю миру христианскому блистанью дедова меча. И, думаешь, одной славы ради, государь?

— Что толку домогаться славы? Слава сродни смерти — когда пробьет час, она без зова сама придет к тебе, — молвил царь Давид.

— Какие слова, о мудрый муж!..

Нотар отошел от царя и присоединился к сотрапезни-

кам-византийцам. Елифаній Непьющий поспешно осушал рот за рогом. «In vino veritas!» — возглашал он всякий раз.

Предлагая императрице Мариам отведать очередное блюдо, Давид шепнул:

— Этот Нотар не так уж глуп, как мне казалось.

— Он вовсе не глуп, только болтает слишком много и хвастает, не зная меры; а того не сознает, что это бросает тень на него же самого.

Давиду не хотелось больше рассуждать о Нотаре, и он перевел разговор:

— Сатаплиа была прежде местом увеселений для царей и эриставов, а также хранилищем их сокровищ и оружия.

В позапрошлом году Махара и Нианиа Бакуриани обнаружили тут много золота, серебра, церковной утвари, золотой и серебряной; доспехов серебряных — шоборканских и багдадских, дманисских и византийских. На этих бревнах в былые времена сиживали дед мой Баграт и родитель мой Георгий...

Немного помолчав, Мариам проговорила:

— Да возжелает господь, чтоб и для тебя Сатаплиа стала местом увеселения, милый мой. Очень порадовал меня своим письмом Константин Порфирородный: с дочерью Ликиардепуло, одного из куропалатов, сочетается он браком нынешней осенью...

— Ему пора, — заметил Давид.

— А тебе и подавно, милый, — мой сын ведь лет на десять моложе тебя. Довольно одиночества, довольно думать об одних походах!..

Приближая уста к лицу своей тетки, царь тихо сказал:

— Я уже решил, августа.

— Все та же половчанка?

— Нет, Гванца...

Мариам зарделась от радости.

— Благую весть сообщил ты мне, милый мой! Лучшей невесты ни в Грузии, ни в других краях мира христианского тебе не сыскать. Я же знаю наперечет красавиц Константинополя и всей Византии...

Под стать тебе именно такая жена, как Гванца. Разве в браке главное — красота? У тебя жизнь столь бурная, что рядом с тобою должна быть как раз такая решительная, смелая женщина.

После короткого молчания Давид промолвил:

— Я, правда, нарушаю данное мною слово; однако, судя по письмам Стефаноза Цилканского, осетины не соглашаются пропустить половцев через свои земли.

— Слово нарушаешь? Да что ты, милый мой, какие пустилки! Сколько раз византийские кесари объявят, бывало, о своей помолвке с одной девушкой, а женятся потом совсем на другой. И тут должно поступать так, как подсказывает тебе сердце твое и интересы государства.

— Откровенно говоря, мне наскучило ожидание. Надежда на то, что отыщется Дедисимеди, уж угасла. Да и мать жалко, недавно говорит она мне со слезами на глазах: «Только бы дожить до твоей свадьбы!» На другой же день по приезде в Гегути послал я Моркневели в Начармагеви с поручением к Георгию Чкондидели, дабы отозвал он Стефаноза Цилканского из Земли Половецкой и известил Атраху Шарагановича о моем нежелании породниться с ним.

Последние слова также пришлись по сердцу императрице Мариам.

Давид внезапно заговорил о другом:

— Неужели ты не проголодалась, августа?

— Как же, верховая езда возбуждает аппетит, милый мой.

Давид передал императрице Мариам шашлык из ланей, собирался было и сам их отведать, но в это время раздался конский топот.

Штора Моркневели и начальник Гегутской крепости Шервашисдзе предстали перед царем.

— Что случилось, Штора? Не являетесь ли вы ко мне вестниками бедствия?

— Нет, никаких бедствий не случилось, государь. Но прибыл в Гегути Георгий Чкондидели и просит тебя воротиться немедленно.

• У Мариам кусок в горле застрял. Давид вскочил как ужаленный, мороз пробежал у него по коже от слов Моркневели.

Мариам побледнела, подозвала к себе Нотара и объявила ему: сейчас же надобно возвращаться в Гегути.

Стратиг испугался: уж не сельджуки ли на Грузию напали?

— Нет, царь Давид занемог, — отвечала Мариам. — Да и смеркается уж, а по этим дорогам верхом ехать нелегко.

Стратиг и остальные гости с неохотой оторвались от ша-

шлыков и аладастурского вина. Махара утешал их: если угодно, в Гегути пир можно продолжить.

Впереди поскакали двенадцать рыцарей в латах. За ними — царь Давид, императрица Мариам, Гванца и Мелита.

По обочинам дороги крестьяне жгли срезанные побеги виноградной лозы. Повсюду пылали костры, и причудливые тени всадников напояли скачущих на конях дэвов.

Гванца и Мелита опередили остальных своих спутников.

Давид долго молчал, затем, обратясь к Мариам, сказал:

— Много лет тому назад Махара привел ко мне одну цыганку. Вещунья долго разглядывала мою левую ладонь и под конец по-гречески сказала мне вот что: «Будешь ты, юноша, удачлив в ратном деле, но бог любви к тебе не милостив. Любой женщине, к которой прикоснешься, принесешь ты одно лишь горе».

Слова эти острыми терниями вонзились в сердце Мариам, но с виду она словно бы и не приняла их близко к сердцу, лишь заметила:

— Эх, милый мой, предсказания гадалок не стоит слепо принимать на веру. Я тоже не раз протягивала им свою левую ладонь. Каких уж только несчастий они мне не напророчили! А не так давно одна гадалка нашептывала даже, будто Алексей Комнен отравить меня замыслил... А между тем, как видишь, все, слава богу, благополучно. Сын мой осенью отпразднует свадьбу, а кесарь Алексей, напротив, еще более расположен ко мне, чем прежде, и через стратига Нотара передал: «Скучно без августы в Византии».

Тени трех всадников скрылись под сводами первой башни Гегутской крепости. Давид, еще не сняв с себя доспехов, поспешил в опочивальню Чкондидели. Преосвященный Георгий, не замечая царя, нараспев тихо произносил слова молитвы:

— Славьте господа, ибо он благ, ибо вовек милость его.

Славьте бога богов, ибо вовек милость его.

Славьте господа господствующих, ибо вовек милость его...

Когда же Чкондидели отвернулся от стены, сплошь увешанной образами, он горячо обнял Давида, как поступал всегда после разлуки со своим питомцем. Подождав, пока царь опустится в кресло, он слабым голосом заговорил:

— Прервал я твое веселье, сын мой. Но разве этот свет вседержитель предназначил для веселья?..

Стеснило у Давида дыхание, хотел он что-то возразить, но решил помолчать покуда.

— Большой, поехал я повидаться с тобою, а в пути еще простыл... Ну, да это не беда... А вот на прошлой неделе пришла грамота от Стефаноза Цилканского. Атраха Шараганович и дочь его с малым войском своим, оказывается, уже на подступах к Кавкасиони, однако осетинские цари и князья не пропускают их миром. Придется нам с тобою безотлагательно ехать в Двалети. Осетинских царей я знаю хорошо — они присягали в верности твоей державе. Ничего, кроме добра, не видели от нас осетины. Исстари цари наши поддерживали их в борьбе против хазар.

Давид, немного подумав, сказал:

— У меня тут, в Гелати, не все еще улажено со строительством. Но коль необходимо, — да будет на то воля твоя, отче Георгий, — завтра же тронемся в путь.

— С делами гелатскими можно повременить. Да и Нияни Бакуриани присмотрит здесь за всем...

Давид заметил, как сильно взволнован Георгий, — при разговоре у него дрожала нижняя челюсть...

— Я все понимаю, сын мой! Да, ты — сын мой, ибо я — духовный отец твой... Глаголет моими устами воля божья — ты избран искупительной жертвой! О, горе моим сединам, сколь тяжкое бремя возложило на меня провидение! Но что ж поделать — пал на тебя жребий господень! Разве сам я не был молод, разве чужды мне были страсти людские? Но указывает на тебя перст божий, сын мой. Избраннейшему среди избранных препоручает всевышний попечение о благе народном... В Чкондиди, на пепелище моих предков, стоял дуб. Дуб тот чтили отцы мои и деды. Чтили и восковые свечи возжигали на богатырском его теле. А недавно узнал я, что ударила молния в тот дуб и сокрушила его. Это было единственное в Грузии дерево, носившее мое имя... А сколько дворцов, сколько церквей заложено, сколько деревьев посажено в твою честь, и цветут эти деревья поныне.

Давид поднялся.

— Мне все ясно, отче Георгий... Тотчас же начну готовиться к отъезду, а рано утром подадут нам лошадей и колесницы...

В своей опочивальне императрица Мариам приняла своего племянника.

Столь удрученным выглядел царь, что Гванца и Мелита тотчас встали и без слов удалились.

— Ты, должно быть, собиралась лечь, августа? Прости меня за столь позднее вторжение, но сердце мое не вместило

печали, и так захотелось мне поделиться своим горем с самым близким человеком!..

— Догадываюсь я, милый мой, зачем пожаловал сюда владыка Георгий...

Когда же Давид подробно рассказал ей обо всем, Мариам побледнела и откинулась на спинку кресла.

Давид встал. Взял с круглого столика тисового дерева розовое благовоние и дал его понюхать Мариам. Придя в себя, она проговорила:

— Что поделаешь, милый мой, правду молвил владыка Георгий: тебя избрал господь искупительной жертвою во имя народа твоего...

— Главное, что меня тревожит и из-за чего я пришел к тебе, — это судьба Гванцы. Тебя она боготворит и непременно тебя послушается. Поведай ей о моей беде и осторожно, как ты одна это умеешь, посоветуй ей выйти замуж за эристава Валанга, прекраснейшего среди мужчин и наследника доблестнейшего из эриставов — Бакура...

Мариам помолчала, опять поднесла к ноздрям розовое благовоние и, тяжело вздохнув, ответила:

— За эристава Валанга? Не думаю, чтоб тебя забыла Гванца так легко... Впрочем, Гванца — девушка рассудительная. И ужели не ведом ей удел царей? Для примера расскажу о себе: когда выдавали меня за Никифора Ботаниата или Михаила Дука, разве спрашивал кто-либо моего согласия? Я восприняла брак, как неотвратимый рок, и безропотно ему покорилась...

Когда местумретухусеси ввел Гванцу к императрице, Мариам показалось, что та изменилась в лице, словно зараннее обо всем догадавшись.

Увещевания императрицы Гванца выслушала, точно смертный свой приговор. Под конец Мариам потянулась за розовым бальзамом, а девушка, пневно сверкая очами, вскричала:

— Ах, так вот оно что! Прекраснейшая и добродетельнейшая августа! Эристав Валанг, быть может, и доблестнейший из рыцарей, и я вовсе не достойна его, но коль не суждено мне быть счастливой, я охотнее сочетаюсь браком с самой Смертью, нежели с кем-либо из смертных.

Оставшись одна, Мариам опустила на колени перед образами, долго и горячо молилась, а потом велела главному факельщику погасить свечи. И оплакивала она во мраке горькую долю своего царственного племянника.

Давид приказал поставить у своего изголовья шандал и вполголоса, нараспев, произнес:

«Господи! Не в ярости твоей обличай меня, и не во гневе твоём наказывай меня.

Помилуй меня, господи, ибо я немощен; исцели меня, господи, ибо кости мои потрясены.

И душа моя сильно потрясена...»

Пропели первые петухи за стеною Гегутского замка. На хмуром небе лишь кое-где слабо мерцали звезды. Всклощенные тучи ползли по небосводу. Дул пронизывающий ветер. Давид, небрежно одетый, взволнованно расхаживал по двору. Раза два-три прошелся мимо женской половины дворца. Ниоткуда ни звука...

Светало, в переходах и опочивальнях все еще пнездилась мгла.

Долго молила Гванцу Мелита раздеться и лечь в постель. В конце концов та вняла ее уговорам, но, едва лишь убедившись, что захмелевшая Мелита погрузилась в глубокий сон, девушка поднялась с постели и на цыпочках, крадучись направилась к той палате, где почивали стратиг Нотар и епископы.

Нотар, лежа на спине, издавал оглушительный храп, словно вся тысяча чертей вселилась в него.

Пред иконами теплились лампы. Гванца, проникнув в палату и пошарив в полумраке, нащупала махатониевый ларец, поднесла его к образу богородицы и, помолясь, достала из него перстень с изображением Афины Паллады.

Призрачное, зловещее сияние струилось от лика богини. Торопливо пососала Гванца язычок золотой змейки, положила гемму на место и, добежав до конца коридора, ринулась в свою опочивальню. Опершись коленом на постель, она воздела руки к небу и невольно вскрикнула.

Куропалатиса Мелита в испуге вскочила и тоже начала кричать. Гванца ружнула на ложе. Мелита осыпала ее поцелуями, молила вымолвить хоть единое слово:

— Что с тобой, не дурной ли сон приснился?

Тело Гванцы сводило судороги.

На крики прислужниц сбегались дворецкий, факельщик и императрица Мариам.

Никто не ведал, что случилось и как быть.

— Зовите царя! — приказала Мариам.

Дворецкий побежал за Давидом, но вскоре вернулся один.

— В покоях Чкондидели заперся царь вместе с обоими спасаларами.

Мариам рыдала; в отчаянии ходила она взад и вперед по опочивальне, затем сама отправилась за Давидом в покои Чкондидели.

Царь послал за Турманидзе.

У Гванцы началась рвота. Заподозрили отравление, пробовали напоить больную горячим молоком, но та к нему даже не притронулась. «Настоянный на вине перец надо бы ей дать», — предложил Давид лекару Турманидзе.

Гванца едва пригубила лекарство и выплюнула.

По царскому приказу дворецкий созвал и опросил слуг.

Выяснилось, что в тот вечер Гванца ничего не ела.

Никто толком ничего не знал, и лишь факельщик Лачия рассказал:

— После вчерашней бессонницы ненароком задремал я в коридоре. Вдруг сквозь дрему слышу шаги: дочь эристава пробежала мимо и скрылась в опочивальне стратига Нотара. Не знаю уж, что она там делала, только вышла оттуда очень скоро и стремглав — к себе в опочивальню. Вот все, что мне известно, остальное ведомо разве что одному господу богу...

Царь пробовал расспросить Гванцу, но девушка упорно отрицала показания Лачии.

Турманидзе, спустившись в свою горницу, принес оттуда всяких снадобий — отечественных и арабских. Гванца обеими руками зажимала себе рот, заливаясь слезами и глядя на царя Давида, твердила:

— Молю тебя, государь, скажи им всем: пусть меня не мучают, пусть хоть умереть дадут спокойно! И еще прошу, не откажите мне, грешнице, в соборовании пред кончиною.

Лишь священнику дворцовой церкви, Сачино, открыла Гванца подлинную причину своей гибели.

На заре она, со слезами в голосе, в последний раз жалобно простонала:

— Мама, иду к тебе!..

Давид и Мариам опустились на колени перед покойницей. Царь поцеловал ее в холодеющий лоб. Бледная и прекрасная, словно сам ангел смерти, лежала Гванца на своем одре.

Когда священник приступил к соборованию, Мариам увела Давида в коридор и прошептала:

— Погубил нас этот окаянный Нотар! Вчера все показывал нам свои проклятые геммы. И была среди них одна — «Афина Паллада». Змея обвивается вокруг того перстня, и сказал Нотар: «Когда захочется мне умереть, достаточно сососать головку этой змейки, и смерть не замедлит явиться. В ней столько яду, что он и слона повалит». Факельщик Лачия, должно быть, правду сказал: Гванца забежала в опочивальню Нотара и там приняла отраву.

Помолчав, императрица Мариам утерла слезы и сказала Давиду:

— А ведь права оказалась цыганка проклятая...

Из опочивальни Гванцы донеслись громкие рыдания Джонди. Царь поспешно спустился во двор.

Долго ходил он, с непокрытой головой, на ветру. Наконец, вняв настоящим дворецкого, прошел к себе в опочивальню, велел погасить свечи и, упав ничком на ложе, возопил:

— Преисподняя, отверзни уста твои

И поглоти меня живого...

«ПОХИЩЕНИЕ САМШВИЛДЕ»

В хроникон семидесятый хитростью
выкрали Самшвилде...

Из хроники царя Давида.

Турки голоса пока не подавали. Тяжело было на сердце у грузин: ведь Тбилиси, Рустави, Сомхити и Агарани все еще в руках у сельджуков.

Триалетским эриставством управлял Тевдорэ — племянник мцигнобартухуцеси Георгия Чкондидели. Три дня совещались между собой Георгий Чкондидели, Иоанн Орбели, Тевдорэ и Шергил Липартиани, как бы овладеть крепостью Самшвилде. Лазутчик, прибывший оттуда, донес, что начальник крепости Хасан бен Басург — непробудный пьяница и страшный охотник.

С юга крепость обнесена несокрушимой стеною, с северо-запада местность изрезана реками. Даже десятитысячное войско, оснащенное камнеметами и турами, ее не сломит.

А о том, чтобы, обложив крепость, взять ее измором или перерезать воду, даже думать нечего — в крепостных амбарах хранятся запасы хлеба чуть ли не на целый год,

а реки — столь же неприступны для осаждающих, как и сама крепость. На осаду не хватит и года, да и то лишь при условии, если осажденные оголят южные подступы.

Чкондидели известны случаи внезапного захвата крепостей. Сельджуки славились своим искусством брать крепости хитростью. В конце концов на военном совете был составлен совершенно необычный план.

Когда этот план был предложен Шергилом Липартиани, Чкондидели с улыбкой проговорил:

— Эхе-хе! Ужели соколами и ястребами Махары заменим мы осадные машины и камнеметы?! Вот до чего мы дожили!

В канун навроза Лулу бен Гайдара, переодетого дервишем, послали в Самшвилде. Ситкваи Кора с собою взять он не пожелал: на это дело, мол, и одного калеки хватит.

Сидя у ворот крепости Самшвилде, на самом солнцепеке, Лулу на память бубнил стихи из Корана.

Проходивший мимо мулла спросил его:

— Откуда ты, сын мой?

Лулу притворно захныкал:

— Иду я из Тбилиси. На берегу Храма напали на меня разбойники-гюрджи — последние дирхемы отняли!

— А куда ты шел, сын мой? — поинтересовался сердобольный мулла.

— В Мекку я путь держал.

Тут размякло у муллы сердце, повел он мнимого дервиша в крепость и пригласил к себе за праздничный стол. Три дирхема ему подарил.

Лошадь у муллы кашляла, и как узнал он, что Лулу может беде помочь, тотчас послал его к конюхам.

По душе пришелся им этот веселый нищий, который так хорошо разбирался в лошадиных хворях.

Лулу ловко выведывал у конюхов: что за человек этот начальник крепости?

Старик конюх бранил начальника:

— Все мы тут считаемся наемниками. Из Исфагана-то присылают для нас жалованье, а амир, знай себе, прикарманивает наши денежки. Иначе как же ему прокормить ненасытных своих шлюх? Он только то и делает, что пьянствует да на охоту ходит. Но какая уж добыча у одуревшего от вина и опия? В Самшвилде после какого-то эристава-гюрджи остались в погребе винные кувшины, каждый из которых чуть ли не тысячу пудов вмещает. Намедни тайком подобрались мы

к одному такому кувшину и — дай бог здоровья! — до того нализились, что один другого перестали узнавать.

— Если всегда пьян ваш начальник, то когда же он успеваает охотиться?

— Через десять дней мы отпразднуем байрам. Вот возьмет тогда начальник своих замаранных ястребов и пойдет бродить по ущельям.

На другой день Лулу вместе с конюхами повел лошадей на водопой. А под вечер за живот схватился: рези, мол, такие, что просто терпенья никакого нету. И—давай бог ноги! Всю ночь по лесу проскитался, у какого-то мельника осла купил и лишь на третий день добрался до Начармагеви.

Георгий Чкондидели из Триалети отбыл с войском в Самшвилде. За три сотни шагов до крепости воины завязали лошадям морды. В лесу шатры поставили.

Лежал Чкондидели в своем шатре, задумчиво глядя на хмурое небо.

‘ Не дай бог, разнепогодится и амир не выедет на охоту! А ведь к западу от Самшвилде отличные охотничьи угодья, тетеревов тьма.

Лулу бен Гайдар отлично изучил подступы к крепости. Он, Махара и Артаваз Аршели ехали на выносливых, крепких мулах, закованных в стальные доспехи, в подседельниках у них были спрятаны ятаганы. Ятаганы висели у всадников и на поясе, под тулупами.

По дороге повстречался им конюх. Они спросили его почтительно: где начальник крепости изволит быть?

— У черта на рогах! С утра на тетеревов ушел охотиться. Должно быть, где-нибудь за речкой бродит...

У всех троих путников были с собою превосходные ястреба и кречеты, которые так храбро попискивали, словно находились у себя дома — в Начармагеви.

Несмотря на преклонный возраст, зрение у Махары было чертовски острое. Вдалеке, на склоне горы он разглядел всадника с ястребом на руке. Двое других, должно быть слуги, скакали поодаль от него.

Махара сел на придорожный камень. Всадник, поравнявшись с Махарой, по-тюркски спросил:

— Чьи эти ястребы и кречеты?

Махара в пояс поклонился начальнику крепости и смиренно отвечал ему, тоже по-тюркски:

— Господин, нас троих послал сюда амир Наджм Эддин иль-Гази из крепости Мардин — да будет к нему милость

аллаха! — дабы этих ястребов и кречетов принесли мы в дар начальнику крепости Самшвилде — аллах да будет милостив и к нему!

Всадник просиял.

— Я начальник крепости Самшвилде, — сказал он.

Хасан бен Басург когда-то прислал амиру иль-Гази из Триалети охотничьего гепарда. И теперь он подумал: «Вероятно, решил отблагодарить меня амир амиров».

— Да, но только каковы они, эти кречеты? Годны ли на что-нибудь? В прошлом году подарил мне один гюрджи пять ловчих птиц, но они оказались столь же вероломны, как и сами гюрджи.

— Давай испробуем их на охоте, великий амир! — предложил ему Артаваз Аршели.

— Вот эти, что у меня, — отличные годовалые кречеты, — добавил Лулу бен Гайдар. — Султан Мохамед преподнес их амиру иль-Гази, а тот взамен подарил султану трех арабских скакунов.

— А те, что у меня, — еще лучше, великий амир! — воскликнул Хохутай.

Хасан бен Басург некоторое время молча ехал верхом за тремя всадниками, которых принимал за турок; а принадлежность к туркам, в его глазах, была залогом всевозможных добродетелей.

Амир вынул из кармана три золотых монеты и одарил ими охотников.

— Да что ты, господин! — оскорбленно воскликнул по-арабски Махара. — Ведь я прихожусь амиру иль-Гази дядей со стороны матери, да и сам я не бедняк.

С этими словами Махара вытащил из-за пазухи набитые золотом кошельки. Подобное бескорыстие привело амира в восхищение.

— Поедемте со мною в крепость хлеб-соль откусать, — пригласил он своих спутников.

— А мы ведь и вправду проголодались, великий амир, — сказал Махара. — Но сдастся мне, что под этим вот холмом, в траве, много тетеревов. Если угодно, моего стального ястреба возьми и давай сначала поохотимся, дабы мы удостоились сидеть с тобою за одним столом.

Долго охотились они в зарослях, и с десятков тетеревов навесил амир на своего сокольничего и оруженосца. Хасан бен Басург только было начал беседовать с Махарой о последних воинских подвигах амира иль-Гази, как вдруг че-

ловец десять охотников, с ястребами в руках, показались из лесу.

Подозрительным показалось это амиру. На охотниках были грузинские шлемы. Грузинские мечи с рукоятью в виде креста висели у них на поясе.

Амир тихо спросил у Махары, кто это такие.

— Я их не знаю, господин, — отвечал Махара, когда всадники подъехали к ним совсем близко.

— Что вы делаете возле моей крепости? — крикнул амир охотникам.

Седовласый охотник выступил вперед и учтиво проговорил:

— Не в твою крепость мы едем, турок, а в крепость царя грузинского Давида.

— Болван! Кто отдал вашему царю эту крепость, которая волею султана и самого аллаха мне вверена.

Не успел он это договорить, как охотники, с копьями наперевес, обступили троих всадников и грозно крикнули амиру:

— Снимай меч и бармицу!

Лишь тогда понял амир, с кем имел дело. Обернувшись к Махаре, он ехидно проговорил:

— Дядюшка амира иль-Гази, ты что же это, измены ради ехал ко мне в крепость?

Махара, не сдержав улыбки, сказал:

— Лучше не хватайся за лук, не то мигом тебя прикончим.

— Слезай с коня! — заорал на амира Артаваз Аршели.

Турок увидел, что борьба бесполезна, и неохотно спешился.

Всадники связали амира и его слуг, не оказавших ни малейшего сопротивления. Пленников отвезли на мельницу и, привязав их к столбам, продержали так до вечера.

А в сумерки начался приступ. Тысяча воинов взломала железные ворота крепости Самшвилде. Амира внутри не оказалось, и вдребезги пьяный гарнизон был застигнут врасплох.

На рассвете крепостью овладело грузинское войско.

Черное знамя сельджуков было сорвано, и грузинский царский стяг взвился над крепостью по приказу Георгия Чкондидели.

Вереницею последовали друг за другом роковые вести. Эристав Шаман, который был в это время в Бараконской крепости, узнав о смерти Гванцы, велел подать себе своего любимца мерина. Едва лишь эристав со своею свитою выехал на проезжую дорогу и снизу донесся глухой рокот Риони, как старик рванулся вперед и, пришпорив своего коня, опрометью ринулся в бурную реку.

Когда царь Георгий прослышал о самоубийстве Гванцы, он осушил бычий рог за упокой ее души, пропел «Христос воскрес», подложил под голову руку и, не желая тревожить царицу Елену, сказал: что-то спать хочется. Да так и не проснулся...

Лошадей в траурных пополах поставили возле усопших. Царь Давид три дня просидел во тьме без пищи и питья.

В черное облекся весь дворец. Три дня черные всадники под протяжный погребальный звон нескончаемой чередой тянулись в Начармагеви...

А на страстной неделе Давид и Георгий Чкондидели с большою свитою отправились в Осетию. Кариман Сетиели ехал впереди царского поезда, неотступно сопровождаемого малым войском.

В Ананурской крепости при его приближении ударили в набат. Начальник крепости со всем гарнизоном выехал навстречу царю и его свите.

Скорбь путников, казалось, разделяла сама природа: разразилась страшная гроза, бешеные потоки понеслись с гор.

Царь, не слушаясь советов Георгия Чкондидели и начальника крепости, тотчас же после завтрака приказал выезжать. На Крестовом перевале уже выпал снег, внезапно дорогу усыпало крупными градинами.

Над гребнями горных цепей неслись мрачные тучи, со зловещим клекотом вслед им неслись взъерошенные орлы и коршуны. Туры маячили на уступах диких скал; испугнутые человеком животные убегали на север. Замки эриставов высились на крутых утесах.

Давид боялся, как бы не оступилась лошадь Георгия, переправляясь через поток. Опасался он и за сердце Чкондидели — вдруг не вынесет оно такой высоты. Лекарь Турманисдзе то и дело поил престарелого седока разными снадобьями.

Ночь застала путников за Крестовым перевалом.

Царь и вся его свита заночевали в овчарне у пастухов Циклаури.

Целую сотню овец закололи хозяева в честь гостей, два десятка туров насадили на вертелы.

Царь и Чкондидели, однако, не прикоснулись к скоромному.

Пастушьи жилища стояли на взгорье. Давид спал плохо — всю ночь ревел ветер, издали доносился заунывный вой волков. На заре владыка Георгий отслужил заутреню. Свита и пастухи, коленопреклоненные, слушали молитву...

Кариман Сетнели выслал вперед разведчиков, дабы они доносили первому визирю, какими дорогами идти к Дарьялу.

Всадники пересели на запасных лошадей.

Завывал ветер.

Неслись на север орлы и тучи...

За царским поездом по пятам бежала волчья стая. Тревожно ржали лошади, чуя близость хищников.

На следующую ночь путники подъехали к крепости Сно. Там тоже закололи для них овец и освежевали туров. Все были поражены, узнав, что царь Давид и Чкондидели, подавленные великим горем, отважились пуститься в столь дальний путь.

Начальник крепости еще утром выведал у царского духовника: царь Давид направляется в Осетию.

На ночь остановились в крепости Давида, а на другой день добрались до Алагирской крепости.

Когда вдали показались ее зубчатые стены, владыка Георгий заговорил с царем:

— Дед твой Баграт платил добром осетинам за то, что их цари присягали в верности грузинскому престолу. Да и блаженной памяти отец твой не любил ссориться с соседями. Передерутся между собой, бывало, ширванцы либо осетины, тогда сам царь с малым войском отправляется на место раздоров и отечески их наставляет: «Ну, к чему нам, дети мои, вечные нелады да кровопролитие? Так поступают обычно два безмозглых козла: столкнутся лбами и до тех пор бодают друг друга, покуда один из двоих не свалится в бездну. Если турок выгоним, на всех хватит земли нашей, дети мои. Не забывайте, что мы сами — из земли вышли и в землю обратимся». А после примирения устроит, бывало,

охоту и пиры. И стар и млад — все благословляли царя Георгия. Пятьсот конных рыцарей провожали его до наших рубежей... Отец нынешнего осетинского царя Урдур Доргалели с большой ратью поддержал Баграта в его борьбе с амиром Фадлоном. К осетинам обращался царь за помощью и в ту пору, когда усмирал эристава Липарита. Сын Урдур Доргалели — Урек взял себе в жены дочь грузинского эристава. Из рассказов монахов мне ведомо, что дворец его разубран иконами и крестами.

За три версты до замка осетинского царя Давида и его свиту встречал Урек — царь Осетии, в сопровождении тысячи всадников.

С Уреком были брат его матери, восьмидесятилетний старец Хвахвай, и царевич Худан.

Лицо Хвахвай обрамляла белоснежная борода, такая же пышная и красивая, как у царя Георгия, а уста и ланины были у старца юношески румяные.

Едва путники приблизились к первой крепостной башне, зазвонили колокола.

Народ, обнажив головы, толпился во дворе замка. Над главным бастионом и на башнях водрузили кресты. Воины кричали:

— Многая лета царю Давиду!

На приеме присутствовали только Давид, Чкондидели, Нианиа Бакуриани, Махара, Штора Моркневели, а с осетинской стороны — царь Урек Доргалели, дядя царя по матери Хвахвай и брат царя Худан. Почетных гостей ввели в большую палату. Вошел начальник крепости с золотым тазом в руках, Хвахвай черпал из него полной горстью пшеницу и сыпал ее в лицо царю Давиду, бормоча при этом осетинские молитвы, приятные для слуха.

Чкондидели знал, что осетинские цари и князья хорошо говорят по-грузински, и все же взял с собою троих архидьяконов, ранее служивших в Осетии иеромонахами, — отличных знатоков осетинского языка.

Царь осетинский предложил говорить первым брату своей матери, и сказал Хвахвай вот что:

— Да будет тебе известно, непобедимый царь Давид, и тебе, великий визирь Георгий, что уж несколько столетий длится у нас вражда с ханом половецким и его народом. И никто пусть не говорит в таком случае: «А при чем же тут народ?». Не столь уж невежественные и темные мы лю-

ди, подобно слепым кротам копошащиеся во мраке. Мы утверждаем: всякий народ заслуживает того образа правления, который имеет. Если мы ошибаемся, так скажите нам ради бога: почему же народ не возьмет в руки копьё и стрелу и не расправится с кровожадными властителями? И далее, ведомо ли вам, как бесчеловечно карается у половцев кража, скажем, какого-то подседельника или ягненка?! Привяжут вора к конскому хвосту и волочат по земле. Потом разденут труп донага и бросят вóронам на растерзание. О-о, я своими глазами видел, какой кровавый пир устроило воронье на останках несчастных воришек. Орлы и вороны жадно рвали друг у друга куски человеческого мяса. Более мерзостного зрелища глаза мои никогда не видели. Сами вору и содомляне, половцы семилетних мальчишек приучают к воровству и мужеложству. Это не люди, а антихристы какие-то!..

Давид и Чкондидели пришли в ужас от этого рассказа. А Хвахвай продолжал:

— Когда из страны урусов вы едете на Кавказ, еще издали замечаете повешенных на деревьях юношей и старцев. Иных покарали будто бы за разврат, иных — за разбой, а сами-то каратели — развратники до мозга костей и бессовестные твари. Недаром ведь говорит наш народ: «Половцы — каиново племя». И это верно, конечно... О-о, я-то хорошо знаю этих разбойников! На три года бросили они меня в яму, заковав мои ноги в ржавое железо. Изредка, как вспомнят, бывало, о моем существовании, швырнут мне кусок тухлого мяса да черепок с водой. Напоследок, видно, кончилась у них еда. И однажды пригрезилось мне, будто бросают мне рыбу. На лету схватил я ее, и что же? — в руке моей оказалась огромная пятнистая змея... Человек ко всему приспособливается. В яме я нашел бедренную кость — все, что осталось от какого-то несчастного узника. Схвачу, бывало, ту кость и давай молотить ею ползучих гадов! Вы, должно быть, слышали, что змея боится овец и не прикасается к их шерсти. Я тогда носил на голове барашковую папаху, ходил в овчинном тулупе и пестрых носках из овечьей шерсти. Отчасти и это меня спасло. В один счастливый день урусы стали теснить половцев. Дело было за полночь. Вытащили меня из ямы, разомкнули оковы, и один половец посадил меня к себе в седло. В суматохе я изловчился, сбросил половца с коня и был таков. Почти все половцы в отдельности — трусы. Но коль соберутся ско-

пом, тогда уж они наглеют и рыщут по степи, точно стая волков голодных.

Царя Давида огорчило услышанное. Наконец Георгий Чкондидели, переведя взгляд с Урека Доргалели на брата его матери, нарушил молчание.

— Мы с тобою, помнится, почти однолетки, господин мой Хвахвай.

— О да, господин мой, — откликнулся Хвахвай.

— Сотни раз слышал я мудрые речения евангелия, — продолжал Георгий. — Там сказано, что с разбойниками надобно поступать не так, как иудеи — с господом нашим Иисусом на Голгофе. Напротив, надо являть им милосердие свое, иначе на белом свете никому житья не будет.

Хвахвай провел своей длинной рукой по длинной бороде и степенно отвечал Георгию Чкондидели.

— Господин мой, первый визирь! Мы тоже пробовали с этими хриstopродавцами поступать милосердно. Однажды во время сражения попали к нам в плен двенадцать мальчишек-половцев. Отцы их были убиты, а мальчишек мы отвели в крепость. Поначалу приставили к ним священников и дьяконов, дабы учили их слову божию и откровениям. Потом пленники сами нас попросили окрестить их. Мы и окрестили. Но не прошло и недели, как из дворцовой церкви исчезли золотые образа, пожертвованные царем Багратом и кесарем византийским. Поймали, оказывается, прохвосты в роще неоседланных лошадей и бежать! В конце концов погоня настигла этих нехристей. Тогда я именем царя и моим собственным приказал посадить негодяев на кол.

Давид и Чкондидели при этих словах содрогнулись.

— Вот и сидим мы в нашем замке в окружении басурманов. Мы, как вам известно, не какие-нибудь там кочевые разбойники, вроде турок или половцев, — мы мирные землелепашцы. Но беспокойные соседи не дают нам ни засеять наши поля, ни урожай с них убирать.

Лишь по ночам сеют и жнут бедные наши старики осетины, — ведь у юноши конь всегда должен быть оседлан. Так ополчитесь же вы, владыки христианские, и оповестите всех христиан, что на них падет кровь наших царей и князей, на них падет кровь наших братьев и сынов. Скажите этим грекам и франкам: чего привязались они к нехристям сельджукам в Палестине? Пусть, наконец, и о нас вспомнят; хоть оружием да доспехами пусть нам помогут, не то близка наша погибель, недолго продержатся наши

крепости! Охо-хо!.. В бога я, конечно, верую, государь наш и великий визирь Чкондидели. Но иногда мне кажется, что в этом мире ни бога нет, ни правды. Хоть раз бы послушали вы, как голоса осетинские жены! Рассядутся они вокруг разложенных на земле чох, поясов и кинжалов. Кто братьев оплакивает, кто сыновей, кто мужа. Даже камни способны тронуть их неутешное горе... Ох, уж и не знаю, отче Георгий, есть ли и вправду в этом мире бог и правосудие?..

Царь Давид молвил:

— Не думаю, Хвахвай батоно, что правда всецело на твоей стороне. Не раз говорил я моим спасаларам: на бога надейтесь, а сами не плошайте — своим мечом ему помогайте. У франкских крестоносцев нет, правда, единения в борьбе, но не отвлекай они на себя сельджуков, неверные и к вам бы уж нагрянули. От верных людей я сам знаю, каковы эти дикари-половцы. Но, надеюсь, царь ваш Урек миром пропустит их через свои владения, а потом уж я их сам усмирю — так выезжают своенравных диких жеребцов.

И тогда заговорил Урек:

— Во всем прав царь Давид, ты уж поверь мне, дядя Хвахвай. Так тому и быть, как царь Давид молвил. Мало ли у нас прирученных в неволе гепардов и медведей, которые нам руки лижут? Верь мне, дядюшка, царь Давид непременно приручит половцев и использует их в своих войнах с сельджуками.

— О-о! — одобрительно воскликнул Хвахвай. — В таком случае с твоего соизволения, племянник дорогой, подарим царю Давиду десять гепардов и столько же ручных орлов.

В Алагирском замке наконец договорились беспрепятственно пропустить хана половецкого и его войско. Три дня носились царевы посланцы по равнине Осетии в поисках половецких шатров.

Атраха Шараганович вначале держался недоверчиво и настороженно, но когда Штора Моркневели известил его о пребывании царя Давида и первого визиря в Алагирском замке, хан половецкий повелел сворачивать шатры.

Стефаноз Цилканский был вне себя от радости, ибо его труды за все эти долгие годы не пропали зря. Он так сильно постарел, что едва узнали его Махара и Штора.

На семь верблюдов погрузили шатры хана половецкого, его дочери, приближенных, военачальников.

Едва лишь хан половецкий со своею свитою подъехали к Алагирскому замку, там ударили в набат.

Половецким гостям предложили отстегнуть мечи и, безоружных, пригласили их в большую палату. Лишь у Атрахи Шарагановича и его спасалара Саббага бен Хасана висели на поясе мечи такой длины, что кончики их волочились по земле.

Дочь половецкого хана увели на женскую половину. Атраха Шараганович оставлял приятное впечатление. Лицо его располагало к себе. А спасалар Саббаг был огромного роста, угрюмый и молчаливый, из-под рассеченной верхней губы торчали у него блестящие белые звериные клыки.

Махара сидел рядом с Давидом.

— Хоть Стефаноз ничего нам и не писал о внешности хана половецкого, государь, но я примерно так себе его и представлял, — заметил Махара.

— Вероятно, предок Атрахи Шарагановича был либо араб, либо перс. Благообразное и кроткое лицо у этого старца! — ответил Давид.

Прежде чем сесть за стол, Атраха Шараганович отстегнул меч и вручил его спасалару Саббагу, а этот последний отдал меч оружейнику осетинского царя.

Трапезу благословил Георгий Чкондидели. Царь осетинский поднял кубок и обратился с речью к почетному гостю:

— О повелитель половцев! Мой дядя Хвахвай, мои визири и воины — все мы приветствуем тебя в этом замке. Слава преславному царю Давиду, наставившему нас на путь дружбы. Сами посудите, к чему может привести вражда? Лишь к бесконечному кровопролитию...

Тут царь Урек остановился, выжидая, пока Стефаноз Цилканский переведет гостям сказанное, и окинул Шарагановича пронизательным взором светлых и зорких своих глаз.

Вспомнилось ему, как года три назад привелось столкнуться с этим половцем в бою. Едва-едва ускакал от него Атраха Шараганович со своим спасаларом. Затем Урек перевел взгляд на спасалара Саббага и недовольно поморщился — на теле человечьем такой отталкивающе уродливой головы он еще никогда не видел.

— Безумец только и старается нажить себе побольше врагов, — продолжал царь Урек. — Мудрец же всегда готов вражду на дружбу сменить. Окрестные леса так и кишат

гепардами, волками и медведями. Но наступит время, когда эти звери перегрызут друг друга. Тогда леса и поля достанутся в полное владение белкам, крысам да мышам, которые настолько разумны, что никогда не враждуют с себе подобными.

Давид, Чкондидели, Шараганович и Хвахваи, переглянувшись, усмехнулись.

— Что же мы будем дальше делать? Воевать или дружить? — продолжал Урек. — Мы присягали в верности царю Давиду. Стало быть, отныне и мы с вами, осетины и половцы, должны жить в мире и дружбе. Если же дружба придет не сразу, то будем пока хотя бы добрыми соседями.

Наши крепости и ваши шатры издавна стоят друг против друга. Так давайте же отселе дружить и добрососедствовать, ибо одни глупцы ненавидят своего друга и соседа.

Так молвил царь осетинский. Хвахваи велел обнести сотрапезников рогами, полными пива, и поклясться в верности друг другу. Старейшины поцеловали друг друга в плечо и снова сели.

Георгий Чкондидели поднялся со своего места и вынул клинок из ножен. Осетинский царь Урек и Хвахваи последовали его примеру. Стефаноз Цилканский перевел на половецкий язык слова Чкондидели.

Двенадцать мужей взяли в руки свои мечи и скрестили их между собой.

Когда половцы захмелели, они подняли такой дикий рев, что их сотрапезникам, не половцам, он показался воем голодных волков, а никак уж не пением.

Пиршество длилось три дня. На четвертый же день царь Давид со свитой, царь осетинский Урек со своим дядей Хвахваи, а также Атраха Шараганович со своими спасаларами собрались в путь. Дул сильный ветер. И тут случилось страшное несчастье: двое конюхов подвели коня к Георгию Чкондидели, но не успел тот занести ногу в стремя, как вдруг весь посинел, и его не стало.

Царь Давид, Махара, осетинский царь и Хвахваи бросились к усопшему, подхватили его на руки и уложили в большой палате.

Десять тысяч воинов попеременно несли гроб с телом великого сына отчизны от замка осетинских царей до самого Начармагеви. Вдвойне тяжело было царю Давиду, ибо вез он домой никогда не виданную нареченную и прах своего

горячо любимого воспитателя, первого визиря и мцигнобарт-ухуцеси.

Вновь уединился в темноте удрученный царь, который никакими словами не мог выразить свое горе.

Целый месяц стекались в Начармагеви двоюродные братья и сестры покойного, их дети, вдовы и сироты из всех эриставств. Лишь в день погребения Георгия Чкондидели императрица Мариам заметила седые волоски в бороде у царя Давида, лицо его заметно осунулось.

Когда Георгия Чкондидели хоронили в храме Черной богородицы, лишь у племянника его Тевдорэ, правителя Триалети, хватило мужества вымолвить несколько слов над могилой:

— О, горе нам! Как ты велик и как мал гроб, что вместил тебя, великий сын земли Грузинской, святой отец наш, Георгий!

Да будет на то воля господня, дабы народ грузинский всегда следовал твоему примеру в борьбе с врагами. Ты — неукротимый и бессмертный дух нашего народа. Твой меч и твой крест отныне всегда будут вести нас вперед. Тело твое никогда не узрят потомки, но могучий твой дух воспоют одописцы грядущего! Устал ты разить врагов мечом твоим — семьдесят пять ран уносишь с собою в могилу; семьдесят пять ран, полученных в боях с врагами!.. Горе, горе нам без тебя, а тебе горевать не о чем, лучезарный и до конца исполнивший долг свой, рыцарь наш...

Царь Давид, коленопреклоненный, при этих словах опустил забрало и зарыдал, как дитя...

* * *

Приезд в Начармагеви царской невесты Гурандухт и ее свиты был встречен при дворе ропотом недовольства.

Птичица Теона рвала и метала: красавицу Дедисимеди царь погубил, после нее настал черед бедняжки Гванцы. А теперь сажают на царский трон басурманку, да еще уродину. Тьфу, пропасть!

А плешивый хлебопек Теонэ орал:

— Люди добрые, ну, скажите на милость, неверные мы или христиане?

Кариман Сетнели, расхаживая по двору, пытался утихомирить простолюдинов:

— И меня послушайте, люди добрые. Пригожую царю мы вам привезли и отменное войско наемное. Вы же сами видите, весь люд христианский поднялся на борьбу с этими богопротивными сельджуками. До того обнаглели проклятые, что неровен час и Мцхета у нас отнимут. Бог мне свидетель, ни царь Давид, ни я никого не губили. Все, что случилось, произошло по воле рока. Успокойтесь и не мешайте царю Давиду править страну и оборонять страну.

А епископ-расстрига Христодуле шипел:

— Ведь говорил я вам, что царь Давид — убийца. Сперва приказал убить дочь Липарита, потом — единственную дочь эристава Шамана. Слепой старик с горя утопился в Риони.

Императрица Мариам и придворная дама Мзисавар-Шервашидзе были немало удивлены, увидев будущую царицу. Они ведь думали, что дочь хана половецкого безобразна.

На самом же деле она оказалась красивой и благовоспитанной девушкой. Немного говорила по-гречески, еще лучше — по-арабски и по-тюркски.

Одежды ее переливались жемчугами и индийскими алмазами. По огромному свитку — описи приданого хранитель казны пересчитывал драгоценные камни; кирманские, хорасанские и дамасские шерстяные и шелковые одежды; шкурки выдры, горностая, чернобурой лисицы; закупоренные в цветные склянки алоэ, амбру и мускус...

Вечером, когда Гурандухт искупали, прислужницы умастили ее благовониями. Мзисавар, запыхавшись, вбежала в опочивальню императрицы Мариам:

— О боже, что вы видели глаза мои, возлюбленная августу! Будто из слоновой кости выточено тело ее! Где это слыхано, чтобы половчанка была столь прекрасна?!

— Эх, неисповедимы пути господни, моя милая. Быть может, в жилах Гурандухт течет персидская или арабская кровь.

Мариам сочувствовала одинокой девушке — ведь в ее свите не было ни одной женщины, а до венчания царь не входил в ее покои.

Она навестила Гурандухт, нежно поцеловала ее в ланиту цвета слоновой кости. Гурандухт была растрогана до глубины души и по-гречески пожаловалась ей:

— Что мне делать, базилиса? Не выношу я одиночества!

И тут горе ее излилось в слезах, хлынувших из прекрасных, яхонтами горящих очей.

— Не беда, базилиса, немного потерпи. — Ободрила ее Мариам. — Скоро уж кончится траур, и ты более не будешь одинока. А откуда ты знаешь персидский язык, милая?

— Моя бабушка была дочерью знатного персидского вельможи. Мать у меня умерла рано, и с семи лет я воспитывалась в Исфагане, во дворце дяди. Один евнух, который преподавал мне языки — персидский и арабский, обучал меня также и греческому.

Императрица Мариам надела невесте на шею рубиновое ожерелье, в котором кое-где сверкали крупные алмазы.

Потом она сняла со своей руки золотые перстни, осыпанные лалами и алмазами, и подарила их будущей царице грузинской.

Слезы выступили на глазах у Гурандухт. Радуюсь, как дитя, она восхищенно разглядывала подарки.

* * *

Махара, Нианиа Бакуриани и главный эконом сбились с ног, устраивая жилье для половцев. Ведь в улусе шатры предназначались лишь для сотников и тысяцких, да и те были замызганные и обтрепанные. Часть половецкого войска, военачальника Хасана бен Саббага и начальника над десятью тысячами разместили в Мухрани.

Туго пришлось на первых порах. Для каждого наемника приходилось ставить шатер, ибо каждый из них явился по меньшей мере с тремя женами.

Махара приставил к половцам своих соглядатаев.

Немало мерзостей насмотрелся Махара во время войн в Анатолии и на Балканах, но такого даже представить себе не мог.

Половцы поглощали невероятное количество пищи и в крепости Сно, и в Ананури, но все не переставали вопить:

— Жрать! Жрать!

В дороге они били кобчиков, соек, ворон, зайцев и, наскоро освеживав, тут же съедали.

Когда подыхали лошади, половцы навьючивали мертвечину на запасных коней и жадно пожирали эту тухлятину. Лето было жаркое, и грузинские ратники близко не могли проходить мимо этих смердящих туш.

Махара велел пригнать для половцев целую отару овец. Но не дожидаясь, пока мясники заколят и выпотрошат овец, половцы, как дикие звери, набросились на животных, оторвали им головы, содрали шкуры и стали жадно рвать зубами сырое мясо.

Только у Хасана бен Саббага и тысяцких оказался хороший вкус: они зарыли овец в землю, прямо в шкуре, а над ними разложили костер, но, не дав мясу поспеть, полусырым велели подавать на стол.

Когда Махара увидел, как Хасан бен Саббаг раздирал своими острыми клыками недожаренную баранину, его затошнило от этого зрелища, и он повернулся к человеку-зверю спиной.

Выйдя во двор, он наблюдал картины и похуже.

Руки и лица у половцев были сплошь вымазаны в крови. Чужеземцы неутомимо грызли, хрупали, чавкали и от удовольствия издавали какие-то непонятные возгласы.

От этих пьяных половцев Махара и Нианиа, отлично владевшие сладостным, словно мед, тюркским языком, слышали лишь какие-то лающие звуки.

— О, горе нам! — сокрушаясь, говорил Махара Нианиа Бакуриани.

— Что это за тварей привели мы к себе, Нианиа батону! Сельджуки и те рядом с ними кажутся сущими ангелами.

— Истинно, истинно, — поддакивал Нианиа. — Что поделаешь, Махара батону, такова воля царская: с помощью лютых зверей отразить натиск других зверей.

По приказу Махары и Нианиа Бакуриани половецких тысяцких Укера, Хурхузана, Арсадана, Оккима и Бумбу с их ратниками разместили поблизости от Начармагеви в наспех поставленных шатрах.

Царь со своими спасаларами денно и ночью обучали наемное половецкое войско. Половцы оказались превосходными наездниками, они ловко прорывали строй противника, однако мечом владели неважно.

На войсковых смотрах царь Давид объяснял половецким спасаларам и тысяцким правила наступления, отступления, показывал, как рубить мечом.

Уж не за горами был день бракосочетания Константина Порфирородного, но трудно было императрице Мариам покинуть царя в горе. В конце концов пришлось ей сознаться самой себе, что нелегко оставить и Нианию Бакуриани.

— Сколь несправедлив ко мне всевышний! Ведь Нианиа на целых десять лет моложе меня...

На что Нианиа неизменно возражал ей:

— Хоть один год прожить с тобой, августа, и то для меня было бы великим счастьем! К тому же ты преувеличиваешь, августа, — я ведь всего на каких-то два года моложе тебя.

Все новые и новые дела задерживали Мариам в Начармагеви. Приехал придворный живописец Тевдорэ и попросил у Мариам согласия написать с нее фреску Гелатской божьей матери.

Еще в Константинополе императрице без конца надоедали художники. Но зная, что царь Давид избрал Гелати местом своего упокоения, не смогла она отказать главному живописцу.

* * *

Не прошло и месяца, как сельджуки нарушили грузинскую границу в Тао-Кларджети. Царь послал туда Нианию Бакуриани и Хасана бен Саббага. Турки почти без боя отступили.

На поле битвы остался начальник их тысячи Абдалах бен Исхак.

Не успел Нианиа опомниться, как озверевший Саббаг вскочил верхом на поверженного всадника и отрубил ему голову. Когда же эту добычу он преподнес царю Давиду, государь нахмурился и сказал по-тюркски:

— Отныне пусть больше не делает этого Хасан, ибо мы, христиане, можем врага убить, но отсекал ему голову у нас не в обычае.

* * *

Гурандухт с большой свитой отвезли во Мцхета, и там в соборе Светицховели ее окрестил католикос Картли.

Императрица Мариам изъявила желание стать ее крестной матерью. Когда обряд крещения был закончен, она надела на шею новообращенной алмазное ожерелье и драгоценное распятие, осыпанное яхонтами, алмазами и лалами.

Потом пятеро епископов и с десяток священников окре-

стили в Куре спасаларов, тысяцких и всех воинов Атрахи Шарагановича.

Половцам так понравилось купание, что они, пока не проголодались, ни за что не хотели вылезать из воды.

В поле расставили чучела всадников в латах. Конных воинов обучали на всем скаку отсекал врагу голову, руку, рубить его надвое вместе с доспехами.

Прямые половецкие мечи на конце были закруглены.

Давид вынул из ножен свой меч с заостренным концом и, показывая его половецким тысяцким, сказал:

— Отныне у вас будут такие мечи. Вот этот, остроконечный, легко пронзает бармицу.

Затем царь стал им показывать, как захватить врага живьем—для этого прежде всего надо убить под ним коня.

В половецком войске лишь начальники тысяч и сотен носили на голове железные шлемы, да и те искореженные. Более сотни кузнецов, по повелению царя, и днем и ночью ковали шлемы для наемников. Половцы, как дети малые, радовались обновкам.

Седла у большинства из них были добротные, остальные сидели кто на неоседланных лошадях, а кто — прямо на подседельниках.

* * *

Прошло еще три месяца.

Мариам призадумалась. Очень жаль ей было молодую царицу, ибо всегда мрачный и молчаливый царь Давид денно и ночью был занят смотрами и воинскими учениями.

Замечал царь, с каким трудом осваивают половецкие правила боя.

Наемники хохотали до слез, когда им показали деревянные осадные башни и «баранов».

«Для ребяташек, что ли, вы эти махины понастроили?»

Половецкие всадники с трудом брали препятствия, перепрыгивали верхом через рвы; плохо удавалось им спрыгивать с лошади на скаку и снова вскакивать в седло.

Лошади их оказались слишком сытыми, неповоротливыми и пугливыми.

Мечи половецкие, проверенные царем и его спасаларами, оказались не булатными.

Пришлось позаботиться о новых лошадях и мечах для наемников.

Несмотря на ненастье — проливные дожди с сильными ветрами, — царь Давид сам наблюдал, как разбивали шатры. В кузнях уже ковали грузинский булат, который народ наш прозвал «давидовым».

* * *

Царь не в духе! Проведав об этом, прикусили языки и открытые враги царства, и тайные его зложелатели в Картли, в Триалетском эриставстве, в Кахети.

Давид подолгу разъезжал по своим владениям. Повсюду по его повелению сооружались крепости, прокладывались дороги, строились богадельни, постоянные дворы, приюты для нищих и убогих.

Заезжал Давид и в Бочормский дворец. Начальник крепости, весь ее гарнизон и священник дворцовой церкви встречали его с хлебом-солью. Проведав там три дня, царь вернулся в Начармагеви.

Едва приоткрыв дверь большой палаты, он услышал, сколь прилежно твердила царица Гурандухт по-грузински стихи псалмов. И спросил Давид супругу по-гречески:

— Ну, как, очень трудно?

— Нет, государь мой! Дело, за которое примешься с любовью, никогда не трудно.

Не успел он как следует отдохнуть с дороги, как из Гегути прискакал гонец от главного живописца Тевдорэ.

Тот просил государя поскорей приехать в Гегути.

Спорилась работа у каменщиков и живописцев, пора уж было подумать и о перекрытии собора...

В Гегути царя встречали Арсен Икалтоели и Кирион Манглели.

— Дошли до нас вести, государь наш, будто на Синайской горе собираешься ты монастырь строить, — сказал Кирион Манглели.

— Да, это так, честной отец, если только в пути не ограбят разбойники-турки наших посланцев.

Арсен Икалтоели предложил:

— По-моему, не мешало бы, государь, послать туда Лулу бен Гайдара и Хахутая.

— Думаю я отправить с ними вместе Иоанна Босого, личного знатока языков. Но, сдастся мне, сомнительна затея наша... Впрочем, будь что будет, бог милостив, ведь не всег-

да в жизни преуспевают одни воры да разбойники. Будем надеяться, на сей раз господь укоротит им руки.

Главный живописец уже закончил портрет царя Давида. На голове у него не византийский золотой венец, а грузинский шлем, спереди украшенный двумя рубинами, изумрудами и алмазами. По бокам со шлема ниспадают кольчатые оплечья, унизанные крупным жемчугом, с драгоценными камнями и двумя крестиками, осыпанными алмазами, на концах...¹

ВОСТОК И ЗАПАД

Первый крестовый поход все еще не закончился, и сельджукский султанат продолжал воевать против христианских народов: греков, армян, грузин и сирийцев.

Целостность империи Великих Сельджукидов — Тугрильбека, Альф-Арслана и Малик-шаха была несколько поколеблена. Могущество исфаганских султанов ослабляла постоянная борьба с христианскими странами, непокорными амирами и асасинами, однако мусульманский мир пока еще довольно успешно отбивался от врагов.

В Никее по-прежнему безраздельно властвовал султан Қилирдж Арслан. Ни Алексей Комнен, ни предводители крестоносцев никак не могли его обуздать.

Теперь во главе мусульманской агрессии стал амир амиров Наджм Эддин иль-Гази бен Орток. «Иль-Гази» по-арабски означает «заступник народа».

Этот амир с отроческих лет стяжал славу грозы христианских народов. Вначале он был первым среди приверженцев амира Тутуша.

Известно, что амир Тутуш мечтал захватить престол исфаганских султанов, но погиб в развязанной им же самим войне против султана Бархиарока.

Иль-Гази был женат на сестре амира Тутуша — Гоар-Хатун. Вот почему ему и достался в надел Иерусалим с прилегающими к нему землями. В этом деле амиру иль-Гази помог брат его, амир Сукман.

Как мы знаем, в 1096 году египетский халиф Фатимид, усомнившись, смогут ли два этих амира противостоять новому

¹ Этот портрет царя Давида, найденный в 1883 году профессором А. Цагарели, хранится в Ленинградской публичной библиотеке. (Прим. автора.)

ожидаемому натиску византийцев и крестоносцев, послал в Иерусалим своего человека по имени Афдал с войском. И тот отнял Иерусалим у иль-Гази и Сукмана.

Борьба завершилась в 1099 году, когда крестоносцы, овладев Иерусалимом, оттеснили египтян.

В сельджукском султанате после смерти Бархиарока (в 1104 году) на престол вступил брат Бархиарока, султан Мохаммед бен Малик-шах.

Тогда амир иль-Гази примкнул к Мохаммеду. После ожесточенных боев иль-Гази захватил одну из самых неприступных твердынь — крепость Мардин. В награду за это султан Мохаммед назначил его правителем Багдада.

С тех пор амира Наджм Эддина иль-Гази стали величать амиром амиров. Он предводительствует всем мусульманским миром в его нескончаемых битвах против франкских крестоносцев.

И халифы Омайяды и египетские халифы Фатимиды прежде стремились к гегемонии над всем мусульманским миром, однако после того, как крестоносцы отвоевали Иерусалим и Палестину у великого визиря аль-Афдала, авторитет египетского халифа упал.

Подобно папам римским, как Омайяды, так и халифы из династии Фатимидов тщетно добивались господства над мусульманским миром.

Смута началась в столице Фатимидов — Каире, так что мечты о первенстве оказались совершенно бесплодными.

Зачинщиками войн, затеваемых против крестоносцев, оказались опять-таки султаны и амиры. Единственной силой, нарушавшей сплоченность мусульманского мира, было движение асаинов.

В 502 году хиджры султан, снарядив войско, взял город-крепость Мосул.

В тот же год христиане весьма торжественно отпраздновали пасху. Повелитель Шайзара, амир Монкели, и несколько других амиров отправились поглазеть на торжества. Асаины, воспользовавшись удобным случаем, напали на Шайзарскую крепость и захватили ее. Тогда амиры объединились, окружили Шайзар и перебили асаинов.

Несравненно меньшая сплоченность наблюдалась в среде христианских правителей, ратующих против мусульманской коалиции.

Мой читатель, вероятно, помнит, с каким энтузиазмом был встречен по всей Европе крестовый поход, проповедуемый папой Григорием VII.

Даже сам ортодокс православия, император Алексей Комнен, и тот был вынужден пообещать римской курии вступить в объединение христиан Запада. Иерусалимский патриарх и высшее духовенство маленькой Армении готовы были примкнуть к католической унии, лишь бы спастись от мусульманской агрессии.

Умер Григорий VII, и вдохновителем крестовых походов стал папа Урбан II.

Алексей Комнен скоро разочаровался в движении крестоносцев. Сначала он простодушно верил, что западные князья-крестоносцы удовольствуются освобождением гроба господня и сразу же после этого вернут Византии взятые ими города и провинции как в Малой Азии, так и в Сирии и в Палестине.

Как известно, рыцари-крестоносцы лучшие свои силы положили на овладение Иерусалимом и Антиохией и закрепление их за собою.

Их войнство, к концу XI столетия насчитывавшее свыше полумиллиона человек, мало-помалу таяло в нескончаемых боях против мусульманских султанов и амиров.

Долголетние наблюдения убедили императора Алексея Комнена, что ни король Иерусалима — Готфрид Бульонский, ни брат его Балдуин I, ни сын нормандского графа Боэмунд, ни князь Тарентский Танкред, ни Роджеро, ни прочие предводители крестоносцев на деле и не помышляют сдерживать то обещание, которое они торжественно дали ему еще в 1098 году, в Буколеонском дворце, присягнув в верности императору.

Теперь, когда вожди крестоносцев уже закрепили за собой вырванные из рук сельджуков города и селения, Алексей Комнен пришел в полное отчаяние.

Самым бедовым среди вождей крестоносцев был граф Тарентский — Боэмунд, почему-то считавший свою родословную от самого Карла Великого.

Неудачи первого крестового похода в немалой степени объясняются участием в нем норманнов.

Норманны, или же «нордманны» — так называли германцев, жителей Скандинавии. Это племя еще в X веке, покинув тесные пределы Скандинавии, отправилось на поиски новых, более плодородных земель.

С самого же начала норманны энергично вмешиваются в политическую жизнь Англии и Франции, Италии и Византии.

Отважные воины и отчаянные пираты, они на своих парусных судах бороздили моря, грабя берега Англии, Франции,

Италии и всего Средиземноморья и нагоняя страх на христианские народы как на море, так и на суше.

В свое время норманны возвели на английский трон Эдуарда Исповедника.

Даже римская курия не избежала притеснений — норманны посадили на престол Христова наместника Льва Девятого.

Отец Боэмунда, Роберт Гюискар, завоевал Южную Италию, а брат его — Роджеро отнял Сицилию у сарацин и присвоил себе титул герцога.

Безумной смелостью отличался и сын Роберта Гюискара — Боэмунд. Это он овладел Антиохией, которую прежде считал своей собственностью император Алексей Комнен.

И войны Танкреда, и ратники короля иерусалимского — Готфрида Бульонского были измотаны постоянными стычками с султаном Икония — Килирдж Арсланом и владельцем крепости Мардин — Наджм Эддином иль-Гази.

Так, у короля иерусалимского — Готфрида Бульонского от его многочисленного войска осталось всего каких-то две сотни тяжеловооруженных рыцарей и несколько тысяч наемников.

Как уже было сказано, постепенно все крепла мусульманская коалиция и слабело содружество христианских правителей...

Непрестанная борьба за первенство разгорелась в стане крестоносцев. Уроженцы Южной Франции постоянно препирались между собой, даже не сознавая того, что своими разногласиями они играли на руку мусульманским султанам и амирам.

Султана Икония — Килирдж Арслана обессилили непрерывные войны с крестоносцами.

И тогда из среды мусульманских амиров выделился амир Сиваса — Данишмед Мелик-Гази.

В эпоху крестовых походов князя Армении проявили большую стойкость в борьбе против мусульманской коалиции. Они не жалели ни золота, ни ратников, постоянно поддерживая крестоносцев в их кровопролитных битвах с мусульманскими завоевателями.

Вняв уговорам армянского князя Габриэла, неугомонный Боэмунд объявил войну Данишмеду Мелик-Гази.

Данишмед Мелик-Гази стоял особняком среди мусульманских правителей. Это была личность совершенно исключительная.

Он выделялся из среды сельджукских амиров своей гуманностью. Особую терпимость проявлял он в отношении греков, армян и сирийцев.

Данишмед гордо носил им же самим присвоенный титул «короля Романии и Анатолии», который красовался и на монетах, вычеканенных при его дворе. На оборотной же стороне монет вырезан был лик Иисуса Христа.

В сражении против Данишмеда Мелик-Гази был побежден и пленен князь Антиохии Боэмунд.

Вскоре Данишмед пообещал отпустить Боэмунда на волю при условии, что какой-нибудь христианский король или князь внесет за него требуемый выкуп...

Тогдашний папа римский Каликс II был всецело поглощен борьбой против германского императора Генриха IV. Папа предал забвению те фанатичные проповеди, которые проносились некогда его предшественниками, Григорием VII и Урбаном II, поднимавшими народы на крестовые походы.

Алексей Комнен обрадовался, узнав о пленении Боэмунда, и тотчас послал ко двору Мелик-Гази свое доверенное лицо — Григория Таронита с обещанием дать за него амиру огромные деньги.

Стремясь выкупить Боэмунда, император тем самым думал захватить в свои руки злейшего врага. И Боэмунд стал просить Мелик-Гази не выдавать его Алексею Комнени.

В конце концов киликийские армяне взялись выкупить Боэмунда. Много золота отдали они за него Данишмеду. Тогда тот освободил Боэмунда и послал его в Тарс.

Не так уж неправдоподобен случай, о котором повествует дочь Алексея Комнена, Анна, в своих знаменитых эфемеридах «Алексиада». Боэмунд будто бы притворялся мертвым и, лежа в гробу, путешествовал так до острова Корфу, а оттуда переправился в Италию.

Тщетно надеялись некоторые, что Боэмунд сразу же по приезде в Европу возьмет на себя подготовку второго крестового похода.

Папа Пасхалис II, который вначале столь равнодушно отнесся к пленению Боэмунда и палец о палец не ударил, чтобы его выкупить, теперь только спохватился. При содействии папы римского Боэмунд женился на Констанце, дочери короля Карла Анжуйского; вторую же дочь король выдал за Танкреда.

Кое-кто ожидал, что папа римский возложит на Боэмунда подготовку второго крестового похода. Вместо этого, од-

нако, папа принялся науськивать Боэмунда на византийских православных — «зачинщиков схизмы». Он обращался к католикам Германии и Франции с горячими призывами поддержать Боэмунда в его борьбе против византийского кесаря.

Смятение в стане христианских властителей дошло до того, что итальянские города Генуя, Венеция и Пиза отдали свои флотилии Боэмунду, дабы тот своевременно мог нанести сокрушительный удар по Византийской империи.

Нормандский авантюрист Боэмунд, набрав большую флотилию и несметное войско, напал на византийский город Дирахуим.

Алексей Комнен был храбрый воин. Он твердо решил отстоять западные города и провинции Византии от посягательств Боэмунда.

В Дирахуиме византийцы нанесли поражение войску Боэмунда и его итальянских союзников: Генуи, Венеции и Пизы. Византийскому флоту удалось отрезать все пути судам, сосредоточенным в руках Боэмунда, после чего итальянские воины вынуждены были голодать.

Дирахуим оказался могучей твердыней. У Боэмунда не нашлось ни достаточного числа камнеметов, ни высоких лестниц, столь необходимых при взятии крепостей.

Убедившись, что его затея близится к бесславному концу, Боэмунд отрядил посольство к Алексею Комнену и запросил мира.

Мир тот был постыдным для отчаянного головореза Боэмунда — ему пришлось отказаться от своих притязаний на Антиохию, махнуть рукой на Армянскую Киликию.

Боэмунд пообещал императору Алексею Комнену уступить Византии Антиохию даже в том случае, если после смерти императора на кесарский трон воссядет один из его сыновей.

Поражение в Дирахуиме окончательно подорвало престиж Боэмунда. А несколько лет спустя внезапная смерть положила конец его рискованным авантюрам.

С кончиной Боэмунда Алексей Комнен избавился от злейшего своего врага, который внес лишь сумятицу в движение крестоносцев.

Во всех этих перипетиях весьма прозорливым государственным мужем оказался Данишмед Мелик-Гази. Он вовремя понял, что, освободив Боэмунда, натравит друг на друга врагов мусульманского мира — заправил политики Запада.

Единственным заступником притесняемых христианских

народов остался теперь Алексей Комнен. Император видел, как гибнут христиане от рук неверных в Малой Азии.

Постоянные нашествия сельджуков разоряли как городское, так и сельское население. Крестьяне и ремесленники зачастую вынуждены были либо существовать милостыней, либо жить грабежом.

Пираты опустошали приморские города.

Обезлюдели некогда цветущие провинции от Смирны до Аталы.

В Каппадокии христианский люд притеснял амир Хасан. Наджм Эддин иль-Гази, в отличие от Данишмеда Мелик-Гази, был отнюдь не человеколюбив, целый лес виселиц воздвиг он в Сирии и Месопотамии.

Килирдж Арслан истребил всех греков в Филадерфии.

Хотя Алексей Комнен был уже стар и немощен, он все же не прекращал борьбы против амира Килирдж Арслана.

Болезни Алексея Комнена и неудачные походы усугублялись многочисленными интригами, средоточием которых сделался Буколеонский дворец в Константинополе.

У Алексея Комнена было три сына: Иоанн (по прозванию Калоюанн), Андроник, Исаак и четыре дочери: Анна, Мария, Евдокия и Феодора.

Анна Комнен, видный византийский историк, автор известной хроники «Алексиада», сыграла роковую роль в болезни своего отца.

Императорский дворец раскололся на два лагеря. Супруга Алексея — Ирина и ее приверженцы противились провозглашению наследником престола старшего сына Алексея — Калоюанна.

Императрица Ирина и ее сторонники вели ожесточенную борьбу за то, чтобы византийский престол достался старшей дочери кесаря — Анне и ее мужу — Никифору Бриену, который в правление императора Михаила Дука считался наследником престола.

За возведение на трон Калоюанна ратовала мать Алексея — Анна Даласина. Она, хотя и приняла в свое время пострижение, продолжала оказывать огромное влияние на политику Буколеонского дворца.

Алексей Комнен чувствовал себя словно на вулкане. Идя в поход, он всегда брал с собой жену свою Ирину, боясь, как бы оставшаяся дома императрица не отняла у него трон.

Некоторые современники кесаря, прикидываясь просто-

душными, уверяли, будто бы император Алексей поступал так из пылкой любви к супруге.

Даже в преклонном возрасте император Алексей сожалел, что в свое время не женился на тетке царя Давида — Мариам.

В 1118 году Алексей Комнен преставился, и на кесарский престол вступил старший его сын — Калюиоанн.

В том же, 1118, году умер исфаганский султан Мохаммед, и на трон Сельджукидов воссел султан Махмуд. Ему достались несметные богатства, награбленные его дядей в Синджаре: пять венцов червонного золота, каждый стоимостью в миллион золотых дукатов, семнадцать престолов, серебряных и золотых, тысяча триста доспехов и конская сбруя.

* * *

Из-за целого ряда экономических, политических, исторических причин движение крестоносцев пришло в упадок.

После смерти Готфрида Бульонского королем Иерусалима был провозглашен Балдуин I.

«Заступнику гроба господня» сопутствовала удача в борьбе против мусульманской агрессии. Балдуин взял Асуф, Цезарею, Каккон, Бейрут и навел кое-какой порядок в городах, завоеванных крестоносцами.

Напоследок Балдуин ополчился против Египта, там смерть и сразила иерусалимского короля.

В тот же год патриарх Иерусалима Арнульф благословил на царство князя Эдессы, Балдуина II.

В боях с мусульманами был пленен князь Эдессы, граф Жосцеллин. Балдуин первый напал на сельджуков, однако турки захватили его в плен. В конце концов ценою огромного количества золота крестоносцы выкупили иерусалимского короля.

В 507 году хиджры мусульманские амиры объединились. В эту коалицию вошли амир Мосула Мовдуд, амир Синджара Темирк, сын Наджм Эддина иль-Гази Аиз и амир Дамаска Токтекин. Они общими силами победили Балдуина.

В 513 году хиджры иль-Гази сразился с франками. Война эта завершилась поражением франков.

ПОХОДЫ И ЗАВОЕВАНИЯ

Взятие Георгием Чкондидели крепости Самшвилде имело огромное стратегическое значение. Ведь Самшвилде лежит к югу от Тбилиси, на расстоянии одного дня пути от него, на дороге, ведущей в Армению и Иран...

«Когда узнали турки о потере Самшвилде, многие крепости сомхитские покинули, бросив их на произвол судьбы».

Сельджуки чувствовали, что утрата этих крепостей может повлечь за собой захват царем Давидом и Тбилисского амирата.

Тогда нагрянуло в Грузию воинство султаново (подразумевается султан Мохаммед), «всех турок было около ста тысяч».

Враг надеялся застать врасплох царя Давида, однако тот вовремя проведал о замыслах вожаков похода. Сообщили эту новость царю под вечер, а на заре он с войском своим уже напал на стан сельджуков, разбил врага и обратил в бегство.

После того как вторгшаяся в Грузию с юго-востока сельджукская рать потерпела поражение, турки повели наступление на Грузинское царство через Тао-Кларджети, с запада.

Хроника царя Давида гласит: «В Тао вступило великое множество турок».

Для отвода глаз царь Давид выехал в Кутаиси. Он приказал воинству грузинскому пребывать в боевой готовности, а также велел тайно известить месхов и картлийцев, дабы в назначенный срок те соединились с ним в Кларджети...

Сельджуки были побеждены. Много скота и пленных захватило грузинское войско.

Еще при жизни кесаря Алексея Комнена царь Давид, стремясь к укреплению союза с единой Византией, породнился с императором, ибо в ту эпоху родственные связи были подчас опорой в государственной политике.

Царевич Деметре уже воевал вместе со своим отцом.

В 1117 году царевич Деметре взял крепость Гиши и захватил в плен сынов Григория — Шота и Асама.

В тот же год Деметре овладел крепостью Каладзор.

На следующий год, в вербное воскресенье, царь Давид из Гануха отправился на берега Аракса. Тут он получил горестное известие: турки убили Бешкена Джакели.

Даже скорбеть о верном своем слуге Давиду было некогда.

Перенес он и этот удар. Собрав все свое самообладание, Давид напал на войско сельджуков, ставшее лагерем на берегу Аракса, и обратил врага в бегство.

В тот же год он взял сомхитские крепости Лорэ и Агарни.

Войны эти, разумеется, сопровождались сокращением численности войска — следовало царю позаботиться о его пополнении.

В те времена и византийский кесарь Алексей, и армянские князья Киликии опирались главным образом на наемных воинов, солднеров. Содержали наемников султаны и амиры.

Потому-то и решил царь Давид переселить в Грузию половцев и жениться на дочери хана половецкого. Если наемники-половцы нередко восставали против Алексея Комнена, считал он, то происходило это из-за того, что император не поселил кочевников на византийской земле. Пользуясь удобным моментом, они грабили византийские провинции и устремлялись обратно в бескрайние степи.

Сочетавшись браком с дочерью Атрахи Шарагановича, Гурандухт, царь Давид заложил прочную основу наемного войска, набранного им из половцев. И, что главное, прозорливый властитель поселил половцев в самом сердце Картли.

Сорок тысяч «строим идущих» отборных ратников были немалой силой. К ним надо еще добавить пять тысяч воинов из рабов, «всех в христианство обращенных, надежных и испытанных в ратном деле», а также тысячи, набранные из абхазов, картлийцев, месхов и аргветцев.

В ту пору ни у иерусалимских королей, ни у князей Антиохии столь многочисленного войска не было.

* * *

Отразив нападение сельджуков, царь Давид на этом успокоился. Он сам перешел в наступление. В хроникон 340 Давид взял город Кабалу, грузинскому войску досталась богатая добыча и несметное число пленных.

Воротясь из Кабалы, царь отправился в Ширван и занял этот край от «Лижата до Курдевана и Хишталанна».

Царь имел обыкновение уезжать на время в Абхазию, заманивая таким образом туркоманов «на берега Куры, излюбленные места их зимовок, а лазутчики Давидовы неотступно следовали за ним. Поехал царь Давид в Гегути, от туда — в Хупту и тем самым перехитрил их».

«Хроникон был триста сороковой. Как узнали туркома-

ны, что царь далеко, подступили к Боторе силы великие и расположились там на зиму, и совсем не ждали они царя. Он же четырнадцатого февраля внезапно напал на них, и мало кто успел вскочить на коня и спастись бегством. Взял он пленных и добычу несметную и прибыл в Ганух».

«И в ту же седмицу, в первый день великого поста, взял он город в Ширване — Кабала, и наводнил царство свое золотом, серебром и сокровищами всевозможными. Уйдя в Картли, он спешно набрал войско, и седьмого мая нагрязнул в Ширван, завоевал земли от Лижата до самого Курдевана и Хишталанна и с добычей несметною воротился в Картли. В тот же день сразились жители Ширвана и Дербента, убили Апридона и вырезали ширванцев».

В ноябре отправился царь в Ашорнию, напал на туркоманов, привел в смятение, истребил их и отбил у врагов огромное число пленных грузин. По пути нанес он удар по Севгеламеджу, где стояли туркоманы, и не оставил в живых никого, кто бы мог оплакивать павших.

В ту же зиму, пройдя всю Абхазию до Бичвинты, царь Давид уладил таможние дела: достойных милосердия помиловал, виновных же велел схватить и проучить достойно.

Зима выдалась в тот год снежная. А турки, узнав, как далеко находится царь, бесстрашно подошли к берегам Куры в полной уверенности, что льву многоопытному сие неизвестно и даже во сне не снится.

И начался в Абхазии страшный снегопад. Царь приказал прорыть дорогу через Лихский перевал, где глубина снежного покрова доходила до трех аршин. Войско ожидало его в боевой готовности, и прежде чем успели проведать о его приближении в Картли, напал он на Хунани. И рассыпались его войска от гор до Куры и от Гагни до Бердуджи. И истребили они врагов — всех до единого, и не осталось никого, кто бы поведал об этом событии.

«Хроникон был триста сорок первый, десятое марта».

После того, как столь тяжкие бедствия постигли туркоманов, «купцы из Гянджи, Тбилиси и Дманиси предстали перед лицом султана и всей Персии.

Выкрасив в черный цвет кто лица, кто руки, кто все тело, поведали они о всех злоключениях, на них обрушившихся, тем самым возбуждая к себе сострадание, и пребывали они в полном отчаянье»¹.

¹ Из хроник царя Давида.

Воинственный пыл царя Давида, разумеется, не мог не привести в ярость вождей мусульманской коалиции, которая в ту пору столь успешно теснила крестоносцев. Султан Махмуд натравил на Грузию аравийского царя Дурбеца, сына Садака, и послал с ним сына своего Малика, определив при них спасаларом Наджм Эддина иль-Гази бен Ортока.

Давайте теперь послушаем французского историка Готье Канцлера:

«...Выступив из Алабы, иль-Гази набрал воинство несметное из туркоманов, а также из арабов и, узрев многочисленность рати своей, осмелел и решил идти походом против царя Давида, на Иверию.

Привлек он на свою сторону одного из султанов хорасанских, дабы сразу же после подавления врага приступить к покорению Иерусалима и Антиохии и избивению христиан. Но не ведал он, что, выступая в поход, движимый гордыней столь великою, навлекает он на себя гнев божий.

В тот же день, когда султан и иль-Гази с шестьюстами тысячами воинов вторглись в страну, царь Давид, осененный благостью святого креста, с восьмидесятью тысячами мидийцев и христиан стал лагерем в одном ущелье, меж двух гор, в том лесу, откуда, по слухам, будет наступать враг.

Стал царь перед воинством своим и молвил:

— Эй вы, воины Христовы! Коль в защиту веры божией будем ратовать достойно, тогда не то что бесчисленных посланцев чертовых, а и самих чертей победим с легкостью.

И дам я вам совет, благой для чести вашей. Все мы прострем руки свои к небесам и дадим обет господу всемогущему, что скорее умрем на этом поле брани, из любви к нему, нежели спасемся бегством. А чтоб не могли мы бежать, даже пожелаю мы этого, загородим насыпью вход в ущелье, через который мы сюда проникли, и отважно ринемся на врагов, когда они приблизятся...

...Царь наставлял каждый отряд в отдельности. И двести воинов-франков, которые были при нем, послал на врага для нанесения первых ударов.

Тотчас же с другой стороны ущелья донесся могучий клич. Заржали кони. Лязгая доспехами, наступал враг.

Появились грозные стяги, ущелье гулко вторило голосам труб и барабанному бою.

Царь перенес все это терпеливо и ободрил войско свое:

столь великое множество неверных с помощью святого креста неминуемо повержено будет.

Узрев несчетные орды, слуги Христовы с громким кличем ринулись на врага. И как узнали мы от очевидцев всех этих ужасов, при первом же столкновении неверные обратились вспять, и четыре тысячи их пало от царского меча.

Сам иль-Гази был ранен в голову. С небольшою свитою обезоруженных и изголодавшихся воинов бежал он и, предводительствуемый арабским царем, вернулся домой полу-мертвый»¹.

GALTERII CANSELARII BELLA ANTIOCHENA

II. Bellum. Art. XVI.

P. 130—131 ed. de Riant.

A. 1121—1122

III. Quid singula? Profectus, tam Turcomanorum quam et Arabum gentem praemaximam congregat, et his congregatis visatanta multitudine, elatione immensae superbiae correptus, statuit cum uno soldanorum Chorocensium super regem David in Mediam equitare, ut, eo perempto vel exhaeredito, libere et absolute valeret Jherusalem et Antiochiam, peremptis christianis suo dominio subdere...

Очевидец Дидгорской битвы, арабский историк Ибн аль-Азрак, повествует о том, что царь Давид, спустившись с гор, теснил врагов на равнине, а царевич Деметре сражался с ними на взгорье.

Войска мусульманской коалиции беспорядочно отступали по Манглисской дороге. Ратники, передвигавшиеся верхом на верблюдах и лошадях, в пути то и дело натъкались на рвы и насыпи, сооруженные по приказу царя Давида.

Множество пленных захватило грузинское войско. С поразительной быстротой преследовало оно врага. Сверкали

¹ В 517 году хиджры (1122—23 гг.), по-видимому, от раны, полученной в Дидгорской битве, Наджм Эддин иль-Гази умер.

на солнце шлемы и кольчуги. За передовыми тысячами копьеносцев и лучников шла пешая рать.

Сельджуки несли в палаклинах раненых тысяцких. Заслышав конский топот, туркоманы бросали раненых на произвол судьбы, а сами сломя голову прыгали в пропасть. На протяжении десяти парсангов по пятам преследовало врага грузинское воинство.

Неисчислимы сокровища, шатры и знамена захватило войско грузинское.

«Все царство наполнилось золотом и серебром, арабскими скакунами, ассирийскими мулами, шатрами, коврами и боевыми доспехами чужеземными, сосудами всех видов — для пиршеств, омовений и приготовления пищи».

Битва эта произошла 15 августа 1120 года.

Через год «сердцем неколебимый» царь Давид замыслил отбить у врагов Тбилиси. Тбилисский амир Бану Джаффар был до смерти напуган поражениями сельджуков и арабов.

Подобно великому деду своему Баграту Куропалату, царь Давид наступал на город с двух сторон. Одно его войско перешло через мост у Мцхета и, достигнув Исани, осадило крепостную стену, другое же — от Дигоми направилось прямо к Тбилиси. Осада продлилась до 515 года хиджры.

Год спустя царь Давид отдал приказ своим войскам приступом захватить Тбилиси.

Амир Бану Джаффар со своей свитой бежал из города на плотях. И крепостной гарнизон, и все мусульманское население оказывали грузинским войскам упорное сопротивление, лили кипящую смолу с городских стен и башен. В конце концов царь Давид приказал Ниани Бакуриани обстрелять крепостные стены из камнеметов. Стоявшие в Исани эриставы Джонди и Валанг, пустив в ход тараны, взломали все пять городских ворот: Моэднис-кари, Сагодеблис-кари, Карис-кари, Патара-кари и Абатис-кари, через последние вступил в город сам царь Давид со свитой.

Зазвонили колокола в монастырях и церквах. Жители Тбилиси, грузины и армяне, на площадях торжественно встречали «царя абхазов, картвелов, ранов, кахов и армян».

Мусульмане же, боясь, что царь Давид истребит нехристианское население города, попрятались в подвалы. Но царь объявил свободу вероисповедания, и народ успокоился.

Вот каким образом Давид Строитель вырвал из рук врагов «столицу Грузии, которой владели они четыреста лет, и завещал ее детям своим на веки и веки».

* * *

На следующий день царю Давиду пришлось неожиданно выступить в поход на Ширван, ибо туда прибыл султан, который захватил Ширван-шах, взял Шемаху и снарядил посла к царю с такой грамотой:

«Ты — царь лесов, и никогда тебе не править степями. Я же, покорив Ширван-шах, требую от тебя следуемую мне хараджу. Пришли мне ценные дары, и если хочешь, выходи из своего укрытия и повидайся со мною».

Давид тотчас же призвал к себе войско свое и «пошел на султана». Когда султану доложили о приближении грузинского войска, «он поспешно вошел в город и повелел обнести его рвами и насыпями». Струсив «не на шутку», султан больше не требовал ни даров, ни хараджи, а просил Давида оставить ему хотя бы путь к отступлению. «Сын Низама аль-Мулька, Шемс аль-Мульк, уговаривал султана вести войну, укрепившись внутри города. Жители Шемахи молили султана не покидать их, иначе они погибнут. Султан недолго пробыл в Шемахе, а затем ушел оттуда вместе с войском».

В тот же год Давид взял крепость Дманиси и укрепил ее за собою.

В 1123 году «сердцем непоколебимый и бесстрашный» царь ходил походом на Ширван и Ран. В мае месяце взял он крепости в Сомхити: Гагни, Теронакал, Кавазини и Норбеди, Манасгомни и Талинджакари. «В июне выступил с ратью своей и прошел через Джавахети, Калу, Карнифор, от Басиани до Спери, а каких туркоманов встретил в пути, либо истребил, либо пленил; взял Бугта-Кури, а Олтиси сжег». С победой вернулся царь в Триалети.

Не успел царь Давид распустить воинов своих по домам, как вдруг 20 августа 1123 года явились к нему гонцы от старейшин Ани с предложением «отдать ему город и укрепления», если он отобьет Ани у неверных. Царь Давид сразу же приказал войску собираться в поход. «Шестьдесят тысяч воинов предстали перед ним. Выступил он в поход и

на третий день взял город Ани и крепости его... И захватил он Абуласвара с восьмью сынами его... И отправил их в Абхазию, а защитниками Ани оставил он азнауров-месхов».

Амира Ани — Мануче уже не было в живых, и владел городом сын его Абуласвар, трус и ничтожество. Этот гореправитель задумал продать Ани карскому амиру за шестьдесят тысяч динаров, а привезенный из Хлата самоцветный полумесяц велел водрузить на место креста, снятого по его приказанию с купола христианской церкви. Озлобленные таким святотатством, христиане призвали на помощь царя Давида и, в благодарность за освобождение, вручили ему ключи от города. Царь оставил в Ани Абулета Орбели и сына его Иванэ.

Итак, в хроникон триста сорок третий отнял Давид Ани у ставленников Альф-Арслана, схватил и истребил тех, кто обратили в мечеть большой собор Анийский и обагрили собор тот и весь город кровью христианской.

«Воздал возмездие врагам боголюбивый Давид Строитель, Оросив плиты храма кровью мулл, заново освятил храм тот, воздвигнутый гречанкой, царицею Катронитой, где она и погребена.

Пришли тогда царь и католикос, епископы и все войско грузинское на могилу царицы отслужить панихиду по усопшей. И трижды воскликнул сам царь над гробницею:

— Возрадуйся, о царица, ибо спас господь храм твой от рук нечестивых!»

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА

...Когда пробьет мой смертный час и
величье мое померкнет, строения рух-
нут и цветы увянут, другой возьмет
скипетр и за другим пойдут воины, —
тогда помилуй меня, мой Судия!

Покаянные песни.

Наступило затишье. Чужеземные завоеватели в стране больше не появлялись, и Грузия мало-помалу залечивала раны.

Затаились «обличители» царицы, на устах у которых неизменно было одно и то же:

— Не пристало тетиве лука быть вечно натянутой, а мехам органа — надутым, ибо от этого придут они в негодность.

Давид укрепил отвоеванные у сельджуков крепости, города и поселения. Подобно прадеду своему Баграту III, объединил он Грузию от Никопсии до Дербента.

Мир воцарился от Гулгулы до Ани. Сельджуки до поры до времени отказались от своих притязаний на Сомхити и Армению.

Самые могучие твердыни были уже восстановлены. Время и средства не тратились более на сооружение осадных башен и стенобитных орудий.

Теперь царь с удвоенными силами принялся за сооружение дорог, скорбных домов, сиротских приютов. Немало мостов перекинул он «через реки бурные», а «дороги, для езды неудобные, вымостил камнями и при дорогах караван-сарай выстроил».

Злились опальные пастыри вроде Христодуле. Роптали они: царь Давид, мол, казну царства растратил на лошадей да на половцев.

Царь Давид заботился о постройке и восстановлении церквей и монастырей. По его повелению был воздвигнут монастырь на Синайской горе, «где узрели бога Моисей и Илия». Царь пожертвовал обители золотые чаши, златотканые покровы, книги церковные и служебник из чистого золота.

Строительство Гелати подходило уже к концу. Царь желал, чтоб Гелати «превзошел все прежние творения, знаменитые обширностью своею и добротностью и обилием сокровищ... Чтобы стал он Вторым Иерусалимом всего Востока, вместилищем всего благого, рассадником учености и новыми Афинами».

В Гелати была построена академия, где грузинские и византийские ученые и духовные пастыри воспитывали молодое поколение.

Гелатской академии Давид пожертвовал владения Липарита (ведь дворцы и земли Липаритовы остались без хозяина).

Давид проявлял исключительную терпимость к другим религиям. По пятницам он со своими детьми обычно за-

ходил в мечеть и слушал там суры Корана. Тбилисский царский дворец нередко посещали суфии, дервиши, асашины.

Ибн аль-Азрак аль-Фарик, бывший очевидцем взятия Тбилиси и поражения мусульманской коалиции в Дидгорской битве, пишет:

«Царь Давид явил необычайную благосклонность к ученым мусульманского вероисповедания; оказывал суфиям столь же высокие почести, какие воздавались им в мусульманском государстве. И я видел, что все эти условия, которые я наблюдал в Тбилиси в 548 году хиджры, сохранились и по сей день...»

Высшее духовенство Грузии и Армении вело споры из-за каких-то мелких расхождений в догматах, оно было занято «бранью от зари до зари, но так ни к чему и не могло прийти». И царь Давид, которому страшно надоели эти нескончаемые споры, однажды сказал:

— О святые отцы, вы углубились в такие дебри премудрости и зрите там такие чудеса, кои доступны одним философам, мы же, простые смертные, — люди темные и ничего в них не смыслим. Как вам ведомо, далек я от учености, ибо рос в походах.

В Гелати и поныне хранится одна створка железных ворот, которые Давид велел вывезти из Дербента, после того, как присоединил к Грузии Ширван. «В апреле 1124 года турки напали на Шабурана, правителя Дербента, истребили курдов, лезгин и половцев дербентских и отторгли крепости Гасанни и Хазаонди¹, с прилегающим к ним пространством. А после этого поспешил царь Давид в Ширван, и занял он город Шемаху и крепость Бирити и весь Ширван полностью, и оставил он в крепостях и городах много воинства своего».

На крыле ворот, вывезенных из Дербента, имеется арабская надпись: «Во имя господя, всемилоствого, всеблагого выковать эти ворота повелел мне господин наш

¹ Две эти крепости изумили монгольских полководцев Себа и Джеба. Они признали, что взять их невозможно. «Построены эти крепости в четырехстах шагах друг от друга. Две высокие крепостные стены, возведенные на горах, надежно охраняют крепость, трудно проникнуть в нее и через железные ворота, которые постоянно на запоре. Есть там причал, куда каждый день пристают лодки; он огорожен железными цепями, протянутыми между двумя крепостями, дабы кто-нибудь не проник туда без разрешения».

амир саид, преславный Шавир бен Фасцим, продли владычество его, о боже, и навеки будь ему щитом. Врата сии сделал Ибрагим бен Осман Фереджи, кузнец, в году чыреста и пятнадцатом хиджры».

* * *

Царь Давид мог бы уже жить в тбилисском дворце постоянно. Но ему, привыкшему к тревожной походной жизни, нелегко было приспособиться к однообразию оседлого существования. Нианиа Бакуриани видел, что царь нигде не находит себе покоя.

С утра Давид обходил звериные загоны, заглядывал в соколятню, подолгу прислушивался к львиному рыку, к урчанью и мяуканью гепардов.

После этого царь Давид вновь возвращался к своим ястребам и соколам; он забавлялся, видя, как яркое пламя постепенно разгорается у них в глазах.

Прошло более трех месяцев с тех пор, как во время охоты в Мухрани, когда царь преследовал раненого оленя, под ним пала лошадь. Три дня тогда Давида рвало кровью, но Турманисдзе спас его от смерти.

После долгих поисков Турманисдзе нашел в Картли монаха-расстригу Шиоша, который держал у себя двенадцать оленьих самок. Их подоили, выкупали больного в молоке. Болезнь как рукой сняло.

Однажды ясным воскресным утром вместе с Нианией Бакуриани осматривал Давид звериные загоны. Вдруг взгляд его остановился на одном иранском гепарде. И сказал он Ниании:

— Как давно не охотились мы с тобой, Нианиа! А ведь осень уж у дверей. Не навесить ли нам инока Кириона и не испробовать ли этого гепарда на охоте в долине Мзианети? Что ты на это скажешь, а?

— Воля твоя, государь, — отвечал Нианиа. — Только прежде надо бы посоветоваться с Турманисдзе. Коль разрешит тебе лекарь, захватим тогда с собой не одного этого, а и других гепардов. Да, впрочем, в долине Мзианети такое множество ланей, что гепарды, пожалуй, нам и не понадобятся.

— Ты прав, Нианиа, охота с гепардами потребовала бы

большого числа охотников. Давай-ка лучше возьмем мы с тобой на охоту только двух оруженосцев и конюха. Дворец покинем тайно. Ехать через Лихский перевал сейчас, в эту чудесную осеннюю пору, — одно наслаждение...

Скоре к такой поездке и повод представился. Императрица Мариам, вот уже во второй раз навестив Давида и Гурандухт, собиралась вскоре отбыть в Константинополь. После смерти сына своего, Константина Порфирородного, столь великая скорбь налегла на ее душу, что она уединилась в домашнем монастыре, близ Христополя.

Но, несмотря на это, уже пожилая императрица, выходя из добровольного затворничества, каждое лето гостила в Тбилисском дворце, дабы отвести душу в обществе Давида, Гурандухт и Ниании Бакуриани.

В Начармагеви Мариам обычно чувствовала себя гораздо лучше, свободнее. Царский дворец в Тбилиси требовал некоторой чопорности, соблюдения правил придворного этикета. Бесчисленные гости тоже утомляли Мариам.

До глубокой ночи засиживались трое в палате, отведенной Давидом под книгохранилище. Они увлекались гаданием, что подтверждает и Шавтели в своей оде «Абдул-Мессия»:

Читают, пишут,
В календарях роются,
На песке гадают,
Пытают судьбу свою.

На песке они и в самом деле гадали, хотя судьбы всех троих — и изнуренного войнами и трудами царя, и пожилой императрицы Мариам, и убеленного сединами Ниании Бакуриани, верно послужившего царю и отечеству, были уже совершенно ясны.

Семью отца своего Ниания оставил в Константинополе, а собственную личную жизнь так и не устроил, одержимый безнадежной страстью к императрице Мариам.

Преданный слуга царя Давида, он состарился при дворе. Когда войны кончились и мир воцарился во всей стране, жизнь его, как бы лишилась всякого смысла.

Однажды он осмелился высказать это царю:

— Уж я и не знаю, зачем небо копчу, государь... Мои ровесники-спасалары оказались умнее меня. У Бешкена Джакели, Шторы Моркневели и Шергила Липартиани и жены были,

и дети. Я же так и остался бобылем, словно древо одинокое на голой равнине. Откровенно тебе скажу: если мирная жизнь продлится еще долго, смерть станет для меня желанной. Теперь, едва подъедет гонец к воротам замка, все мне чудится, будто привез он весть о вторжении врагов. Я стыжусь своих мыслей, но не могу душой кривить пред тобою, государь...

Давид похлопал Нианию по плечу и молвил:

— Не печалься, Ниания, и знай: нас с тобою ожидают еще более ожесточенные битвы, ратные доспехи нам еще понадобятся... И что самое главное, напоследок каждому из нас предстоит великая битва, в которой и царю, и его рабу суждено сражаться в одиночку...

Императрица Мариам, которая прислушивалась к беседе, сказала:

— А знаешь, Ниания, как я наблюдаю, нет на этом свете счастливых. Ну скажи мне, много ли ты видел на своем веку баловней судьбы? Нередко сетовал Алексей Комнен: «Я каждый божий день сожалею о том, почему не убили меня приверженцы Михаила Дука, после того как я отнял у него трон и скипетр... Тогда я был бы избавлен от того ада, который зовется семьею у царей, равно как и у простолюдинов». Встретился мне за всю мою жизнь один-единственный счастливец — это был брат мой Георгий, который и жизнь прожил припеваючи, и смерть принял во сне... Вторая смерть, столь же сильно меня поразившая, — это гибель Гванцы. Не раз пыталась я покончить с собой (в последний раз, когда мое единственное дитя отнял у меня всевышний). Но, увы, — безуспешно. Смерть Гванцы и поныне изумляет меня... Вы, мужчины, — счастливы по сравнению с нами... Порой даже из такого страшного бедствия, как война, вы ухитряетесь извлечь удовольствие... Ты, Ниания, только что сетовал: скучно, мол, жить без войны...

Давид улыбнулся и сказал:

— Каждого человека неотступно, словно тень, сопровождает оруженосец. Неотвязный этот спутник то, подобно индийскому факиру, танцует на острие меча, то несется к тебе на кончике стрелы. Никто не ведает, когда же занесенной смертью копье пробьет броню храбрейшего из рыцарей и достанет до самого сердца...

— Сколь прекрасны твои слова! — воскликнул Нианиа Бакуриани. — Ведь и в самом деле смерть всюду преследует нас, точно неотступный оруженосец. И главное для нас — не страшиться, ее неотвратимости.

Тут в палату вошла Гурандухт.

— Мариам по-гречески спросила Давида:

— Хотела бы я все-таки знать, когда вы меня отпустите в Константинополь!

— Завтра Новый год, первое сентября. Побудь с нами еще денька три, августа, и тогда мы с Нианией проводим тебя хоть до самой Хупты!

А затем, глядя на Гурандухт, по-грузински добавил:

— Царица тоже хотела ехать вместе с нами. Но последнее время она что-то жалуется на головные боли, и я боюсь, как бы в пути не стало ей худо. Тем более, что она давно не ездила верхом. А как трудно, даже человеку здоровому, путешествовать по плохим дорогам в колеснице, я это не раз испытывал и на самом себе, августа.

Когда женщины покинули палату, Давид помолчал немного, встал и, потрепав по плечу своего спасалара, промолвил:

— На обратном пути свиту и малое войско отошлем из Гегути в Тбилиси. А мы с тобой навестим инока Кириона, если он еще жив, и в долине Мзианети поохотимся на ланей. Возьмем с собой только двух оруженосцев да двух коныхов.

* * *

В Хупте состоялось трогательное прощание. Императрица Мариам разрыдалась, судорожно прижала к груди своего обожаемого племянника. Да и «сердцем неколебимому» царю Давиду нелегко было видеть слезы на столь прекрасных, но уже потускневших очах августа.

Когда Нианиа поцеловал ей руку, у Мариам вновь навернулись на глаза слезы. Она умоляюще сказала ему:

— Ну, Нианиа, смотри, не забудь о своем обещании посетить меня в Константинополе в день святого Георгия... Управитель твоего отца Никифор ждет тебя — не дождетя!

Заехав на обратном пути в Гегути, царь приказал свите и малому войску отправляться в Тбилиси. Дня два пробыли Давид и Нианиа в Гегути.

Давид, взволнованный до глубины души, бродил по замку, где все так напоминало ему о Дедисимеди и Гванце!.. Их опочивальни были на замке...

Во дворе, в саду каждое деревце, каждый кустик, каждый цветок воскрешали для него быдое... Нианиа видел это, и молчал.

Посетили они Гелати. Главный художник Тевдорэ уже кончил писать лик императрицы Мариам под сводами купола. На другой день решили они съездить в Сатаплию. Княжий подал им лошадей, но в последнюю минуту царь почему-то передумал и поехал с Нианией в храм Баграта.

Отрадно было Давиду вновь побывать в тех местах, где протекли его отроческие годы. Махара, хоть и еле волочил ноги от старости и ходил припадая на клюку, а все же пролил царя этой осенью еще погостить в Гегути.

Давида на сей раз страшно раздражало беззубое шамканье дряхлых, немощных придворных Гегутского замка. Сабиа неотлучно находился при Махаре. Лет ему было уже немало, но с возрастом он почти не менялся.

Давида и Нианию во дворе замка первым встретил Сабиа. С ног до головы обвешанный ветками, своим видом он удивительно напоминал лешего Очокочи. Он только что вернулся с охоты. Трех пойманных им самим удонов преподнес он в дар гостям. Потом, пошарив по карманам, извлек оттуда перепелок. При виде царя повеселел старик.

Давид почтительно спросил главного факельщика:

— Как твое здоровье, мой верный Сабиа?

— Лучше и быть не может, государь батюшка. С той поры, как Тбилисский дворец обновили, никто из вас сюда и глаз не кажет. Я уж более не главный факельщик... Гостей стало мало... Разве что в кои веки какой-нибудь епископ по пути в Хупту завернет к нам. А в остальное время мы, обитатели этого дворца, ложимся спать с курами, сразу же после заката. Как реки текут и не возвращаются вспять, так же безвозвратно текут и дни нашей жизни, унося с собою отраду сердца. Дни идут, а что несут они нам? Смерть. Говорят, будто смерть есть везде и ее не миновать, государь. Я же каждый божий день жду смерти, но ее нет как нет! Навер-

но, не узнает меня злодейка — ведь я всегда обвешан ветками! Хе-хе-хе!

Сабиа угрожающе потряс в воздухе прутиком с петлею из конского волоса на конце, единственным своим охотничьим оружием, и, улыбаясь, продолжал:

— Пусть только повстречается со мною смерть где-нибудь в поле! Накину ей на шею эту петлю и непременно придушу проклятую!

Давид усмехнулся и вложил три золотых в сморщенную ладонь Сабиа.

С добродушной ухмылкой Сабиа сказал царю:

— Государь, я, кажется, единственный человек на свете, которому золото ни к чему...

* * *

На четвертый день с зарею выехали из Гегутского замка Давид, Нианиа, двое оруженосцев и двое конюхов, которые вели под уздцы запасных лошадей, держась поодаль от государя.

Давида радовало пышное великолепие окружающих лесов. Дубовые листья бесшумно облетали на яркую парчу, устилавшую проезжую дорогу. Там и сям рдели в лощинах гроздьа калины. Лошади шли шагом.

Придержав своего коня, Давид сказал:

— Места эти навевают на меня тайную грусть... Сколь быстро промчались годы, Нианиа! Вот уж и сединой посебрило головы наши. А в былые годы, помнишь, сколько раз охотились мы с тобою в этих лесах! Правду сказал Сабиа: «Как реки текут и не возвращаются вспять, так же текут и дни нашей жизни, унося с собою отраду сердца...»

Некоторое время безмолвно ехали по лесу Давид и Нианиа. Потом царь вновь придержал лошадь и, окидывая взором овражистый косогор, промолвил:

— А ты помнишь, Нианиа, как на этом самом склоне повстречался мне однажды огромный вепрь? Едва-едва изловчился я и метнул в него копье. Не подоспей ты вовремя, нелегко мне было бы справиться с ним в одиночку. Эх, были мы с тобой в ту пору еще безбородыми юнцами! В охоте на вепрей покойный мой родитель не имел себе равных. На правом колене был у него след от их клыков. Еще, слава

богу, Махара и главный ловчий Никифорэ Циморисдзе помогли ему, не то, как знать, чем бы кончилось это единоборство!

Вдали уже показались селения. Давид пытливо наблюдал за крестьянами, которые работали на виноградниках.

Мирно поскрипывая, еле тащились по дороге плетеные арбы, доверху нагруженные виноградом. Веселый гомон, смех и песни неслись из виноградников. Давид заметил:

— А давно ли в деревнях, что ютятся среди этих скал, вновь прокричал петух?! Помнишь, лет десять назад места эти были почти безлюдны. Остерегаясь сельджуков, народ попрятался в пещеры. И не будь у нас Лихи — этого неприступного горного рубежа, — вряд ли этот прекрасный край избежал бы полного разорения. Уж и не знаю, Нианиа, не станет ли когда-нибудь такое время, когда призрак войны исчезнет навеки. Вот ты сам говоришь, что без войны тебе скучно. Для некоторых людей человекоубийство превращается в ремесло. Не с одним тобой, — и со мною иногда то же случилось. Даже теперь, как проснусь среди ночи от лвиного рыка или мяуканья гепарда, просто не верится, что завтра или послезавтра не придется выступить в поход. А сколько трудов ратных понесено за эти годы, сколько крови пролито, сколько прекрасных жизней отдано в жертву ненасытному богу войны!..

— Но ведь знаешь, государь, трудно жить и без врагов, — возразил Нианиа. — Правду молвил мудрец: человек без врагов не многого стоит..

— Да, но он же молвил: плох и тот человек, у кого врагов много.

Въехали они в Чхеримельское ущелье.

Давид окинул взором горные цепи, теснящиеся кругом.

— Вот он — наш Лихи!.. Эти лесистые скалы были нашими твердынями. Мои предки воздвигли Гегутскую крепость на равнине, вероятно, в надежде на неприступность этих утесов.

Если бы вон с тех вершин закидать врагов камнями, вряд ли кто-нибудь посягнул бы после этого на наши земли.

Нианиа отозвался:

— Часто мечтал я, государь, чтоб горные хребты, подобные этим, прикрывали Грузию с востока. Ведь и вправду удивительно, как это народ наш сдерживал натиск вра-

жеской конницы, лавиною несущейся на нас из степи Ширвана.

Царь осадил коня и предложил Ниании немного передохнуть.

Шум горной реки оглашал округу...

— Леса и горы — вот щит страны, — промолвил царь. — Равнина же — раздолье для лошадей и верблюдов. Амир иль-Гази и другие сельджукские полководцы допустили большую оплошность в Дидгорской битве, сражаясь с нами верхом на верблюдах. Как жалобно пыхтели, сопели бедные животные на наших крутых, ухабистых дорогах! Будь военачальники сельджуков более дальновидны, они вторглись бы в Грузию не через Тао-Кларджети, а с востока, со стороны Гянджи. Так было искони: разумное начало войны — залог победы, мой Ниания! На равнинах нам бы и в самом деле трудно было тягаться с их воинами, сидящими верхом на верблюдах. Верблюд все-таки отличное боевое животное, хотя в горных условиях — совершенно бесполезное. В свое время именно благодаря верблюдам сарацины и сельджуки взяли верх как над Византией, так и над крестоносцами. С помощью верблюдов и мулов захватили сарацины Сирию и Египет. Верблюд совершенно незаменим при перевозке оружия и провианта. Смело можно утверждать, что сельджуки и туркоманы с успехом использовали верблюда в Малой Азии и особенно в степях Анатолии.

В арабском языке существует до шестидесяти названий верблюда. Одно время я тоже собирался было завести у себя верблюдов и пересадить на них одну из моих конных тысяч, но потом раздумал: ведь в горах они совсем ни к чему. Как известно, от верблюдов очень дурно пахнет, — за это и возненавидел их Махара. Дня не проходило, чтобы он не твердил: скорей, мол, уберите отсюда этих противных вонючих тварей.

— А в какое бешенство приходит верблюд на поле битвы! — вставил Ниания. — Ты, верно, помнишь, когда мы погнали врага от Дидгори, еще, пожалуй, и трех парсангов не прошли, как я, эристав Джонди и эристав Валанг наткнулись на сельджукскую тысячу. Я послал эристава Валанга с пешей тысячей в горы, возвышавшиеся слева от нас. И Валанг с ратниками своими забросали вражеских верблюдов камнями. Обезумев от страха, животные вместе с седоками бросались в реку. Не поздоровилось тогда этим псам неверным!..

Давид придержал коня на гребне горы и, глядя на небо, проговорил:

— Эх, что-то не нравится мне погода, Нианиа! Вот та черная туча с рваными краями, что распростерлась к востоку подобно дракону, — не к добру она, поверь мне!

— Не тревожься, государь, до мельницы инока Кириона уж недалеко.

И на сей раз в загончике для ланей застали гости Кириона. Прикрыв глаза ладоною, вышел он из загончика и приблизился к Давиду.

Узнав, что гости намерены отправиться на охоту в долину Мзианети, он поднял глаза к небу, роскошно расцвеченному пурпурными облаками, и проговорил:

— Завтра, бог даст, погожий день будет!.. А в ненастье добираться туда нелегко. Нынче вы у меня заночуете, отдохнете с дороги. Вот и форель только сейчас принесли мне рыбаки... Епископ руисский собирался пожаловать сюда со свитою...

Кирион поставил столик под ореховым деревом. Устлав его свежими листьями ореха, разложил на них пресные лепешки и форель...

До глубокой ночи засиделся царь со своим спасаларом.

— Слава богу, руисский епископ нынче сюда не награл, уж он бы наверняка объявил отцу Кириону, кто мы такие.

Наконец Давид поднялся с места и оставил Нианию одного. Мимоходом, направляясь к себе, он заглянул в ту келью, где в прошлый приезд провела ночь Гванца. Божья мать, как и прежде, кротко глядела на него со стены, в нишах теплились восковые свечи...

Богоматерь, лилею прекрасную,
Воспевает ангел крылатый...

Слова эти эхом отозвались в сердце Давида. А когда он уже входил в отведенную ему келью, словно из-под земли появившийся инок Кирион пожелал во что бы то ни стало услужить гостю. Зажег свечи в нишах, заботливо помог Давиду освободиться от тяжелых доспехов. Опустившись на колени, снял с него набедренники. Принес таз с теплой водой и принялся мыть гостю ноги.

— Сколь отраднo мне, господин, что под Дидгори спасся ты от этого треклятого иль-Гази! Тут мне один про-

езжий монах сказывал, будто азнаур Моркневели доблестно бился с врагами при Дидгори.

Давид ничего на это не ответил.

Инок Кирион усердно тер ладонями лодыжки гостя, тихо бормоча при этом:

— Я так тебе благодарен, господин, за то, что ты не пересказал царю Давиду всего того вздора, что я тебе тут в прошлый раз наболтал. Слыхал я, что дочь половецкого хана взял в жены царь. И, как передавали мне пришлые монахи, католикос картлийский Иоанн окрестил царицу Гурандухт. Прав оказался государь наш, как я погляжу, решившись посадить рядом с собою на всехристианнейший престол Багратидов девушку иной веры.

Ну и что с того? Ведь бабка царя Давида, армянка, дочь еретиков окаянных, тоже в конце концов перешла в нашу веру и стала благочестивой заступницей церкви — великой строительницей монастырей и домов божьих, радетельницей о вдовых и сирых.

— Как?! Да разве армяне — не христиане, отче Кирион? Кто тебе это сказал?

— Ужель тебе неведомо, что армяне суть еретики?

— Ну, не думаю, отче Кирион, чтоб армяне впали в ересь. Есть, правда, какие-то незначительные расхождения между грузинским и армянским христианством... — возразил ему Давид.

Монах рот разинул от изумления:

— Я-то не знаю, сын мой... Но так слыхал я от наших пастырей. А на чьей стороне правда, про то ведает один господь бог.

Давид жалел теперь, почему он вовремя не отказался от омовения. И сказал он не в меру ретивому хозяину:

— Пора уж и на покой, отче Кирион. Ведь мы чуть свет отправляемся в путь. Да и ты, должно быть, устал от трудов праведных, святой отец.

Монах вытер гостю ноги, взял таз с водой, вынес его и вновь зашел в келью, шаркая ногами. Давид опасался, что тот опять заведет речь о «еретичестве» армян, и украдкой бросил тоскливый взгляд на ложе.

Кирион же, доковыляв до постели, тщательно взбил подушки, расстелил ланьи шкуры, осенил гостя крестным знаменем и пожелал ему покойной ночи.

На рассвете разбудил гостей инок Кирион. Мед, моло-

ко и форель подал им на завтрак. А когда конюхи оседлали лошадей для Давида и Ниании, инок Кирион, вдруг о чем-то вспомнив, поспешно подошел к гостям.

— Когда подыметесь на ту гору, сыны мои, — сказал он, — и проедете еще примерно треть парсанга, взгляните направо. И узрите вы крепость о семи башнях, ныне уж разрушенную. Это и есть родовой замок Миндорели. По левую сторону от него — деревня; а как въедете в ту деревню, неподалеку от церковки спросите бывшего придворного конюха Теофанэ. Вам же понадобятся охотничьи собаки. А у этого Теофанэ есть отличные. Ну, так вот, эти самые желтоухие собаки и есть потомки тех гончих, которых Теофанэ в свое время получил в подарок от царя царей Георгия, отца царя Давида; а тому, оказывается, прислал их византийский кесарь. Теофанэ стар уж и немощен, но его внуки с радостью возьмутся сопровождать тебя на охоту, пусть только не забудут взять с собой желтоухих собак.

Лошади с трудом шли в гору. Наконец Давид и Ниания спешились. Лошадей повели конюхи и оруженосцы.

Давид то и дело опасливо поглядывал на небо. На повороте дороги он остановился и заговорил с шедшим позади него Нианией:

— Сдается мне, что гроза собирается.

Ниания тоже остановился, вглядываясь в багряные облака на небосклоне.

— Не думаю, — сказал он, — чтоб до вечера разнепогодилось. А уж если не повезет нам, укроемся где-нибудь...

Выехав на равнину, опять сели на коней Давид и Ниания.

Вот и семибашенная твердыня, ныне совершенно обезлюдевшая. Крепость полностью разрушило землетрясением, башни же и донныне целы.

Едва лишь всадники минули замок Миндорели, невдалеке показалась маленькая церквушка, а за ней — небольшое селение.

Давид сказал:

— А понадобятся ли нам собаки?.. Убьем по одной лани и хватит с нас. И к тому же боюсь, как бы бывший конюх Теофанэ меня не узнал — ведь он служил у моего отца.

— Ну и что ж? Пусть себе узнает. Да и вряд ли — ведь того конюха в годы нашего детства уж не было во дворце царя Георгия. Сомневаюсь, чтоб он узнал тебя... А если да-

же это и случится, не беда. Пока этот старикашка доберется до Кириона, мы уже в Тбилиси будем, — улыбаясь, сказал Нианиа.

Двор бывшего придворного конюха Теофанэ был полон собак. Бегая по двору и сидя на привязи на самом солнцепеке, они оглушительно лаяли.

Давид вошел в дом и, сняв с головы шлем, промолвил:
— Мир дому сему!

Лежа на огромной подушке, высохший старик прикрыл глаза рукой, внимательно оглядел пришельцев и спросил, кто они.

— Мы — слуги царя Давида, господин, — отвечал Нианя. — Сюда приехали из Гегути. Хотим поохотиться в здешних местах. Не дашь ли ты нам с собой хоть двух твоих желтоухих собак?

Старик, опершись на локоть, приподнялся. Обрадовался он тому, что услышал, и ответил так:

— Мои собаки ведут свой род от собак, подаренных мне некогда царем царей Георгием. Двух, говорите, дать вам? Да хоть всех берите — мне не жалко, дети мои.

Тут старик закричал, что было мочи:

— Джамлет, Шиош, Шавлег! Дайте дорогим гостям самых лучших собак!

Трое белокурых юношей тотчас явились на его зов. С низким поклоном приблизились они к гостям.

Не успели Давид и Нианиа выйти во двор, как позади себя услышали голос старика:

— Шавлег, первым делом накормите гостей завтраком. Тот кувшин, что под грушей зарыт, распечатайте... Хлеба и сыру велите принести, да поживей!

Нианиа преградил путь троем братьям:

— Мы уже завтракали и совсем не голодны. А коли вы, молодцы добрые, поднесете нам по ковшу вина, от этого мы не откажемся.

Трое юношей с заступами в руках подошли к амфоре, зарытой под грушевым деревом. Рубиновая жидкость заискрилась в горлышке кувшина.

— Что за ослепительный блеск! — вскричал царь, улыбаясь.

Хозяева обнесли ковшами с вином всех четверых.

Нианиа заметил, как запылали щеки у Давида, после того как осушил он первый ковш.

— Давайте присядем, — предложил старший из трех братьев, Шавлег, расставляя вокруг каменного стола, накрытого под грушей, колоды дзелквы.

Три женщины без усталости черпали вино из амфоры. Они потчевали гостей хлебом и сыром. Давид подал знак конюхам и оруженосцам, чтобы каждый из них тоже выпил по ковшу вина.

Между тем стреноженные лошади взбунтовались. Они разорвали узду и ускакали.

Конюхи и оруженосцы пустились за лошадьми вдогонку.

Давид и Нианиа приняли еще по одному ковшу из рук хлебосольных хозяев и решительно поднялись.

Шавлег преградил им путь.

— Подождите немного, сейчас тельца заколем, шашлыки мигом будут готовы. Не подобает нам отпустить из дому слуг царевых, накормив одним хлебом.

Давид отказался наотрез.

— Мы должны ехать сейчас же. А то еще, того гляди, погода испортится.

Шавлег крикнул братьям:

— А ну-ка, молодцы! Живо собирайтесь в путь, да двенадцать собак с собой возьмите.

Нианиа, переглянувшись с Давидом, вставил: и трех пожалуй хватило бы.

Давид поддержал его: конечно, хватит и трех. Мы ведь удовольствуемся и одной ланью.

Шавлег усмехнулся.

— Да что вы? Одна лань — это на двоих-то? Только на ужин одной лани нам едва ли хватит.

Проехав через редколесье, охотники спешили. Шавлег, Джамлет и Шиош спустили собак, и те бросились бежать по низине, сплошь заросшей камышами.

Немного погодя из зарослей донесся приятный для слуха собачий лай, так сильно волнующий сердце всякого охотника.

Проводив Давида и Нианию до тропинок, пролегающих сквозь тростники, Шавлег дал им кое-какие наставления:

— Ждите тут, пока я не заманю сюда ланей. Как услышите свист, натягивайте тетиву. Лань обычно обходит стороной эти густые камыши, предпочитая открытые места.

Заросли там и сям пересекались тропками. Вскоре в колышущемся море камышей можно было различить лишь медленно плывущую шапку юноши.

Давид глядел на восток. Удивительное зрелище разворачивалось на небе. Позади стайки курчавых, как барашки, пурпурных облачков расплавленным золотом блистал ослепительный диск солнца. А с юга черной полосой тянулись тучи, словно простертая над миром десница божия.

— Ах, Нианиа, что за диво! Какой художник сумеет передать все это великолепие?! Стоило сюда приехать даже хотя бы ради того, чтобы узреть это небесное чудо, — мечтательно промолвил Давид.

— И еще ради того винного кувшина... — лукаво добавил Нианиа.

— А разве не похожа зияющая рубиновая пасть амфоры на бесценный перстень дэвов?..

— Пожалуй... Сколько раз охотились мы на ланей с гепардами и борзыми — и в Кахети, и в Ширване... А такого способа охоты что-то не припомню, — сказал Нианиа.

Лай желтоухих собак мало-помалу стал приближаться. Затаив дыхание стояли двое, натянув тетиву своих луков и боясь шелохнуться.

Будучи не в силах выдержать дружный натиск собак, лани опрометью неслись по волнующемуся морю камышей.

Первая лань достигла начала тропинки, которую сторожил Давид. Охотник думал, что вот сейчас лань сделает стойку. Однако напуганная гончими самка ринулась прямо на лучника и, когда стрела вонзилась ей в горло, тяжело рухнула наземь.

Давид бросился к своей добыче.

То же самое случилось и с тем самцом, который мчался на Нианию.

Джамлет с желтоухими собаками гнал затравленных животных теперь уж по другим тропам.

— Двух этих ланей нам хватит, — сказал Давид.

Но Нианиа, уже войдя в охотничий раж, в начале третьей тропинки встретил несущуюся опрометью самку и выпустил стрелу в гордо изогнутую ее шею.

Охота продолжалась недолго. Вскоре небо затянуло черными тучами, сверкнула молния. Казалось, внезапно разверзлись хляби небесные, и начался ливень. В заросшей камышами низине, кругом куда ни глянь, не было ни кустика, ни деревца. Вдруг откуда-то издали донесся колокольный звон.

Шавлег пояснил:

— Вон за тем утесом есть девичий монастырь. Там, должно быть, и звонят к вечерне.

Трое братьев засвистели, сзывая собак. Конюхи усадили братьев на запасных лошадей. Убитых ланей перекинули поперек седла. Шавлег поскакал впереди.

А ливень все не стихал. Лошади стремительно пересекали море камышей.

Когда путники добрались до монастырской стены, Шавлег с трудом отыскал ворота. На наружной их стороне висел колокольчик. На звонок никто не выходил.

Ветер неистовствовал. Всадников нещадно хлестал дождь. Наконец кто-то, шаркая ногами, дотащился до ворот и слабым голосом спросил изнутри:

— Кто там?

При упоминании имени Теофанэ старуха монахиня отперла калитку и подробно расспросила странников, кто они и откуда.

Шавлег отвечал:

— Охотники мы, да на беду попали в этот ливень. Не можете ли приютить нас у себя ненадолго?

Предшествоваемые старухой монахиней, гости вошли в кухню. Озябшие и промокшие до нитки охотники стали греться у ярко пылающего очага.

Давид тихо сказал Ниании:

— Ступай к игуменье, попроси позволения переждать здесь непогоду.

Старая монахиня повела Нианию в монастырь. Когда дошли до покоев игуменьи, она предложила Ниании немного обождать, а сама скрылась в темном переходе.

Воротившись назад, она тихонько дотронулась до его локтя и велела следовать за нею.

Посредине обширной палаты стоял черный круглый стол. В кресле с высокой спинкой сидела игуменья. На ней было черное одеяние и белый клобук. По стенам выстроились в ряд иконы. Пахло ладаном и восковыми свечами.

Ниания остановился на пороге.

Престарелая монахиня, почтительно приблизившись к сидящей, вполголоса сказала: какие-то охотники просят приютить их, пока дождь не пройдет.

— А много ли их? — спросила женщина в черном.

— Девятеро. До нитки промокли бедняги.

Монахиня засемила к Ниании и сказала:

— Игуменья наша, сестра Дарья, просит вас войти.

А когда Нианиа подошел к игуменье, оба невольныс вздрогнули.

Игуменья встала, осенила крестным знамением вошедшего и предложила ему присесть на скамью. Затем, обращаясь к монахине, проговорила:

— Сестра Сефора, усади гостей на кухне, поближе к огню да угости полүчше.

Нианиа глазам своим не верил. Казалось ему, будто в глазах у него помутилось.

Игуменья порывисто поднялась с места и вымолвила:

— Боже мой, кого я вижу! Сон это или явь? — А потом, прикрыв лицо руками, едва слышно пробормотала: — Если не ошибаюсь, Нианиа Бакуриани?.. Не так ли?..

Слова эти придали смелости изумленному гостю. Он воскликнул:

— Ужель Дедисимеди?!

— С кем ты здесь, Нианиа?

Спрашиваемый не растерялся.

— С моими оруженосцами и конюхами..

Еле волоча ноги вошла монахиня Сефора.

— Гости греются у огня, — сообщила она. — Я их медом, кутьей да просвирками потчую.

Игуменья наказала монахине:

— Ну, смотри, Сефора, не мори гостей голодом.

Когда Сефора вышла, Дедисимеди, опасливо оглядываясь на прикрытую дверь, тихо сказала:

— Нианиа батоно, ведь мы с тобой были друзьями когда-то..

— И доныне, — подтвердил Нианиа.

— Заклинаю тебя святой богородицей, покровительницей этой обители, обещаю тебе, что о нашей встрече ты ни словом никому не обмолвишься..

Нианиа поклялся: тайна сия умрет вместе с ним.

Нианиа, потрясенный, вглядывался в лицо дочери эристава..

На щеках и вокруг глаз пролегли мелкие морщинки, напоминающие перепелиные следы. Морщины избородили и худую высокую шею. Кожа пожелтела. Но в очах, как бы подернутых пеплом, изредка мерцал отблеск былой красоты.

Дедисимеди говорила быстро, видимо, спеша закончить беседу до прихода Сефоры..

— Я знаю почти обо всем, что случилось после меня в

царском дворце. Как тебе известно, монахини часто заезжают сюда по пути из Тбилиси в Начармагеви.

Коротко поведала гостю Дедисимеди о своей судьбе:

— После того как убежала я из Начармагевского замка, месяца два водила меня по разным местам птичница Теона. И вот, наконец, попала я сюда. Не то сам господь привел меня в этот монастырь, не то Теона по воле господа. Не буду отнимать у тебя время рассказами о том, сколько мук претерпела я в пути. Постригла меня в монахини прежняя игуменья, бывшая супруга Аргветского эристава Неофита. Скоро призвал ее к себе господь. А перед смертью она же провозгласила меня игуменьей. С того дня и поныне подвигаюсь на поприще сем, по мере сил своих пекусь о благе обители. Вот только последнее время все хвораю—желтуха совсем меня доконала.

Лишь теперь заметил Нианиа, что желто у нее не только лицо, но даже белки глаз.

— И не ведаю, скоро ли призовет меня к себе господь, — со вздохом договорила Дедисимеди.

Тогда Нианиа поведал ей, с каким упорством разыскивал ее Давид повсюду — и в Арзруме, и в Багдаде, и в Палестине...

Когда Дедисимеди оправила на себе скуфью, Нианиа увидел, что волосы у нее совсем уж белые...

Дедисимеди опять оглянулась на дверь, встала, отперла тайник, скрытый в стене, и подарила Ниании на память золотой крестик; другой рукой протянула она ему крохотный нагрудный образок Михаила Архангела, также золотой, но заклинала его всеми святыми не говорить царю, от кого получил он эти дары.

Едва лишь воротился Нианиа в кухню, Давид заметил, что тот почему-то не в духе и за еду принялся неохотно.

Небо вскоре прояснилось. Охотники двинулись в путь. Апельсинным цветом окрасились облака на западе.

Ночь провели путники в доме бывшего придворного конюха Теофанэ. И лишь на третий день добрались они до Мухранского дворца...

* * *

В предместье Христополя, недалеко от Константинополя, там где прежде находились владения императрицы Мариам,

я увидел небольшой полуразрушенный храм, стоящий между двух минаретов. Некогда это был дворцовый монастырь Михаила Дука. У византийских кесарей и высшей знати в те времена было принято иметь собственные монастыри.

При жизни императрицы Мариам в этой обители жили всего с десяток престарелых монахинь. Управляла обителью игуменья, в миру звавшаяся Мариам.

Добровольной затворницей стала она после смерти своего единственного сына Константина Порфирородного. Воротясь в последний раз из Гегути, на другой же день по приезде она слегла в постель.

Едва узнали ее монахини, до того изменилась она после утомительного морского путешествия. Позвали лекарей, и те нашли порок сердца у бывшей императрицы.

Уж не блистала Мариам красотой, некогда всех столь восхищавшей. Сеткой морщинок покрылось ее лицо. Красные пятна горели на щеках. Она более не походила ни на образ божьей матери в Гелатском соборе, ни на тот портрет, который хранится в Ватикане и поныне. Вдоль нижнего края картины читаем надпись:

«Мария Багратиони, принцесса грузинская, императрица Восточной Римской империи».

В ту ночь на св. Георгия страшные боли в сердце начались у Мариам. Заменявшая тогда игуменью сестра Теодора и все десять монахинь самоотверженно ухаживали за больной, однако видели, что жить ей осталось недолго.

После полуночи она стала задыхаться и судорожно приподнялась на подушках. Теодора прижала к своей груди ее седую голову. Перед смертью Мариам вспомнила только о двоих: Константине Порфирородном и Ниании Бакуриани— не приехал ли он? А когда Теодора ответила «нет», Мариам упала на ложе ничком и безропотно отдалась смерти...

* * *

Был ноябрь. Стояли чудесные дни. В Мухранском дворце Давид не нашел никаких перемен. Придворные обрадовались приезду государя. Нианию, как и прежде, влекла к себе охота и рыбная ловля. Захлопотали охотники и рыбари.

Кариман Сетиели и царские телохранители постоянно были начеку, ибо половцы, привыкшие присваивать львиную долю добычи, были теперь недовольны, что нет войны... Кариману Сетиели донесли: половецкий военачальник Бен Саббаг поддерживает подозрительные сношения с приверженцами Липарита в Триалети. Однако до поры до времени Кариман Сетиели выжидал.

Однажды, когда Давид воротился с большой охоты и в одной рубашке отдыхал у себя на балконе, просвистевшая вдруг стрела ударилась о грудь царя, но, стукнувшись об образок Михаила Архангела, со звоном упала на кирпичный пол.

И трех дней не прошло, как Кариман Сетиели раскрыл тайный заговор, узнал имена его участников и главаря — половецкого военачальника Бен Саббага.

Кариман схватил Бен Саббага и его сообщников. Заковал в железа сознавшихся во всем злоумышленников и заточил их в темницу Уплисцихского замка. Трех приспешников Липарита бросил он в подземелье месяц спустя.

* * *

В Тбилисском дворце царило полное спокойствие... Затосковал царь. До глубокой ночи просиживал он у камина. В тот месяц и написал он свои «Покаянные песни».

В Шиомгвимском монастыре уже во всеуслышание заявляли:

— Господи боже, преследуют царя Давида преступления и грехи младости его!..

Настала зима. Царь по-прежнему грустил, целые дни проводил за чтением...

Нианиа по-прежнему увлекался охотой. Однажды напомнил он государю:

— В прошлую субботу обещал ты мне, государь, устроить охоту на ланей с гепардами...

— Ты знаешь, Нианиа, та лань, которая умирала у меня на глазах в долине Мзианети, взглянула на меня столь укоризненно, что с той поры я поклялся себе никогда больше не охотиться на ланей. И ныне все стоят предо мною полные слез глаза этого прекрасного создания...

Серые зимние дни журавлями тянулись друг за другом.

Время от времени во дворец прибывали гонцы из Таоскари, Никопсии, Ани и Дербента.

Давид не раз замечал, что о неприятных новостях ему не докладывали. Хотя враги повсюду как будто и приутихли, царь почему-то был уверен, что на сей раз турки вторгнутся в страну через Тао-Кларджети.

Едва лишь приезжал из тех краев гонец, как Давид тотчас вызывал к себе начальника крепости Ардашели и допрашивал, не появлялись ли турки в Таоскари?

В Тбилиском дворце стало еще тоскливее. После того как из Хупты прискакал гонец, царица Елена и Нианиа Бакуриани сна лишились. Управитель дворца Мариам — Цинцилук и игуменья Теодора сообщили им, что в ночь на св. Георгия преставилась императрица Мариам.

По всей Грузии в церквах отслужили панихиды по усопшей. Католикос и епископы молились за упокой души бывшей императрицы Мариам.

Не прошло и недели, как новое горе обрушилось на Давида. Царица Елена во время ночных бдений сильно простудилась и скоропостижно скончалась. Три недели просидел царь во мраке, оплакивая утрату близких — матери своей и тетки Мариам. Траурной власяницей завесили окна его покоев.

На рождество с утра явились к царю Кирион Манглиский, Нианиа Бакуриани и Шергил Липартиани, моля его снять с окон скорбную власяницу.

Давид целыми днями расхаживал по палате, лишь изредка выглядывая в окно и чутко прислушиваясь к малейшему шороху.

А под вечер садился он у камина и подолгу не сводил глаз с бушующего пламени. Иногда беседовал с Нианией Бакуриани, вспоминая кровавые битвы: Эрцухи, Дидгори, Ширван, Тбилиси, Ани... Слезы помимо воли наворачивались ему на глаза, когда он говорил о Бешкене Джакели и других павших героях.

Порой, оставаясь в полном одиночестве, читал он до самого рассвета. Ненадолго отрываясь от книги, он делал отметку и клал книгу себе на колени; но потом тщетно искал пометку, подолгу листал книгу, сетуя на то, что никак не найдет подчеркнутое.

Нианиа Бакуриани очень горевал об императрице Мариам. В день св. Георгия собирался он навестить ее в Константинополе, но, на беду, не удалось, — его задержал уход за больным царем.

В воскресенье утром Давид приказал распорядителю приемов пригласить к нему католикоса Картли — Иоанна, членов коронного Совета и спасаларов. Когда все они собрались, царь велел позвать царевича Деметре. После того как воля его была выполнена, он поднялся с места и, представив престолонаследника всем присутствующим, благословил его на царство.

Католикос Иоанн возложил на голову Деметре царский «венеч с камнями самоцветными», а царь Давид «препоясал его мечом булатным и облачил в порфиру плечи львиные и стан могучий».

На другой день царь пожелал остаться один. Он долго шагал по палате взад и вперед — от окна к камину и обратно. Нианиа ходил по коридору, прислушиваясь к каждому, даже едва различимому шуму, доносившемуся из царского покоя.

А на дворе крупными хлопьями, не переставая, валил снег. В зверинце мяукали гепарды, а под самое утро рычал львенок, подаренный Давиду осетинским царем...

В субботу, на склоне дня, вздремнувшего у камина царя разбудил колокольный звон. Вскоре послышались чьи-то шаги. Местумретухуцеси бесшумно, как тень, предстал пред царем с докладом:

— Игуменя из долины Мзианети желает тебя видеть.

Приникший к дверям Нианиа расслышал эти слова и сразу догадался, кто это. Нианиа сам вышел в переднюю и проводил к царю игуменя в черном облачении.

Давид узнал дочь эристава Липарита. Он попытался было встать, но пошатнулся и опять опустился на сиденье. Положив десницу свою на голову коленопреклоненной и сдвинув брови, Давид вымолвил:

— Прости меня, сестра моя, за то, что счастье твое — да и свое тоже — принес я на алтарь отчизны нашей...

Когда Дедисимеди, предшествуемая местумретухуцеси, выходила из палаты, Давид заметил: плечи вздрагивали у женщины в черном...

Два дня после этого царь не вставал с постели. Турманисдзе и другие лекари тщательно осмотрели его, но причины недуга так и не доискались.

На третий день рано утром послышался Давиду цо-

кот копыт. Он встал и подошел к окну: у первой башни замка стоял начальник крепости Ардашели, беседуя с только что прибывшим гонцом.

Давид заметил: на черном коне сидел гонец, черная кольчуга обхватывала торс его, из-под черного шлема черное забрало спускалось на лицо.

Удивился царь: как смеет этот гонец говорить с начальником крепости, сидя верхом?! Давид открыл окно и подозвал к себе гонца. Звякая шпорами, вошел в палату гонец под черным забралом, препоясанный мечом.

— Подними забрало! — разгневался царь на гонца.

Подойдя к Давиду, внезапно поднял забрало гонец: рыжая борода, нос крючком, мелкие, острые, как у крысы, редкие зубы...

Ехидно посмеиваясь, прошипел он: к Таоскари подступили турки! Царь, потрясенный, не в силах был далее смотреть на ужасный лик Сатаны. Он прикрыл глаза рукою, а когда отнял ее от лица, в палате никого уже не было...

К Тао-Кларджети подступили турки! Давид торопливо отпер стеной шкаф, достал из него латы, но надеть на себя не смог. Дотянулся он и до кольчуги, но даже ее тяжесть не смогло вынести столь привычное к боевым доспехам богатырское тело. Нарукавники и набедренники оказались ему не впору. Тогда схватил он испытанный в боях меч Багратидов — меч вырвался у него из рук и тяжело упал на пол, издав зловещий звон...

— Ко мне! — вскричал Давид, и на пороге появился Нианиа.

— Гонца под черным забралом не встречал? — спросил царь изумленного Бакуриани.

— Через дверь к тебе никто не входил, да и не выходил никто из палаты, государь.

— Неотлучный оруженосец то был, верно... — промолвил царь Давид.

Нианиа огляделся кругом: в темных углах — никого. Бледного как смерть Давида еле-еле довел до постели Нианиа Бакуриани. Кинулись к царю лекари; сразу заметили они, что больной горит как в огне.

В бреду вспоминал он Дедисимеди и Гванцу. До самого рассвета бился он в ожесточенном единоборстве, на последнем рубеже между жизнью и смертью...

А в зверинце рычал львенок..

На заре в палату вошел царь Деметре. Осенив себя крестом, он опустился на колени перед смертным одром и благоговейно приложился губами к деснице обожаемого отца.

Так победила всеокрушающая Смерть неодолимого в битвах царя Давида.

И это была последняя его битва...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Книга третья	5
Книга четвертая	364

Перевод книги третьей — М. Гамсахурдиа и А. Фокина
Перевод книги четвертой — Л. Платоновой
OCR - Давид Титиевский, июль 2017 г., Хайфа

КОНСТАНТИН СЕМЕНОВИЧ ГАМСАХУРДИА

Избранные произведения
Том четвертый

Художник В. Кутателадзе
Технический редактор А. Якимова
Корректор М. Бирюкова

Подписано к печати 28 декабря 1963 г. Формат бумаги
60, 84¹/₂, и. 45,125 печ. листа = 42,1 усл. печ. листа.
Учетно-издательских 43,72 листа + 1 вкл.

Заказ № 739 Тираж 40.000

Цена 1 руб. 52 коп.

Издательство Союза советских писателей Грузии
„Литература и искусство“, Тбилиси, пр. Плеханова, № 181.

Набрано в типографии издательства ЦК КП Грузии
„Заря Востока“ им. А. Ф. Мясникова,
Тбилиси, пр. Руставели. № 42.

Отпечатано в Полиграфкомбинате „Комунисти“
издательства ЦК КП Грузии, Тбилиси, ул. Ленина, № 14.

კონსტანტინე სემონის ძე გამსახურდია

რჩეული ნაწარმოებები

ტომი მეოთხე

(ჩუსთვლ ენაზე)

175916